

О современных духовных потребностях мысли и жизни, особенно русской Александр Матвеевич Бухарев

И иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа Распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие; для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа Божию силу и Божию премудрость. (1Кор.1:22–24).

Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо он есть Господь господствующих и Царь царей; и те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные. (Откр. 17:14).

Лицемеры! лице земли и неба распознавать умеете; как же времени сего не узнаете? (Лк. 12:56).

По мнению многих, только тот распознает свою современность и служит удовлетворению истинных ее потребностей, кто угадывает и умеет делать все такое, к чему современники неудержимо стремятся, чего ищут или ожидают они сознательно или только инстинктивно, что готовы охотно принять. А напротив, и с горячностью или с самоотвержением служащий какой бы ни было мысли и делу, от которых современники большей частью отворачиваются, причисляется многими только к энтузиастам-мечтателям. Бывают времена, в которые это и верно так. Вот, например, Константин Великий провозгласил Христианство господствующим в Римской Империи именно в такое время, когда все к тому было готово и все того только и ожидали. Юлиан, усиливавшийся тогда поднять упавшее язычество, не понимал своего времени; отступничество его составляло жалкую службу не только губительной, по своей лживости, но и совсем уже несбыточной мечте.

Но бывают и другие времена, истинные потребности которых ясно сознаются и живо ощущаются только избранными, хотя бы разъяснение и удовлетворение этих потребностей предлагалось всем открыто. В такие времена большинство современников обыкновенно или с тупым непониманием и невниманием, или даже с ожесточенной враждой относятся к

разъяснению и удовлетворению самых неотступных и настоятельных современных потребностей. Это – времена трудных и тяжелых духовных посевов, от которых уже будущее только может весело и без тяжких трудов собирать плоды. Так, это же самое Христианство, которое при Равноапостольном Константине явилось в славе своего торжества и господства над миром, первоначально открылось и распространялось в мире в такое время, когда оно большинству современников казалось одним, и это читателям истинного Бога – Иудеям, соблазном, а другим, – язычникам, и именно искателям и поклонникам мудрости, безумием. Только избранные, любящие истину до готовности жертвовать для нее собой, умели во Христе распятом за грешный мир узнавать и принимать вседержавную Божию силу и всеобъемлющую Божию премудрость, принесшую спасение миру, который заблуждал и гибнул в то время уже равно и в иудействе и в язычестве.

Зачем же говорю это? Не более, как в ободрение для себя и вместе в нелишнее предупреждение для моих читателей. Если некоторые стараются и ныне обратить в соблазн для себя и других «принцип (как они глумливо выражаются) Агнца Божия» или слово о Христе распятом за грешный и заблуждающий мир, а большинство других остается безучастным и невнимательным к такому слову, занимаясь своими делами и принципами: то это еще не составляет признака мечтательности и тщеты усилий служить слову крестному (1Кор.1:18) тем, чтобы, для раскрытия пред миром жизненного света Православия и для истинного удовлетворения современных наших потребностей, проводить начала Христовой истины и благодати и во всякие мирские области жизни и знания, руководясь в этом человеколюбивым духом Самого, нисшедшего в мир и взявшего грехи мира, Агнца Божия – Христа. Этой задаче посвящены все, предлагаемые здесь, статьи. Любящим истину предлежит вникать в дело истины без пристрастия и пренебрежения, равно преступных в этом священном для всех деле, от которого зависят все светлые надежды жизни настоящей и будущей. Непринимающие же любви к истине обречены уже за это словом Божиим (2Фесс.

2:10–12) на такое наказание, чтобы не понимать и не принимать истины, а верить и следовать лжи и ее направлению.

Предлагаемые статьи разделяются на два отдела. В первом отделе содержатся «Разговоры». Основанием их служили частью действительные разговоры, какие приводилось мне иметь с разными личностями. Во втором выпуске заключаются «Статьи, касающиеся нашей литературы духовной и светской». В современной литературе нередко у нас затронут какой-либо важный вопрос, да так его и оставят или обратят в предмет личных перетолков и споров. Подобные случаи я и брал в предмет своих статей, насколько это могло относиться к объясненной выше их задаче.

Автор

I разговор

По поводу предначертаний преобразования русского судопроизводства, о движении русской мысли по вопросу о взаимном отношении между светским и духовным

Обстоятельства сблизили меня с одним достойным священником. Я привык делиться с ним всяким сильным впечатлением и всякой дельной мыслью, желая беседой с ним, как со своей совестью, поверить себя и направить к лучшему свой образ мыслей и действий. Когда опубликованы были предначертания Правительства о преобразовании у нас судопроизводства, я поспешил к этому любимому и уважаемому мной человеку поделиться своей радостью о таком, желанном всеми добрыми и рассудительными русскими, преобразовании.

– Батюшка, батюшка, – говорил я, не скрывая своего восторга, – Конец теперь взяткам и взяточникам! Конец этому крючкотворству, растягивающему дело до бесконечности, подобно как иной недобросовестный лекарь старается протянуть и пустую болезнь богатого пациента, имея в виду опустошение его кошелька! Мы теперь приравниваемся с Англией и Францией в самом общенародном добре, какое есть в этих землях. И у нас будет судопроизводство гласное, открытое для всего народа! Таланты, образование, стремление послужить общественному благу, все это, что при бюрократическом порядке обыкновенно остается без полного применения к делу и даже большей частью потухает, едва успеет хорошо засветиться в молодом человеке – все это теперь пойдет в дело, в живой оборот на пользу матушки нашей – России. Есть, батюшка, за что Вам возблагодарить Создателя пред святым Его престолом!

– Именно, именно так, – отвечал священник также с живой радостью, светящейся в его глазах и слышной в его словах. – Бог, любя Россию, дал ей такого доброго, такого смелого и твердого в добрых преобразованиях Государя.

– Только бы, – примолвил я от себя, – и нам дал Господь покрепче упрочить за собой то добро, которое Царь строит и

готовит для нас.

Говоря это, я имел в виду вызвать священника сейчас же к рассуждению о предмете, принесшем и ему, как мне, радость о благе отечества. Но, к моему удивлению, отец Иоанн (это его имя) посмотрел на меня как-то грустно и отозвался на мои слова слишком общо.

– Известно, что, для устройства и прочного действия доброго порядка в судопроизводстве, надо нам любить правду и вооружаться, пожалуй, общественным мнением против неразумия и низостей неправды.

– Так, батюшка, – заметил я, – это уж само собой разумеется. Позвольте однако ж прямо сказать Вам, что эта мысль Ваша не слишком-то много возвышается над теми «общими местами», которых Вы так не любите, в которых и я, под Вашим именно влиянием, признаю уже крайнюю недостаточность и ветхость для того, чтобы полагать их в прочное основание какого бы ни было добра. Видите, я не пропускаю Ваших речей мимо ушей; Ваши мысли глубоко западают в мою душу. Я привык о многом мыслить и даже выражаться по Вашему.

– Что же? Неужели Вам угодно, – спросил меня отец Иоанн, – чтобы я пустился рассуждать с Вами, откуда нам брать мировых судей в иных средах нашего отечества, или куда девать многих из служащих при нынешнем порядке судопроизводства, которые, с совершением преобразования, окажутся лишними? На решение всех подобных вопросов, на устройство и развитие нового порядка судопроизводства с такой проницательностью, чтобы это преобразование обошлось сколько можно легче и спокойнее для всех классов общества, начиная с приказно-служебного при прежнем порядке судопроизводства, – на все это есть особенные люди, имеющие прямое к тому призвание. Мое духовное дело – служить молитвой и благодатью таинств собственно тому, чтобы и в этих людях, призванных Царем к обсуждению и полному развитию нового порядка в судопроизводстве, был духом своей благодати и истины сам Христос Господь, просвещал их разумение, направлял волю их к лучшему.

– Но, мой добрый батюшка, – возразил и я, – с Ваших же слов, которые слышать я (без лести говорю) вменяю себе в истинное счастье, скажу Вам, что Вы обязаны служить благодатному в гражданстве делу не только молитвой и благодатью таинств, как Вы сейчас сказали, но и словом истины. Как мы, светские, дадим в себе, в своем духе и мыслях, покойное место нашему Господу и Спасителю, если не будем знать (знать не по «общим местам»), как Его принять по тому или другому делу светскому и гражданскому? Я очень хорошо помню, как Вы сами изъяснили мне слова Равноапостольного Царя Константина, сказанные им Епископам: «А вы – епископы во внутренних делах Церкви, а я (епископ же) во внешних». Когда, именно по поводу этих слов, я напомнил Вам, что Наполеон 1-ый никак не хотел согласиться с теорией папизма, будто иерархия и во главе ее Папа составляют *душу*, а гражданские власти и порядки *тело*, одушевляемое и правимое этой душой, то вы взяли сейчас же сторону Наполеона. Вы говорили, что наш Господь и Спаситель, в Котором наша истина и жизнь, хочет принадлежать разумению и сердцу и гражданских деятелей (да и всех людей) не менее, как церковной иерархии, которая именно этому и призвана послужить благодатью священства своего; Вы представляли мне, что на внутреннее усвоение себе Христа живой мыслью и волей права у всех верующих равны и всем общи, что в этом отношении даже *нет пол мужеский и женский*, или от мужчины не разнится и женщина, когда последняя даже решительно отчуждена от самой возможности доступа к иерархическому служению. Глава и душа наша, общая верующему гражданству с церковной иерархией, говорили вы, есть один и Сам Господь наш Иисус Христос, а мы, и светские и духовные, составляем благодатное тело Его единого; мы разнимся взаимно, отнюдь не как душа и тело, а только как разные члены и разные органы одного общего Христова тела. В телах внешних или гражданских, говорили Вы – и я никогда не забуду этих бесценных Ваших слов – можно и должно православному разуместь и усвоить Христа так же внутренне и глубоко, как и в прямых духовных или внутренне-церковных делах; в жизни православно-гражданской, говорили

Вы, надо непременно проводить силу и свет Христовой истины и благодати, если не хотим упасть в своем гражданстве до уровня с гражданством неверных, например, магометан или язычников, которые тоже заботятся и умеют устроить у себя, по возможности, разные добрые порядки. Ведь это Ваши речи? Поэтому, повторю Вам, Вы обязаны разъяснить нам, как нам, по тому или другому делу или вопросу гражданской жизни, усвоить или *приобрести* самого человеколюбивого нашего Господа, как нам привести в ту или другую (особенно вновь возникающую) отрасль нашей общественной жизни человеколюбивую Его истину и благодать?

Высказывая эти мысли с жаром, я примечал, как разгорался огонь и свет в глазах моего досточтимого собеседника. Но когда я кончил и ждал живого духовного слова на вопрос о судопроизводстве, отец Иоанн словно ушел от меня в себя и на мою задушевную речь отвечал опять уклончиво:

– Но, дорогой мой, разъясните мне сами наперед, как мне, при требуемом Вами разъяснении того, что относится к гражданским делам, избежать непрошеного вмешательства в дела чужие; научите меня, по крайней мере, как избежать мне (говорю от лица вообще человека духовного) нарекания в этом вмешательстве? Я имею крайнюю нужду в подобном научении. Есть у нас печальные явления, в объяснении которых позвольте мне употребить одно сравнение, по наружности не очень благовидное, но в сущности хорошо идущее к делу. Вы знаете, что когда человек отучается или успеет отучиться от страшной болезни запоя, то он избегает самой улицы и селения, где находится питейный дом, который становится ему ненавистным; он с отвращением и каким-то испугом бежит от всякого винного запаха. Так и мир, испытав или дознав из истории, сколько горя наделало ему на западе духовное противоправное вмешательство в гражданские дела, сделался до болезненности опасливым со стороны всего, что сколько-нибудь отзывается этим вмешательством. Вот у нас в России разве совсем слепой не заметит в народном духе самой внутренней и господствующей струны – религиозной. Отчего же светская образованность, при полном уже сознании и убеждении в

необходимости вести дело мысли и образования на общенародной почве, избегает и как будто пугается поднимать и решать разные вопросы жизни и мысли в связи с вопросами религиозными? Не от болезненного ли опасения духовных вмешательств, – не от пугливости ли, возбужденной западным клерикальным преобладанием над общественным духом и мыслью?.. Рады бы мы сказать что-нибудь духовное по вопросу о преобразовании у нас судопроизводства, вопросу, касающемуся всенародного нашего состава; я уверен, что для православного нашего народа всякое дело, всякий вопрос преобразования необходимо окрестить Христовой истиной и благодатью, чтобы этот вопрос и дело преобразования привились к живому народному духу. Но как, при этом, не затронуть болезненной чувствительности нашего мира к духовному вмешательству, разрешающейся у многих какой-то нетерпимостью или совершенным пренебрежением ко всему духовному? С другой стороны грозит и еще иная опасность духовному лицу за его внимательность к тому, что совершается в мире. Испытав также или дознав из истории, как много христиан, увлекаемых в своих мыслях и жизни водоворотом мира, потерпели совершенное кораблекрушение веры, некоторые у нас готовы отнести к вероотступничеству всякое участливое внимание, особенно в духовном лице, к делам и вопросам мира. В этом отношении обыкновенно бывают у нас тем беспощаднее к другим, чем более сами уступали духу мирскому. Как избежать и этой опасности со стороны ругателей?

– Эх, батюшка, батюшка, – с грустью заговорил я. – Неужели и Вы малодушно хотите изменить духу (который сами же Вы любите разъяснять), духу Того, Кто снизошел к нам труждающимся и обремененным в мире со своей пренебесной высоты? Погибать что ли нам в нашей мирской неизменности, если истина Христа не будет и в нее проведена?.. И все это из-за людей, как Вы справедливо говорите, *запойных*, из-за их пугливости и отвращения ко всему, что напоминает им страшную их болезнь!!? Нет, нет! Если кто, действительно, хочет идти по духу Спасителя нашего и Господа, сошедшего за грешных и заблуждающих до смерти крестной, нисшедшего и в

ад, для освобождения от его уз грешного человечества, и восшедшего на небеса уже с земным, человеческим естеством (ведь это ваши же, слышанные и затверженные мной, слова), тот уж не должен пятиться ни от какой мнимой или действительной опасности. Вот что, батюшка! Но Вы, наверное, только испытываете меня; Вы серьезно не можете иметь тех опасений, которые высказываете. Когда Вы, по крестьянскому вопросу, изъясняли мне, что в этом деле, в порядок гражданства проводится благодать, давая нам и в этой области право быть свободными чадами Божиими, что Правительство и помещики, с христианским человеколюбием, признали и в гражданстве эти права свободных Божиих детей за крестьянами, и крестьяне приняли от Правительства и помещиков дар Христова именно человеколюбия – быть и в земном порядке свободными сынами Отца Небесного: то за такое разъяснение, как хотите, невозможно серьезно опасаться ни нарекания в духовном вмешательстве в чужие дела, ни пересудов и клевет об измене пред верой. Так и по вопросу о преобразовании судопроизводства я жду и ищу от Вас такого же духовного разъяснения, в чем именно состоит благодатное значение этого дела, или как, и в этом деле, православный русский народ мог бы приобретать и усвоить себе Господа.

По мере того, как я развивал пред отцом Иоанном эти мысли, от него же мной усвоенные, лицо его более и более светлелось не то от радости, не то от умиления, неизъяснимого для меня; наконец две чистые и крупные капли слез выкатились из его глаз. И вот, что он начал мне говорить:

– Благодарю Вас, бесценный мой! Вы своими речами ободрили и утешили меня в моих тяжелых думах. Мне и самому, не скрою от Вас, крепко хотелось говорить с Вами и о благодатном значении судопроизводства, как люблю с Вами говорить и о всяких других предметах. Но, при размышлении об этом предмете, начал я следить движение русской мысли по великому вопросу о взаимном соотношении и соприкосновении духовного и мирского. Невольно поднялись у меня грустные и тяжелые мысли, которые я только отчасти высказал Вам и от которых я приуныл – было далеко не на шутку. Вы знаете, что

прямо по вопросу об отношении между духовным и мирским у нас почти ничего не говорится в печати. Светская письменность старается, по возможности, обегать духовные предметы и вопросы¹, а то буде начнет оскорблять их; духовная же письменность привыкла говорить об отношении между духовным и светским слишком общо, а иногда и односторонне или также оскорбительно². В жизни нашей обыкновенно или большей частью бывает так, что, если кто пойдет по благочестию и займется духовным, он уже по возможности отворачивается от земного и мирского, и если кто занимается мирским, то уж отдается и духу мирскому, отдаляясь от Христова. В области знания и образования тоже. Но не отдаляюсь ли я все от заданного Вами вопроса о судопроизводстве?

– Нет, батюшка! – отозвался я, – Скажите, ради Бога, что особенно безотрадного нашли Вы в движении нашей мысли, касательно взаимного отношения между светским и духовным? Ведь, если китайская стена будет у нас разделять то и другое, то, очевидно, ни к чему не поведут всякие наши рассуждения о том, как, в благодатном духе, повести нам судопроизводство ли, или другое мирское дело.

– В этом то и беда наша. – заговорил опять священник, – Что Вы тут подделаете, если одни у нас, как будто *видя не видят*, что ничего неосвященного и неосвещенного Христом никак не может привиться к религиозному корню народного нашего духа (и это доказывается наглядно уже более, нежели полтораста лет нашей народной жизни), а другие тоже, как будто *видя не видят*, что православно-религиозное условливается не отчуждением от внешне-мирского, а собственно воззрением ума и сердца к Самому Господу, мыслями и расположениями в духе Его снисхождения к нам на землю (как Вы сейчас об этом говорили)?! О первых Вы сами прекрасно знаете, как они, забравшись на верхушку того или другого своего литературного муравейника, или воза с сеном своего журнального тщеславия, чем-либо потешенного, воображают себе, что ворочают всем русским миром, который, однако, совсем помимо их, занят своими делами и

затруднениями, радостями и страданиями; а им, действительно, не трудно было бы иметь могущественное столько же, сколько благодетельное влияние на этот мир, если бы они не проходили своим вниманием и уважением мимо главной его пружины, – именно религиозной. Они, подобно детям, которые, по пословице, «ожглись на молоке и дуют на воду холодную», боятся в религиозной области встретиться с мистическим; они не хотят разобрать, что ложное в мистическом есть именно мечтательность, пренебрегающая действительным из-за мечтательно представляемых тайн. Они признают, что и сами они всюду окружены неизбежной тайной, под которой состоит сущность всего существующего и происходящего в мире, но знать не хотят, что эта их мистичность несравненно темнее тайн благодати. Ведь благодать дает знать (с достаточными притом убеждениями в истине этого), что сущность или тайна всего сущего и бывающего состоит в действующей и совершающейся во всем мысли и воли Отца, раскрываемой Его Сыном, в силе и направлении Св. Духа, Духа истины, жизни и всякого блага, и притом не недоступной и нам грешным людям ради вочеловечения и смерти за грешных того же Сына Божия во плоти. Но хотят лучше оставаться с неведомой тайной бытия, чем с открываемой, – эти странные в своем роде мистики! Ну, как себе хотят, только произвольная их несостоятельность пред истиной видна сколько из того, что для собственного их разума, без Христа Бога Слова, остаются необъясненными в своем основании и существенном значении, и потому неоправданными, неосмысленными, самые его (разума) законы и требования и следовательно тем более все его измышления и воззрения столько и из того, что Христос Бог Слово, как верховное основание для разума и для всего, оправдал себя пред людьми чрез неотразимо ощутимую небесную чистоту и святость, властную жизненность и трезвую светоносность своего учения, чрез историю, с наглядной ясностью свидетельствующую о всемирном значении Христианства, чрез непрерывающиеся до ныне факты всемогущества и всеведения Христа, как носящего и объемлющего всяческая. Более не буду на этот раз говорить о странной и жалкой невнимательности

этих людей к религии, которая, по православному смыслу, всевозможно отвращая людей от духовного зла, не дает однако смущаться и ожесточаться от этого зла, как вынесенного самим Благом нашим – Христом, и которая обнимает всякое добро – гуманность, пользу, благородное наслаждение также, как и строгую правду и истину, потому что все это составляет полноту благодати Сына человеческого, каким стал за нас Сын Божий, Единосущный со Своим Отцом. Но мне хочется сказать Вам несколько слов о других, о ревнующих за религию, в которых иногда не менее этого странного ослепления или невнимания к существу религиозного дела, как и в первых.

Я спешил просить любимого мной о. Иоанна рассказать, что он знает об этом по опыту или из другого такой же достоверности источника. Он продолжал:

– Это есть у нас и в жизни, и в литературе. Вот Вам известные мне факты из жизни. Начальница одной женской общины сама мне рассказывала, как у ней две или три послушницы, останавливаясь только на букве, а не входя в самый дух *Житий Святых*, вздумали уйти в лес для непрестанной молитвы и поста в совершенном удалении от людей и мира, как они скитались по бездорожным местам и как наконец нашли их совсем почти одичавшими. Ясно, как нашим ревнителям и ревнительницам строгой жизни необходимо входить в самый Христов дух, одушевлявший Святых, дух не отвращения от людей, а человеколюбия и самопожертвования за людей. А то к моему покойному дяде, когда он был ректором В. Семинарии, приходит однажды ученик – мой товарищ, – и просить, как у Аввы, благословения тоже уйти куда-либо в безлюдное место, как древние пустынники. Но дядя (как я благодарил тогда за него Бога!) растолковал моему товарищу, что этот затеплившийся в нем огонек любви к Спасителю пусть он бережет и поддерживает в себе, проходя свое ученическое поприще, слушая и изучая свои школьные уроки. «Вот у нас (так говорил мой дядя молодому человеку высшего уже в семинарии класса) много наставников; а ты смотри своим духом к одному истинному наставнику и учителю – Христу (Матф. 23:8–10), Которого только орудиями для научения тебя истине – служат

все твои наставники, и Который духом своим всегда с верующими и внимающими Ему. У нас много разных учебных предметов, – и ты читаешь разные книги: но ни один учебный предмет, ни одна книга не выходит своим содержанием из области действительного или возможного; но все действительное, как знаешь, вся Тем, именно Богом Словом, *быша и без Него ничтоже бысть, еже бысть*, – вне Его ничего и невозможно. Следи же и изучай во всех учебных предметах и книгах, не в одних богословских и духовных, но и во всех прочих, изучай собственно мысль и волю человеколюбивого нашего Господа, *носящего всяческая глаголом силы своея*, самые грехи и вины мира вземлющего и понесшего на Себе. Выдерживай это всегда и везде, в каком бы кто направлении и духе ни учил тебя, какую бы книгу ты ни читал. Выдержишь это: вот и будешь подвижник, в котором Антоний Великий (к мысли которого едва приближались лучшие ученики его – святые подвижники) не откажется признать своего ученика и присного сына». Семя пало на добрую землю; мой товарищ пошел с этим направлением и незримо ни для кого продолжает, уже во службе, восходить с одной степени на другую своего подвижничества, светя своим братьям и сестрам в мире светом Христовым. Но покойный мой дядя со своими, высказанными мной, воззрениями и правилами был столько одиноким в своем кругу, что, когда я стал его понимать, мне иногда до слез было жалко его в сиротском одиночестве, которое было истинным, видным в тайне только Отцу Небесному, монашеским аскетизмом мысли и духа. А то вот еще, на памяти моей, замечательный факт, рассказанный мне также монахом – инспектором той же В. семинарии: у него был нанятой из грамотных крестьян келейник, который однажды и приходит к нему просить для чтения какой-либо книги; монах дает одну из книг *Четьи-Минеи*. Что же? Крестьянин чуть не с воплем вот какие повел речи: «Нет, нет, батюшка, мне уж за эти книги досталось, когда я еще смолоду, начитавшись их, отшатнулся от всех, пустился странствовать и скитаться, попадался и в общество раскольников; но меня, раба Божия, наконец поймали, воротили домой, да били, били как будто беглого; так

мне дайте другую книгу, чтобы такая дурь (собственное его выражение) *мне не лезла в голову!* Неужели подобный факт не вопиет о необходимости так раскрывать живой дух и силу наших церковных книг, чтобы человек, в котором сколько-нибудь затеплится Божия искра, не пускался на что-либо такое, что после и сам он назовет дурью, а проводил бы Божий свет в порядке действительной жизни, в союзе любви с другими людьми? Не забуду еще случая, как на моей родине один мужик, не успев убрать сена прежде дождя, полившегося из страшной тучи с грозой и вихрем, заговорил: вот уж подлинно, по Писанию, небо (разумея покрытое тучей небо) *без ума меч носит!*? Это, изволите, видеть, так он понял мысль Св. Апостола Павла о гражданском начальстве, что оно для злое *творящих* страшно, потому что не напрасно носит меч правосудия (Рим. 13:4). Неужели было бы преступление для чтеца, если бы он, читая из апостола в церкви, сумел это место: *не бо без ума меч носит*, сказать толковее для простых, хотя бы например так: «ибо (власть) не всуе меч носит»? Так-то бывает в жизни у нас, держащих, кажется, сторону Христова дела: у многих как будто вовсе нет заботы о таком поставлении Божией истины на вид, чтобы она не оставалась под спудом осязаемого невежества, а светила благодатным здравомыслием во всякие среды жизни. Не в осуждение кому-либо говорю это, а только слежу настроение нашей мысли по этому предмету.

– Неужели подобное есть и в литературе духовной? – спросил я.

– Тоже, как присмотришься, есть и в нашей литературе духовной, продолжал о. Иоанн. Искренняя мысль о чем бы то ни было высказывается всего более ненамеренно, когда, например, она высказывается по какому-либо стороннему предмету; тут никакая благовидность не замаскирует задушевной мысли. Вот почему пробным камнем того, как у нас идет духовная мысль по вопросу об отношении между мирским и церковным, служит для меня современный вопрос о светской власти Папы, сколько его касается наша духовная литература. Как у нас решают этот последний вопрос? Один против западной мысли, что светская власть необходима для свободы

и независимости церковной иерархии, вооружится той святой истиной, что свобода и независимость иерархическая есть собственно духовная, обуславливаемая не внешними, материальными способами; а затем сам же вопреки этой самой истине станет утверждать, что отнятие у Папы внешних или материальных способов власти светской – этот чисто внешний же способ будет одним из существенных условий к восстановлению западной Церкви в истинно-благодатное ее значение³. Другой будет исторически следить, как возникала и утверждалась светская власть Римского Архиерея, и дойдет до такого заключения, что эта власть есть будто бы необходимый результат событий, а между тем в оправдание этого сам же, в своем исследовании⁴, покажет, что Римский Иерарх и вместе гражданская власть на западе (в критический для них момент истории), *сами* избрали и решили для себя на будущее время свой нечестный пред Христовою правды путь, когда первый утвердил и освятил противозаконное хищение властительных прав у законновладычествующей династии (Каролингами у Меровингов), а другая, в благодарность за эту противодуховную услугу, завоевала в пользу Иерарха Римского и упрочила за ним права светского владычества (Пипин). Что это за противоречия? Почему православные исследователи не останавливаются прямо и решительно на том, что существенное зло и ложь папства – состоит не во внешних средствах и правах⁵, а в отсутствии у папской иерархии прямого направления к самому главенствующему над Церковью Христу и Его правде, в отсутствии Христова духа, *не от мира сего*, того именно духа, по которому Господь всегда внимал всеправой воле Своего Небесного Отца, жертвуя в то же время Собой за греховные вины мира. Разве трудно понять, что если бы и Папа, вразумленный православием и став в духовный уровень с Православными Святителями, последовал этому Христову духу, сущему не от мира сего, то или он сам отказался бы от своего внешнего владычества, чтобы не преобладать над чадами Божиими, или сами подвластные его не захотели бы, может быть, ни за какие блага променять власти своего отца, сознавая и чувствуя в нем уже живой отблеск благоволения Небесного

Отца (и в этом последнем случае Православие, конечно, не осуждало бы его властительства)? Но нет!! Почему-то хотят представить светское или мирское само по себе несовместным со духовным, не догадываясь, что этим уже не против папства ратуют, а для самих православных, ко вреду и мирян и духовных, поставляют какую-то непроходимую китайскую стену, или преграду, между светским и духовным.

– Признаюсь Вам, батюшка, заметил я, что мне и в голову бы не пришло, как это мы, благонамеренно, но недальновидно, ратуя против папства, можем обижать самих себя и вредить делу Православия.

– Таков пока характер и движение нашей мысли по этим предметам, – заговорил снова о. Иоанн⁶, – И что всего жалче, наша мысль сильно упрямится выходить на прямую дорогу. Вот, например, сама благодать Божия не перестает торжественно проявлять себя для нас именно в снисхождении своем к нуждам и недугам нашей жизни, даже физической, как это бывает именно в чудесных исцелениях болезней и в других чрезвычайных благодатных действиях. Ведь, это прямые уроки от Самого Вседержителя, что Духом Его осеняется наше земное странствование и со своей внешнежизненной стороны, а не в одном только церковно-духовном. Да чудеса и бывают совсем не как явления, противоречащие всегдашнему порядку вещей; напротив это суть только наиболее открытые проявления Того, Кто и всегда *носит всяческие глаголом силы своея*. То, что и в обыкновенном течении вещей совершается, только более или менее *в тайне*, – это самое в чуде является открыто: именно в чуде открыто заявляет Себя или напоминает о Себе всевластная и вседержительная мысль и воля Того, без Которого, и в самом обыкновенном порядке вещей, не падают и волос с головы и воробей с воздушной высоты. Но и в этом у нас мысль отказывается давать себе отчет, могущий способствовать делу мира между светским и духовным, земным и благодатным: куда нам, говорят, соваться в это со своим умом?! Нужды нет, что чрез это мы, не возбуждая в себе живой духовной внимательности к потребностям и недугам земной жизни, а заботясь о них с одной чисто-плотской стороны,

закосневаем в направлении, противном духу и смыслу самых чрезвычайных проявлений благодатных. А то бывает у нас вот как. Знаем, что Христос Бог Слово есть свет, просвещающий всякого человека грядущего в мир, что, при любви и верности к этому светению Христову, человек уже идет и наконец приходит к самому Свету – Христу (Ин. 3:21), что если он отделяется от Христа или коснит придти к Нему, уже вполне открытому для нас, то это значит, что он не имеет надлежащей любви и верности к Христову светению в самой духовной своей природе, или перетолковывает и затемняет сам для себя это светение, в чем и вся беда для того человека. Эту беду и надо бы одну поставлять на вид, не смешивая с ней благодати Христова светения в самой природе нашей. Знаем мы это или должны бы знать, и однакоже утверждаем несостоятельность пред истиной вообще «естественной религии»⁷ подводя под этот приговор, за одно с человеческой невнимательностью и неверностью к Христову светению, и благодать самого этого светения, хотя в последнем можно примечать светоносный дух Христовой тайны с самых даже глубоких или сокровенных ее сторон, – этот дух Агнца, *посылаемый во всю землю* (Откр. 5:6). Нужды нет, что чрез это в естественной области мы не отличаем от самого нашего естества порчи и омрачения этого естества, не отличаем остатков или предначатия благодатного света от человеческой темноты, а чрез это, вместо привлечения ко Христу, только отталкиваем от него тех, которые следуют свету Его же, и справедливо оскорбляются за отрицание или понижение состоятельности этого благодатного света пред истиной. И таким образом сколько земного и мирского, уже объемлемого предварительным или предначинательным Христовым озарением, оставляем мы для себя во мраке и значении плотских только порядков вместо полного и совершенного просвещения всего этого Христовой истиной и благодатью? Равно, с другой стороны, сколько идей или понятий и правил собственно Христовой истины отделяем от нее, вводя их в круг, так называемой, естественной религии.

– Вы зорко и тонко следите за нашей русской мыслью, – воскликнул я с увлечением!

– На первых порах борьбы веры против неверия, неразумно мечтавшего опереться на Христовом же светении в нашем духе, – продолжал священник, – еще можно было употреблять подобные приемы, отрицать или понижать это Христово в природе светение. Так, в первом пылу битвы, особенно в ночное время, смешивают иногда с неприятелем и своих. Но продолжать такой образ войны и впоследствии разумно ли? Посмотрите, какие печальные и даже ужасные происходят от этого следствия. Вот мы знаем о той благодати Божией, что Сын Божий стал человеком, подчиненным условиям порядков не только духовно-церковного, но и физического, и семейного, и гражданского, явившимся соответственно условиям и характеру своего времени, и все это ради всего человечества, вины и немощи которого Он также вынес на себе. Знаем, что потому дух и сила этой благодати и действует в человечестве всех времен соответственно их характеру и условиям, светя всякому человеку, грядущему в мир, без подавления своего света всяческой человеческой тьмой. Знаем, что именно ветхозаветное человечество, неимевшее еще приемлемости к самому существу благодати, сама же благодать приготавлила и вела, согласно его приемлемости, более или менее чувственно-образными способами к полному своему свету, предъясняясь так не только в избранной части рода человеческого, но носясь своим духовным веянием и над духом всякого народа и человека, а новозаветное человечество ведет к более и более существенному уразумению и усвоению своего света, с проведением его во все среды, не только духовно-церковные, но и гражданские, семейные, и физические, условиям которой подчинялся ради нас Спаситель. Что же из такой благодати делаем мы, грешные и заблуждающие люди? Когда одни не хотят уследить и в области естественного действующей и проявляющейся благодати, как образно и предначинательно в ветхозаветные времена, так существенно и духовно в новозаветные времена, – то другие не хотят к благодати и относить проявлений ее же духа, а напротив представляют, что Сам, исполненный благодати и истины, Христос почерпал свои идеи или истину будто бы из прежних

его же благодатных, предварительных проявлений, а на последующие времена оставил будто бы людям упреждать и Его Самого, или, яснее и точнее Его будто бы, овладевать истиной для проведения ее во всякие человеческие среды. Вы, не правда ли, читали книжку Лорана «О Христианстве», в которой развиваются эти последние мысли? – спросил меня о. Иоанн.

Я сказал, что знаком с этим сочинением и крайне раздражен перетолкованием в нем Христианства. Отец Иоанн отвечал:

– Есть, конечно, в этом сочинении многое, на что может справедливо гневаться вера. Но вместо гнева не лучше ли бы верующему, кто может, озаботиться – поставить на вид во всей чистоте тот свет истины, который в этом сочинении перемешан с ложью? Чтобы понять Вам мою мысль, проследим развитие мыслей в этом сочинении, не по внешнему их порядку в книге, а по внутренней их связи. В ветхозаветном человечестве сочинитель этой книжки видит управляющее начало в материальности и грубой силе; были у разных народов, особенно у евреев, одни только зародыши лучшего, которые и развились Христом, черпавшим будто бы из источников этих разнообразных зародышей в древних религиозных и философских сектах. Истине, содержащейся в Православии, не трудно оправдать и выяснить, что есть справедливого в сказанном, отбросив произвольное и ложное. Да! В материальном и чувственном, вообще в видимом, в котором выразились и осуществились творческие мысли Всевышнего Отца личным Его Словом, ветхозаветный человек слишком еще живо ощущал духовную силу, которая однако, при испорченном состоянии человека и мира, с продолжением времени более и более ослаблялась в своей духовной жизненности, как и человек все слабее ощущал это духовное; и таким образом чувственное более и более оставалось в своей материальной грубости, поражая только уже своею внешней силой. Но соответственно тому духовно-благодатное настолько открывалось уже прямо в своей духовности, насколько истощалась или закрывалась духовная жизненность в

чувственно-образном. В этом и состоял порядок истинного прогресса ветхозаветной жизни не только у избранного народа, но и у языческих народов. Поясним это примером, на котором и кстати нам остановиться для особого интереса истины. Ощущая духовно-благодатное значение мыслей Отца Небесного, осуществленных в видимых предметах самого *ястия* и *пития*, ветхозаветный человек мог и успевал и за чувственной манной или изведенной из камня водой вкушать *брашно духовное*, пить *питие духовное* от Самого Божественного Источника жизни Христа (1Кор. 10:3–4). Такая благодать, предначинательно и образно проявляясь в избранном народе, носилась своим духом и на всем человечестве, просвещая всякого человека, грядущего в мир, и в мраках, облежавших мир и человека в самом язычестве: и вот почему в буддизме, при особенном напряжении мысли у магов, явилась идея о напоении Божественной жизнью чрез простое *питие*⁸. Есть действительное отношение этой идеи к христианскому таинству Евхаристии, насколько свет благодати, существенно раскрытой в этом таинстве, предъявлялся в ветхом завете и светил самому язычеству, не объемлемо тьмой последнего. (В ветхом завете, действительно, были зародыши новозаветного, насколько в первом предъявлялась новозаветная благодать и истина). Не выяснив этого как следует, Лоран догадывается, что Господь почерпал свое учение из буддизма! Извольте видеть, что мысль книжки «О Христианстве», сколько есть в ней истины, может быть нами удержана, но также может быть и выяснена и вместе очищена от страшной лжи, с которой она перемешана. Истина есть неискоренимое насаждение Самого Отца Небесного, в чем бы они ни оказалась. Далее, в той же книжке говорится о деле Господа Иисуса, что Он развил зародыши ветхозаветные, черпая однако Сам из них же: так растение и с цветом и плодами развивается не иначе, как из своего зерна или семени. И здесь истина тоже перемешана с ложью, почему и в развитии сказанных мыслей о деле Христовом приняты за факты совсем произвольные вещи, например будто бы Господь был собственно нравственным учителем, а догматы во имя Его явились уже будто бы впоследствии, чему решительно

противоречит евангельская история во всех четырех своих видах, то истина, что Господь наш раскрыл в самом существе все, что завито было в чувственной образности и только отчасти предназначало разъясняться в ветхом завете, что было похоже только на зародыш нового завета; но Он раскрыл это не так, чтобы Сам черпал из источников дохристианских, из этих предварительных откровений и предощущений Его же благодати, но так, что выяснил и осуществил тайну последних, будучи Сам Божественным источником для них, обладателем и существенным предметом их тайны, как Агнец Божий, заколенный в мысли Божией уже от сложения мира и потому как устремляющийся духом своей благодати, чрез все продолжение ветхого завета, к своему боговочеловечению и развивающий в человечестве приемлемость к такой благодати. То самое, что, по изъяснению той же книжки «О Христианстве», Христос раскрыл и осуществил не только откровения еврейские, но предощущения и прочих религий, например, буддизма и гадания философских сект, это и свидетельствует, что Он носил в Себе тайну всего лучшего в древнем мире и почерпал истину Сам в Себе: разумна ли мысль, что светило дня, озаряющее всю нашу вселенную, заимствовалось у разных своих отражений? Снисхождение Господа до принятия человечества и до подчинения в нем всем человеческим условиям, до соответствия и условиям самого времени, в котором Он явился, это снисхождение, составляющее славу Божественной Его любви к человеку, обращать в повод к Его унижению неблагодарно и неблагородно!

– Очень благодарен я Вам, батюшка, – сказал я от всего сердца, – за разъяснение значения этой книжки в отношении к истине! Признаюсь Вам, что раздраженный перетолкованием Христианства в этой книжке, я уже наряду с ложью не хотел и знать самой истины, свет которой, как Вы разъяснили, виден же светящимся и во тьме произвольных толков и ложных догадок этого сочинения.

– Это у нас делается всего чаще и обыкновеннее, а ведь тут, с обвинением заблуждающих, и мы становимся виноваты пред истиной, не замечая уже ее в том виде, как она снисходит

до светения в самой тьме и тьма не объемлет ее света, подобно как и заблуждающие не замечают высоты снисхождения Христова в наш грешный мир ради нас грешных и погибающих. Но продолжим следить внутреннее развитие мыслей сочинения «О Христианстве»; дальнейшее прямо относится к главной нашей речи о проведении истины и благодати Христовой в среды земного и гражданского. По образу мыслей, выраженному в этом сочинении, Христианство, развиваясь в отрицаниях преобладания грубой силы древнего мира, допустило будто бы односторонность спиритуализма, пренебрегающего быт и нужды человека на земле. В устранении этой односторонности, в возведении и земного человеческого быта к идеалу духовного совершенства, выраженному Христианством для земного человеческого быта и жизни будто бы также только в зародышах, и состоит задача нашего времени и надежда будущего, приготовленная впрочем для нас борениями средних веков, совершавшимся во области здешнего человеческого быта, в соперничестве двух господствующих сторон нашего быта: духовной и гражданской. Опять и в этих мыслях ложь перемешана с истиной. То истина, что существо христианского совершенства, по учению Христа и Его Апостолов и Св. Отцов, состоит не только в благодатной по Христу любви всех и каждого к Богу и в Нем ко всем и каждому, но и в стремлении к грядущему Божию царству вечной жизни. Но как для открытия нам благодати такого совершенства и назначения человечества *подобаше Христу (Лк. 24:46)* низойти на землю, принять наше человеческое естество и в этом естестве снизойти до принятия и вынесения бремени всех бедствий человечества, сосредоточенных в смерти, и вознестись от земли на небо уже с земным нашим естеством: так и усвоить эту благодать для достижения совершенства и назначения нашего можно и должно нам не иначе, как входя в дух снисхождения Христова в наш мир под все условия жизни не только духовно-церковной, но и физической, и домашней, и гражданской, и восхождения Его на небо уже с восприятым человечеством, т.е., проводя Христову истину и благодать во все среды земного мира и быта и тем возвышая все человеческое до самого небо над

губительством и беспорядком лжи и вообще зла. Церковь на Соборах разъясняла и определяла основоположения для этого, открытые уже Самим Христом: именно, она указывала на Его Божество, снисшедшее действием Божественного Духа до единоличного союза с человечеством, с сохранением природы последнего с его силами, волей и действиями в самом таком его союзе с всесовершенным божеством, и все это ради нас человек, т.е., для того, чтобы все наше человеческое со всеми его сторонами от разума до телесности, равно в обоих полах и во всех средах жизни, спаслось или достигло совершенства, ему назначенного, возглавлясь в Богочеловеке. Видите, духовное совершенство в истинном Христианстве чуждо той односторонности западного спиритуализма, чтобы оставить и пренебречь земной человеческий быт.

– Но что ж такое, – возразил я, – монашество со своим отречением от мира?

– Но и монашество в книжке «О Христианстве», – отвечал отец Иоанн, – трактуется не иначе, как судя по односторонним его явлениям, а не по православным. Монашество есть соревнование Ангелам, которые посылаются и движутся Христовым человеколюбием на служение спасению людей на земле; потому монах, отрекаясь собственно от похоти плоти, похоти очес и гордости житейской – от этих стихий растленности мирской, не отрекается от дела служения спасению людей в мире сем, напротив равноангельно стремится быть духовным стражем спасения людей, совмещающего в себе все лучшее на всех их путях. Сравните, для объяснения здесь дела, монашество, например, со служением науке или просвещением. Наука должна иметь самое разностороннее приложение к жизни и действительности, но верность такому направлению просвещения и наиболее глубокое занятие наукой блюдетя и развивается особенно в кабинетном уединении ученых. Так и дух благодати и истины, для осенения им всякой земной среды, обык блюстися и раскрываться особенно в духовном уединении людей, соревнующих жизни и человеколюбию бесплотных служителей нашего спасения.

– Так, так, батюшка! – сказал я. – Но я теперь совершенно недоумеваю, из-за чего же в книжке «О Христианстве» так превратно истолкован дух Христианства вообще и дух монашества особенно? Дух истинного Христианства, как Вы разъясняете мне, и ведет именно к тому, чтобы проводить его во все человеческое, во все среды человеческого быта, к чему стремится направить и мысль и жизнь современную и сам автор сочинения «О Христианстве»; дух и назначение монашества состоит в том, чтобы быть равноангельской стражей, служащей охранению и утверждению человечества в свете Христовой истины и благодати, светящемся на все человеческое и в земном быте человеческом. Из-за чего же в этой книжке приписывается Христианству и в нем монашеству односторонность спиритуализма, пренебрегающего человеческим бытом? Это для меня тем непонятнее, что на этом самом и держится главная фальшь Лорана, будто Христианство уже изжило свою жизненность и теперь надо человечеству заняться уже наиболее самым земным бытом, от которого Христианство отрешало человека.

– Лоран знает Христианство, – отвечал священник, – испорченное уже неправославием; и о самых святых источниках Христианства, как Священное Писание и верные ему Святые Отцы, он судит не с православной точки зрения, как ему вовсе неизвестной. Поэтому все и представлялось ему в особом, неверном, свете, и он составил о Христианстве свое особенное воззрение, перемешавшее истину с ложью. Он не замечал в духе истинного Христианства того самого, чего особенно самому ему хотелось и к чему он направлял свои исследования, – стройного применения христианских начал любви и разумного единства ко всем средам и порядкам человеческого быта. Раскрывайте в мысли и жизни дух схождения Христова на землю: и Вы откроете в Христианстве бездну жизненности, могущей благодатно оживить все земное человеческое, мало еще и початой в этом отношении. Потому-то и тяжело на душе, что владеющие православием, которым не трудно стать на такую прямую точку воззрения на вещи, одни мало заботятся выяснить для себя и других истину, другие совсем почти не

дорожат домашним выяснением истины, по навыку увлекаясь только чужим, как будто ожидая, пока им чужие не укажут, какое сокровище находится у них дома. «Дети мы, дети» (скажу словами Белинского)! Вот чуждый нам сочинитель книжки «О Христианстве» прекрасно и верно следит, как в западном Христианстве (которое он принимает за представительное всего вообще Христианства) борьбой между властью гражданской и духовной вырабатывались зародыши нынешних политических и экономических стремлений, опирающихся на началах единства и любви, которые провозглашены для мира Христом. Но он, естественно, не останавливается на том, да и знать пока не может того, что на восточной половине Христианства, там, где есть гражданская независимость и свобода, именно в нашей Православной Руси – вся политика и экономия, весь наш быт во все продолжение нашей старины, строился на человеколюбивых началах Христовой благодати и истины, только еще делалось это с детской безотчетностью и неразвитостью, неизбежно грубоватой более или менее. Он не поставляет на вид, да и еще не может пока иметь и сам в виду, что при оказавшейся опасности для Руси, от своей безотчетности и неразвитости, впасть в односторонность спиритуализма, пренебрегающего земным и, с самовозносимым пренебрежением к другим, уединяющегося от них, Россия крепкой рукой Промысла, действовавшего чрез нашего крутого преобразователя Петра, поставлена в неразрывную связь с другими, более развитыми народами, и введена на поприще разработки всего бытового на земле, всего человеческого, и подвигнута притом на этот путь с сохранением всей чистоты и силы начал православного или истинного Христианства. Выясни себе это автор книжки «О Христианстве», тогда он вместо того, чтобы неразумно и напрасно мечтать о последующем ходе человечества, простирающемся уже далее Христианства (в чем, впрочем, есть доля правды именно по отношению к западному Христианству, которое автор одно и имел в своем главном и живом виду), со торжеством возгласил бы, что в самом Христианстве, если его понимать и держать в истинном и живом смысле (т.е. православно), содержатся

начала к дальнейшему развитию в духе разумного единства и любви, проводимом во все среды человеческого земного быта, и что не только христианский запад борениями средневековыми, но и христианский восток своей жизнью и судьбой уже приготовлен от Промысла ко вступлению в общий и дружный, желанный для всего мира, дальнейший ход по обновленному, или освобожденному от ветхостей лжи и мертвой рутины, пути. Но мы и сами не усиливаемся отчетливым разумением и живым чувством проникнуть в Божий свет, содержащийся в Православии, и другим не даем войти в этот чудный свет жизни, назначенный для всего человечества и простирающийся на все человеческое. Ведь, если с ключами разумения, содержащимися в Православии, ни сами не пойдем, ни другим не оставим доступа во внутренность храма истины, то мы подлежим Христову грозному за это приговору: *горе вам... яко взясте ключ разумения: сами не внидосте, и входящим возбраните* (Лк. 11:52). И не в наказание ли за это совершается у нас та беда, что одни вдаются по всевозможным распутиям нехристианских воззрений, а другие все более и более входят в несчастную односторонность и косность западного спиритуализма, забывающего любовь Господа к миру, низведшую Его в этот самый мир для его спасения – не просто из общества равноангелов, а с небесных обителей всех Святых Ангелов, движущую и все сонмы самых Ангелов на служение спасению мира. Подумайте, что за неверность и небрежность к человеколюбивой истине и ангелы, неустоявшие в ней, не пощажены, и Божий народ, изменивший ее духу ради мертвых форм, отринут, и православный некогда запад, незаметно и постепенно терявший силу Православия, оставлен наконец в заблуждениях неправославия.

Я повесил голову в тяжелом раздумьи. О. Иоанн, после двух-трех минут самоуглубленного размышления, продолжал:

– Вот все это, дорогой мой, у меня и поднялось на душе! все это мной и передумалось по поводу желанного преобразования судопроизводства: невольно приходила мне мысль, будет ли и когда будет у нас это духовное преобразование, по которому и все земное мы стали б разумеать

по Христу, все гражданские порядки были бы нами и понимаемы и сознательно выдерживаемы в силе и смысле благодатных порядков (ибо как же мы православные, и в этой области, выйдем из-под Евангельского упрека: *не и язычницы ли тожде творят?*). Обратился я к движению нашей русской мысли посмотреть, на сколько она приближается к этой светлой духовной эпохе, когда у нас все лучшее, заимствованное у западной Европы, увенчалось и освятилось благодатью, и когда, таким образом, дело общечеловеческое шло бы и у нас вперед ко благу не только нашему, но и запада и востока, чтобы *всем нам наконец быть едино*, как молился о нас сам Спаситель (Ин. 17:21). И увидел я такой сумрак в нашей русской мысли по вопросу об отношении между гражданским и церковным, мирским и духовным, что и Бог весть когда мы выбьемся к свету Божию. Я не скрывал от Вас невольной слезы радости, заметив в Вас живое и неудержимое стремление к духовной отчетливости. Не скрою и того, что в уединенных моих тяжелых думах я плакал, как ребенок, от представления, чего мы, православные, лишаем себя и других чрез свои односторонности или чрез леность и нехотенье отчетливо выяснить себе Христову истину по вопросу об отношении между светским и духовным, – по этому великому вопросу, из-за которого столько пролито и доселе проливается крови. Эти сумраки и полумраки в нашей мысли, скажу Вам, более меня пугают и обезнадеживают, чем полный и открытый мрак: в последнем, при открытии света, ничего нет, за чем бы погнался человек, а в полумраках или в борениях света с тьмой обыкновенно бывает, что полусвет и отстаивается, как совершенный свет, особенно при обращении этого в навык и рутину. «Никто, сказал Спаситель, пивши старое, не захочет молодого; ибо говорит: старое лучше» (Лк. 5:39).

– Но, добрый батюшка, все же Вы скажите мне не «общими только местами», как и в судопроизводстве надо приобретать и усвоить себе нашего Господа – единственную нашу истину и правду. Ведь, что мы доселе ни говорили, говорили по поводу этого вопроса, хотя за самый этот вопрос еще и не брались. Надо же решить и его, – говорил я.

– Еще бы не надо? – сказал с улыбкой любви и радости достойный священник. – Я себя бы обидел и лишил самой сладкой радости, самой питательной пищи, если бы такой внимательности и сочувствия отказал в слове от искреннего разумения и сердца; Вы знаете, что это слово Вам меня же первого ободряет и укрепляет, подобно как крестьянин-хозяин не нарадуется, если у него есть, что и куда посеять в благоприятное время. Да и наши речи, какие мы вели доселе, уравнивали нам только путь к тому, чтобы удобнее и разумнее взяться за решение того вопроса, по поводу которого шли эти речи. Да, бесценный мой! Дал бы Бог нашей мысли сколько можно светлее сознать, что и вообще нерационально, и особенно в отношении к нашему духу непредусмотрительно и нерассудительно, в чем бы то ни было, обходить существенную, основную в человечестве сторону и господствующую в нашем народе силу, именно религию или православие в самой его жизненности. Дал бы Господь нам домыслиться, что мирское, светское, гражданское, житейское, может, судя по своему духу, быть и от мира сего, общего и язычникам и магометанам, может быть и выше этой духовной низменности, слишком унижительной и обидной для православных христиан, что, потому, и в области мирского и светского можно и надо православному проводить свет и силу Христовой истины и благодати, выдерживая эту нужную и спасительную для мира стражу даже до подвижнического характера и духа. Вот Апостол Павел сам же учил Словом Божиим, что власть и языческого Правительства *от Бога*, однако с силой внушал христианам обращаться, именно в житейских судебных делах не к неверным судам, а к суду своих собратий по Христу, считая низким для христиан стоять по судопроизводству в уровне с язычниками (1Кор. 6:1–6). Дал бы нам Царь Небесный понять, что разумная отчетливость веры нужна для выяснения и употребления самых сокровищ благодатных, для дознания и удержания духа и направления самых благодатных проявлений, в которых благодать Христова не престаёт снисходить до своего чудного соучастия к нуждам и недугам нашей земной жизни, даже физической, дал бы Господь нам пробудиться к живой и

отчетливой мысли веры, от тяжелого сна ленивой или своекорыстно страшливой нашей косности. Дал бы нам Создатель и в естественной области Христовов светение относить уже к Его благодати и истине (которой именно оно и принадлежит и силу которой дает оно отчасти и сознать, а наиболее ощущать), а несостоятельность пред истиной видеть собственно в нашей, от прирожденного греха, разумеется, происходящей нелюбви или неверности этому светению, в нашем затемнении и перетолковании его: *всяк делаяй злая* в мысли и сердце или во внешней жизни – вот именно кто *не приходит к свету, творяй же истину*, верный ей умом и волей, насколько кому она открыта, такой уже *грядет к свету*, говорит сам истинный Свет наш в объяснение веры в Него одних и неверия в других (Ин. 3:18–21). Надо нам брать предосторожность, чтобы напрасно и ко вреду не расходиться с другими, насколько они верны Христову же светению правды в судах ли, в литературе ли; надо ратовать собственно только против неверностей пред истиной и правдой, кому бы они ни принадлежали в слове ли, в деле ли: чрез это сколько бы привлекали мы одних к Самому Христу во всяких областях, не исключая и граждански-судебной, столько бы не давали и другим закрывать свою неверность Христу суровой личиной и мертвой только буквой правды, распугивающей и отталкивающей от Христа людей во всяких средах, особенно светских и житейских. Все это, видите, необходимо требуется для такого благодатного разумения и ведения судопроизводства, да и в этом (по Апостольскому слову, которое Вы хорошо запомнили) *Христа приобретаем* (Флп. 3:8).

– В чем же состоит такое благословенное разумение и исполнение судопроизводства? – на таком своем вопросе продолжал я настаивать.

– Примемся теперь и за самый этот вопрос. – отвечал мне отец Иоанн, – Большого-то труда и не нужно для решения этого вопроса. Мы верующие, православные: а когда так, то *правда* наша есть уже Сам Христос и Спаситель наш, *правда* как в том (положительном) отношении, что вся сила всякого добра, жизнь и душа всякой добродетели и всякого частного доброго или

правого дела содержится для нас в Самом Христе, Которого мы, по Его благодати, и должны воспринимать себе при совершении всякого дела правды, так и в том (отрицательном) отношении, что Он, Агнец Божий, взял и вынес на Себе все и всякие вины и неправды мира и мы в нем имеем и должны усвоить себе и другим заглаждение наших неправд, умиловление Отца Небесного к нам, как прощеным от Него и Ему же любезным Его детям. Так это?

– Всеконечно так, – отозвался я, – а иначе мы не веровали бы во Христа или веровали бы неправославно.

– Сделайте теперь только применение этой великой истины к делу судопроизводства, и именно открытого и гласного. Это применение и сделать-то легко. Ведь, Господь наш Сам ради нас подлежал суду как закрытому в судилищах синедриона (духовного) и претории (светской), так и открыто гласному пред всем народом на лифостротоне, где и состоялся наконец решительный приговор о Его распятии (заметьте здесь, скажу мимоходом, что ни закрытость, ни гласность сами по себе еще не представляют ничего твердого и верного ни *против*, ни за правоту суда). Такому суду Господь подвергнул Себя, ведь, за нас, за всякого человека, не исключая никакого преступника, никого из судимых на наших судилищах; следовательно, дух совершившегося над Ним судопроизводства носится и над судами и судопроизводством кого бы то ни было. Господь наш, на суде-то своем и последовавшем здесь осуждении и потом исполнении судебного приговора крестной Его смертью, и явился окончательно и вполне нашей Правдой, заглаждающей наши вины и неправды, совершающей дело беспредельного и святейшего человеколюбия, до бесконечности ради нас самоотверженного и выполнившего в нашу пользу все требования правоты без тени послабления неправдам и беззакониям. Итак... да делайте уже сами нужное заключение.

– Говорите, говорите, батюшка, – промолвил я, – чуть переводя дыхание от нетерпеливого желания выслушать самую *суть* дела.

Отец Иоанн продолжал с торжественной важностью:

– Как мировые судьи и другие служители правосудия (в каком порядке это установится в новом судопроизводстве), так и сторонние зрители и слушатели судопроизводительного дела оказываются на великой, взаимно друг другом поддерживаемой, страже, чтобы не проглядеть, не выдать, не осудить самой правды, которая вся во Христе, чтобы не отринуть, не продать, не осудить *второе* Самого Христа, единственную нашу правду, а в Нем и всеблагодатную любовь к нам Отца нашего Небесного, простирающуюся к нам благодатью Св. Духа, только бы мы сами принимали это верой и верностью правде. Это вообще! По отношению же к правым и виноватым на суде, стража гласного судопроизводства, на которую с судьями и производителями суда возводится и все общество, получает особенную силу и выразительность.

– Продолжайте, продолжайте, – вымолвил я во время краткой паузы моего собеседника.

– Во-первых, – заговорил он, – что касается судебного дознания и оправдания правых, признающим силу всякой правоты в Самом Господе нашем – производителям и свидетелям суда – предстоит духовно, именно, Сам Христос Господь с правом своей собственной правды, и так говорит своей благодатью душам их: «Оправдайте Меня Самого в лице правого, подсудного вашему судопроизводству; судьи – изощрите все ваше беспристрастие и проницательность, чтобы и вы, верующие в Меня, не вменили Меня всеправого со злодеями и преступниками – в лице Моего меньшего брата и члена моего, в лице просто человека, за которого стал Я Сам человеком; – зрители и слушатели – своим участием и силой веры в Мое присутствие помогите вашим собратьям дознать и отстоять правоту собственно Мою в лице невинного подсудимого. Мой Отец за такую вашу любовь ко Мне возлюбит вас и к *вам приидет и обитель у вас сотворим* (Ин. 14:23): вот каков будет у вас храм правосудия». Во-вторых, что касается и до виновных и преступных, человеколюбивый Искупитель наш взял и вполне вынес и их вины с греховными винами всего мира; поэтому земное правосудие должно послужить прямо тому, чтобы и эти бедные и несчастные усвоили хотя сколько-

нибудь такую благодать Божественного Человеколюбца – чрез самое дознание и правое осуждение их преступления, чтобы они хотя сколько-нибудь сообщились человеколюбивому духу Христовых страданий – чрез самое, более или менее страдальческое для них, исполнение судебного над ними приговора. Истина Христова внушает в этом отношении каждому производителю и свидетелю судопроизводства такой благодатный урок: «поревнуйте и посодействуйте, чтобы и по отношению к осуждаемым преступникам не напрасно пролита была кровь вашего, общего с ними, Спасителя и Господа. Не ведите и не наблюдайте дела дознания и осуждения преступников – с черствым духом равнодушия, или одного только негодования на преступление, или простого только любопытства и любознания. Напротив, незримо и неслышно ни для кого из людей, в тайне духа вашего, видно Отцу Небесному, возжигайте в себе молитвенную веру, что и за разбойников и всяких уголовных преступников умер Искупитель наш; вводите себя в то настроение и заботу любви, чтобы не дал Господь преступнику ускользнуть притворством или другими кознями от правосудия, вводящего его именно в соучастие очищающей всякую нашу неправду Христовой правды, а дал бы ему, в самом открытии и осуждении его виновности, совершить, так сказать, публичную епитимью веры в Умершего за все наши вины и преступления. Тогда храм нелицеприятного и строгого правосудия будет храмом очищающей и исправляющей преступников и злодеев Христовой любви и благодати». Видите, – заключил священник, – как щедр и милостив к нам Господь во всем, если хотим узнавать и принимать Святую Его истину и благодать. Вот как по новому завету, – *суд Божий есть*.

– Истинно, отец мой! – сказал я, тронутый. – Так вот в каком духе должно быть наше новое судопроизводство, чтобы, действительно, исчезли судебное лихоимство и взятки, чтобы это великое преобразование послужило к оживлению и просвещению нашего народного духа; чтобы заимствованное из других просвещенных стран уже совершенным и освященным вошло в самую сердцевину нашей народной жизни; чтобы талантам и образованности открылось поприще для живой

деятельности правды и добра, на благословение и благоустройство всего народного состава, не исключая никакой невежественной среды, не исключая самих судимых и осуждаемых преступников. Благодарю Вас, добрый мой батюшка!

– Но не забудьте, – сказал отец Иоанн снова с грустной задумчивостью, – пока русская мысль и жизнь не проснется для выяснения и практического применения великой истины о проведении благодатного и духовного и в светское и гражданское, земля обетованная еще у нас впереди и мы продолжаем свое странствование по каменистой Аравии. Надо нам всеусильно подвизаться молитвой и словом, чтобы нашим Моисеем был сам Господь, действуя Своей святой и человеколюбивой истиной и благодатью на дух нашего правительства и народа.

– Господь-то, – сказал я, – уж непременно доведет нас и до земли обетованной, до озарения и оживления нашего земного небесной Его благодатью и истиной. Только страшно, если и нашему поколению в его большинстве придется измерять в пустыне Аравийской, предоставив войти в землю благодати уже новому, лучшему поколению.

– В том-то и беда наша, – отвечал о. Иоанн, – что эта страшная опасность, действительно, грозит нашему поколению, а мы и знать этого не хотим. А между тем иго Христово, к которому мы так невнимательны, и благо и легко для нас! Ну, хоть взять тоже дело судопроизводства, обновляемого у нас. Мне хочется прибавить к сказанному несколько слов о деле наших будущих адвокатов, присяжных и судьи, как прекрасно и не трудно было бы им, если захотят они, вести каждому свое дело со Христом. Вы знаете, что Господь, во время самого Своего распятия на Кресте, возгласил пред всеми о своих врагах и убийцах: «Отче! прости им; ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). Видите, это Он ходатайствует пред правдой Своего Отца за преступных виновников насильственной и позорной Своей смерти. Не слава ли для адвокатов, и трудно ли им, при защите своих клиентов, внутренне держаться вечного Ходатая всех людей и одушевляться в своих мыслях, словах и

движениях человеколюбивым Его духом? Это даже и в том случае, когда бы защищаемые были преступны или когда бы их преступность и была выводима наружу адвокатом. Ведь и Господь Своим ходатайственным словом не закрыл преступности Своих убийц. Слово: *отпусти*, "прости *им*", необходимо предполагает ту истину, что они виноваты. Поэтому и присяжным в их рассуждениях и решении, виноват ли, или нет, подсудимый, что препятствует держаться также самого Господа и по Его благодати вести свое дело пред самым Отцем Небесным, предавая Его благодати и правду правых и виновность преступных? Наконец, вспомнив слова Христовы: «Отец и не судит никого, но всякий суд отдал Сыну» (Ин. 5:22), мы можем в таком же воззвании Христовом: *Отче! отпусти им, не ведут бо, что творят*, услышать приговор христоубийцам еще не к отвержению, а к долготерпеливому возбуждению и ожиданию их раскаяния. Итак и судье, произносящему приговор о подсудимом, Господь дает блаженную возможность совершать это дело не без Него, а с Его человеколюбивым и спасительным для людей духом. Ведь все, что ни делал Господь, должно по своему духу и спасительной силе служить первообразом и основанием для нас в наших делах! – Остановитесь притом благоговейным Вашим вниманием на этих словах: «не ведут, что *творят*, не знают что делают». Известно, какое тяжелое чувство возбуждается человеческими пороками и преступлениями, как опытами и зрелищем их ослабляется живая связь с людьми, подкапывается и отравляется любовь и сочувствие к ним. Известно и то, как много жалости и участия к себе возбуждают даже порочные и преступные люди, когда открывается или имеется в виду, что собственно от их невежества, от недоразумений, от глупых и темных понятий произошли их пороки и проступки, что эти люди, совершая свои возмутительные по преступности дела и предаваясь черным, жестоким движениям, сами не знают, что делают. Человеколюбивый Спаситель наш внушает Своим примером и духом именно такое направление при обсуждении человеческих проступков и преступлений, чтобы смотреть более на неведение

и неразумие преступников, чем на нравственную их растленность. Кто может быть преступнее христуубийц? Сколько преступного в злобе и зависти ко Христу начальников иудейских, в черной неблагодарности к Нему народа и прочее и прочее! И как, казалось бы, христуубийственным Иудеям не узнать Господа из небесного достоинства Его учения, из пророчеств о Нем, из чрезвычайного обилия благодетельных людям Его чудес? Но, несмотря на все это, Господь указывает не на духовную растленность их, а на их неведение. Видел Он, милосердый Человеколюбец, как жесткие и вместе самообольщенные понятия современного Ему иудейства, подобно мрачным облакам, закрыли от большинства избранного народа и их вождей солнечное сияние Его истины и благодати, а язычники, Пилат и римские воины, ослеплены были своим многовековым язычеством и потому не умели взглянуть прямо на истину; и вот несчастные грешники распинали Господа славы, сами не зная, что делали. На это и указывает Спаситель мира, умоляя Своего Отца простить таких, по-видимому решительно недостойных ни малейшей пощады и милования, преступников, каковы христуубийцы. Такому Христову направлению и должно следовать наше будущее гласное или открытое судопроизводство, чтобы представления и разоблачения человеческих преступлений и пороков не иссушали, а напротив поддерживали в духе народном разумное сочувствие и сострадание и к преступному человечеству.

– Дай-то, Господи, такую благодать нашему обществу и народу, – сказал я.

II разговор

(После предварительного очерка некоторых церковных поучений) о проведении в разные мирские или бытовые, житейские среды благодатных начал

Люблю я и пользуюсь всяким удобным случаем – бывать за богослужением, совершаемым досточтимым моим батюшкой о. Иоанном, и слушать живые, назидательные его поучения, которые он рассказывает без тетрадок и вообще без искусственных приготовлений. Пришлось мне осенью 1862 г. быть в его приходской церкви в такой праздничный день, когда, по распоряжению начальства, о. Иоанн должен был читать в церкви, «после божественной службы», Высочайший Манифест о рекрутском наборе, который должен быть проведен в следующем году, спустя восемь лет после последнего набора. Досточтимый священник, сказав обычный по совершении литургии отпуст и держа в правой руке животворящий Христов Крест, (к Которому обыкновенно «прикладываются» прихожане после богослужения), сам прочитал весь, довольно пространный, Манифест.

Признаюсь, что при господствующем у нас, в действительной жизни и в образе мыслей большинства, разобщении между духовно-церковным и мирским, как-то странно для моих ушей звучали в храме Божиим слова о составе рекрутского присутствия, о возрасте по годам и об измерении аршином роста рекрутов, о введении их в рекрутское присутствие не в обнаженном виде, как прежде, а в сорочке, – о «сложении со счетов» некоторых повинностей, и проч. и проч. Но о. Иоанн читал Царское слово обо всем этом с цветущим и даже словно торжествующим лицом, и видно было, что ему особенно по сердцу было чтение в церкви Божией Манифеста о рекрутстве. Я ожидал, что он поделится с прихожанами своей мыслью, одушевлявшей его тогда. Я не ошибся. Прочитав Манифест, о. Иоанн обратился к народу со своим пастырским словом.

Прежде нежели скажу о содержании этого слова, хотелось бы мне объяснить, как обыкновенно говорит о. Иоанн свое церковное слово. Я уже сказал, что он говорит без тетрадок и приготовлений. Не то значит это, что он говорит без предварительного размышления о предмете своего поучения: напротив, зрелая и отчетливая обдуманность выражается в его свободном слове, давая ему владеть и раскрывать свой, избранный для слова, предмет, с какой стороны только ему захочется или заблагорассудится. Он говорит, смотря прямо и проницательно в глаза своих слушателей, обращаясь то в одну, то в другую сторону; не ускользнет от него ни тусклый и тупой взгляд непонимания, ни рассеянность невнимания, ни озабоченность сторонними предметами. Заметив то или другое на которой-нибудь стороне своих слушателей, он сейчас, не сводя глаз с этих слушателей, употребит всевозможные объяснительные сравнения духовных истин и станет с живым разнообразием повторять сказанное, пока не овладеет вниманием слушателей и в их оживленных глазах не заметит, что они понимают его. В понимающих его старается он предупреждать всякую тень или сумрак недоумения о чем-либо, или неубежденности в глубине их души; в этом случае он спешит поставлять самого себя в состояние неведения или затруднения выразуметь то или другое, чтобы, став за одно или сообщая со своими слушателями и взяв на себя тяготу их недоумений или умственной косности, тем удобнее поднять их ко свету разума и убеждения в истине. Главная же духовная его особенность в деле проповеди та, что он, проповедуя, сколько своим слушателям внушает и часто напоминает внимать единственному Учителю сердец Самому Господу, столько и сам приметно, с благоговением предстоит духом своим Тому же единому Божественному Наставнику, Который Сам беседует благодатно с умами и сердцами поучаемых.

Таким-то именно образом о. Иоанн и начал говорить в церкви, по прочтении Манифеста о рекрутстве. Как теперь слышу первые его слова: «Вот, православные, не напрасно я говорю, что верующим в Господа Иисуса надо и простые, мирские дела делать не иначе, как служа или работая Самому

Господу. Ведь рекрутчина – дело мирское, а вот она, по распоряжению православных наших властей, провозглашается в Божией церкви, где прославляются и провозглашаются дела собственно Божии. Видно, и рекрутский набор, и рекрутское присутствие принадлежат к делам и порядкам Божией державы, спасающей нас своей благодатью; поэтому только, прилично и уместно говорить о рекрутчине в Божием храме, находясь в котором *на небеси стояти мним*, по выражению церковной песни. И в самом деле...». Затем проповедник стал развивать такие мысли, что власть и держава или царство и слава существенно составляют принадлежность или вечную собственность Отца и Сына и Св. Духа (как слышим в особенно торжественных церковных возгласах); что, если мы, по своей греховности достойны грозного, даже карательного управления Божественного и уже никак не достойны такой благодати, которая входила бы со своей животворностью и в наши мирские дела, то Единосущный всю любовь Своего Отца со всей полнотой жизненных сил Св. Духа носящий и проявляющий в Себе, Сын Божий соделался ради нас, грешных. Сыном человеческим и в Своем человечестве умер всесвятый, как бы виновный за наши и всемирные вины, и вот чрез это простер и на нас грешных животворящую в силе Св. Духа любовь Своего Отца; что в особенности Он, ради всего человечества являясь среди богоправимого израильского гражданства обетованным Царем благодати и умерши крестной смертью, как нестерпимый уголовный преступник и притом из рабов, усвоил чрез это Своей благодати все тело гражданства от головы, какова верховная царская власть, до самых низких и последних членов, каковы караемые законом преступники; что только следует нам своей послушной и деятельной верой принимать и усвоить себе такую благодать... Идя далее, в своем слове о. Иоанн представлял своим слушателям, что если и гражданством православно верующих правит, в существе дела, держава Божией Благодати и если именно Господом православный наш Царь самодержавно царствует, то и все правительство Царя, все правительственные у нас присутствия, след. и рекрутское присутствие, служат Всевышней державе, проявляя

владычество над всем нашего Господа и Его благодати; что, потому, и войско, в которое набираются рекруты, служит охраной, защитой и силой царства такого, которое и с самим его Царем и правительством незримо держит и правит Сам Господь Вседержитель и Спаситель наш: православные солдаты – это слуги не просто Царя земного, но и Царя царствующих. «Все это внушаем вам, православным, – продолжал православный священник, – не так, как бывало и еще продолжается у западных или римских христиан – у латин, изменивших православной вере: главный их архиерей, а за ним и все подчиненные ему пастыри, также напоминают царям и царствам о державе Божией, ими правящей, но, под предлогом этой державы Вышнего, усиливаются сами властвовать над Божиим достоянием – христианами. Мы же говорим вам о владычестве и над гражданством Самого нашего Господа – Главы для всего небесного и земного и умоляем вас, в наших мирских делах и порядках служить прямо Ему Самому, в служении Которому самые херувимы и серафимы полагают всю свою честь и славу; мы, служители церкви Божией, не вмешиваемся в ваши дела, а только служим тому, чтобы благодать властительства над вами Самого Господа Иисуса и в Нем Отца Его, Отца светов и щедрот и всякого утешения, светила вам во всем, значит и в рекрутчине, и руководила вас ко всему доброму». Наконец пастырь и начал убеждать сельское общество своего прихода, чтобы они, зная о Господней милости и благодати, заведывающей и правящей у предающихся Господу и мирскими делами, исполняли дело рекрутства честно и свято пред Самим Богом – Вседержителем и Спасителем нашим; убеждал родителей и всех близких к тем, кому выпадает доля рекрутская, чтобы они не роптали и не жаловались на избрание дорогого им человека в великую и славную службу не просто только Царю земному, но и Самому Царю Небесному, Которым Царь наш царствует; – убеждал и тех, кому выпадет жребий этой великой службы, или кто сам будет вызываться на нее, не бесчестить ее чем бы то ни было, а проходить службу царскую, как служение Самому Господу. В подтверждение этого, проповедник указывал на то, что Св. Апостол Павел тех,

которые «верой побеждали царства, были крепки на войне, прогоняя полки чужих» ставит в один ряд с теми подвижниками, которые ради Бога скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11:33–38). Потом еще рассказывал пастырь, как именно препод. Сергей, когда у него просил благословения и молитв великий князь Димитрий Донской на битву с Мамаем, отрядил в великокняжеское войско двоих из своего духовного воинства – из монашествующей братии. «Что это значит? – говорил пастырь. – Не в мир ли возвращал великий подвижник тех, которые отреклись от мира? Этого не мог сделать Преподобный Отец наш. Что же он сделал? Видно, он смотрел и на земное православное и христолюбивое воинство, как на служащих тому же Господу, Которому служит и духовное иноческое воинство; и вот из этого последнего он посылает двоих братьев в ряды воинские, как бы только из одного монастыря в другой. Видите, что и в воинской службе служа, в сущности дела, самому Господу, православный достигает живого и внутреннего сообщества с равноангельным чином, находящимся, при верности своему званию, в благодатном общении с самими Святыми Ангелами. Вот к какому достоинству и службе выбираются и пойдут рекруты, если сами не осрамят своего призвания, а напротив будут служить по православному. Займитесь же, православные, делом рекрутского набора, как делом Божиим!» Так окончил свое слово о. Иоанн; прихожане слушали его в глубокой тишине, со светящейся в их взорах какой-то умиленной радостью, помышляя, конечно, о том, что с такой благодатью призывает Господь и на их мирскую долю и дела. Я, разумеется, уже совсем иначе теперь смотрел на чтение Манифеста о рекрутчине в церкви Божией: для провозглашения Царского слова о рекрутском наборе, как о. Иоанн протолковал нам смысл последнего, приличнее места и найти нельзя кроме Божьего храма.

Пока о. Иоанн заканчивал свои дела в церкви, я прогуливался около двух прекрасных прудов, находящихся между лугом с одной стороны и селением с другой. Мне само собой припомнилось и другое поучение о. Иоанна, которое он

сказал во время сбора подушных оброков в его приходе; мне тогда также случилось быть в его приходской церкви. На тех же коренных основаниях, которые раскрыты в выше очерченной мной проповеди о. Иоанна, он учил своих прихожан, чтобы они, внося свои оброки куда следует, мысль и чувство, эти глаза своего духа поднимали выше, именно к Тому Самому, от Кого поставлены все власти. Кем Цари царствуют и Кто, для доступности к нам плотяным и грешным людям во всем нашем человеческом к очищению всего от яда и скверны греха, будучи Богом – *плоть бысть* и стал совершенным человеком и все наши греховные вины вынес на Себе до непостижимого для нас состояния – оставления от Своего Отца, до смерти. «Так и при простой отдаче денежного оброка, – говорил о. Иоанн своим прихожанам, – будете служить и самым оброком выражать сыновнюю преданность и послушание Самому Отцу нашему Небесному, Сына Своего давшему нам, человекам, поставившему Его на земле и в самом гражданском быту, так что Сын Божий ради нас, именно в благодать к нашему гражданскому быту, и родился и умер под державой Кесаря. Чтобы нам лучше заметить, для усвоения себе, такую к нам благодать, Господь при самом рождении благоволил быть записанным в общенародную перепись, которая была тоже, что наша, так называемая, *ревизия* или ревизская перепись, по которой вы платите свой подушный оброк. Смотрите же, православные, так платите оброк, да *Христа приобрящете* (Флп. 3) и в этом деле, изъявляя чрез оброк свою сыновнюю подвластность Самому Отцу Небесному, Который, ради вочеловечения Своего Сына, проявляет благодать Своего Всевышнего Отечества во всех наших высших, или начальниках, начиная от Царя до наших родителей. Славно для нас и оброк платить, в лице православного Правительства Самому Всевышнему Царю и Господу нашему. Так будем снискивать и благословение на нашу земную жизнь, на земное наше отечество с нашим Царем, и вместе спасение и вечную нашу жизнь. Платить оброк – для всех одно и тоже, но есть бесконечная разница, если ты, платя оброк, не будешь в этом разниться, например, от татарина или другого неверного, тоже

платящего оброк, или если ты, платя тот же оброк, будешь чрез это исполнять сыновнее дело пред Самим Отцом Небесным, по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки». Я тогда же записал это заключение проповеди, пришедшейся мне так по сердцу. Вспомнилась мне и еще, слышанная мной, проповедь моего досточтимейшего отца Иоанна. Он говорил эту проповедь именно в Фомино воскресенье – первое воскресенье после Святой недели, имея в виду, что в след затем у одних начнутся полевые работы, а другие из его прихожан пойдут снова на заработки по разным местам, откуда собрались домой «на Святую». Пастырь внушал тем и другим работать, на поле ли или за каким ремеслом, Самому Всеблагостному Всевышнему нашему Хозяину – Господу, Который всегда с нами. «Работаешь ли ты на поле?» – говорил о. Иоанн, «помни и почаще думай, что это раскинувшееся над нами небо, эта обрабатываемая тобой земля. все на ней растения и семена, все, что ты ни садишь или сеешь, этот свежий воздух, которым ты с утра до вечера дышишь под открытым небом, и ты сам со всеми и всем, кто и что у тебя есть, все составляет собственность и дело рук нашего Господа и Отца. Или работаешь ты в мастерской? Весь материал, над которым ты трудишься, твои руки, твои товарищи, твой хозяин – все это находится в верховном владении и заведывании Отца нашего Небесного. Свою собственность, Свои дары отечески Он поручил тебе в сыновнее распоряжение и употребление, разумеется (и это тебе не надо забывать ни на минуту) все по той благодати, что возлюбленный и единосущный Сын Его соделался Сыном человеческим и жил на земле, пользуясь и плодами земледелия, например – хлебом насущным, и изделиями ремесла, например – жилищем и одеждой». При этом о. Иоанн, с особенным утешением и радостью о Божией благодати к людям рабочим, обратил внимание своих слушателей на то, что Христос Господь, для жилища Своего в частной Своей жизни и для попечения особенно о Своем детстве, избрал дом и усердие человека рабочего – *тектона* или, по-русски, плотника Иосифа, который удостоился быть обручником Матери Божией.

«Ведь это, – говорил радующийся о Боге своим священник, – это все, Его, – ведь это все благодать к нам Бога нашего! Это благодать особенно на тебе, человек рабочий, чтобы ты работал свою работу для Самого Господа, столько тебя возлюбившего, что он захотел и жить у человека рабочего, как у Своего названного отца; а частная Его жизнь, проводимая Им сначала у плотника Иосифа, а по его смерти у его детей, продолжалась до тридцати лет, тогда как всенародно совершал Он свое дело только три года с половиной. Не жалуйся же на низкость твоей рабочей доли, столько благословенной снисхождением к ней Господа. Да и Его Самого, Господа нашего, недаром называли самые, попросту сказать, земляки Его, – тоже *тектоном* или плотником, как скажет Евангелист Марк. Ведь дух и сила того, что совершил для нас Господь, простирается на всех людей, на все времена, и деется для самим Духом Святым. Плотничество – дело рабочее; если Господь хоть сколько-нибудь касался его, то это благодать для всякого рабочего дела. Только сам ты, православный, за своим трудом работай Господу и с Господом; помни Его, соделавшегося для тебя человеком, столько возлюбившим притом рабочую долю, и трудись по воле Его, как истинного твоего Хозяина. Тогда и дело твое, хоть бы самое чернорабочее, благопоспешится не только для здешней жизни, но принесет плод и для будущей вечной». Незабвенные для меня слова! Вспомнил я и еще поучение о. Иоанна, сказанное новобрачным после их венчания. Он наставлял их, чтобы они имели в живом внимании и виду своей веры благодатное отображение в их союзе – союза Божественной любви между Господом и Церковью, того союза, в котором Господь пожертвовал Собой для Церкви, и Церковь *не ктому* себе живет, но живет в ней Христос Господь; убеждал мужа – не опускать, из вида своей веры, отображения Христовой Церкви в своей жене, а последнюю – отображения Христова в своем муже. «Тогда и ваше хозяйство, – говорил добрый пастырь, – будет подобно зеркалу отображать то, что делается по домостроительству Христову в Церкви; только все, что ни делал бы ты, муж, для своей жены, делай для нее, как для живого образа Христовой Церкви, а ты, жена, все делай и устраивай

для мужа как для живого образа Христова. Такой взаимный друг на друга взгляд веры и любви не труден, а напротив составляет для вас именно благое и легкое иго Христово. Когда Господь благословит вас детьми, помните и крепко держите в мысли, что, по благодати Христианства, ваши дети будут не просто только вашими, а и детьми Самого Отца Небесного, потому также всякое попечение о них, всякое дело для них исполняйте как не только для ваших детей, а как для детей Божиих, вам врученных на сохранение и возвращение в духе любви Отца Небесного».

Все это мне припомнилось, и я смотрел на расходящийся из церкви народ истинно как на нового благодатного Израиля, на народ Божий, живущий во всем под благоволением всеблагостного Отца Небесного, ради великой благодати Его Сына, соделавшегося Сыном человеческим для человеков. И светло было у меня на душе. Мне думалось: как бы скоро дух народный возбудился у нас к истинному просвещению и к самостоятельности во всем добром и полезном, если бы направление и дух о. Иоанна был общий ему с большинством пастырей, если бы церковные поучения говорились не по заготовленным на целый год темам, чем занимаются иные духовные журналы, а по живым и насущным потребностям самой жизни, главное – если бы в народе оживлять великую мысль о возглавлении всего земного, как и небесного, в Самом Христе и в почивающей в Нем любви Самого Отца Небесного, простирающейся на все человеческое к освящению и оживотворению всего Самим Св. Духом!..

Увидев и церковнослужителей, выходящих из церкви, я поспешил к о. Иоанну. В своих думах я не заметил, как он вышел из церкви; только пришедши в его дом, я нашел его здесь уже за чаем, разливаемым матушкой попадьей; у них сидел еще гость – купец ближайшего городка, приехавший сюда по своим делам. О. Иоанн и купец толковали что-то о торговле, как я заметил из речи о рублях и копейках, еще слышанной при моем входе в комнату. Общество, по внимательности к новому гостю, занялось на время выражением ему радушных приветов; тут же познакомили со мной почтенного купца. Поместясь на

предложенном мне стуле и принимая чашку с чаем от хозяйки, я не вытерпел, чтобы не высказать несколько задушевных слов благодарности о. Иоанну за его проповедь, осветившую для меня самые простые вещи, как будто новым светом Божия слова. Зная, что батюшка не охотник до подобных речей, я оговорился, что благодарность моя относится, конечно, к единственному нашему Учителю, напомним о Котором я так часто слышал от о. Иоанна.

– Вот это дело, – отозвался он сейчас же на последние мои слова. И мне самому, во время самой речи о том, как благодать в самых простых вещах близка к нам и отечески или матерински занимается нами, сама собой приходит благодарность нашему Благодетелю Господу.

Замечу здесь кстати, что, тогда как при речи о Господе у других людей, как-то невольно вытягиваются лица и принимают какое-то натянутое, искусственно важное выражение (как будто речь идет о чем-то пугающем, к чему мысль и не привычна и не расположена), – из уст о. Иоанна речь о Господе слышится как именно добрая и самая близкая к вам речь; лица слушателей светлеют сами собой.

– Да, батюшка! – заговорил купец с легким вздохом, не теряя однако светлого выражения в лице. – Вот и рекрутство – дело Божие: пойдут рекрутики, словно в Божий монастырь, на службу Божию. А вот наше грешное – торговое дело: только и знаем, что аршин, да фунтовики, али там гири пудовые, а пуще всего рубли с копейками. Экая грешная наша доля!

– Полно гневить своего Отца Всеблагостного, – сказал о. Иоанн, – будто торговые люди у Него не дети, будто Сын Его только для других людей, а и не для них, стал Сыном человеческим. Подумайте-ка еще, что, когда возлюбленный Сын Отца Небесного стал и Сыном человеческим – Сыном собственно Матери-Девы, и это единственно для нас человеков или, так сказать в пользу *нашу*, то чрез это Он дал нам не только всеблагое, всещедрое Отца – в Самом Своем Небесном Отце, но и благую, сострадательную Мать – в Своей Пресвятой Матери. Видишь ли, – в Господе Иисусе открыты нам, человекам, для всякой нашей доли, значит и для доли

торговой, открыты все щедроты, вся любовь всевышнего Отца к избавлению нашему от греха и гибели; да, кроме того, для наших немощей, для нашей ребяческой слабости, и глупости, есть материнская поддержка и заступление в Самой Пресвятой Богородице... Только бы мы не отвергали, а хоть по-детски присвоили себе эту великую благодать на все наши человеческие жребии и дела, для возвышения их от греховной бездны: Матерь Божия младенчествуящий в нас дух Своего Сына сохранит и возрастит в меру полного возраста Христова. Это уж Ее материнское дело, исполненное Ей в отношении к лицу Самого Господа, но имеющее неоскудевающую силу и для Его сообщников – православных христиан. Ведь, все истинно доброе в нас – в солдате, в купце ли, в священнике ли, или ученом человеке – все это Христово, все это от благодатного духа Сына Ее; Матерь уж наверное не откажется от Своего Сына и духа Его в нас. Не правда ли?

– Что и говорить об этом, – отвечал купец. – У нас, грешных, только и надежда вся на Мать – Пресвятую Богородицу.

– И это верная, необманчивая надежда, – продолжал о. Иоанн, – для тех, кто не отвергает, а старается усвоить себе и своей доле благодать Ее Сына, соделавшегося для нас человеком от Нее самой.

– Как же я на свою купеческую долю буду присвоять благодать Господню? – спросил купец.

– Как? Небольшая мудрость – протянуть руку, да принять дар, если он дается. Кому вы продаете свой товар? Ведь почти все православным? (Купец сделал подтверждающий знак головой). Но православные – сообщники Христовы от самого крещения, а во Христе они – дети всевышнего Его Отца; сообщные Господу – они по Нем и дети Пречистой Его Матери. Так ли? Да если кто и неправославный или неверный, например, еврей или татарин, идет в вашу лавку, – каждый из них все же есть человек, а Господь наш стал человеком для всякого человека, да именно взыскать грешных и погибающих приходил Он в мир и здесь за них принял крестную смерть. Потому и в отношении к неправославному или неверному

человеку благодать Господня тайно внушает каждому из нас: не пренебреги, не отвергни его, – за него еще стоит Сам Господь собственным Своим лицом, как соделавшийся за всякого человеком. – Ну так, государь мой, покупаете ли вы товар для вашей лавки? Вам и надо уж всенепременно держать в уме и сердце, что это вы хотите служить в нуждах и требованиях Христовым соучастникам, детям Божиим, Материнским любимцам Пресвятой Богородицы, вообще таким, за которых пред небом и землей, пред Самим Отцем Своим заступается Сам Господь Своим человечеством, Своими крестными язвами. Вот, мол, на чью потребу я запасаю то или другое, что там приходится закупить для лавки: с такими мыслями и чувствами вы и будете закупать товар добрый, прочный, а Господь эту честность и усердие ваше ради Его сообщников и собратий примет уже Себе Самому, по собственному Его слову: «Что сделали единому из братьев Моих меньших, Мне сделали (Мф. 25:40)». Так потом, когда будете и продавать, – лишь только кто вошел в вашу лавку – один или многие, помните и держите на уме, что, мол, это – все дети нашего Небесного Отца, что из-за них смотрит на меня и вменит Себе Самому безобидную продажу Сам Господь, ставший за нас Сыном человеческим, что Мать Его порадует, если вы не будете терять из виду, в ваших покупателях, дорогих для Нее любимцев и братьев Сына Ее – нашего Спасителя. И будете, таким образом, и вы в вашей лавке и торговле совершать службу Божию в благословение на земле и в вечное спасение на небе.

Купец слушал с умилением; глаза матушки попадады светились тихим огнем живого внимания к речам мужа. Я себя чувствовал как в церкви Божией, когда молитвенное благодатное наитие осенит душу. Священник продолжал:

– Не то, чтобы я шел и против ваших законных барышей. Нет! Наш Всевышний Отец не обижает детей, работающих Ему: только прежде всего и за купеческим делом имейте в виду благодать Его, *ищите прежде царствия Божия, и сия вся*, что относится к движению и прибыткам капиталов, *приложатся вам*.

– Нас, батюшка, шибко заела вот эта зараза – запрашивать в три дорога и более. – Оно, конечно, дело известное всем; почитай – никто, разве малые дети да уже слишком простоватый какой человек, уважит наши запросы; мы запросим втрое, а нам дают цену меньше, чем стоит покупка. Ну и пойдет у нас торг со спором, упреками, и в иной раз просто с бранью. Тут божишься, клянешься! Насилу дело сойдется на том, что вещь продашь только только что не за обидную для себя самого цену. Ну, а в иной раз, коли попадет покупатель совестливый или надоест ему кричать с торгашем, так и обидел этого человека: продашь за цену, которой вещь далеко не стоит. Вот грехи какие! Но вашему, батюшка, и на торгу Царство Небесное, а у нас настоящий Вавилон...

– В том-то и дело, – говорит о. Иоанн, – выбирай любое: либо благодать Божию, эту силу истинно Небесного Царства, либо Вавилон, который неминуемо пропадет, сгорит (Откр. 18:8). Долго ли нам, православным, новому Божию Израилю, быть в плену Вавилонском? И мучимся мы, как какие колодники в нашем Вавилоне, из самой безрасчетной, можно сказать, глупости. Судите сами. Ведь таких торгашей, как вы сами их описали, всякий внутренно презирает, а иногда и клянут жестокими клятвами, когда откроют обман. Да и барыш, как сами тоже вы сказываете, или не превышает настоящей цены, только оскверняется грехом, или соединен с обидой для особенно совестливых и простодушных людей и потому тяжело ложится на совести. А потеря-то какая! Простой торгош своей торговлей исправлял бы службу именно Божию, по потребам чад Божиих, меньших братий Христовых; из-за каждого человека покупателя он очами духа своего, именно мыслью и сердцем, смотрел бы к Самому Господу, Который за этого человека Сам соделался Сыном человеческим; Матерь Божия матерински охраняла бы, как свое любимое чадо, такого торговца среди всяческой суеты в торговом его деле. Да и Ангелам было бы радостно и дивно смотреть, как в простой купле и продаже пускал бы человек в оборот таланты Христовой благодати, спасительной для здешней и будущей жизни. И все это теряется или меняется на вавилонские незаконные обманы, кличи и

другие беспорядки. Экой расчет, а еще у людей расчетливых – у купцов!

– Как однако завели бы Вы добрый Ваш порядок на место нашего? – спросил купец.

– Это ваше дело, вам виднее это, – сказал священник. – Но если бы я был на вашем месте, я наперед продажи всякого товара расчел бы пред Самим Господом нашим, Который не только всегда с нами по вседеприсутствию Своего Божества, но и не вменяет в унижение для Себя входить в наши человеческие дела по благодати Своего вочеловечения (О, помните, ради Бога, что Господь не только есть истинный Бог наш, но и стал ради нас, людей, человеком – в этом и содержится благодать!), – так, пред Самим человеколюбивым нашим Господом я расчел бы за сколько именно безобидно, и для меня и для покупателей, можно мне продавать мой товар; назначил бы я таким образом законный, справедливый барыш для себя, как дар мне от Самого Господа за мои труды; а за тем и повел бы торговлю, назначая прямую цену без всяких лишних запросов. Знаю, что мне будет не редко предстоять, особенно на первых порах, искушение или соблазн взять лишнее, особенно с простых или совестливых людей: буду, с помощью Божиею, крепко стоять против соблазна. Знаю, что покупатели, по навыку, будут назначать мне совершенно несходные цены, будут торговаться со мной и, не видя сбавки цены, пойдут от меня прочь в другие лавки: Христос с ними, – я мысленно пожелаю им, Христовым сообщником, всякого желаемого ими блага от щедрот Отца Небесного, – ведь и другие торговцы тоже волей или неволей служа потребам Божиим людей. Бог даст, узнает же понемногу народ, что я его не хочу обманывать, что продаю безобидно и по правде. Ведь у нашего народа есть тонкое чутье на то, кто сходнее и прочнее продаст товар. Ни один честный торговец не пожалуется, чтобы его лавку обходили покупатели за его честность. Вот так-то бы я, по милости Божией, и завел бы у себя в торговле порядок служения Самому Господу, Самому Отцу Небесному, дававшему всем нам Сына Своего. Дело-то, кажется, не слишком хитрое, да и не слишком тяжелое, не подвижническое?

– Да и не без труда, – отозвался купец, вдумываясь в сказанное о. Иоанном.

– Еще бы? – возразил последний. – Получили бы вы царство, да без всякого труда. Впрочем главная-то трудность, по правде сказать, состоит в недостатке нашей любви к Господу и к Его благодати: для любящих Его *иго* Его всегда *благо и бремя* Его всегда *легко есть*, по верному Его же слову (Мф. 11:30).

– Вот наше женское дело, – вмешалась в разговор хозяйка, убирая со стола самовар с чайными чашками, – только и знаем долю Марфы: хлопотать и суетиться о всякой всячине домашней. Добрая часть Марии – слушать слово Господне – не всегда удобна и для жены священника. Что же сказать о других? Вот, например, Павел Николаевич (имя купца) и в лавке будет как на службе Божией. Ну, а супруга-то его, добрая Надежда Сергеевна, хлопочи себе дома в разных мелких суетах, как и я сегодня – не пришлось сходить и в церковь Божию из-за домашних хлопот, а, кажется, и рада бы, и так близко; а купчихе или другой женщине, конечно, еще суетливее, чем попадье.

Я догадался, что матушка уже умела держаться доброй части Марьиной, а говорила это главным образом из участия к своей сестре-женщине. О. Иоанн слушал ее слова с любовью и, как мне казалось, с благодарностью, что она в серьезном разговоре его с купцом, напомнила им обоим чрезвычайно важный предмет – долю женскую. Я еще более наострил уши; мне хотелось, на этот раз, только слушать.

– Все эти запросы о той или другой человеческой доле, о мужской или женской, – заговорил о. Иоанн, – меня, признаюсь вам, только вызывают к новой благодарности за неистощимую благодать Господню к нам грешным людям. *Несть пол мужеский и женский*, сказал Апостол, *но всяческая и во всех Христос*; и женщина, за одно и наравне с мужчиной, может и должна приобретать и усвоить себе Христову благодать, разуместь и принимать в сердце Христову истину. Права на приобретение Христа равны у женщины с мужчиной.

– Однако ж, батюшка, – возразил купец, – женщина в Писании поставляется все же ниже мужчины; да и в Святой

алтарь ей нет входа; да и отцы святые, поди-тко, как честят их сестру.

Жесткое выражение старого русского времени, в отношении к женщине, слышалось в словах купца. Что-то, думал я про себя, скажет на это батюшка отец Иоанн?

– Да, есть в Св. Писании места, – стал говорить он, – могущие вести к мысли о возвышении мужчины пред женщиной, если даже остановиться нам и на одном новом завете. Так тот же Св. Ап. Павел, который сказал о таком же безразличии во Христе мужчины и женщины, как безразличны и равны между собой верующие во Христа Иудеи и Еллины, говорит, что «мужчина есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, а жена от мужа, и не муж создан для жены, а жена для мужа (1Кор. 11:7–9)»; что «учить жене не позволительно, ни властвовать над мужем: ибо прежде сотворен Адам, а потом Ева, и не Адам обольщен, но жена обольстившись произвела преступление (1Тим. 2:12–14)»; что в особенности, в супружеских отношениях, мужу, как главе жены и образу Христа, внушается любить жену, как свое тело, а жена, как образ Христовой Церкви и управляемое главой тело, поставляется в отношение к мужу не просто любви, но повиновения и страха (Еф. 5:22–33).

– Как же Вы выдержите, батюшка, всю силу слов Апостола о равноправности во Христе мужчины и женщины и согласите с этими словами указанные Вами места у того же Апостол? – таким вопросом ввязался и я в общий разговор, желая услышать от о. Иоанна как можно более по вопросу о женщине.

Тут послышался из другой комнаты плач ребенка. Хозяйка должна была идти к своему ребенку, хотя с любовью к нему явно боролось в ней желание послушать любимых речей мужа. Заметив это, он успокоил ее, что после расскажет ей, что не успеет она выслушать.

– Непременно так, – подтвердил и я, – потому что мы именно матушке обязаны этим важным вопросом о «женском деле».

– Мне бы тоже надо, – сказал купец, – идти по своему делу, но чтобы и мне было что сказать жене о женском деле, отложу

пока свое дело.

– А разве не наше дело, – заметил священник, – узнавать истину Христову для себя и для жены? Но обратимся к предмету нашей речи. Чтобы нам понять Апостола, говорящего о безразличии во Христе мужчины и женщины, а в других местах возвышающего мужчину над женщиной, войдем в боговдохновенное его рассуждение о взаимных отношениях равных членов в Христовом теле Церкви. Ведь Апостол говорит о безразличии во Христе мужчины и женщины в том самом отношении и смысле, в каком говорит о безразличии во Христе вообще верующих: это безразличие таково, что все заодно сообщны Христу и все равно могут и должны более и более усвоить себе Христа и его Духа, но каждый – по своему. Прочитаем вот самые слова Апостола: все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба ни свободного; нет мужчины и женщины: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3:26–28). Очевидно, эти слова сходны со следующими словами того же Апостола: «все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или язычники, рабы или свободные, и все напоены одним Духом (1Кор. 12:13)». Но не то это значит, – такое рассуждение внушает нам здесь Апостол, – чтобы все тело Церкви и составляло только один член; нет, не таково единство или безразличие во Христе верующих: «тело не из одного члена, но из многих (ст. 14)». Но и множественность членов тела, из которых каждый имеет свое устройство, назначение и дело, не дает поводов к возвышению одних над другими; «напротив того, говорит, Апостол, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о них более прилагаем попечения; и неблагообразные у нас более покрываются украшениями... Бог уравновесил тело, менее совершенному дав более чести, чтобы не было разделения в теле (ст. 22–25)». Применим же теперь это общее Апостольское рассуждение к частному вопросу о мужчине и женщине. Мужчина и женщина равно сообщны Спасителю нашему Христу и равно могут и должны более и более усвоить себе Его, но тот и другая – по-своему.

Это точно также, как, например, рука или нога, глаз или ухо, должны выдерживать – каждый член свое дело и назначение, или как, например, я и Вы (сказал о. Иоанн обращаясь к купцу) и Вы (обращаясь ко мне) должны каждый в *своем* деле и *по-своему* доказать верность Христу, да *Христа приобретаем*. От доброй воли самого мужчины и самой женщины зависит возвышаться или упадать, успевать или не успевать в этом приобретении себе Христа, также точно как тоже зависит от доброй воли каждого из вас. Только, повторяю, для этого самого приобретения Христа тот и другая должны выдерживать и исполнять свое дело и назначение по-своему, как особые члены. И если в этом отношении Писание так или иначе возвышает мужчину над женщиной, это уже не иначе, как в смысле того Апостольского рассуждения, что слабейшее в теле не менее нужно и что менее совершенному Бог дает не менее, а еще даже, в каком-либо отношении, более чести, разумея именно эту истинную честь усвоения себе Христа в свое спасение и общее благо.

– Разъясните, батюшка, нам это пообстоятельнее, – просил я. – Сделайте такую божескую милость, особенно для меня, – вторил мне купец, – ведь, я человек ученый на медные только деньги.

Тут вошла хозяйка с ребенком на руках, который и протягивал к отцу свои ручонки; священник поцеловал и благословил свое дитя. Хозяйка пригласила общество в небольшую другую комнату, где предложена была из сельских свежих и простых запасов закуска с бутылкой домашней наливки. С легким удовлетворением аппетита наш разговор продолжался.

– Мы только вот до чего договорились, – сказал о. Иоанн жене, – мужчине и женщине за едино дано усвоить себе Спасителя, в Котором все наше доброе и истинно дорогое и достолюбезное; существо дела у них общее, одно и тоже у обоих, но каждый из них должен делать это более или менее *по-своему*, как каждый член в теле имеет свое особое дело и назначение. Вот, например, я, как мужчина, притом священник, изъясняю моим дорогим гостям учение Слова Божия, чтобы мне

приобрести себе единого учителя Христа и вместе послужить собратьям во разумении и усвоении Его истины. Но тебя, как женщину-мать, позвал к себе ребенок своим плачем; и ты, как женщина-христианка, бросилась к ребенку с мыслью и сердечным чувством, что и он, несмыслящий еще ничего, младенец, есть чадо Самого Отца Небесного, любезное Ему ради Его Сына, если не более, то и не менее нас; а по этому случаю, как жена-помощница священника, ты вспомнила или должна была вспомнить и других духовных младенцев, несмыслящих ничего почти в Христовой истине по невежеству, по непониманию, по неслышанию, и с материнским о собственном ребенке вздохом должна соединить вздох к Господу и об этих духовных младенцах. Скажите же, чем такая женщина ниже или менее, чем, мужчина, и притом священник, усвоит себе нашего Сладчайшего Спасителя? Не напомнить ли ему особенно той, обличающей самовозносливое иудейское почитание на законе Божиим, истины, что и все-то мы – маленькие дети, за которыми материнская ухаживает Божия благодать? Или вот когда я служил ныне Божественную литургию, а жена моя, за невозможностью быть в храме Божиим, занималась хозяйским домашним делом не с Марфиной суетливостью и молвой помыслов и сердечных движений, но с Марииным вниманием к выраженным и осуществленным во всем, за что ни бралась рука ее, мыслям и дарам Христа Бога Слова, без Которого *ничтоже бысть, еже бысть*, и еще, может быть, пред такой всещедрой любовью нашего Всевышнего Отца вспомнила и других, не бывших тоже в храме Божиим, и не за себя только, а и за них заедино вздохнула пред Богом, когда задостойный звон возвестил о минуте преложения простого хлеба и вина в ходатайственную за весь мир жертву самого тела и крови Господа нашего. Боже наш, Боже наш! Может быть и я, недостойный слугитель алтаря, был духом своим не только не ближе, а еще и дальше от благодати того, что совершалось при моем же служении... Так-то вот Бог уравновесил тело, менее совершенному (в одном отношении), дав более чести (в другом отношении).

О. Иоанн был глубоко тронут; у жены его, наклонившейся к ребенку с поцелуями, я заметил слезы, канувшие на улыбающегося малютку.

– Что про вас и говорить, – сказал купец, – ваше святое дело. Вот, как нам с женой устроиться, по нашему купечеству-то?

– Да так же, как и мне с попадьей, дай Господи, устроиться. Когда Вы будете в своей лавке служить Отцу Небесному по разным потребам Его детей, Ваша сожительница пусть занимается домашним хозяйством, не забывая о Всевышнем Хозяине – Господе нашем, Которого образом Вы служите для своей жены; и в своем хозяйстве она будет служить Самому Господу. Заботясь о детях – больших и малых, об их одежде, обуви, пище, наблюдая за их ученьем, не давая им зашаливаться, лаская или наказывая их, пусть помнит всегда, что они, еще в крещении сделавшись сообщниками Самого Христа Сына Божия, стали поэтому детьми Самого Отца Небесного; пусть и поручает их прямо Ему – всеблаговому нашему Отцу, пусть отдает их своим сердцем материнскому попечению Матери Божией, говоря ей в сердечной мольбе: «Сама, Царица, Небесная, сохрани в этих птенцах залог жизни Сына Твоего». С прислугой, какую нанимаете для черных работ, пусть обращается она, держа в своей мысли то, что прислуга, мол, не дальше, а пожалуй, еще ближе нас грешных к Господу, приходившему в наш мир не для того, чтобы Ему служили, а чтобы Он Сам послужил и положил душу Свою за грешных. Родных, знакомых пусть она принимает и угощает тоже, как родных не просто по плоти, а по одному общему нашему Небесному Отцу, как знаемых и любезных по Христу, общему нашему Спасителю и Господу; с таким же расположениями и мыслями пусть и сама пользуется гостеприимством других. Так-то в самых и простых и обыденных вещах не менее Вас и Ваша купчиха будет служить Самому нашему Создателю и Спасителю. Не говорю уж о том, что, когда случится подать милостыню или оказать помощь нуждающимся, – чем заняться удобнее жене Вашей, нежели Вам в лавке, – пусть помышляет она так: «Не я благодетельствую, а Господь удостоил меня той милости, что

посетил меня и принял мой дар». Так и пойдет у вас обоих заедино служба Господу и в вашем купеческом быту, так же как и в другом самом священному быту.

Эти мысли о. Иоанн продолжал развивать и объяснять, приговаривая об обычных делах и отношениях житейских: «все будет у вас тоже, что и завсегда, да не то; не будет греховным или плотским, каково все без Христа, а будет духовным и осененным благодатью, каково все со Христом. И Ваша супруга послужит этому по-своему не менее, а в ином отношении и более, чем Вы сами, Павел Николаич!». Купец сказал наконец с благодарностью, что он понимает это и постарается передать своей Надежде Сергеевне.

– Благодарю и я Вас, батюшка, – со своей стороны, сказал при этом я. – Но позвольте мне признаться перед Вами прямо, что я удовлетворен Вашими речами только в половину. Вы объясняли, как и женщина, в своем женском жребии или «женском деле», как матушка выразилась, может и должна не менее, а в ином отношении еще и более мужчины, послужить том общему нашему делу *да Христа приобретаем*, как Вы выражаетесь словом Апостольским. Но надо же выяснить нам и то, в каком это смысле женщина так иногда умалиется в Писании пред мужчиной, что последний есть слава Самого Бога, а женщина только слава мужа; что мужу во всяком случае приписывается главенство над женой, а последней внушается в отношении к мужу только повиновение со страхом, что женщине у нас даже и доступа нет ко священному месту Божия храма. Пока этого не разъясните, все еще остается место таким мыслям, какие выражены в книжке о «Христианстве», о которой мы уже говорили как-то с Вами: я разумею те именно фальшивые мысли, не зародыши ли только лучшего, в отношении и к вопросу о женщине, содержатся в Христианстве, которое однако еще будто бы не освободилось вполне от односторонностей древнего мира, особенно восточного, столько унижавшего женщину. Простите, – прибавил я, – если я беседу нашу склоняю к делу мысли и учености; но ведь дело мысли неразрывно с делом жизни.

– Ну и спасибо Вам от души, – сказал о. Иоанн с улыбкой, – что Вы не позволяете нам остановиться на полудороге в разъяснении дела. Так-то, возлюбленный мой Павел Николаевич, продолжал священник, обращаясь к купцу, премудро устроено Спасителем, что в теле Его Церкви есть и такие члены, которых дело – ученость и мысль, а не одни священники, да купцы и другие простые прихожане. Вот мы с вами и рады были бы остановиться на том, что и женщине, умаляемой иногда в Писании пред мужчиной, не менее последнего дано усвоить себе Спасителя нашего; мы и забыли, что сами же, по поводу этого умаления женщины пред мужчиной, возносимся над ней и пренебрегаем ее. Да! Не разобравши этого дела вполне, а только в половину, мы ведь, и действительно, в самой жизни все-таки будем духовно пренебрегать женщиной: ты, мол, только слава мужа, а я образ и слава Самого Бога; я голова над тобой; тебе и в святой алтарь нет ходу... Вот ученый человек и напоминает нам это, чтобы мы не удовлетворялись разъяснением этого дела только в половину. Благодарим ученого человека за нужное содействие общему нашему делу!

– Точно, – сказал и купец, – это что-то невразумительно, что жена слава мужу, а муж образ и слава Самого Бога. Коли за едино они у Господа, как же они так разнятся?

– Что в женщине, при самом создании, – стал говорить о. Иоанн, – положено сиять славе образа и подобия Божия также, как и мужчине, это прямо высказано в Слове Божиим. И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его мужа и жену сотвори их (Быт. 1:27): очевидно, что мужу и жене одинаково усвоится человечество, а с ним и бытие именно по образу Божию. Поэтому слова Павловы что муж образ и слава Божия, а жена слава мужа, не могут значить того, что женщина чужда славы образа Божия. Что же значат эти слова? Они обозначают собственно то, в какое отношение между собой поставлены мужеский и женский пол, или какое назначение и служение определено тому и другому полу в общем составе церковном. Сказать тоже самое, имея в виду единство и общность для мужчины и женщины дела – усвоения Христа, можно еще и так,

показанными словами Апостол выражает, как именно по своему-то должен приобретать себе Господа мужчина и как женщина, и как они в этом деле должны относиться друг к другу. В усвоении себе Христа, в сообщении и сообразовании с Ним – Существенным Образом и сиянием Отца, мужчине принадлежит по преимуществу духовная *самодетельность*, которую он в этом деле и должен выдерживать по отношению к женщине: он должен оказываться прямо, как *образ и слава Божия сый*. Женщине же в том же деле сообразования и общения с Господом или усвоения Его принадлежит по преимуществу сердечная *восприимчивость*, которая и должна составлять, по этому делу, отличие ее в отношении к самодетельности мужчины: сияние образа Божия должно раскрываться в ней, как уже в *славе мужа*. Судя по такому Апостольскому воззрению на мужчину и женщину понятно, что, если мужчина, твердо выдерживающий свое самодетельное достоинство *образа и славы Божией* или неуклонно взирающий и идущий к существенному образу и сиянию славы Божией – к Господу Иисусу, поведет за собой к тому же и восприимчивую женщину, поддержит немощную, вразумит увлеченную к суете, то и женщина, с живой и теплой восприимчивостью, взирая к Тому же сиянию славы Отца Небесного – Господу, и особенно, как слава мужа, не опуская из виду отражений Его в самодетельности мужской, может чрез это поддерживать и укреплять в Господе достойного мужчину, поднимать к Нему падшего, возгревать отражения Его в мужчине недостойном. Видите ли – и мужчина, как *образ и слава Божия*, и женщина, как *слава мужа* – могут равно совершать прекрасные дела. Только бы, при всяком отношении и обращении к мужчине, женщина своей живой и восприимчивой душой имела в неотступном виду отображение в мужчине славы и величия Божия, или вообще образа Божия (пусть она и побуждается к этому тем представлением, что не муж из жены, а жена взята из мужа и сотворена для него), тогда она чрез свое влияние совершала бы дивные вещи столько же для возбуждения и возвышения мужчины, сколько и для развития собственного

нравственного достоинства. Вот какой *славой* мужу назначено быть женщине в Христианстве!

– Теперь ясно, – заметил я, – что мужчине чрез название его образом и славой Божиею, а жены славой мужа, не дается ни малейшего повода к пренебрежению женщины или к надменному возношению над ней. Но что скажете об Апостольском недозволении женщине не только властительства над мужем, а и учительства?

– Да то же, – отвечал о. Иоанн, что только бы женщина понимала и признавала за мужчинами властительство и учительство не иначе, как истинно по-Христиански, именно так, чтобы, учась у церковного учителя, внимать собственно Самому Единому Нашему Учителю Христу, и, повинаясь власти, подчиняться духом тоже Самому Господу, Которому принадлежит всякая власть: тогда она сколько будет сохранять собственную нравственную независимость и достоинство, подчиняясь и следуя только Самому Господу, столько же, чрез это, будет возвышать к Нему же и поддерживать в Его благодати самое властительство и учительство мужчины. Этот прекрасный путь, согласный с женской восприимчивостью, и открывает Апостол для женщины, не давая места претензиям ее на властительство и учительство. И пусть утверждается женщина на этом пути, сдерживая противные этому порывы и притязания теми представлениями, что первенство по самому тварному бытию принадлежит не ей, а мужчине, что от нее, напротив, а не от мужчины, произошел в мире грех: эти представления служат, по мысли Апостола, не к унижению женщины, а к остережению от унижения, к удержанию ее в истинном достоинстве, сколько ей самой свойственном, столько благотворном и для мужчины. Кстати здесь сказать и о запрещении женщинам входа в алтарь. Алтарь – главное место важнейших Церковных священнодействий; из людей здесь место собственно для священнослужащих: по строгому церковному порядку (ибо наш Бог не есть Бог нестроения, а мира и порядка во всем), в алтарь не следовало бы входить, без крайней нужды, и вообще неосвященным для церковного служения лицам. Поэтому недоступность алтаря для женщины

означает именно недоступность для женщины священнослужительских степеней, или охранение Святыни от оскорбления немощью непосвященных. Но скажете, что эта недоступность Церковного священнослужения для женщины, выражаемая недоступностью для нее алтаря, и есть прямо доказательство существенной низости женщины пред мужчиной? Нет: это только выражает несвойственность женщине всего заправляющего, требующего преимущественно твердой самостоятельности и самодеятельности, – чего у нее (говорим об общности пола женского, а не об исключениях) нет по самой природе.. Но тем не менее женщина может входить в силу священнослужения Церковного и усвоить себе дух благодати, действующей в священнослужителях, – может никак не менее этих последних, а, пожалуй, если станет ее веры и верности Господу, может и далеко упреждать их самих: высочайший пример этого представляет нам Матерь Божия, успевшая в несравненной степени упредить, в усвоении себе благодати служения Господу, и ветхозаветных и новозаветных служителей алтаря. Скажете опять, что это пример – беспримерный. Но тем не менее духу Матери Божией должны последовать души всех верующих, по Слову Божию: *приведутся Царю девы в след Ее (Пс. 44:15)* и еще : *кто мати Моя*, спросил Господь и, внушая всем соревновать духу Его единой Матери, Сам же на свой вопрос ответил: *сии суть, слышащие Слово Божие (Мф. 12:46–49)*. И в самом деле, представьте себе женщину, которая, находясь при самом торжественном Богослужении, при виде диаконов смотрит душой к Господу, помогающему Своей благодатью чрез эти освященные свои сосуды и предстоящим и священнослужителям выдерживать живой благодатный чин служения, *поклонение Отцу духом и истиной (Ин. 4:24)*; при виде священников взирает сердцем к Самому Небесному *Иерею во век*, Который, чрез эти свои орудия, Сам однако же Собой приводит верных к Своему Отцу и низводит им дары Его любви, изливающейся Духом Святым в сердце приемлющих, к их оживлению и просвещению; при виде Архиерея, возвышается духом к прошедшему небеса Божественному Архиерею со Своим

восприятым и пострадавшим за нас человечеством, вынесшему на себе бремя всех наших грехов, недугов и всяких тяжелых нужд и бед, ходатайствующему пред Отцом Своим за все человеческое об очищении и спасении его от всякого зла и губительства, – и именно действующему и проявляющему такую благодать Свою в избранном сосуде Своего Архиерейства; при виде и слышании всего порядка священнодействия и молитвенного славословия в песнопениях и чтениях слышит дух служения всех Ангелов и Святых пред Господом Вседержителем и Агнцем, ощущает благодать поклонения Господу всего мира, *всех колен небесных и земных и преисподних, исповедания от всякого языка (Флп. 2:10), хвалы от всякого дыхания (Пс. 150:6), от всякого создания, еже есть на небеси и на земли, и под землею и на мори, от всего (Откр. 5:13)...* Такая женщина, сознательно ли или только, чрез бессознательную восприимчивость своего сердца ощущающая и усвояющая себе такую благодать священнослужения, – скажите – чем духовно ниже кого бы то ни было? Кто из священнослужащих мог бы возноситься над ней, не имеющей доступа к алтарю, когда сам поддерживается такой восприимчивостью к благодати верой?

Мы все слушали с глубоким вниманием; только ребенок на руках матери выводил себе своим младенческим голоском разные ноты, поглядывая на нас или тормоша ручонками свою мать, которая разным образом ласкала его. Но вот в физиономии купца выступают какие-то жесткие черты.

– Все же, примерно, батюшка, – сказал он наконец, – муж – голова над женою. *Жена да боится своего мужа*, хоть будь она рассвятая?

Примерно было впрочем, что этот русский человек не просто только жалел расстаться со своим некоторым деспотизмом над женщиной, но вместе и беспокоился здравым смыслом, опасаясь бестолочи в том случае, если баба, мол, поднимет голову над мужем. Эта последняя мысль без слов выступала резко на нахмуренном лице.

– Не беспокойтесь, Павел Николаевич, – говорил о. Иоанн, с улыбкой обращаясь к купцу. – Главенства Вашего над

Надеждой Сергеевной я не потрясаю нисколько. Слово Божие непреложно: «жены своим мужьям повинуйтесь, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос Глава Церкви и вместе Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем» (Еф. 5:22–24). Но вместе с тем, и лучше бы еще прежде того, как станем настаивать на обязанности жен наших в отношении к нам, поставим тверже и яснее на вид собственные наши обязанности в отношении к женам. Вот что далее читаем в Слове Божиим: «мужья любите жен своих, как Христос возлюбил Церковь и Самого Себя предал за нее... чтобы она была свята и непорочна. Так мужья должны любить своих жен, как свои тела... Никто никогда не имел ненависти к плоти своей, но питает и греет ее, как и Господь Церковь; потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (ст. 25–30). Господь так полюбил свою Церковь, состоящую из нас верующих, что снизошел до принятия нашего естества и в этом отношении до некоторого уровня с нами, еще ниже – до вменения со злодеями, позорно казнимыми; Он возвысил нас до открытия нам всей полноты Своего Божества, «чтобы нам исполняться всей полнотой Божию» (Еф. 3, 19), и в этом отношении возвысил нас до некоторого уровня с Собой. Да! «Бог, будучи богат милостью, по великой Своей любви, какой нас возлюбил, и мертвых нас по преступлениям оживотворил со Христом и с Ним воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе (Еф. 2, 4–6). Ну, а что мы пред Господом? Ну, есть ли хоть какое сравнение пренебесной высоты нашего Господа над нами с вашей высотой над женой вашей – трепещущий за свое главенство Павел Николаевич?!

– Что и говорить об этом, – сказал купец, – вспыхнув краской стыда. – Мы пред Господом, что червяки.

– Меньше, нежели червяки, – продолжал священник. – «Весь мир пред Ним ничто, менее, нежели ничто», говорит вдохновенный Самим Богом Исаия. А вот мы соделались, по Его любви к нам, «членами тела Его от плоти Его и от костей Его», как говорит Апостол; мы сообщны Его жизни, тела, крови, а в будущем, и Его славы, так же как и Он сообщился всего нашего естества, нашей здешней жизни и даже смерти. Вот как

Господь проявляет свое главенство над возлюбленной своей Церковью! Дух этой самой самоотверженной любви Христовой к Церкви и должен усвоить муж в отношении к своей жене: *мужие, любите своя жены, якоже и Христос возлюбил Церковь и Себе предаде за ню.* Имей, глава жены, такое христоподражательное самопожертвование любви к ней, чтобы тебе, и в отношении к ее немощам (не говорю уже о ее достоинствах), ставить себя в уровень с ней, в соучастие немощей ее, как твоих собственных, а в отношении к собственному твоему достоинству (не касаюсь уже недостатков твоих) ставить ее в уровень с собой, в сообщение твоего достоинства. как ее собственного. Ведь именно так Христос и возлюбил Свою Церковь! Так ли мы, нося образ Христа, выдерживаем свое мужнино главенство над женами?! Дай Бог, нам мужьям усвоить себе Христа чрез верное сообразование с Ним в исполнении наших обязанностей в отношении к своим женам! Теперь выясним себе поточнее обязанности жены к своему мужу. Жена, как образ Христовой Церкви, должна сообщаться и сообразоваться духу того преданного повиновения Церкви Христу, по которому она (как выразился о себе один из наилучших ее членов), *не ктому себе живет, но живет в ней Христос*, так что она вся только *верою живет в Сына Божия, возлюбившаго ее и предавшаго Себе за нее* (Гал. 2:20). Потому и боязнь, которой жена да боится своего мужа, есть по Апостольской мысли не что иное, как свободный (а не рабский какой) страх самой любви женской, как бы ей не унижить и не оскорбить, данного ей в муже, благодатного отображения Самого великого нашего Господа, столько возлюбившего нас и близкого нам во всем Своей благодатью; эта боязнь есть сама любовь, благоговейно ощущающая в муже отсвет Христа и трепещущая за достоинство и чистоту этого высшего отсвета.

– Да ведь так-то бояться бабы не смыслят, – сказал купец и рукой махнул (при чем хозяйка дома только тихонько усмехнулась).

– А много ли мы смыслим любить-то жену так, как любит Господь Церковь? да и много ли, если по совести сказать,

думаем-то мы о том, чтобы наша любовь к жене была сообразна с любовью Господа к Церкви? Да и есть ли у нас, мужей, хоть сколько-нибудь заботы об очищении и возвышении нашей любви к женам чрез благодатное настроение ее именно по духу Христовой любви к Церкви (о. Иоанн еще несколько раз повторил эту мысль в объяснительных для купца выражениях)? Мудрено ли, что благодать брака, не возбуждаемая живым вниманием веры нашей, пренебрегаемая до совершенной беспечности нашей выяснять ее и пользоваться ей, – мудрено ли, что она в нас как бы засыпает и остается закрытой для нас по многим отношениям! Вот мы уж до чего дошли: нам не без труда уже и рассуждать об этом предмете. Одни, вооружаясь без разума этим словом: *жена да боится мужа*, держать жен как крепостных каких; другие, чувствуя, что это не ладно, без разума же кричат против самого Апостольского внушения боязни жены к мужу, как против какой азиатчины, и хотели бы совсем освободить жену от мужнина главенства. Ну, имей муж и жена, имей в неопустительном виду отображение в своем супружеском союзе Божественного союза Христа с Церковью, – не опускай, жена, из своего виду живого Христова образа в своем муже, а муж – усматривай в жене образ Христова же благодатного тела – Церкви: тогда смыслили бы, умели бы не только жены бояться, как бы не обесчестить Христову, так сказать, икону – в лице своих мужей, но и мужья не затруднились бы, со своим главенством, по слову Ап. Петра, *воздавать честь и немогущейшему сосуду женскому*, «как сонаследницам животворной благодати» (1Петр. 3:7). Ведь только нехристи не боятся бесчестить Святые иконы.

Купец понурил голову, промолвив: «Потонули мы в грехах, да в глупости необразованной». Я видел, что этот русский человек затронут был за живое.

– Только бы мы сами не захотели топиться, – сказал священник, – понемножку еще можем добраться до берега. Продолжим речь об обязанности повиновения жены к мужу. «Жены, говорит Апостол, своим мужьям повинуйтесь как Господу». Смело можно сказать, что разве грубый до бессмысленности человек вздумал бы, на основании этого

Апостольского наставления, говорить свое жене в роде следующего: «Знаешь ли, кто я для тебя? Ты меня и мое желание, мою волю должна ставить для себя выше всего; сказано, вишь: жены повинуйтесь своим мужьям как Господу». Но если бы в домашнем быту и явился такой новый папа для жены своей, представляющей образ Церкви, то сам Апостол в другом месте объясняет, что это его выражение о повиновении или служении «как Господу», «как Христу», означает совсем не то, чтобы, страшным и вместе глупым в этом случае человекоугодничеством, служить собственно человеку как Богу, но то, чтобы, в своих отношениях службы или повиновения, смотреть духом к Самому Господу Богу и служить или повиноваться Ему Самому, Христу Богу нашему : «Рабы, говорит Апостол, будьте послушны господам своим... ка Христу», и за тем прибавляет: «не ... как человекоугодники, но как рабы именно Христовы, исполняя волю (прямо) Божию от души» (Еф. 6:5–6). Ясно здесь, что служение или послушание «как Христу» означает то, чтобы слуги в отношении к господам, были слугами собственно Христовыми, исполняющими в духе своем волю Самого Бога. Так же точно и повиновение жен мужьям как Господу означает именно то, чтобы жена, в своем отношении к мужу, возвышалась духом и сердцем, как следует пред иконой Господа, к Самому Господу, повинуюсь именно Его благодати. Вот как надо нам настроить повиновение жен мужьям, и будет оно не рабством, а прекрасным и живым благодатным явлением.

– О, батюшка, батюшка! – сказал купец, словно в безвыходном каком положении. – Да доберемся ли мы когда-нибудь до такой благодати?

– Непременно, – сказал о. Иоанн, – если только мы выйдем из своего духовного усыпления, то жидовского, покоящегося самодовольно, и с осуждением других, на букве Божия закона, то языческого влающего всяком ветром нехристианских воззрений. Неужели не выйдет из своего обморока, не оживится в нас наше Христианство (разумею не Христианство само в себе, всегда живое и животворное, но наше отношение в Христианству)?! И знаете ли что? По моему

мнению, женщина-то, о которой мы столько говорили, и призвана послужить, во многом, оживлению в нас Христианства. Чтобы объяснить вам мою мысль, напомним вам древнее сказание об одном Преподобном Великом Отце. Входя в город, он молил внутренно Бога, чтобы Он ему послал нужное назидание в городе. И вот случилось, что встречается с ним женщина; дерзкий взгляд ее обнаружил вольное ее поведение. Она смотрела прямо в глаза Преподобного, который поэтому тоже прямо заметил ей, зачем она так бесстыдно смотрит на пустынника. Она отвечает, что ей – женщине и следует смотреть на мужчину, от которого она взята при сотворении, а ему следует смотреть в землю, от которой он взят. Святый Пустынник возблагодарил Бога за назидание, нечаянно ему посланное. Так-то и мне думается, не послужит ли и ныне женщина (если будет поддерживать ее в благодати чрез проводимое и в жизнь признание за женщиной общего и равного с нами права «сонаследницы благодати»), не послужит ли она выяснению, оживлению и развитию того направления для образа мыслей и жизни, для самой веры и благочестия, чтобы не забывать и не пренебрегать нам земли, из которой мы взяты при создании, чтобы, без гордой и мечтательной идеальности или духовного самовозношения, и земное оживлять и освящать сиянием славы Отчей, Христовой истиной и благодатью, так как сам, взятый из земли, человек оживлен дыханием Божиим и введен в живую сообразность и сообщность с Сыном Божиим, Единосущным Своему Отцу... Вот и Преподобный древний подвижник нашелся только благодарить Господа, когда женщина, казавшаяся ему бесстыдной, указала ему смотреть (конечно – не одними только чувственными очами) в землю, из которой он взят. Да! Начни, муж, купец ли ты или ученый, начни в своем семейственном быту и твердо (как следует мужу) держи тот добрый православный порядок, чтобы и смотреть на жену свою этими внешними глазами, или только мыслью и душой, не иначе, как на живой образ Христова благодатного тела – Святой Церкви. Сбился ли с этого Святого порядка и упал в грязь, поднимайся опять к благодати, чтобы разуметь и видеть в жене образ Христова тела – Церкви. Пожалуй, скажу еще более,

чтобы проще и доступнее было для нас держаться этого порядка. Вот Вы, Павел Николаевич, имеете особенную веру и упование к Пресвятой Богородице. А знаете ли, родной мой, еще в ветхом завете и притом уже падшая и осужденная жена поставлена в благодатное значение образа Матери победоносного над змием семени – Христа Бога: «Семя жены, сказано было змию, обольстившему жену, которая одна и была тогда на лицо, – семя жены сотрет твою главу». Итак чтобы Вам удобнее было выдерживать воззрение на жену, как на образ Христова тела – Церкви, поднимайте очи Вашего ума и сердца к Самой Пресвятой Богородице, полной представительнице Святой Церкви (почему и в Писании образ Церкви соединяется во един с образом Матери нашего Господа, например в 44 псалме и в Откр. 12:1–5). Против всяких помыслов вооружитесь той молитвенной мыслью: «Есть, мол, Св. иконы Матери Божией не только благолепные и в золотых ризах, но и суздальского маранья, есть иконы совсем почти почернелые и повредившиеся от времени, от пыли, от небрежности нашей. Но Царица Небесная не отвергнет прибегающих к ней пред какой бы то ни было по виду ее иконой, которая ради Святейшего ее лика все-таки остается Святой. Так уж коли в Писании женщина, служащая образом матери нашей Св. Церкви, поставлена вместе в образ и Пресвятой Богородицы, благодатной по Христу Матери всех нас Его сообщников, представляющей для нас живые и в совершенстве Святую Церковь: то что мне до того, почернела ли, в пыли ли, повредила ли от чего эта живая икона Благодатной? Ведь я, пред этой иконой, смотрю духом к благодати Самой Заступницы грешных, Которую Сам Господь отобразил в этих нерукотворенных иконах – немощных женских сосудах. Выдерживай, муж, такой взгляд веры, хоть бы только на свою жену: верно слово – и это говорю вам с собственных опытов – жена поможет тебе, в твоих земных делах, быть сообразной и сообщной Самому Господу головой дома и всего хозяйства. Ведь, ей, по самой природе, принадлежит особенная сердечная восприимчивость, которая чутьем ощущает сущность дела, прежде всякого точного об этом понятия; а поэтому в порядке вещей, чтобы, пока в наше общее сознание еще не

вошло направление проводить и во всех средах земного и мирского Христову истину и благодать, это направление ощутилось сначала живым чутьем восприимчивости женской⁹. Пока женщина пусть смягчает жесткую духовность одних и возвышает временную положительность других.

Я слушал эту живую домашнюю, так сказать, проповедь с разгоравшимся сердцем. Сладко мне было слушать это. Но, признаюсь, эта сладость отравлялась для меня, невольно овладевающей мной, мыслью: когда это у нас будет, когда в духе народном возбудятся и выяснятся такие живые и святые воззрения?! Духовная письменность, при всем умножении духовных журналов, доселе не успела поднять или поддержать подобные вопросы, с которых и надо бы именно начинать во всех заботах об улучшениях внешнего духовного быта, духовного образования и т.п. Ведь невелика находка, думал я, в чем-нибудь и возвысить вещественную сторону земного, не озаботясь наперед о выяснении и упрочении за этой стороной Христовой благодати, открытой всему человечеству и для всего человеческого к спасению его от скверны и лжи греха... Но этого у нас едва касаются, и то так слегка, в общих, большей частью, местах; а там какой-нибудь ратоборец направления, прямо противного раскрываемому о. Иоанном воззрению, с торжеством провозглашает, что чуть не весь мир от дворцов до хижин сочувствует его обскурантизму, издевающемуся над усилиями и опытами проводить Христову истину во все среды жизни, направить движения современности к свету и жизни Православия. Светская же письменность и журналистика, за немногими исключениями, и то большей частью не свободными от односторонностей, совсем почти закрывает глаза от наблюдения за столь существенной в нашем народном духе пружиной – православной религиозности. Сам о. Иоанн нередко с сердечной грустью, а иногда с негодованием, поставлял мне это на вид. Тяжелая дума зарождалась на душе: да полно уж, нам ли русским дано или назначено послужить Церкви и миру чрез такое раскрытие благодати Православия, чтобы им все было освещено? Способны ли мы к этому по нашему какому-то странному характеру, по этому нашему несчастному свойству –

владеть сокровищем вселенским и первым же не хотеть знать и выяснять этого общечеловеческого его значения? Все эти мысли, накипевшие у меня, я и высказал о. Иоанну. Между тем как его малютка на руках матери уже спал давно; и мать, охраняя младенческий сон, бережно встала и пошла в другую комнату к колыбели.

— Видите, как мать бережет покой и сон своего ребенка, — сказал о. Иоанн. — Мысль общественная. светская и духовная, дает приметить в себе много свежего, много задатков лучшего по всем частям знания и жизни; и если она не обнаруживает в себе той зрелости, чтобы выработать себе общее живое и именно православное воззрение и направление по светской и духовной части, надо поберечь нежный еще возраст благородной, благодатно-свободной мысли. Признаюсь вам, это впрочем вы и сами замечали во мне, что часто тяжело, до глубокого уныния тяжело и горько мне бывает от тугого возраста нашей общественной мысли. Но стараюсь успокаивать себя тем именно представлением, что если Православная Церковь есть истинная мать, то духу ее свойственно и матерински щадить, беречь и даже лелеять младенчество своих детей.

— Да чем вы заверите, — возразил я, — что это младенчество не такое, в которое впадает иногда старик от дряхлости? Ведь мы прожили уж тысячу лет. Подобное нашему ребячеству замечалось, например, в Божием народе во время земной жизни Христовой и Апостолов. Сам Спаситель уподоблял Своих современников маленьким своенравным ребятам, которым ничем не угодишь, ни удаляясь от веселого настроения, ни умеряя мрачной строгости; станет пред ними строго говорить не фанатик-ревнитель, а действительный строгий подвижник и великий постник Иоанн Креститель, скажут о нем, что в нем нет ничего человеческого, что это словно бес. который ни ест, ни пьет; предложит им Сам Спаситель радостную и человеколюбивую весть милости и благодати к грешным и погибающим, провозгласят Его ядцей и винопийцей, другом равных язычникам мытарей, сообщником беззаконников (Мф. 11:16–19). Мы очень похожи на этих современников Спасителя, впавших в ребячество от духовной дряхлости.

– Я различаю, – отвечал священник, – младенчество слабого нежного малолетства от ребячества дряхлости, судя по прямым признакам или жизненности, только малосознательной и неразвитой, или мертвящих начал. Вот, например несколько лет назад, около времени коронации Государя, кто-то издал картину, изображающую благосостояние России. На картине сверху изображены символические лица и предметы Святой Веры нашей, или Православия, а внизу представлены взятые из языческой мифологии символы же правосудия, просвещения народного, мореплавания и т.п. Помню, как у нас ревнители возопияли тогда всюду, где ни появлялась картина, против неприличия и даже соблазна – смешивать духовное с мирским, Православие с язычеством. Но они бедные не догадались, что ведь у нас, и действительно, усердие к Вере и благочестию витает, по господствующему направлению своему, в выси, недостижимой мирскому и пренебрегающей земным – человеческим; а поэтому земной-то и мирской быт и идет – себе и развивается, в действительной-то жизни, по невозводимым ко Христу идеям, правилам и часто страстям своекорыстия, надмения, суетности и т.д., что все вернее и представить нельзя, как в мифах и образах язычества. Истинной-то, разумной, словом – живой ревности к Православию и общественному благу следовало бы заметить назидательную верность картины, следовало бы воскипеть горячим духом против односторонностей направления, как в самом благочестии многих, так и в земном наше быте, т.е. следовало бы духом веры направляться или с высоты-то заоблачной сходить в житейскую низменность подняться над духом язычества, обращаясь уже в благодатное поприще свободного служения Христу и в делах общественного суда и правды, и в просвещении народном, в движении народного богатства и производительности, во всех родах службы и проч. и проч. Но начатки этих жизненных мыслей или движений только и выразились тогда в том одном, что русская мысль и искусство нашлись же, хотя только инстинктивно или без всякого прямого намерения, – ощутить и воспроизвести в картине действительное положение России, состоящее в этом

злополучном раздвоении у нашего большинства, между мыслью и жизнью веры и мыслью и жизнью бытовыми, в самовозношении первых и унижении чуть не до язычества последних у многих, многих Русских. Вот это проявление жизненности, еще слабой до бессознательности, я и отношу к младенчеству нежного малолетства, а неразумие мертвящей ревности, при всей наружной ее благовидности, к ребячеству одряхления.

Купец с живым любопытством слушал и расспрашивал об этой картине, покачивая от удовольствия головой. О. Иоанн продолжал, при этом, толковать ему свою мысль, в приложении к простому купеческому быту, как и тут – вверху душеспасенье, Святые иконы с горящими лампадами, а внизу, – язычество со своим богом мамоны, богом своекорыстия и обманов. «Ну, вот если это самое изобразить на картине, – говорил о. Иоанн, – и Вы возревновали бы против того, как это попали на одну картину и Святые иконы и скверное божество мамоны, – это, мол, соблазн, нечестие и проч; хороша ли была бы эта Ваша ревность? Нет; она была бы не по разуму и мертвая фарисейская ревность. Разумная-то и живая ревность повела бы Вас к таким мыслям, что, мол, вот и на картине благодать не ладится с языческим мамоном; – дай-ко я, вместо мамона, и в низменности своего торгового дела буду служить Отцу Небесному, усматривая в моих покупателях именно Его детей, общников Сына Его Господа нашего Иисуса Христа, – дай-ко я буду чтить Св. иконы свечками и лампадами и житейском и домашнем быту – именно смотря на всякого человека, как на живой Божий образ или икону, и особливо на свою жену, как на образ Христова благодатного тела Церкви, как на живописанную Словом Божиим и в падшей женщине икону Заступницы грешных – Радости всего мира – Пресвятой Богородицы». Купец только весело кивал головой в знак живого внимания и согласия. Видно было, что объяснительное сравнение с картиной было особенно близко к его мысли и сердцу. Но когда о. Иоанн покончил с купцом, я опять взялся за свое.

– Рассказ Ваш о картине, – говорил я священнику, – только подтверждает сказанное мной: нами одолевает не столько

малолетство, сколько ребячество дряхлости. В художнике, писавшем картину, нельзя вовсе отрицать той возможности, что сознательно-то водила его кистью своекорыстная спекуляция, которая уж отнимает жизнь и у замеченного Вами в нем малого запаса жизненности.

— Положим, что и так, — отвечал священник. — Но и в тех, которые нашли соблазн и нечестие в картине, так просто и хорошо дающей заметить, что разобщение духовного с мирским, или бытовым, — житейским в господствующем у нас образе мыслей и жизни, есть крайне неладное дело или состояние, — и в них нельзя же совершенно отрицать возможности лучшего в будущем. Ведь и эти ревнителю могут же быть когда-нибудь наведены и на здравую ревность против самого разделения у нас между духовным и мирским или бытовым житейским, унижающего последнее до язычества и портящего первое фарисейским самовозношением над человеческим, — этим самовозношением за облака, противным и духу снисхождения Господня до вочеловечения и до жизни и смерти на земли ради именно грешных и погибающих, — противным и духу превознесения Господня на небеса хотя уже с обоженным, но нашим же человеческим естеством. Впрочем не скрываю от Вас того, что подобными возможностями лучшего, в будущем, я утешаю не только Вас, но и себя самого против невольного уныния от того, что есть в настоящем. Отрыгнут же когда-нибудь в нашей мысли и жизни те жизненные задатки, которые можно открывать в самых безыскусственных и даже грубых выражениях нашего народного духа. Вот, например, в изданном г. Афанасьевым собрании простонародных сказаний и поверий есть такие, детские конечно, сказания, в которых резко выражена народная мысль, что направление Святого служения Богу, самое приятное Богу и Церкви, есть именно живое соучастие в земных нуждах и затруднениях самого низменного житейского быта. Вспомните то, ребяческое конечно по образу представления, сказание, в котором решается или объясняется, почему Святителю Николаю празднуется два раза в каждый год, а преподобному Кассиану (память его 29 февраля) чрез три года один раз в году (именно в високосном): мужик, по

простонародному сказанию, завязил тяжелый воз в грязи, и Преподобный Кассиан, боясь замарать райскую свою одежду, только пожалел бедняка, а Святитель Николай взялся помогать мужику – вытаскивать воз и лошадь из болотной грязи... Вот почему, по народному понятию, столько уважается в Церкви и славится у Бога Святитель Николай! Грубо, а выразительно высказывается здесь народная мысль о том, какое наилучшее направление в благочестии и святости. Даже, по моему мнению, и Преподобный Кассиан не унижается простонародным сказанием. В этом сказании слышится народное чутье, что, если мы, из самолюбивого опасения замараться в мирских дрязгах, упорствуем в безучастности к труждающимся и обремененным собратьям в разных земных средах, – то Угодники Божии, одушевляясь, особенно в небесной своей жизни, духом Агнца Божия, вземлющего грехи мира, не только соучаствуют и помогают нуждам и бедам земного быта, как Святитель Николай, но на себя же самих пред Богом принимают вину и нашей жесткой безучастности к собратьям, как Преподобный Кассиан (по общенародному сказанию). Это духовное чутье народа особенно ясно видно в другом общенародном сказании, выражающем великую мысль о том, что ревность, нечеловеколюбиво вооружающаяся против земного и житейского, якобы недостойного духовной и благодатной высоты, падает этой своей жестокостью прямо на само духовное и Христово, как простирающееся своей очистительной животворностью на все человеческое. Вот это сказание: Св. Пророк Илия хочет наказать мужика (этого грязного погруженного в земной быт мирянина) посланием града на его поле, покрытое созревающим хлебом; но Святитель Николай, предупреждая об этом мужика, устрояет так, что последний перепродает свое поле священнику (служителю духа Благодати) – и град опустошает собственность уже не мужицкого, а духовного хозяйства; и это несколько раз повторялось. Народ наш любит и чтит память Пророка Илии не менее Святителя Николая; и потому нельзя сомневаться, что в приведенном сказании высказывается именно то народное чутье, что, коли люди нового завета останавливаются на ветхозаветной

беспощадной ревности, то ветхозаветный Великий Ревнитель, вошедший в небесной своей жизни уже в дух Христовой ревности, на Себе выместившей зло мирское, сам на себя принимает и непременно вынесет пред Богом вину жестокой и неразумной ревности Христиан (даже еще Православных), которая поражает не зло мира, а человека, искупленного кровью Богочеловека, и опустошает или стесняет поле человеколюбивой благодати Христовой... Неужели же добрый брат мой, – сказал наконец священник мне с брызнувшими из его глаз слезами, – такие семена народной мысли и духа, всеянные еще в детстве народном, не разовьются когда-нибудь до цветов отчетливого знания во всех его отраслях и до плодов жизни во всех ее средах, когда за это стоит сама благодать Божия и ходатайствуют с Христовой любовью все Святые!

Вскоре мы расстались с досточтимым нашим о. Иоанном.

III разговор

О затруднениях и недоразумениях в применении к мирскому благодатных начал и о потребности в этом применении, особенно в наше время

Был в приходской церкви о. Иоанна престольный праздник. Обстоятельства не позволили мне поспеть в его село ко времени богослужения; я увиделся с о. Иоанном уже часов около четырех по полудни, когда он, окончив служение праздничных молебнов по домам своих сельских прихожан, пил вечерний чай в своем семействе с немногими близкими родными своей жены (сам он был родом из другой губернии, родным с его стороны было слишком далеко до его приходского села). После чаю, о. Иоанн предложил мне прогулку около прекрасных больших прудов села, хотя жена его и представляла ему, что он уж слишком утомлен для прогулки, что лучше было бы беседовать дома; приметно было, что и ей хотелось слышать разговоры, какие обыкновенно заводились между нами. Муж ее только указал ей на веселящийся в селе народ, примолвив: «ведь ребенок, думаю, нуждается в материнском присмотре»; хозяйка только улыбнулась и уж не стала нас удерживать. Мне сладко было приметить в пастыре, что он разделяет материнскую заботливость Церкви о духовных своих детях и среди народного веселья, а жена его, как действительная помощница такого мужа, живо сочувствует ему в этом.

Ясный и теплый, хотя и осенний, день склонялся к вечеру. Мы, как будто по взаимному предварительному согласию, дали себе в безмолвии полюбоваться прекрасным видом празднующего и весело шумящего села, господствующих над ним двух храмов Божиих – старого деревянного (хорошо, впрочем, поддерживаемого) и нового каменного трехпрестольного, потом нехитрого и не слишком обширного, но красиво, весело высматривающего, помещичьего дома и наконец больших двух прудов, отражающих в себе и крестьянские избы, и церкви Божии с помещичьим домом.

Отрадно и приятно было не для одного тела, но и для духа, дышать свежим здоровым воздухом. В природе было тихо; небо чистое.

Надо сказать, что это было дней только восемь после серьезного разговора, прежде мной описанного. Я крепко был занят предметом этого разговора; обдумав все, слышанное мной в этом разговоре, я остановился на некоторых недоумениях или вопросах, которые и решился, при первом удобном случае, предложить о. Иоанну. Случай к этому был теперь самый удобный, и я тотчас же им воспользовался, как скоро мы, так сказать, освоились с внешней прекрасной обстановкой в нашей прогулке.

– Батюшка, – сказал я, – прошлый разговор у меня не выходит из мыслей. Родились у меня некоторые вопросы; позвольте мне их высказать Вам, если Вас не призывает какое особенное дело. (Последнее сказал я, помня вышеприведенные слова о. Иоанна о нужде ребенка в материнском положении).

– От нас самих зависит, – отвечал о. Иоанн, – чтобы в наших делах одно другому не мешало, а помогало.

– Да, – сказал я, – по вашему-то должно быть так, чтобы и земное было мыслимо и исполняемо духовно, чтобы таким образом и житейское дело не мешало, а помогало духовному делу. Но как согласить земное с небесным, житейское с духовным? Одно имеет в виду земную жизнь, другое направляется к будущей вечной жизни, «отлагая всякое житейское попечение», как поется в известной церковной песни¹⁰. Все земное, говорят благочестивые мыслители и вне Православной Церкви¹¹, все должно служить лишь к тому, чтобы душа отрешалась от любви ко всему этому и созревала для вечной жизни. Что Вы скажете на это?

– Прежде всего, скажу Вам, – отвечал о. Иоанн, – мою искреннюю благодарность за то, что Вы рассуждаете о слышанном от меня и испытываете истину с тех именно сторон, с которых она может быть перетолкована неразумием или недоброжелательством. Ведь, в самом деле, так легко и вместе благовидно для какого-нибудь сварливого ревнителя закричать против меня: *Святая де Церковь поет: всякое отложим житейское попечение*, а вот тут учат служить Христу и в житейском попечении.

– Поэтому-то, батюшка, и надо хорошенько разъяснить этот пункт учения Вашего, – заметил я.

– Судите же сами, – говорит о. Иоанн, мое ли самочинное или Господне то учение, которое передаю Вам. Вы, конечно, слышали о готовности, выражаемой Божиими Святыми, идти и в ад только бы с Господом, нейти и в царство небесное в разлучении от Господа. Это мы и возьмем за основание нашего

рассуждения в настоящем случае; потому что именно Господь и соединение с Ним составляют всю силу царства небесного или вечной жизни, а без мысли о Господе и о соединении с Ним и самое стремление к небесному царству и отрешение от земных житейских попечений будет еще недостаточно и даже фальшиво; Святые не хотят и царства небесного без Господа, а напротив, только бы с Господом, они не боятся не только пути житейского, но и самого ада. На этом основании надо нам осматриваться, согласно ли со Святыми мы думаем и заботимся о снискании самого Царства Небесного или будущей блаженной жизни? Самого ли Господа и союза с Ним мы ищем, говоря об отложении житейских попечений? По смыслу песни церковной, на которую Вы указали, спасительно можем и должны мы отлагать всякое житейское попечение не иначе, как *изображая херувимов в тайне своего духа и воспевая трисвятую песнь животворящей Троице*. Так ли?

– Совершенно справедливо, – отозвался я.

– Вспомните теперь, – продолжал священник, – что именно я говорил – ну, хоть об этом житейском деле – торговле. Имейте в виду за торговым делом, говорил я купцу, Всевышнего Хозяина – Господа нашего, недалекого от нас не только по своему Божественному вседеприсутствию, но особенно по благодати Своего вочеловечения ради всякого человека, для избавления от греха и гибели всего человеческого; помните, что покупатели ваши – дети Небесного Отца, общники Сына Его, если они христиане, что и за каждого человека до самого страшного суда еще ходатайствует пред Отцом Небесным Единородный Его Сын Своим богочеловечеством, Своими крестными язвами, принятыми за грешных и погибающих; знайте, что такая любовь Божия простирается на нас не как-нибудь отвлеченно или только мысленно, но в самой силе и действии Бога Духа Святого, Единосущного Отцу и Сыну. Скажите же ради Бога, не внушал ли я чрез все это купцу обращать свое дело в духовную песню животворящей Троице, изображая именно тех небесных духов, которые еще в ветхом завете (Ис. 6), созерцали и воспевали славу Божию, исполнявшую в грядущем еще для того времени Христе всю

землю?!.. Сами люди, созданные по образу Божию, представляют для такого служения Господу Богу живые, так сказать, Его иконы. Только *отложим всякое житейское попечение*, занимающее нас вне Господа, вне сознания и ощущения Его благодати! Не разлучаясь таким образом от Господа и за житейским своим делом, душа и будет чрез это созреть для вечной жизни, духовно уже предначиная ее в той ее силе, чтоб быть всегда с Господом, отрешаясь от всего, что вне Господа...

– Это меня, – сказал я, – вполне удовлетворяет насчет того недоразумения, которое я Вам высказал. Но вот рождается у меня новое недоумение. Ведь для такого служения Богу есть у нас особенное Святое место – храм Божий, куда, исходя из среды мирских дел, и приходят православные *возрадоваться Господу*, «херувимов тайно образуяще и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе».

– Виноват, виноват, – отвечал мне о. Иоанн с улыбкой, – что благодать храма Божия и церковного богослужения желал бы я распространить и на занятия наши вне храма... Не правда ли, добрый мой, что сама по себе очевидна странность подобного обвинения? Но знаете ли что? Благодать храма и церковных собраний мы и должны усвоить себе и вносить во всю нашу жизнь, что дух богослужений церковных и должен разрешаться в нашем духе и разноситься нами всюду в мире. Иначе мы в отношении к храму и богослужению стали бы подражать древним иудеям, которые не входили в благодатный дух храма и, при всей ревности о храме, до того были чужды благодати храма, что вне храма распяли самого Господа; за то и храм у них отнят. Не для того Вездесущий снисходит к нашей ограниченности чрез благодатное вселение свое в храм, чтобы нам и ограничивать служение Ему только храмом, а именно для того, чтобы, пользуясь благодатью храма, нам возвышаться к постоянному ощущению вездесущия Его и к служению Ему во всяком месте и во всяком занятии. Не для того и в новозаветной Церкви учреждены свои *субботы* и *новомесечия* – Святые праздники, чтобы нам, христианам, по-иудейски чтить Бога только праздничным богослужением и покоем

бездейственности, но для того, чтобы, усвояя себе благодать праздников, работать Господу и во все дни за всякой работой. С другой стороны, представьте себе человека, который и вне храма за житейскими делами служит и работает духом своим именно Господу, смотрит на людей, с которыми имеет то или иное другое дело, как на Его иконы: этот человек, придя в храм Божий к праздничному, например, богослужению, как легко и свободно будет возвышаться к благодатному общению с Господом, от Которого он не разлучается и вне храма! Как торжественно, отложив всякое житейское попечение, будет он духом воспевать трисвятую песнь животворящей Троице, Которой он служит и в самых житейских попечениях и занятиях! Какой любовью обнимет он внутренно и своих собратий, находящихся вне храма, представляя их Господу, как тоже работающих Ему за своими делами! Да, тогда только мы по надлежащему будем присутствовать и в храме, когда с благодатным его духом не расстанемся нигде вне храма.

– И этим удовлетворен я, батюшка, с полной к Вам благодарностью, – сказал я. – Но у меня уж готовы и другие вопросы и затруднения. Не слишком ли уж много будет снисхождения к нам, грешным, чтобы нам и в земных житейских делах служить Господу в духе церковного богослужения? В этом случае, кажется, уж очень легко было бы спастись, а между тем дело спасения требует *распятия плоти со страстями и похотями*. Святые подвизались, можно сказать, до крове для достижения спасения, а нам будет доставаться спасение просто за торговым прилавком...

– Не только за торговым прилавком или при другом житейском труде, – отвечал мне о. Иоанн, – но и среди вот этих и подобных этим увеселений (при этом слове он указал на веселящееся народное собрание в селе) можно и должно православным снискивать спасение, а не пагубу души. Да! смотря на народное веселье или принимая в нем участие, православные только бы при этом помнили и держали в своих мыслях и сердце, что Сам же Отец Небесный, ради вочеловечения Сына Своего, дает верным Ему человеком *вся обильно в наслаждение* (1Тим. 6:17); пусть даже только бы хоть

старшие или более других смыслящие и любящие Господа, и среди веселья, радовались в своем сердце и душе собственно об отеческой Божией любви к нам, утешающей своих детей благами и радостями еще и в здешней жизни, и своей верой поддерживали бы в такой благодати и других, менее возрастных духом и телом, менее разумных и боголюбивых, подобно как маленьких ребят поддерживает в благодати вера их родителей или крестного их отца и матери. Тогда и самое народное веселье было бы не в пагубу души, а во спасение, по слову Божию у Пророка Иеремии: *и изыдут... поющие и глас играющих, и умножу я... Тогда возрадуются девицы в собрании юношей, и старцы возрадуются... и утешу их, и сотворю их веселы* (Иер. 30:19, 31:13). Потому-то, скажу Вам мимоходом, я пошел с Вами и на прогулку, имея в виду поддержать моих веселящихся прихожан в любви Божией и напомнить им своим появлением среди их, как ныне же в церкви внушал я им мыслить и чувствовать среди праздничного веселья. Пусть вспомнят это хотя только одни более разумные; но вера их привлечет осенение спасительной благодати, которая будет отгонять от всего народного собрания тьму злых и нечистых духовных движений и самых движителей зла и нечистоты... Это послужит, очевидно, к спасению веселящихся.

— Но это пока только усиливает высказанное мной недоумение, не слишком ли уж легко такое спасение? — заметил я.

— Прежде нежели будем испытывать, легко ли в самом деле или требует своего рода подвига дело спасения в тех средах, о которых мы говорили, я должен сказать Вам, — так снова начал о. Иоанн свою речь, — что самое основание Вашего недоумения отзывается духом нехорошим, неверным истине. Вам говорят, что даже и за торговым прилавком и на местах общественного увеселения, среди праздничных удовольствий, можно и должно спастись человеку; а Вы возражаете, не слишком ли уж легко будет в этом случае дело спасения? Что ж, по Вашему лучше оставлять человека на пагубу, нежели предоставлять ему спасение и в этих средах? Как хотите, это заговорил в Вас не Христов дух: вспомните, что Господь

являлся с благодатью спасения и в среде мытарей, не отвергал и блудниц. Это первое, что неладно в Вашем возращении или недоумении. Второе, столько же несостоятельное пред истиной, состоит в проглядывающей у Вас мысли, будто должно отягчать дело спасения нашего. Вспомните Христово Слово: *иго Мое благо и бремя Мое легко есть*. Знаете ли, что только тогда и можно с благонадежностью браться за особенно трудные подвиги, когда есть в духе живое ощущение благодатной легкости Христова ига? Опытные подвижники по этой самой причине никогда не благословляли идти, например, в затвор¹² или в пустыню, или носить тяжелые железные вериги, когда в желающем подобного подвига замечали только стремление к трудному подвигу, стремление неосмысленное и неоживленное глубоким сознанием и живым ощущением райской сладости любви к Господу, благодатно окрыляющей и к тяжелому подвигу, как именно к благому и легкому Христову игу. Не оттого ли, может быть, и оскудевают у нас истинно благодатные духовные подвиги и подвижники, что неразумная ревность старается, по крайней мере в образе мыслей, отягчать дело спасения, закрывая для себя и для других сладкую благодать и легкость этого Христова бремени?

Я не мог не согласиться, что представление и требование тяжелой трудности в деле спасения, действительно, одних запугивает, так что они и не берутся за это великое дело, а других, именно ревнующих о деле спасения, вводит в нечеловеколюбивую суровость.

– Ну, вот теперь посмотрим и на то, – продолжал священник, – действительно ли до излишества легко дело спасения в самых простых житейских средах, по моему разумению. В отношении к другим людям, в торговле ли или среди увеселений и т.п., надо иметь сколько возможно в неопустительном внимании образ Божий, отпечатленный в каждом человеке и, в самом испорченном нашем состоянии, ни в ком из людей еще неомраченный всецело, неизглаженный до последней своей черты; надо именно с внутренним благоговением внимать Самому Сыну Божию, существенному Образу и сиянию славы Отца, отобразившему Себя по своей

благодати в самой природе человека, и страшную тяготу и вину ее испорченности, в какой бы ни было степени последней, вынесшему на себе по домостроительству воплощения. В отношении к вещам, употребляемым в торговле ли или в другом занятии, хотя бы даже только в ястии и питии, надо также не опускать из виду осуществления и выражения в этих вещах творческих мыслей Того же Бога Слова, существенно проявляющего в Себе Своего Отца и, притом, самой благодатью Своего домостроительства воплощения осеняющего и неразумные создания, так что вся, не только животная, но и неодушевленная даже, тварь поставлена во внутреннюю связь и некоторое сочувствие со спасаемым человечеством, стремясь и имея, к славе этих чад Божиих, достигнуть свободы от своего порабощения тлению (Рим. 8:21). *Вся тварь*, говорит Апостол, *с нами совоздыхает и соболезнует даже до ныне* (ст. 22). В отношении к разным случайностям и вообще к событиям, хотя бы самым житейским и вместе еще, пожалуй, возмутительным для духа тоже надо живо помнить, что в мире ничего не бывает и быть не может иначе, как по положительным или только попустительным определениям или мыслям Вседержителя, сосредоточенным в тайне Христовой, именно в тайне отяготения всяческих греховных и разрушительных бремен мира на Агнце Божиим. Видите ли, что обо всем этом и говорит-то или слушать не так легко, а не только что исполнять? Но еще мало всего этого. Надо еще, при всем сказанном, самому в себе входить в дух и расположения Христовы, или *сия мудрствовать, еже и во Христе Иисусе*, Который ради всякого человека соделался человеком и именно за виноватых понес оставление от Отца и смерть, как бы Сам виноватый их винами; то есть, надо дело всякого человека, его обстоятельства и интересы так принимать к своему сердцу, как будто это было твое собственное дело, твой интерес, твое обстоятельство, и это не иначе как в Христе, в общении любви Его к миру, спасающей и очищающей мир от всякой пагубной лжи и скверны греха. Наконец, и в отношении к Самому Господу, надо всемерно отрешаться от того средневекового западного представления, по которому скорее мир со своими

случайностями, со всеми людьми и другими созданиями принимается за жертву непреодолимой воли и силы Вседержителя Господа, нежели признается принесение Господом Самого Себя в жертву за мир, за всякий произвол человеческий, ради всяких случайностей до падения даже волос с нашей головы. Надо неопустительно и живо помнить, что Господь в славу для Себя и для Своего Отца вменял не Свое всемогущее вседержавие, но именно Свое беспредельное самопожертвование за мир, на чем и основаны бытие и все судьбы мира, со свободой и особенностями каждой личности, со всей случайностью событий, касающихся не только людей, но и неразумной твари. *Ныне прославися Сын человеческий и Бог прославися в Нем*, изрек Господь наш, грядый на вольное Свое страдание и смерть за грешный мир (Ин. 13). И все это надо помнить и иметь в благоговейном внимании и виду среди самой мирской суеты, как это бывает, например, в торговле, или среди увеселений, среди самых фамильярных отношений, как это бывает, например, в брачной жизни, в семействе, с особым своеобразным применением этого общего благодатного направления ко всему бесконечному разнообразию частных случаев и отношений. Это не правда ли для нас уж слишком, слишком легко...

– Простите, простите меня, батюшка, – заговорил я. – Простите не столько за странность моего возражения об излишней легкости дела спасения, как Вы его представляете для всякой среды мирской, сколько за готовое уж у меня новое, противоположное прежнему, недоразумение. Этот подвиг веры, который Вы сейчас развивали, так высок, так труден, что и браться за него возможно только разве для совершенных подвижников. Такой подвиг недоступен для большинства нас, грешных. Нет; нам нужно что-нибудь полегче.

О. Иоанн не мог не усмехнуться на такой внезапный переход мой из одной крайности в другую, но усмехнулся с такой любовью, что я не мог почувствовать ничего оскорбительного для самого моего самолюбия в его доброй усмешке. Его слово, затем, еще более успокоило меня.

– Да, – сказал он. – И я тоже думаю, что такой подвиг, в его совершенстве, доступен только для высоких подвижников. Мне думается, что именно такой великий подвиг проходили и проходят истинные *юродивые Христа ради*, над которыми не стыдятся некоторые у нас в православной России глумиться, не стыдятся единственно по неразумению дела – по этому постыдному для образованных юродству, беду и вину которого, во Христе, и выносят на себе самих юродивые Христа ради. Но пусть я, или другой кто пред зрелыми и совершенными праведниками немощее малого ребенка, – пусть я, как духовное дитя, и ходить еще не умею, а только едва ползаю по полу, – даже и в таком случае я желаю хоть бы только ползти духовно по направлению и духу истинной праведности, но не хочу и твердо ступать по направлению иному. Ведь, если ребенок и поползет отсюда, например, вот к тому дереву, к которому мы идем, то он и спотыкаясь на каждом почти шагу, все же понемножку может достигнуть этого дерева; а если и взрослый пойдет в иную от дерева сторону, он уж никак не попадет к этому дереву. Не правда ли? – Так-то пусть те кто повозрастнее духом, подтверже следуют благостному и легкому Христову направлению, поддерживая и слабейших, а то даже и на руки взявши и нося их духовно, как какого-нибудь малого ребенка. Другие же пусть идут путем взаимного содействия в служении своими обыкновенными делами Самому Господу и Отцу Небесному, *нося тяготы друг друга* и чрез это помогая друг другу во всем держаться Того, Кто понес все наши тяготы. Слабейшие же и более других беспечные пусть более крепкими и бодрыми возбуждаются и увлекаются, хотя бы бессознательно со своей стороны, к общему делу служения во всякой своей среде Самому Христу и в Нем Отцу Небесному, по благодати Св. Духа. Представляю это в примерах. Возьмем во внимание, например, дело той или другой общественной или царской службы. Иной и простой солдат, служа в своем солдатском деле неуклонно Самому Господу и, во всех распоряжениях начальства, повинуюсь в своем духе Самому Отцу Небесному, может поддерживать в такой Христовой благодати и начальство свое и товарищей. Также точно и служащий по письменным

делам пусть только, при составлении и даже простой переписки какого-нибудь отношения или предписания и тому подобное, взирает духом своим к Самому Верховному над всеми Главе – Господу, в Котором должно быть возглавлено все, и небесное и земное, Который, именно для заведывания и земным, сходил Сам на землю, – ад ля распоряжения всем человеческим беспрепятственно со стороны нашей греховности, стал Сам человеком и умер за грешных людей. Твердая и живая вера и одного такого письмоводца будет и распоряжения и распорядителей своего служебного круга и с высшими над этим кругом – будет возводить к действующему, а не формальному или титулярному, главенству Христову. А то вообще и начальники и подчиненные, если хотят возвысить свою службу и дело над уровнем со службой и делом магометан и других неверных, или не хотят быть людьми фальшивыми в своем Христианстве, пусть взаимно поддерживают себя во Христе, первые, смотря на подчиненных своих, как на детей Всеблагостного Отца по дару Его Сына, Собой пожертвовавшего за погибающих, а последние, подчиняясь своим сердцем и умом Самому Тому же Своему Отцу, призирающему на верных Своих и в начальстве, и в родителях, во всех степенях и родах субординации. Или в частной жизни принимающий услуги от добровольного или наемного слуги, и самый этот слуга пусть несут взаимно тяготы друг друга, – первый помня, что к Христу, приходившему на землю не для принятия услуг, но для послужания, особенно близок человек услуживающий, а последний свои услуги доводя, в своих мыслях и сердце, до Самого Господа, владеющего всякой властью на небеси и на земли не по Божеству только Своему, но ради именно нас и по Своему человечеству (Мф.). Сколько благодати Божией привлекали бы себе эти счастливцы и в самом простом деле своего общежития, и это, конечно, не без труда, но труда истинно *благого и легкого* для верующих и преданных Господу!..

– Но, добрый батюшка, – проговорил я с невольной тоской, – ведь, мы едва ли еще не все просто маленькие ребята для такого дела, как Вы говорите. Нам это дело, которое Вы

развивали предо мной, недоступно по нашему духовному младенчеству. Ведь, в наибольшей из нас части, может быть, едва-едва зачалась такая жизнь по благодати святых таинств, да так и остановилась без дальнейшего развития. Притом взяться за дело, как Вы говорите, пожалуй – не прочь бы многие честные в душе люди, – но только с условием, чтобы таких было по крайней мере несколько человек на одном месте. А то если и заведется в известном кругу или месте только один, два из таких, что они поделают против общего направления? Общий поток увлечет их, особенно если и они-то сами похожи на малых ребят для такого дела. Вот в чем горе наше.

– Вполне разделяю с Вами это общее наше горе, – сказал о. Иоанн. – Но что касается до нашего духовного младенчества будем укреплять себя верой, что и Сам Господь наш ради нас был младенцем, носимым на руках матерних, был в пречистой Ее утробе и в состоянии зачатия от Св. Духа: все это ради нас. Пойдем или хоть по-младенчески поползем путем Христовым, возьмемся хоть за это направление и стремление к Господу: Мать Божия поддержит и воспитает в нас Сама благодатный дух Своего Сына, как я с особенным упованием и верой полагаюсь на такую Ее благодать. Я надеюсь в Господе, что этот Его дух, дух нисхождения в земные среды и мирские дела, возрастет и может раскрыться в нас по степеням духовной жизни, степеням разным – от детства и до подвижнической зрелости в своем роде. Пусть в известном кругу окажется и один человек такого духа, он должен только твердо помнить, что все дело не во множестве, а в Господе, Которого Самого он и должен, хоть по-детски, держаться в своем деле и в своих отношениях к другим. Господь найдет содружных ему душ и силен даже преобразовать, претворить Своим духом весь его круг или среду.

– Дай Господи! – отозвался я со своей стороны. – Но я, по поводу Ваших последних слов, буду высказывать Вам свои новые недоразумения. Ведь, этот путь жизни во Христе, о котором Вы говорите, поражает как-то своей новостью, своей особностью от наших, по крайней мере, привычек в деле богоугождения. Я вполне сознаю, что существо дела остается

одно и тоже, непреложно истинное: это – служение Самому Господу и в Нем Самому Отцу Небесному, как Вы говорите, – служение, совершаемое помощью благодати Самого Св. Духа, в живом единении со Св. Православной Церковью. Но прежде, в ком загорится искра такого служения, тот идет в пустыню, в монастырь, или будет ходить за все службы Божии в церковь; а по-вашему эта искра может гореть и разгораться в пламень – и в обыкновенных земных средах, и за торговым прилавком, и за делом слуги, не исключая даже и мест увеселения; в храме Божиим, говорите Вы, – и я против этого не могу спорить, – надобно наполняться духом или благодатью церковного священнослужения – для всякого дела и служения. По Вашему, и среди суеты торговой можно, в существе дела, отлагать житейское попечение и обращать свое дело в песнь животворящей Троице, по образу бесплотных; такое дело достойно кого угодно и из священнослужителей, а между тем церковными правилами воспрещено клирикам заниматься торговлей. Я сознаю вполне справедливым или верным Православию, в основании и духе, духовное направление, о котором Вы говорите. Но оно так не похоже на обычное доселе направление благочестия по своему не только внешнему выражению, но и по этому свойству и движению своему – заниматься и земным по духовному.

– Прежде всего отделим, – отвечал о. Иоанн, – то, чего я не могу принять на свой счет из Вашего возражения. Я нимало не касаюсь и не колеблю того древнего образа благочестия, по которому искра божественной любви влечет кого-либо в пустыню или в монастырь, или и до монашества побуждает его ходить по монашески за все службы Божии. Я признаю таких ревнителями жизни равноангельской, подражателями бесплотным, по своему стремлению как можно более отрешаться от плотских потребностей и постоянно славословить Бога. Я могу только пожелать им того, чтобы, соревнуя жизни ангельской, они усвоили себе и дух той любви Божией, которой движутся *все служебнии дуси*, все Св. Ангелы на служение спасению мира (Евр. 1): пусть они будут первенцами Богу, святыми начатками, предстоящими Богу и за

других людей, привлекающими своей человеколюбивой верой и молитвой благословение Божие на весь мир, на дела и обстоятельства всех живущих в мире собратий своих; пусть они помнят, что Господь и труды этих последних может принимать за работу Ему Самому, и да содействуют они этому со своей стороны. Так точно я нисколько не касаюсь и не колеблю утвержденного правилами церковного порядка, по которому священнослужащие должны отдаляться от занятия житейскими делами, торговыми и тому подобными. Напротив в Христовом теле Церкви каждый член пусть занимается только своим делом, оставляя другие дела другим своим сочленам, проходящим соответственные тому отправления. Иначе выйдет самый странный и вместе разрушительный для всего тела беспорядок, внутреннее раздвоение деятельности каждого члена и отсюда неестественное служение двум господам. Итак не навязывайте мне того, чтобы я проповедывал Вам такое духовное направление, которое неблагоприятно касалось бы, в каком бы ни было отношении, древнего образа благочестия и церковного порядка.

– Да, да, – сказал я. – Надо это поставить на вид нам грешным, а то мы любим делать обо всем, мало мальски выходящем из рутинного уровня, всякие кривые перетолки.

– Но в согласии с церковными правилами и древним образом благочестия, – продолжал о. Иоанн, – я действительно убежден в самой настоятельной потребности для блага Церкви и спасения мира, чтобы взяться вере именно за самые мирские дела и житейские нужды, за все земные среды для проведения или раскрытия в них света истины и благодати Христовой. Я разумею такое раскрытие в этих средах Христова света, по которому никого и ничего из светской или мирской области насильственно не следует гнуть под какую бы ни было несущественную, а только что привычную форму благочестия. как некогда в первоначальном Христианстве иудействующие лжеучители захотели было согнуть верующих язычников под форму своего иудейства, хотя она была определена и освящена самим Божиим законом; напротив в каждой земной среде только проводились бы начала и дух Христовой истины и

благодати, избирая такую для своего раскрытия форму, которая соответствовала бы этой среде и развилась бы в ней свободно. Объясню Вам мою мысль в примере. Возьмем во внимание, например, эту добрую и святую форму благочестия, развитую в нашей православной старине, чтобы, входя в дом, искать своими глазами святого образа и крестясь сделать пред ним несколько поклонов. Дело очевидное, что, если мы стали бы настаивать на соблюдении этого святого обычая в среде вот этого общества (о. Иоанн указал при этом на прогуливающееся по другую сторону прудов семейство и гостей помещика), то это значило бы, по-моему, гнуть и ломать и среду, которая впрочем все же никогда свободно уж не подчинится упомянутой благочестивой форме. Или Вы считаете возможным, что светская дама или ловкий молодой человек, входя в балную залу, станет делать среди бала большие кресты и поясные поклоны и пред иконой, которую, впрочем, и в благочестивых домах, едва сыщешь где-нибудь в уголку?

Я не мог не улыбнуться при подобном представлении и откровенно высказал, что если бы это и было возможно и сделано кем-нибудь, то это не только всеми принято было бы за глумление, но и само по себе скорее было бы глумлением, нежели искренним благочестием.

– Вот видите, – начал снова говорить священник, – как неблагонадежно и неразумно было бы насильственно гнуть людей той или другой среды под известную, выработанную для другой среды, форму. А между тем, если дорожить не внешностью, а самой силой этого благочестивого обычая при входе в дом полагать на себе знамение креста и молиться пред Святыми иконами: то, ведь, как просто и свободно эта самая сила дела может выражаться в совершенно другой форме, принадлежащей именно среде этого общества! Разве не каждый человек создан по образу Божию и в этом отношении есть досточтимая икона Самого Бога? Разве животворящая сила Креста Господня состоит не в той любви Господа, что Он, став за нас человеком, понес на Себе до крестной смерти и все вины человеческие? Итак, что же препятствует верующему светскому человеку – мужчине или женщине, входя в свое светское

общество и раскланиваясь со знакомыми или знакомясь со незнакомыми, своей мыслью и сердцем вспомнит, что это все иконы Бога, и воздать пред ними в своем духе честь и поклонение Самому нашему Богу, недалекому от нас, как уже говорил я, не только по вездеприсутствию, но и по благодати Своего вочеловечения за каждого грешного и погибающего человека? Вот простая, общедоступная и в светском обществе, среди самого бального веселья, форма, в которой может воспроизводиться дух и сила старинного благочестивого обычая, очевидно – без всякого насильственного прозелитизма, гнущего все под привычную свою форму. Так точно желающий или *могий вместити да вместит* и тот образ глубокого внутреннего пустынножительства или то духовное подвижничество веры, чтобы и вообще в мирских средах твердо и неопустительно сознавать и ощущать в себе и в людях иконы Господа, служить или работать Ему Самому за всякой работой и занятием, слушать или читать во всем видимом и слышимом положительные или попустительные мысли и волю Самого Господа, подъявшего на Себя же, как на саможертвенного агнца, все греховные нестроения и беды мира... Святая Церковь для своего благосостояния и грешный мир для своего спасения имеют вопиющую нужду в подобных подвижниках и подвижницах веры и любви к Господу.

Мне хотелось бы поболее поговорить об этом с о. Иоанном, и из опасения, чтобы, в прогулке около прудов, случайная какая-либо встреча не прервала нашей живой беседы, я предложил о. Иоанну идти далее прудов, к роще. Он согласился, но с условием, чтобы там недолго медлить и оттуда идти уже не около прудов, а самым селом. «А то, – прибавил он, – хотим рассуждать о нуждах, уединяться более в духе, сосредоточенном в Господе, а сами и внешним образом бежим от людей». Последнее выражение мне сейчас наполнило прямое внушение свыше, данное Св. Арсению великому: «бегай людей и спасешься». Я не замедлил высказать это о. Иоанну.

– Вы говорите, что есть вопиющая потребность в таком подвижничестве, чтобы неотступно служить Господу и в мирских средах, обращая и самые житейские дела, или разные

времяпровождения среди общества людского, в богослужебную песнь Пресвятой Троице. А вот Святым бывали небесные откровения, что для спасения надо бегать людей.

– Значит, – отвечал с улыбкой о. Иоанн, – надобно нам снова повторять, о чем мы только что говорили с Вами. Ведь мы сейчас только говорили, впрочем к большому убеждению Вашему готов я еще и еще повторить, что не касаюсь и не колеблю стремления желающих – для спасения бегать людей и по внешнему, т.е. удаляться в пустыни или монастыри. Но стою только за то, что силу или сущность того же дела – убегания от людей для спасения – можно раскрывать и в другом виде, не удаляясь от общества с людьми, что в этом подвиге, разумеется, желающих или могущих его вместить, есть особенная потребность для нашего времени. Любовь Отца Небесного, по благодати Его Сына, соделавшегося ради людей Сыном человеческим, Сыном Матери Девы, понесшем на Себе и греховные вины людей, не оставляет еще людей, не отвращается еще совсем от мира. Будь же в обществе людей, но держись только духа этой любви Божией к людям, изливающейся в наши сердца Духом Святым (Рим.5), и ни в чем – ни в малом, ни в большом, или ни в важных делах, ни в мелочах не будь причастен к какому бы ни было, несогласному с духом любви Божией, духу и настроению человеческому. *Бегай людей и спасешься!* Все разумеи и употребляй не иначе, как дары и выражения той же любви Божией; самые проявления зла мирского понимай, как невольные служащие осуществлению предначертаний той же всеблагостной любви Божией (потому что, если чего она не попустит, разумеется по своим предначертаниям, того и быть не может), но ни в делах, ни в мыслях своих ни мало не разделяй противных этому человеческих воззрений и правил, разве только следи и в этих последних темные инстинкты, наклонные к свету и благам той же, содержащей в себе все живое и прекрасное, любви Божией, но только обольщенные или увлеченные призраками ее же благ и света. *Бегай людей и спасешься.* Будь при этом непоколебим и невозмутим ничем, что бы против тебя или в обольщение твое люди ни делали или ни провозглашали; будь непоколебим и

невозмутим не по презрительному к этим людям высокомерию, которому противопоставляй живое сознание превосходства и малой в них искры или даже только мерцаний Божьего, (что есть в каждом человеке), превосходства над всем человеческим, а следовательно и над тобой; будь, говорю, невозмутим и не по холодному бесчувствию, а по водружению твоего духа в духе любви Божией, простертой во Христе и Его Кресте на людей беспрепятственно и невозмутимо со стороны всяческой их влаемости и противления, простертой на все человеческое для очищения его от всего лживого и презренного. И твой корабль, во внутреннем уединении и тишине твоего духа, среди самого многолюдства, будет управляем Духом Божиим так же, как это было с Арсением Великим; по его образцу и молитвам, в тебе будет раскрываться дух и сила того самого внушения, какое ему дано от Бога: *бегай людей и спасешься*. Я говорю это *вообще*; но могут и должны быть бесчисленные и самые разнообразные, высокие и низкие частные ступени этой великой лестницы к возведению земного и человеческого на благодатно-небесную высоту или к нисхождению и проведению небесной благодати и истины во все земные среды. Могущий вместить пусть идет на высшие ступени, а кто затруднился бы высотой, пусть утвердится на какой-нибудь из нижних ступенек. Только всякий, кто верует во Христа Спасителя мира и желает для собственного же спасения послужить в свою меру спасению и других людей или той или другой среды людской, – живо сочувствуй духу милосердой любви Божией к гибнущему миру, духу снисхождения Христова в наш мир для взыскания и спасения заблуждающего человека, духу восхождения Его на небеса уже с земным человеческим естеством.

Тут мы были остановлены прибежавшим к о. Иоанну одним крестьянским парнем, который просил священника приобщить Св. тайн умиравшую его мать: «К празднику словно стало ей полегче, – говорил он, – а к вечеру совсем умирает – больно уж плохо». Мы должны были воротиться. Но о. Иоанн, ускоряя шаги и, избрав ближайший путь к дому своему чрез самое село, а уже не мимо прудов, не оставлял, однакож, беседы со мной. Он делал или высказывал мне быстрые, пронизательные заметки по поводу того, что представлялось нашему наблюдению в слышанном или виденном нами; с удивительной находчивостью он обращал все к выяснению главного предмета завязавшихся между нами речей. Я старался только ловить летучие его заметки, не отводя своими словами мыслей его в сторону от наглядных наблюдений.

Выслушав и расспросив, о чем нужно, крестьянского парня, о. Иоанн, уже при входе в самое село заметил мне, что «искали было мы внешнего уединения, чтобы не было помехи нашим рассуждениям, а вот *треба*¹³ приходская зовет к людям с божественными дарами благодати: так-то потребности времени могут вызывать живую верность к Христовой истине или благодати – вместо пустынноческого уединения – и в среды мирские, для проведения всего человеческого к спасительному и очистительному общению с Господом».

Услышав затем, как один молодой крестьянин, в небольшом расстоянии от нас, оставляя своих товарищей, говорил им: *мое почтение, господа*, о. Иоанн сейчас же мне заметил: «Видите, как простонародье наше перенимает формы жизни и речи у более образованных классов. Из этого можете понять, что, заботясь проводить святую силу добрых обычаев благочестивой старины в соответственные современным средам формы, мы не только могли бы удовлетворять нуждам более образованного общества и направлять его к лучшему, но и готовили бы нужное для всего народа, неизбежно следующего за образованным обществом. Так, например, образованный

человек, умея и в простых приветях и поклонах родным или знакомым смотреть духом и относить честь к образу в них Божию, чрез это самое уже настраивался бы с полным уважением открывать высокий разумный смысл в простолюдине, который, при входе в дом, крестится и молится пред Св. иконами. Равно и простолудин, перенимая у образованного разные формы жизни и речи, оживленные разумно-православным духом, очевидно – не терял бы чрез это, а более и более раскрывал бы для себя святое добро, завещанное ему благочестивой стариной. Так не разрывалась бы живая связь ни между новой и старой Россией, ни между образованным и простонародьем, и весь народ Русский стройно пошел бы вперед».

Приметив, как двое подгулявших крестьян, начав уже на словах вздорить между собой с горячностью, так скоро увлекающей мужиков и до драки, вдруг присмирели при виде своего священника, и с поклонами ему заговорили: «Мы, батюшка, так ничего», – о. Иоанн начал мне говорить вот что: «Заметьте, что делает даже над охмелевшими один вид священника, о котором они знают, что он берет близко к сердцу их положение и дела. Так-то, возлюбленный мой, и во всяком веселящемся обществе, если найдется и один человек с духовным вниманием и благоговением к Отобразившему Себя в человеке и самые его грехи взявшему на Себя Господу, – свет привлекаемой чрез это благодати уже будет незаметно разгонять мрак и мглу беспорядочных и злых помыслов и дел. А то оставьте в духовном небрежении или без внимания что бы то ни было, оно естественно будет покрываться пылью и гнилью, обезображиваться понемногу всякой дрянью; и что мудреного, если наконец трудно бывает и открыть в этом что-либо духовное? Поймите же отсюда, как нужно во всякие земные среды входить со светом Христовой истины и благодати. Мирское и житейское, трактуемое только, как греховное, и потому лишаемое всякого благодатного осенения, зарастает неизбежно страшной дичью, в которой и гибнет человек, за которого Христос умер. Конечно, против явных беспорядков есть полиция, есть мирская власть, не напрасно вооруженная

мечем правды против незаконных построений. Но возьмем в заботливое внимание положение самых служителей гражданской правды и порядка, каково им быть и действовать без духовной поддержки в среде безобразия и беспорядков: ведь поневоле ожестеешь духом. Не от этого ли столько упадают духовно многие из наши полицейских или из приказных? Надо, значит, и в их среду входить со светом Христовой благодати и истины. Как входить? Да хоть прежде всего не иначе, как одной живой верой, что и по полицейской или приказнической части правда и власть принадлежит Самому Господу нашему, Христу Богочеловеку, Который и будет действовать Своей благодатью в людях и этой среды. Не странно ли Вам, что я коснулся многого по поводу двух охмелевших и вздоривших между собой своих прихожан? Но ведь, только в разных формах, беспорядки везде одинаковы в своей сущности».

Проходя мимо хоровода и толпящегося около него народа, среди которого шел о. Иоанн, как добрый отец среди своего, любящего его, семейства, он обратил мое внимание особенно на выражение какого-то благородства в крестьянских девицах и женщинах. «Приметьте, – говорил он мне, – что, если Вы среди многолюдства не опустите из вида образа Божия в человеке и с верой будете направлять свои мысли к Той, Которая матерински поддерживает и бережет в нас дух Своего Сына и Бога и образом Которой поставлена в Слове Божиим и падшая женщина, то это всего скорее благодатно воздействует на женщину. Мужчине надо дойти до *мысли* духовной, а это не вдруг может совершиться; женщина же становится в должное состояние даже и чрез одно бессознательное *ощущение* осеняющей благодати. Но только бы Божия благодать нашла на ком остановиться: она уж приведет понемногу и к разумному сознанию своего света. Будет время, когда меня будет радовать и благородный отсвет разума в мужчинах прихожанах».

Подходя к домам священнослужительским, мы слышали в причетническом доме шум и крик, очень беспорядочный и даже буйный. Слышались такие кличи человека уже немолодого: «Я знать никого не хочу; а что мне отец Иоанн; Ваш отец Иоанн

такой же Иван, как и мы грешные», и прочее, и прочее. К нам выбежал из этого домика сконфуженный молодой причетник. Он извинялся пред о. Иоанном с какой-то стыдливостью: «Не знаю сам, что сделалось с батюшкой-тестем; сначала, бывши уж навеселе, стал просить вина, я не отказывал, а потом вот услышал от нас, что Вы, батюшка, идете, вдруг начал кричать безобразно. Простите нас». О. Иоанн успокаивал растерявшегося причетника: «Я знаю твоего батюшку-тестя, – говорил он, – отца дьякона Иоанн, моего тезку, хорошо его знаю. Он старик добрый, а если случайно ослабел, то тебе уж нечего напоминать – сам знаешь, что ведь и Ной праведный однажды подвергся искушению от той же слабости, и Хам, наругавшийся над слабостью отца, подверг свое потомство проклятию, а Сим и Иафет за покрытые наготы отца, на которую и сами остереглись взглянуть, приобрели благословение. Ты и жена твоя теперь поберегите и всячески успокойте своего старичка, он проспится, и все пройдет, а ты с женой будешь благословен. А между тем сбегай ко мне в дом, возьми у попадьи и принеси ключи от церкви; надо сходить в церковь за Св. дарами». Причетник, кажется пономарь, побежал за церковными ключами. «Да! – продолжал священник, обратясь ко мне, когда мы пошли к церкви, – молодое поколение, если хочет залучить для себя что-либо прочно жизненное или истинно Христово, должно не только щадить, но и уважать старость даже в минуты ее слабости, хотя и никак не поддерживать этой слабости. Тесть моего пономаря – человек действительно добрый, трудолюбивый и благоразумный. Но вот, так как у него трудолюбие и благоразумие, а тем более праздничное времяпрепровождение не освещено лучшим смыслом, именно светом Христовым, сознательно проводимым и в эти среды, то старичек, вне своих работы и забот, и не умеет иногда наполнять свое время чем-нибудь более живым и светлым, кроме излишества в употреблении вина, веселящего сердце человека. А ведь он – дьякон, и притом не из худших, а скорее из лучших у нас! Отсюда и поймите крайнюю нужду для самого благочестия и служения Церкви это направление, чтобы Христово, благодатное проводить в обычные явления и

принадлежности жизни нашей: иначе будет усыпляться и погружаться в бездействие самая благодать в нас, не исключая и тех, которые удостоены благодати священства. От чего иного духовность и вообще Христианство во многих из нас находится как будто в обмороке?! Все живое требует для себя и живого исхода или употребления, а иначе оно замрет. Живой исход благодатного может быть не иной, как движение и употребление этого благодатного – по духу снисхождения Господа до нашего человечества, до нашей плоти, до условий физической и общественной нашей жизни, до нашей даже смерти, по духу Его воскресения, сияющего жизнью всему миру до ада, по духу Его вознесения и седения в самом принятом за грешных человечестве Своем одесную Отца, *да исполнит всяческая Своей благодатью*. Есть и фальшивый исход христианской духовности, это равноиудейская ревность не по разуму, обольщающая себя той энергией, с которой она бьет человека, *мняся службу приносить Богу (Ин. 16)*, и тем успехом, с каким она встречает сочувствие своему легкому выражению наружного православия от чертогов до хижин. Это похоже на жар того опьянения, какому случайно подвергся вот его старичек», – сказал это о. Иоанн, указывая на пономаря. принесшего ключи от церкви, на крыльцо которой мы уже входили.

Взяв в церкви Божией Святые дары, о. Иоанн сам предложил мне идти с ним в деревню, куда звала его «треба». Эта деревня была в расстоянии от села меньше четверти версты, так что усадьбы села и деревни сходились. Я с радостью согласился сопутствовать досточтимому священнику, заметив, что и он сам не менее, если еще не более, меня заинтересован предметом нашего собеседования; ему хотелось говорить со мной, а мне его слушать или расспрашивать. Я же уже решился воспользоваться гостеприимством о. Иоанна – ночевать в его доме. Мы пошли вместе.

– Вот видите ли, – опять заговорил о. Иоанн, – к человеку престарелому или больному не пойдешь с благодатью Св. крещения или миропомазания, также как и новорожденному не понесешь запасные Дары животворящего тела и крови Христовой. Из сокровищ одной и той же Божественной

благодати, неизменной в своем существе, каждому потребно свое. Так и время на время не приходит; каждое время имеет свои духовные особенности и нужды, согласно с которыми и надо предлагать и раскрывать для веры Христову истину и благодать. В самые первые века Христианства, против которого враждовало, что называется, *на смерть* греко-римское язычество, без сомнения требовалось для веры, в раскрытии и усвоении Христова света, с мученической твердостью отражать все темные влияния язычества, державшегося и в гражданских формах и в обычаях вековых, в увеселениях общественных, в искусствах и житейских благах, подчиненных своим божествам. Но и в это время бывали примеры доблестной веры, несомневающейся входить в самые низменные языческие среды, например, кровавые языческие зрелища, и здесь поражать язычество сообразным им оружием. Так Св. великомученик Солунский Димитрий, бывши уж в темнице, благословил Святого же мученика Нестора принять вызов величавшегося над христианами гладиатора Лия, с которым Нестор и вступил в кровавое зрелищное единоборство, окончившееся смертельным поражением хвастливого язычника; и Св. Церковь, в своих песнопениях, ставит это в духовную честь обоим добропобедным мученикам¹⁴. Этот пример очень важен для некоторых нынешних ревнителей, соблазняющихся или раздражаемых направлением веры входить в разные мирские среды для поражения здесь зла свойственными этим средам действиями. В последующее за периодом гонений время, когда раскрываемая и определяемая была истина Христова в своем внутреннем существе, свойственно было духу и жизненности этой истины усваиваться верой тоже в своей внутренней, безотносительной духовности, которая и была печатью высокого подвижничества, стремящегося именно к отрешенной от всего мира духовности. Это было тем более, что мир и с поражением язычества, всюду еще давал в себе видеть языческое растление, а живая вера, с прекращением гонений, пламенно соревновала недавнему мученичеству, заменяя внешние страдания тяжелыми подвигами аскетизма. Но и в это время, в самом подвижничестве явилось и такое направление,

по которому иногда и из пустыни подвижник шел в мир посмеяться над мирским растлением с Христоподражательной любовью к людям – разумею юродство Христа ради, о котором мы уже говорили с Вами. А то бывали и такие примеры, что поседелый в строжайшем аскетизме пустынный не сомневался, для взыскания обольщенной и гибнущей души, надеть воинскую одежду и даже идти вот в какую мирскую среду – в дом распутства, и здесь принять вид развратного старика, есть и пить с блудницей: говорю о преподобном Авраамии, который так именно поступил для спасения своей племянницы Марии, и которого преподобный Ефрем Сириянин, этот великий учитель покаяния, не знает как достойно восхвалить за такой поступок (о котором он в своих писаниях и повествует). Это произошло в церкви Божией как бы нарочно в оправдание Святыми Отцами древности направления – входить с Христовым светом в мирские среды без смущения и возбранения духовным их мраком, направления, вызываемого особенностями и нуждами особенно нашего времени. Ведь какое наше время? Если посмотрите на самую духовность или благочестие нашего времени, то и в тех случаях, когда не допускается или лицемерие или неискренность, Вы найдете, что духовность (разумею не звание или священнослужительство, а нравственный путь по благочестию, которым идут и вне священного или иноческого звания), эта духовность или чужда живой энергии и как будто чахнет, или буде воспламенеть себя ревностью не по разуму, чуждой и даже отвращающей духа человеколюбия Христова, взыскующего именно погибающих и заблуждающих. Для оживления духовности, для сведения ее с кочковатого пути черствого ригоризма на дорогу могущественной и человеколюбивой энергии, требуется, чтобы эта духовность, разумеется по мере вмещения и усердия веры, была готова идти за Мучеником Нестором, или Преподобным Авраамием в какую угодно мирскую среду для поражения здесь зла и лжи, для спасения запутавшихся здесь, или вообще труждающихся и обремененных душ. Если же посмотрите на самые эти мирские среды, то увидите, что в них дело и мысли и жизни, при всей кипучей иногда своей энергичности, идет

большей частью так, как будто люди, и притом христиане, в наши времена мечтают и хотят все устроить и придумать сами собой, без Христа. Духовное здесь зло, под разными личинами и прикрасами, свободно остается и растет, грех и ложь обыкновенно даже и не зазирают себя; и только чрезвычайная милость и благодать Агнца Божия, с Его бесконечным самопожертвованием, совершают то, что свет Христов еще светится и во тьме человеческой и тьмой не объемлется. Вопиющую нужду вносить или проводить Христову истину и благодать в эти среды, где так запутался и многообразно бедствует и всячески обольщаем бывает человек, не сознает и не почувствует разве только тот, кому не жалко не только мира и человека, но и пролитой за мир и человека крови Господней. Он Сам, Господь наш, не побрезгал средой нашего грешного мира – пришел к нам, и доныне вот не брезгает идти, в тайнах Своего тела и крови, в какую бы ни было мирскую трущобу, куда призывает Его недугующий человек; а у нас ревнители осмеливаются с глумлением отзываться о проведении в среды мирские Христовой благодати и истины...

О. Иоанн разговаривался о любимом своем предмете, более и более углубляясь в этот предмет. Он обратил далее внимание свое и мое на наш русский *раскол*, именно на то, как иные раскольники вооружаются против паспортов, рекрутства, ревизий и других распоряжений светской власти, следующих направлению великого преобразователя России, Петра. «Мечтают у нас, – говорил о. Иоанн, – вразумить этих заблуждающих набожной внешней степенностью православных особенно духовенства. Но не прямой ли способ убедить раскольника в православии составило бы живое проведение благодатных начал и в распоряжения мирские, в дело рекрутства, ревизий, паспортов и тому подобное? Если бы во всем подобном раскольники ощутили живой дух Христов, о чем они и вздыхают, только не совсем по разуму, то как стали бы относить все это к области антихристовой?»

Потом о. Иоанн стал говорить о патриотизме, о славянофильстве. «Ревнуя о благе своей родины, о славе своего отечества, с какой энергией мы должны бы возвышать

все родное и народное до благодати и истины Единородного и Всеблагостного Его Отца! Призвание православного славянства – стоять не за свое собственное превозношение, а за ту славу Небесного Отца, что Он есть Отец всякого рода и народа, – только бы принимали Сына Его, ставшего человеком для всех людей, и следовали человеколюбивому Его Духу». Среди таких речей, мы незаметно дошли до близкой деревни, и в ней до дома, и вней до дома, где была больная. О. Иоанн предложил мне пройтись всей деревней, пока он напутствует болящую исповедью и Св. тайнами; потому что во время исповеди, мне со всеми семейными и сторонними, кто случился бы у больной, все бы следовало быть вне дома, в котором у крестьян, как известно, нет отделенных одна от другой комнат – Я тихо шел по деревне, раздумывая слышанное мной от о. Иоанна. В деревне не видно было почти никого, кроме детей и старых людей; видно, прочие на первый день праздника были в селе, откуда, уже в следующие дни, пойдут праздновать всем приходом по деревням. На улице дети шумели со своей беготней и играми. Старушки и старики на них весело посматривали и по временам покрикивали. Солнце заходило. Сама собой осеняла душу мысль о *Свете тихом Святыя славы Отца Небесного*, сияющем Своей милостью и благодатью – всем – и старым и малым.

Обойдя и осмотрев всю деревню, я вошел в дом, где был о. Иоанн для причащения больной Св. тайн. Все уже было исполнено священником; больная в особенно опрятном виде лежала и, болезненно охая, говорила что-то с о. Иоанном. Вот какая речь ее дошла и до моих ушей: «Все грехи, батюшка, не што вот сходишь, бывало, помолишься к Троице-Сергию; а то все грехи – работа да забота во всю, почитай, жизнь». Пастырь успокаивал больную тем, что Господь загладил Своей смертью наши грехи и что она такую Его благодать своей верой себе усвоила в Святых таинствах покаяния и причащения тела и крови Господней. «Ведь наша правда, – продолжал он, обращаясь ко всем находящимся в доме, – что есть Сам Господь наш Иисус Христос; а потому и грех есть, по своей силе, не что иное, как наше нехотение принимать Самого

Господа в храмину нашего сердца и духа. Поэтому, не только когда идете Вы на богомолье к Святым мощам Божиим угодников или к Святым чудотворным иконам, но и когда работаете за пашней, за покосом, за дровами, за домашними делами – даже, например, за приготовлением пищи или уходом за скотом: делайте все это в таком расположении духа, с такими мыслями и чувствами, как будто и в этом самом деле (как и во всяком добром деле) удостоиваетесь принимать к себе в душу Самого Господа – единственную правду нашу, силу всякого истинно доброго дела. И тогда ваши работы и заботы не будут грехами; душа будет слышать в себе свидетельство самой благодати, что Господь, правда наша, приобретается и усваивается вами и за вашими работами и заботами домашними. Вот есть у нас великое таинство, в котором мы принимаем в себя Господа в самом Его теле и крови: великая благодать этого-то Святого таинства, принимаемого вами по большей части только однажды в год, будет бессмертным семенем или неиссякаемым источником своей животворящей и освящающей силы и на всякое прочее время вашей жизни, на всякое ваше дело, в самом исполнении которого вы духовно и сердечно будете воспринимать к себе Того же Самого Господа в духе Его благодати... Не пренебрегите такой неизреченной благодатью и милостью к нам Господа нашего! Один и тот же труд и работа ваша могут быть и такими, что не будут отличаться от труда и работы татар и других неверных (но тогда какую же благодать пред ними будете иметь вы, православные христиане?); а могут быть те же труды и работы простые и такими, в которых вы в своих расположениях и мыслях, в своем сердце и духе принимаете, приобретаете и усвояете себе Господа славы. Сами Ангелы не знают высшей для себя работы и чести, как духовно насыщаться чрез внутреннейшее присвоение себе Господа. Но знайте, что само собой, без вашего желания и веры, ничего не может быть у вас в жизни. Подумайте, что ведь недаром эта добрая старица – мать ваша не нашла в своем сердце другого свидетельства о своих работах и заботах, обременявших ее всю почти жизнь, кроме того, что в них все грехи, да грехи; а надо бы нам,

православным, так вести и делать свои дела, чтобы, и всегда и особенно при конце жизни, от всей души благодарить Создателя и Спасителя нашего, удостоившего нас благодати *приобретать* (Флп. 3) или воспринимать и усвоить Его Самого -правду и святость нашу и за земными работами и заботами»... Все слушали с живым вниманием и умилением. Больная старушка плакала, ощущая по крайней мере только сердечным чутьем сладость и свет внушаемой о. Иоанном истины Христовой. Когда, прощаясь с ней, добрый в Господе пастырь благословлял ее как близкую свою родную, как мать свою (так мне казалось по его слезам и сыновней нежности, с какой он смотрел на нее), то больная проговорила ему: «Сотвори и с тобой Отец Небесный Свою великую милость, за твои милости к нам грешным и темным». Я радовался, что мне Бог дал быть свидетелем подобного благодатного прощанья – на вечную жизнь.

Когда мы шли обратно в село, я предложил о. Иоанну, по крайней мере теперь пройтись несколько по полю, пока совершенно не смеркнется. Он согласился, потому что речь наша, говорил он, все еще не кончилась. О. Иоанн развивал предо мной теперь те мысли, как вредно и жалко обычное у нас у всех – духовное раздвоение между делами благочестия и делами жизни или между служением Богу и рабочей жизнью, – разумея под последней не только заботы и работы частной жизни, о которых говорила добрая старушка, но и жизнь общественную, научную, политическую и проч. «В этом самом раздвоении, – говорил он, – и совершается то служение двум господам, против которого говорит Спаситель в Евангелии (Мф. 6:24): *никтоже может двема господинома работати: либо единого возлюбит, а другаго возненавидит: или единого держится, о друзем – же нерадиши начнет. Не можете Богу работати и мамоне* (богу богатства или вообще всякому вне истинного Бога началу житейских дел). Это – во всяком роде жизни. Вот мне рассказывала одна светская девица, как она мучила себя и терзала, убивала свою духовную жизнь в своем нравственном раздвоении: то примется за книги духовные, будет ходить как можно чаще в церковь, усердно молиться,

всего опасаться как нечистого, соблазнительного: то, увлекшись какой-либо светской книгой, бросит все духовное, схватится за романы, за светские развлечения, и все это с таким расположением и мыслями, что уж все равно погибать. Эта барышня была не только неиспорченная, но и неспособная обманывать и усыплять свою совесть фальшивым миром между тем, что она считала добром, и тем, что признавала худом. Несмотря на это, в своем мучительном для ее совести раздвоении то на светскую жизнь, то на благочестие, она естественно доходила до такой ужасной мысли во глубине своей души, что хорошо было бы жить на свете, если бы не отравляла всего в жизни мысль о будущей жизни, если бы не было Бога. Это она мне сама высказала с откровенностью, когда вполне стала доверять мне. И мне думается, не от этого ли несчастного, нелогического раздвоения между обычной жизнью и благочестием произошла эта склонность особенно светской молодежи к отрицанию, к неверию...

– Но, скажите ради Бога, – спросил я священника, – чем же все кончилось у этой девушки?

– Я тогда еще не был священником, – отвечал о. Иоанн. – Но, благодаря моему незабвенному дяде, я имел уже то направление, которое Вы во мне знаете. Я так же доверчиво, как она открыла мне свое состояние, рассказал ей о себе, как я научился от дяди читать романы, бывать в светских обществах, даже в театрах, в прогулках среди веселого многолюдства. Везде ведь тут – в театре и в романе, в обществе и прогулке – является пред вами человек, ради которого соделался Сыном человеческим Сын Божий; все лучшее в этом человеке, что вы ни видите, идет от полноты благодати Богочеловека; все худшее, что ни представилось бы вам в человеке, отяготело на Богочеловеке. Нет человека, да и не возможен человек вне силы и действия этой Христовой тайны, раскрывающей в себе всю беспредельную любовь к человеку Отца Небесного; от нас самих зависит принимать или не принимать участие в такой любви Божией во Христе, хоть бы и в обществе или в театре или за светской книгой. На человека, где бы он ни представлялся вам, – действительный ли только возможный, –

не смотрите вне Того, Кто стал за него человеком; в лучшем у него усматривайте ответ благодати, в худшем – тяготу креста Христова.

– И чтож, – спросил я, – эта барышня?

– Она имеет твердый характер и неспособна, как я сказал уже Вам, лгать пред своей совестью. Твердо и без двоедушия пошла она по принятому благодатному воззрению; раздвоение и противоречие между благочестием и жизнью исчезло, и она ощутила себя у Всеблагостного Отца, при Котором жить прекрасно и с Которым некого и нечего по-рабски бояться ни в этой, ни в будущей жизни. Вот уж какой она сделалась! Вышла замуж – за любимого человека; чувствует живую связь со всеми, как с сестрами и братьями по Самому Небесному Отцу. Она и доныне в дружеской, духовно родственной со мной переписке.

– Случай замечательный, – отозвался я, – но частный, исключительный. Наибольшей частью у нас, кажется, без труда уживаются и ладят с требованиями жизни и благочестия: следуют в жизни всяким ее требованиям и приличиям, самым даже мелочным и двусмысленным, но немножко держатся и благочестия, если еще сохраняют веру, – и бывают вполне довольны собой.

– Я, напротив, думаю, – отвечал о. Иоанн, – что в рассказанном мной случае только реще и прямее выразилось то, что бывает и вообще с нашим большинством. Ладят, ладят и с житейскими требованиями и с благочестием, едва не забывая последнего и следуя обыкновенно первым; но случится несчастная перемена обстоятельств, тяжкая болезнь, лишение близкого и дорогого человека – единственного, например, сына, жены, мужа, и – те же люди уже относятся к житейскому, как в грешному, и берутся более уже за благочестие, хотя непрочное и одностороннее. А то ли бы дело, если бы и самое житейское так понимать и устраивать, чтобы в благах и удобствах его видеть и искать выражения и даров любви единого нашего Отца Небесного, дающего нам ради Своего Сына *вся обильно в наслаждение* и удовлетворение наше, и таким образом *искать* существенно и *прежде всего царствия Божия и правды Его* (Матф. 6:33)? Тогда не было бы у нас этих неестественных

переходов из одной крайности в другую; всякие нечаянные обстоятельства, самые даже тяжелые, нас заставляли бы не врасплох, а наготове, и мы без всяких уклонений и скачков в сторону, путем нашей жизни во всяких ее средах, шли бы к своему назначению, воспринимая с благодарностью Божию благодать во всем Отчего у нас, Русских, со времен Петра доныне, не успело образоваться своеобразное господствующее воззрение и направление, в котором сходились бы простой народ и образованные, светские и духовные? Именно от этого раздвоения у нас между требованиями Веры, глубоко внедренными в русском духе, и требованиями жизни, столь разносторонней и широкой особенно со времени Петра. Стремление к отчетливому разумению истины, положим, например, увлечет того или другого из нас к свободному исследованию истины; и вот этот исследователь уж знать не хочет, что истина, требующая отчетливости и беспристрастия от своего любителя, и есть Сам Христос Нет; путь свободного исследования он трактует уже за путь не по Христу и идет этим путем против православия и развитых в его духе порядков. Сама однако жизнь, случается, припугнет такого свободного исследователя, и он или уже отказывается от свободного исследования, как от лжи и греха, или начнет фанатически упорствовать на лживом, очевидно, пути намеренного пренебрежения и противления в отношении к истине Христовой. Какому тут разумному воззрению образоваться?! Так и в политической нашей жизни ищем славы, силы, благоустройства нашего отечества, расширения и ограждения его пределов, – все это прекрасно и достославно; но большей частью бывает так, что только события, в роде пожара московского в 1812 г., освещают и для нас Русских политический горизонт светом прямо Христовым. Но почему бы нам интереса и могущества отечественной державы не понимать и не устраивать или отстаивать всегда прямо и сознательно, как дары и проявления над нами и в нас любви Отца Небесного во Христе, нами познанной и усвояемой чрез веру православную? Почему бы нам не стоять за достоинство нашего отечества пред другими народами прямо и сознательно в то смысле и духе, в каком,

например, один подвижник не хотел, при всем смирении своем, допускать унижения пред другими, как и сам почтенный образом Божиим, или благодатной сообразностью и сообщностью с великим и существенным сиянием славы Божией – Господом? Почему нам самой осторожности и тонких хитростей политики не вести и не выдерживать, принимая за первообраз и основание всего подобного-то *«Богомудростное льщение»*¹⁵, с каким Царь благодати Своим крестом незаметно *«уловил началозлобного змия»* – мятежного князя мира сего? России, как державе православной, можно и следует иметь в открытом и прямом виду свое назначение или призвание сознательно и свободно служить Божией во Христе любви, простертой на все народы, на весь мир, чтобы на этом именно основании не давать в международных отношениях одним преобладать над другими, и во всем проницательно наблюдать, к чему современное человечество и само по себе наиболее склонно и ведется любовью Отца Небесного. Тогда было бы разумное единство и вместе своеобразие в нашей политической жизни, хотя мы ничем эксцентрическим не выступали бы из семьи цивилизованных народов.

– Я с Вами согласен, – заметил я. – Но, во-первых, был же чем-то в роде того, что Вы говорите, «священный союз», в устройении которого подвизался Александр Благословенный. Но последствия показали, что нашей христианской честностью в отношении к обязанностям «священного союза» другие злоупотребляли, воспользовавшись ей только для своекорыстия и выдав нас тотчас же, как мы истинно нуждались в содействии наших союзников по священному союзу? А потому, во-вторых, как-то само собой приходит на мысль слово, кажется, Пальмерстона, сказанное им пред начатием последней восточной войны по поводу жарких протестаций против войны, какие делали английские методисты во имя Христианства: он выразился об этой сильной партии в Англии, что эти люди слишком святы для грешных дел политики. Мне кажется то же или подобное можно сказать и вообще о Христианстве, которое убеждает Вас обидчику, нанесшему нам, хоть бы публично, пощечину в одну щеку, подставить и другую щеку для другой

пощечины, отнимающему нижнюю одежду отдать вместе с ней и верхнюю; этого никогда не согласите Вы с делом политики. Потому и наш, блаженной памяти, истинно благочестивый Государь Николай, когда пред него предстала депутация той же партии английских христиан со словом мира во имя Христианства, совершенно справедливо сказал этой депутации, что он, как христианин, согласен с ее суждением и предложением мира, но, как Государь, не может с этим согласиться. Что Вы на это скажете?

– Прежде всего то, – отвечал о. Иоанн, – что, привыкнув разделять дело Веры от дела жизни, мы неприметно и самые внушения веры и благодати стали понимать не совсем точно и свободно от односторонностей. Да; это слова Христовы: «не противься обижающему; но если кто ударит тебя в правую щеку твою подставь ему и другую; и кто захочет судиться с тобой, и взять у тебя рубашку, отдай ему и кафтан», т.е. не только уступи оспариваемые у тебя твои права, но и пожертвуй тем, чего у тебя не оспаривают (Мф. 5:39). Но надобно и понимать и исполнять эти слова Христова законодательства вполне согласно с мыслью Христовой. Вы, без сомнения, не будете и даже не можете спорить против того, что самый непогрешимый истолкователь своих благодатных слов и законов есть Сам Законодатель благодати, Который есть вместе и самое исполнение и , так сказать, олицетворение своих законов, или всей, открываемой Им, истины. Не правда ли?

– Нечего и говорить о том, что само собой разумеется, – отвечал я.

– Ну так вспомните, – продолжал о. Иоанн, – что когда Самого Господа нашего взяли на судилище, Он не жертвовал своим правом и не уступал своей правды. Так, на допрос первосвященника об учениках и учении Господа, как будто о тайной злоумышленной какой школе или секте, Господь дал ответ в таком смысле, что подрывал всякий судебный навет о злоумышленности тайной школы и свидетелем этой Своей правды представлял своих слушателей в открытых всенародных собраниях: «Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, куда все иудеи сходятся, и тайно не говорил

ничего. Что ты спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что Я говорил им; вот они знают, что Я говорил им» (Ин 18:19–21). Ответ был так далек от характера и духа жертвующей своими правами безответности, или готовой отказаться от всего своего уступчивости, что один из прислужников первосвященника нашел этот ответ оскорбительным для первосвященнической особы до нестерпимости, и потому нанес Господу пощечину. Что же опять Господь наш сделал? Ударившему Его по одной щеке подставил и другую, как Он сам учил? Опять нет. Он противопоставил обиде наглого человека требование и право правды: «Если Я сказал худо, – говорил Он, – стоя на судилище, – докажи, что худо, а если хорошо, за что ты бьешь Меня?» (Там же ст. 22, 23). Видите ли, что или мы не совсем точно, не совсем по мысли Господа разумеем Его заповеди и законы, или, чего быть не может, Сам Господь поступает несогласно со Своими же благодатными законами? Скажете ли, (как иные говорят), что здесь идет дело о самой спасительной Христовой истине, и потому этот случай не имеет отношения к Христовым заповедям об уступчивости на суде и о безответности против обидчиков в обыкновенных наших судах и случаях жизни? Но в том-то и дело, что именно Христова истина заведывает всем, не исключая и судов и случаев частной жизни, в которых потому и не надо уступать дела Христовой истины. И Господь наш столько же и в предстоянии Своем судилищу, как и во всей Своей жизни, есть первообраз для нас и для нашей жизни; и потому надо нам следовать примеру Его, как Он стоял на судилище и относился к Своим обидчикам. Согласны ли Вы с этим?

– Не могу не согласиться, – отвечал я. – Но как же все это согласить с прямыми заповедями Господа: *не противиться злу*, уступать на суде свои права и ударившему в одну щеку подставлять и другую?

– Да только не останавливайтесь на внешности заповедей и поступков Христовых, – отвечал о. Иоанн, – а вникайте в самую их силу, и Вы увидите, какое внутреннее между теми и другими согласие и соответствие; Вы увидите, как Господь точно исполнил и чрез самое исполнение протолковал Свои

благодатные заповеди, как потому и нам должно разуметь и исполнять их. Или Вы хотите, под предлогом точной речи Спасителя и вполне открытых Его поступков, остановиться все-таки на одной внешности предмета? Но, не вникая в самую силу дела, нельзя верно понять ни самой точной речи, ни самых открытых действий нашего Господа. Вот я видал ссоры и драки пьяных людей, из которых один, приняв пощечину от другого и чувствуя себя уже не в силах противиться злобе врага, кричит с азартом: бей и в другую щеку. Это ведь, судя по внешности, прямо по заповеди Спасителя! Что ж? Вы согласны на такое исполнение благодатных законов нового завета? А то еще знаю пример: у одного раскольника забирали раскольничьи книги и рукописи по распоряжению начальства; это привело в такое бешенство раскольника, что он, в лицо забиравших его вещи, бросил все деньги свои и самую сорочку с себя, воображая и выдавая себя за исполнителя слов Христовых: *хотящему судитися с тобою и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу*. Думаю, подобных примеров достаточно для убеждения, что и в самых прямых словах и действиях Христовых не надо останавливаться на внешности, а должно духовной мыслью вникать в самую силу дела. Так ли?

— Согласен, — отвечал я. — Но, вдаваясь в истолковательные подробности, ради Бога, не забывайте и не затягивайте разрешения главного вопроса нашего о проведении заповедей Христовых в дело политики.

— Как же могли бы мы это сделать, — возразил о. Иоанн, — не взвесив хорошо самого смысла и силы Христовых заповедей и действий? От этого последнего и зависит простое разрешение высказанных Вами затруднений, которые я твердо держу в памяти и мысли моей. Итак — терпение и внимание к начатому истолкованию, которое сейчас же и кончится! Господь наш сказал: «Не противься злему, но если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую», сказал и во всей силе исполнил это в отношении к злему судилищу иудейскому, без сопротивления дозволил ему взять Себя, — судить и осудить, приняв не только заушения и удары в ланиту, но и все Свое тело отдав на распятие. Господь сказал: «Кто захочет судиться с

тобой и взять у тебя сорочку, отдай ему и верхнюю одежду», сказал и во всей силе это исполнил, беспрекословно подчиняясь неправому судебному приговору на крестную смерть, с оставлением всей одежды своей исполнителям этого приговора. Но и это еще – только, открытая вне, сторона Христова исполнения собственных Его заповедей. Предстоя видимо судилищу и, по судебному допросу, представляя свидетелем правоты Своей всенародные собрания, среди которых Он учил, Господь, невидимо, в духе Своем, предстоял Самому Отцу Своему Небесному, приемля на Себя ответственность за неправды и этого судилища и своего народа и всего мира, всем Собой жертвуя в искупление гибнущего во зле и заблуждениях человечества. Возражая ударившему Его в ланиту: *что мя биеши*, Господь и Спаситель наш в то же время сосредоточивал в своем лице всевозможные удары человеческих беззаконий, наносимые Его любви, и вину их взимал на Себя же, как Агнец Божий, взявляя грехи мира в такой силе, что, будучи Сама правда и вмещающая в Себе всю любовь Отца, становился за грешный и подлежащий проклятию мир олицетворенным как бы «проклятием» и «грехом» (Гал. 3:13, 2Кор. 5:21). В соучастие такой-то любви Господней, по мере нашей веры и верности к Господу, мы и должны входить, если хотим, по мысли и духу Его, уразуметь и исполнять эти Его заповеди – ударившему в правую щеку подставлять ему и левую; оспаривающему нижнюю одежду отдавать и верхнюю. И только для того, чтобы мы вникали и входили именно в такую силу этих заповедей, а не останавливались на одной их внешности, Спаситель благоволил с твердостью возразить ударившему Его в ланиту вместо того, чтобы подставить ему и другую Свою ланиту. Только для того, чтобы и законов Его благодати не обращали мы в одну мертвую букву, Он требовал от суда обратиться к всенародному свидетельству Своей правоты, вместо безответной уступчивости Своих прав. Он в собственном лице и примере показал, что сила означенных Его заповедей состоит собственно не во внешней уступчивости и безответности, а в том, чтобы, не только уступая безответно, но и не позволяя другим бесправно и безнаказанно обижать и

унижать себя, усвоить себе при этом дух самопожертвования Христова за самых обидчиков и оскорбителей, чтобы, и отстаивая с твердостью свою правду и право, стоять во Христе пред Отцом Небесным самой своей правдой и правами за неправых нарушителей нашего права. Для ясности этого предмета, представим, что кто-либо объявил судебным порядком незаконную претензию на Вашу собственность или нагло и публично оскорбил Вас пощечиной, вообще ругательствами и побоями. Если Вы хотите верно исполнить Христовы заповеди, то первая и главная Ваша забота и обязанность – так в Господе полюбить этого бессовестного обидчика или оскорбителя Вашего, чтобы его неправду, наглость и низость вменить себе как бы в собственную вину пред Богом, а Ваши права и правоту вменить в своем духе, в права и правду этого несчастного собрата, допустившего поругание над правдой и правами. Усвойте себе эту Христову любовь к грешному человеку, и она же внушит Вам, как поступить по внешности: уступить ли безответно свою собственность притязателю неправому или твердо отстаивать свое право, подставить ли ударившему по щеке и другую щеку, или с него взыскать с Господом на суде: *что мя биеши?!* В том и другом случае Вы только действуйте не иначе, как в духе Христова самопожертвования за брата, ищущем его чистоты и правды пред Самим Отцом Небесным, и готовом для этого вменить, в духе своем, себе самому виновность собрата, а этому последнему свои права; и Вы исполните, вполне верно по мысли и духу Господа, давшего нам и пример в этом, благодатные Его законы о *«непротивлении злу»*. Так ли?

– Так, как, – отвечал я, едва переводя дух от нетерпеливого предчувствия заключений и выводов, какие сделаны будут относительно политики. – Что же отсюда следует для нашего предмета? Говорите скорее, пожалуйста.

– То следует, – продолжал о. Иоанн с твердостью и выражением особенного достоинства, что политике православного государства не только в прямых и ровных, но и в запутанных международных отношениях и столкновениях можно и должно держаться благодатного Христова законодательства.

Пусть христианское государство и отстаивая свои права, и не дозволяя посягать на свою честь и собственность, раскрывает в себе именно то духовное настроение, о котором мы сейчас говорили, пусть в тех или других органах правительства это настроение выражается и действует хоть только в «общем», но сознательном направлении; в организме православного народа могут найтись и такие и члены, в которых это настроение будет раскрываться и во всей благодатной своей глубине, для поддержки в этом органов правительства... И при таком воззрении и направлении политики, государи христианские не станут разделять, в деле и жизни, долг христианина от долга государя, что выводило бы этот последний долг из-под осенения благодатного и не давало бы на исполнении его почтить благословию совершенного благоуспешества. Да! Христос Господь, не только вседержавствуя по Божеству, но и по благодати Своей подъявши на Себя бремя всяких грехов мира, грехов следовательно и политики, имеет поэтому вдвойне непреложное и святое право заведывать и править чрез Свои заповеди и законы благодатные и делом политики не только во внутреннем народном благоустроении, но и в отношениях внешних к другим народам. И только одностороннее разумение и блюдение Христианства, каково, например, Христианство английских методистов, было бы слишком (но фальшиво) свято для дела политики.

– Ну, а «священный союз»? – напомнил я о. Иоанну.

– И «священный союз», – продолжал он, – отчего так скоро обратился в изветшавшую букву или в выдохшуюся форму международного обязательства, которой своекорыстие стало злоупотреблять для своих эгоистических целей, которой честность или добросовестная верность этому «союзу» вынуждалась служить только чужим своекорыстным интересам? Отчего это? Оттого, что начала христианской любви, взятые в основание «священного союза», не были взвешены в своей живой силе (говорю это не в предосуждение наших отцев, вошедших в этот «союз», потому что истина разъясняется не иначе, как постепенно, для всякой области, следовательно и для политической). Да; и высокая идея христианской любви

может быть взята так поверхностно, что живая ее сила может и не быть в виду и внимании. Сущность и сила Христианской любви к людям *вообще* состоит в усвоении себе Самого Христа Господа по духу Его любви к человечеству; так как и вся правда наша состоит в том *да Христа приобрящем и обрящемся в Нем* не со *своею правдою*, правдой своих дел и расположений, чуждых Самого Христа, хотя бы и кажущихся доброзаконными (Флп. 3:8–9). Поэтому сила и сущность христианской любви, как начала *вчастности для политического мира*, состоит в том, чтобы, как во внутреннем благоустройении народном, или в отношении правительств к своим народам, так и во внешних между народных отношениях, приобретать и усвоять Самого же Христа по духу Его человеколюбия, того именно человеколюбия, которое не только возвышается над своекорыстием, но на себя возьмет бремя и чуждых виновностей, бед и недостатков, как бы собственных своих, и чрез это является источником правды, благосостояния и совершенства. Такая сила христианского человеколюбия, сосредоточиваясь в Самом Христе, сколько бы возвышала политику над низким своекорыстием, столько бы и вооружала ее таким достоинством, чтобы не служить своекорыстию других: Христос понес бремена всего мира, но никакому своекорыстному эгоизму поживиться у Него нечем. Но политическое обязательство во имя христианского человеколюбия, только без направления прямо к Самому Христу Спасителю – и именно к Его бескорыстному самопожертвованию – не в ущерб, и в торжество правды, естественно обращалось для своекорыстных в способы их своекорыстия на счет других, а для бескорыстной честности в стеснительные узы и в службу чужим своекорыстным интересам. Итак «священный союз» служит доказательством не против союза политики с Христианством, а за то, чтобы этот союз утверждал в надлежащей и живой силе Христианства. Надо бы притом иметь в виду исторические условия, в зависимости от которых было это событие – «священный союз»: тогда объяснилось бы и то, как вкралось под это событие

ветшающее основание. Но об этом поговорим, при случае, после.

Было уже темно, когда мы воротились в дом о. Иоанна. Супруга его, опасаясь сильного утомления его от праздничной продолжительной службы, от ходьбы по приходу для служения молебнов, от продолжительной прогулки, от путешествия в деревню для совершения требы, удивилась, когда увидела бодрое и оживленное лицо своего мужа. Она благодарила меня за сопутствие о. Иоанну: «Ему ведь, – говорил она. – успокоительнее отдыха, слаще всякой вкусной пищи и питья – наговориться от всего сердца с человеком, который придется ему по душе». О. Иоанн сказал ей с лаской, что не мало придется ей слышать от него из нынешних разговоров его со мной: «У нас с ней есть уговор, – сказал он мне, – чтобы, в досужее время, непременно передавать ей сущность моих духовных речей с другими». Тут матушка-попадья сказала, что, обрадовавшись нашему возвращению, она и позабыла передать нам приглашение из барского дома посидеть там нынешний вечер, что за себя самое она уже отказалась из-за ребенка и гостей. Я был уже знаком в этом доме. О. Иоанн, по своему одушевленному расположению, был не прочь расширить свое духовное общение с другими. И мы отправились. «Почти, наверное, могу сказать Вам, – говорил он мне дорогой, – что мы будем продолжать речь о политике, ведь ныне политика занимает всех; хорошо было бы, если бы эта речь подошла к нашим нынешним разговорам с Вами». Я отвечал, что с о. Иоанном и быть не может речи о политике в другом каком духе, только бы заговорили о политике.

Когда мы вошли в барские комнаты, хозяева, их семейные и гости с живостью подходили к о. Иоанну, кто за благословением, кто просто подавал руку или раскланивался; по светлому выражению лица о. Иоанна, мне само собой напомнилось, что говорил он о приветях людям с внутренним вниманием к образу в них Божию. Все уселись или расположились как кому удобнее. При взгляде на общество, но напряженному выражению некоторых лиц, уже можно было догадаться, что шла здесь до нас, должно быть, горячая беседа. Остановленное на минуту

живое ее течение открылось немедленно как будто с новой силой. «Полноте дядюшка! – говорил студент университета, сын хозяйский, господину довольно почтенных лет и вида. – Кто теперь не следит за политикой? (Как раз о политике! – подумал я, и не мог без улыбки взглянуть на о. Иоанна). Вопрос римский, вопрос греческий¹⁶ кого не расшевелият, кого не заставят подумать и поговорить об этих делах? Вот и почтенный батюшка (говоривший обратился к о. Иоанну) не скажет, чтобы грех было заниматься политикой»...

– Послушай, милый племянник, – перебил студента пожилой его дядя. – Лишнего на меня не говори! Следить за делами политики я не думаю считать грешным делом; напротив, по моему мнению, образованный человек должен знать, что делается в мире. Но вот чего я терпеть не могу, когда всякий... кто едва выучился рассуждать, так занесется в своих толках о политике, о греческом там или итальянском вопросе, что как будто распоряжается самыми судьбами Греции и Италии, или державствует над всем политическим миром. Все лезут словно в министры или в другие там государственные умы. Занимались бы поболее своим делом, а распоряжаться делами политики – на это дело есть призванные люди.

– И Вы, многоуважаемый дяденька, не говорите на меня лишнего! – сказал студент. – Следя за политикой, мы не думаем распоряжаться чрез это судьбами мира политического. Напрасно опасаетесь соперничества нашего с министрами или умами государственными.

– Значить и спорить Вам уже не о чем, – заметил усмехнувшись хозяин, отец молодого человека и старший брат пожилого. – Вечно спорят, а в развязке споре почти всегда выходит, что говорили друг на друга лишнее: точь-в-точь как бывает в спорах наших журналов между собой. Что же касается современных вопросов политики, право что-то страшно становится за наш мир. Там гражданство и Церковь в решительном разладе и вражде между собой, – мало было сменять королей! Положим, что это делали неправославные. А вот здесь и православные греки отреклись от своего государя. Бог весть, что такое делается в мире...

– Поневоле задумаешься, – подхватил студент. – Ведь, все эти потрясения идут у наших братьев, братьев по человечеству, братьев по вере. Как не рассуждать о лучшем исходе тяжелых их борений и тревог?

– Очень, видишь, нуждаются они в Ваших рассуждениях, – заметил угрюмо дядя. – Да и дела то их слишком близко касаются Вас; нельзя Вам не рассуждать о их исходе...

– Мне думается, – заговорил к моему несказанному удовольствию о. Иоанн, – что дела итальянские и греческие, действительно, касаются и нас. Я разумею впрочем соприкосновение не политическое, как, например, по лондонской конференции вопрос греческий соприкасается и к нам.

– Да, да, – сказал хозяин. – Настает критическая минута для светской власти папы; когда она падет, это благодатно отзовется для всего христианства. Без светской власти и папству не устоять. Это уж касается всех, кому дорого торжество христианства над заблуждениями. Это правда!

– Признаюсь Вам, – отозвался на это о. Иоанн, – я и об этом не совсем так думаю. Я не разделяю мнения те, которые признают существенный интерес нашей религии в нынешней опасности для светской власти папы. Дело заблуждения римско-католического относится не к одной иерархии, но вместе и к гражданству. Соответственно тому, как первосвященник запада стал требовать отношения христиан к себе, как к верховному главе Церкви, наместнику Христа Бога, и политические главы западных государств требовали себе повиновения, как представителям и наместникам на земле Бога. Как папа, святительствова во имя Христа, не возводил взоров западных христиан к Самому Христу – единственному и всегда действующему Главе Церкви, так и западные Государи, утверждая свой авторитет из милости Божией, не считали долгом своим возводить повиновения себе своих подвластных к Самому к своему, общему с ними, Господу. Западные власти, и духовная и гражданская, во все средние века соперничая и борясь между собой, единодушно или одинаково поработали себе свободных по Христу детей Отца Небесного, одинаково не

возглавляясь под живое главенство Самого Христа. Судите же теперь, что за интерес и для истинного или православного христианства, если бы светская власть папы и решительно ослабла и даже пала, а между тем единственное главенство Христа продолжало бы оставаться бездейственным, непризнанным у христиан запада. По-прежнему еще чужда и далека была бы для них та Христова благодать, чтобы и в гражданстве, как по делам и отношениям духовным, быть любимыми чадами Самого Отца Небесного. Христова благодать и истина, какова она есть в своем чистом и живом свете, была бы, по -прежнему, закрыта для запада.

– Как же после этого будет соприкосновенен и к нам вопрос римский? – спросил хозяин.

– Этот вопрос соприкосновенен к нам, православным, – отвечал о. Иоанн, – как фактическое доказательство той, принадлежащей православию, истины, что дела, и гражданские и церковные, надо христианам возглавлять прямо в Самом Христе, в Котором назначено возглавление всего и небесного и земного (Еф. 1:10), а иначе те и другие, рано или поздно, изживут самые последние в них остатки жизненности и правды. Когда западное гражданство и Церковь решительно пошли своим исключительным путем чрез освящение последней властительности Каролингов и чрез пожертвование и закрепление первым целой, прилежащей к Риму, области за папой (при Пипине), то еще как обильны были жизненные остатки от чистой истины и правды на стороне и гражданства, и Церкви запада! Возьмите во внимание, сколько было света и жизни в деле и лице Карла Великого, хотя в его основном воззрении на власть гражданскую, как на свыше земной авторитет, уже завита была фальшь повиновения человеку, как Богу, а не Самому Отцу Небесному. Взгляните и на великий тип Григория VII: ложь его односторонности остается всегда ложью, но искренность и энергия его верований, самоотвержение и духовная мощь его дела все же отсвечивают величием живой духовности. И в самой борьбе между собой Церковь и гражданство взаимно себя поддерживали духовно. Но теперь западное гражданство и Церковь, по римскому именно вопросу,

являются во такой взаимной запутанности, которая совершенно неразрешима без явной обиды и вместе неправоты для обеих сторон. Папа оказывается пред всем миром обидчиком своих духовных детей в Италии, решительно идущим против их интересов и стремлений гражданских, и сам терпит от них обиду в посягательстве их на увековеченную собственность его и Церкви; итальянца обижают папу, посягая на его права, вопреки притом собственным понятиям о христианстве, и терпят от него обиду, возбуждаемые им в своих стремлениях к довершению нового своего благоустройства. Это впрочем я говорю не в смысле того, может быть справедливого, но отзывающегося каким-то злорадством, взгляда и чувства, что та и другая сторона достойно наказываются за свое заблуждение. Напротив, по запутанности и увековеченности этого заблуждения, обе взаимно противоборные стороны – духовная и гражданская – мне представляются более жертвами, которым выпала страдальческая доля выносить свое бедственное заблуждение и, хотя медленно, подвигаться к истине – путем кровавых борений и затруднений. В этом отношении обе стороны по-своему трудятся в деле выяснения истины, приближая время ее торжества над заблуждением. Но истина принадлежит православию; и потому римский вопрос столько прикосновенен к нам, православным, сколько касается нас дело истины. Мы, православные, помилованы тем, что находимся на открытой и прямой дороге, которую мы должны не только сами проходить, но и указывать всем другим; и вот мы слышим в стороне, что давно уже сбившиеся с этой дороги кричат и бьются над тем, куда им идти. Мы в этом случае не имеем права сказать, что наше дело – сторона; нам даны ключи разумения благодатной истины, чтобы в отпертые ими двери и самим идти и другим открывать свободный ход. А что, если еще мы с этими ключами и сами не входим и других не пускаем в полное разумение истины?! Поэтому римский вопрос обязывает нас всех, во-первых, осмотреться достаточно ли мы, православные, во всех наших средах держимся главенства Господа нашего; достаточно ли мы, духовные, служим свободному и разумному развитию и утверждению в Самом

Христе всего и гражданского или вообще светского; достаточно ли вы, светские, равноправные с нами в высоком звании детей во Христе Самого Бога, заботитесь знать и выдерживать для дела мысли и жизни, для политики и простого общежития – истину и благодать человеколюбивого нашего Господа, соделавшегося ради нас человек человеком и в человечестве Своем умершего за нас погибающих и в воскресении воссиявшего всем жизнью, любовью Своего Отца, благодатью Своего животворящего Духа. Во-вторых, затруднения и борения римского католичества в достижении давно потерянной истины обязывают нас всех православных дружно взяться за ее живое раскрытие и проведение во всем нашем, чтобы, когда западные наши братья своими кровавыми опасностями и подвигами приблизятся к удобству – взглянуть прямо на истину, у нас уже была она раскрыта во всей красоте и величии своего благодатного заведывания всем человеческим. Ведь не только Господь Бог, но, кажется, и сам мир осудит нас, если мы пальцем не двинем к развязке и разъяснению тех идей, на которых запутан римский вопрос.

– Вот такие рассуждения о нынешних событиях я люблю и готов разделять всей душой, – с особенной выразительностью произнес брат хозяина, взглянув на студента.

– А знаете, дяденька, – заметил этот последний, с живым вниманием и отчасти с пытливостью следивший за речью о. Иоанна и за выразительностью его движений – во взгляде и физиономии, – много и энергически должна работать наша мысль (хотя это и не нравится Вам) над вопросами политическими и религиозными, историческими и философскими, чтобы воззрения отца Иоанна, – воззрения святые, светлые, широкие, никого не обижающие и почти ни к чему не пристрастные – были, как следует, поняты, применены, получили, всеми признаваемое, право гражданства хоть бы только еще у нас на Святой Руси...

Хозяин подтвердил мысль своего сына согласием со своей стороны; спорливый дядюшка студента тоже не противоречил, а только обратился к о. Иоанну с просьбой, чтобы последний высказал свое мнение о греческих делах.

– В самом деле, отчего это и *православные* греки, – сказал студент, – произнося с особенной и притом, на мой взгляд, двусмысленной выразительностью это слово *православные*: отчего и *православные* греки вздумали подражать неправославному западу в поступках со своим королем?

– Вы, кажется мне, – возразил о. Иоанн, обратясь к студенту с сочувственным взглядом, – заподозреваете меня в недостойном строгой истины пристрастии к православию, к православным. Мне прежде всего должно объясниться именно об этом. Я понимаю православие, как Христову, чистую от примеси лжи, истину, которая одна есть вселенская, непреложная истина. Иначе я был бы чужд самой веры, а вера у меня не только всосана мной с матерним молоком, но и оправдывается постоянными опытами Божией благодати, получаемой и вкушаемой чрез эту веру, озарена для меня *испытанием* священных *писаний* и преданий, испытанием как содержания самого православия, так и разностей его от всех известных мне видов неправомыслия религиозного и философского. Православие сияет мне светом, все для меня выясняющим, на что я с ним ни посмотрю, что ни изучаю, историю ли, естествоведение ли или движение философствующей мысли. Поэтому мои выражения о православии, как мериле и в деле политики, означают не пристрастие к нему, а полное, разумное убеждение в православии, как в самой истине. Это не абсолютизм неподвижный, оковывающий движение мысли заранее принятыми положениями. Мы напротив удостоверены, что истину «мы знаем отчасти» только, и увидим ее, что называется, «лицем к лицу» (1Кор. 13:9–12) не прежде того, как «узрим» Отца Небесного, «как Он есть» со своим Словом и Духом (1Ин. 1:2–3): а потому до самого открытия этой вечной жизни созерцания и любви мы стремимся более и более уразумевать и усвоить себе истину. Самые определения существенных ее сторон, произведенные вселенской Церковью на соборах, как сами были плодом живых стремлений и подвигов веры в уразумении истины, так и на последующие времена составляют, так сказать, только исходные точки для

шества веры к более и более совершенному постижению, усвоению и применению истины. На этом основании и сами – те или другие – православные, держащиеся этой вселенской истины и исповедующей ее, вселенской по своему духу, Церкви, могут, так сказать, пускать в движение или в оборот сколько возможно все благодатные таланты истины, а могут и оставлять их все или многие из них без движения, зарывая их как бы в землю своего неразумения и небрежности, и чрез это допускать приражаться к себе превратным направлениям или духу самого неправославия, даже богоборного иудейства или язычества. Равно с другой стороны и сами неправославные и даже неверные, на сколько они видят и любят истину или, что то же, на сколько верно держатся или остатков правосодержимой истины или предварительно благодатных предначатий ее света (например, в чистых и благородных понятиях, добросовестных правилах и т.д., на столько возвышаются духом своим в область православия. Судите же теперь, имеем ли мы какое, недостойное истины и искренней, прямой любви к ней, пристрастие к кому-нибудь или чему-нибудь в православии, хотя стремимся и думать и жить только православием, как самой истиной. Можно ли требовать от православных большего беспристрастия, если даже станете относиться к ним только так же, как и к другим людям с честными и добросовестными убеждениями?

Молодой человек, к которому особенно обращал свою речь о. Иоанн, вспыхнул стыдливо; однако ж, подумав, отвечал, хотя почтительно, но со слышной для внутреннего чувства жесткостью:

– Спорить с Вами, батюшка, я не могу, глубоко уважая Ваш образ мыслей, тем более, что в Ваших словах я уже услышал и ответ Ваш по вопросу о православных греках, изгнавших своего короля. Они, видно, немножко вдалились в направление западного неправославия. Может быть, это было с ними тогда, когда они предпочли терпению (а пожалуй, скажут иные, преданности промыслу или воле Божией) освобождение от турецкого ига чрез геройскую, самоотверженную любовь к своей славной отчизне. И вот направление, взятое у западного

направления, и разрешилось наконец тем, что делается на западе: греки, подобно французам или итальянцам, заставили удалиться короля из своей страны. Ведь, так? Ведь, по духу православия, как я читал в письме нашего парижского протоиерея Васильева к Гизо относительно светской власти папы, дело не в материальной силе или внешней независимости, а в смиренном терпении, которого афинским грекам, по духу православия, и следовало держаться еще в то время, как их тревожила грешная мысль свободы от турок. Верно, кажется, я рассуждаю по тем началам, которые Вы сейчас развивали относительно православия?

О. Иоанн весело взглянул на меня и обратился с такими словами:

– Вот, мы с Вами, как нарочно для такого серьезного разговора, рассуждали о новозаветном законодательстве, раскрытом и в словах и в действиях нашего Господа.

И потом, обращаясь к студенту и другим собеседникам, священник продолжал:

– В законодательных книгах нового завета выражено прямо, что Господь дал такую заповедь смиренного терпения, что, если кто ударит тебя в одну щеку, ты подставь ему и другую, но в тех же книгах изложено также в законодательном смысле, что, когда Господа на судилище ударил по щеке за одно Его слово кто-то из архиерейской прислуги, Господь ему не подставил другой щеки, а противопоставил на том же суде требование правды: «Если Я сказал худо, доказывай это, а если хорошо, то за что ты Меня бьешь?» Видно, что можно, не изменяя духу смиренного терпения, с твердостью требовать правды или искать своих прав. И в самом деле, если кто нанес бы Вам пощечину и Вы, без всякой любви, а только с фарисейским самооправданием, стали бы подставлять себя и для другой пощечины, Вы не исполнили бы Христовой заповеди о смиренном терпении. Напротив, если Вы стали бы против своего обидчика искать правды, в духе своем однако, с Христовой любовью к обидчику, разделяя вину его неправды пред Отцем Н

– ебесным, да и взыскивали бы обиду с обидчика именно в намерении и стремлении любви поставить и его состояние в правды; то Вы следовали бы прямо за Христом, как Он действовал на суде, и вместе с Ним не нарушали бы несколько заповеди смиренного терпения. Вот мы о чем рассуждали ныне же вечером, и притом относительно также дел политики или применения к ним духа христианского. Согласны ли Вы с нашим рассуждением, – спросил о. Иоанн, – обращаясь особенно к студенту.

– Вполне! – отвечал этот последний, явно, с открытым лицом и сердцем. – Желаю выслушать применение сказанного Вами к благородным грекам.

Лица прочих выражали такое же живое сочувствие к предмету речи.

– Но наперед, – продолжал о. Иоанн, – нам надо поставить на вид еще нечто, относящееся к нашему предмету, также из книг новозаветного слова Божия. Апостол Павел, пиша к коринфским христианам, обращает внимание между прочим на их суды у неверных. Ведь правительство и судебные места были тогда языческие. Учитель язычников упрекает коринфян, зачем они допускают между собой тяжбы, зачем лучше не остаются обиженными (1Кор. 6:7); но эта мысль о долге христианского миролюбия и терпения обид не препятствует Апостолу требовать, чтобы христиане судились, по крайней мере, не у неверных, а у своих же собратий – христиан, могущих рассудить между своими братьями (там же ст. 5). Что это делает Апостол? Не сам ли он учит, что всякая власть от Бога? А потому, отчего же бы не подчиняться судебной расправе хотя бы и языческих судей? Это было бы, кажется, так согласно с духом христианского повиновения и терпеливого смирения. Но вот не так рассуждает Боговдохновенный учитель: он некоторым образом предначинает, вместо языческих порядков расправы судебной, христианские порядки. Видно не совсем одно и то же быть под судебной частью язычников или христиан, верных или неверных, магометан или братьев православных; видно, дух тех или других, дух православно-христианский или язычески-неверный непременно выражается властительных их

распоряжениях или расправах судебных, а это дело не безразличное для христиан. А потому, видно, сколько может зависеть от самих христиан, только бы это было без нарушения правды, им надо и справедливо поставлять себя в независимость от духа неверных властей и искать расправы братской, христианской.

– Итак, что касается православных греков... – заговорил хозяин, как бы от лица о. Иоанна.

– Не один, а несколько выводов из сказанного нами, – продолжал о. Иоанн, – надо сделать касательно православных греков – наших дорогих собратий, касательно не одного притом настоящего их политического состояния и движения, касательно наконец и не одних греков. Во-первых, когда на западе власть гражданская, как и духовная, вводила народы в рабские узы повиновения себе, как представительной и наместничающей Бога (вместо детского повиновения Самому Христу и в Нем Отцу Небесному, Который для предающейся Ему Самому веры готов проявлять во властях, ради вочеловечения Своего Сына, собственное Сво всеблагодное отчество): тогда, именно в средние века, в византийской империи, то и дело, совершались кровавые низвержения одних государей другими претендентами и над этими последними такие же бесчеловечные насилия иных, иногда самых близких кровных. В продолжении нескольких поколений это было характером истории византийской. Что это показывает? Очевидно то, что греки, помилованные тем, что удержали у себя православие, после своих вселенских подвигов в разъяснении и определении существенных его сторон, слишком мало проводили дух и начало его в свои мирские и гражданские дела, и в этом отношении закапывали таланты православия в землю. Во-вторых, когда совершился над греками суд и правды и вместе милости Божией, введшей их и по внешнему или гражданскому положению под законы благодати, действующей огнем очистительных бедствий и страданий, то это совершилось всеправедно у Бога, но совсем бесправно у пленивших православную империю магометан. В третьих, когда на западе началось революционное движение

народа (именно французского) против уз правительственных, налагаемых во имя Бога, то, за последующими тому наполеоновскими войнами к Европе, и греки отозвались движением против явно-насильственных уз ига магометанского. Дай Бог, чтобы они при этом возвышались над возмутительным духом революции к православному направлению и стремлению искать христианской управы вместо магометанской, ради перевеса самой правды над бесправием магометанского порабощения, ради блага самой Св. нашей веры, ради торжества самой истины Христовой над лживым исламом, ради того, чтобы блеснуть живительным светом торжествующего христианства ко вразумлению в его истине и спасению самых магометан! В четвертых, когда король Греции приметно усиливался скреплять узы своей власти над греками, по духу соименных себе древних Оттонов, то есть, по направлению вообще западных царей властвовать над народами во имя Бога, не давая им вкушать благодати владычества Самого Отца Небесного, пожертвовавшего Сыном Своим для людей, а этот западный порядок уже до того изжил остатки своей жизненности, что народы неудержимо стремятся к смене подобных правительств, – то произошло, что и православные греки не потерпели подобного короля. Дай Бог, чтобы и в этом они водились православным стремлением или даже хотя бы только инстинктом – найти такую власть, в которой раскрывался бы дух власти Отца Небесного, давшего Своим подвластным Сына Своего, чтобы и они были Его детьми, – дух власти нашего Господа, на Себе вынесшего все вины и нашего греховного мятежничества! Наконец, в пятых, рассуждая о таких потрясающих современный мир событиях у греков ли православных или у других народов неправославных, каковы изгнания королей с их престолов, рассуждая не только по возможным и действительным винам со стороны этих королей и их народов, но и по благодати Агнца Божия, вземлющего греховные вины мира, не могу не возблагодарить Создателя и Спасителя нашего за то, что Он, когда власти не хотели своей волей разделять любовь Его к подвластному человечеству, и против их намерения даст им вкусить от чаши Своих страданий,

принятых от подвластного Ему мира для его же спасения; за то, что, когда христианские народы, не исключая и православных греков, не озабочивались возводить самого своего гражданства к действующему в земном главенству Самого Христа, благодать Его повела эти народы путем порабощения и самых смут гражданских, потрясением всех вековых порядков, – повела к тому, чтобы народы наконец сознали несостоятельность всего своего, взятого вне державы благодати и истины Христовой. Это дает нам благую надежду, что рано или поздно Царь благодати и истины даст царям и народам, и в гражданском их устройстве и состоянии, как и вообще в земном быте, узнать и воспринять свет и жизнь Его благодати и истины, когда христиане – и восточные к своему прочному освобождению от ига векового, и западные к своему освобождению от неправых односторонностей – дознают уже согласно и единодушно, к просвещению и спасению и прочего мира, живую силу православия.

– Аминь! – заключил хозяин.

Когда мы, простясь с добрыми господами, возвращались к о. Иоанну, я заметил ему, что теперь понимаю недосказанное им мне о тех неживительных исторических условиях, под которыми образовался священный союз. «Западные государи соединялись в священном союзе, – говорил я, – не колебля нисколько тех начал западного владычества – управлять народами во имя Высшего, Божеского авторитета, не давая им в гражданстве видеть и вкушать самой Божеской благодати, которая вся есть дух и сила самоотверженной любви. Тут естественно укрыться своекорыстием одних, под непроницаемой для других личиной или предлогом высшего авторитета».

– Вот и подивитесь, – сказал мне на это о. Иоанн, – с каким долготерпением и кротостью любви ведет Всевышний Отец возлюбленное Им ради Своего Сына человечество – к его назначению, или, что то же, ко спасению всего человеческого.

IV разговор

О том, как совершается Божие в делах и судьбах человеческих, и как к уразумению этого нам надо настраивать нашу мысль в науке и жизни. Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе, говорит Св. Василий Великий (Писано по поводу «польского вопроса»)

Известно и памятно всякому, в какое сильное движение «польский вопрос» привел с одной стороны всю Западную Европу (с присоединением к ней даже и Турции), возбуждая в народах и их властях сочувствие к Полякам, а с другой и все народонаселение России, пробудив готовность его идти, по воле Государя, со всяким самопожертвованием для усмирения мятежных и противоборства их поборникам. Теперь, с усмирением польского мятежа, все утихло или утихает. Но нам не мешает, а напротив следует дать себе духовный отчет об этом «польском вопросе», подвигшем до глубины наш народный дух в лучших его инстинктах. Такой отчетливости, может быть, послужит предлагаемое здесь собеседование мое с достойным священником.

Этот разговор с ним имел я еще во время самого сильного шума, возбужденного «польским вопросом». Я нарочно ездил к нему в деревню поговорить об этом. Я выбрал для этого такой день, который следовал за двумя праздниками; я знал, что отец Иоанн, всей душой отдающийся духовным занятиям праздников, непосредственно после них обыкновенно или садится в уединении своего маленького кабинета за журналы и другие книги, или в ясные дни отправляется на уединенные прогулки. Это уединение разделяет с ним разве только жена его, когда домашние занятия не отвлекают ее от мужа.

Я, действительно, нашел о. Иоанна в его маленьком кабинете. Еще снимая верхнюю одежду в смежной с этим кабинетом передней, я услышал голос о. Иоанна читающего что-то вслух; потому что он был сам друг со своей женой. Я подумал, не читают ли они вдвоем газет о «польских делах»: то-то было бы это кстати к цели моего приезда к почтенному

священнику. Оказалось, что он читал жене недавно вышедшие в свет «поучения о богослужении» священника Владиславлева». Я тотчас же признался радушным хозяевам, что я надеялся увидеть их за другим чтением, за чтением известий и статей о польском деле.

– Видно, – заметил я при этом о. Иоанну, – мирской политический шум все же на так сроден мирному уединению духовного человека, как Святая мысль о богослужении нашей Православной Церкви. Нужды нет, что Вы любите открывать или проводить духовное и в мирских средах.

– А знаете ли, – возразил священник, – с какой мыслью мы принялись за чтение этой книжки? – с мыслью именно о славословии Серафимов, раздающемся непрестанно во славу Господа, которой «полна вся земля» (Ис. 6), и которая, значит, раскрывается и в современных движениях нашего земного мира. Такие славословия возглашались еще в ветхом завете небесными созерцателями и служителями Божиих судеб, совершающихся в нашем мире (Ис. 6); – эта же великая мысль о славе Божиих судеб, наполняющей нашу землю, выражается и в духе нашего православного богослужения. – Да вы читали эти «поучения о богослужении Православной Церкви?» – спросил меня о. Иоанн, указывая на книжку, которую он читал со своей женой.

– Успел прочесть только два или три поучения, не более, – отвечал я, – и то по тому поводу, что мне на днях сообщил эти «поучения» один товарищ сочинителя, заинтересовавший меня своими рассказами о нем, как в товариществе звали его «папенькой» за его участие в веселых студенческих развлечениях, хотя все знали, что они были вовсе не по личному его духу и настроению. Студенты рассудили, что так поступать могут олько *папеньки* со своими баловнями-детьми.

– Вот как! – весело сказал о. Иоанн. – Этот рассказ о товарищеском прозвании Владиславлева «папенькой» немало выясняет кроткий, добродушный, елейномягкий характер и тон его поучений. Вы, конечно, успели заметить это и из двух или трех поучений, прочитанных Вами. Не меньшее достоинство поучений составляют и главные мысли проповедника, которые

он проводит во всех своих поучениях о богослужении. Этих господствующих мыслей, в полной их силе, Вы, конечно, не довольно могли уследить из прочитанных Вами двух-трех поучений.

– Ну так Вы скажите мне эти господствующие в «поучениях» мысли, – просил я. – Я знаю, что Вы прежде всего сведете их во одну основную мысль. Это обобщение так люблю я; – так нужно это для лучшего выяснения предмета.

– В богослужении Православной вселенской Церкви, – отвечал о. Иоанн, – раскрывается или выражается, как мы уж сказали, дух того непрерывающегося никогда богослужения, за которым слава Господа нашего наполняет всю землю, при служении тому всего Ангельского мира. «Вы приступили, – говорит Апостол всем верующим (Евр. 12:22–24), – к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духом праведников, достигших совершенства, и к Ходатаю нового завета Иисусу и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Это и есть основная мысль «поучений о богослужении Православной Церкви». Так в поучениях о *всенощном бдении* проповедник выясняет, что в первой, *вечерней* части этого богослужения воспоминается, без сомнения не по мертвой букве, а в живой силе дела¹⁷ ветхозаветное Божественное путеводительство церкви, приведшее уже человека ко Христу в новый завет. Самый порядок этого путеводительства отразился в порядке вечерней части всенощного бдения. Сказать тоже другими словами: в первой части нашей «всенощной» дается вере молитвенно созерцать и воспевать славу Господа, как она, сияя теперь в новом завете полным духовным светом, еще в ветхом завете наполняла всю нашу землю, созерцаемая Св. пророками и праотцами, ощущаемая всеми верующими и в своих, еще только предварительных и образных, проявлениях отражаясь во всей области видимого и естественного¹⁸, светя эти, предначинательным своим светом даже и во тьму язычества, «подавлявшего истину неправдой» (Рим. 1:18), но все-таки

своей тьмой не объяввшего и неуничтожившего силы света¹⁹. В другой же, именно *утренней* части «всенощной» дается вере созерцать и славословить славу Господа, как она открылась миру в существенном своем сиянии, – в воплощении самого Господа, и на веки во всю землю светит в Церкви истиной и благодатью нового завета, представляя уже в осуществлении свои ветхозаветные образы и предъявления. В *литургии* вере дается входить в благодатную силу всего дела Христова, явления Его миру с проповедью и чудесами, особенно Его смерти, воскресения и вознесения на небеса, а это дело Христово есть средоточное и основное для всех судеб мира. Поэтому мы с женой и взяли вместе прочесть «поучения» о. Владиславлева, которые раскрывают такой смысл и дух православного богослужения. Чрез это чтение нам хочется настроить себя – так следить за судьбами мира, следовательно и за современными его движениями, касающимися прямо нашего отечества, чтобы духом и нам присутствовать великим богослужением во всеобъемлющем храме славы Господней, наполняющей всю землю и движущей весь мир.

Так началась наша продолжительная беседа с отцом Иоанном, которую я, для удобства обозрения всего ее хода, разделю на несколько отделов.

– Позвольте Вам сказать, – отозвался я на слова о. Иоанна, – ведь слишком мало для такого напоминания судеб мира, какое Вы сейчас выразили, только *так настроить себя!* Надо еще хорошенько выяснить себе эту возвышенную мысль о совершающемся чрез судьбы мира непрестающем богослужении во всеобъемлющем храме славы Господней... (Евр. 12:28). Надо выяснить эту мысль как саму по себе, там и в ее применениях, хоть, например, в применении к современным движениям мира по «польскому вопросу»; об этом последнем я особенно прошу Вас. Я нарочно приехал сюда поговорить с Вами об этом, всех серьезно занимающим, польском вопросе. Но возвращаясь к Вашей мысли: *так настроить себя!* Да кажется мне, – (и на это прежде всего обратите Ваше внимание), – решительно ничем не настроите себя так смотреть на волнения мирские, что как будто бы при этом присутствуете Вы за богослужением; это совсем неестественно, особенно если Вы еще будете *не общо*, а обстоятельно до подробностей вникать в эти волнения мирские, – не говорю уже о случаях Вашего непосредственного участия в них или увлечения ими. По крайней мере, для меня непонятно, как быть духом как будто за великим богослужением небесным, следя за мирскими треволнениями и, тем более, принимая в них участие. Объясните мне возможность этого.

– Знаю, – отвечал мне о. Иоанн, – что Вы не сомневаетесь в бытии мира бесплотного. Представьте же себе, в отношении к зрелищу волнений мирских, зрителей из духовного мира бесплотных – с двух сторон – светлой и омраченной. Духи мрака, как знаем из самого Слова Божия, например, из книги Иова, обходят всю землю, следя за всем; смотря на все с точки зрения мрака, они не только услаждаются злом, волнуя им и себя и мир, но усиливаются оклеветать и заподозрить в несостоятельности и фальшивости самое добро. Духи света не менее, а еще несравненно более обстоятельно и точно, нежели духи тьмы, следят и видят в свете Божиим все, совершающееся

в мире – и добро и худо. Они принимают и живое участие во всем, содействуя добру и противоборствуя злу. Но созерцая, как не только добро исходит от полноты благодати и истины Христовой, а зло мира, отяготившее бременем своей виновности пред Богом и смертоносности для людей на Христе Агнце Божиим²⁰, закланном в мысли Божией от сложения мира, непрестанно силой и действием крестной животворной Его смерти изглаждается или обращается в торжество добра, – созерцая это бесплотные *светы* хором истинно вселенского богослужения, *неумолкаемо и со всей строгостью истины, возглашают: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Исполнь (полна) вся земля славы Его! (Ис. 6:3).* На какую сторону обозревателей событий и волнений мирских желаете Вы поставить и себя и меня и других? – Ангелов света или тьмы?

– Мы ни ангелы, ни демоны, – поспешил ответить я, – а люди грешные, однакож любящие или, по крайней мере, желающие любить добро; зайдем же серединку между ангелами и демонами. Смотреть по-ангельски на мир мы не в состоянии, но и по-дъявольски обозревать мир не хотим.

– Друг мой! – возразил мне о. Иоанн с живостью. – В действительности-то ведь нет средних мест между сторонами света и мрака. Можно нам грешным людям одну минуту принадлежать этой стороне, а в другую противоположной; или даже, в одно и то же время, можно в известном отношении держаться одной стороны, а в другом отношении не отставать и от противной стороны. Но не найдете Вы середины между той и другой стороной, между бесовской стороной возмущения и клеветы, волнуемой и волнующую мир злом, и ангельской стороной непрестанного богослужения, созерцательно и деятельно служащую Господу, как Он наполняет всю землю своей Славой, источая от Себя все доброе и взяв на Себя грехи мира. Само собой разумеется, что мы люди, становясь в том или в другом отношении, в то или другое время, на одну из указанных сторон, только еще в малозаметном зародыше или семечке принимаем свет или мрак этой стороны. Что же? Ведь, когда-нибудь этот зародыш разовьется в нас до зрелости, свойственной духам света или мрака; из семечка света или

мрака, если оно не будет подавлено или исторгнуто, изникнет в свое время небесный или адский плод. Поэтому странно, если рассуждающий человек так легко стал бы относиться к тому или другому роду обозрения мирских движений и судеб: «Мы ни демоны, ни ангелы; будем спокойны и довольны, стоя на середине между ними; будем смотреть на дела и события мирские, даже и участвовать в них, то по-ангельски, то по-бесовски, как кому придется по его образованию, характеру, внутреннему и внешнему положению». Нет, мой брат, так легкомысленно не годится настраивать себя. Со своей стороны, я желал бы, хоть просто по-младенчески, настраивать себя и других к такому обозрению и изучению движений и волнений мирских, чтобы нам, за этим самым делом, удаляться от мрачной клеветнической стороны, а более и более входить в дух и силу вот этого неумолкающего Ангельского богослужения: «Свят, Свят, Свят Господь сил; вся земля полна славы Его».

— Кому ж не желательно будет это, если ему растолкуют самую силу этого дела? — сказал я. — Но позвольте мне, батюшка, в разъяснения предмета такой важности идти шаг за шагом, не делая скачков. Из Ваших слов я понял ясно пока то одно, что не безразличное дело — так или иначе следить события и движения мира, что легко относиться к этому делу есть глупость, и глупость пагубная, что мне следует (и я этого сам хочу) серьезно озаботиться выяснением и принятием надлежащего воззрения на волнения мирские, именно воззрения такого, как бы я присутствовал за великим непрерывающим духовным богослужением. Я уж чувствую отчасти самую возможность и доступность для меня такого воззрения, когда Вы не требуете с ригоризмом от себя и от других немедленной Ангельской зрелости этого воззрения, а признаете необходимым в людях сначала младенчество или даже только зародыш подобного воззрения. Но все еще задерживает меня явное противоречие между шумом волнений мирских и духовной тишиной Богослужения. Как совместить то и другое в воззрении на мирские события, какое Вы внушаете? Естественно ли такое совмещение? Для Ангелов, может быть, и естественно, но едва ли так для нас грешных людей?

– Разъяснить себе, – отвечал о. Иоанн, – естественно ли нам людям то Ангельское воззрение, чтобы, следя за шумными мирскими волнениями, держаться в духовной тишине богослужения, – Вы можете вот как. Берите и рассматривайте это воззрение в самом его основании. Святые Ангелы видят всю землю полной славы Христа Бога собственно от того, что все доброе на земле видят исходящим от благодати Богочеловечества Господня, а все худое низлагаемым и упраздняемым в Нем же, как Агнце Божиим, вземлющем грех мира. Хотите ли удостоверения на то, что это действительно так?

– То видение, что небесные духи созерцают и воспевают славу Господню, наполняющую всю землю, дано было еще в ветхом завете Пророку Исаии; а в том своем смысле, что оно было видением именно славы Господа Богочеловека, – протолковано оно уже в новом завете Евангелистом Иоанном Богословом (Ин. 12:41). Этого достаточно для нашего удостоверения в том, что в видении открыто не одновременное, а непрерывающееся, обнимающее ветхозаветные и новозаветные времена, проявление на земле славы Христа-Богочеловека пред очами бесплотных. А что слава Господа Богочеловека проявляется на земле именно тем, что Он оказался, с одной стороны, вземлющим грехи мира, а с другой, источником всего истинно-доброе для нашего мира, это известно из самого существа домостроительства Христова. Соображая все это, мы уж не можем сомневаться, что бесплотные созерцают и исповедают славу Богочеловека наполняющей во все времена весь наш мир, действительно, потому, что видят все доброе в этом мире происходящим от полноты Богочеловека и все худое вземлемым и потому упраздняемым и истребляемым от Него же, Богочеловека. Не отвлекая взоров от Господа, источающего все лучшее от полноты Своей благодати и вземлющего грехи мира по Своему человеколюбию, Святые Ангелы собственно поэтому и не возмущаются или не расстраиваются тревожно видом волнений мирских, а сохраняют торжественную тишину непрерывного богослужения: *Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Исполнь вся*

земля славы Его! Потому-то вопрос, естественно ли и людям такое воззрение и настроение, теперь можно поставить так: естественно ли и нам людям следить и изучать движения мира, не отвлекая взоров от Господа, взявшего грехи мира и дающего миру всякое истинное благо, благо самой истины и правды, пользы и радости? Естественно ли это? Но ведь поступать иначе значило бы остановиться только на внешности всего, происходящего в мире, не вникая в самую сущность всего этого. Такое поверхностное, неовладевающее существом предмета, воззрение было бы недостойно разумности человеческой. Неужели же неразумное более естественно нам, чем разумное? Напротив!! Значит, надо признать очень и очень естественным для нас людей иметь такое воззрение на вещи и события мира, чтобы при этом не отвлекать взоров и от Того, Кто, по домостроительству Своего Боговоплощения, не только в Себе Самом сосредоточил всю лучшую сторону человечества, но на Себя же подъял и грехи всего мира. В противном случае, самую разумность, не поверхностную, а основательную разумность надо было бы признать тоже неестественной людям.

– Так, так, мой батюшка! – сказал я с невольной грустью. – Но все же мне, против моей воли, представляется воззрение, которое Вы внушаете, слишком высоким и трудным для нас людей.

– Мне кажется, – отвечал на мои слова о. Иоанн, – пугаемся мы трудности или высоты этого воззрения единственно по нашей непривычке или отвычке рассуждать обо всем с Господом и по Господу, как именно следует Христианам. Сказать иначе: мы пугаемся дела только потому, что не беремся за это дело серьезно. Вы согласитесь со мной, когда возьмете во внимание это дело не в отвлеченной мысли о нем, а в самой действительности. Вы знаете, что какотяготение на Господе грехов мира, так и вся беспредельная полнота, источающей гибнущим всякое добро, благодати Господней – открылись именно в распятии Господа на кресте. Вы знаете, как совершилось в мире это чрезвычайное событие. Народ избранный волновался и кричал: распять Его! Вожди народа

были подстрекателями его к такому возмущению и беспорядкам. Языческий правитель терялся в малодушии; вооруженная прислуга его ругалась над Всесвятым Страдальцем; правда и милосердие напоминались разве только женой правителя, напуганной ночным сновидением о подсудимом праведнике. Самое распятие Божественного Страдальца не удовлетворяло и не успокаивало безумия злобных; при самом кресте слышались насмешки и хулы над распятым со стороны даже священников и ученых (книжников). Друзья и присные Его разбежались в страхе; при кресте остались только два-три человека из самых близких к Господу. Такому шуму и беспорядочному волнению ответила, наконец, и сама природа землетрясением, разрывом камней, омрачением самого солнца. Скажите же мне теперь по совести: неужели не сродно Вам, верующему во Христа человеку, так следить и изучать все это волнение мира нравственного и физического, сопровождавшее страдания и крестную смерть Господа, – чтобы при этом не отвлекать взоров своей мысли и чувства от Самого Господа, приводящего Своим крестом грешный и погибающий мир в любовь Своего Отца? Неужели сроднее было бы Вам какое-нибудь иное воззрение на все тогдашнее движение мира, воззрение рассеянное, суетливое, а не сосредоточенное в распятом Господе?

– Батюшка, батюшка! как славно Вы поймали меня, – ответил я, сам обрадовавшись обороту дела, против которого я ничего не мог бы сказать.

– Дух и сила распятия Христова, – продолжал о. Иоанн, – простираются на все времена и судьбы нашего мира; потому что ведь, действительно, тяготела тогда на распятом вся темная сторона мира, все грехи его из всех времен, и открывался в том же Распятом источник всякого блага и благоволения для грешного и гибнущего мира. Итак, пусть Вам приходится следить и изучать самые шумные и беспорядочные волнения мира; пусть Вы напрасно бы среди них искали, на чем порядочном и добром успокоиться Вашей мыслью и чувством; шум и гам совсем оглушали бы и подавляли Вас. Что ж? Этот духовно-голгофский шум и волнение мирское неужели уже и не

дадут Вашей вере поднять глаза к распятому за мир голгофскому Страдальцу? Это было бы неестественно для Вашего, живущего Христом, ума и сердца. Напротив, естественнее и сроднее Вам, следя какое бы ни было шумное волнение мирское, не спускать глаз своей веры с распятого Господа, вземлющего грехи волнующегося мира, а чрез это еще держащего этот мир в милости Своего Отца и таким образом даже *во тьме* мирской *светящего* благодатью Своего Духа. Вы сами охотно сознали это. А когда так, то Вы, и следя или видя самое шумное и беспорядочное движение мира, без затруднения поставите себя за богослужением, совершаемым самим вечным Иереем и Архиереем при жертвоприношении Им Себя Самого Отцу, со славословиями Серафимов пред этой Божественной славой, наполняющей всю землю.

II

– Благодарю Вас, мой добрый руководитель батюшка, – сказал я. – Я вполне удовлетворен Вашими объяснениями, как сродно и естественно для веры нашей это Ангельское воззрение на мир с его волнениями. Но должен я признаться Вам, что как-то недостаточно улаживается это воззрение, в моей голове, с другими моими понятиями. Я верую в Промысл Божий, сохраняющий мир и управляющий им по своим, неисследимым для нас, предначертаниям и целям. Конечно, эти мои общие понятия о Промысле мало помогали мне при обозрении и изучении дел и событий мирских; потому что для меня, по этим понятиям, предполагаются неведомыми и даже неисследимыми пути Божественного мироправления. Я неизбежно останавливался только на общем, возвышенном, но холодном и неопределенном, или даже во все неопределимом, представлении, что вышемирный Мироправитель, в Своей недостижимой для мира высоте, располагает судьбами мира неисследимым для меня образом. Вот теперь, желая привить внушаемое Вами воззрение ко всей системе моих мыслей, я и путаюсь между этим воззрением и привычным моим представлением о Промысле. Извольте видеть, в чем дело. Я понимаю и чувствую, что Ваше воззрение на мир и его судьбы и движения не менее возвышенно, но много жизненнее и теплее, плодотворнее моего привычного представления о Промысле и мироправлении Божиим. С этим моим представлением, я следил или изучал факты того или другого мирского движения, внутреннюю между ними связь и последовательный их порядок; и только по временам, и то более по внутреннему моему побуждению, чем по требованию самого предмета, вспоминал о высшем мироправлении. Но теперь, следуя Вашему воззрению, я не могу иметь в виду ни одной черты, никакого факта, а тем более следить связь и порядок многих фактов, не представляя в тоже время Того, Кому не чуждо ничто человеческое, на Ком все зло мира отяготело как на Агнце, вземлющем грехи мира, и от Кого исходит для мира всякое благо, являющееся не только

в своем совершенстве, но и в разных начатках и отражениях своих. Тут у меня, я вижу, будет во всем изучение самой Христовой истины и благодати, хотя в тоже время не будет ускользать из моего внимания и ничего безблагодатного в мире. История, политики, политическая экономия, наука о праве, вообще все, относящееся к жизни и развитию человечества, у меня должно преобразоваться; мир является мне не только областью во зле лежащей, но и великой средой для раскрытия благодати Богочеловека, вземлющего зло мира на Себя. Все это так, – я вижу и понимаю это. Но как же мне быть с обычным моим представлением о мироправительном Промысле? Как мне объединить его с новым воззрением? Или надо уже совсем изменить прежнее представление?

О. Иоанн, выслушав меня, сначала весело рассмеялся на мое затруднение, а потом и сам задумался.

– По правде-то говоря, – так начал он затем свою речь, – путаться нечего от того, что обычное Ваше представление только выясняется и дополняется воззрением, совсем не новым, а только непривычным для Вас. Привычное представление Ваше о Промысле слишком общо и холодно именно от того что оно неполно, или недостаточно раскрыто. Таково у нас и привычное представление о миротворении. Впрочем я указываю на это последнее не просто только *так к слову*. Представление о мироправительном промыслении находится в существенной связи с представлением о миротворении. Вы, конечно, знаете, что в Божественном промыслении о мире богословы видят как бы продолжение действия самого творения мира; это именно в том смысле, что Господь промыслительно *носит всяческая* так же *глаголом силы Своея* (Евр. 1:3), как Он и воззвал *всяческая* к бытию из небытия в миротворении. Но в представлении о миротворении мы останавливаемся обыкновенно на том только акте Божественного творчества, что Всемогущий рече и – быша, повелевал быть созданиям и создания немедленно являлись в бытии. Представление величественное, верное, но не волне еще обозначающее самое существо дела в Божественном творчестве! Таково у нас и привычное представление о

Божественном промыслении. Иначе и быть не может по внутренней связи между тем и другим представлением.

– Скажите же, ради Бога, – просил я, – как в надлежащей полноте и жизненности представлять нам тайну Божественного творчества, чтобы жизненное и полнее было и представление наше о Божием Промысле.

О. Иоанн продолжал: Отец небесный, действительно, *рече* в Своем ипостасном или личном Слове, *и быша*; но Он изрекал мысль и волю Свою о бытии созданий, определяя в тоже время Самому Своему личному Слову или Сыну взять на себя бремя всех, провиденных тогда же, греховных нестроений мира. Бог Слово, по мысли Своего Единодушного Отца, всемогуще творил, но тогда же обрекая уже Себя на безмерное самопожертвование для удержания новотворимого мира в даруемом ему значении и назначении, не смотря на провиденную уже неверность мира этому Своему назначению и значению. И Дух Святой утверждал в бытии новосозидаемые твари, осеняя их именно в таком направлении и настроении творческой любви, что тогда же *от сложения мира*, в любви и мысли Божией, как бы было уже произведено за созидаемый мир *заклание* за него *Агнца Божия*? (Откр. 13:8). Таким образом действие миротворения надо представлять не просто только актом такого всемогущества, которому ничего не стоило вызывать создания из небытия к бытию, но вместе и таким движением или действием и проявлением Божества, что существенное сияние Отца – Бог Слово, имеющий почивающим в Себе Духа Святого, созидавая мир, решительным определением совета всей Пресвятой Троицы и особенной готовностью Своей личной любви к миру, как бы уже истощался тогда же до снисхождения в тварное бытие воплощением, и даже до смертельного во плоти *заклания* за созидаемый Им мир... Ведь не другое, а именно это прямое значение должно принадлежать выражению слова Божия о Господе, как *Агнец, закланном от сложения мира*. Если бы в этом выражении означалась мысль только о *предопределении* *заклания* *Агнца Божия*, то это предопределение было (как и есть) от вечности, а не от сложения только мира. Но в слове Божиим говорится о «книге жизни *Агнца, закланного от*

сложения мира», а не от вечности. Видно, при самом сложении или создании мира, тайна заклания Агнца Божия была уже в таком действии, что эта тайна как бы уже совершалась. В каком же это действии? Прежде действительного совершения этой тайны, другого подобного ей действия не могло и быть кроме того, что Господь творил мир, решимостью и настроением Своей творческой любви как бы уже отдавая Самого Себя на заклание за творимый им мир; и только на этом основании, начертывал Он для бытия и жизни *имена* созданий, особенно существ нравственных, в Своей *книге жизни* (Откр. 13:8). Итак бытие наше, как и бытие всего мира, творчески даровано, действительно, так, что Всемогуший *рече и – быша*; но тем не менее дорого, дорого стоило наше бытие, как и бытие мира, нашему Создателю, – основанием и ценой этого бытия тогда же было поставлено заклание Агнца Божия, каким имел и со Своей стороны уже готов был соделаться Сам Создатель. Миротворение было актом всемогущества и, нераздельно с этим, бесконечного всесвободного самопожертвования творческой любви, связавшей бытие и судьбу мира с закланием Агнца Божия, тогда же уже решенным и действовавшим в такой живой силе, что как будто оно уже и состоялось. Агнец в слове Божиим представляется уже *заколенным* от сложения мира. Угодно ли еще глубже и живее войти в эту истину? Святой Златоуст, выясняя в одном месте это выражение: от *сложения мира*, филологически разбирает понятие *сложения* (греч. *χатаβολή* не просто *сложение* или *составление*, но и *повержение* или *бросание вниз*); и отсюда развивает такую мысль, что, творя мир, Создатель, с бесконечной высоты Своей самобытности, точно как бы повергал или бросал мир в глубокую низменность тварного его бытия. Соедините же теперь с этим святоотеческим представлением мысль об *Агнце Божиим, закланном от сложения мира*. И вот выходит, что Господь, в деле миротворения с высоты Своего самобытного и всемогущего величия бросая, так сказать, мир в низменность бытия тварного, в тоже время духом и решением самоотверженной любви Своей к миру и Сам Себе положил уже низойти в эту же тварную низменность мира, низойти даже ниже

ее до принятия на Себя провиденных уже Им грехов мира, повергающих тварь ниже самого ничтожества, как немятежного против Бога. Таким-то именно образом Он, любовью Своей заколенный уже от сложения мира Агнец, так создал и утвердил вселенную, по определяющей мысли Отца и с запечатлевающим подтверждением Духа, что она *не подвигнется во век* в своем бытии, значении и назначении, не смотря ни на какие нравственные и физические в ней перевероты. Довольно ли сказанного для полноты и ясности Вашего представления о деле миротворения?

Я нашелся только сказать это:

– Дай, Бог, Вам всего доброго! Но, батюшка, следует перейти нам к представлению о Промысле Божиим.

О. Иоанн продолжал: Промышление Божие о мире есть, как мы уж говорили об этом, продолжение творения в том отношении, что Господь промыслительно *носит всяческая* так же *глаголом силы Своея*, как Он и создал *всяческая*, если Господь и созидал мир так, что тогда же обрекал Себя на заклание в качестве вземлющего грехи мира Агнца; то Он и сохраняет мир и управляет им в духе и силе той же Своей благодати, именно все доброе в мире изливая от Себя, а зло мира взяв на Себя или угашая в крови Своей, пролить которую Он положил и даже стремился и готов был от самого сложения мира. Это самое, как знает, и составляет основание того Ангельского воззрения, пред которым вся земля полна славы Господа, и с которым, потому, обозревая мир и его движения, естественно духом присутствовать за непрестанным горным богослужением... Тут остается нетронутым в своей силе и то представление, что Господь, сохраняя мир и управляя им, остается Сам в вышешмирной Своей высоте, невозмутимый и невоспящаемый в Своем мироправлении никакими нестроениями мира. Только поставляется на вид, что Господь пребывает в невозмутимой ничем мирским высоте не по холодному какому бесстрастию, а по силе той Своей любви к миру, по которой бремя всех мирских греховных нестроений вполне подъято и вынесено им, в качестве самопожертвованного Агнца, на Себе Самом; Отец небесный,

при каких бы ни было видах мятежности мирской, успокаивается невозмутимым благоволением в Своем Сыне, взявшем ответственность за все подобное на Себя, а Дух Утешитель и дышит только этими всеблаженными движениями Божественного благоволения и любви. Слава Единосущной Троице, невозмутимо пребывающей в Своей вышемирной высоте не только по Своему существу, но и по самой неисследимой любви Своей к миру! Но в этом – только еще одна сторона Божеского промысления, именно на сколько оно созерцается нашей верой, по отношению к самому Божеству, или в Божестве – Самом по себе. Рассматривая же Божественный Промысл по отношению к миру, мы увидим другую существенную сторону этого Божественного действия и проявления в мире.

– Только, батюшка, – напоминал я, – Вы не забудьте, что я иногда затрудняюсь совмещать и объединять разные стороны одного и того же предмета и воззрения. Вы разъясните мне это.

– Не беспокойтесь, – заметил о. Иоанн, – Вы сейчас же сами увидите, как обе, раскрываемые нами, стороны Божественного промысления входят одна в другую и предполагаются одна другой. Если Господь, не только Сам в Себе открыв миру единственный источник всякого добра, но и Сам на Себе вынеся и тем уже подорвавши в самых основаниях всю громаду мирского греховного мятежничества, пребывает потому в невозмутимой мирскими волнениями высоте Своей вседержавной любви к миру, – высоте, истинно достойной вышемирного величия: то, по том же самому, с другой стороны, Он так вседержавствует над миром, что в последнем не совершается ни добра, ни зла, помимо всеобъемлющей мысли и воли Господа, благоволительной и содейственной по отношению к добру, попустительной по отношению к злу. Это не только в отношении к нравственному миру, но и к физическому; так что например, и такое добро, как красота полевой лилии, идет от Отца небесного, одевающего это свое создание (разумеется, не иначе, как ради и чрез Сына Своего) лучше Соломонова великолепия, равно и такое зло, как

смерть и падение воробья, бывает по особому распоряжению и мысли также Самого Отца небесного (относящего, разумеется, и это злострадание твари, имеющее корень в человеческом грехе, к бремени Своего Агнца, заколенного за грешный гибнущий мир). Вы знаете это из прямых Христовых слов в Евангелии (Мф. 6:28–30, 10:29–31). Так-то именно и полна вся земля славы Господней! Дело промысления Божия, рассматриваемое с этой стороны, разнообразится в своих проявлениях до бесконечности, судя по тому, на сколько и в каких отношениях создания воспринимают или отвращают от себя благоволение Божие. Вы знаете в слове Божиим такие изображения Божеского мироправления: «увидел Господь Бог, что умножились злобы человеческие на земле... и раскаялся Бог, что сотворил человека на земле» (Быт. 6:5–6). Или: «Бог услышал стенание их (Израильтян), и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом и увидел Бог сынов Израилевых, и стал Бог знать их» (Исх. 2:24–25). Это, конечно, человекообразные изображения; но изображения, действительно, таких отношений между людьми и Промыслителем, что люди или не дают в себе никакого места к успокоению промыслительной любви Божией и вводят ее в движение ревнивого отвращения от них, или привлекают ее к себе и тем приводят в живое действие благоволительные ее заветы. Но при этом уж, само собой разумеется, и нашей вере непременно следует это доразумевать что, как в случаях первого рода, страшная тяжесть отвращения Божия от злоб человеческих падает все же на Агнца Божия, поэтому именно и заколенного, в мысли и настроении любви Божией к миру, уж *от сложения мира* (иначе создания, недающие успокоиться в себе любви Божией соделались бы немедленно жертвой вечной смерти и отвержения): так, и в случаях другого рода, самая восприимчивость людей к милости Божией обуславливается предначатием или совершением сообразования и общения их с тем же Агнцем и возлюбленным Сыном Божиим (ибо только ради Сына Божия создания привлекают к себе любовь Отца; в ком или в чем нет отпечатления или отсвета Сына, в том нет и быть не может места для любви и милости Отца).

– Если тяжесть отвращения Божия от злоб человеческих, – возразил я, – падает собственно на Агнца Божия, то какое же значение имеют разные роды казней или грозных судов совершаемых над людьми то в бедствиях физических, то в расстройстве жизни частной и общественной, и т.п.?

– Пока не наступит, – отвечал о. Иоанн, – эта решительная и существенная казнь над вечно отвергаемыми от Бога грешниками: *идите от Мене проклятии во огонь вечный, уготованный диаволу и аггелом его (Мф. 25:41)*; дотоле суды и казни, совершаемые над грешниками, все еще направляются к тому, *да суд убо приимут* они *плотью*, *поживут же по Бозе духом*, как сказал Апостол Петр об «умерших» под казнями и однакоже, как видно, нелишенных совсем восприимчивости к «благовестию» благодати в самой адской темнице (1Петр. 4:6, 3:19–20). Да! Сам Христос, в сошествие Свое во ад, *проповедал* благовестие спасения даже таким исполинам зла, каковы были допотопные нечестивцы, упорно противившиеся долготерпению Божию и наконец казненные всемирным потопом. Чем, если не этой всемирной казнью, положены были в них семена восприимчивости к такому снисхождению для них Христовой благодати? Это и утверждает словом Божиим Ап. Петр: *на се и мертвым благовестися, да суд убо приимут по человеку плотию, поживут же по Бозе духом*. Так говорит Апостол в след за указанием своим на сошествие Христово во ад для благовестия даже и допотопным упорным нечестивцам, – говорит именно – делая применительные выводы из этого в назидание веры. Следовательно он понимает не других мертвых, как этих допотопных нечестивцев, умерших под казнью всемирного потопа, и не другое *благовестие* им, как предложенное от Самого Спасителя, сошедшего и к ним во ад. Но Христово сошествие во ад, как и все дела Христова домостроительства о спасении людей, сохраняет свой дух и силу и на все времена, т.е. в отношении и ко всем людям, постигаемым судами и казнями. Само собой разумеется, что мы не касаемся неразрешимого для нас, живущих на земле, вопроса, послушны ли, и в какой степени послушны грешники, постигнутые казнями Христовой благодати, еще и к ним

снисходящей или еще неоставившей их решительно. Святая Церковь, со своей стороны, помогает им в этом своими *молитвами за умерших*, совершаемыми в порядке благодати.

Я благодарил о. Иоанна за удовлетворительное для меня решение моего возражения и, извиняясь пред ним, что отвлек его несколько в сторону от прямого развития мыслей, просил его сделать окончательный вывод из сказанного для выяснения своего воззрения на движения и судьбы мира.

– Мой вывод, – заговорил о. Иоанн, – будет только повторением того, что я говорил уж Вам. Следите, или изучайте, судьбы и волнения мира. но не иначе, как с неуклонным взором веры к Господу – Агнцу Божию, закланному за все роды и виды мирского зла, и полному благодати и истины источнику для мира всякого действительного добра, Который *носит*, в этой силе Своей любви к миру, *всяческая*, наполняя такой Своей славой всю землю нашу, при созерцании и служении этому небесных духов. При этом я считаю нужным сказать Вам однажды навсегда, что, когда я говорю о Господе, Вы уже сами по себе разумеете и существенно сияющую в Нем любовь и славу Отца небесного и почивающего в Нем же Духа Святого. А потому, следя мирские события со взором веры к Господу, Вы уже в этом взоре веры непременно соединяете то представление или созерцание, как Господь Сам в Себе вводит Свои создания, даже и грешные, в любовь и милость Своего Отца, которая и действует на эти создания, благодатью Святого Духа. Так и будете присутствовать духом за вечным богослужением, совершаемым от Самого вечного Иерея и Архиерея и вместе самозакланной Божественной Жертвы – от Господа нашего, при славословии всех Святых Ангелов. Вы при этом удержите и обычное свое представление о вышемирной высоте и неисследимых путях этого дивного промышления Господня о мире; только будете доразумевать своей верой, что все эти пути основаны на домостроительстве Христа – Агнца Божия и проникнуты Его духом и что дело промышления именно чрез это поставлено превыше всяких затруднений, препятствий и возмущений со стороны мира.

Соображая все слышанное мной у о. Иоанна, со своим образом мыслей, я сознавал себя настолько удовлетворенным, что хотел было просить доброго батюшку, чтобы он сделал применение раскрываемого им воззрения на мирские события и движения к какому-либо известному ряду подобных событий и движений, и именно к современным движениям мира *по польскому вопросу*. Я для того и желал выяснить себе мирозерцание о. Иоанна с разных сторон, чтобы для меня легче и яснее было применение этого мирозерцания к польским делам, столько волнующим и западную Европу и нас Русских. Но только я заикнулся об этом, как о. Иоанн прервал меня с живостью какого-то нетерпения или почти негодования:

– Нет, нет! Погодите! Надо нам сделать еще другие, более нужные, применения, именно применения к делу мысли и жизни нашей – русской, без надлежащего настроения которых, как без хороших глаз, мы не сумеем, как следует, воспользоваться никаким добрым воззрением. Ведь, мы, Русские, по образу мыслей о судьбах не только вообще мира, но и самого нашего отечества, еще словно странствуем вне нашей родной земли. Недавно пришлось мне читать одно за другим два известные английские сочинения: *Историю цивилизации Англии, Бокля*, и *историю Англии, Маколея*. Читаешь эти книги, и видишь на каждой почти строчке – такой склад мыслей у их авторов, что они, как англичане, владеют вполне английским духом, образом воззрения и характером своей общественной жизни; а потому в своих книгах поставляют на вид, и это они сами первые чувствуют, действительное и живое развитие Англии; – знакомство с историей и жизнью других стран, только углубляют их взор на свою родную страну. Напротив, читая наших русских авторов, пишущих о России, об ее обычаях, поверьях и прочее, или следящих и все развитие русской жизни, не удивишься тому, как это ухитряются люди, указывая и поставляя, кажется, все факты, основанные по своей достоверности на свидетельствах и документах, показывают Вам во все не действительную, не родную нашу матушку Россию. А дело простое: смотрят эти господа на Россию и русское совсем не русскими глазами, и под их взором старые русские обычаи и

понятия получают какой-то оттенок дикий, полуязыческий, варварский; а это – обычаи и понятия достойные уважения, в существе дела разумные, только более или менее детские, требующие для раскрытия в истинном своем смысле одного, именно – зрелой отчетливости. Без разумения смысла внутренней народной жизни весь ход нашей народной истории оказывается вырабатывающим много, много разве только (далеко впрочем не внутреннее) сплочение разных составных частей в одно целое и происходящую от этого внешнюю государственную твердость и внешнее могущество, – почему и порядок подобного развития оказывается, тоже только с каких-либо наружных сторон, похожим на развитие чего-либо живого органического; а между тем эта православно-русская жизнь представляет, если бы взглянуть на нее прямыми православно-русскими глазами, постепенное возрастание и созревание православных воззрений и жизни для нового их пути, нужного всему миру, – миру христианскому для очищения его от разных вековых примесей неправомыслия, миру нехристианскому для привития и его к животворному и просветительному христианству. Извините меня: – накопившаяся на сердце горечь не то негодования, не то скорби о русских, смотрящих на Божий мир и на самую Россию не русскими глазами, увлекли и меня тоже в сторону от прямого хода наших мыслей. – Мне хотелось бы, видите, сказать Вам слова два о применении того воззрения, о котором мы с Вами рассуждали, к делу нашей русской жизни и мысли. Подумайте, что, следя и изучая мирские дела и события с неуклонным взором веры к Агнцу Божию – Богочеловеку, Которому не чуждо ничто человеческое, – добро, как от Него происходящее, а худо, как Им на Себя промыслительно взяемое, Вы естественно будете настраиваться самым человеколюбивым или гуманным духом; и эта гуманность будет не бесплодная, а введет Вас в живую связь с людьми разных времен и народностей, как с Вашими истинными родными, и будет содействовать, чрез самое Ваше изучение судеб мира, к успокоению духа прешедших исторических деятелей и целых поколений – успокоению именно в Агнце Божиим, вземлющем и их грехи со грехами всего мира.

Вот истинно русское, православно-русское изучение истории! Одно уж предощущение такого образа и духа изучения истории восхищает Русских: известно, какой восторг возбуждался чтениями одного профессора (теперь уж покойного) в Московском Университете, чтениями из средневековой истории, проникнутыми гуманным духом или живым чувством братства с прежними людьми. Кроме того, в Вашем изучении событий и судеб мира, управляемом воззрением к вземлющему грехи мира Агнцу Божию, необходимо соединялась бы самая строгая точность фактов с духовной возвышенностью направления; потому что Вы в судьбах мира будете следить собственно то, какое зло мира действительное, а не мнимое, налегло тяжестью своей на Агнца Божия, и какое истинное, а не воображаемое, добро от Него же исходит и раскрывается в человечестве; – прибавлять или убавлять, ослаблять, или усиливать что-либо в этом отношении значило бы для Вас посягать на оболгание самой Господней истины и благодати этого все высочайшего сокровища для Ангелов и человеков. При этом, понятна будет для Вас и разумность в порядке судеб человеческих, просто соглашаемая со всеми видами человеческого неразумия в мире, служащая не оправданием для этих последних, но удостоверением для нас в том, что, действительно, вина наших греховных заблуждений и безумств взята Агнцем Божиим – Богом Словом во плоти для их уничтожения. Наконец, боссюэтовские идеи об истории, исключая их холодность и также излишнюю напряженность в них супранатурализма, сами собой сойдутся у Вас с современными научными требованиями и стремлениями следить развитие и прогресс человечества до бесконечности, исключая из этих идей ложь пантеизма и безразличия между добром и злом и мечту самоспасения и самосовершенства людей. Согласно идеям Боссюэта, жизнь человечества идет по плану и распоряжениям Вседержителя; но весь ее ход тем не менее, согласно современным научным идеям, состоит в постепенном развитии самого человечества, – только таком развитии, что все злое человеческое, как взятое и вынесенное Христом Агнцем Божиим, по мере своего раскрытия, пресекается или идет к своему низложению, к

упразднению всей своей державы (Евр.2), а все доброе человеческое только раскрывает в себе неистощимое богатство беспредельной Христовой благодати, пока зло человеческое не дойдет до последней степени своего раскрытия на земле, следовательно и до того, решительного предела, когда будет окончательно поправа смертоносная его держава, а добро раскроется в вечное торжество благодати, в бесконечную жизнь и славу²¹. Ну теперь требуйте, если угодно, других еще применений нашего воззрения на движения и судьбы мира, – сказал в заключение о. Иоанн.

Обдумав сказанное сейчас им, я остановился на новых вопросах, которые отодвинули снова нас от «польского вопроса».

– Извините меня, батюшка, – сказал я. – Последние слова Ваши возбудили во мне новые затруднения, которые задержат нас несколько от дальнейших применений, – как ни желательно мне слышать их от Вас. Вы сказали о развитии самого человечества, а между тем сейчас же прибавляете, что добро в человечестве есть собственно раскрытие неистощимой Христовой благодати. Какое же это развитие самого человечества? Неужели остается за человечеством только одно худое и развитие этого худого. Вот первое недоразумение, часто меня смущающее, и теперь с тревожной силой поднявшееся по поводу Ваших слов о развитии человечества! Потом, Вы знаете, добрый батюшка, что вот Бокль, из опасений сверхъестественного вмешательства в строгий порядок развития человечества, отвергнул мысль о Божеском предопределении; он, ради того же строгого порядка в развитии человечества, не усомнился отвергнуть и самый наглядный факт – свободу человеческую. Этот Бокль ведь один из представителей современной науки. Судите же теперь, согласится ли современная наука принять мысль о таком развитии человечества, которое идет по предначертанному Всевышним плану, или, что тоже, по предопределению, и сверх того еще, в отношении к добру, держится только на вышеестественной благодати. Извините меня, если я представляю признание такого человеческого развития, со

стороны науки, делом совсем несбыточным, как мечта несбыточная. Это мое другое тяжелое недоумение. Вы сами впрочем, батюшка, виноваты, что применением воззрения веры к делу мысли и науки вызвали эти мои застарелые и тяжкие недоумения.

– Виноват я или нет, не буду говорить об этом, – начал весело говорить о. Иоанн, – только я Вам всегда благодарен за Ваши возражения или недоумения, как Вы выражаетесь. На полдороге к истине с Вами не остановишься. Возьмемся сначала за первое Ваше возражение. Вы говорите, что Ваше недоумение часто смущало Вас. Но зато и я скажу Вам, что и мне приходилось уж довольно, довольно думать о том же. Вы меня застали не врасплох, с Вашим возражением. Я не знаю, удовлетворитесь ли Вы моим решением Вашего возражения, а я признаюсь столько убежден в правде этого решения, что она, по-моему мнению наконец перетянет всякие противоположные убеждения и недоумения. Вы уж угадываете, конечно, что эту правду в решении Вашего возражения я полагаю в Самом Господе. Да, мой брат! Мы затрудняемся тем, что идеи о развитии самого человечества и о раскрытии в человечестве благодати кажутся идеями, не только различными, но и взаимно противоположными или одна другую исключаящими. Но ведь Господь наш собственной личностью не чужд человечества, – Он Сам стал человеком; человечества Его оспорить или отнять у Него никто не может. Как же можно исключать раскрытие Его благодати из порядка развития человечества? Господь Своим человечеством, в Своей жизни на земле, вошел во все условия человечества, условия жизни физической, гражданской, семейной, церковной, – вошел в такую связь с внешней природой и миром, в какой неразрывно находится человек. И потому с какой стороны и в каком отношении Вы ни рассматривали бы жизнь и развитие человечества, Вам никак нельзя обойти полного благодати и истины Господа. Совсем иной вопрос: признаете ли, или не признаете Вы его полным благодати и истины, как засвидетельствовали о нем миру очевидцы такой Его славы, и каким Он доселе является в Своем неумирающем слове и в фактах, опытно познаваемых и

свидетельствуемых? Но никто не может исключать Его из человечества, имеющего свою жизнь и развитие; а Он в среде человечества и в его развитии не может быть ни лично, ни в Своих сообщниках инаковым, нежели каков Он есть *исполнь благодати и истины*. Итак, что касается Самого Господа, Он чрез Свое вочеловечение сделал невозможным, чтобы развитие человечества и вся жизнь общечеловеческая шли вне раскрытия его благодати. Судите сами, как в общечеловеческой жизни развитие, например, именно разума и мысли могли бы идти вне или помимо благодати Того, Кто человеческий разум и мысль усвоил в личную Свою собственность ради нас человек. Сколько бы те или другие люди так или иначе ни отрекались от Него, всё же Он Сам не может отречься от Своего человеческого естества с его разумом и мыслью; а это уж есть благодать для всего человечества, «всегда немощное врачующая и оскудевающее восполняющая». – Что касается и нас грешных людей, мы и сами по себе, по самой природе нашей, не можем быть изъяты, со своей жизнью и развитием, из беспредельной области раскрытия Господней благодати. Ведь человеческая природа сама по себе, кроме ее болезней и порчей, такова, чтобы человеку быть Богоподобным и чтобы это Богоподобие было истинное, живое, общное Самому Духу Божию; а это уж дар и проявление благодати. Человек так и создан, чтобы быть ему *по образу Божию*, т.е. состоять в живой сообразности и общности с существенным Образом и Сиянием Отца небесного – Господом нашим. Человек поэтому так и начал свое бытие и жизнь, чтобы дышать и живиться Духом Божиим, почему и сообщены были ему жизнь и бытие чрез вдохновение Божие (**Быт. 1:11(2:7)**). Да и в болезненном расстройстве своем человеческая природа всё ещё не дошла до того, чтобы все черты Богоподобия закрылись в ней, чтобы веяние Духа Божия не проникало в ее глубины, чтобы все наши сообразования и сообщения с Господом были совсем порваны. Как же можно человечеству в своей жизни и развитии, убежать от благодати, осенение которой не совсем чуждо и неведующим благодати, не совсем оставило природу человеческую, предваряя совершенное ее обновление? Нечуждое всем грешным людям

сочувствие добру и истине, чистым радостям и прямым пользам человеческим, – что это, если не живой отблеск благодатного Богоподобия в человечестве? Не касаемся уже людей благодатствованных и верных благодати, которые, тоже ведь, живут не вне общечеловеческой жизни и развития, а напротив составляют, хотя большей частью скрытные от мира, самые внутренние и главные рычаги и опоры этой жизни и развития общечеловеческого. Так-то, разбирая дело и в отношении к самим людям, даже грешным и неведающим благодати, мы должны убедиться, что жизнь и развитие человечества никак не могут идти вне области раскрытия благодати. Разберет же когда-нибудь это мысль человеческая, наводимая на истину именно благодатью; и наша русская мысль, по своим условиям, могла бы особенно послужить в этом отношении делу истины, если бы, с зрелой разумностью, взялась, за православное правосмысленное довершение мысленного дела западных наших собратий, а не останавливалась бы с детским упрямством только на том, что ими сделано и делается.

Я просил о. Иоанна сказать свои мысли и на другое мое недоумение относительно современного направления мысли и науки, совсем противоположного ожиданиям доброго батюшки, как именно видно в Бокле, направляющем и русскую мысль (через русский перевод его книги).

– Бокль, мне думается, – отвечал мне о. Иоанн, – и вызывает нашу русскую мысль к самостоятельности в направлении, родном для нас, а слишком уже далеком для запада. Истинное ли Божеское предопределение, о котором знает только православное Христианство, отвергается Боклем? Действительная ли человеческая свобода им отрицается? Нет и нет! Бокль, следя развитие человечества, идущее по известным законам и условиям, отрицает такое представление о предопределении, по которому судьбы человеческие зависят не от условий и законов, которым подлежит само человечество, но от высшеестественного вмешательства небесных предначертаний, которых подневольным рабом и жертвой служит человечество в своих судьбах. Но такое представление о предопределении односторонне и взято Боклем у

неправославного западного христианства и Богословия. По истинному же или православному воззрению, Отец небесный Своим личным Словом и в Своем личном Духе, действительно, все относительно мира предусмотрел и предопределил от вечности, так что сотворил мир уже сообразно этому предусмотрению и предопределению. Но по этому предопределению и предусмотрению, не мир и его развитие являются жертвой Всевластного и всепоглощающего Вышнего произволения, волей или неволей служа неперемennomу исполнению этого произволения, а Сам Господь от вечности назначал Себя и при создании мира, внутренне Сам в Себе, как бы уже и отдавал Себя в жертву за мир, и на этом именно самопожертвовании Своем, как Агнца заколенного от сложения мира, обосновал все судьбы мира, все развитие человечества. И на таком основании, как благая мысль и воля Отца небесного о мире и человечестве, совершается с неопреодолимой и невозмутимой ничем силой и точностью, так, нераздельно с тем и по тому же самому, и человечество идет к своему назначению, непринужденно развиваясь стройным и строго последовательным порядком по известным законам и условиям. Бокль, следя такой порядок развития человечества, своими отрицаниями не касается (а только не знает) воли и мысли об этом порядке Самого Отца небесного, пожертвовавшего для этого Сыном Своим Единородным, – не касается враждебно (а только не знает) благодати, раскрывающейся именно в строго последовательном порядке развития человечества и действующей духом самопожертвования за человечество Агнца Божия, а не подавления или насильственного увлечения человечества своим вмешательством. Разобрать это дело так, чтобы отрицание Боклем предопределения, это дело разобрать может только православная мысль; а по разборе этого дела, окажется, что Бокль или, представляемое в его лице, современное направление науки не только не дает основания для мысли о несбыточности и невозможности для науки войти в воззрения веры, но в некоторых отношениях и служит уже этим воззрениям чрез изгнание из них разных односторонностей. К

тому же заключению приведет нас и разбор того, что касается отрицания Боклем свободы человеческой. Под именем свободы человеческой этот ученый мыслитель отрицает в человеке – что? – ни более ни менее, как такой беспутный и беспорядочный произвол, который не водится никакими поводами и побуждениями, кроме брожения своего беспричинного своеволия; – такого произвола, кажется, не найдешь и у сумасшедших. Ведь Бокль стоит собственно за то, чтобы строгий порядок развития человечества не нарушился и даже совсем не исключился тем, что вот люди вздумают поступить так или иначе и пойдут туда или сюда, куда и как вздумается им по бродячему их самоволию, «действующему независимо от поводов» и условий. Это-то бродячее неестественное самоволие он и отрицает под именем свободной воли человеческой, не касаясь нимало самой действительной свободы, состоящей в самоопределении и самоуправлении человека, и в этом смысле действующей не иначе, как по поводам и побуждениям, которые обуславливаются внутренним состоянием и внешней средой человека²². Такая свободная воля не исключает и не ослабляет нисколько того строгого порядка в развитии человечества, что последнее постоянно пожинает и собирает посеянное им же ранее, так же как неминуемо пожнет и последнюю решительную и вечную, свою судьбу, которую оно сеет во весь род времен своего земного развития. А между тем по надлежащему взвешенная и обдуманная мысль Бокля, что не из самоволия человеческого (бродячего с полной самоуверенностью и самодовольством своей независимости от чего бы то ни было) развиваются дела и судьбы человека, послужит в свою меру к раскрытию тех глубоких духовно-нравственных истин, которые выражает Апостол Павел в следующих словах; «это уж делаю не я, а живущий во мне грех» и в следующих: «более всех их я потрудился, но не я, а благодать Божия, которая со мной»²³. Но только православная мысль может подобным образом увенчать труд мысли западной. И потому я, вникая в труды и результаты мысли западной, представляемой исследованиями Бокля, скорее прихожу к надежде о близости всестороннего живого

воззрения веры на все в мире, чем к безнадёжю в неисполнимости этого, как будто мечты несбыточной. Нет, брат мой! Коли Господь стал человеком, то дело человечества не может уж пропасть, особенно по отношению к такой благородной стороне жизни человечества, какова мысль человеческая со своей наукой.

– Слушая Вас, батюшка, – сказал я, когда о. Иоанн кончил, – так и видишь, что, как говорит Святой Иоанн Богослов; «тьма проходит и свет истинный уже светит» (1Ин. 2:8). Вот если бы Вы, теперь, своим воззрением на движения мира осветили для меня совершающееся ныне и так близко касающееся нашего отечества движение мира по «польскому вопросу», осветили бы также, как выяснили для меня самое Ваше воззрение на мир и его волнения!.. Надо наконец Вам поговорить со мной прямо о том, из-за чего и началась настоящая наша беседа, что меня и побудило быть у Вас в настоящий раз.

IV

«Польский вопрос»! Движение по «польскому вопросу»! – Так начал снова свою речь о. Иоанн с грустной задумчивостью. – Пойдем же, добрый мой, своим духом и мыслью к Агнцу Божию, вземлющему грехи мира и от полноты Своей благодати источающему все доброе для мира. Это следует и нужно не только вообще по началам и требованиям того воззрения, которое мы развивали с Вами, но и особенно потому, что «вопрос польский» непосредственно касается нас, Русских. Ведь именно против России поднята мятежническая борьба со стороны Поляков; ведь против нашего Государя и его правительства восстала дипломатическая борьба западных держав в пользу Поляков. Мы Русские, поэтому, естественно отовсюду подняли голоса с выражением готовности стать за своего Царя и целость его державы, хоть бы против всего мира, а не только против мятежников Поляков; это значит для нас стать за самих себя, за свою правду, честь и безопасность, против мятежнических притязаний и недоброжелательных сторонних вмешательств. Все это так! Но по этому самому нам, православным Русским, и надо всячески озаботиться тем, чтобы нам самую свою правду, честь и безопасность полагать и иметь непременно и прямо в Самом Христе – Агнце Божиим, и таким образом, чтобы нам неотступно быть с Ним. Если мы будем держаться собственно Его стороны против всего, враждебного Ему, то и Он будет на нашей стороне против всяких козней и злобы наших врагов; и наверное «Агнец победит их; ибо он есть Господь и над господами и Царь над царями», – как сказано в слове Божиим (Откр. 17:14). Итак, повторяю Вам, не только по самому существу нашего воззрения, но по любви и верности к нашему Царю и отечеству – пойдем мыслью и духом своим к Агнцу Божию, Который еще отстаивает пред Своим Отцем и виноватых, как бы Сам всеправедный (такова сила Его крестной смерти) был виноват их виновностью, и потому изливает еще на нас, грешных людей, благодать всякого добра, чтобы нам достигнуть и твердо держаться Его, другими словами – чтобы

нам выдержать чистое воззрение веры к Нему и, по делу с Поляками, удержаться прочно на Его стороне, мы должны иметь в виду собственно то, что именно *Ему* враждебно в мятущемся духе польского народа и что нам враждебно уже только по враждебности своей Ему... Само собой разумеется, что это каждый из нас делает по-своему, – дипломат, с тонкой и внутренне добросовестной проницательностью, распутывая запутанности политики, – солдат, действуя оружием с христолюбивой готовностью положить душу свою за православного своего Царя и отечество, – служитель мысли и слова, разъясняя себе и другим всю существенную силу и обстоятельства дела польского и так далее. Эту оговорку я делаю для того, чтобы мне, как духовному, и выяснять главным образом дух «польского вопроса», содействуя, чрез это и чрез молитву, верному пред Господом направлению всего у нас дела по этому вопросу.

– Благодарю Вас за эту необходимо нужную оговорку, – сказал я.

– Враждебно Господу нашему, – Агнцу Божию, – продолжал о. Иоанн развивать свои мысли, – собственно духовное зло, то, что несоответственно и противно Его воле и духу. Потому-то у верных Господу уже *несть брань к плоти и крови*; они принимают за истинных своих врагов собственно не тех или других людей недоброжелательных или неприязненных, взятых самих по себе. У верных Господу брань именно против движущих этих людей начал и идей лжи и зла, – таких начал и идей, которые одушевляются гнездящимися в них живыми и личными *началами, властями и миродержителями тьмы* (Еф. 6:12). Вот эти-то начала и идеи лжи и зла, которые приготавливали, возбуждали и наконец решительно воодушевили Поляков к мятежу, надо нам обнажать и низлагать, разгонять и упразднять проницательностью политики, оружием войска, патриотическими порывами и жертвами народа, мыслью и словом, одушевляясь во всем этом духом благодати и истины Христа – Агнца Божия, с неотступным воззрением веры к нему во всех движениях «польского вопроса».

– Легко это сказать, батюшка!! – как будто само собой вырвалось у меня такое замечание. – Но как это сделать нам Русским?

– Как сделать? – отвечал о. Иоанн. – Это можно нам сделать не иначе, как именно, на основании, по первообразу и силой или благодатью того, как Сам Христос Агнец Божий и Господь наш обнажил, низложил и в существе и основании дела, упразднил всю мятежную державу лжи и зла со всеми ее лживыми идеями и принципами, в которых гнездятся и раскрывают свою злобу и ложь живые и личные начала и власти этой тьмы. А Господь как это сделал? Как Он мог сделать это чрезвычайное, по-видимому, невозможное, дело, когда мы люди были по своей греховности столько виноваты пред Богом и безжизненны для добра, что предписания добра и долга, начертанные и во внешнем Божием законе и в совести нашей, только обличали и осуждали именем Самого Бога нашу несостоятельность пред добром и долгом, а начала и власти злобы, скрытно для нас, удобно и свободно могли двигать открытые им внутренние пружины наших мыслей и расположений (насколько, разумеется, мы сами это допускали и хотели). Вот как Господь совершил Свое дело: приняв и понесши на Себе нашу виновность и мертвость греховную в распятии Своем на кресте, чрез это самое Он, с одной стороны, как бы уже пригвоздил к Своему кресту осудительные для нас предписания долга и добра, так что уже нет места или права для строгих взысков их с нас, а с другой, вывел наружу, обессилил и посрамил действительных виновников злобы и лжи – самые начала и силы зла, так что они уже не могут скрываться за нашей виновностью, ни свободно действовать на нас, несмотря на нашу греховность (Кол. 2:13–15). На этом самом основании и по этому именно первообразу, благодатью этого самого дела Христова, будем и мы обнажать и рассеивать лживые идеи и начала, поднявшие и поддерживающие польское беспорядочное движение. Будем усмирять и упорядочивать беспокойных Поляков политикой ли или оружием, строгостью или прощением, административными ли мерами или только братским соучастием, патриотическими ли делами и жертвами,

словом ли и мыслью (всё это – как кому даст Бог по его положению и расположению), – только непременно в том настроении Христовом, у одних сознательном, а у других хоть бы только инстинктивном, чтобы с Христовым человеколюбием, хоть сколько-нибудь, разделить с ними эту страшную ношу пред Богом и совестью гражданской и личной. В смысле именно этого настроения надо понимать слово нашего Государя, высказанное дипломатией западным державам, что он «лучший друг Польши». Итак вслед за своим Царем, пусть вся Россия держится человеколюбия Агнца Божия. Сердце сердцу (говорит глубокая русская пословица) весть подает. Пусть бы мы, Русские, по опытному дознанию, как мятежники во вред себе и России и прочему миру только злоупотребляют нашей снисходительностью и благодной терпеливостью, взяли их в крепкую руку грозной строгости, но только в том именно настроении Христова человеколюбия, о котором я сейчас сказал: услышат это сердца преступных, и рано или поздно узнают они в нас истинных своих братьев. Только бы мы не устали и не обленились, с разумной твердостью и предусмотрительностью, выносить их бремя, как свое собственное. Пред духом такой Христовой любви не закроется ни под какими личинами, от самообольщаемых мятежников ложь того патриотизма, который проливает свою и родственную кровь ради явно несбыточных мечтаний и с пренебрежением явных же настоящих общественных польз и прав и еще больших видов в будущем, какие открыты для Поляков в единстве государственном с Россией. Обнажится пред ними фальшь того или недальновидного или фарисейского участия запада в их судьбе, которое не оправдывается делами западных держав в подобных собственных их обстоятельствах и отношениях к входящим в их состав или в столкновение с ними чуждым народностям, а только возбуждает и поддерживает польское самообольщение, убийственное для духа и общественного благоустройства Поляков... Но мало ли чего можем достигать мы, православные Русские, если по отношению к Полякам и западной Европе, по польскому вопросу, будем держаться пути и духа Агнца Божия, вземлющего грехи мира и ведущего в

Самом Себе всех к Своему Отцу, Отцу светов и всякие утехи? Мы можем по этому же польскому вопросу подвинуть себя и других, – хоть сколько-нибудь поближе прежнего, – к тому, о чем молится Церковь православная, – к миру всего мира, истинному и полному *благостоянию Святых Божиих Церквей и соединению всех...* Вы, я думаю, согласитесь со мной, что уже шагом к этому служит каждое такое соглашение между державами разных исповеданий, к которому идем в соображении и общении с Господом нашим, приводящим разделенных в мир и единение именно тем, что Он есть Агнец Божий, взяв грехи равно обеих разделенных сторон?

– Вполне согласен со всем, что Вы сказали, – ответил я. – Только знаете ли что, батюшка, – за чем Вы взяли эти дидактические тон и форму в развитии и выражении Вашего воззрения на дело польское? Лучше бы для ясности и для беспристрастного обсуждения этого дела говорить о самом только деле, без всяких дидактических приложений.

– Дело по «польскому вопросу», – отвечал со своей стороны о. Иоанн, – не есть уже совершившийся и законченный факт²⁴; оно еще только идет к своему исходу, находясь в возможности принимать такое или другое направление, которого и предвидеть никто из людей не в состоянии. Притом, дело это касается непосредственно нас самих; мы Русские составляем одну из самых заинтересованных в нем сторон и принадлежим к самым деятелям этого вопроса. Поэтому дело по польскому вопросу, еще не определяясь вполне, или не достигши своей полноты, должно еще озабочивать нас своим будущим исходом и, сверх того, особенно нас Русских оно обязывает всячески стараться о направлении его к доброму и удовлетворительному во всех отношениях исходу. С этой точки зрения нам и надо смотреть на дело польское; так мы и смотрели на него, – дидактизм у нас не произвольный, а вытекает из самого существа и положения рассматриваемого дела. Мы еще, по «польскому вопросу», сами на суде у Вседержителя. Тот, Кто управляет миром, не деспотически жертвуя им Своему произволению, а в духе Божественного самопожертвования за него Агнца Божия, и Кто поэтому

развивает судьбы мира из свойств и условий самого мира, из собственной приемлемости мира к добру или злу, еще смотрит и судит, что мир примет или отвергнет из полноты Его благодати и истины по «польскому вопросу». Поэтому нам, с нашим воззрением на дело по этому вопросу, предлежит так войти в совершаемое при Ангельских славословиях и действиях богослужение Всевышнего Саможертвенного Архиерея, чтобы нам, со своей стороны, сколько можно более и лучше послужить, в этом «польском вопросе», спасительному для мира раскрытию славы Господней, наполняющей землю. Мы с Вами и вводили себя в этот самый дух и настроение.

Тем на первый раз и кончился наш разговор, по поводу «польского вопроса».

V разговор

О важнейших вопросах нашего времени, затронутых в деле польского восстания, и о должном направлении мысли по этим вопросам

Волнения и беспорядки в Польше продолжались. Мои думы, по поводу их, не останавливались уже на том, до чего старался меня довести о. Иоанн своим собеседованием со мной по поводу «польского вопроса». Я думал, что войдя в общий дух и настроение, какие требуются от нас Русских по этому вопросу, мы должны за тем следить и разбирать до тонкости, что в частности затронуто и требует разрешения по тому же вопросу. При первой возможности, я снова посетил о. Иоанна, и пересказал ему свои думы. Он рад был, что я не хотел успокоиться на одном *общем* прямом воззрении на дело «польского вопроса».

– По этому делу, – говорил он, – затронуты и от рассуждающих требуют разрешения важнейшие для нас вопросы.

Я увидел, что в мыслях о. Иоанна уже разработан был этот предмет, и просил его поделиться со мной своими рассуждениями. Он, как обыкновенно, с охотой согласился удовлетворить мою мысленную жажду.

– Первое, что затронут «польским вопросом», и что прежде всего бросается в этом вопросе в глаза – это есть то, около чего вращается с сотрясением весь современный мир, именно значение власти для подвластных, правительство для управляемых, и взаимное между ними отношение. Дело в том, что в необходимости власти и правительства убеждены и мятущиеся против властей; они хотели бы только сами себе дать или создать правительство, сами определить для себя род и характер власти, не подчиняясь данной власти, не терпя существующего законного правительства. Такое дело в «польском вопросе» идет со стороны мятежников. Со стороны же законного их, именно русского, правительства дело в усмирении мятежных пред властью их Царя, именно нашего Всероссийского Императора, с удовлетворением и успокоением их всем, что сам Государь наш найдет удобным, нужным и полезным для них и для всей своей Империи. Знаете, как дело «польского вопроса» усложнилось от внешних вмешательств дипломатов. Нынешнее французское правительство, возникшее и само в следствие самоизвольного народного распоряжения с отрицанием данной власти или существовавшего правительства, естественно вместе со своей нацией – стало сочувствовать мятущимся Полякам. Англия, еще с восточной войны занятая сильными подозрениями на счет России во властолюбивых ее притязаниях и видах, по поводу польских дел, вошла также в прямую антипатию против Российского правительства. Австрия, держава некогда дружелюбная России, и обязанная ей так недавно, но в восточную войну невыдержавшая дружества с Россией, склонилась также в пользу Поляков или, точнее сказать, не в пользу Русского правительства. Шумом повсюдной молвы, возбужденной революционными партиями во всех странах и поддержанной в общественно-европейском мнении первостепенными державами запада, – шумом молвы именно о Российских якобы несправедливостях и даже жестокостях относительно Поляков,

– вызвано почти и всеобщее сочувствие мятущимся Полякам. Прибавлю еще, (и это наиболее важно в «польском вопросе»), что на западе общественным мнением уже, кажется, принято и чуть не освящено, как законное, видоизменять или даже отменять данные правительства в случае всенародных требований и распоряжений; мы сами Русские не признавая *de jure*, уже признали это *de facto* относительно Франции, Италии, Греции. Вот запутанности «польского вопроса» в том, что касается до значения власти для подвластных и до отношения между той и другими! Так глубоко и столь многими нитями завита в «польском вопросе» эта великая задача нашего времени!

– Вижу теперь, батюшка, – сказал я, – как, в самом деле, нам надобно всячески стараться, сколько и как от кого зависит, направлять «польский вопрос» к доброму и удовлетворительному для всех исходу. Тут дело касается действительно вопроса о «мире всего мира», от одного берега как будто отстающего, а к другому еще неуспевающего пристать.

– Главное, – продолжал о. Иоанн, – будем помнить, до чего уж мы дошли в нашем прежнем разговоре. Будем держаться (поддерживая в этом друг друга и особенно сильнейшие слабейших) Господа и человеколюбивого духа Его самопожертвования. Ведь, уж мы знаем, что у нас людей и самая натура, вне ее болезней и порчей, такова, чтобы нам живиться и развиваться благодатью Господа, и что все доброе в нас и для нас идет именно от Его благодати. Так – у человека в его отдельности, так и у целых народов и всего человечества! За тем не забудем и того, что по «польскому вопросу» и мы сами вместе с прочим миром стоим на суде пред Господом, видящим и судящим, сколько мы не только сами для себя принимаем или отвергаем, но сколько и прочему миру содействуем принимать или отвергать благодать Господа, в нынешних обстоятельствах находясь неотступно в таком духе и настроении, и будем с Вами следить и разбирать задачу о гражданском правительстве и отношении его к управляемому им народу, на сколько этой задачи касается «польский вопрос»;

через это и будет определяться для нас надлежащее направление этого вопроса, по отношению к власти и подвластным. И чтобы это направление занимающего всех вопроса было успокоительно для всех, т.е. не для нас одних, а и для самых Поляков и для принимающей в них участие Европы, мы и начнем с идей, высказанных с западно-европейской стороны, только освещая и освящая эти идеи православием. Знаете ли, кто нам послужит в настоящем случае?

– Кто?

– Тот, на кого более всего рассчитывают Поляки и кто, кажется, есть и главный возбудитель и двигатель «польского вопроса» в занимающем всю Европу его значении, – Наполеон III. Он высказал эти идеи, когда еще не был Императором Французским.

– Сделайте милость, – сказал я с нетерпеливой торопливостью, – объясните мне это скорее.

О. Иоанн нашел в своих бумагах одну тетрадку с выдержками из сочинений Наполеона III, выписанными из одной статьи о сочинениях его в «Русском Вестнике» (см. ноябрьск. книж. 1859 г.).

– Смотрите, – начал говорить о. Иоанн, как Наполеон судит о значении власти для подвластных, при чем, как бы нарочно «по польскому вопросу», имеет в виду особенно ту власть, какая развита Историей именно в России. Признав законное правительство «благодетельным двигателем всякого общественного организма», вот что далее говорит он: «В России Императорской династии принадлежать все усовершенствования, которые в течении полутора века извлекли из варварства эту обширную Империю. Императорская власть должна бороться против всех старых предрассудков нашей старой Европы; необходимо, чтобы она сосредоточивала как можно более в руках одного лица все силы государства, для уничтожения злоупотреблений, умножающихся под защитой общинных и феодальных привилегий. Восток только *от нее* может принять улучшения, которых ожидает».

Если отбросить в этих словах нейдущее к нам, взятое из жизни западной, – это золотые неоцененные слова, правдой и глубиной которых этот великий государственный ум может посветить и нашему русскому самосознанию! У многих из нас самих, Русских, не видно еще такого отчетливого и глубокого понимания этого великого дара Божия, какой мы, Русские, для себя и для прочего мира имеем, сами исторически разработав или раскрыв этот дар, – в самодержавной власти. Прочитанные слова Наполеона III указывают на значение власти, и именно русской самодержавной, для подвластных, – значение столь высокое и благодетельное, что надо беречь эту власть, не только во благо самих ее подвластных для противодействия «старым предрассудкам» и «злоупотреблениям», но еще особенно для страдальца востока, который именно от этой власти «ожидает» обновительных для него «улучшений». После мы возвратимся к выяснению всего этого. Теперь прочитаем другую выписку слов того же царственного писателя, из которой увидим, как он думает о нормальных отношениях между властью и подвластными. Мы не будем при этом много останавливаться на том, верно ли, или нет, он делает применение своих идей к историческим лицам и событиям; мы возьмем во внимание главным образом самые его идеи:

«Священный союз, – идея, которую похитили у меня: «эти слова Императора (Наполеона I) означают священный союз народов посредством государей, а не союз государей против народов; вот в чем огромная разница между его идеей и способом, которым привели ее в исполнение. Наполеон переместил государей сообразно с современными интересами народов; в 1815-м году народы перемещены были сообразно с частными интересами Государей. Государственные люди этой эпохи, руководствуясь только духом вражды и страстями, основали европейское равновесие на соперничестве великих держав, вместо того, чтобы утвердить его на общих интересах; оттого и система их рушилась со всех сторон. Напротив того, политика Императора заключалась в устройстве прочной европейской ассоциации, потому что система его опиралась на

настоящие национальности и на удовлетворение общих интересов».

Отвлекая здесь идеи от самого их применения, мы не можем не видеть, что, по этим идеям нынешнего Французского Императора, нормальное отношение между народами и их правительствами состоит в том, чтобы правительства служили не своим частным интересам, а интересам самых народов, а потому, чтобы сообразно с интересами народов, правительства и устраивались и видоизменялись и вступали в такие союзы, которые были бы союзами собственно не правительств с пренебрежением или стеснением духа самих народов, но союзами самих народов посредством правительств. В этом-то и полагает этот передовой государственный ум запада основание и существо истинной свободы, очевидно народов, – свободы, очевидно, не демократизма или чего подобного, но такой, которая, как видно из сейчас приведенной выписки, может иметь место и под правлением Монархов и даже, как видно из первоначально прочитанной нами выписки, при таком самодержавии Монарха, каково именно у нас в России. Прочитаем прекрасные слова того же писателя об этой необыкновенной свободе народов.

«В 1815-м году все партии стали под знамя ее и, поддерживаемые ее нравственной силой, украсились ее цветами. (Это речь о благородных движениях, породивших идею священного союза)». Но принятие было не искренно (в предыдущей выписке объяснена уже мысль этого автора о том, в какое узкое эгоистическое направление вдавались на самом священном союзе, дипломаты или государственные люди этой эпохи), и свобода принуждена была снова облечься броней. Борьба вспыхнула и пробудила прежние опасения. Будем надеяться, что они исчезнут и что свобода облечется опять в свои праздничные одежды, чтобы не снимать их более».

Таковыми ли либеральными идеями одушевлялся Наполеон I сам по себе, как утверждает его племянник, это пусть решает история, на основании открытых пред всем миром данных, имея в виду, разумеется, и самое положение Наполеона I среди разрушительных следов и остатков революции. Но что касается

до «священного союза», русская дипломатия по «польскому вопросу» раскрыла с наглядной ясностью, что правительства запада, настаивающие ныне во имя **венских** трактатов на либеральные начала в отношении к Полякам, на самом венском конгрессе склонялись, действительно, к частным своим интересам и равновесие европейское основывали на завистливом соперничестве великих держав горько тем разочаровывая и отравляя искренно либеральный дух нашего Императора Александра I, который, действительно с самоотвержением хотел служить интересам самих народов, и это фактически, торжественно доказал в отношении именно к польскому народу, не унижая в то же время в своем лице достоинства Всероссийского Самодержца. Итак идеи, принадлежащие человеку, стоящему во главе благоприятствующей Полякам политики запада, и потому удовлетворительные и успокоительные для самого запада, не исключая и Поляков, можем взять и мы Русские в отношении к «польскому вопросу», к которому эти идеи как будто нарочно приношены.

– Да, да! – воскликнул я чуть не с восторгом. – Как это хорошо, что на все существенные стороны «польского вопроса», относительно правительств и управляемых ими народов, мы можем смотреть с согласной с западом точки зрения.

– Только, – возразил мне о. Иоанн, – нам надобно осветить указанные идеи православием, т.е. вполне выяснить их на началах православия. Ведь только таким образом, мы можем по надлежащему пользоваться западными идеями и вместе служить к их упрочению и увенчанию самой истиной – общим для всех людей Господом.

– Это несомненно так, – сказал я с полной готовностью слушать о. Иоанна, – сколько угодно. И если Вам угодно, я первый же и вызову Ваше внимание и рассуждение на одну, затрудняющую и меня, сторону задачи о власти и отношении ее к подвластному народу.

– Что это такое затрудняет Вас? – спросил о. Иоанн таким тоном, как будто услышал неприятную неожиданность.

– Не беспокойтесь, добрый батюшка! – отвечал я. – Я верую слову Божию, что *несть власть, аще не от Бога*. Но я не умею согласить с этим разнообразия правительств. *Власть от Бога* должна быть для всех одинакова, по моему мнению. Кроме этого, мы почти не найдем ни одного вида власти, ни одного правительства, в образовании которого не участвовали бы сколько-нибудь и нехорошие человеческие страсти. Как же это от Бога?

– Так вот эту самую сторону задачи о правительственной власти, – начал говорить о. Иоанн, – разъясним по православному, чтобы осветились православием идеи, высказанные Наполеоном, о значении власти особенно самодержавной, и об отношении власти к подвластным. Итак к делу. *Несть власть, аще не от Бога*; потому что власть существенно и принадлежит одному Богу, как возглашается пред Ним в наших богослужебных молитвах, начиная с молитвы Господней: *Яко Твое есть царство и сила и слава; яко твоя держава* и подобное. Люди пользуются благозаконной властью – только по благодати Божией, которой они могут быть верны или неверны, но которая сама по себе непреложна. Полнота Божией благодати, и относительно власти, содержится и открыта для людей именно во Христе Спасителе нашем; она беспредельна и потому чрезвычайно многостороння. Люди пользуются и сами облакаются властью по той или другой мере Христовой благодати, к которой они имеют, исторически раскрывающуюся в них, приемлемость и потребность; при чем само собой разумеется, что эта приемлемость и потребность раскрывается в них исторически как в грешных людях, не совсем свободно от примеса нехороших человеческих страстей и дел. Согласны ли Вы на эти общие мысли?

– Вполне, – отвечал я.

– Слушайте же, как просто теперь изъясняются происходящие от Бога, хотя и с попусшением человеческих слабостей, разные виды власти. Власть Христа Бога истинно и безгранично самодержавна, так что не только все добро содержится в державе Его благодати и истины, но и самое мятежное зло, как поднятое Им на Себя и, в отношении к его

виновности и смертоносности, вполне Им вынесенное на Себе, не может самой мятежностью своей ни на шаг или даже на мгновение выступить из-под державы Господней. Но это одна только из существенных сторон Христовой благодати, по отношению к власти. На сколько тот или другой народ имеет и разрабатывает всей своей историей приемлемость и потребность к этой именно стороне благодати, – в этом народе благодать власти и приемлется и раскрывается, как великий Божий дар самодержавия. Далее, Христос Господь, оставаясь Господом Вседержителем, не поставил для Своей державы унижением, ради Своего вочеловечения, соделывать и называть и нас простых грешных людей Своими братьями (Евр. 2:11–12). И вот на сколько какой народ развивает в себе исторически, хоть бы только инстинктивную, приемлемость к этой стороне благодати, подчиняясь едиnodержавной власти, но облекшимся в нее поставляя самыми законами на вид братство свое и с подданными: это правление монархическое ограниченное или конституционное. Наконец, Христос Господь, державствуя Своей благодатью и истиной над людьми, благоволит Сам вселяться в их сердца, и потому этими Своими соучастниками управляет так, как бы они сами собой правили, сообщные сыновне-свободному духу Христову. Вот и еще, существенная же, сторона благодати Христовой по отношению к власти. Сколько тот или другой народ восприимлющ именно к этой самой стороне, устремляясь к свободному самоуправлению чрез разлитое во всех чувство самостоятельной правды, – это правление республиканское. Берите во внимание потом бесчисленно-разнообразные оттенки этих существенных и главных сторон, в каких проявляется Божия благодать власти и Вы объясните все образы и роды правления, свои у каждого из народов. Так-то и выходит, что *нестъ власть, аще не от Бога*, хотя она и разнообразится по разнообразию потребностей и приемлемостей народных, развивающихся у грешных людей, (повторяю), конечно уж не без греха.

– Славно! – воскликнул я. – Ваша теория о власти, глубокая и светлая, как само православие, меня вполне удовлетворяет на счет моих недоумений о власти.

– И чем сознательнее и живее, – так продолжал о. Иоанн, почти перебивая мою речь, – то или другое правительство будет входить в самый дух и силу Христовой власти, служащей для него основанием и первообразом и живительной благодатной силой, – тем более будет оно и во внутренних распоряжениях и во внешних сношениях и союзах, служить интересам и потребностям самого народа, а не своим частным; потому что дух и сила Христовой власти есть не самоугождение или самовозношение, но самоотверженное понесение чужого для Него бремени грехов и соединенных с ними, бед, нужд, страданий всего человечества, – чрез это Господня власть и самодержавна или вседержавна нестесняема никакой мирской мятежностью, – так Он и снизошел до братства с грешными людьми – в таком духе Он вселяется в сердца, ему открытые. Чем отчетливее и глубже власть – (монархически ли самодержавная, или монархически-конституционная, или республиканская, к какой только восприимчив тот или другой народ), – будет раскрывать в себе дух и настроение Христовой державы; тем более в этой власти будет отсвечивать почивающая во Христе Сыне Божиим любовь Отца небесного, *Который сияет солнце Свое на злыя и благия, и дождит на праведныя и неправедныя* не в обиду правды и не в разгнuzдание зла и неправды, Который дарует нам блага бытия и жизни с таким безграничным доверием и щедростью, и предоставляет верным сообщникам Своего Сына свободу и самостоятельность собственных Своих детей и наследников. Таем более, следовательно, будет у народов и действительной гражданской свободы, под каким бы ни было видом и образом правления, – той свободы, о которой так прекрасно говорит нынешний Император Французский, отстаивая и восхваляя в тоже время самодержавие Русской Императорской династии.

– Великое спасибо племяннику Наполеона I! – заметил я.

– Нам остается, – продолжал о. Иоанн, – сделать только из всего сказанного о власти и подвластных прямые выводы относительно мятущейся Польши и самодержавной России. Смотрите в истории, к какому благодатному дару власти Поляки исторически раскрыли в себе приемлемость и потребность. В

самой своей древности Поляки усиливались подчинить власть своему своеволию, и тем уже заранее подрывали в себе право и приемлемость упрочить за собой благодать власти самостоятельно-национальной; потому что власть, на сколько подчиняется своеволию, на столько уже и перестает быть властью. Так, когда Польша состояла в единстве гражданского состава с Литвой под властью Литовских князей; то Поляки, из желания сделать этих князей податливее к Польше, заставили одного из Сигизмундов «утвердить, как законное, право Поляков избирать себе Короля, – дать законную силу польской избирательной системе, столь гибельной для этого государства»²⁵. Это был первый посев к потере Поляками национальной Литовско-польской власти. Мало того, Поляки, сами предпочитая власти собственное своеволие, вопиющим образом злоупотребляли преданностью и покорностью других монархизму. Так, когда на Люблинском сейме Малороссы не хотели отставать от Литвы и соглашаться на Унию с Польшей, сохраняя однако преданность и повиновение королю; то именем последнего Поляки и воспользовались, чтобы заставить Малороссов делать, что только было угодно им – Полякам. Но в истории есть правда, Божия правда, которую никто не может обмануть: Малороссия с Литвой нашли наконец для своей преданности и покорности законной родного и единоговерного Монарха, а Поляки потеряли своего короля, именем и правом которого злоупотребляли в обиду другим. Сравните такое отношение Поляков к власти монархической, с отношением Англичан к такой же власти, Последние, борясь в своей истории с своекорыстием королей, всякий раз, как королевская власть была в опасности, со всей горячностью и искренностью брали сторону этой власти, с живым благоговением ощущая благодать власти; – так Англичане, искренно подчиняясь власти единойдержавной, но не давая облеченным в эту власть забывать свое братство с подданными, исторически разработали для себя твердое правление конституционно-монархическое. Поляки стремились своекорыстно и своевольно преобладать над королевской властью, и злоупотребляли ее силой и влиянием; – так они сами исторически подкапывали и

подрывали у себя основания национальной королевской власти. У них не было приемлемости и к благозаконному республиканизму, какой, например, разработали у себя Американские Штаты: польское *liberum veto* служило не идее правды, общей всем и тем уравнивающей всех, а только развивали беспримерную в истории беспорядочностью надменного своеуравия. Наконец, и это – главное, Поляки отвергали благодать власти национальной особенно тем, что не только не давали подвластному народу ощущать и испытывать во власти дара и духа Отца небесного, а напротив обращали власть в орудие порабощения и мучительства для народа. «Вообще польское правительство, скажу словами одной слишком беспристрастной статьи об уничтожении польской самостоятельности²⁶, во все продолжение существования этого государства, так мало сделало добра народу, что на его помощь оно никогда не могло рассчитывать. Другое дело, если бы народу легко жилось под управлением шляхты и королей, тогда этот народ защитил бы и шляхту и страну от всякой посторонней обиды... Но хорошего он не видел в жизни»... Так Поляки исторически разработали и выявили свою неспособность пользоваться благодатью власти в отдельной своей национальности. Правда истории, правда Божия разделила их другим державам, и большинство их отдала России. И следовательно восставать им против России значит мятежничать против Богоданной власти, отвергать благодать власти, в какой только они и имеют потребность. Потому и усмирить их значит удержать их под благодатью власти, не дать им выходить из великого дома самого Всевышнего Отца, соединившего их с русской державой.

– Действительно так выходит по теории о власти, с которой, в существе дела, согласен и запад в лице Наполеона III, – заметил я.

– Смотрите теперь, – продолжал о. Иоанн, – как по той же теории нам, Русским, должно и законно, в деле с Поляками, стоять за достоинство нашего Государя, чтобы оно ничем не было оскорблено и стеснено по этому делу. Вся наша история, и современные общественные обстоятельства наши показывают

настоятельную потребностью и глубокую восприимчивость нашего народного духа к тому, чтобы нам со всей силой и верностью выдерживать у себя благодать власти монархически-самодержавной. Самое первое выражение нашего народного инстинкта к этому видно уже в самом первом известном явлении общественной нашей жизни, именно в том, что, среди безурядицы в «земле нашей великой и обширной», праотцы русские сами искали для себя, как необходимого для общественного порядка и блага, власти для всех единой и твердой, и для этого умели возвыситься над национальным эгоизмом – пошли к чужим за тем благом, которого не находили у себя дома. Потом, возьмите во внимание и в серьезное рассуждение принятие русскими христианства православного, совершенное именно под властительной инициативой великого князя, однако столь искреннее и разумное, что новопросвещенные христианством Русские, начиная с времени Владимирова и Ярославова, стали представлять в обилии такие зрелые плоды духовного совершенства, каковы Святые Божии, наполнявшие нетленными и чудодейственными мощами своими киевские пещеры. (Это ведь открытое пред всеми и до ныне, хотя почему-то и неизвестное многим русским ученым, доказательство, что православие у первых русских христиан было живое и духовно-разумное, а не наружное и темно-невежественное). Чем это объясните, если не такими доверием и покорностью великому князю, в которых уж была, хоть инстинктивная, но живая и глубокая народная вера в благодать власти, конечно, сначала тоже только предваряющую? Слепая и почти только механическая покорность княжеской власти могла бы и привести разве только к совершенно-слепому и мертвому христианству.

Смотрите далее, – продолжал о. Иоанн, – что разрабатывала и выявляла в русском народном духе сама жизнь. Единоначалие власти, по обстоятельствам и понятиям тогдашним, распалось на удельную множественность князей, хотя и с отеческим главенством великого князя. Казалось бы, судя по нынешним любимым понятиям, как было удобно и хорошо развиваться народной жизни, не связанной в своих

движениях и раскрытии строгой общей централизацией! У нас вышла только путаница кровавых междоусобий, до того разъединивших и ослабивших Русь, что она не в силах была устоять против татарского напора и подпала продолжительному татарскому игу; пока, наведенная на прямой свой путь этими двойными бедами, не устремилась к единодержавию, движась к этому самым церковным водительство и не задерживаясь в этом никакими жертвами. И единодержавие Руси избавило ее вместе и от внутренних бесконечных смут и от внешнего подавляющего ига. Жизнь давала русскому духу и другие опыты для дознания, петъ ли в нем восприимчивости и потребности к иному образу управления и, определяемого им, устройства общественного. Новгород (не одинокий притом в своем направлении) слушался более своего веча, чем князя, который иногда вынуждаем был этим вечем даже отказываться совсем от этого великого господина (Новгорода). Что же? Открылись ли здесь какие-нибудь начатки и залогов благодетельного русского самоуправления, независимого от высшей власти? или жизнь помешала чему-нибудь подобному обозначиться как говорят иные наши мудрецы? Жизнь, – со своей стороны, вот что представила: соберется вече толковать о деле, и вот – выбирают кого-нибудь в посадники «не с нашего конца» или даже кто-нибудь «не из нашего конца» начал громко и твердо, основательно говорить о деле; в следствие этого одного начинается бойня – сначала, конечно, кулаками и кольями, а там и всяким известным тогда оружием; мост на Волхове сломан и один разве Преосвященный Владыка Софийского храма в состоянии слезами, словом Божиим и молитвами вразумить буйное народное бессмыслие. Ужели эти явления – не опыты и уроки самой жизни? Ведь, среди и после таких явлений, какой разумный Новгородец не вздыхал о выходе из такого порядка вещей, как из ада какого? И когда подошло или еще шло к Новгороду войско великого князя московского, общественный новгородский дух, в глубочайших своих движениях и думах, не мог уж по совести стоять за свое самоуправление как за истинное общественное благо: отстаивали его главным образом уже частные эгоистические

интересы некоторых только личностей и семейств. Ведь, это *жизнь*, а не что другое, произнесла приговор вечевому на Руси самоуправлению.

Мудрено ли, что, после таких и всенародных и частных – городских опытов или вразумлений самой жизнью общественной, самовластительное единодержавие даже Иоанна IV принималось народом с благоговением, как судьба небесная? И этот грозный Государь, при всей своей подозрительности против бояр, спокойно мог выехать из своей столицы в Александрову слободу, инстинктивно уверенный, что и самый крамольный боярин ничего не поделает против него, пока не изменится дух народный в самой сущности... Что это, если не глубокая народная вера в благодать власти, – благодать собственно Того, Кто, взяв грехи мира, для веры – уже Своей личностью отстаивает даже тирана (только бы законного властителя), как бы Сам виноватый виновностью этой бесчеловечной тирании? За то такая вера в благодать власти вынесла, потом, русский народ из губительных мраков самозванства и безначалия; не усомнилась вверить верховное самовластительство юноше, плакавшему от испуга пред величием ему же предложенным, и не ошиблась в выборе новой династии. Кто, как не такой великой и крутой самодержец, каков Петр I, мог бы поворотить свой великий народ со старого одинокого пути, начавшего уже уединять этот народ в (фарисейски) самодовольное отчуждение от других народов, на новую дорогу братства с прочими народами, готового воспользоваться всяким их добром, а в свое время поделиться с ними своим, может быть – еще несравненно высшим, добром? Ведь, и теперь еще продолжается на Руси мраколюбие, только порицающее и отрицающее благо реформы Петровой; даже прямые дети и наследники дела Петрова – цивилизованные люди наши бросают в него камнями, вздыхая, например, о «земском соборе» Алексея Михайловича. На подобный народ, пока он хорошенько не вразумится жизнью, чем, если не Петровскими самодержавными мерами, можно было подействовать с таким успехом, что этому народу уж нельзя поворотиться назад на прежний уединенный его путь, ни даже к

«земскому собору» Алексея Михайловича, а надо уж новой дорогой общительного со всеми народами просвещения идти к полному самосознанию и самодеятельности, достойным народа православного?

Да и нынешняя великая же реформа освобождения крепостных крестьян, совершенная с согласия и по совещаниям дворян, без самодержавной инициативы и воли Государя была ли бы и предпринята и совершена у нас единодушно и всенародно? Все согласны, что – нет. А сколько еще подобных, не менее нужных и благодетельных распоряжений и преобразований еще требуется и ожидается от власти самодержавной! Вот у нас начались, по воле же Государя, совещания и распоряжения об улучшении быта духовенства, связанного с нравственным благосостоянием всего православного народа. Да благословит Господь всяким благословением эти совещания и распоряжения! и может быть, мы будем от Господа вразумлены самой жизнью в том, что главное зло, прежде всего прочего требующее по этому вопросу уврачевания, есть именно разобщение между духовными и светскими, развившееся особенно чрез разность и отдельность образования и самого родового (физическим родом и происхождением обуславливаемого) состава духовенства от светского образования и от всенародного состава. Ведь, при существующем разобщении духовенства со светским обществом и народным составом, неудобно по надлежащему открыть источники местных способов, на которые справедливо более всего рассчитывают в деле улучшения быта духовенства. Итак предположите, что поднят будет вопрос, не благонадежнее ли для улучшения самого быта духовенства (не говоря уже о других требованиях или уважениях) служение духу, служение благодати и истине Христовой сделать и по гражданскому порядку равно открытым для имеющих призвание к этому служению из всех сословий и, в соответствие этому, не необходимо ли прежде всего объединить самые места, способы и образ учения или образования светского и духовного? (потому что, если бы и допустить мысль о несостоятельности еще в чем-нибудь светского образования пред Христовой истиной, то ведь,

всё равно, – это лежит на совести и ответственности духовных, как избранных не для себя, а для народа – служителей истины и благодати Христовой). Кто в состоянии был бы разрешить этот вопрос, сколько независимо от сословных интересов и даже отчасти, пожалуй, еще предрассудков, могущих притом скрываться под личинами чего-либо бесценного дорогого и священного для народа, столько и с осуществлением разрешения вопроса на самом деле? Кто? – Смело говорю: никто кроме Монарха самодержавного. А сколько, повторю, подобных вопросов или уже возникает или готово возникнуть! Из этого-то и открывается глубина истины, высказанной Наполеоном III об Императорской власти в России: «Необходимо, чтобы она сосредоточивала, как можно более, в руках одного лица все силы государства».

Поэтому, – продолжал о. Иоанн, – благословенна память тех людей – Русских, которые не только при преступных покушениях против самодержавия, но и когда уже власть верховная у нас сама себя формально ограничивала (при воцарении Анны Иоанновны), умели твердо противостать этому посягательству на лишение России той силы для добра, которую она имеет в неограниченной, и потому могущей делать добро и задерживать зло без задержек для себя, верховной власти! Связывать в чем-либо самодержавную власть значило бы для нас только связывать и отнимать у себя свободу в развитии того добра, которое в силах произвести против всяких частных эгоистических притязаний одна неограниченная власть, значит посягать Русским на всю свою историю, на все опыты и уроки жизни, на все страдальческие подвиги и жертвы, которыми мы разрабатывали у себя небесный дар такой власти. Иное дело для нас – так настраивать наш народный дух и направлять общественное мнение, чтобы сколько нам быть достойными и способными принимать от власти более и более доверия, столько и представителям и орудиям власти находить диким и унижительным для себя злоупотреблять властью. А главное, только бы русские умели по-прежнему беречь и понынешнему просветлять в себе веру в благодать власти! Смеются, например, мудрецы, как простой народ у нас ликовал

и бросал вверх шапки при внезапных воцарениях Елисаветы или Екатерины: но одушевляла этот народ вера в благодать власти, которая, за такую именно веру народную, и не переставала осенять всяких представителей и орудия власти, не давая никаким потрясениям и переворотам относительно власти, бывшим на верху приводить в движение глубину народную; и XVIII век прошел у нас наибольшей частью мирно и достойно. Мерещится кое-кому военный деспотизм в явлениях, выражающих ни более ни менее того, что в первую половину XVIII века тот или другой гвардеец высказывал мужикам свое патриотическое, хотя и не совсем трезвое, самосознание: «Без нашего-де брата вы остались бы холопами у кровожадного Бирона или у легонькой по мыслям и поведению Анны Леопольдовны; ведь наш брат солдат послужил тому, что теперь у нас Богоданная Царица». Подобные факты только говорят одно, что народная вера в благодать власти требует просветления разумной отчетливостью.

«Польский вопрос» подвинул всех Русских – к выражению сочувствия и готовности содействия Государю, но самодержавной его воле, против непокорных ему Поляков и заступы за них иноземных держав. Пусть же этот самый вопрос будет для нас – для правительства и народа – поводом и побуждением к тому, чтобы отчетливо выяснять и углублять в себе ощущаемую всеми у нас, и оправданную историей, восприимчивость и потребность нашего русского духа к раскрытию, в нашей общественной жизни, прямо самой благодати Христовой, относительно власти. Разумею раскрытие в нас духа и силы именно той стороны Господней, благодати, что Господь самодержавствует и вседержавствует над миром, самое мятежное мирское зло взяв в крепкую руку Своего Божественного самодержавия, приобретши на то власть чрез человеколюбивое Свое самопожертвование, чрез понесение бремени этого зла на Себе Самом (Мф. 28:18). На этом основании и в этом самом духе мы (сколько и как может и должен каждый из нас, судя по положению и делу своему) и будем стоять за достоинство и права Всероссийского Монарха, за условливаемую этими правами и достоинством

неприкосновенность и целостность его владений²⁷. Тогда и воззрением нашим и делами по «польскому вопросу» мы истинно будем участвовать во вселенском богослужении Царя царей и Господа господей – Агнца Божия при наполнении всей земли Его славою, созерцаемою и провозглашаемою Серафимами; и при этом даже особенно послужим проявлению славы Господней чрез самодержавную у нас власть и нашу ей всеполную преданность, действующие в человеколюбивом до самопожертвования духе Христовой благодати. Такое с нашей стороны направление «польского вопроса» в отношении к власти, затронутой этим вопросом, найдет когда-нибудь сочувствие и признание своей правоты и на западе и в Поляках; потому что и стоящий в главе западного и польского направления царственный ум (Наполеон III, который мог перемениться разве в применении, а не в самом существе своих коренных идей) одинаково с нами стоит за неприкосновенность и даже возвышение Императорского у нас достоинства.

О. Иоанн кончил свою длинную тираду, в которой, к моему истинному удовольствию, касался особенно фактов, у нас иногда поставляемых в ином обманчивом или, противном духу нашей истории и народа, свете и значении. Я со своей стороны высказал только свою задушевную мысль о таком настроении у нас общественного мнения, чтобы подвластным привлекать к себе от властей более и более доверия в разных отношениях и уметь пользоваться этим доверием, а представителям и орудиям власти не подпадать искушению самонравия, как явного, в глазах всех и каждого, неразумия и низости душевной.

– У нас благословенное самодержавие, – заметил о. Иоанн, – именно к этому и само стремится и движет свои орудия и представителей, не задерживаясь и такими оскорбительными для него явлениями, каков польский мятеж. Наше дело содействовать тому же твердою и разумною верою в благодать власти, идущую от нашего Господа, Который благоволит властвовать над миром не просто как вышемирный Владыка, но и как вземлющий грехи мира Агнец Божий. Но продолжим нашу речь о том, что еще, кроме вопроса о власти в отношении к

народам, затронуто польскими делами. Это – вопрос об отношении, в христианском мире, между востоком и западом, то есть, между восточным православием и западными неправославными исповеданиями.

– Да чем же затронут этот великий вопрос? – спросил я с удивлением. – Неужели Вы разумеете эту не очень важную в целом частность, что Поляки, и за тем западные державы, оклеветали Русских в стеснении римского католичества в Польше?

– Не опускаю из виду и этой частности, – отвечал о. Иоанн. – Поставляю на вид и то, что ксёндзы замешаны между двигателями или возбудителями мятежа, что разжигалась в Поляках, особенно в женщинах, ненависть к Русским во имя католичества и те из Поляков, которые не находятся в бандах и других мятежнических сборищах и делах, идут в костелы со вздохами или с мечтательными надеждами. Но мало всего этого. Вы, конечно, читали же этот польский катихизис, вполне оправдываемый и современными внутри Польши и заграничными действиями Поляков в нынешнем мятеже, – тот катихизис, которым освящаются, как сама правда, всякие бесчестные козни и злодейские умыслы против Русских. Этот катихизис – совершенно в духе и начала римского католичества. Все равно, как истинно-православные, знающие своей верой одну Главу для себя и для всего – Самого Господа, имеют своим существенным началом и целью соединение с Ним, усвоение его правды, истины и благодати, и всё прочее для них уже важно только по отношению к Самому Господу, вне Которого – всё, что бы ни было, для них есть не более, как безголовая мертвечина и уродливость: так и возглавляющие себя своей верой под главенство наместника Христова считают самой своей правдой и долгом интерес этого своего фальшивого католичества, смотря на нехотящих и немогущих ему мирволить, как на врагов правды, против которых всякое злодейство и козни будут для них уже подвигом за правду. Поляки в образ действий и мыслей против Русских, с удивительной последовательностью, верны духу своей римско-католической религиозности, на сколько последняя несогласна с православием и есть ложь. Равно, с другой стороны, только

религию, сдвинутою с основания истины, может быть извращенно успокоена человеческая совесть во всех бессовестных, злобных, и вместе клеветнических против России действиях, которые разрешает и предписывает этот польский катихизис и которые, действительно, совершают Поляки с фанатической ревностью и стойкостью. Что ж? Ведь, в существе дела *несть наша брань ко плоти и крови*, а к самым началам лжи. Итак наш существенный враг, который именно затаивал, а потом открыто поднял против России мятеж в Польше, есть тот враждебный дух лжи римско-католической, которым одушевляется и направляется непримиримая и клеветническая злоба Поляков против России. Вот почему, главным образом, я вижу затронутой в «польском вопросе» и эту великую задачу об отношении между православным востоком и неправославным западом! И заметьте, что не Русским против Поляков, а Полякам против России оказались сочувственными западные национальности не только католические, а и преобразованные в своем христианстве; я разумею здесь не одну Англию, вступившую в дипломатический союз с Францией и Австрией против России, но и другие реформатские или протестантские нации, обнаружившие свои симпатии в пользу Поляков. Видно, что римские католики и вновь преобразованные в христианстве общества, разделяясь сами друг от друга, все же чувствуют и держат себя в отношении к православным Русским, как двое родные в отношении к третьему чужому. И действительно не только западная идея папства, но и другие западные идеи, выразившиеся в самочинных преобразованиях христианства, тоже пришли в столкновение с православными воззрениями востока. Вы знаете, какими идеями западные державы подвиглись против нас, подвиглись до закрытия для себя прямых либеральных намерений нашего Государя и до сочувствия явным клеветам и революционному террору Поляков? Идеями человеколюбия и гуманной, свободой цивилизации. Высокие, христианские идеи! Но когда эти идеи обращаются в орудия неблагонамеренности или явной недальновидности, вредной для других, самых даже друзей, в орудия против явно благонамеренной и благоразумной правоты,

закрывая или отводя глаза от правды, а склоняя всё внимание к клеветам, в таком случае эти, сами по себе светлые и высокие, идеи оказываются чем-то в роде *рогов ягненка на диком звере* (Откр. 13:11). Такое именно превращение самой человеколюбивой истины в ложь замечается в фальшивой рациональности, которая, самочинно или с самовластием над Божиим делом, преобразовала христианство многих наций на западе. Итак видите, что дух и другого вида неправославия западного – в действии против нас по «польскому вопросу». Само собой при этом разумеется, добрый мой, что, на сколько те или другие из западных и даже из самых поляков возвысились бы над клеветническим или фальшиво-гуманным духом лжи, на столько они переходили бы на нашу сторону, сторону православия или самой Христовой истины и любви, а равно на сколько и мы или кто либо из нас ниспадали бы в дух того или другого вида западной лжи, сейчас нами объясненных. на столько и мы переходили бы на стороны их, на сторону неправославия, злобного и бессовестного во имя самой христианской веры, лживого и противоправного с идеями самого человеколюбия и гуманной цивилизации. Истина беспристрастна! Когда я выслушал эти речи о. Иоанна, то вскочил со словами:

– Да, да! действительно – затронуто в «польском вопросе» многовековое дело об отношениях между востоком и западом, между православием восточным и известными видами западного неправославия. Так выходит именно по духу польского мятежа и направленных против нас в западной Европе общественного мнения и дипломатии. Между тем самые догматы не просто только оставлены в покое, по «польскому вопросу», но ходом дел в мире, кажется, и навсегда присуждены к этому покою для общественного мнения или в пользу его; дело о них поднимается разве специалистами, и то в ученых кабинетах, в богословской догматической литературе, которая притом, надо сознаться, далеко не пользуется равным с прочими отраслями литературы и знания живым вниманием общества, по более ли неподвижному положению своему сравнительно с открытиями и успехами других отраслей знания,

например естественных, на что указывает Бокль, или вообще по упадку для людей интереса веры сравнительно с интересами жизни. Но важность и сила дела для православия – все же в самих догматах. В этом отношении дело восточного православия и западных неправославных ни мало не тронуты последними событиями. Не правда ли?

– Правда, – отвечал мне о. Иоанн. – Но не забывайте, что, если сила дела православия заключается в самых догматах веры, то сила догматов все же состоит в самой жизни и духе, а не в мертвой букве. «Дух животворит, сказал Сам Спаситель, плоть (одна мертвая внешность дела, буква) не пользуется нимало, слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63). А между тем разумение догматов в современном христианском мире вот до чего стало у иных безжизненно: нынешние люди, касаясь того, что в древности христианской разбирали догматы, именно, как дело самой жизни и вопросы о том, быть или не быть, – не хотят (вернее сказать, уж и не умеют) и вникнуть в это явление, а просто замечают, что это будто бы занимались бесплодными, метафизическими исследованиями о непостижимом (См. например Историю Вебера). Так рассуждают деятели науки и мысли. Такое же в своем роде рассуждение и деятелей веры или благочестия. (Разделяю тех и других не по существу их дела – веры или науки, а только по нынешнему их направлению). Хотите ли видеть замечательный образчик подобного рассуждения? В православной парижской газете «Единение христианства» помещено было несколько писем к одному латинскому епископу и еще к известному г. Гизо по великому вопросу о православии и папстве. В одном из русских изданий сделаны были замечания на это письмо, что в высказываемых ими понятиях о православии есть нечто не совсем светлое, а похожее на случайный нагар. В этих заметках между прочим указано было на то, что православное верование в главенство единого Христа состоит не в признании только буквы этого догмата, а в действительном и живом отношении верующих, пастырей и чад Церкви, к Самому Христу, как единой, движущей все эти свои члены и управляющей ими во всем, главе. Что же?

Православно ученый издатель газеты нашел в этой мысли мечтательность мистицизма, ведущую будто бы к тому, что именно мечтающие держаться во всем Самому Христу будут иметь претензии заправлять прочим составом Церкви. Но претензия заправлять Церковью для веры в действительное живое главенство Самому Христу над Церковью есть уже не что иное, как святотатственная и богохульная претензия на совместничество с Самим Христом в Его главенстве над Церковью. Не очевидно ли это? Истинно держащиеся во всем Христу, как такого главы Церкви, который раскрывает Сам из своей человеколюбивой до крестного самопожертвования благодати и истины всю полноту церковного чина и уставов, всю полноту церковного тела – иерархии и простых членов Церкви, – держащиеся Его Самому в своих отношениях и к иерархии и к простым христианам, в соблюдении всех уставов и чина православной Церкви, суть очевидно не заправители самозванные, а послушливые поклонники Христова духа, во всем церковном действующего. То правда, что они своей живой и деятельной верой в живое главенство Христова могут приводить в живое движение и действие – благодатную православную церковность; но для этого им необходимо с Христовым самопожертвованием выносить на себе недостатки и неверности других пред благодатным церковным духом, а не заправлять другими. И вот, однако не хочет понять этого православная ученость поднимающая онако знамя православия против папства «возглавляющего Церковь не в одном Самом Христе и потому недающего Христу двигать и управлять Самому Своим собственным телом, Своими членами!!.»

Я был несколько поражен последним обстоятельством и невольно вздохнул со словами: неужели мы так еще далеки от единения востока и запада, что нам еще надобно разъяснять и разъяснять в чем самая сила дела и в настоящем их разделении и в желанном единении?

– Не о том теперь у нас речь, – отвечал о. Иоанн. – Вы вот на что обратите внимание: что значит, при подобном умственном настроении современников, поднять исследования и споры о самих догматах? Это значило бы, в глазах

большинства современных людей мысли и науки, заниматься не интересующими никого, кроме немногих специалистов, метафизическими исследованиями о непостижимом, а для самых специалистов богословия это было бы случаем к одному только, уже не входящему в живую силу дела, повторению древних, тогда живых или имевших глубокий жизненный смысл, споров догматических, исчерпавших уже этот предмет. Что же было бы толку из всего этого для Христовой истины? Ведь, догматы Христовой истины – дух и жизнь. Поэтому в том обстоятельстве, что дело православия в отношении к неправославию переходит из области догматических состязаний в самую жизнь, в дух совершающихся в мире событий, я вижу прямое дело благодати Того, Кто, будучи Сам истиной и жизнью, сосредоточив в Своей живой личности и раскрыв в Своей жизни – от зачатия до смерти, воскресения и превознесения – всю силу догматов Своей истины, хочет живой же действительностью вразумить мир в Своей истине и провести эту истину в самую жизнь мира. Жизнь и практика – лучшие учителя особенно для обессиливших уже для себя другие способы учения. Вот например тот же польский катихизис с соответственно ему польской практикой, если сообразить всю верность его духу римского католичества, составляет самое ясное обличение и опровержение лжи этого католичества; он собой фактически показывает, что для христианина возглавлять свою веру не единственно в Самом Господе, значит обратить в интерес самой своей веры уж не Христову истину и благодать, а эгоистические интересы своей партии, для которых, во имя веры, и будет этот несчастный христианин жертвовать всем, не исключая и своей добросовестности, честности и правды. Совесть христианская, и даже просто человеческая, как бы ни была заглушена пристрастиями и фанатизмом своей партии, услышит же рано или поздно истину. Также обличает сама себя в односторонности или несостоятельности пред истиной и западная рациональность, неусумнившаяся преобразовать самое христианство по своему произволу и усмотрению, когда самые лучшие идеи ее – идеи свободного духа, гуманности, цивилизации – обращаются на службу делу неправды, во вред

притом самых друзей. Жизнь лучше всего изобличить и в нас православных ту фальшь (в ком из нас есть она), чтобы с верными понятиями об истине, быть неверными человеколюбивому, благодатно свободному ее духу и силе, и тем закрывать ее для прочего мира, или, чтобы, с верностью к догматической букве, живую силу догмата относить к мечтательному мистицизму. Потому существенно важно для дела православия, что в «польском вопросе» затронут это дело по самому духу событий, хотя и без всякого соприкосновения к букве догматов. Самое столь живое внимание общества к легкой литературе, занимающейся однако жизнью, и успешный ход естественных наук не от того ли происходят, что чутье современного мира как будто уже и ищет, и с успехом ищет, живой истины в самой жизни или в наглядной земной действительности? Соответственно этому и надо проводить живую истину (а такая истина одна – Христова) во все среды самой жизни, во все области действительности; здесь-то догматы живой и животворной истины и раскроются для мира во всем свете своей истинности, так что в раскрытии этих догматов самый мир будет видеть разъяснение тайны всей его жизни и действительности, а не метафизическое бесплодное исследование непостижимого, не мечтательный мистицизм. К этому самому Господь и ведет мир, раскрывая дух Своей истины и дух противления этой истине в самых событиях, как именно в событиях тяжело занимающего нас «польского вопроса».

– Совершенно согласен я с Вами, – отозвался я на слова о. Иоанна. – Я понимаю и принимаю Вашу мысль, что в самых событиях мира совершается движение вперед великого дела о «соединении всех» Церквей и христиан в одну православную вселенскую Церковь, и что для того, чтобы не противодействовать, а содействовать такой силе событий, надо нам проводить Христову истину во все среды жизни и действительности земной, начиная по «польскому вопросу» с самой области политики и гражданских порядков, к которой этот вопрос относится. Но «польский вопрос» есть только последнее звено в цепи событий, в которых совершается движение вперед

великого дела о соединении разделившихся Церквей и христиан в одной православной Церкви вселенской. Надо проследить всю цепь, чтобы яснее было и последнее звено. И я от всей души попросил бы Вас начать следить эту цепь, по возможности, с самых первых звеньев, разумеется – следить только, в общем, не пускаясь в частности.

– Хорошо, хорошо, – отвечал о. Иоанн, – начнем с первых звеньев, с первых моментов движения дела о «соединении» разделившихся между собой Церквей и христиан. Начало этого благодатного дела открылось тотчас же за обозначившимся разделением в христианском мире, обнимая в своем движении и восток и запад. Когда запад, отделяясь от православного востока, стал поработать у себя освобожденных Христовой кровью христиан двойному игу духовного преобладания и, соперничающей с ним по своенравному духу, светской власти; восток, или собственно Греки, раскрыв и сохранив (и вечная за то им благодарность!) чистые понятия веры или догматы в самом их безотносительном духовном существе, до того недостаточно проводили их в свою мирскую гражданскую жизнь, что характером значительного исторического периода Византийской Империи были кровавые козни и злоумышления партий претендентов Императорского престола. Восток за догматическую верность свою православию, хотя и не довольно проводимую им в гражданскую свою *самодеятельность*, благодатью Христовой удержан был, и по гражданской жизни, по крайней мере в *страдательном* положении, все же не недостойным православных последователей страдавшего за нас Господа; именно, он был вводим более и более во внешние бедствия и страдания порабления мусульманскому игу. Это и повело восток к тому, чтобы он рано или поздно мог и самодеятельно проводить свое православие в гражданскую свою жизнь, нераздельную, конечно, и от всякой среды земной действительности. Что касается запада, успокоиться ему в недостойном истинного христианства преобладании власти духовной и светской и в духовно-гражданском поращении народов христианских не позволяли как непрерывная борьба между самыми властями, светской и духовной, так и

непрестанные горячие протесты против духовного преобладания со стороны свободных или стремящихся к освобождению идей, а против гражданского преобладания со стороны вассалов, среднего сословия и иногда целых городов. В этом и состояло направленное благодатью же Христовой (положим, предваряющей) движение запада к тому, чтобы запад мог рано или поздно сознать свою односторонность, чрез которую он отступил от чистоты и нравоты христианства, от православия.

– О, батюшка! – так прерывал я с живым движением речь о. Иоанна, – как внятно из Вашего обозрения истории востока и запада или, точнее, самого духа и силы этой истории слышится горнее, совершающееся в движениях мира, великое богослужение самой Господней благодати, наполняющей славой всю землю!

– Благодарю Вас, – отозвался также с чувством о. Иоанн на мои слова, – что Вы не забываете главного и существенного. Не забываете при этом и те многие, многие поколения, отошедшие, в следимых нами движениях востока и запада, в другую жизнь и чающих себе Христова утешения и успокоения от памятования об них нашей веры! Но продолжим начатое. – Между востоком и западом, в самом начале означенных движений того и другого, явилась принадлежащая востоку по своему православию и западу по единовременному с новыми его народами начатию гражданской своей жизни – наша Русь Святая. Чуждая, не случайно, а по самому существу дела, движениям запада, только что означенным нами, происходящим именно по причине односторонностей западного неправославия, – православная Россия естественно своим устройством и жизнью обособилась от западной гражданской жизни. Но, по единовременности своей жизни и развития гражданского с западом, Россия не могла же рано или поздно не войти в столкновение и связь с соседственным западом. И действительно, в то самое время, когда Русская держава достигла уже, в своей особности от запада, единовластительной и самодержавной твердости, запад жестоко дал ей знать себя именно чрез Польшу, принадлежащую западу по вере и вообще по духу народному,

но родную и смежную России по национальности²⁸. Что же касается отношения России к единоверному с ней востоку, – Россия, воспринимая у него и перенося к себе сокровища православия, не могла много заимствоваться от него в практическом применении начал православия к гражданской жизни и отсюда ко всем средам земной действительности. В этом отношении, суждено России (и благодарение за это благодати Божией!) быть самодеятельной; но первоначальным проявлениям этой ее самодеятельности естественно было более или менее быть инстинктивными, несвободными от тяжелых неровностей, бессильными достаточно оградить себя от практических в гражданстве односторонностей доживавшей Византийской Империи, от которых понемногу и возникло во многих Русских одностороннее воззрение на мирскую жизнь, как на поприще для одних грехов и грешных немощей. В то время, когда это, несогласное с духом и пользами восточного православия воззрение, соединясь с обособлением России от запада, грозило заразить Русских фарисейски-самодовольным и противогуманным духом, – благодать Господа нашла в великом Петре готовое и крепкое орудие на то, чтобы Россию поставить зараз и в братскую связь с народами запада и на великое поприще проводить дух и начала православия, уже сознательно и отчетливо, в гражданские и вообще земные среды, – чего так ждет для своей свободы поработенный под иго мусульманское страдалец – восток. Так Россия, идя от одного возраста к другому, от детства и юности к зрелости, была подвижна к назначению послужить и содействовать и востоку и западу к достижению того, к чему движутся тот и другой со своими судьбами.

Выслушав это, я опять прервал почтенного батюшку своими возгласами:

– Долго ли история России не явится в этом прямом своем смысле, в этом истинном отношении своем к истории прочего человечества? Ведь, пора уж нам иметь это зрелое самосознание, если еще с Петром началась у нас смена инстинктивных движений отчетливой сознательностью.

О. Иоанн, выслушав меня со вниманием, но не останавливаясь на моих словах, продолжал развивать свои мысли:

– Вот, когда жизнь запада, в своих борениях, дошла до того, что народы запада, в борьбе против духовного и гражданского у них преобладания, начали было отрицать и разрушать и алтари и престолы (говорю о революции французской), а на востоке по-прежнему тяготело окрепшее от времени иго мусульманское, – между тем как и Россия, упорствуя в состоянии недоросля, не успевала научиться отчетливому применению начал православия к земному быту, и особенно раскрытию их в просвещении и цивилизации, и потому Русские находились под искушением одни – только оземляться самым развитием у себя всего земного, другие нечеловеколюбиво отвергать и осуждать все человеческое: тогда-то и воздвигнут был на всемирное поприще этот необыкновенный, необходимый на то время человек – Наполеон I. Он явился избранным орудием на то, чтобы с твердостью сдержат народное своеволие, силой поставить на вид духовным и государственным властям запада излишества притязаний их на наместничество Самому Богу, и тем, более или менее, подвинуть запад к истинной во Христе свободе, упрочивающей достоинство и силу самых властей, а России напомнить ее назначение быть для всего мира верным хранителем и употребителем благодатных сокровищ чистой Христовой истины или православия, чрез открытие себя Христову свету, светящемуся душам и в мирских событиях, например, во взятии и пожаре Москвы, чрез разнесение духа и силы православия и в земных средах, в гражданстве и политике, – что именно и требовалось бы для изведения из магометанского плена самого востока православного. В отношении к мысли и стремлениям не самого Наполеона, а благодати Божией, воздвигающей и употребляющей, какие угодно ей, орудия по потребностям времен, много истинного открывается в высоких отзывах о Наполеоне племяннике его, который называл его «благовествователем новых идей». Роковая стражба Наполеона над судьбами мира имела

действительно такое благое последствие, что после него правительства и народы ощутили было над собой веяния духа истинной благодатной свободы, свободы детей у одного, общего всем, всеблагостного небесного Отца: «в 1815 году все партии, скажем словами нынешнего Императора Французского, стали под знамя этой свободы, и поддерживаемые нравственной ей силой, украсились ее цветами». Священный союз был плодом и отчасти выражением этого прекрасного движения мира христианского. Но принятие духа истинной свободы было искренно и прочно, из всех членов «священного союза», едва ли не в одном Самодержце России – Александре I, которого душа осветилась светом Христовым, по его признанию, именно, чрез пожар взятой Наполеоном Москвы. Он с самоотвержением, наперекор эгоистических стремлений государственных людей той эпохи, выдержал благодатный дух свободы в отношении особенно к Полякам, хотя они непосредственно пред этим были в рядах врагов России; он решился дать им самые либеральные учреждения и устройство, на сколько найдет это для себя удобным. Дух завистливого соперничества и страстей не позволил большинству «священного союза», отдаться влияниям духа благодатной свободы, в котором раскрывалась бы самая сила Христовой истины. «И свобода, скажем словами Наполеона III, принуждена была снова облечься броней», помрачая себя уже безумием страстей. «Борьба вспыхнула и пробудила прежние опасения». Революционный дух волновал не только запад, но и напрасно ждавших помощи от христианского мира, страдальцев востока, которые и успели основать «греческое королевство», волнуемое, впрочем, тем же духом и доныне. Россия благодатью Божией удержалась в пределах порядка чрез твердую руку своего самодержца, сдержавшую и взволнованных было общим революционным духом Поляков. Дело о единении всех, столько подвинутое – было вперед событиями предшествовавшими, снова задержалось; правительства и народы еще не могли или не хотели принимать предлагаемого им на самой земной их быт сокровища благодати Христовой. Волнения и потрясения политического мира, по крайней мере, не давали ему

успокоиться в непрочном и фальшивом (по отчуждению от благодати и истины Христовой), положении и порядке вещей. И таким образом дело Божие, дело Агнца Божия, закланного за мир и потому нетерпящего оставлять его на жертву зла и лжи, вражды и разделений между самыми своими последователями, не остановилось. И в самом деле, – продолжал о. Иоанн, – с тихим и радостным умилением, ради крови Агнца Божия, за мир пролитой, не даром в нынешних волнениях и потрясениях мира непрестанно льется кровь человеческая и христианская. Вот, восточная война своим началом показала в православных Русских еще живую связь с единоверным востоком, сочувствие и содействие тому, к чему он ведется своими страданиями, а своим концем та же война сделала, что и запад торжественно заявил участие, и со своей стороны, в положении и судьбе восточных христиан безразлично всех исповеданий. И как несравненное большинство христиан на востоке составляют именно православные; то выраженное западом, на парижских соглашениях его с Россией, гуманно-политическое соучастие в христианах восточных, возложившее на самых магометан благоприятные христианам обязательства, относится фактически главным образом к православным востока. Это многозначительный шаг мира христианского к «соединению всех», – а вместе и к упразднению магометанского порабощения восточных христиан, могущему прочно совершаться только чрез проникновение в самые политические дела и земные среды гуманных начал истинного христианства.

Так и нынешний «польский вопрос», – продолжал снова о. Иоанн в явной борьбе своего духа между глубокой грустью и утешением, – смотрите, как подвинул дело о «соединении всех» сравнительно с тем, в каком положении это дело оставлено «священным союзом». Судите об этом именно по самому пункту соотношения «польского вопроса» с «священным союзом» и Венским конгрессом. Тогда Александру благословенному надо было настаивать на свои человеколюбивые и либеральные намерения относительно Польши, ходатайствуя за нее пред союзниками, у которых брали верх над человеколюбием эгоистические государственные стремления. Теперь к

«польскому вопросу», западная Европа и со своей стороны вошла в человеколюбивые и либеральные желания относительно Поляков, за которых в этом духе и ходатайствовала она пред Русским государем, имеющим, впрочем, и независимо от этого стороннего влияния, неизменные в либеральном человеколюбии намерения относительно Поляков. Есть дурные стороны в изъявлении западом своих человеколюбивых и либеральных желаний относительно Поляков; это, с одной стороны, выразившиеся в этом изъявлении недоброжелательство и недоверие запад к России, доходящие до вмешательства в домашние ее дела, а с другой произведенное этим изъявлением подстрекательство и поддержка мятежных страстей и замыслов Польских. Эти стороны мы уже имели случай в нынешнем же разговоре с Вами, оценить по их достоинству. Но при всем том, если западные державы зорко следят в политическом движении «польского вопроса» все, что они считают уступкой с нашей стороны или шагом вперед со своей стороны; то и мы твердо заметим для себя эту уступку нам со стороны запада, этот наш шаг вперед, что все же запад, в движении своей политики и дипломатии, начал в известной степени разделять христиански гуманный дух, одушевлявший некогда Александра I, неперестающий одушевлять и Александра II. Да! Если дух благословенного Александра оскорблен западными державами тем, якобы он был обязан западом к либеральному человеколюбию относительно Поляков, инициатива которого и принадлежала именно Александру; зато дух его вполне удовлетворен сочувствием к своим идеям и стремлениям, которое обнаружилось со стороны отравлявших его некогда по тому же предмету западных держав. Этого успеха в действии православно-гуманных начал на самую политику, столь благоприятному делу «соединения всех», мы никак не должны опускать из своего вида; нужды нет, что запад еще нетверд или не совсем добросовестен в гуманном направлении своей политики, совсем иначе располагаясь, например, в отношении к делу освобождения негров в Америке, и что «в польском вопросе» замешалось недружелюбие запада в отношении к нам

Русским. Повторяю и усиливаю мою мысль об этом потому, что мы, Русские, случается, и верную, высокую идею сами же заподозриваем и подрываем из-за того только, что она проводится в дело нашими недоброжелателями с такой или с другой односторонностью или с злоупотреблениями. Вот, например, вооружаясь против разных крайностей и хитростей римской пропаганды, мы уж вменяем себе чуть не в добродетель и долг быть совершенно равнодушными к неправославным исповеданиям и обществам, по делу истины Христовой. Но ведь если только православие есть чистая и вечная Христова истина, а все лживые примеси к ней, допущенные в разных видах неправославия, неминуемо сгорят с такой ужасной опасностью для запутавшихся в неправославии людей, что им остается возможность спастись только «как бы из огня» (1Кор. 3:15): то как виновными окажутся тогда равнодушные к вечной судьбе своих собратьев! Иное дело устраивать православную пропаганду как следует по православному, как распространяли свет Христовой истины Святые Апостолы, считавшие себя должниками всех по долгу именно раскрытия для всех сокровища этой истины. Так и человеколюбивые идеи, сколько бы их ни злоупотребляли, хотя во имя их вооружился бы против нас весь мир, все же принадлежат собственно православному христианству и успех их все же составляет наше торжество, приближая нас более и более к всемирному торжеству православия. Так-то действует благодать Божия и в «польском вопросе», по самому притом драгоценному для нее делу «соединения всех».....

О. Иоанн закончил развитие своих мыслей о том, на сколько «польский вопрос» затрагивал дело православия и какое место занимает он во всем историческом движении этого дела, особенно в отношении к «священному союзу». Я был удовлетворен и молчал, но по лицу о. Иоанна видел, что он все еще своей беседы не считает законченной.

III

– Неужели еще не исчерпали вы своего предмета, – спросил я наконец о. Иоанн.

– Мы не довольно занимались, – отвечал он, – рассмотрением еще одной важной задачи, затронутой «польским вопросом», кроме задачи о власти и дела о православии.

– Что же это такое?

– Это вопрос о судьбе самой Польши. Наш Бог, Бог мира и порядка, не таков, чтобы устроить только благо общего, целого, с пожертвованием для этого разными частями и неделимыми, чтобы из заобщечеловеческих вопросов, каковы вопросы о правительствах народных и о деле православия, уж упускать из вида частные народные интересы или бедствия. Сын Божий стал сыном человеческим на земле, жил и умер и воскрес, – как ради всего человечества, так ради и каждого племени, каждого человека в отдельности. Итак судьба Поляков временная и вечная, их нестроения и мятежные движения, желанное для всех опорядочение их нравственное и гражданское – все это представляет человечеству и христианству (которое и есть истинное человечество), глубоко занимающий мысль и озабочивающий сердце вопрос. Вот что еще затронуто в «польском вопросе!»

– Скажите же и об этом Ваши мысли, – просил я.

– Владея в православии, – отвечал о. Иоанн, – чистой истиной и исторически (следовательно, силой благодатью Господа, действующей в судьбах мира), связанные с Поляками, мы, Русские, во-первых, не можем, не должны, не имеем права отказываться от них, хотя бы когда-нибудь побуждали к этому самые наши интересы. Дело не в том только, что Государь наш имеет неоспоримое историческое и политическое право власти над поляками, что властью Отца небесного, раскрывающейся в народах и их правительствах, соответственно их приемлемости и потребности, Поляки введены под державу Всероссийского Императора. Но еще и в том дело, и дело святое, что Россия,

если бы отказалась от Поляков, оказалась бы несправедливой в отношении к ним, не исполнила бы своего пред ними долга, возложенного на нее Отцем небесным чрез самое подчинение Поляков русскому Государю. Представьте человека, предавшегося буйству от тяжкого и застарелого недуга – запоя. Тот, кто, и во время буйных порывов этого несчастного, сознает и чувствует себя лучшим другом его, был бы жесток и достоин сам осуждения, если бы отказался наконец от этого тяжело больного человека, хотя бы и увлекаемого туда и сюда неблагонамеренными или легкомысленными людьми. Ведь дело касается временной и вечной судьбы мятущихся Поляков, нравственного и внешнего их опорядочения, к чему есть же достаточные силы и средства в истине и благодати православия; только бы нам, как следует, узнать и употребить в дело эти силы и средства. Во-вторых, само собой разумеется, что устраивать судьбу буйного и приводить в порядок его самого можно не иначе, как уже поставив его твердыми мерами в положение невозможности буйствовать; только в таком положении этот человек может понемногу остепеняться или приходить в состояние здраво и мирно мыслить, и действовать. Дело тут не в отмщении ему за буйство, хотя бы и праведном, а в том, чтобы спасти этого несчастного от страшного его врага – мятежного буйства, исцелить его от тяжелого и закоренелого недуга запойного. Дух твердых и строгих мер, в этом случае, есть дух разумного человеколюбия и дружелюбного или родственного попечения о бедном больном.

– Это также точно, – продолжал о. Иоанн, – как, в первом случае, удержание за собой, во что бы то ни стало, права власти над ним одушевляется духом не своекорыстия и эгоистического преобладания, а исполнения справедливого и человеколюбивого долга в отношении к нему. Это чрезвычайно важное дело – держаться такого или другого настроения духовного в своих требованиях и поступках; судя по такому или другому духу, одушевляющему эти требования и поступки, в них будет тоже, да не то, – тоже по внешности, но не то по внутренней силе или по самому существу дела. Когда Русские на захотели бы отказываться от прав над Поляками только в

таком духе, как владеющий часами карманными не захотел бы, но чьему-либо произволу отказаться от них, то тут было бы прямое право на стороне Русских, но вместе и та явная неправда, что они и людьми хотели бы владеть по одинаковому праву с владением бездушной вещью. Но русский Государь не в этом духе отстаивает свое право над Польшей, а в том, чтобы не расставаться с ней, когда он соединен с ней благодатью Божией, – чтобы не расставаться с ней, – когда он может и хочет послужить ее благу, как истинный и лучший ее друг, – чтобы не расставаться с ней, когда есть и достаточные к благоустройству Польши силы и средства в православной России, такие силы и средства, каких нет вне православия. Так и строгие меры России против мятежных пусть одушевляются духом такого благожелания и благодетельности относительно Польши, «да взойдет на этот край, наше древнее достояние, счастливая заря другой будущности – любви, братского примирения и забвения прошлого» – как выражаются у нас в изъявлении благожеланий относительно Польши... Нам, служителям духа, надо особенно заботиться о должном духовном настроении нашем относительно Поляков.

– Я с этим совершенно согласен, – сказал я, – и потому обращаюсь к Вам тем смелее с возникшим у меня сейчас вопросом. Если мы имеем не только право, но и долг удерживать, во что бы то ни стало, царство Польское во Всероссийском составе, употребляя прежде всего строгие и твердые меры для приведения мятежных в невозможность буйствовать; то, ведь, этим самым возлагается на нас строгая и неотступная обязанность, и забота ввести себя и Поляков, действительно, в живое взаимное единение. Какой дух и настроение требуется для этого дела? вот вопрос. – Вы знаете, что Поляки имеют просто ненависть к нам, воспламеняемую в них воспоминаниями прошлого, ропотом на настоящее мечтами о будущем – ненависть, поддерживаемую и раздражаемую в них самой их религию, – обратившую в пищу для себя самое родство их с нами по славянскому происхождению, возбуждаемую участием к ним других держав и народов, твердо обоснованную в самом характере этого польского

высокомерного своей цивилизацией гонора, оскорбляемого зависимостью от Русских и вечными неудачами в деле с ними. Какой дух может соединить нас с Поляками в одно живое целое?!

– Принимаю вопрос, – отвечал о. Иоанн, – и притом еще укажу на новую сторону его трудности. Эта польская ненависть к нам, о которой Вы говорили, не смягчается самыми расположениями общежительной приязни, или сочувствия по сходству характеров и правил. Помню, – рассказывал мне покойный дядюшка о своем знакомстве и дружбе с одним Поляком в тридцатых годах. Дядюшка был тогда в самой первой поре юности или на переходе от отрочества к юношескому возрасту. Поляк был из простых солдат, назначенных в гарнизон одного губернского города. Искренно и горячо полюбил он на чужбине юношу, относившегося к нему с участием; между ними бывали разговоры самые откровенные и доверчивые. Один раз, когда они оба были особенно открыты друг для друга, молодой человек обратился к Поляку с такими словами: «какой вы славный народ – Поляки! и мы, Русские, как видишь, не прочь любить вам от всего сердца. За что же вы ненавидите нас?» – Куда девалась дружелюбная веселость Поляка? Он помолчал несколько секунд, побагровел от тяжелого прилива крови к голове, и с какой-то сосредоточенной злобой, не возвышающей, а как будто задушающей его голос, сказал молодому человеку, ударяя кулаком себя же в грудь: «пока здесь будет хоть капля теплой крови, мы враги Русских!!».

– В каком же, скажите, духе действовать нам для живого союза с Поляками, – чуть не вскрикнул я, – выслушав о. Иоанна, – когда не действует на них дух любви и добросердечия? Сколько требуется, от нас в отношении к Полякам, недоверчивой осторожности и разъединяющей бдительности над ними и собой?

– Это правда, что нужна нам крайняя бдительность и осторожность, но против разъединения у нас есть мощный дух, дух Святого нашего православия, увы, так мало ведомого нам православным в своем могуществе и силе. Не подумайте, что я хочу только резонерствовать пред вами моралью. Я начну с

указания на великий факт, известный всему миру. Вы знаете, как, к эпохе явления христианства, велико было отвращение иудеев от язычников, оправдываемое самой теократией иудейской, самим Божиим законом. «Быть как язычник» – значило для иудеев сделаться самым ненавистным, отверженным человеком. Иудеи от одного слова об участии в благах царства Божия, доступном и язычникам без обращения их в иудейство, приходили в такое бешенство, что с яростными криками сбрасывали с себя одежду, бросали землю на воздух (**Деян. 21:22–23**). Возможно ли, по-видимому, духовное сближение иудеев тогдашних со столь ненавистными им язычниками? А между тем тогда из иудеев и язычников составлялось, во всем мире, одно живое благодатное тело, одушевленное одним Христовым духом, чему, притом, и служили главным образом избранные деятели из самих иудеев. Как это сделалось? Это соделал Христос, умерший за греховные вины равно иудеев и язычников; дух этого самого Христова человеколюбия, не чуждающегося ни одной национальности человеческой, ни одного человека из иудеев или язычников, и свел тех и других во едино (Еф. 2:13–16). Если и в области гражданства дать действовать и раскрываться этому самому духу Христова человеколюбия, не пренебрегающего, а напротив до пролития крови дорожающего человеком, какой бы ни было национальности, духу человеколюбия, не столько сочувствующего и сродняющегося всему человеческому, кроме только порчи и извращения человечества, но и вину самого этого извращения выносящего на себе: то этот Христов дух и в области гражданства равно может объединять самые чуждые и враждебные друг другу элементы в одно новое прекрасное целое, с отрешением их от ветоши прежних разделений и взаимного отвращения. И этот дух Христова человеколюбия, в области православия, не связывается ни частным интересом земного чьего-либо главенства, как в папстве, ни притязательностью мниморационального самочиния, как в лютеранстве и других подобных преобразованиях христианства, а идет прямо от Божественного главы – Самого Христа и направляется его умом

и сердцем; Видите, какая у нас православных Русских есть сила к соединению с нами и ненавидящих нас, Поляков, в одно живое тело. Это первая и последняя моя мысль, – во всех моих рассуждениях по «польскому вопросу». Только бы нам Русским входить в эту силу православия – в дух Христова человеколюбия.

– Только бы... – сказал я печально. Но ведь у нас Русских, у самих, в этом отношении, разыгрывается духовно своя мятущаяся Польша. Одни идут и бегут в своих идеях и правилах жизни помимо Христа. Куда идут и бегут помимо единственного Спасителя мира? Не куда, как разве "до лясу" губительного для людей мятежничества против Христа Спасителя. Другие, и стоя за Христа, вопиют с азартом против духа человеколюбия Христова, как противу какого-то произвольного принципа об Агнце Божиим. Что же это, как не мятежнические, хотя и во имя веры, подстрекательства в духе ксёндзов?... Там знать не хотят слова Божия, здесь так или иначе закрывают самой свет слова Божия.

– Поэтому-то и надо нам помнить, – сказал о. Иоанн, – и я повторю еще раз, что мы и сами, по «польскому вопросу», находимся на суде пред Господом, без всякого лицепрятия смотрящим и судящим, на сколько для себя и для прочего мира принимаем или отвергаем мы благодать Его. Кровь Агнца Божия, вопиющая к Отцу небесному о помиловании и прощении и потому лучше *глаголющая, нежели кровь Авелева*, вопиавшая об отмщении братоубийце, – не потерпит оскорбления и пренебрежения ни с какой стороны. Восстание мятежных Поляков, не только фанатически упорное со стороны их самих, но поддерживаемое и другими народами, явно относится к суду Господа над нами. Пора бы уж проснуться нашему православно-русскому духу, так долго и глубоко во многих из нас спящему и только бредящему во сне. Пора бы нам решительно выйти из ребяческого возраста, в котором хорошенько не сознают еще своего дела, а действуют более по впечатлениям минуты! Тогда бы и западные Европейцы были бы скорее за нас, чем против нас. Английская, например, порядочность и правильность в устройстве земного, если бы мы

отчетливо упрочивали эту порядочность и правильность земного на началах благодати и истины Христовой, естественно была бы на нашей стороне. Равно и Французская увлекаемость гуманной цивилизованной доблестью, если бы мы успели возвысить эту доблесть над мечтательностью чрез светлое и разностороннее раскрытие в ней человеколюбивой истины и духа Христова, оказалась бы также на нашей стороне. И Австрийская удободвижность и склонность к тому, в чем оказывается превосходство интереса, если бы мы отстояли пред миром самое высшее превосходство интереса быть (и в деле самого земного интереса) со Христом Богочеловеком, может почуять более выгоды и почета для себя быть с нами, чем с враждебными нам державами или мятущимися Поляками. Так и польская легкость и вместе горячность чувств, явно берущая верх над твердой и спокойной основательностью здравомыслия, не дающая раскрываться уму далее изворотливой и своекорыстной хитростью, а в случае предубеждений доходящая до фанатической совсем слепой ненависти, может же услышать весть, которую подало бы русское сердце, исполненное Христова соучастия к Полякам, не тревожащего и не оскорбляющего в них ничего достойного человечества, а напротив, выносящего и самое бремя виновности человека ненавистных их чувств и дел в отношении к нам (об этом мы уж говорили, кажется, несколько раз). Так по крайней мере не будем мы побеждаемы чужим злом, идущим против нас, но будем добром побеждать это зло. Не забудем главного, если уж пришла для нас пора расплачиваться с западной Европой за полученное от нее добро нашим добром, добром этого всемирного сокровища и наследия – православия; то этот долг волей или неволей придется уплачивать нам... Нам уж не спустят, не простят этого долга. В составе организма не утаится ни один член, несостоятельный пред другими членами в жизненных отправлениях, ему назначенных; это инстинктивно и невольно, неизбежно ощущают другие члены. На русском народе, владеющем в православии жизненной силой для всего мира и в то же время независимостью и могущественным, лежит великая ответственность; восточный вопрос, польский вопрос –

прямые напоминания об этом. Вечный Архиерей, совершающий в самых судьбах мира Божественное священнослужение пред Отцем Своим, по духу Своего крестного самопожертвования за мир и исполняющий всю землю славой этого Своего священнослужения при славословиях Херувимов и Серафимов, готов излить на возлюбленный Свой народ нужные для всего мира свет и силу от полноты Своей благодати и истины, но под необходимым условием, если сам этот народ будет, как следует, сознавать и принимать такую благодать.

Так кончился наш настоящий разговор. Я чувствовал себя словно после лекции, занимавшей всю мою душу и потому давшей мне почувствовать свою продолжительность только уже по ее окончании. Я с благодарностью смотрел на книжки отца Владиславлева, содержащие «поучения о богослужении православной церкви» и давшие первой повод к тому высокому настрою, в каком шла двукратная наша беседа с о. Иоанном по поводу «польского вопроса». Я спросил его, вполне ли его удовлетворяют эти поучения. О. Иоанн высказал мне свою мысль и желание, что в поучениях о *всенощной*, именно о первой ее части – вечерни надо было бы давать православным понимать и чувствовать особенно радость ветхозаветных верующих об исполнении во Христе всех надежд и предощущений их веры, всех обетов и залогов благодати, а не высказывать только одни затруднения и примраки ветхозаветные «Если уж и нужно было говорить о характере и способах веры ветхозаветной, – говорил о. Иоанн, – то надо было бы объяснять, как вера ветхозаветная, и на основании *стихий мира*, могла предощущать и предоусвоять себе грядущую Христову благодать. Ведь и теперь еще, например, величественный или прекрасный вид природы, взор родителей на свое дитя, встреча Царя, и т.п., производят в душе разные высокие движения и ощущения духовные, давая примечать и в чувственном, земном ответ небесного, благодатного. На древнего человека эти «*стихии мира*» действовали несравненно живее и могущественнее; и потому благодати Христовой удобно было предъявляться для веры этого древнего человека именно в подобных «стихиях мира». Отсюда

прямо вытекало бы для православных такое наставление, что, если еще до совершенного открытия благодати, вера могла предоущать и присвоять эту благодать в мирском и земном, то на сколько удобнее и обязательнее это теперь при полном уже раскрытии во Христе благодати! *Всенощная*, напоминая православным о ветхозаветном порядке вещей, напоминала бы вере их и этот урок – держаться и в мирском, земном Христовой благодати. Радость ветхозаветных праведников о явлении во Христе всей полноты благодати, представляющаяся уму и сердцу православных, во время всенощной, поощряла бы новозаветную веру со всей охотой и радостью проводить дух и начала благодати во все земное и мирское, как-то: в быт семейный, народный, гражданский. Понять не могу, – так заключал об этом свою речь о. Иоанн, – как и от чего духовная ученость у нас нимало не интересуется вникнуть в самую силу и жизнь ветхозаветного порядка вещей, что так необходимо и для лучшего уразумения самых новозаветных откровений. Не знак ли это того, что нашей духовной учености, видно, надо освежиться той ученостью, которую так интересует характер и жизнь древности человеческой и геологической?!.. Что касается до утрени в богослужении церковном, о. Иоанн высказал мысль и желание, чтобы особенное внимание веры обращено было на канон, в котором песни церковные (Ирмосы) дают следить ветхозаветные судьбы мира и Церкви, начиная от Моисея, описавшего и миротворение, и первоначальный быт Церкви, до самой Богоматери, уже носившей в Своем чреве Богочеловека, – дают следить эти ветхозаветные судьбы, уже раскрытые в своем значении и духе Христовой благодатью и истиной, и следовательно взятые в этих церковных песнях в смысле указаний и на новозаветные события, а своей последовательностью указывающие именно на последовательный ряд новозаветных судеб мира и Церкви. «В откровениях Иоанна Богослова, – говорил о. Иоанн, – именно в образе судеб ветхозаветных предъявлены судьбы новозаветной Церкви и мира (см. об этом в книге: о «новом завете» соч. Архим. Феодора; стр. 165–170), и потому, когда поют в церкви Божией канон, моему духу предносятся, с одной стороны,

судьбы Церкви ветхозаветной, а с другой и предуказанные духом их судьбы Церкви новозаветной, – как, действительно, составляющие великое непреставщее, именно вселенское богослужение Агнца Божия, вземлющего грехи мира ветхозаветного и новозаветного.

VI. О вере и знании в их взаимных отношениях

Лета неведения презирая Бог, ныне повелевает человеком всем всюду покаяться.

(Деян. 17:30). Слова Ап. Павла среди Афинского Ареопага.

Случилось мне нежданно – негаданно встретиться с одним моим школьным товарищем, с которым я не видался с самого того времени, когда мы вместе оставили студенческую скамью. Он пошел по ученой части, был уж и за границей по какому-то ученому поручению, помещал в журналах ученые статьи. Я следил за ним только издали; потому что мы хотя и были добрыми товарищами между собой, но все же не столько близкими, чтобы переписываться. Из чтения журнальных статей моего товарища я с грустью замечал, что религиозные его воззрения или колебались, или чем-то засорились. Так, например, встречались кое-где у него такие мысли, что нужно было бы у нас в России ввести гражданский брак в отпор тем злоупотреблениям, поводом к которым служит будто бы церковный брак с его неразрывностью. Особенно же тяжела была для меня та мысль, развиваемая в статьях моего товарища с какой-то настойчивостью, что дело веры и дело знания, мысль религиозная и мысль научная – это две совершенно различные и несовместные области. Эту мысль выражал школьный мой товарищ с ловкой осторожностью; он ссылаясь на первую четверку православного катехизиса, где есть особый вопрос и на него ответ о различии между верой и знанием (см. пространный катехизис, 2 стр.). По поводу каких-то философских заметок одного духовного лица, мой товарищ отписнул в журнале заметку, в которой проговаривал, что духовные особы слишком святы для такого грешного дела, каково дело философии, что лучше бы люди веры оставляли самостоятельную и независимую мысль этим, как шутливо он выразился, отъявленным грешникам – людям современной науки. Грустно было мне видеть такое заявление школьного собрата, что он отчисляет себя от верующих. Я знал лично его

мать, добрую старушку, у которой все заботы и надежды о сыне проникались живой горячей верой. В студенческой жизни он сам, правда, не отличался особенной верой, но имел и не хотел скрывать отвращение от неверия. Как же совершился в нем, думал я, несчастный поворот его убеждений? Из студенческой его жизни я знал одно, что у него разгоралась особенная любовь к науке. Неужели любознательность его, по самому существу своему, не могла ужиться с верой? Или это он только рисуется своим отчуждением от веры.

Когда мы увиделись, я вскоре убедился, что мой приятель относит уже веру к своему, дорогому, впрочем, *прошлому*. И что особенно меня удивило, он в серьезном разговоре высказался предо мной, что он вовсе не из осторожности или ловкости, как казалось мне, ссылаясь на различие, по самому катехизису, между верой и знанием, но что, действительно, эта катехизическая мысль и была первым семенем отчуждения его от веры, по какому-то странному духовному несчастью²⁹. Это факт замечательный! Ты знаешь, говорил он, как я всегда любил знание, науку, и я слышал от собственной религиозной совести упрек в этой самой моей благородной и чистой любви к знанию. Такое внутреннее противоречие не могло навсегда оставаться. Не желая расстаться с знанием (потому что я иначе должен был бы расстаться с живым источником благородных мыслей и побуждений), я расстался с воззрениями веры, как пришлось мне расстаться со многими радужными представлениями и сладкими мечтами детства и юности. И знаешь ли, – продолжал мой товарищ, – над этим отчасти потрудились, разумеется, против всякого намерения и желания своего, наш общий знакомый (тут он назвал, к моему крайнему удивлению одну духовную особу, у которой мы бывали иногда вместе). Вот как это случилось. Мне не легко было жертвовать мыслью веры для интереса знания, я отыскивал для чтения более глубокомысленных духовных писателей, чтобы веру свою помирить со стремлениями знания. И когда я в сладость читал глубокие сочинения, известные под именем Дионисия Ареопагита; то не раз случалось, что наш духовный знакомец, у которого я и брал духовные книги, начнет, как он говорил,

попросту выражать широкую речь глубокомысленного писателя. И тогда глубокие и жизненные мысли этого писателя, как я их всегда понимал, обращались в ровную гладь самых обыкновенных и общих мыслей, просто в общие места некоторых нынешних духовных сочинений. Так и это последнее обаяние в мысли веры исчезло для меня. Но во всяком случае ты можешь быть уверен в том, что я настолько люблю истину, что, если я узнаю истину именно в вере, не задумаюсь сделать к ней поворот, хотя бы мне пришлось поворотить вверх дном весь нынешний образ и склад моих мыслей. Но все-таки, заключил он свою мысль, подумавши, – и от знания я не могу отречься; это для меня значит сделаться преступником.

Я сейчас уже в душе моей стал рассчитывать на отца Иоанна, познакомиться с которым я и предложил моему школьному товарищу. Этот уже от кого-то слышал об отце Иоанне, как о человеке высокого достоинства, и со своей стороны охотно желал узнать его лично. Мы отправились к нему в его село. Дорогой я просил своего товарища именем его матери не скрывать своих убеждений от о. Иоанна. «Неужели ты думаешь, – сказал он мне, – что я менее тебя желаю знать истину? Давно я ищу знающего свое дело и преданного этому делу специалиста по части веры». Из этих слов моего товарища я увидел с радостью, что он по крайней мере еще не унижает дела веры пред другими делами и притом на столько добросовестен пред самим собой, что, в настоящем отчуждении от веры, не приписывает себе обладания решительной истиной.

Мы нашли о. Иоанна за чтением «Бокля». По этому поводу, у моего товарища как будто невольно вырвалось такое слово:

– Как это приятно, что специалист веры знакомится со специалистом знания!

– Специалист веры, специалист знания? – возразил о. Иоанн. – Признаюсь Вам, что я не совсем понимаю подобные названия. Можно быть специалистом, например, ботаники, археологии, Церковной или гражданской истории, Богословия или философии. Но специалист вообще *знания*, специалист вообще *веры*, как специалисты двух отдельных родов, подобно, например, специалистам сапожного и пирожного дела, для меня

не мыслимы. Мне кажется, что только недоразумение может поставлять подобное различие и разделение между двумя сторонами одного и того же дела, которые существенно неразделимы между собой и необходимо предполагаются взаимно одна другой. Вера и знание – именно такие две стороны одного и того же дела, которые существенно неразделимы между собой в этом деле, как ни называйте это дело – знанием ли действительной для всех и во всем истины, или верой во Христа.

– Вот что! – воскликнул мой товарищ, явно озадаченный словами о. Иоанна. – Но, почтенный батюшка, я от Вас не отстану, пока Вы не выясните мне высказанной Вами мысли со всех сторон. Вы знаете, конечно, что против сказанного Вами есть довольно недоразумений и со стороны знания, и со стороны веры.

– Знаю, – отвечал о. Иоанн, – потому что и сам терпел или лучше был только в опасности многое терпеть от подобных недоразумений. – Тут о. Иоанн, обращаясь ко мне, сказал, тронутый, вполголоса – Как много я должен благословлять память незабвенного дяди, который вовремя отвратил эту опасность.

– И знаете ли, батюшка, – поспешил я сказать, не давая так хорошо начавшемуся разговору уклониться в сторону от недоразумений моего товарища, – камнем преткновения для него послужил первоначально «православный катехизис»?

– Сам Спаситель наш, – отвечал о. Иоанн спокойным тоном, но с заметной глубокой грустью, – оказался для многих камнем преткновения. Человеку, уже и рождающемуся в Божий мир в состоянии падения, так не мудрено падать, спотыкаясь иногда на том самом, что назначено к спасению и остережению от падения.

От моих ли скоропоспешных слов или от несколько строгих слов о. Иоанна, на лице моего товарища обозначилось что-то нетерпеливое и неприятное, похожее отчасти на чувство оскорбленного достоинства, отчасти на движение обманутого ожидания. Боже мой! Как трудно (подумал я при этом) вести с человеком дело на счет его коренных внутренних воззрений и

убеждений! Того и гляди, что в этом человеке оскорбительно и неосторожно, к порче всего дела, затронешь ту или другую духовную струну, которая и зазвучит сейчас болезненно и нестройно.

— Это я говорю, молодой человек, — продолжал о. Иоанн, — вспоминая по поводу Вашего замечания о недоразумениях веры и знания, грехи собственных моих преткновений и падений, не касаясь Ваших, которых я, в их сущности, еще вовсе не знаю. Мой приятель прояснил от этих слов и с открытым лицом сам начал объяснять свое несчастное преткновение:

— В самом деле, почтенный батюшка, я начал сбиваться с пути привычных воззрений, именно, по поводу катехизического различия между верой и знанием. Знаете, вот этот вопрос и ответ в пространном Христианском катехизисе нашей Церкви: «Какое различие между верой и знанием? Знание имеет предметов видимое и постигаемое, а вера невидимое и даже непостижимое. Знание основывается на опыте или исследовании предмета, а вера на доверии к свидетельству истины. Знание принадлежит собственно уму, хотя может действовать и на сердце; вера принадлежит преимущественно сердцу, хотя начинается в мыслях».

— Что же? — заметил о. Иоанн. — Неужели Вы могли заключить из этих катехизических слов, что знание уж и несовместно с верой, или что вера стесняет и связывает знание? Вспомните, что в катехизисе за словами, которые Вы сейчас привели, прямо следует такой вопрос: «Почему в учении благочестия требуется не только знание, но и вера?». Ведь ясно, что в деле или учении благочестия знание не только не исключается, но вместе с верой непременно требуется, требуется так очевидно, что о потребности знания катехизис не задает и вопроса. Катехизис старается объяснить только то, почему, кроме знания, требуется и вера?

— Все это я знаю и помню, — сказал мой приятель, — помню, что в самом начале православного катехизиса говорится о необходимости для благоугождения Богу и для спасения души *познание* истинного Бога, что, потом, катехизис признает возможность *познавать* Бога из рассматривания сотворенных

от Бога вещей, чем предполагается уже сама собой возможность и, пожалуй, даже обязанность *познавать и эти вещи* – природу и все твари.

– Итак, катехизис, – снова заметил о. Иоанн, – никакого истинного знания не устраняет от благочестия. Большого в этом отношении нельзя требовать от катехизиса, который полнейшее раскрытие своего содержания оставляет уже Богословию.

– Я с этим совершенно согласен, – отвечал мой приятель. – Но дело в том, что когда бесприкословно признается или поставляется совершенное различие между верой и знанием в трех существенных отношениях, именно и по предмету, и по основанию или источнику, и по психологическому процессу той и другого, – то, как хотите, мудрено соглашать и совмещать ту и другое, веру и знание. Как бы то не было с другими, но я должен сказать Вам о себе, что, еще переходя из детства к юности, я в порывах к знанию часто стеснялся в своей совести чувством веры и, наоборот, в движениях веры смущался и путался любознательностью. В сильных припадках последней я с томлением сердечным думал, бывало, в глубине душе: какой я верующий, когда мне все хочется узнать, не принимая ничего на веру?! И наоборот, самое искреннее и живое движение веры во мне, возбужденное богослужением или чтением духовной книги, – вдруг, бывало, как от какого дьявольского наваждения, парализуется невольным внутренним запросом: да полно так ли это!! Вы понимаете, что это мучительное раздвоение или противоречие духа самого с собой не могло оставаться навсегда. И вот, когда мое духовное развитие, с моим физическим полновозрастием, доходило уже до степени отчетливой самостоятельности и самодеятельности; я поставил для себя прямо или без всяких обиняков, но кажется, без противоречия и катехизису, такие вопросы: что мне наконец избрать, жизнь ли преимущественно сердца, более успокоительную и нередко сладостную, или жизнь преимущественно ума, исполненную тревожных допросов и недоразумений, за то действительно самостоятельную? Успокоиться ли мне на доверии к свидетельству данной истины, или пуститься в многодельный и тяжелый путь – все самому

испытать и исследовать? Гоняться ли за невидимым и даже непостижимым, или взяться хорошенько за видимое и постигаемое? Одним словом, быть мне человеком веры или знания? Я нашел для себя более справедливым, более благородным и даже более благоразумным – избрать последний путь, путь знания. И признаюсь Вам, что, без колебаний уж идя этим своим путем, я все тверже и тверже убеждаюсь в совершенном неудобстве, – более чем неудобстве – оставаться на этом пути человеку веры. Да; пытливость знания – слишком грешна для святости веры. А говорить: умеи признать и уважить законные пределы знания, – для меня тоже, что уже сковать и забить в этих пределах знание. Живое и свободное знание должно идти и постоянно идет вперед: как назначить ему в каком бы ни было отношении предел, дальше которого оно не могло бы уж идти? Конечно, если не вполне отдавать себя на дело знания или веры, а делать дело только вполовину, или быть, как говорят, *ни в тех, ни в сих*, ни в людях веры, ни в людях знания, то можно мирить веру и знание, сводя их как-нибудь в один общий путь. Но только, по моему убеждению и характеру, если уж делать дело, то надо уж не вполовину, а совсем отдаться этому делу; иначе только унизишь и оскорбишь дело, будь оно делом знания или веры. Я отдаюсь делу знания вполне, и потому откровенно и пред самим собой и пред Вами сознаюсь, что я уж не найду путем веры, – в Христе я уж не имею и не признаю управляющего верховного начала. Вот Вам, если угодно, исповедь моя! Я чувствую и сознаю себя в здоровом и нормальном состоянии: если же, по Вашему, оно болезнь, врачуйте меня. Я пред нами высказался не вполовину уже, а весь, как я понимаю себя по совести.

Отец Иоанн слушал моего товарища с глубоким сосредоточенным вниманием, но, к моему живейшему удовольствию, никакое темное облачко не было заметно ни в его глазах, ни в лице. Когда мой товарищ кончил, отец Иоанн, как бы в ответе на мои внутренние запросы, с какими я наблюдал и следил в его лице выражения безмолвных его дум, обратился именно ко мне со своей речью:

– Слушая Вашего приятеля, так и хочется сказать: «Вот, прямо Израильтянин, в котором нет лукавства». Так сказал Господь о Нафанаиле, который услышав об Иисусе из Назарета, как о таком, о Ком писали Моисей и другие пророки; – отозвался на это, по-видимому, с хульным презрением, а по суду Христову, только без лукавства: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1:45–47). Свободные и прямодушные речи, сейчас выслушанные нами, живо напоминают мне этот евангельский случай с Нафанаилом.

Я, со своей стороны, объяснил о. Иоанну, чего еще не касался мой товарищ в своей, по его выражению, «исповеди», именно – как он отстаивал в себе веру, стараясь поддерживать свою мысль в веру чрез чтение глубокомысленных духовных книг, и как в этом деле подвергся он такому несчастью, что некто, наружно и мнимо упрощая пред ним эти глубокомысленные творения, на самом деле лишал их живой силы и закрывал их глубину для моего приятеля. (Выше сказано, что рассказывал мне об этом мой товарищ). О. Иоанн, выслушав все, задумался, а, вставши со стула, прошелся несколько раз по комнате в раздумьи: товарищ мой перелистывал в это время книгу Бокля.

– Если я не ошибаюсь, – так начал о. Иоанн говорить моему приятелю, севши рядом с ним, – Вы искренно любите истину; и не что другое, а любовь к истине была причиной Вашего избрания для себя – пути знания.

– Да! Я люблю истину и верую только в истину, – отозвался товарищ с оживленным видом.

– С этой верой и любовью к истине, – продолжал о. Иоанн, и обсуждайте Вы сами мои мысли, какие я намерен высказать Вам. Я желал бы говорить с Вами главным образом касательно Ваших воззрений, по которым Вы путь знания ставите в прямую противоположность и несоответственность с путем веры; – прибавлю что-нибудь, может быть, относительно и Вашего прежнего колебавшегося состояния, – относительно и настоящего самоуверенного состояния, и дела Вашего. Само собой разумеется, что говорит обо всем этом я желаю только с Вашего дозволения и согласия.

– Я Вас сам вызвал к тому, к чему Вы намерены приступить, – сказал мой приятель, – мне остается только благодарить Вас за Ваше обязательное согласие войти в разбор моих воззрений, состояний и дела. Покорнейше прошу только скорее начать развитие Ваших мыслей обо всем этом. Итак, прежде всего разъясните мне, что, действительно, знание и вера существенно не расходятся между собой, в надлежащем их направлении, что настоящий специалист знания должен быть своего рода и специалистом веры, равно и истинный специалист веры становится по-своему специалистом знания. Когда Вы мне покажете это, то для меня уж сама собой ясна и убедительна будет Ваша мысль о фальшивости этих моих воззрений, по которым путь знания мне представляется существенно несовместным с путем веры. Я просил бы Вас, при развитии Ваших идей по этому предмету, иметь в виду катехизическое различие между верой и знанием; так, как, именно, это послужило для меня, как выразился мой добрый товарищ, камнем преткновения.

– Я так и намерен вести это дело с Вами, – сказал о. Иоанн. – И во-первых, возьмем сейчас во внимание и рассуждение наше различие между верой и знанием по самому предмету. В катехизисе, как знаете, так определяется это различие: «Знание имеет предметом видимое и постигаемое, а вера невидимое и даже непостижимое». Нет нужды распространяться здесь о том, что различие между верой и знанием, по отношению к предмету той и другого, поставлено здесь правильно. Что не только невидимо, но и непостижимо или недоступно для знания, все такое по самому существу своему очевидно, не может быть предметом знания; невидимое, которое притом и непостижимо, может быть объято или принято разве только верой. Предметом знания и может быть только доступное знанию по нашим чувственно-духовным способам познания, – именно, – видимое, а из невидимого только то, что можно постигнуть знанием. Спорить против этого нельзя. Не правда ли?

– Я и не спорю, – отвечал мой товарищ. – По логике или по самому существу дела, как оно мысленно представляется,

вполне верно сказанное Вами. Но в применении того же к самой практике, как и чем определите Вы постигаемое и непостижимое? Можно ли сказать, что наши человеческие чувственно-духовные, как Вы выразились, способы познания совершенно нами исчерпаны и изведаны? Мало ли такого, что считалось прежде недоведомым и непостижимым, и что, однако, впоследствии оказалось очень и очень доступным нашему знанию?

– Что ж из этого следует? – возразил о. Иоанн. – Из неудобства разграничивать точно и решительно между постигаемым и непостижимым – и следует прямо то, что между верой, имеющей своим предметом непостижимое, и знанием, предмет которого составляет постигаемое, при всем этом их различии, нет и не может быть существенного разделения или непримиримой противоположности и несовместности. Из неизведанности еще всех способов познания, какие находятся или могут быть найдены в распоряжении и источниках нашего духовно-чувственного существа, следует также прямо то, что и вера может оказаться одним (и притом самым коренным) из способов познания, простирающегося в бесконечность вперед, также как, наоборот, и знание может явиться одним (и притом главным или первым) из способов к раскрытию безмерных сокровищ веры. И разнообразные опыты того, что многое, недоведомое прежде, оказалось ведомым впоследствии, служит прямым речательством или задатком того, как чрезвычайно может расшириться область знания при соединении с верой, владеющей недоведомым, и как это в свою очередь послужит к чрезвычайному торжеству веры.

– Вашими устами мед пить, – весело проговорил мой школьный собрат, – но пока все сказанное Вами принадлежит только к области возможного. Наука и вера из рук вон плохо ладят между собой в действительности.

– Я положительно утверждаю, – сказал священник, – что наука и вера чем глубже и правильнее будут входить, каждая – в свой предмет, одна в сущность постижимого, другая в силу непостижимого, тем внутреннее и нераздельнее будут они соединяться между собой. Вы, поклонник знания, скажите мне,

захотите ли Вы со своим знанием оставаться на одной поверхности познаваемого Вами, не входя в его основание и сущность?

– Сохрани Бог! – отвечал ученый собеседник. – Это значило бы для меня отказаться от подлинного знания.

– Но ведь каждая вещь, сила, закон, в области ли природы или мысли нашей, по своей сущности и последнему основанию представляют неисследимую для одного звания тайну. Каждый мыслитель или служитель науки волен по-своему представлять эту тайну, заключая ли ее просто в условиях вещества, безначально и бесконечно будто бы видоизменяющегося, как представляют материалисты, или в тождестве бытия и небытия, как Гегель, или в тождестве только внутренней нашей мысли и внешнего бытия, как Шеллинг, или признавая самое существо в каждом предмете внешнего мира духовным, как Кант, и так далее. Но в каждом из этих представлений все-таки остается таинственность, неисследимая в точности, следовательно принимаемая на веру³⁰. И это не только в области философии, но и во всех науках, из которых каждая имеет свою философию, – каждая или в своих началах, или в результатах держится своей веры, своей таинственной идеи или гипотезы. На что геология, роющаяся в земле, – и та по словам земли читает свою особую библию или священную книгу бытия и жизни мировой. Итак, видите, что знание, как скоро начнет вникать в самую сущность и коренное основание своего предмета, сейчас же переходит в характер веры, хотя бы только произвольной и темной, – именно веры во что-то *неведомое*, представляемое, по личному усмотрению или по направлению школы, в той или другой идее; подобно как, при чувственно-образном воззрении древнего мира, разные языческие нации представляли и чтили неведомое божество в том или другом виде идолопоклонства. Эта произвольная и темная вера, очевидно, нейдет к свету знания и потому рано или поздно будет подорвана во всех своих видах; не устоять новому духовному идолопоклонству, как не могло устоять древнее, господствовавшее во всем почти мире. Но в таком случае, – или надо будет нам сознательно и отчетливо совсем отказаться от знания предметов в самом их

существо и основании; или знание наше войдет в единение уже с истинной и светоносной верой в ведомого *Виновника* существа всяческих, Носителя и Властителя тайны бытия мирового по отношению и к добру, принадлежащему к Его благодати, и к злу, подъятому Им же на собственные рамена. И вот тогда каждая наука, изучение каждого предмета, его условий и сил, и законов – будет ли этот предмет относиться к внутреннему нашему миру или к внешнему, – окажется изучением именно творческих мыслей Христа Бога Слова, осуществленных и выраженных в этом предмете, определяющих его законы и условия, – изучением движения любви Агнца Божия, взявшего и вынесшего на Себе, с грехами всего мира, и обуславливаемые грехом все нестроения во всех предметах мира. Так само существо и основание каждого предмета будут глубже и глубже разоблачаться знанием, и тайна этого предмета будет переходить в ведомую истину; а в то же время специалист знания будет оказываться и специалистом веры. Да, мой дорогой собрат по делу истины! Если знание наше есть действительно знание, а не несчастное какое-то обольщение, то оно скоро ли долго ли должно узнать, что действительно обладает тайной бытия та вера, которая оправдывает это во все времена до настоящей минуты живым и свободным (не мертвым или механическим) властительством над бытием, своим внутренним единством и в древнем и в новом мире, неиссякаемой в том и другом жизненностью правды и добра, неизменной борьбой за истину против лжи всякого рода, непрестающими победами благодати над мирским злом, совершающимися через соучастие детей этой веры в энергии и расположениях и мыслях Святого человеколюбия Агнца Божия – Христа, пожертвовавшего собой за мир и готового поддержать, благоустроить, успокоить всех нуждающихся и обремененных в мире. Так-то знание...

– Может быть, – прервал мой товарищ о. Иоанна с каким-то странным нетерпением, – что знание, само по себе, пожалуй, и не прочь от веры; но вера, со своей стороны, как может без подавления свободы знания, без измены и своему характеру,

без насилия своему предмету, сойтись со знанием? Вот это разъясните мне.

– Как знание, – спокойно продолжал о. Иоанн, – само собой углубляясь в основание и сущность своих предметов, просто и естественно уже доходит до характера веры. и именно, при правильном и прямом своем направлении, до характера веры правой и светлой, а то, по крайней мере, веры в неведомое, веры темной и произвольной: так и вера, разумеется не темная и произвольная, а правая и светоносная вера во Христа, входя в самую силу своего неисследимого предмета, доходит уже просто и свободно до раскрытия в себе характера знания...

– Но как знать непостижимое? – прервал снова речь о. Иоанна мой школьный собрат также с нетерпеливостью, но на этот раз скорбной и грустной. – Вы сами твердо постановили, что непостижимое, по самому существу своей непостижимости, не может быть предметом знания, а может быть объято разве верой. После этого какая же возможность вере войти в характер знания? Если нельзя узнать никакого предмета в его существе и основании, без признания в нем более или менее на веру чего-то таинственного, неизъяснимого в точности; то сама вера-то в прямо непостижимое и вышешмирное, сколько бы она ни успела перед миром оправдать свою истинность, как могла бы дойти до характера свободного и отчетливого знания? Нет; скорее я дойду до безнадежного убеждения, что нам, видно, не суждено действительное знание. А признаюсь, и для бедного чернорабочего в деле знания горько было бы покончить тем, чтобы все существенное и основное (что и усиливаемся мы понять) принимать только на веру и чтобы собственное самостоятельное дознание променять на внешнюю букву догматизма. Вы скажете, что истинное откровение не мертвая буква, а дух и жизнь; но все-таки оно дается мне со вне, и с моей стороны только и есть место страдательной вере.

В словах добросовестного и искреннего труженика знания слышался мне трепет его за собственное дело, за такое дело, которому он отдался всей душой. Это возбуждало невольное и глубокое сочувствие к школьному моему собрату. Сколько духовно-трагического совершается, думалось мне, во

внутреннем соотношении и столкновении между верой и знанием в ищущих истины душах! Благословенны принимающие к сердцу тяжелые затруднения и запутанности подобных людей и с бережной осторожностью старающиеся их распутывать.

– Не бойтесь за дело знания, – стал говорить о. Иоанн с особым участием к моему товарищу, – оно не пропадет и никакого зла не потерпит от истинной веры. Вы теперь, действительно, принимаете более или менее на темную веру все самое существенное и основное в предметах Вашего знания, о чем мы только что рассуждали с Вами. А истинная, светоносная вера, или лучше, Сам Тот, Кто и есть средоточный предмет веры, ее Начальник и Совершитель, вот что говорит верующим, которые пребудут в слове Его и будут истинными Его учениками: «Узнаете истину и истина сделает Вас свободными» (Ин. 8:31–32), а не рабами внешней буквы. То правда, что Христова тайна есть непостижимая, вышемирная Божественная тайна. «Ибо, – как рассуждает Апостол ясно и убедительно для всякого, – кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1Кор. 2:11). Но это самое рассуждение и направлено у Апостола к объяснению именно того, как непостижимое, ведомое только духу Божию становится доступным для знания верующих или, сказать тоже другими словами, как вера в непостижимое и вышемирное может войти в характер знания. Вступите Вашей мыслью в область веры хоть только для собственного, самостоятельного дознания истины, которую хочу объяснить Вам (ведь для объяснения себе какой бы ни было области надо мысленное войти в эту область); и Вы сами увидите, в чем дело. Господь наш, единосущное, всежиздательное и вседержительное Слово Отца, носящее в Себе и всего, исходящего от Отца, Духа жизни Божественной, воспринял в единство Своего лица всю нашу человеческую природу, следственно и наши умственные или познавательные силы; и это именно ради нас человеков, или в пользу нашу, только бы принимали мы такую благодать верой живой и деятельной; и сила всего этого действует в верующих Самим Духом Божиим, Духом Святым, ведающим все

Божие. И вот, таким образом истинно верующие становятся сообщны уму Христову, приемля Святого Его Духа, *вся испытующего или постигающего, и самые глубины Божия* (1Кор. 2:16, 10). Так-то непостижимое и вышешмирное, чего не видал глаз, не слыхало ухо и что не приходило на сердце человеку, именно – тайна Христова и по ее внутреннему существу и по раскрытию ее силы и духа в человеке, в существе предметов и событий всего мира, во всех человеческих состояниях – первобытном, настоящем и грядущем, следовательно и во всех сокровищах премудрости и знания (Кол. 2:3), к какой бы стороне бытия, мысли и жизни ни относились последние, – все это благодатью Божией сделано доступным для постижения и знания верующих. Только бы они *не вотще принимали* такую *благодать* (2Кор. 6:1), пользовались бы ей или приводили ее у себя в живое движение и действие по делу знания. И тогда они, по прямому свидетельству слова Божия, «могли бы со всеми Святыми постигнуть, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превышающую разум любовь Христову, чтобы исполниться всей полнотой Божией» (Еф. 3:18–19). Вот как вера, при всей непостижимости своего предмета, входит в характер знания! Тут вера и своему характеру не изменяет: потому что собственно вера-то, усвояющая себе Христа и неотступно Его держащаяся, чрез это и достигает характера знания умом Христовым. Не подавляется и свобода знания: потому что, напротив, *идеже Дух Господень, ту свобода* (2Кор. 3:17), царственная свобода самого Господнего Духа. Не допускается и насилия непостижимому предмету: потому что безмерная его «широта и глубина и высота и долгота» чем более будут постигаемы, тем более будут сознаваемы в своей безмерности или беспредельности.

О. Иоанн остановился, закончив развитие своей мысли. Но товарищ мой молчал, приметно вдумываясь в слышанное. Желая, конечно, пособить и дать время ему хорошенько надуматься о раскрытых уже сторонах глубокого духовного предмета, о. Иоанн снова заговорил:

– Мне хочется прочитать Вам точные слова Апостола Павла, – сказал он, беря со стола и развертывая книгу нового завета, – как он, в силе самого слова Божия, рассуждает о говоренном нами. Надеюсь, что это повторение Вы не сочтете излишним. Прислушайтесь. «Чего не видал глаз, не слышало ухо и что не приходило на сердце человеку, то... нам Бог открыл Духом Своим; ибо Дух все постигает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает кроме Духа Божьего. Но мы приняли... Духа от Бога, дабы знать, что даровано нам от Бога». Таким образом, добрый мой, и происходит та властительная в деле мысли свобода и высота человека, сообщная Духу Божию, что этот истинный – «духовный» судит обо всем, – продолжает Апостол, – а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень? А мы имеем ум Христов». (1Кор. 2:9–16).

– Позвольте и мне со своей стороны, – сказал я, видя продолжающуюся задумчивость приятеля и желая воспользоваться этим для разрешения моих вопросов, – высказать два недоразумения, по обсуждаемому великому предмету. Во-первых, Духу Божию действительно принадлежит постигать все, и глубины Божии; но ведь это Дух Божий, Дух Святый, а не наш грешный человеческий дух, который трудится в деле знания или науки. Во-вторых, если наш дух и в деле науки может действовать сообщно Духу Божию, то, признаюсь вам, страшно во всех запутанностях и изворотах научного лабиринта ходить среди посядающего недостойных Божественного огня...

– Именно на эти два затруднительные пункта, – отозвался на мои слова о. Иоанн с особенным удовольствием, надо нам обратить внимание, прежде чем перейдем к развитию дальнейших мыслей наших. Что касается до первого пункта, надо нам помнить, что Духом Божиим, сообщаемым только ради Христа человеку верующему, действуют или совершаются в последнем дух и сила того, что совершил Христос Сын Божий в домостроительстве Своего вочеловечения. Так как Христос, единосущный Сын Божий, принял ради нас в единоличное

соединение с Собой наше человеческое естество, то и Дух Святой так усваивает Себя нам верующим, что, по слову Божию, уже все равно сказать: от лица нашего *вопиет* в нас к Отцу Небесному, Дух Сына Его, или мы сами этим Духом *вопием* к Отцу: *Авва Отче* (Гал. 4:6, Рим. 8:15). Тоже самое и по отношению к знанию: то представление и выражение о действии в нас Святого Духа, что Он вся испытует, равняется в слове Божиим мысли и выражению о самом общем Духу человеку, что Он *востязует* вся (1Кор. 2:10–15). Я думаю, что этого и довольно относительно первого затруднения, что иное дело – дух человеческий и иное действие Самого Духа Божия; в том-то и раскрывается щедрость благодати, действующей Святым Духом, что *прилепляющийся Господеву един Дух есть с Господом* (1Кор. 6:17). Относительно другого затруднительного пункта, мне прежде всего само собою приходит на память и мысль, как древний Израиль, находясь при Синае, где он всенародно слышал глас Бога *из среды огня*, говорил своему вождю и Боговидцу с трепетом: *и ныне да не измрем, яко потребит нас огонь великий сей, аще приложим мы слышати глас Господа Бога нашего ктому... Приступи ты, и послушай вся, елика к тебе речет Господь Бог наш, и ты речеши к нам. Господь услышал эти слова своего народа с благоволением и подтвердил их своим словом: право вся, елика глаголаша. Кто даст еже быти тако сердцу их в них... во вся дни?* (Втор. 5:25–29).

– Ну вот, – подхватил мой все еще задумчивый товарищ, сейчас как о. Иоанн закрыл Библию из которой он прочитал приведенные тексты, – вот видите, что «все востязующим» знанием, о котором Вы говорили, могут обладать, и по вашему воззрению, только Боговидцы Моисеи, а толпа всенародная сознает (и само небо признает это правым) недоступность для себя подобного знания. Итак остается нам, не Боговидцам, а только народной толпе, или независимо уже от веры идти путем знания, или иначе совсем отказаться от знания. Так ли?

– Слишком скороспешное заключение, – отвечал спокойно о. Иоанн, – и зараз две крайности – безнадежность достигнуть истинного знания, и самонадеянность – пуститься путем знания

только наудачу! Отчего это у нас Русских, скажу кстати, происходят эти крайности – какая-то безнадежная унылость, как будто тяготеет над нами роковое отчуждение от жизненного добра, принадлежащего как будто только исключениям, и в то же время самая дерзкая и мечтательная самонадеянность – идти ко всему существенно важному для нас без серьезной заботы и необходимых для того способов? Эти крайности совместно выражаются у нас Русских и в различных видах нашего философствования, и в драме, и в повести или романе. Мудрено найти в современной нашей литературе что-нибудь не слишком легкое и пустое, в чем бы не просачивалась хоть капля этого яда – отчаянного недовольства и отчаянной же самонадеянности. Не оттого ли это у нас происходит, что мы, ища добра истины в живой их силе, не хотим наперед выяснить себе того, что живая сила добра и истины, искомая для какой бы ни было области, и есть именно духовный огонь? Легкомысленно или только неосторожно, неосмотрительно приступая к этому огню, мы естественно обжигаемся до жестокой боли, которая, усиливаясь от небрежности ухаживать за собой и от повторения обжогов, и производит в нас невольное безнадежие и ядовитое недовольство. А между тем подобные неудачи раздражают нас и тем возбуждают какую-то отчаянную стремительность достигнуть живой силы добра во чтобы то ни стало, не озабочиваясь необходимыми для доступа к этому огню способами и только рискуя обратиться наконец в обгорелую головню. Нас не вразумляет замеченное всеми в последнее десятилетие то роковое наше несчастье, что многие лучшие у нас таланты, или такие деятели мысли, слова, искусства, которые могли бы, по-видимому, с успехом вести нас к лучшему, вдруг сгорают или отнимаются у нас преждевременно. Право, пора бы, давно бы пора нам Русским взяться за ум и рассудить, что, если хотим овладеть этим огнем – живой силой добра и истины, то как бы не обжечься до жестоких болей и, пожалуй, до смерти. Вот, и ветхом завете умели рассудить: *кая плоть, яже слыша глас Бога жива, глаголюща из среды огня, якоже мы, и жива будет?*

– И рассудив подобным образом, оставить бы нам все дело дознания живой силы добра и истины какому-нибудь Моисею, а самим слепо довериться водительству подобных людей, если не как добрые Израильтяне, то хоть как Римские католики вверились папе?! К этому что ли, ведете Вы речь, если я понимаю Вас? – так проговорил мой товарищ с разгоревшейся снова нетерпеливостью и вместе горечью. Явно было, что больное у него место было не неверие, а фальшивая мысль о несовместности знания с верой, о тиранически будто бы оскорбительном и обидном стеснении знания верой; и уже эта мысль, глубоко внедрившаяся в его душу, приводила любознательность его к разладу с верой.

– Не будьте, прошу Вас, скоропоспешны в Ваших заключениях, – возразил о. Иоанн. – Наш новозаветный Моисей один для всех нас, Сам Христос Бог, Слово во плоти. Моисей, которого в приведенном мной случае Израильтяне сами избрали в посредники между собой и Богом, давал им предощутить в своей личности, отразившуюся и действующую в нем, благодать этого единого существенного Ходатая между Богом и человеком – Христа Богочеловека. Предъявление в Моисее (ожиданной еще в те времена) благодати Господа Иисуса Христа было, при том же случае, и прямо протолковано Израилю словом Божиим чрез Моисея. Вместе с выражением Божия благоволения к тому, что народ избранный сам сознал и ощутил настоятельную нужду для доступа к Богу истины и всякого блага – в посреднике, указан был от Бога грядущий истинный посредник между Богом и человеком, в лице Моисея только еще предъизображаемый. Прочитаем в Библии как Моисей говорит своему народу об этом откровении: *«Пророка от братии твоея, яко же мене, возставит тебе Господь Бог твой, того послушайте. По всему, елика просил еси от Господа Бога твоего в Хориве в день собрания, глаголющи: да не приложим слышати глас Господа Бога нашего, и огня великаго сего не увидим по сем, да не измрем. И рече Господь ко мне: право вся, елика глаголаху к тебе: и вдам слово Мое во уста его, и возглаголет им, яко же заповедаю ему: и человек той, иже не послушает словес его, елика возглаголет пророк оный во имя*

Мое, Аз отмишу от него» (Втор. 18:15–19). Христовы Апостолы словами этого самого откровения, данного чрез Моисея, убеждали самих Израильтян именно к вере в Господа Иисуса Христа (Деян. 3:20–23). Итак и у ветхого Израиля вера, ищущая посредника, направлялась в существе дела к предъизображенному Моисеем Христу – единственному и вечному Ходатаю Бога и человеков. Вот теперь и можно, без затруднения и замешательства нашей речи, удовлетворить и Вас (при этом слове о. Иоанн обратился ко мне) в Вашей страшливости, как в деле мысли и знания ходить постоянно среди Божественного огня, – и Вас (при чем о. Иоанн обратился к моему товарищу) в Вашем нетерпеливом подозрении и опасении какого-то тиранического стеснения мысли и знания со стороны веры. Позвольте заняться, сначала разрешением первого возражения, которое и высказано прежде выражения Вами Ваших недоумений?

Мой товарищ при этом вопросе, обращенном именно к нему, вспыхнул, извинился в своей нетерпеливости, запутывавшей нить разговора новыми вопросами, прежде решения поднятых еще прежде вопросов, и сам со своей стороны просил о. Иоанна обратить внимание сначала на справедливое опасение самой веры, как, в самом деле, грешным плотным людям по-ангельски – свободно и безопасно обращаться среди огня Духа Божия...

– Истина, которую обнять стремится наша мысль и знание, -начал снова говорить о. Иоанн, – истина, взятая в самой своей силе, в живом существе своем, есть действительно огонь, пылающий от Духа истины. Судите обо всем в силе Духа Святого, *вся испытующего, или постигающего, и глубины Божия*, – это и значит раскрывать в себе дух и силу Синайского Богооткровения, когда Израиль слышал глаголы Самого Бога *из среды огня*. Но при этом же самом Богооткровении Израилю, справедливо трепетавшему *измерет* от этого поядающего огня, предуказан был и дающий безопасность от этого Божественного огня Ходатай Бога и человеков, Христос Господь, Который, по Своему Божеству, выражает или раскрывает в собственной личности всю мысль, волю и сущность Бога Отца, а по Своему

человечеству снизошел до среды *братии нашей* или братства с нами, до восприятия нашей человеческой мысли, воли и всего естества, до самой нашей плотяности, до понесения на Себе и виновности всех грехов нашей мысли и воли, наших плотских недугов и самой смерти. Итак чего же нам бояться с Самим Христом, когда Израиль нашел безопасность для себя даже в образе Христа – Моисее, только отчасти и притом не прямо предъявлявшем Христову благодать? Только бы нам неотступно и верно держаться Христа; в Нем мы имеем доступ ко всему, и к глубинам Божиим, и не составляет для нас препятствия или опасности при этом ни наша тварная ограниченность, ни бренная плотяность и немощность, ни даже греховная виновность наша; все это принято Спасителем нашим на Себя. Притом в напрасной рабской страшливости пред огнем Духа Божия, куда бы мы со своей мыслью убежали от огненного Его влияния на область знания? Ведь, Духом Святым раскрывается и действует сила именно Христова Богочеловечения и Боговоплощения ради нас грешных людей, для спасения мира от всякого губительного зла и для сообщения ему всякого спасительного добра. Сила эта объемлет животворно всю область добра и простирается потреблением на всю область зла, и потому обуславливает то положительно и содейственно, то попустительно и осудительно – всю область вещей, событий и движений мирских, всю область дел и обстоятельств человеческих. И нашей мысли, в какой бы области знания она не носилась, остается с Давидом благодарно взывать к Господу: *Камо пойду от Духа Твоего; и от лица Твоего камо бегу? Аще взыду на небо, или в высшую область жизненного добра, – Ты тамо еси, всякое действительное добро принадлежит полноте Твоей благодати. Аще снйду во ад, в эту темную область зла, – Ты тамо еси, возмешь грехи мира. Аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, моря даже всемирно-житейского, и тамо рука Твоя наставит мя и удержит мя десница Твоя, то полагая и устрояя добро, то попуская и отреявая зло. И рех: еда тьма поперет мя? Но и ночь самой смерти, как принятой Тобой за жизнь всего мира, есть для меня уже просвещение в сладость*

мою (Пс. 138:7–11). Если же мысли нашей нельзя и убежать от огненосных влияний Духа Божия ни в какую область знания; то, очевидно, несравненно безопаснее будет для нас иметь это в неопустительном благоговейном внимании и сознании, нежели ходить около огня без всякой бережности и даже без сознания, что ходишь среди огня. Конечно, может кто-нибудь, по неведению своему, и не признавать Христа своим управляющим началом в деле мысли и знания; но и относительно такого человека Сам Христос всё же есть, по силе и действию Св. Духа, Господь, заправляющий его мыслью, в двух важнейших отношениях, – во-первых в том, что светит и во тьме его неведения Своим светом, светом всего жизненного и доброго, насколько допускает это человек чрез свою любовь к истине, во-вторых в том, что осуждает его на неведение и заблуждения, насколько человек не любит и не выдерживает истины. А что касается в особенности нас православных, в крещении облеченных в Самого Христа, в миропомазании запечатленных в силах душевных и в органах телесных Св. Духом, в причащении питающих в Себе Божию во Христе жизнь Божественным хлебом и питием – телом и кровью Самого Господа, и т.д. – мы истинно *вотще принимали бы* такую великую и многообразную благодать, когда бы затруднялись и боялись, или не умели и не хотели, даже в благороднейшей стороне нашего духа и жизни, – в мысли, в знании, держаться прямо и сознательно Самого Господа, как управляющего нами начала по силе Духа Своего Святого, *вся постигающего, даже и глубины Божия*. Чрез это самое мы и показали бы свою неосторожную и небережную до бессмысленной дерзости безбоязненность к Божественному огню Духа Божия. А напротив, держась Господа и Святого Его Духа в деле мысли и знания, мы именно раскрыли бы в себе дух прекрасного настроения Израильтян, ощутивших необходимость Христова посредничества (предъявленного им образно в лице Моисея) для доступа к Богу истины и всякого добра и за это удостоившихся такого благоволительного слова Божия: *Кто даст еже быти тако сердцу их в них..., да благо будет им, и сыном их во веки* (Втор. 5:29). Видите, – заключил о. Иоанн,

обращаясь ко мне; – дело идет совсем наоборот Вашим боязливым опасениям. Надеюсь, что Вы удовлетворены.

– Да! – отозвался я, – вполне убеждаюсь, что и самый страх Божественного огня, посягающего на достоинство и особенно дерзость, требует того, чтобы дело мысли и знания каждому, трудящемуся над этим делом, вести именно с нашим новозаветным, как говорите Вы, Моисеем, Богочеловеком Христом, направляясь и одушевляясь Духом Его Святым.

– Именно каждому! – начал опять говорить о. Иоанн, смотря на моего товарища. – Господь, сделавшись человеком для всех людей и принявши смерть за всякого грешного человека, дает Себя в силе Своего Святого Духа всем и каждому, – только бы принимали Его и с твердой верностью Его держались; и это так же точно по отношению к делу мысли и знания, как по отношению и к другим сторонам нашего существа и жизни. И потому Вы напрасно испугались, что будто в христианстве большинство устраняется от участия в благодатном жребии – судить обо всем или испытывать все и присуждаются или к слепому, страдательному доверию и покорности меньшинству духовных вождей, или в противном случае к безблагодатному уже труду грешной мирской мысли. По западному одностороннему разумению христианства, оно пожалуй и так. Но, по истинному или православному смыслу христианства, над целым или всенародным составом нового Израиля должно исполниться желание Моисея: *и кто даст всем людям Господним (быти) пророки, егда даст Господь Духа Своего на них (Числ. 11:29)*. Такая благодать, сколько от нее самой зависит, и открыта в новом завете решительно всем приемлющим, мужчинам и женщинам, старцам и молодым людям, по точному смыслу исполнившегося с сошествием Св. Духа пророчества: *и будет в последние дни, глаголет Господь, излию от Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынове ваши и дочери ваши: и юноши ваши видения узрят, и старцы ваши сония (пророчесственные сны) видят (Иоил. 2:28, Деян. 2:17)*. От самодеятельности веры нашей зависит воспользоваться или нет, такой благодатью. Мы, служители алтаря, призваны и необходимы для послужения благодатью, нам данной, именно

тому, чтобы Господь, в силе Своего Духа, был Сам со всеми и каждым в новом Израиле, и чтобы таким образом каждый в своей области имел уже нестесняемую *повелителями и приставниками* (Гал. 4:2) духовную в Господе самостоятельность, и это столько же в отношении к знанию, сколько и к каждой деятельности или работе человеческой. Вам, рожденным и живущим в среде православия, можно и должно знать христианство и духовенство в истинном смысле; довольно для людей, находящихся в положении, например, Бокля, разуместь христианство и духовных его вождей, судя по западным односторонностям и средневековым заблуждениям. В среде православия истинно только одна неразумная ревность по вере ли, или по знанию, может допускать мысль о стеснении и подавлении нашей мысли Тем, Кто, взяв со всем человеческим естеством и нашу человеческую мысль, чрез это сделал дело человеческой мысли личным Своим делом, понесши на Себе и всяческую несостоятельность нашей мысли, и Кто, будучи Сам истиной, осуществляющей во всем (в допущении и самого зла) собственные свои мысли, для того и в самый мир наш *приходил, да свидетельствует истину* (Ин. 18:37) и совершит торжество света ее над тьмой лжи и неведения. В особенности требовать или опасаться, в среде православия, деспотически стеснительного для мысли и знания вмешательства духовных значило бы понимать призвание духовных или священства совсем не по благодати и духу нашего Господа, Который как и произошел плотью не из привилегированного для священства рода, а из общенародного состава (Евр. 7:14), так и готов Своим Духом по вере вселяться в свободно ему открываемые сердца и вообще в мыслящий дух не одного духовенства, но (по служению самого же последнего) и все мирян (Еф. 3:17–18). Имея дело только с «доброй волей» других людей, мы, духовные обязаны беречь духовную их самостоятельность, под опасением, в противном случае, несчастной возможности коснуться стеснительно и принудительно самого Духа Господня.

– Но самое это сверхъестественное вмешательство Духа Господня в дело мысли и знания, – возразил мой товарищ, –

впрочем без жестокости, а только с грустью, – разве не есть стеснение и даже подавление нашего духа? Признаюсь Вам, что этот вопрос несравненно больше меня тяготит и мучит, чем только что решенные Вами мои недоразумения. Эта сверхъестественность, исключая или насилующая обыкновенный естественный порядок в деле мысли и знания, и потому открывающая в этом деле широкое место и непрестанные поводы, если не допускать всевозможные иллюзии, то, по крайней мере, подозревать их, – это, поверьте, само по себе есть совершенный разлад между верой и знанием. Вы знаете, батюшка, что знанию, благодаря именно направлению своему к естественности и освобождению от гнёта средневекового супернатурализма, сделало в новейшие времена такие огромные успех, изобретения и открытия и вывело на чистую воду столько иллюзий, путавших человечество.

– Вы судите о естественном и сверхъестественном, – сказал о. Иоанн, – по чужим, западным опытам и понятиям. Конечно, и их надо нам иметь во внимании, но только для того, чтобы не повторить чужих ошибок и запутанностей, или попыток уже изведанных в своей несостоятельности. На западе естественное и сверхъестественное трактуются, действительно, как такие противоречивые взаимно области, из которых одна другую непременно исключает и насилует. Это особенно выпукло и резко выведено наружу именно вот в этой книге Бокля (при этом о. Иоанн указал на оставленную им на столе книгу «Историю цивилизации в Англии», за чтением которой мы нашли его). Западная теория о естественном и сверхъестественном такова: – Порядок естественный, обыкновенный, идет по естественным законам, которые могут быть выясняемы и с выяснением которых человек может предвидеть, что должно быть и впереди по этому порядку, а чрез это он приобретает умение сам предотвращать или готовить в будущем то или другое. Порядок сверхъестественный идет непосредственно по воле и силе Божией, пред которыми человек должен благоговеть, успокаиваясь касательно и настоящего и будущего в вере без

всяких вопросов и исследований, не прекословя и не мешая Духу Божию. Оттого-то преклоняться пред порядком сверхъестественным, или признавать господство его над миром, для западного человека и мыслителя значило бы уже считать изучение и выяснение естественных законов обыкновенного порядка вещей Богопротивным делом. «Пока люди, – говорит Бокль, достойный представитель западного воззрения, – приписывают движения комет непосредственному действию перста Божьего и пока они веруют, что солнечное затмение есть одно из выражений Божьего гнева, до тех пор они не могут сделаться виновны в Богопротивном притязании предсказывать такие сверхъестественные явления, т.е. не осмелятся исследовать причины этих таинственных явлений» (Истор. Цив. Англ. стр. 393). И наоборот, приступить к исследованию простых естественных законов порядка вещей для западного воззрения и мысли нельзя иначе, как подкапываясь сомнением и скептицизмом под веру в сверхъестественное. «Без сомнения, – говорит также Бокль, – не может быть исследования... пока не родилось сомнение, до тех пор не начинается и изучение... Вот он тот скептицизм, одно имя которого приводит в священный ужас невежд, потому что он затрагивает милое им суеверие; потому что он налагает на них священную обязанность исследования; потому наконец, что заставляет даже самые ленивые умы задать себе вопрос, действительно ли так есть, как обыкновенно полагают, и всё ли то в самом деле справедливо, чему с самого детства учили их верить (Там же стр. 381–382). И вот, таким образом, по западным воззрениям и опытам неминуемо идет такая странная борьба между успехами знания и действиями веры, что, насколько знание не успело выяснить то или другое, настолько вере еще можно относительно этого прибегать к Божией благодати, а с успехами знания становится уже излишним подобное действие веры. «Как наука, – пишет Бокль в своей книге, – до сих пор не умела открыть законы дождя, то люди в настоящее время не могут предсказывать его задолго вперед, а это заставляет верить, что дождь происходит от действия сверхъестественных сил, и мы до сих пор видим примеры

молитв, приносимых в наших церквах о ниспослании дождей или прекращении их. Такое воззрение может со временем измениться подобно тому, как исчезает чувство благочестивого ужаса, с которым наши предки смотрели на появление кометы или на приближение солнечного затмения» (Там же, стр. 428). Вот по каким представлениям Вы судить о сверхъестественном и естественном, получая в результате такого суждения и представлений неизбежный разлад между верой и знанием! Но эти представления – односторонние, западные, а не наши православные. Они могут иметь место в среде православия лишь настолько, насколько дух западных односторонностей приражается к православным.

– Как же *Вы* представляете себе естественное и сверхъестественное? – спросил о. Иоанна мой собрат.

– По православному представлению, самое естество сущих или существенная сила естественного порядка вещей вообще таковы, что осуществил и *носит всяческая глаголом силы Своея* (Евр. 1:3). Бог Слово, выражающий или проявляющий в Себе всесущество Отца Своего, и уже от сложения мира принявший на Себя дело человеколюбивого самопожертвования за всевозможные греховные нестроения этого мира (Откр. 13:8). А потому и истинное чудо или все сверхъестественное, будучи открытым действием и проявлением в мире того же Бога Слова, и притом совершаемым всегда в Духе Его самопожертвования за мир потребительного для мирского зла, – никак не исключает, а напротив раскрывает в себе существенную силу естественного же порядка вещей. В чуде открыто действует то, что сокровенно есть вообще в естестве *сущих*, именно – мысль, воля и сила Христа Бога Слова и вместе Агнца Божия, в Своей любви к миру закланного за мир уже от его сложения. Таким образом, по православному представлению, так называемое естественное и вышеестественное. в существе дела, не только не исключаются и не насилуются взаимно одно другим, но напротив поддерживают и выясняют друг друга. Все существо сущих носимое глаголом силы личного Божия Слова, служит для человека порукой за простоту и естественность для силы того

же всезидительного Слова совершать все Ему угодное по премудрой и всеправедной Его благодати; а проявления чудодейственной, властительной над естеством, силы Божией выясняют, – чем существенно обуславливается и держится естественный порядок вещей. Потому-то православное воззрение на вышнееестественное и естественное ведет совсем не к тем результатам и последствиям, к каким приводит западное воззрение, а решительно к противоположным. Так, признавая во всем естественном и вышнееестественном, один безраздельный порядок любви Отца Небесного, открытой в Его Слове – Сыне и именно раскрывающей дух и силу самопожертвования Сына Божия за мир, предлагающей нам во всем сокровища своих определяющих или допускающих то или другое мыслей, воли, силы, даров, мы всеми этими сокровищами стали бы преступно и неизвинительно пренебрегать, если бы не захотели и не старались всемерно и разносторонним образом их познать и употребить себе на пользу. И вот уж не подкапывающееся под веру сомнение, а именно вера и любовь к истине, всем заправляющей и во всем раскрывающейся, движут нас к тому, чтобы, по возможности, все исследовать и узнавать с строгой точностью, тщательностью и осмотрительностью. Ведь исследуя и естественные законы и порядок вещей и событий в мире, мы изучаем, в существе и основании дела, мысль и волю Господа нашего, не нас или не мир вообще делающего жертвами своих определений и попущений но Собой пожертвовавшего за нас и весь мир. Была бы потому страшная неблагодарность и самое дерзкое бесстрашие не только намеренно, хотя бы и с доброй целью, перетолковать в чем-либо истину, но и небрежно чего-либо в ней не досмотреть, хотя бы это была простая истина фактов и физических опытов. С другой стороны, в исследовании законов явлений природы и истории изучая, в существе дела, именно мысль и волю Господа, дающего нам (по силе Своего самопожертвования ради нас) усвоить всего Себя, мы чрез это направляемся к тому, чтобы тем охотнее и увереннее прибегать за всем потребным для нас к благоволению Отца Небесного, к благодати нашего Господа. Это последнее не противоречит, а

напротив равнозначуще тому, чтобы дознанием естественного закона явлений, или, что тоже, уяснением выраженной и осуществляемой в этом законе Творческой мысли и воли, пользоваться нам для предусмотрения самого будущего, для предотвращения или исцеления зла и для приготовления или развития добра. Ведь и в этом случае мы изыскиваем, берем и употребляем то или другое из сокровищ собственно милости и благодати Отца, к которой прибегаем и на которую полагаемся и в своих молитвах о том или другом, как-то: о дожде, о прекращении болезни, и проч. и проч. Вот каков и вот к каким результатам ведет не односторонний западный, а прямой и правый, одним словом – православный взгляд вообще на естественное и вышеестественное. Что касается в особенности нашего человеческого духа, – он так и создан, чтобы ему благодатно житье Духом Божиим и чрез это удерживать и раскрывать в себе Богоподобное достоинство. Такова норма нашего духовного естества. Поэтому насколько человеческий дух вообще, или ум в особенности, серьезно и честно стремится к истине и достигает до нее, т.е. насколько действует правильно и здраво, настолько он дал направить себя к истине Духу истины, Духу Святому, приемлемость к Которому сродна или естественна как вообще человеческому духу, так и в частности уму. Следовательно и наоборот, насколько человек своим духом вообще и умом в особенности отдавался бы прямо Христу Богочеловеку и в нем Духу Святому, настолько дух и ум этого человека в истинном своем Богоподобном достоинстве, действовали бы прямо по норме своего естества, правильно и здраво.

– По вашему выходит, – весело сказал мой товарищ, – что и в направлении мысли и знания к естественности, рассеявшем множество средневековых иллюзий одностороннего западного супернатурализма, немало воздействовала таинственная благодать Духа Божия.

– Непременно так, – отвечал о. Иоанн, – насколько верность и любовь к истине поднимала умы к норме их естества. Рассеются всякие иллюзии и новейшего одностороннего натурализма, когда в направлении мысли и

знания откроется сознательное внимание и следование Духу истины, которыми одними живится человеческий дух и ум, по требованию и свойству самой природы своей, – когда, изучая законы и порядок естества сущих, будем в этом самом изучать прямо творческую и вседержительную мысль *Носящего всяческая глаголом силы Своея*.

– Скажите пожалуйста, – с живостью произнес мой приятель, – как Вы, с такими представлениями, читаете Бокля, имеющего в виду совсем другие понятия о тех же предметах? Извините меня, что я подобными вопросами задерживаю ход нашей беседы.

– Думаю, – отвечал о. Иоанн, – что читаю Бокля с пользой. Предоставляя стрелам Бокля поражать те односторонние западные понятия и верования, которые он имеет в виду, я по его исследованиям изучаю именно зиждительную и мироправительную мысль Бога Слова, подчинившую жизнь и развитие человека таким или другим условиям. Это вообще! В особенности же, доказывает ли Бокль, что коренное усвоение успехов человечества есть знание? Это для меня значит, что и в самом деле, только бы человеку разъяснить сокровища любви Отца всевышнего, открытые в Его Сыне всюду – в самом допущении даже зла в мире, и научиться употреблять в дело, обращать в оборот каждый не только талант, но и динарий, каждую лепту из этих сокровищ, – ведь обосновалась бы и предназначалась бы чрез это у нас, во всех средах жизни, жизнь истины и добра бесконечного. «Вот жизнь вечная, взывал наш Господь Своему Отцу, чтобы *знали* Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). Выясняет ли Бокль, что в истории новейших времен, не с односторонними западными религиозными движениями и интересами, а с заботливым, умным и энергическим вниманием к насущным нуждам и пользам жизни общественной и частной, соединяются обыкновенно лучшие, прочные успехи народного развития? В этом и нахожу обнаружение и оправдание такой современной потребности и восприимчивости человека, чтобы истину Христову проводить во все слои жизни действительной, применяя благодатную ее силу и свет к самым насущным

нуждам и пользам человеческим. Выводит ли Бокль наружу, что преобладание и усиление западного духовенства везде вредит цивилизации, а напротив с самостоятельностью светских мыслителей и деятелей цивилизация идет скорым и верным шагом вперед? Тут я вижу предощущение и предначатие и на западе той, принадлежащей православию, благодати, чтобы и в мирских деятелях и мыслителях быть Самому Христу, чтобы потому оставаться им в неприкосновенной духовной самостоятельности, чтобы этому не мешали, а напротив служили духовные на общее благо и здешней и будущей жизни. «Истинную таинственность»³¹ и Бокль признает неисключаемой в бытии и природе чрез выяснение их законов; я дополняю Бокля тем, что эта таинственность имеет для меня уже *ведомый* и достаточно оправданный смысл именно Христовой тайны. Святыня и неприкосновенность внутреннего «тайного завета человека с его Богом»³² также признается Боклем, настаивающим во имя этого самого на веротерпимость, которая у него впрочем не возвышается над индифферентизмом: со своей стороны я держусь одного истинного для всех завета с моим и всеобщим Богом, именно завета Христова, светящегося более или менее и во тьме не совсем правомысленных и даже просто лживых верований, но не позволяющего мне безразлично и равнодушно относиться к стеснению или отрицанию в этих верованиях Христа, единственного для всех Спасителя, но и ревновать за Христа внушающего мне не иначе, как по духу Самого Христа, Который насильно не навязывается никому, и подорвал в мире зло и ложь чрез собственное страдание и смерть за других, а не других муча и убивая... Вот Вам мой ответ на Ваш вопрос, как я читаю Бокля! В заключение замечу Вам, что и Ваш вопрос не уклонил нашей беседы в сторону от дела, а напротив дал мне только прямой повод наглядно, живым примером объяснить Вам, как просто и естественно интерес веры и интерес знания, по самым их предметам, сходятся у меня в один великий интерес разностороннего раскрытия и усвоения моему уму и сердцу всеобъемлющей истины и благодати Христовой.

Лицо моего товарища светилось выражением полной удовлетворенности. О. Иоанн протянул было руку к лежащему на столе православному катехизису, чтобы прочитать в нем уже о различии веры и знания по их источнику и основанию. На этот раз я задержал ход беседы.

– Позвольте, позвольте! – спешил я заявить один запрос со своей стороны. – В сущности и основании естественности Вы, батюшка, указываете ту же, только сокровенно или таинственно действующую силу, какая открыто проявляется в сверхъестественности; в этой последней, говорите Вы, торжественно заявляет себя сила, воля и мысль Того же, Кто и в первой *носит всяческая глаголом силы Своея* Своей волей и мыслью. Потому область естественная и область вышеестественная, говорите также Вы, в существе дела составляют одну всеобъемлющую область любви Отца небесного, открытой в Его Слове и Сыне и действующей Св. Духом; а потому, говоря строго, нельзя допустить и тени какою-нибудь разлада между верой, принимающей сверхъестественное, и знанием, изучающим законы и порядок естественного. Это последнее в сущности есть изучение или раскрытие сокровищ той же любви Всевышнего, в которую верует первая. Так я Вас разумею, батюшка?

Отец Иоанн сделал утвердительный знак. Я продолжал:

– Хорошо бы оно было, если бы естественность удержалась в своей норме. А так ли это? Природа нашего духа явно болит и расстроена; нельзя, не перетолковывая дела против опыта непрерывного и всеобщего, не видеть болезни и расстройства вообще в доступном нашему наблюдению «*естестве сущих*», по крайней мере в земном естестве. Мысль творческая, значит, уже не выражается в этом естестве полным своим светом и силой; следовательно, и изучая естественный порядок вещей, мы уж не найдем живого и полного осуществления в нем высшей мысли, а потому не можем ее и узнавать в истинном ее значении и силе. Что Вы на это скажете?

– Прежде всего, – отвечал о. Иоанн, – скажу Вам по обычаю искреннее спасибо за напоминание о важной стороне дела. Извольте же теперь рассуждать. Во-первых, мысль

творческая и вседержительная, определяя бытие и норму естества сущих, обнимала и определяла тогда же и все возможные, и неизбежные с изменением условий, перемены этого естества, полагая основание этих условных перемен в самом существе и законах естества. Так, человеку предоставлено на волю быть верным или изменить норме своего естества.

Но само уж естество человека и подчиненных ему тварей устроено было так, или снабжено было таким внутренним порядком своего бытия, что, с неверностью человека норме своей, должна была последовать неминуемая бедственная перемена и в его всеобщем земном естестве. Это все именно так и определила Творческая мысль, осуществившая в естестве сущих. Ясно потому, что изучая естество сущих не только в его норме, но и с его переменами, происшедшими вследствие изменения условий, мы все же изучаем или следим определившую и обосновывающую все это Творческую мысль. Мудрено было бы угадывать мастера по совершенно испорченной и изломанной его машине, которая уж не следует данному ей от мастера порядку; но мир Божий в самых своих нестроениях определяется, и по такому своему состоянию, все же законами, данными и содержимыми Творческой мыслью, и остается таким или инаковым в силу Божия порядка, носимый в своем составе, силах и законах зиждительных Словом, а иначе не могущий и существовать. Есть в мире разрушительная сила злых направлений и дел; но она явилась и действует в силу того Божия порядка, что, по мере отпадения свободных созданий от Духа истины и жизни, в этих живых созданиях неизбежно открывается в такой же мере жизнь лживая и мертвящая, с переменной и сил их в такое же разрушительное направление. Есть в человеке кроме чутья к закону Божию, к закону истины и добра, *иной закон противувоюющ закону духовного добра* (Рим. 7:22–23): но этот худой закон открылся и действует на основании того, определенного Творческой мыслью, закона или порядка вещей, чтобы с закрытием или отсутствием света, была соразмерная тому тьма, с соответственным ей порядком или законом, и это равно и в

нравственном мире как в физическом. Таким образом и в явлениях и развитии расстраивающего естество зла все же совершается и действует порядок, определенный Божественной мыслью, которую, следя явления и развитие зла, и надо уразумевать или изучать. Это первое! Во-вторых, надо особенно иметь во внимании, что мир так и творим был зиждительным Словом, чтобы самому же Творцу Богу Слову быть пожертвованным за возможное и уже провиденное в мире зло, – Агнцем, Который потому и представляется в слове Божиим *закланным от сложения мира*. Поэтому естество сущих, в самой норме своей, было осеняемо и оживляемо духом Христовой тайны, духом самопожертвования Агнца Божия, на которое обрекал себя Создатель в самом раскрытии Своего творчества; и следовательно, без внимания к Христовой тайне, это естество не могло бы и в своей норме быть понято и разъяснено в истинной своей жизненности. И вот таким образом, следя и изучая мир и естество наше в самом расстройстве того и другого, только бы мы в силу Христовой, основной для бытия, тайны, не опускали при этом из вида, что сколько зависит от благодати самого Христа, всякое греховное и от греха происходящее нестроение наше и мирское, во всей безмерной своей тяжести, взято и вынесено Им – Агнцем Божиим, жизненный свет Которого светится и в темных, наших и мирских, нестроениях, светится для рассеяния тьмы и для благоустройства нестройностей. И тогда мы будем изучать и познавать дух и силу собственно Христовой тайны, изучая мир или вообще естество сущих в самых его нестроениях. Другими словами: мы будем изучать и следить раскрытие и осуществление Божественной, всемогущей воли и мысли о естестве сущих, не только определившей его норму и вместе самые нестроения, происходящие в нем с переменой условий, но и воссоздающей его из самого расстройства в вечнопрочную стройность – с отвержением всего расстраивающего. В-третьих и наконец, верой усвояя себе Христа Сына Божия и становясь в нем общими Святому Духу, мы чрез это возвращаемся уже в норму своего бытия, насколько разумеется истинно принимаем и в живой силе удерживаем Христову благодать. И таким

образом мы во Христе становимся снова, как в Эдеме, могущими ощущать и сознать во всем осуществление и выражение зиждительной и воссозидательной мысли Отца Небесного, открытой в Его личном Слове и действующей Святым Духом. Мы, правда, во многих отношениях и, между прочим в отношении к знанию, снова потеряли, уже и возвращенный нам, рай. Этому несчастью в христианстве послужило первоначально направление возглавлять себя и свое дело, вместо самого Господа, в простых грешных людях, как в Господе, – направление, догматически выразившееся в римском католичестве, но действующее не в одном этом католичестве. Когда, например, и в наших училищах, все равно духовных и светских, и по учебным предметам, священным или гражданским, наставник не имеет в своем ощущении, сознании или вообще в виду, что изучается и разъясняется в знаниях всеобъемлющая мысль Господа, Который есть Сам и один Наставник, располагающий человеческими умами и сердцами: то ведь в существе и силе дела, и маленький мир школы дает у себя место папству своего рода, которое рано или поздно вызовет и протесты против себя, ведущие однако все же не к Господу и следовательно только более расстраивающие дело знания. Надо нам возвратить знание в благодатный эдем; нам, православным Русским, это пока удобнее и проще, нежели народам запада давно неправомысленного. Будем и в видимом и постижимом изучать невидимую и непостижимую, но для Духа, нам данного, удобоиспытываемую в своих глубинах мысль Божественную, которая таким образом и становится безраздельным предметом веры и знания.

Я удовлетворился решением заданного мной вопроса и просил о. Иоанна продолжить беседу относительно других видов различия веры и знания.

– Об этом уже излишне, – говорил о. Иоанн, – много распространяться. Когда принято или дознано, что вера и знание, различаясь по предмету, тем не менее и в отношении к предмету не исключают друг друга и удобно совмещаются между собой и даже, в правильном своем направлении, непременно должны соединяться: то этим уже предполагается и

то, что вера и знание, и по основанию или источнику и по психологическому своему процессу, должны быть в подобных же отношениях. Это теперь само собой уж ясно. (При этом о. Иоанн взял катехизис и начал читать) «Знание основывается на опыте или исследовании предмета: а вера на доверии к свидетельству истины». Так это. Но во-первых, для доверия свидетельству истины нужно дознание чрез опыт или чрез исследование, что действительно это есть свидетельство истины, что оно должно быть так, а не иначе понимаемо. Ведь наша истина – Господь. А Он как лично явился миру и жил в мире в простом образе и естестве человеческом, и необходимо было испытательно вникать в Его дела и слова, чтобы узнать Его и уверовать в Него: так Он открывается и в Своем писании и предании, снисходя к условиям и свойствам человеческой речи и преемственной в людях передачи того или другого, и потому также нужно чрез испытание и исследование дознавать открываемую Им в писании и предании истину. Во-вторых, самое доверие свидетельству дознанной достоверности составляет один из необходимых способов или источников знания. Все историческое знание держится на этом основании. И потому, например, Фома, не доверяя свидетельству о Христовом воскресении многих очевидцев Воскресшего, которые ему вполне известны были по своей достоверности, был несостоятелен не только перед требованиями веры, но и знания. В-третьих, если Дух Бога, сообщаемый принимающему Его человеку и приводящий природу человеческую в нормальное состояние, все постигает, даже и глубины Божия; то в этом постижении неисследимого, открывающемся в человеке Духом Божественным, необходимо уже быть своего рода опытом и исследованию; а это принадлежит к основанию знания. Так само слово Божие говорит прямо об «изысканиях и исследованиях Пророков, которые предсказывали о благодати, исследывая, на которое и на какое время указывал бывший в них Дух Христов» (1Пет. 1:10–11). Так, когда Апостол Фома увидел и услышал воскресшего Господа с доступными чувственному осязанию крестными Его язвами, и внутренно ощутил животворное Его действие; то очевидно, что вера Фомы

в воскресшего Господа была вместе и опытным дознанием. Хочется указать вам и еще один пример того, как вера соединяется с исследованием в самых высших благодатных состояниях, – пример, показывающий, что в этом отношении безразличны пол мужеский и женский и, следовательно, служители алтаря и простые верующие души, Пресвятая Дева Мария, услышав Ангельское приветствие благовещения, сейчас стала *размышлять* или доискиваться, *что бы это было за приветствие*. Потом, когда Ангел разъяснил ей, какая великая Божия тайна, тайна зачатия и рождения самого Господа, готова в ней совершиться, она и на это предложила вопрос исследования: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» – Ангел объяснил, что тайна совершится наитием и действием Св. Духа, и указал на доступный для проверки опыт – зачатия неплодной и уже устаревшей Елизаветы, ее родственницы, – опыт, показывающий, что закон и естественного зачатия определен и потому может быть и остановлен и разрешен в своем действии – Самим Богом, Которому также просто и естественно совершать и все Ему угодное. Так истина достаточно разъяснилась, и уже тогда Святая Дева верой приняла вверяемую ей великую тайну (Лк. 1:27–38). Но и затем она поспешила к родной Елизавете, чтобы соутешиться с ней, как оказалось на деле, общей верой, уже оправданной чрезвычайными опытами (Лк. 1:39–56). Так духу истинной веры, в самых высших благодатных ее состояниях, сродно, то для ее обоснования, то для увенчания и утешения, опытное дознание истины! Наконец, если и в простом естественном, в его порядке и законах, задача наша – дознавать и изучать Творческую вседержительную мысль Бога Слова – Христа; то опыт и исследование, эти обычные приемы и способы знания, будут безраздельно служить и вере в разъяснении и раскрытии безмерных и повсюдных сокровищ Христовых. И вот, таким образом, различаясь в своих основаниях, вера и знание и в этом отношении между собой внутренне сходятся и соединяются, следуя правильному и должному направлению.

Отец Иоанн остановился, посматривая то на меня, то на моего товарища, как будто выжидая, не выскажем ли мы каких

возражений или недоразумений. Но мы оба молчали; в предыдущем ходе нашего собеседования о *предметах* веры и знания, действительно уже предупреждены разрешением недоуменные стороны и по вопросу об основаниях знания и веры. По крайней мере так было для меня; а мой товарищ, сколько я угадывал, был занят главным образом распадением своей, так сказать, *ideae fixae* о несовместности веры и знания, этой закоренелой идеи, возникшей в нем сначала по искренним, но односторонним, религиозным движениям и понятиям. О. Иоанн снова начал свою речь:

– Посмотрим и на различие веры и знания по самому психологическому их процессу, и увидим, как и это различие не исключает совместности и внутреннего единения между верой и знанием. «Знание принадлежит (читал о. Иоанн из катехизиса) собственно уму, хотя может действовать и на сердце: вера принадлежит преимущественно сердцу, хотя начинается в мыслях». Совершенно справедливо. Но вникнем в дело сначала знания, а потом веры, по психологическому процессу того и другой. Как ни определяли бы мы знание, – ну хоть с Боклем будем полагать знание в «знакомстве с отношениями вещей и идей друг к другу и самих в себе, другими словами, в знакомстве с физическими и умственными законами»; но все мы не удовлетворимся знанием, как складкой в уме или собранием в кое-какую кучу сведений о законах умственных и физических. Достоинство знания мы признаем в том, чтобы сведения как сами по себе были во взаимной живой стройной связи и единстве (ибо таково действительное отношение вещей и нелживых идей друг к другу и самих в себе), так и в человеке определяли бы весь образ его мыслей, управляющий и его делами или вообще отношениями к внешнему миру (ибо чрез это знающий человек и оказывается жизненно и действительно, а не мечтательно и мертво знакомым с отношениями вещей и идей друг к другу и самих в себе). Такого знания нельзя приобретать иначе, как действуя всей полнотой духа, умом и сердцем, отчетливой мыслью о предметах и живым чувством стройности или высшей Любви, связующей предметы и между собой и с нашими идеями. Потому-то в наше время уж

довольно сознана односторонность знания, как скоро оно составляет только умственное приобретение и потому своим усилением нарушает целостность духа человеческого, равновесие между его силами. Впрочем, даже и при этом одностороннем направлении знания, в самом процессе знания все же ум действует соединенно с сердцем. Это доказывается теми опытами, что, когда сердце человека, могущего узнать то или другое, предзанято решительным пристрастием, например, к собственному воззрению, или к своему личному превосходству, которому грозила бы несостоятельность и падение от нового знания, то какие бы доказательства истины вы ни представляли этому человеку, как прямо и необходимо ни вели бы они к известным результатам, – этот человек остается словно глухим и слепым для всего. Он, и при известной в других случаях рассудительности и основательности своей, делается тупым до идиотизма для понимания истины, отрицаемой его сердцем, и по ребячески рад бывает ускользнуть в первую попавшуюся лазейку, чтобы фальшиво закрыться для света истины. Так и наоборот живая и беспристрастная любовь к истине, обитающая в сердце другого человека, дает ему инстинктивно предугадывать истину, прежде чем он узнает ее, и иногда предупреждает постепенное раскрытие истины разумением, вдруг обнимающим ее всю. Мне в моих сношениях с людьми случалось испытывать много подобного. Да вот и этот пресловутый Бокль, движимый внутренним сердечным влечением к любимым идеям, без всякого затруднения смело идет от вывода к выводу, широким взглядом обнимая и разгадывая разнородные явления. Но он же сам, чуть дело коснется до идей, против которых он занят в душе своей предубеждениями по поводу западных злоупотреблений этими идеями, делается вдруг удивительно узким и односторонним в воззрениях. Так, например, от того злоупотребления религией даже и христианской, что во имя ее были терзаемы и сожигаемы люди, и от подрыва этого злоупотребления, который к явному успеху цивилизации произведен именно знанием, Бокль смело заключает, что господствующее цивилизующее начало состоит не в религии, а

в знании. Но для него как будто вовсе не существуют и даже невозможны злоупотребления знаменем знания, с которым однако, как с главной причиной, история соединит едва ли не все новейшие разрушительные явления в роде известного террора французской революции, все эти тенденции поставить вверх дном все существующее, тенденции, проникнутые самой беспощадной нетерпимостью ко всему, неподходящему к началам этих тенденций. Равным образом знаменитому ученому как будто вовсе неизвестно было, что христианская религия некогда обновила образованный греко-римский мир, насколько последний отдавался ее влиянию, и укротила варваров. Пристрастие к знанию и внутреннее отчуждение от религии сделали то, что Бокль, и видя, словно не видел односторонности своих выводов. Только признавая задачей знания – изучение самой, осуществленной в духовных и физических законах, Творческой мысли, можно понять полную истину относительно цивилизующего начала, что это начало есть сама истина – Бог Слово Христос, Который раскрывает Свою жизнь и свет во благо человечества и верой и знанием, существенно нераздельными между собой, и Которого мы должны воспринимать или усвоить непременно и умом и сердцем своему. Слишком узким и односторонним оказался Бокль, как будто опускаясь до тупости и до ребяческих уловок, и в своих выводах о *нравственности* сравнительно с знанием и это также от сердечного пристрастия к любимым идеям и отвращения к нелюбимым.

– Позвольте, батюшка, – заговорил мой товарищ, – заметить Вам, что и Вы тоже допустили сердечное увлечение, выражаясь так жестко о любознательном Бокле. Неужели несколько общих нравственных истин, выработанных человечеством на нравственном поприще, могут идти по отношению к цивилизации в какое-нибудь сравнение с областью знания, которую, по ее обширности, трудно и даже, кажется, невозможно охватить мыслью одного человека, и которая все более и более расширяется и будет расширяться до бесконечности?

– Да, – отвечал улыбаясь о. Иоанн, – слишком уж напрямик и я выразился о Бокле под влиянием сердечной жалости о том, чего знание лишилось в таком проникательном и своеобразном мыслителе, каков Бокль, от подкосившего его сердечного воспаления пристрастий и предубеждений, подавляющих иногда в нем прямодушную любовь к истине, не дававших места и прямому взгляду на истину. Бокль решительно утверждает и Вы ему верите (разделяя некоторые его пристрастия), что в области нравственной человечество выработало только несколько общих нравственных истин, например, о честности в делах и словах или о любви к людям, даже к врагам и тому подобное. Но ведь такие и подобные истины относятся к принципам или к общим законам в нравственной области; их, по логической правде, справедливо было бы сравнивать тоже с такими истинами в умственной области, которые относились бы к принципам или к общим законам мысли и знания. Скажите же мне по совести, больше ли подобных, бесспорных для всех, истин выработано в области умственной, нежели в нравственной? Если не меньше, то уж по крайней мере и не больше. Следовательно, судя по Боклю же, цивилизации столько же мало надо ожидать для себя и со стороны знания, сколько со стороны нравственности. Вески той и другой стороны стоят ровно. Бокль этого не разглядел, обрадовавшись, что небольшая сумма общих нравственных понятий представляет ему очень удобную лазейку, в которой пристрастная его мысль могла бы затаиться, как будто она – истина.

– Но с чем принадлежащим нравственной стороне, – возразил мой товарищ, – явно впрочем озадаченный неожиданным для него оборотом дела, – с чем сравните или сопоставите самую массу умственного знания, массу всех сделанных уж умом приобретений и неослабных его усилий приобретать более и более?

– Надо сравнивать или сопоставлять эту массу, – спокойно отвечал о. Иоанн, – с массой всего существенного уже в человечестве по части нравственной, и всех неудержимых до ныне усилий и стремлений человечества по той же части. Эта

последняя масса если не обширнее, то уж никак ни малообъемистее первой. Да та и другая и не делимы по своей сущности, если судить право, т.е., православно. Вот Вам на это прямое доказательство. Сущность должной нравственности, как ее разумеет православное христианство, состоит в (оправдываемом делами) усвоении Христа всей полноте нашего духа и даже всего нашего существа, – в посильном для живой веры усвоении Христова мудрствования, настроения и всего духа, вообще Христовой полноты совершенства. Сущность знания состоит в усвоении нашему сознанию и вообще мыслящему духу Христовых зиждительных и вседержательных мыслей, выраженных и осуществленных во всех умственных и физических законах³³. Видите, что насколько действительно успевали бы мы в последнем, умственном, настолько мы возрастали бы и в первом, нравственном отношении? И наоборот, если нравственное у нас пренебрегается, то, по мере этого пренебрежения, мы не успеваем овладевать и умственным. Сказать тоже другими словами, насколько мы не успели бы духовно-нравственно усвоить себе мысль Бога Слова, выраженную и осуществленную или раскрывающуюся в тех или других предметах, настолько было бы мертво или односторонно и умственное знакомство наше с этими предметами. Каждый предмет, разработанный или выясненный знанием, должен произвести соответственный себе нравственный отпечаток в духе человека; мысль всетворческого вседержительного Слова, осуществленная в чем бы то ни было и хотя сколько-нибудь выясненная знанием и усвоенная духом нашим, составляет для нас не только умственное, но и нравственное приобретение, неоцененное сокровище вместе для ума и сердца. И таким образом мир умственного дела человеческого и мир нравственного поприща взаимно отображаются один в другом самой своей сущностью и ее раскрытием; область первого, по самому существу своему, не может быть обширнее области другого. Рассуждая по методу боклевских выводов, влияние области нравственной на цивилизацию надо

представлять если не более, то уж отнюдь не менее обширным, чем влияние знания.

Товарищ не возражал более, погрузившись в задумчивость, с обращенным впрочем к о. Иоанну вниманием. Священник продолжал:

– Итак знание по самому своему процессу идет так, что деятель, работник его, действительно, есть ум, но движимый и направляемый в своей работе, просветляемый или затемняемый в своих воззрениях именно *сердцем*, его влечениями, симпатиями и антипатиями в отношении к таким или другим идеям. Не то, чтобы ум, в процессе знания, был рабом сердца; его вернее представлять мужем, главенствующим над сердцем, но тем не менее действующим так или иначе в угоду сердцу, как бы любимой жене. Союз ума и сердца, по делу знания, неразрывен; только надо правильное и отчетливее облагородить этот союз, чтобы совершенно здоровым его плодом было знание. Деятель знания есть ум, но только сердцем может знание усвоиться, превратиться, так сказать, в живую плоть и кровь нашего духовного организма. Что же касается до психологического процесса веры. – мне хочется поставить Вам на вид одно такое явление и дело веры, в котором наглядно, можно сказать, виден этот психологический процесс веры. В подвижнической жизни, составляющей то великое поприще, на котором духовные ратоборцы с твердостью зрелых мужей, с мудростью старцев и с бодрой энергией юношей, равно и с незлобивою простотой детей, отстаивают нужное всему миру добро духовного совершенства и низлагают губительное для всего человечества зло растления, – в этом подвижничестве духа известно некоторое *духовное делание*, в котором вера является в наиболее усиленном и могущественном действии, в котором потому и удобнее уследить психологический ее процесс в должном ее направлении. В этом, так называемом, «духовном делании» подвигом веры в Господа Иисуса (сосредоточенном в духе подвижника, но от духовности простирающейся и на телесность) подвижник устремляется к тому, чтобы именно ум свой привлечь или, так сказать, свести и водворить в область сердца. И когда

этого успевает достигнуть подвижник, действуя животворным именем Господа Иисуса; тогда, по опытным свидетельствам таких духовных делателей, в подвижнике, и становится все внутри светом, проторгающимся из духа иногда до просветления и самой телесности, сообразного и сообщего фаворскому просветлению тела Господня во время преображения. И ум подвижника в подобном состоянии ощущает или сознает себя, по отношению ко всему сущему как бы плавающей в тишине малой ладьей среди беспредельного океана осуществленных и выраженных во вселенной, объемлющих и содержащих все в ней мыслей Создателя и Спасителя нашего Бога. Само собой разумеется, что этот подвиг веры, в чрезвычайном своем виде, принадлежит только избранныкам, *могущим вместити*. Но общее действие и сила веры, проявляющиеся в этом подвиге определяют путь веры для всех нас, – путь, который только очищен и уравнен для нас чрезвычайными подвигами избранных³⁴. Эта общая сила веры, действующая в показанном подвиге, состоит в том, чтобы, по самому процессу веры, с живыми движениями сердца соединять светлые, свободные и отчетливые действия ума, который выяснял бы осуществленные и осуществляемые в областях физической, нравственной и умственной, зиждительные и воссозидательные, мысли Бога Слова и таким образом раскрывал бы «все сокровища премудрости и ведения, сокровенные во Христе» (Кол. 2:3). Иначе жизнь веры будет у нас, по своему внутреннему ходу, не совсем православно-церковная, не совсем такая, какую передали нам в наследие Святые Отцы, – наследие, приобретенное ими для нас чрезвычайными подвигами. После всего, что мы доселе говорили, – было бы действительно излишним распространяться об этом более.

– Итак, кажется, – проговорил мой товарищ с улыбкой, впрочем грустной, – мне приходится сознаться, что моя застарелая мысль о решительной несовместности веры с отчетливостью и самодеятельностью знания есть мысль произвольная и неправильная и могла произойти во мне только от одностороннего понимания веры.

– А между тем, – сказал о. Иоанн, – эта мысль была причиной сначала мучительных колебаний Ваших, кончившихся так несчастно для Вашей веры, а потом самоуверенности на пути, более и более расходившемся с верой. Позвольте ли мне теперь сказать несколько замечаний о том и о другом состоянии Вашем? Я просил соизволения Вашего на это еще с самого начала нашей довольно уже продолжительной беседы.

– И я снова покорнейше прошу Вас об этом, – отвечал товарищ. – Кроме того и другого состояния, колебаний и самоуверенности, во мне уж начинается новое третье состояние, в котором я не умею пока дать себе порядочного отчета.

– Именно для этого нового состояния Вашего, может быть, и будут пригодны замечания, которые я намерен передать Вам. Из того, что я заговорил об них с самого начала нашего разговора Вы можете усмотреть, что они – плод или вывод не теперешнего только случайного собеседования моего с Вами, но многих предварительных наблюдений и опытов наших. Это говорю к тому, чтобы Вы обратили особенное внимание на мысли, которые я намерен высказать Вам. Я Вам не навязываю их, а только желал бы и прошу, чтобы Вы хорошенько обсудили и взвесили их; и если по совести не могли бы Вы отрицать их правоты и дельности, то не отвергайте их.

Товарищ безмолвно, но выразительно дал понять о. Иоанну, что готов вполне ему соответствовать. И о. Иоанн вот что стал говорить ему:

– С Вашими первоначальными колебаниями Вы принадлежали к числу тех из молодого христианского поколения, которые довольно знают Евангелие и вообще Христову истину, чтобы, с верой и любовью ко Христу, спокойно и твердо взяться и за разъяснение в христианстве того, о чем возникло бы в них какое-либо недоразумение, – и которые, однако, при первом же недоразумении начинают сомневаться во Христе, смущаться, колебаться. Вы согласитесь, что это, по крайней мере, столько же неблагородно и несправедливо, как довольно зная, например, Вашего друга, Вашу мать, отца, Вы по первому случайному недоразумению, которое, может быть, и

возникло собственно по Вашей вине, сейчас же усумнились бы в Вашем друге, отце или матери. Вам известно было из Евангелия, что Господь был младенцем и отроком, и что не иначе, как с возрастом, преуспевал человеческим Своим умом и в мудрости (Лк. 2:52). Вы знали как Он, уже и в зрелом своем мужестве, разведывал обыкновенным путем наблюдения и допрашивания, кто именно коснулся Его, как Он, ощутив потребность в пище, шел к смоковнице посмотреть, нет ли на ней плодов, и уже наглядным опытом дознал ее бесплодность. Все это ведь – для нас, так что дух и сила этого должны действовать в нас Духом Святым. И однако Вы заподозрили, будто бы, постепенно развивающееся своим обыкновенным порядком, знание или исследование находятся в разладе с верой в Христа и с Его Духом. Вы знали или могли знать из Евангелия, как Господь бывал рад возбуждению в ком-либо живой мысли, находя в одном смышленном ответе уже знак близости к царствию небесному, – как именно слышащих слово о царствии Божиим и *неразумеющих* относил он к несчастному посеву на дороге, выкрадаемому сатаной (Мф. 13:19). И однако могли Вы придти к сомнению, что живая, науколюбивая мысль противна Господу!! Вы, как человек мыслящий, могли бы уразуметь ту истину, что, когда дает нам Себя сам Единородный Сын Божий, самовластительный во всем, принадлежащем Его Отцу, то вместе с этим сообщается нам дух сыновней самостоятельности в исследовании, разузнании и употреблении всеобъемлющих сокровищ Божиих. И что ж? Вам померещился в области благодати Христовой дух рабства, неподвижный застой, вечный плен для самостоятельности и самодеятельности духа нашего. Скажете ли, что Вас отводили от подобных воззрений учителя – обскуранты в роде Домашней Беседы? Но Вы могли бы, если бы захотели, дознать истинное христианство прямо из чистых и светлых его источников. Ведь вопрос поднимался у Вас слишком важный, роковой. Думается мне, что Вы даже не в собственных опытах имели удостоверение в истинности христианства, удостоверение, которое, по совести, Вы не в состоянии ослабить или подорвать. Ведь только уж слишком заснувшие духом из

православных не получают или не слышат подобных удостоверений Христовой благодати. Не правда ли, что с Вами лично случались опыты духовные, которые как ни старались бы Вы перетолковать, остаются, тем не менее, во глубине Вашего духа, вопиющим свидетельством против Ваших колебаний и сомнений во Христе?

Товарищ мой сделал подтвердительный знак головой, проговоривши эти слова:

– Да! Ведь я сын истинно верующей матери!

– Вам следовало бы, – продолжал о. Иоанн, – при Вашем решительном и отчетливом склонении к делу знания, как к существенному делу Вашей жизни, сказать в глубине души Вашей: слышу и принимаю призвание приобретать и усвоить Его, как истину, об которой не может быть никакого необъяснимого недоразумения и которая уяснила бы мне все в мире. И пошли бы Вы путем отчетливого и самостоятельного исследования и знания прямо с самим Христом, Который, дав с такой любовью и доступностью осязать свои крестные язвы Фоме, наверное дал бы Вам дознавать истину, как только бы Вы того пожелали добросовестно и разумно. (Впрочем повторяю сказанное мной и прежде, что Господь, хотя и *неведомый* Вами, или непризнаваемый за верховновладычественное начало дела Вашего, все же не оставлял Вас и теперь на Вашем пути знания, насколько Вы были в своем деле добросовестны и верны законами и требованиям разумности). Этого и довольно касательно состояния Ваших колебаний, кончившихся разладом Вашим с верой. Касательно последующего Вашего состояния, когда Вы уже с самоуверенностью шли путем знания расходящимся с верой, я позволю себе сделать только несколько вопросов Вам, не требуя впрочем Вашего ответа, а предоставляя Вам отвечать на мои вопросы пред судом собственной Вашей мысли и совести.

Во-первых, достаточно ли или всегда или достаточно, по суду собственного Вашего сознания, Вы изучали и понимали тот или другой духовный предмет, о котором однако делали решительные приговоры не только в Ваших внутренних размышлениях, но и в разговорах с людьми, доверявшими

Вашим суждениям, и даже в печати? Не порицали ли и даже не отрицали ли Вы с самоуверенностью того или другого в истине Христовой, рассуждая об этом только по каким-либо односторонним понятиям, нимало не думая поверить их, подобно как решили Вы разрыв Вашей мысли с верой единственно по односторонним понятиям о вере и знании? Не пренебрегали ли Вы достоверностью засвидетельствованных фактов, опытов и явных по достоверности свидетельств, не обращая на них внимания или только унижая их единственно потому, что они относятся к чему-либо, запечатленному именем Христовым, или опровергают какие-либо произвольные гипотезы и ходячие или любимые в той или другой ученой касте идеи? Эти запросы я делаю по поводу моих наблюдений и замечаний, что, по делу исследования истины, у нас некоторые поступают в отношении ко Христу антипатичнее, придирчивее, или же небрежнее, чем со всякими другими предметами; что между нашими учеными и литераторами, за небольшими исключениями, слишком обыкновенно богословское невежество; что нередко прямо или не прямо нападают на такие стороны Христовой истины, которых просто не знают или же знают только по односторонним понятиям, принятым на веру без всякой проверки. После всего, о чем мы доселе говорили, Вы согласитесь со мной, что все подобное есть грех и преступление столько же против знания, сколько против веры. Истина, сколько бы ни работали в подобном духе те или другие дельцы в области знания, отречется от них, как от таких, которые никогда ее не любили и не были ей верны до самоотвержения, а напротив любили пристрастно свои мнения, свою школу, успехи собственного своего ученого тщеславия или предубеждения. Так, например, ходячее в ученых кастах предубеждение против чудес не дает многим не только с серьезной мыслью заметить эти вопиющие факты, но даже выяснить себе их значение по православному воззрению, принимая их за какие-то нарушения постоянного общего в мире строя; тогда как чудеса только с торжественной наглядностью проявляют руку Носящего всяческая глаголом силы Своея во всеобщей и постоянной разумной стройности, замечаемой всеми в обыкновенном

порядке вещей. Ведь нет в мире ни песчинки, ни самого легкого движения какого-нибудь листика на дереве, в чем не осуществлялся бы какой-нибудь разумный закон, что не выражало бы в себе какой-нибудь мысли: чудо раскрывает тайну, что это за ум всеобъемлющий или всеопределяющий в мире. Но люди науки, знания, которых и призвание – познавать истину, знать ее не хотят даже в наглядных опытах, в осязаемых фактах, а между тем мечтают о себе, что они, сравнительно с другими, темными людьми, имеют достоинство людей зрячих; они очевидно поступают в этом отношении точно так, как современные Христу книжники и фарисеи, и потому подлежат общему с ними приговору истины: *если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас (Ин. 9:41)*. Это грех против требований и законов самого знания.

– Но будьте справедливы, батюшка, – отозвался мой товарищ, – согласитесь, сколько допускается легковерия и суеверия в невеждах по части чудес !

– Сколько ученый, – возразил о. Иоанн, – делает неудачных наблюдений и опытов прежде, чем успеет получить удовлетворительный результат своих ученых работ! Но он для истины терпеливо трудится, не задерживаясь неудачами, не бросая из-за них своей работы. Любящему истину странно было бы вменять себе в тягость, из жалких явлений суеверия или легковерия, самое внимание к истинным, твердо и разумно засвидетельствованным, чудесам и к раскрываемой в них истине. Ведь на то и наука, чтобы разузнавать истину, несмотря ни на какие преграды невежества и лжи; иначе наука сама будет служить уж лжи и невежеству.

Товарищ замолчал. О. Иоанн развивал перед ним дальнейшие свои мысли:

– Во-вторых, спросил бы я Вас, во имя Вашей же совести и науколюбивой мысли: идя с самоуверенностью по избранному Вами пути знания, всегда ли Вы серьезно относились к делу знания, к делу истины? Я понимаю не внешние серьезные приемы или какой-нибудь торжественный, напряженный тон. Я спрашиваю о серьезном внутреннем Вашем отношении к делу

истины и знания, хотя бы Вы приняли для внешнего выражения своей мысли и шутливую форму. Объясню Вам дело примером. Вот в исторической статье Г. Костомарова, напечатанной в календаре нынешнего (1864) года, успех Москвы в достижении единодержавия в России, несмотря на сопротивление этому особенно Твери, приписывается отличавшим московских князей хитрости и изворотливости в запутанных обстоятельствах, уменью выбирать удачно и ловко минуты, благоприятные для дела, выжидать когда нужно, мириться впору, по расчету, а не по влечению сердца, решимости отважиться на все, лишь бы оно принесло пользу и вело к делу; тогда как тот или другой Тверской князь позволял Москве оставлять себя, в том или другом случае, просто в дураках, как именно два раза замечено о Михаиле Александровиче Тверском. Все это пожалуй и правда, но только с одной стороны, остановиться на которой можно не иначе, как слишком легко относясь к делу исторической истины, не опасаясь уронить чрез это и великую идею *единодержавия*, если она действительно вырабатывалась путем двусмысленной ловкости одних и глупой простоватости других. а существенная сторона перевеса Москвы над другими княжескими уделами состоит в том, что Москва в лице и своих князей, и их сподручников, и даже самих своих Святителей, несравненно отчетливее других поняла необходимость объединить Россию для ее спасения и торжества над вековыми врагами, и вменила себе в высшую правду и обязанность привести это в исполнение, чего бы то ни стоило. Этим и объясняются, получая уже лучшее значение, и эта решимость Москвы, для перевеса над другими, отважиться на все и эта расчетливость, возвышающаяся над сердечными увлечениями, и эта ловкость, умеющая воспользоваться обстоятельствами и не робеющая никакой кажущейся или действительной неблагоприятности. Что касается до других князей, и особенно тверских, на долю последних не выпало такое пронизательное разумение и твердое исполнение истиной задачи тогдашнего времени для России; за то они служили выполнению той же задачи отрицательным образом, оказываясь по своим стремлениям, увлечениям и вместе неудачам сохранить свою

независимость, достойной уважительного участия жертвой для блага всей России. Так хорошо это выразилось именно в Михаиле Александровиче, который отстаивал самостоятельность Твери против Москвы, но против Татар спешил «в числе первых» на содействие Москве и сам своими руками отдавал себя той же Москве в распоряжение не только чрез испрашивание суда над своим епископом у московского Святителя, но и чрез избрание себе в епископы московского Архидиакона³⁵. Ведь в старинной Руси духовным элементом так глубоко проникался и гражданский! Из этого примера Вы видите, что легкое, не серьезное, мелочное какое-то при всей трудолюбивой работе, отношение к делу истины и знания, будучи профанацией и оскорблением для этого дела, вместе с этим не дает дознавать лучшей и существенной стороны в исследуемой истине. И потому насколько любознательный человек позволяет себе подобным образом относиться к делу истины и знания, настолько сам портит свое дело и закрывает от себя истину. Я просил бы Вас построже испытывать себя и свое дело в этом отношении. Вы, конечно, угадываете мою озабоченность в настоящем случае, именно тем, чтобы, если не сознательно, то хоть инстинктивно не оскорблять, не выгонять, а напротив развивать в деле знания серьезный дух служения одной существенной и всеобъемлющей истине – Христу.

Наконец в-третьих, всегда ли в Ваших выводах и заключениях по существенным вопросам о человеке и мире, в физическом или историческом отношениях, Вы верны были просто логике? Не выводили ли Вы иногда из известных данных больше или меньше, чем сколько следует из этих данных? Ограничиваясь исследованиями какой-либо одной области истины или бытия, не делали ли Вы однако выводов, касающихся всей целостности бытия и истины, не обращая никакого внимания на другие области бытия и истины, заявляющие себя с такой же, если еще не с большей достоверностью и твердостью, как и исследуемая Вами область? Или не относились ли Вы с произвольностью к *данным* того или другого рода, грубо или утонченно насилуя и извращая их для того, чтобы только подогнать их к любимым своим идеям? Сколько

лжи, противной безразлично и знанию и вере, развито и проводится подобными путями в исследованиях физиологических, геологических³⁶, исторических и так далее! Я уверен, что, если Вы, самонадеянно идя по избранному Вами поприщу знания, допустили в свой образ мыслей такие или другие идеи неверия, или правила антихристианские, наибольшая часть из них произошла именно чрез нелогические выводы, – чрез эту неверность начертанным в наших умственных законах определениям Бога Слова. Будьте послушны и верны им, и Вы пойдете за Богом Словом Христом, хотя бы сначала только инстинктивно, а потом сознательно и отчетливо.

В заключение прошу Вас об одном, чтобы Вы ни в каком случае не изменяли делу знания. Это я говорю, имея в виду известные мне случаи, что вдавшиеся в односторонность знания до забвения, и иногда до отрицания веры, рано или поздно впадали в противоположную односторонность веры до отречения чуть не от всякого исследования и знания. И тогда они оказывались уже до жестокой беспощадности строгими к людям, задерживающимся, как сначала и сами они, односторонностью знания, не помня того Христова закона и первообраза, что *Сам искушен быв может и искушаемым помощи*. А то есть еще из верующих же и такие, которые считают отношения между верой и знанием, какие объяснял я Вам, невозможными ныне, а только еще искомыми; а потому эти люди действуют своей мыслью нераздельно от веры только в области теологических и нравственных предметов, а по отношению к другим предметам работают умом своим совсем не по началу веры, а только с опасливостью, чтобы как-нибудь или в чем-либо не стать только в открытую оппозицию вере. Избави Вас, Господь, и от такого образа мыслей! Вы впрочем и сами заметили и, при самом начале нашей беседы, резко поставили на вид двусмысленность и фальшивость подобных раздвоений в деле, чтобы и веровать и отдаваться знанию не всецело, а только вполовину. Я от всего сердца желаю Вам подвизаться в деле знания так же постоянно и неотступно, как духовные подвижники подвизались или подвизаются в

добродетели. Не вдруг они достигали святости и райского бесстрастия, а напротив подвергались многим борениям и искушениям, допускали разные преткновения и даже падения, терпели неоднократные поражения и иногда пленения прежде победы над врагами. Но тем не менее они во всем этом проходили поприще добродетели, поприще служения правде, которая существенно – сам Христос. Служить Ему умом и знанием дано и ныне и всегда столько же, сколько дано служить ему волей и сердцем, или добродетелью. Не изменяйте же ни в каком случае интересу знания!...

Товарищ мой крепко сжал руку о. Иоанна, проговорив в то же время эти слова:

– Да; Вы действительно рассуждаете и как специалист веры и как такой же ревностный сторонник знания.

Расставшись с о. Иоанном, а потом и с приятелем своим, я припоминал и снова передумывал все, высказанное в нашем общем собеседовании. Хорошо бы так (думал я), как говорил о. Иоанн о знании и вере! Но отношения между верой и знанием, какие поставлял и развивал о. Иоанн, – это отношения благодатные, и осуществимы они только в облагодатствованном, а не естественном состоянии человеческом. Между тем знание не только хочет, но и считает себя обязанным идти простым, естественным путем; да и во всяком случае знания нельзя отнимать у человека и в естественном его состоянии. Каким же образом знание может так сойтись с верой, как рассуждал о. Иоанн? При новом свидании с ним я высказал ему свои недоумения на этот счет. И вот что я от него услышал:

– С чего Вы взяли так понимать благодатное и естественное, как будто это – две прямые противоположности, взаимно исключающие одна другую? Благодатному прямо противоположна только наша греховность, прирожденная и произвольная, а не природа наша. Природа или естество всего стало и существовать только по Божией благодати, по дару Отца небесного ради возлюбленного Его Сына; и в особенности природа человеческая так и создана, чтобы человеку быть сообразным и сообщным существенному образу Отца

всевышнего – Богу Слову и живиться Духом Божиим. Если наша природа теперь расстроена и больна, то все же не настолько, чтобы в ней изгладились все следы образа Божия и не сохранилось ни одной точки живительного для нее соприкосновения с Духом Божиим: а это уж относится к благодати Божественной. Поэтому слово Божие, представляя и избранный Божий народ *чадами гнева* по самому *естеству* (Еф. 2:3), тем не менее указывает и в самых язычниках светящиеся еще черты *рода Божия* (Деян. 17:28–29), возможные только под условием или на основании Божией благодати. Что касается до самой благодати, она во всей силе и полноте своей открылась именно чрез принятие ради нас Сыном Божиим нашего человеческого естества в единоличное единение с Его Божеством и притом чрез сохранение Им человеческого естества во всей целости, в этом самом его единении с Божеством; а усвоится нами такая благодать собственно для врачевания и исправления в нас расстроенного и больного естества нашего. Как же после этого можно ставить естественное и благодатное в прямую противоположность одного другому? Ни существо природы нашей, ни сила благодати решительно не позволяют этого. Пойдет человек в знании ли, или в чем другом, простым естественным путем, только в прямом и добром порядке, в здоровом и благоустроенном состоянии и настроении своей природы: это уж значит, что такого человека осеняет и заправляет, ведомо или неведомо для него, Божия благодать. И наоборот, пойдет человек в знании ли, или в чем другом, прямым путем самой благодати и истины Христовой, не уклоняясь ни в какую односторонность: благодать приведет самую его природу в здоровое и стройное состояние и таким образом поведет его к своему добру простым здравоестественным путем. Так просто сходятся естественное и благодатное! Мы всего этого касались уже и в нашем разговоре. Вас сбивает только привычка представлять благодатное и естественное, как прямые противоположности. Сколько путаницы производит такое представление! По этому представлению человек, в естественном состоянии, выходит просто чудовищем зла, каким

в действительности бывают только исключения, а не большинство людей. По этому представлению всякое доброе явление в естественном человеческом состоянии, с какой-то неприязнью, у нас омрачается разными духовными подозрениями и пересудами, а оно, между тем, относится к светению в самом естестве нашем Божией благодати. По этому представлению, и облагодатствованное состояние человека кажется чем-то, решительно неподходящим к простому человеческому порядку и быту. Такая крайность естественно вызывает и поддерживает другую крайность, в которой самое благодатное или богохульно считают чем-то мечтательным или относят к естеству нашему, а не к Господу. Да не будет же этого! Благодати прямо противоположна греховность наша; а наша природа есть почва и среда к раскрытию и действию благодати, всегда немощное в ней врачующей и оскудевающее восполняющей, светящейся и во тьме нашей любовью к нам Отца небесного, открытой в Его Сыне и действующей Святым Его Духом.

VII. Четыре случайных разговора по «крестьянскому вопросу»

В последнее время мне стало удобнее прежнего наблюдать с духовным вниманием за людьми, выслеживать самые насущные духовные их потребности и интересы, наблюдать и выслеживать это из непосредственного соприкосновения к людям разных состояний, а не по кабинетным только соображениям. мне в особенности хотелось расслушать *духовные* отголоски или отклики, в нашем народе и обществе, на эту великую перемену в народном устройстве – уничтожение крепостной зависимости. В этом отношении мне особенно памятны следующие четыре случая (точнее сказать, случайные разговоры), описание которых, может быть, не будет бесполезно и для других, сколько-нибудь заинтересованных по тому же делу или вопросу.

В июле 1861 года мне пришлось совершить маленькое путешествие проселочной дорогой. Случилось мне в одном селе, где была остановка для отдыха лошадей, оставить одну нужную вещь. О забытой вещи вспомнил я уже в следующей деревне, отъехавши версты две от села. Мой извозчик, жалея своих лошадей, остановил их при выезде из деревни под тенью большой липы, а сам пеший отправился за оставленной вещью. По этому случаю и устроилась у меня встреча и беседа с одним толковым мужичком, который, возвращаясь с полевой работы, подошел ко мне. Присмотрев, что он никуда не торопится, и спросив его сначала о сенокосе и о хлебах в поле, я заговорил с ним и об освобождении от крепостной зависимости. Мужичок был из временнообязанных, лет 35, с лицом умным и открытым, с обыкновенным труженическим выражением наших крестьян-земледельцев.

– А что? – спросил я его вообще о временнообязанных крестьянах. – Вы, чай, крепко рады такой милости Божией к вам?

– Нешто, – отвечал крестьянин. – С первоначалу-то шибко возрадовались православные. Одно слово – *воля!*

– А после попривыкли к этому слову и, видно, уж не столько рады, – заметил я.

– Не то, – говорит мужичок. – На послых-то видим, нам, почитай, все равно, что прежде. Такой же оброк. Ну и господа, таперича, разя свой брат? Все те же господа. Мы чаяли, – будет заправская воля.

Говоря это, крестьянин смотрел на меня так умно и кротко, что мне нельзя было заподозрить его, не хотелось ли ему своевольничать или вовсе не платить оброка; тем меньше мог я думать, не по тупости ли мужицкой не понимает он великого дара Божия в освобождении своем от крепостной зависимости. Из случившихся разговоров с другими временнообязанными крестьянами я уже знал, что именно бремя и труд временной обязательности, *обыкновенно поставляемые едва ли не всеми на первый план перед мужиками* (тогда как они на первом плане ставили и ставят для себя «волю»), – вот что не дает многим из них по надлежащему оценить чрезвычайное благодеяние, ими полученное. Впрочем, я спросил мужичка и о том, нет ли, разве, каких им прижимок, либо притеснений случайных, тяжелые случайности могут встречаться всегда. Но мужик ответил, что притеснений им от помещиков не было и до прежде, и тем более нет ныне. «Ну, а иным, слышно, жутко и доселева достается», прибавил он.

Я начал было представлять крестьянину, что настоящее обязательное состояние бывших крепостных временно, что, Бог даст, в последствии не он, так дети его будут владеть землей, как чистой своей собственностью, что ради детей и внуков можно, без жалоб и ропота, понести временнообязательную тяжесть.

Мой мужик и рукой махнул.

– Что дети? Дети вырастут – будут сами большие, сами о себе и позаботятся. – Сказав это, мужик хотел было идти от меня с явной, не то досадой, не то грустью. У меня невольно пробудилось особенно живое участие к нему.

– Брат, брат! – заговорил я снова. – А ты сам неужели, в самом деле, ничего или почти ничего не получил с уничтожением крепостной зависимости? Во что-нибудь, чай,

ценишь ты и себя самого, а не одну там землю или усадьбу с домом. Ведь, ты был чужой собственностью, которую могли купить, продать, оставить здесь, переставить в другое место; тобой могли распоряжаться как хотели, не справляясь о твоём желании и воле. Такой же человек, как и другие, такой же сообщник самому Христу Сыну Божию, как и все православные (кто бы ни были они), ты во многом был похож просто на вещь, которая составляет чью-либо собственность³⁷. Самым твоим умом, или там каким бы ни было искусством и мастерством твоим имели право пользоваться другие только для себя. Подумай же, ведь, тебе подарили тебя самого, когда освободили тебя от крепостной зависимости. Этому подарку, по-настоящему рассуждая, и цены довольной нельзя назначить, это самый бесценный дар, за который нельзя довольно возблагодарить Господа и подвижных Им Государя и прежних ваших помещиков. Одно слово: ведь, ты уж теперь не в роде этих вещей (он стоял предо мной, не помню, с чем – с *граблями, вилами или косой*), составляющих твою собственность, которую ты купил и можешь продать, поставяешь в том месте, перемещаешь в другое; повторяю: тебе подарили тебя самого. Если ты ценишь только деньги в кошельке или такие только вещи, которые стоят денег или могут доставить тебе деньги, то, судя и по этой оценке, тебе сделан дорогой подарок. Помнишь, за какую цену продавали или покупали обыкновенно ревизскую душу; эту цену, эти деньги все равно, что положили тебе в карман, когда пустили тебя крепостного на волю задаром. Выкупались, бывало, но тоже без земли, за одни ревизские души платили по тысячам; все эти тысячи подарили теперь вам. Неужели этого не понимаешь и не чувствуешь, брат?

С продолжением такой моей речи, видно было мне, что взгляд моего случайного собеседника светлел; как будто любо было ему думать и прояснять себе, что уничтожение крепостной зависимости, и во временнообязательном состоянии крестьян есть не кажущееся, а действительное, великое для них благодеяние. Однако он не оставил моей речи без возражения.

– Чувствовать нам надо! Да поди-ка, как наши толкуют. Полно бы, вишь, им, барам-то, мудровать нами, как хотели. А и о сю-пору временными-то обязательствами обижают нас! Составляют там уставленные что-то грамоты. Ну, а наши не рукоприкладствуют. Рука, знать, на себя не поднимается. Пускай там как хотят!

– Понимаю, понимаю, – отвечал я, разглядывая мысленно это больное место у временнообязанных, которое, вызванный словом участия, так доверчиво раскрывал мне мужичок. – Понимаю! Вам, вздохнувшим свободно на «воле» от крепостной зависимости, представилось, будто незаконно, не по праву владели вами помещики. Потому и думается вам, что, коли отменят незаконное (как думается вам) владение вами, то отменят бы совсем, не оставляя и следа прежней незаконности, никакого там обязательства, так, что ли?

– Вестимо так. Коли являть правду и милость, так уж настоящую, начистую, – сказал крестьянин весело и с выражением рассудительности, так что на него смотреть было весело.

– С тобой рассуждать можно, – продолжал я. – Ты сам увидишь, в чем дело; помещичье-то владение вами было вполне законное, столько же законно, как, например, и твое владение той или другой твоей собственностью. Владели вами помещики в силу наших гражданских порядков, которые законополагались и устраивались нашими царями православными; сама Святая Церковь, мать наша, это знала и признавала. Поэтому путать тут нечего: вы составляли собственность помещиков, не воровскую какую, а законную. Много и добра вы испытали от добрых помещиков. Беспорядки или обиды разные, какие бывали от иных худых помещиков, это тоже, что иной и из вас мужичков не умеет порядочно владеть своей собственностью, например, изувечив в азарте свою лошадь, пропивает свои нужные вещи. Это и составляет вину только худых владельцев, а владенье вами было все-таки законное. Вот это прежде всего должно зарубить в голове мужичку, коли он хочет до тонкости и по правде разобрать все в этом деле...

Мужик смотрел на меня во все глаза и только вымолвил: – Смекаем-ста!

– Ну, так и нечего поминать лихом и злом законное владение вами, как быдто бы оно было незаконное, бесправное. За что и злобишься на прежнее крепостное владение вами?.. Этим только закрываете сами от себя настоящую милость к вам Господню – освобождение от прежней крепостной зависимости вашей. Такую великую милость дал вам Господь по желанию и сердцу своего избранного, т.е. по мысли и воле государя, но вместе и по свободному согласию и распоряжению самых ваших прежних владетелей. Рассуди сам, кто мог бы насильно отнять у них законную их собственность? Царь человеколюбиво указал помещикам, что и вы, мужички, как такие же люди, как христиане православные, в великом доме нашего отечества должны быть, подобно и другим, как дома – дети у отца, а не как рабы подневольные. Помещики сами не могли не видеть, что сообщникам самого Сына Божия, соделавшегося равно для всех Сыном человеческим, неприлично и не годится быть подневольной собственностью других; и потому они добровольно согласились, по мысли и воле царской, отказаться от своих прав владения вами крепостными. Они с любовью и даже с самоотвержением пожертвовали своей собственностью, которую вы составляли у них. Видишь сам, каковы они обидчики-то для вас! Уж если кого, так разве не себя ли самих они обижали по этому делу, чтобы только вам оказать добро? Ведь, освобождая вас от крепостной зависимости, они лишали себя бесплатных слуг, бесплатных мастеров и ремесленников, бесплатных работников, бесплатного запаса всякой всячины на целый год; а знаешь сам, что ныне все дорого, а особенно рабочие руки во всем у нас дороги. Вот, например, обрабатывать землю наемными работниками во многих местах станет, пожалуй, дороже, нежели сколько можно получить прибыли от этой земли. А житейский быт и нужды помещиков, известно, и сравнивать нельзя с крестьянскими нуждами и бытом. Чего-чего у них не требуется для дома, для детей, для всей жизни? То ли бы дело, могли бы они так думать, если бы по-прежнему оставались свои крепостные? Но небось,

помещики не захотели вас удерживать за собой, а еще сами, по царскому предначертанию, распоряжались, как бы лучше и скорее устроить дело освобождения вашего от этой крепостной зависимости. После этого смотреть на них, как на недоброжелателей или обидчиков ваших, просто было бы грешно и стыдно, неблагодарно. Вот что, брат!

Говоря это, я опять заметил в мужичке ясное и рассудительное выражение лица и взгляда, с каким он меня слушал. Ему, видимо, было приятно узнавать в помещиках, по делу крестьянскому, не каких-нибудь своекорыстных недоброжелателей (как ему казалось по каким-нибудь толкам, а, может быть, и случаям), а любящих и самоотверженных благодетелей для крестьян. Я продолжал:

– Согласись, что помещикам нужно было многим, многим пожертвовать, чтобы ты был свободен от крепостной зависимости. Довольно с них и предовольно, что они непринужденно отказались от прав собственности, какие они имели на вас самих. Требовать от них еще большего значило бы, действительно, обидеть их самих. И вот они истинно (как я уже и говорил тебе) подарив вам самое важное и дорогое – вас самих, оставили за собой, с соизволения же царского, собственность земли. Не по миру же, в самом деле, идти им самим! Хорошо ли было бы если бы какой благодетель дал хороший приют бездомному горемыке, а этот с дуру стал бы требовать, чтобы благодетель его и всем своим для него пожертвовал?!

– Что правда, то правда, – заметил со своей стороны крестьянин и по-своему, с неподражаемым, простонародным, добродушным юмором, рассказал, в какое было затруднение пришла соседняя помещица старушка, когда ей пришлось нанимать за деньги кучера, кухарку, и горничную, что ли девушку.

– Ну вот то-то и есть, – опять заговорил я. – Это совершенно справедливо устроено, что, по крайней мере, земля осталась неприкосновенной собственностью помещиков, пока вы ее сами не приобретете от них законным порядком. Вы сами уже перестали быть их собственностью, можете, поэтому,

и землю заработать или приобрести покупкой. Но пока пользуетесь землей, принадлежащей помещикам, то очевидно, что вам за это надо платиться. Ведь задаром и насильственно пользоваться чужой собственностью все равно, что воровать или грабить. Вот, например, тебе до зарезу нужна была бы в дальнюю дорогу телега, а у тебя ее нет, а вот она стоит там в сарае у соседа: ты можешь воспользоваться чужой телегой, но не иначе, как, по уговору с хозяином, заплатив что там следует. Так и ваше дело с помещиками. Пользуясь чужой собственностью, т.е. землей, принадлежащей помещикам, вам необходимо, по самой Божией правде, платиться за это оброком ли, изделием ли или там чем другим, как уговорено будет в «уставных грамотах». В чем же тут вам обида? Скажи пожалуйста...

Мужичок смотрел на меня, как будто врасплох захваченный за не совсем добрым делом.

– Оброк платите? – продолжал я. – Но ведь ты теперь платишь оброк уже не как человек подневольный, составляющий сам чужую собственность. Напротив, как человек вольный, но верно соблюдающий правду, ты оброком только платишься за пользование чужой собственностью – землей. Это дело совсем другое! Тут помещик стоит в отношении к тебе, как твой брат, только брат, одолжающий тебя своей землей и принимающий за то от тебя надлежащую уплату. Вы и между собой входите в некоторые подобные отношения, и в этом нет ничего отяготительного или обидного, что один пользуется собственностью другого и за это чем-нибудь платится. Можно ли, по совести, быть вам недовольными и тем, что помещика, как брата-благодетеля, вы должны особенно чтить, а он с заботливостью наблюдать за вами? Сам можешь рассудить, что так следует быть по самой святой правде.

Мужик понурил несколько голову, но слушал с приличным вниманием и охотно.

– Не подписываетесь к «уставным грамотам»? – продолжал я свою речь. – Руки, говоришь, не поднимаются на себя, Христос с вами! Откуда только могли взяться у вас такие мысли?.. «Уставная грамота» – это есть нечто похожее на

уговор между помещиком и вами, как и чем уплачивать ему за пользование землей, ему принадлежащей. Государь, видно, предвидел возможность, с вашей стороны, ребяческого упрямства, которое замедляло бы и запутывало все распоряжения касательно вашего дела, огорчало бы и разоряло ваших благодетелей, мешая им устраивать ваше же благосостояние; и поэтому приказано не гоняться за вашим подписом к «уставным грамотам». Однако милостивый царь все же велел предлагать вам эти грамоты для подписа и, значит, для предварительного вашего обсуждения и добровольного согласия с вашей стороны. Видно, хотелось попробовать, много ли из вас найдется таких, которые будут обсуживать дело здраво и по правде, имея в виду не свою только корысть, но и то, как бы не обидеть и помещика, и без того уже многим для вас пожертвовавшего, словом, которые сумеют войти в открываемое вам братство с высшим народным классом. Да вот, слышно, немного таких оказывается... Им предоставляют, чтобы сами, за одно с одолжающими их братьями, рассуждали и порешали свое дело в «уставных грамотах»; а они боятся поднять чрез это руки на себя... Эх, вы, братцы, братцы!

— В толк-то, вишь, мы все не умеем взять: вот что нас заедает. Эх, кабы не рабочий день, и другие наши послушали б тебя, — говорил крестьянин, смотря на меня уже словно на родного, хоть правдивая речь моя не льстила ему. Видно, сердце сердцу весть подает!

Я видел, что мужичку все еще хотелось бы поговорить со мной об этом, близком его сердцу, деле; как будто удалось мне дотронуться до живой его струны, хотя сначала он было уходил от моих речей прочь. Но мой извозчик уже возвращался с забытой вещью, весь в поту. Мне надо было покончить мою случайную беседу. Мой собеседник благодарил меня, что я «не побрезгал потолковать с мужиком». «А как бы я мог тобой брезгать, — отвечал я ему, — когда подобно мне и ты, в нашем общем отечестве, уже не раб, а сын возлюбленный, — по человеколюбию самого Христа Сына Божия, действовавшему благодатно в нашем царе православном?

Ну, это ли еще, – прибавил я, – не вправская воля? Другой воли, по самой Божией правде, ведь не придумаешь...»

Простясь с крестьянином, поехал я далее по своему пути, внутренне моля Бога, чтобы дал Он нашему православному народу разумно и благодарно усвоить и упрочить за собой дарованную ему великую милость, на благословение настоящей его жизни и на вечное спасение. В думах об этом деле, мне живо припомнился другой, бывший месяца за два прежде, случай, или случайная тоже беседа, которая касалась того же вопроса, только с другой стороны.

Это было в майский праздник Святителя Николая Чудотворца. Остановленный на день этого праздника в одном селе, где был священником мой товарищ по семинарии, я познакомился с семейной помещицей этого села, у которой на этот раз, кроме ее домашних, случился еще приехавший из другой губернии зять ее, также помещик, в поре зрелого мужества. (Все они были мелкопоместные). Часа два провел я среди этого почтенного семейства. Разговаривали более тоже о крестьянском деле, о разных по местам беспорядках крестьянских, о которых печатались тогда известия в газетах.

Меня неприятно поражала раздражительность или, сказать точнее, какая-то болезненность, с которой в этом обществе относились к крестьянскому вопросу. Мне было известно, что между местными крестьянами не происходило никаких беспорядков. Разве не было ли чего в поместьи этого господина, в его губернии, подумал я, разумея зятя гостеприимной хозяйки. Я его прямо спросил об этом.

– Слава Богу, пока ничего особенного не случилось, – отвечал он.

Я не удержался от нового вопроса: неужели довольно распространено между помещиками такое настроение, похожее как будто на разбереженную болезненность?

– Да, особенно между живущими в самых поместьях, – ответил господин. – И что тут удивительного? Прежние отношения между помещиками и крестьянами порваны, новые не установились, интересы тех и других сталкиваются в неизбежной борьбе. А главное, болезненность наша

разбереживается (если выразиться по Вашему) просто пустяками. Извольте видеть, нам, а особенно нашим, барыням, вот-вот так и видится и мерещится, что прежние-то рабы пред прежними-то владыками поднимают нос. Бог весть, когда расхлебается совсем эта каша, доставшаяся на нашу долю.

– Что тут видится и мерещится? – заметила с живостью жена этого господина. – Мужики смотрят просто министрами, даже горничные норовят в английские леди.

При этом барыня рассказала несколько случаев, из которых ясно было видно, что горничные норовят, в самом деле, в леди, а мужики серьезно смотрят министрами.

– Вот и разберите эту кутерьму, – сказал сам барин, – рассмеясь на один из рассказанных, довольно забавных случаев. Но и в самом смехе этого господина слышалось что-то болезненное или горькое. Мне ясно было, что эти дворяне считали себя, по крестьянскому делу, как будто обиженными. Я решился взяться, насколько возможно мне, подорвать, в их глазах, самые основания такой болезненной настроенности, которая нравственно портила прекрасное их дело (не говорю уже о других вредных ее последствиях).

– Вы уж разобрали, в чем дело в этой кутерьме, – отозвался я на слова собеседника. – При такой перемене вековых отношений, при неизбежных столкновениях интересов той и другой стороны, ну, и при грубой притязательности деревенских наших министров и леди, чего-чего не может быть? Но все же, признаюсь вам, нынешних дворян я считаю избранными счастливыми, что на их долю выпало принять самое близкое и деятельное участие в этом деле, с какими бы тревогами оно ни соединялось.

Господин слушал меня серьезно, а барыни посмотрели на меня с удивлением или недоумением.

– Я разумею то, – продолжал я, – что на вашу долю, на долю нынешних дворян, досталось признать не на словах, а на самом деле, стоящем многих тревог, не докучных только, но и серьезно озабочивающих, признать своих крестьян, которыми владели во многих отношениях как бы вещь, свободными от такой зависимости, как не приличной человеческому и

христианскому их достоинству. Этим дал вам Господь оправдать торжественно и всенародно и ваше дворянское благородство, и вашу образованность, и самую вашу верность вере православной. Почтить Христа Бога нашего в лице образа Его, в лице общников Его, меньших Его братьев, свободно отказавшись от векового права собственности в отношении в их личности, и от всех привычек и интересов этого права, это достойно истинных христиан православных. Самопожертвование по делу общественного блага (говорю о дворянском пожертвовании разными интересами и привлекательным для эгоизма властительством, при уничтожении крепостной зависимости), это достойно истинно высокого благородства. Разумное и свободное соответствие помещиков мысли Государя, вызвавшего их к освобождению крестьян и к обсуждению этого многосложного дела со всех сторон, достойно гуманного и основательного образования. Потому я и смотрю на все это дело, как на великую милость и благодать Божию, не только в отношении к крестьянам, но и к самим дворянам-помещикам, которых поэтому я и называю избранными счастливыми. Вы видите, что я не речь похвальную читаю вам, а только объясняю свое убеждение, что для дворян-помещиков нет разумного основания к болезненному недовольству по крестьянскому делу, напротив – есть за что благодарить Бога. Надобно им дорожить доставшимся им счастьем и бодро довершать благородное дело.

Хозяйка-старушка и ее дочь девица отвечали на мои слова уже заметным сочувствием, выражавшимся в их глазах; а жена приезжего из другой губернии помещика только посмотрела на своего мужа, как будто с вопросом: «Ну, что ты на это скажешь?»

– Конечно, конечно так, – заметил этот барин, – только с точки зрения религиозной, а не с нашей грешной, житейской.

– Истинная религия, – заметил и я со своей стороны, – содержит истину и для житейской среды; в нашей святой религии – надежды всего истинно лучшего и для здешней жизни, а не для одной только будущей. Но для меня

удивительно, что вы уклоняетесь от сказанного мной, тогда как я говорил истины, кажется, не горькие, а особенно лестные для вас.

Молодая дочь хозяйки, девица, улыбнулась и проговорила:

– Совесть, видите, подсказала, что прекрасно было бы быть такими нравственными счастливцами, как Вы говорили, да на деле-то не совсем мы таковы. Много житейского, грешного у нас и говорится и думается, а, может быть, и делается по этому вопросу.

Старушка мать подтвердила слова своей дочери. Зять молчал, жена смотрела на него с какой-то полуулыбкой, как будто говорила: «Ведь правда?»

– Но все-таки, – стал опять говорить я, – не беру своего слова назад. У меня был один знакомый, который едва ли отказывал, какому ни есть, нуждающемуся просителю, если сколько-нибудь был в состоянии помочь его нужде. Не знаю, от дурной ли привычки или от чего другого, только этот господин, делая добро, ужасно сердился и жестоко упрекал того, кому благодетельствовал. Что же? Добро ведь все же он делал другим. Простолюдины верно и метко отзывались о нем: «Он тебя облает хуже собаки, а все уж ублаготворит». Так точно даже и те из помещиков, которые, отпуская крестьян, сердятся и бранятся по обиженному своекорыстию или по другой причине, – и такие, тем не менее, оказывают на деле милость и благодеяние крестьянам, если они отказались в отношении к их личности от права собственности. Значит, и они не совсем выходят из ряда тех нравственных счастливцев, какими благодать Божия делает своих избранных, давая им именно счастье доказывать на деле свое братство с имеющими низшую земную долю.

– Это, бесспорно, истинное счастье! – сказала с одушевлением барышня. – Но жалкое дело иметь такую только долю в этом счастье, какую имеют наши N и NN. Они так злятся на крестьян и на уничтожение крепостного права, что, кажется, готовы были бы пристать, по своему настроению, к самым яростным радикалам. Конечно, все это больше на словах; а на

деле-то и они, разумеется, не задержали своих крестьян в крепостной неволе...

– Есть, пожалуй, – ответил я, – между помещиками великие несчастливцы и по самым делам, один слух о которых может ожесточать бедного мужичка: вот, например, рассказывают о В., как он, заведя у себя чуть не погребок всяких заморских вин, умел заставить плясать под свою дудку и мировых, что ли, там у вас, и потому гнет мужиков хуже прежнего, разоряет до основания целые дома, отводит участки крестьянам версты за четыре от их жилья, чтобы и после иметь возможность держать бедных в ежовых своих руках. Это уже несчастье из несчастий! Зато есть у вас и такие, как ваш сосед С., о котором я уже слышал, что он своими распоряжениями об уничтожении крепостной зависимости, в своем поместье, упредил самые решения ваших комитетов. Когда что-нибудь важное делается целой массой общества, то слава Богу, если в нем, как в здоровом теле, находятся избраннейшие органы высокой мысли и благородных движений, этот мозг и сердце в организме всей массы. Нужно быть и таким органам, в которых, как в желудке, переваривались бы все практические неудобства и разные столкновения интересов по устрояемому делу, в которых перебродилось бы все, относящееся в общественной массе к бессознательности, неразумности, к инерции. Тут, конечно, найдется место и вашим NN и моему несчастному В. И если Бог даст этому общественному телу совершить свое великое дело, хотя только в главном отношении, то слава Богу за все тело! Честь и счастье, хотя в общем, всему его составу! Само собой разумеется, что в нравственном теле от доброй воли самих членов зависит быть органами отправления, или более достойных разумности, или менее благородных.

– Честь и счастье всему нравственному телу дворянского общества! – чуть не вскрикнул приезжий из другой губернии зять хозяйки. – Но, говоря по чистой правде, надо нам признаться, что не будь решительной, твердой мысли и энергической воли Государя об освобождении крестьян от крепостной зависимости – наша дворянская масса, и с органами своих благородных движений, еще слишком была бы далека от того, чтобы не

только дружно совершить это освобождение, но и приняться за такое дело общими силами. Доказательство тому – это брожение духа, не установившееся в нашем большинстве, по этому делу, еще и до сих пор.

– Что же из этого следует? – спросил я, удивляясь внутренне правдивости этого господина. – Из этого следует только то, что самодержавная мысль и воля, по этому великому делу, блистательно явилась такой, движущей общественный наш организм, жизненной силой, которую мы должны беречь и охранять во всем неограниченном ее просторе, для собственного нашего блага. Ведь много еще дел и предметов правды и добра предлежит России, и выяснять и выполнять общими силами для себя, а может быть и для прочего мира, а всенародной массе, всеконечно, несравненно труднее единодушно направиться к чему бы то ни было, нежели массе одного сословия... Все же слава Богу и счастье нам, что у нас, с одной стороны, есть эта жизненная сила, которая имеет неограниченное право соединить и подвинуть нас к нужному и высокому, хотя бы и трудному делу, а, с другой стороны, не оскудевает еще готовность и самой массы соответствовать этой силе. Сказать тоже ближе к предмету нашего разговора: благословенно и счастливо нынешнее дворянство, что на его именно долю выпало, по самодержавной мысли и воли Государя, это трудное, требующее пожертвования многими выгодами, дело уничтожения крепостной зависимости. Есть для вас все основания к тому, чтобы с благодарностью за такое высокое призвание, с бодростью, без всякой этой болезненности недовольства, довершать все нужное по этому делу.

– Так, так, – сказал господин. – Но, как хотите, неизбежно тяжелое настроение духа, если, принимая более или менее на свои плечи тяжесть этой великой перемены наших отношений к крестьянам, встречаем жесткое недоверие или грубую притязательность этих министров в зипунах. Укажите, если можете, средства и меры в отвращение или облегчение этой нашей болезненности.

– Вы – православные, – отвечал я. – Делайте же это дело как следует, по православному, и вы сами откроете нужные на больное ваше место врачебные средства. Спаситель наш прямо сказал, что всякое добро, какое делается для меньших Его братьев, делается или оказывается Ему самому (Мф. 25:34–46). Ну, так всякое добро или пожертвование, которое с вашей стороны требуется по делу уничтожения крепостной зависимости, – и делайте прямо для самого нашего Господа. Разве это трудно для православных? Если же вы будете именно в этом духе действовать по крестьянскому вопросу – вас, пожалуй, и не возмутят недоверчивость или грубые выходки сермяжных министров. Вы ведь самому Господу посвящаете ваше добро; Он сам и принимает это добро, которое у Него наверное не затеряется. Да кроме того, благодать Господня, привлекаемая такой верой вашей, сильнее и вернее всякого другого средства может смягчать грубость и жестокость мужицкую. Самые пожертвования, делаемые вами по этому (крестьянскому) вопросу для самого Господа, будут более и более обращаться вам в прямую пользу и даже в сладость; вере и любви к Господу ведь радостно понести для Него такую тяготу. Наконец, и это главное, действуя на таком благодатном основании, можете быть уверены, что на место прежних отношений к крестьянам понемногу сформируются в самой жизни и действительности новые, более достойные и благотворные, отношения. Ведь, действуя в таком благодатном духе, будете и себе присвоить благодать самого Господа человеколюбца и привлекать Его Дух на новое положение крестьян. Может быть, именно через это и узнаете опытно, какова сила и свет православия, этого сокровища, сокровенного или мало известного для многих, многих православных.

Барыни слушали меня, казалось мне, с полным вниманием и сочувствием. Барин размышлял и, по окончании моих речей, вот что стал мне говорить (и слова его, признаюсь, глубоко падали в мое сердце, возбуждая во мне именно такое движение, которое излилось в известной церковной песне: *Едине ведый человеческого существа немощь и милостивно в не воображая, препояши мя с высоты силою*):

– Простите, батюшка, меня грешного, ради Бога. Бесценны, светлы, сладки Ваши мысли и слова. Но я все-таки по совести как пред Богом скажу, что со *святой* точки зрения все это, действительно, так и должно, и можно, и даже не трудно делать, как Вы сейчас сказали. Но как нам быть со своей *грешной* точкой зрения? Ведь наш брат небогатый помещик остался теперь, по большей части, просто как рак на мели. Ну, да я сам, положим, еще прежде был не прочь от того, чтобы запрячь лошадь своими руками и ездить в кожаных (из простой сапожной кожи) перчатках или рукавицах на деревянной телеге и санях, без всяких там кучеров. Могу, значит, быть и чернорабочим. А они-то что (он при этом указал на барынь)? Вот они с Вами теперь от всего сердца согласны во всем, что Вы ни сказали. Но, при первом случае нужды и недостатков в чем-либо привычном, не говоря уже о более существенных недостатках, они совсем другое запоют. Я их и не упрекаю. Надеюсь, что и Вы за это не будете слишком строги к нам, если припомните, что и в монастырях, случалось даже в святой древности, братия сетовали, роптали даже на величайших Божиих угодников в случае недостатков в жизненных потребностях. Что Вы на это скажете, если хотите излечить самое больное место наше?

Все это сказано было с выражением заботливой и скорбной думы, так что и я задумался и молчал.

– Скажу, прежде всего, – наконец отвечал я, – тоже, что, в случае сетования и ропота братии на жизненные недостатки, припомнутого Вами, говаривали им Божии угодники, лучшие вразумители и для нас. Если Бог и ветхозаветного жестоковыйного Израиля не оставлял в жизненных его потребностях (особенно на странническом его пути из Египта) и Сам устраивал гражданский его быт, то как Он оставит новозаветного Израиля³⁸ в его гражданском быте и особенно в таких жизненных его нуждах и затруднениях, которые произошли от пожертвования для братьев-крестьян?

– Так, так, – перебил мою речь барин. – Но Вы опять по-своему. Ради самого Господа, снисшедшего к нам в грешный наш мир, низойдите до нашей простой, житейской точки зрения.

Она не замазывает Вас своей греховностью, если сделаете Ваше снисхождение ради Господа.

– Точку зрения *политической экономики*, что ли, Вы понимаете? – спросил я.

– Ну да, да, – проговорил он с необыкновенной живостью.

– Я именно и начал Вам говорить с этой самой точки зрения (как говорил отчасти и прежде), – заметил я. – Ведь *политическая экономия* в нашем христианском мире, скажем хотя применительно, и есть ни что иное, как раскрытие или выяснение, в приложении к новым условиям и жизненным нуждам нашего мира, той самой владычественной над всем истины, которая в древнем мире, и именно в ветхозаветном Израиле, сообразно тогдашним его условиям и нуждам, развила и утверждала политический его быт. Раскрытие или выяснение, разумеется, только самой силы и существа этой истины, а не внешних форм, раскрытие самодеятельное, потому что с ветхим заветом кончено и врем для рабского, несамодеятельного, духа ветхозаветного. Вы испугались только непривычного, по этому предмету, образа выражения. Точку зрения *политической экономики* несправедливо называть грешной.

– Как там хотите, – отвечал он, очевидно нимало не вдумываясь в мои слова. – Укажите что-нибудь отрадное для нас, дворян, по крестьянскому делу, с точки зрения *политической экономики*, наглядно-отрадное и в настоящем, а не что-нибудь отдаленное.

– Да вот что скажу Вам. Вы, примечаю я, не любитель отвлеченных мыслей; поэтому мою мысль начну развивать рассказом об одном случае. В бытность мою на службе в Московской академии, которая помещается в самой ограде Троице-Сергиевой лавры, однажды совсем нежданно посетил меня мой товарищ по Тверской семинарии. «Какими судьбами, – спрашиваю его после первоначальных братских приветствий, – попал сюда?» «Приехал с помещиком, – говорит, – у которого учу детей». «Что ж он в Москву, что ли едет?» «Нет, – говорит, – только до здешней лавры; приехал со всем семейством на богомолье». Признаюсь Вам, я искренно было порадовался проявлению такого благочестия в целом помещичьем семействе

и высказал это своему товарищу. «Радоваться нечему, – отвечал мой товарищ сердито. – Это не богомолье, а глупейшая насмешка над богомольем. Не говорю уж о том, что мы ехали (или, точнее, прогуливались дорогой) с кульком бутылок и с целой кухней. Представь себе вот еще что: всю дорогу, более ста верст, барин только тем и занимался, что кощунствовал и богохульничал, втягивая меня в разные споры о Церкви, о православии, о Св. мощах, о священстве». «Что же, – спрашиваю, – этот невер разве человек начитанный, образованный?» «Какое образование! Я только и видал его почти за одним чтением – «Московских ведомостей». Выписываются и «Отечественные Записки» и некоторые роман, но их читаем только я, барыня, да ее сестра девица. Все его неверие держится, кажется мне, на двух-трех разговорах с каким-нибудь богохульником вольтерианского направления. Да, пожалуй, они и не невер, хотя кощунствует порой решительно над всем святым. Он говеет каждый великий пост и в это время молится, кажется, до синяков на лбу, я замечал даже и ручьи слез у него за молитвой. Но случалось, что и в самый день причастия Св. Таин он начнет кощунствовать. Он и человек не злой, а добродушный и откровенный». «Удивительно, – говорю. – Как же все это согласить в одном человеке?» «Да просто, – отвечает товарищ, – с жиру бесится. Сердце-то у него хоть и доброе, да в уме-то пусто; а денег и всего прочего от 700 душ крепостных получается вдоволь, делать решительно нечего, ну, и вечера с знакомыми или у знакомых надо же хоть чем-нибудь наполнить, ведь скука смертная, если ничего дельного не приходится ни сказать, ни подумать. Вот и начнет износить хулы на Бога и на Святых Его, как сбесившийся с жиру пес какой». «Видно, он доел тебя, – заметил я. – По крайней мере он берет ли предосторожность, чтобы дети не слыхали от него богохульства и кощунства?» «В том-то и горе мое, – отвечает товарищ – учитель его детей, – что, когда этот барин бывает в духе богохульства, он нарочно старается, чтобы его слышали и понимали дети его и жена со своей сестрой – девушкой. И изволь при этом учить детей, выучившихся уже кощунствовать над святыней. Ну, и выходят эти несчастные какими-то

полупогибшими во всем отношениях». «Но неужели, – спрашиваю, – не видишь и средства остановить зло?» «Только одно, – отвечает, – именно поставить бы этого бесящегося с жиру барина в необходимость доставать хлеб себе и семейству собственным трудом, как рабочего. Из него, наверное, вышел бы дельный человек и дети его готовили бы честь, а не позор, нашей матушке России». «от и весь мой рассказ! Вы, конечно, согласитесь, что в моем рассказе выставлена одна из бесчисленных ступенек той огромной лестницы пустоты, праздности, легкомыслия, жесткости, усыпления всех сил, и прочее и прочее, которая строилась довольством и преизбытками помещиков, ничего им нестыющими. Рассудите же теперь сами Вы, отец семейства, неужели нет для дворянского сословия верного *расчета* в том, чтобы, с уничтожением крепостной зависимости, отнять у себя у детей своих поводы и средства стать на ту или другую ступеньку этой несчастной лестницы, где и с лучшими дарованиями и образованием так легко было делаться небокоптителем, трутнем... Современная политическая экономия ведь уж поняла всю нелепость, неправоту и вредность тех порядков и понятий, по которым достоинство трудиться и работать, одно только дающее взрослому человеку право на пользование пищей и другими жизненными потребностями³⁹, признавалось бы вовсе не почтенным уделом известных только низших классов, а тунеядная праздность, пользующаяся готовыми задаром средствами, считалась бы почтенным и завидным достоянием избранных (вот уж именно несчастное избранничество). Сообразите все это, и Вы согласитесь со мной, что освобождение крестьян от крепостной зависимости может, при благословении Божиим и Вашем соответствии ему, оказаться освобождением и многих дворян тоже от *кабального* в разных отношениях положения... Так ли это, – заключил я, смотря на барина, – так ли с той точки зрения, которую Вы считаете более близкой в себе?... Впрочем, Вы не отделяйте этой точки зрения от истины, которой, и в отношении к средам житейским, владеет православное христианство.

Господин уже не возражал, а только выражал желание и настоятельную нужду, чтобы истина, Бог дал, более и более да и скорее выяснялась для нашего общества и всего народа православного...

Разговор наш в этом же роде или о том же предмете продолжился. Взяты были во внимание разные частные или личные затруднения для дворян-помещиков. Наконец, я простился с этим семейством, светлее уже, как мне виделось, хотя и озабоченно, смотревшим на крестьянское дело.

Вот еще третий случай или третья случайная беседа по тому же вопросу. Это было уж зимой. Один из пригородных сельских священников, близко мне знакомый, пригласил меня к себе в дом, в день своего Ангела. В доме именинника нашел я еще двоих или троих соседних священников. Познакомясь с ними, я узнал, что приходы их, как и хозяина дома, состояли или вполне, или частью из временнообязанных крестьян.

Среди угощения радушного хозяина и его жены, мне случилось высказать одному из священников гостей свое мнение, что в приходе из временнообязанных, вероятно, встречаются священнику особые трудности в нынешнее время.

– Что и говорить! – отвечал мне сельский батюшка, и рассказал, что он никак не добьется от своих временнообязанных прихожан, чтобы они привезли для отопления храма Божия дров из готовых, притом помещичьих полениц. Другой рассказал, как у него временнообязанные прихожане одной деревни, которых «не уважил» в чем-то староста церковный, заподозрили его в неверном употреблении подаяний их в церковь и с мужицкой грубостью требовали обревизовать или поверить его, как деревенского конторщика. «Я имел право, – говорил этот священник, – отказать мужикам, как сующимся не в свое дело. Но чтобы оправдать честного старосту, не давая делу идти или затянуться, – я должен был вместе с моими горластыми прихожанами пересмотреть, со счетами в руках, наличную церковную сумму и все записки у церковного старосты, за целые два года этой его службы. Да что уж тут? И сам, признаюсь, из-за мужицких толков, что все будто руку помещика, опасаясь и посещать его; несмотря на наши

добрые взаимные отношения, бываю у него уж изредка». Третий рассказал, что, напротив, в его приходе помещик, на какие-то просьбы и требования для церкви отозвался напрямки: «Теперь, батюшка, нам не до вас и вашей церкви; у нас самих нужд и хлопот просто дозареза!»

Мне, признаюсь, сгрустнулось от такого положения вещей, по крестьянскому делу, в отношении к церкви. Из рассказанных фактов ясно было, что не только не думают иные искать благодатного настроения, по этому делу, в церкви Божией, но в своих настроениях и хлопотах, по тому же делу, или совсем бегут от церкви, или не прочь сделать, в чем можно, нападение и на нее самое хотя бы только грубой выходкой.

– А слово церковного учения как действует в нынешних обстоятельствах? – спросил я своих собеседников. – Здесь встречаются, думаю, новые и еще более тяжелые трудности, когда приходится вам касаться крестьянского-то вопроса?

– С этой стороны, – ответил мне один из священников, – особенных затруднений, кажется, не представляется нам. Входить в крестьянский вопрос нам нечего; не наше дело. В нужных случаях мы знаем, в отношении к тому вопросу, одну святую и простую тему: *воздадите всем должная*: «кому оброк, оброк» и пр. или: *всяка душа властем предержащим да повинуется*.

– У меня, пожалуй, – прибавил от себя другой батюшка, – по моим близким отношениям к помещику, всегда в глазах – вся эта суматоха крестьянского дела. Но это до меня не касается. Все это дело мира сего. А Христос сказал: *Царство Мое несть от мира сего*.

Мне еще стало грустнее и тяжелее на душе. Как-то сами собой сближались слова священника о деле своих прихожан: «Это до меня не касается», со словами помещика-прихожанина священнику: «Теперь, батюшка, нам не до вас» и пр. Сближение тех и других слов не давало отрадных мыслей. Мне думалось: те и другие слова и сообразные им действия не вызываются ли и не поддерживаются ли взаимно одни другими? – Это я и высказал нашему обществу, когда хозяин настоятельно просил

меня сказать хоть что-нибудь о слышанном мной. Это оказалось зерном всего дальнейшего нашего собеседования.

– Разумеется, служитель церкви о людях, которым дела до нас и церкви, вправе сказать тоже, что и их дело до него не касается, – так сейчас же отозвался на мои слова тот священник, который пред тем говорил: «Это до нас не касается».

– Ну, а если, – возразил я, – служитель церкви сказал бы это безразлично как о тех, которым нет дела или заботы о церкви, так и о тех (помещиках или крестьянах), которые еще верны и преданы святой церкви? Ведь, пожалуй, некоторые нетвердые и из последних будут переходить к первым, когда до нас – служителей Христовых, до нашего сердца и служения, не будет «касаться» их *утруждение и обременение* в здешней жизни... А Спаситель говорит: *приидите ко Мне вси труждающиеся и обременении и Аз упокою вы*.

Священник, еще из довольно молодых, слегка покраснел, но сейчас же оправился и со скромным достоинством начал говорить.

– Я уверен, Вы не подумаете, чтобы я хотел только спорить с вами. Мне желательно, да и крайне нужно, выяснить себе, как нам, священникам, не вмешиваясь в чужое и мирское дело, можно и должно ближе и озабоченнее следить затруднения и ход крестьянского дела, нежели только при особенных случаях, развивая общую тему о *воздаянии всем должника* – оброка, чести и пр. под. Не откажитесь, ради Бога, поговорить с нами об этом, но при том дозвоьте и нам полную свободу высказываться. В доказательство же, что не ради пустого спора завожу с вами речь об этом, я откровенно признаюсь вам, что наши православные мужички, при наших речах о повиновении или выполнении долга пред высшими, слишком явно заподозревают нас в пристрастии к помещикам. «Известно, – говорят, например, обо мне, – барин у него ребят крестит. Ну так батюшка наш и держит барскую руку!». Потому-то и святая тема: *воздадите всем должная* и т.п., просто парализуется в наших устах. Сам чувствуешь и видишь, что подобное слово

нашего учения – для наших слушателей большей частью как к стене горох. Не знаешь, что и делать.

– Да нечего греха таить, – заметил и другой священник, – у нас часто «в очию совершается» картина, бывшая на петербургской выставке: «Проповедь в селе». Только здесь не в том одном дело, что слушающий проповедника народ «плохо смыслит в том, что говорят ему», как протолкована в одном журнале эта картина⁴⁰. Не держат ли на уме мужики, что все-де барскую руку держит проповедник? Не от того ли более происходит эта безучастная их тупость, когда проповедуем им о повиновении властям?

При этом я, к крайнему сожалению, приметил, что двое из отцев, явно не читавшие журналов, начали смотреть тоже с каким-то сонным безучастием. Хозяин это сейчас заметил, и словами: «Эх, хозяйка, забыла дорогих гостей», – поспешил позвать жену свою на помощь для оживления гостей известными угостительными просьбами попробовать того, выпить этого, а сам продолжал завязавшийся разговор:

– Бывает и хуже безучастной тупости. Ведь, выходящий из-под неволи человек не вдруг поймет цену личного своего освобождения. Ему дорога особенно земля; а земля – помещичья. За землю требуется прежний оброк. Да и мы тут толкуем одно только: воздадите должная. «В чем же воля?» – спрашивает мужик. «Быть же не может, – чтобы царь, объявляя волю, – оставлял нас совсем, почитай, по-прежнему в неволе. Бары беспрерывно обманывают, а попы их руку держат». И вот вам уже не картина: «Проповедь в селе», а целая несчастная история Антона Петрова в Спасском уезде Казанской губернии и таких же беспорядков в других местах, или печальные виды какого-то подавленного недовольства, бродящего между многими временнообязанными.

Слушая это, я не мог не удивляться проницательности и тонкому здравому смыслу нашего именинника.

– Боже мой! Боже! Что же нам тут делать! – спрашивал серьезно озабоченным тоном священник, говоривший сначала, что до него не касается вся эта тяжелая, по местам, суматоха крестьянского дела.

– Все помаленьку уладится, – сказал другой священник довольно беспечно.

– Так, – подтвердил я со своей стороны, – но только под следующим непременным условием: если не оставит нас Божия милость и благодать. А вы именно и служите Божией благодати; ваше дело и есть по преимуществу, как призывает милость Божию к людям, так и стараться об усвоении ее людьми, об упрочении ее за ними во всяком, и особенно важном, деле.

– Для этого мы *молимся* о благословении крестьянского дела, – заметил кто-то.

– Слава Богу! – отвечал я, – молитвой вы призываете милость Божию на это дело; но надо еще выяснять ее людям, чтобы они могли прочно ее усвоить себе.

– Так, так! – с живостью перебил меня священник, который перед тем вызывал меня как будто на состязание. – Но как при этом нам избежать опасности впутываться в дела мирские? Ведь сам Господь сказал: *«Царство Мое несть от мира сего»*.

Приметно, этот батюшка на приводимом им уже не в первый раз слове Христовом о вышнем мире Его царстве крепко было успокаивал свое духовное безучастие к великому гражданскому делу России.

– Обращали ли Вы, батюшка, особенное внимание Ваше на то, как Господь доказывает эту Свою истину, что царство Его не от мира сего? «Если бы от мира сего было царство Мое, – говорил Он, – стоя Сам на суде пред римским прокуратором, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям» (Ин. 19:36). Господь, по предательству Ему, тогдашней *духовной*, власти Иудеев, которые, во враждебное отношение к Нему усиливались и успели поставить и самую светскую власть языческого (римского) правительства; не видно было никого и из верных учеников, кто бы держал Его сторону открыто пред Его врагами: это ли, как бы так Он говорил, это ли Царь от мира сего? Мир сей, готовый, и с гражданской и с духовной стороны, распять Христа, изменнически выдавший Его и со стороны ближайших Его последователей, очевидно – нимало не находился в отношении ко Христу, как Царю. Вот на что указывает Господь в удостоверение Пилата, что царство Его

не от этого мира, только враждебного Ему! Судите теперь сами, справедливо ли будет, после этого, такое или подобное этому наше рассуждение: «Христово царство не от здешнего мира; итак «нечего нам ввязываться в дело последнего, – пускай здешний мир, в своих делах, будет утружден и обременен, пусть здешний мир делает свои дела сам собой (например и по крестьянскому вопросу), царство Христово не от здешнего мира». Так толковать Христовы слова значит упрочивать отчуждение мира от благодатного Христова владычества. Нет, батюшка, к такому образу рассуждения не могут вести эти слова Христова: «царство Мое не от мира сего», слова, сказанные Им именно в горькое обличение мира, нехотящего себе благодатного Его владычества. И в особенности неуместно и несправедливо было бы, на основании этих Христовых слов, духовное безучастие служителей Христовых к делам такого здешнего мира, в котором сами они, по разным своим степеням, пользуются разными правами и не низким внешним значением, который, значит, еще не отвергает служителей Христовых, как современный Христу мир отвергал Его самого. Такой мир, если судить и по этим признакам, еще не хочет идти вне царства Христова; а мы этот мир, и в важнейших его делах, предоставил только самому себе на том основании, что Христово царство не от мира сего?! Да не будет этого! Напротив, наше дело и долг – всеусильно стремиться к тому, чтобы, по слышным в слове Божиим гласам. «Царство мира соделалось царством Господа Бога нашего и Христа Его» (Откр. 11:15). Но это только еще отрицательная сторона смысла слов Христовых о Его царстве не от мира сего, ни тени не допускающая не только поддержку, но и в извинение духовного безучастия нашего к делам и судьбам здешнего мира. Раскроем и положительную сторону смысла тех же слов Христовых. Простите, отца, что уже слишком многословлю...

– Продолжайте, продолжайте, – говорил, схватив мою руку, священник, опиравшийся особенно на слова Христовы о *Его царстве не от мира сего*. – Мне хочется, чтобы Вы договорились до того, как же это, и с участием к делам мира, можно быть или держать себя *не от мира*.

Я посмотрел на других собратий. Один из них только рукой махнул и пошел вон из комнаты, в которой мы сидели; другому, приметно, хотелось бы за ним последовать. Но хозяин с живым вниманием следил за беседой, прибавив и от себя:

– Надо бы нам договориться и до того, как нам и не ввязываться в чужие мирские дела (иначе, пожалуй, заподозрят нас в притязаниях папизма), и однако словом и делом быть соучастниками в положении *труждающихся* и *обремененных* мирских наших братьев.

– Дойдем до всего по порядку, – сказал я, принимаясь за продолжение речи о значении Христова изречения, – о *царстве Его не от мира сего*. В других случаях или местах Спаситель сам дает понять нам, что и положительно значит это Его изречение: *не от мира сего*. Так однажды Он, в беседе с Иудеями, говорил: «Вы от низших, Я от высших; вы от сего мира, Я не от сего мира» (Ин. 8:23). В этой же самой беседе Господь и объяснил, что Он есть не от мира сего именно как сущий всегда со Отцем Небесным (Ин. 8:18, Ин. 10:30), как говорящий и делающий в мире сем только то, что Он видит и слышит у Своего Отца (Ин. 8:26, 29, 38). Итак, хотите ли держать себя или быть со Христом *не от мира сего*, но истинно Христовой мысли, выражаемой Им в этом изречении? В своих поступках и словах, в мире сем, внимайте Христу Сыну Божию и в Нем самому Отцу Его Небесному (что ради вочеловечения Христова, доступно нам людям, в силе самого Св. Духа) и каких бы дел мира и сколько бы Вы ни касались, Вы будете истинно не от мира сего, благодатно во Христе у самого Отца небесного. И самые дела мира сего, совершаемые таким образом, при нашем этому служении, будут возглавляться (очевидно, вопреки духу и притязаниям папизма) непосредственно к самому Высочайшему Главе небесного и земного.

– Ведь, выходит, мы отчасти горячку порем, – заметил именинник, – когда, при нынешних опасностях для светской власти папы, мы и в деревнях наших торжествуем, как будто падает уже и самое заблуждение папства. Мы все то же опираемся на эти слова Христовы: *царство Мое не от мира сего*; только у нас при этом нет и мысли о самой-то

вышемирной высоте Христова царства, с которой папство роняет христиан запада, возглавляя их в папе, а не прямо и единственно в самом Христе Сыне Божиим, приводя их к «Святому Отцу» Ватикана, а не прямо к самому, Единому во Христе, нашему Отцу небесному.

– Что уже толковать тут о папизме? – с грустью и даже самоукорением отозвался тот батюшка, который на тех же словах Христовых было успокаивался, не поднимая впрочем взора к самой благодатной высоте, сущей *не от мира сего*. – Мы сами-то, – продолжал он, – что делаем? Как наведут твою думу на путь прямой, на *суть* дела, видишь теперь и сам ясно истину. Во Христе Богочеловеке, бывшем для нас младенцем, носимом, на Материнских руках подобно и простым младенцам, в Христе, так просто ходившем по городам и селам мира сего, говорившем, евшем, пившем с людьми, (и все это ради нас, и сила всего этого действует на все времена и места силой самого Св. Духа), да, во Христе и для нашей бедной изменности, действительно, удободоступна еще в мире сем эта чрезвычайная высота *не от мира сего*, чтобы нам, и с живым соучастием к утреждению и обременению мира, быть у самого Отца небесного. (У священника, когда он говорил это, слезы заблестели в глазах). И вот эту благодатную, небесную и на земле, высоту, которая открыта нам Христовым *царством не от мира сего*, мы опускаем совсем почти из вида и не думаем держаться этой высоты. Мыслью о Христовом царстве не от мира сего мы пользуемся только для своего нечеловеколюбивого, ленивого или малодушного, безучастия к *труждающимся и обремененным* в сем мире.

Пока рассуждал так прекрасно этот батюшка, смотрю, и еще один из нашего общества выбрался вон, прошептав, басистым впрочем, шепотом: «Ну, и этот туда же пустился!!». Нас осталось только трое. Не покончить ли и нам, спросил я хозяина. Хозяин, и говоривший пред этим гость решительно протестовали против этого. «Что ж, и нам идти в кухню, что ли?» – говорили они. Мне, разумеется, приятнее и желаннее было продолжить наш разговор.

– Ну так, почтенные отцы, будем говорить, – начал я снова свою речь. – Мы еще не вполне исчерпали (впрочем, исчерпать и нельзя, вернее – не вполне обозначили) глубину Христовых слов: *Царство Мое не от мира сего*. Знаете, что, когда, двое из Апостолов нашего Господа, вместе с матерью своей, просили Его дать им быть как можно ближе к Нему, в Его славе, возбудилось неудовольствие на это со стороны прочих Апостолов. Это было случаем для Спасителя к выяснению ученикам духа царства Своего, к различению этого благодатного духа от духа мира сего. Господь вразумлял учеников своих, что в Его благодатном царстве нет места мирскому духу преобладания одних над другими, что в Его царстве должны все одушевляться духом Его самого, *пришедшаго не да послужат Ему, но да послужит сам Он другим и даже даст душу Свою для искупления многих*. (Мк. 10:35–45). Итак, видите, духовное во Христе соучастие к людям, исключаящее притязательность на преобладание одних над другими и простирающееся до крайнего самопожертвования для других, есть такая же существенная принадлежность и отличительная черта Христова царства не от мира сего, как и благодатное возвышение и благоговейное внимание во всем, в силе Св. Духа, Христу Сыну Божию и в нем Самому Отцу небесному.

– Дело очевидное! – сказал священник – гость. Мы еще виноватее в нашем безучастии к людям, этому *нашему братству, еже в мире* (1Петр., 5:9). Но вместе представляется теперь для нас новое затруднение, кажется, совсем непреодолимое. Ведь, в мире обыкновенно бывает (да иначе и быть не может) так, как Сам Спаситель наш сказал: «Почитающиеся князьями народов, владычествуют над ними, и вельможи их властвуют над ними», это уж таков гражданский порядок. «Но между вами, – говорит Господь ученикам далее, – не должно быть так». Но как же, после этого, гражданский порядок или «царство мира может сделаться, как слышны были голоса о том на небеси, царством Господа и Христа Его»?

– Батюшка, батюшка! – отвечал я. – Вникайте, ради Бога, в самую силу истины Христовой, если не хотите во многом путать и только задерживаться на пути разумения и исполнения

Христовых же заповедей. Тот, Кто всенародно сказал: воздадите кесарева кесареви, и Сам строго выполнял это до смерти, принятой Им по приговору римского правительства, хотя двенадцать легионов ангельского воинства готовы были стать за своего Царя (не говоря уже о собственном Его всемогуществе), – такой *Царь не от мира сего*, очевидно не против порядка субординации, свойственного здешнему миру, сказал: «В вас не должно быть так». В самом царстве Его благодати и истины есть, ведь, подобный порядок священноначальствующих и подчиненных, пастырей и пасомых. Ну, еще, будто Вы не знаете, что, по внешности, можно и пресмыкаться рабски пред другими, но лицемерно, без всякой любви и смирения внутреннего, можно и сохранять свое достоинство пред людьми, с искренней однако к ним любовью и смирением. Да что об этом говорить? Сам Господь наш, вводящий верных Его державе, в благодатный порядок и дух собственного Своего снисхождения и самопожертвования, по которому Он *пришел, не да послужат Ему, но послужити и дати душу Свою* за грешных людей, разве отказывался в этих словах Своих о Себе от прав Своего высочайшего владычества или господства? Разве, и по самому внешнему виду и порядку этого святого общества Господа и Апостолов, не очевидно было отношение к нему последних, как именно к Своему Господу? Господь, и среди наглядно рабского дела послужения Своего ученикам (омовения их ног), не позволял самому увлечению преданности и благоговения действовать пред Собой самопроизвольно, хотя бы это произволение состояло только в нехотении простереть пред Господом ноги для их омовения от него: помните, как строго Он заметил и готов был наказать именно такое своеволие Петра (Ин. 13:8). Он тогда же сказал вообще об отношении к Нему всего общества учеников: *вы глашаете Мя учителя и Господа: и добре глаголете: есмь бо* (Ин. 13:13). Видите, Господь не против общественной субординации. Но дело в том, что, соделавшись человеком ради нас человек, и именно грешных и погибающих человек, Господь и проходил все Свое служение на земле в самом Своем сердце и духе пред Отцем Своим, как бы раб, не только

подневольный, но еще и виноватый за совершенно чужие для Него человеческие греховные вины; Он в этом рабском самоистощании самое достоинство Царя вседержавного выдерживал главным образом в том, что как *Агнец Божий* *взял грехи мира*. Насколько кто и верен или послушен был Ему, и в таких Он же сам благодатью того же служения обосновывал и держал эту послушливую их верность; Сам возбуждал и раскрывал их умы, вину их косности и нечистоты принимая на Себя и исполняя их светом Своей истины и благодати, настолько, притом, насколько позволяла это свободная их приемлемость: и в случае многообразных ее недостатков, Он, духом Своей любви, со смирением служителя, стоял у внутренних дверей каждого и стучал, не услышит ли кто голоса Его и не отворит ли двери (Боже наш, Боже наш!) для принятия благодатных Его услуг, возводящих человека из всяческой низости к общению с Ним, Богом. Рабское дело омовения ног учеников, запечатлевшее благодать совершаемого таким образом очищения их (Ин. 13:11), было наглядным и живым выражением того, как вообще Он совершал Свое дело *любви к Своим сущим в мире* (Ин. 13:1), *придя, да не послужат Ему, но послужити и дати душу Свою* за грешный мир. И все такое дело Христово послужения и самопожертвования для людей было и в самой Его жизни (не говоря уже о смерти Его на кресте) крестоносное, страдальческое, не только от прямого недоброжелательства и вражды к Нему многих, но особенно от постоянного непосредственного сближения святости и любви Его с тьмой человеческих нечистот, дел и расположений, противных любви, неверия, маловерия и т.д. Вспомните, как тяжело было нашему Спасителю от просьбы одного отца об исцелении бесноватого его сына – просьбы хотя искренней и жалостливой, но не проникнутой полно верой и указывающей притом на немощь веры в других (Мф. 17:16–20, Мк. 9:24). «О, *роде неверный, доколе в вас буду? Доколе терплю вы?*» – воскликнул тогда Спаситель погибающих (Мк. 9:19). Однако ж Он *терпел* до конца Своего крестного пути самопожертвования и послужения людям, изредка только и то отчасти открывая безмерную страдальческую тяжесть и скорбность этого пути. И

вот Спаситель наш учит и нас, Своих последователей, по мере возможности или, лучше сказать, по мере веры, нашей *входит в дух и настроение такого Своего самопожертвования и послужения человечеству* в мире сем, учит нас всех равно, и именно как тех, доля которых в мире близка в той или другой степени к внешне служительскому Христову делу омовения ног апостольских, или к положению Его в виде подсудимого и потом осужденного преступника, раба, так и тех, достоинство которых служит в той или другой степени отблеском всевысочайшего владычества Христова, державшего верных своих в подчинении Себе, как Господу. Крестьянин и Царь самодержавный, вельможа и слуга, торговец и проходящий гражданскую или военную службу – все одинаково могут и должны, в своем деле, по сыновнему внимать столь близкому к нам во Христе всемилосердому нашему Отцу небесному, имея благодатную Христову готовность послужить человечеству или отечеству всем своим и собой самим, самую душу свою положить за своих братьев и сестер, за которых положил душу Сам Христос Сын Божий, соделавшийся Сыном человеческим за всех. Вот Вам и все ваше «непреодолимое», как Вы сказали было, затруднение к тому, чтобы «царство мира стало Царством Господа нашего и Христа»! Так заключил я эту речь, смотря на возразившего мне священника.

– Да, да, – отвечал он весело. – Св. Равноапостольный царь Константин, ведь, и в самом деле, никому не давал спуска ни в чем, что касалось деле державных и личных его прав; не пощадил, хотя обманутый, и сына своего и потом обманувшую его на счет сына жену свою. Но достиг же он святости равноапостольной; видно, во глубине своего духа он успевал входить нравственно в дух Христова послужения и самопожертвования для всего церковного общества. Вот и наш Св. Александр Невский выдерживал свое достоинство и перед тогдашними нашими поработителями, татарами; не спускал ни брату, ни детям, в случае притязательности или самонравия их, хотя бы патриотического. Но, видно, тоже в духе своем он не прочь был от того, чтобы во Христе жертвовать собой для своего народа и сердечно служить ему, как общему по вере

православной Самому Христу Господу. А Св. Владимиру Равноапостольному, ослабившему было свою власть относительно воров и разбойников, сами духовные наши напомнили, что не это собственно требуется человеколюбивым и кротким духом благодатного Христова царства. Но, ведь, этих избранных скорее можно отнести к исключению, нежели к общему правилу...

– Также точно, – заметил хозяин, – как истинных по Христову духу пастырей и между нами грешными священниками.

– Братья! – сказал я. – Предоставим Христову суду судить нас грешных людей; а сами еще прежде этого суда будем, сколько от нас зависит, подвизаться, чтобы благодатный дух Христова царства, действующий в силе самого Св. Духа, простирался на все мирское в православном царстве, чтобы на всяком месте в гражданстве человек служил Христу и был в любви и благоволении Отца небесного. Наш вопрос, для которого делали мы все эти соображения о Христовом царстве не от мира сего, есть, ведь, следующий: как нам, духовным, не вмешиваясь в чужие мирские дела, братски соучаствовать и содействовать нашим братьям в мире по крестьянскому вопросу? Все, говоренное нами доселе, нам надо свести к разрешению именно этого вопроса. Не правда ли?

– Ну, признаюсь, – отвечал хозяин, – я было уже думал, что Вы уже оставили в стороне этот довольно частный вопрос, остановясь на одних общих соображениях.

– Да что же вышло бы из этого – заметил другой. – Эти наши общие рассуждения, без прямых применений к тому или другому в действительности, почти только тешат нас самих, оставаясь без плода.

– Ну, так к делу! – заговорил снова я. – Все, что относится к духу Христова царства не от мира сего, о чем мы довольно уже говорили, все это особенно радует и даже восхищает меня в применении к делу по крестьянскому вопросу. Вот сущность всего, нами говоренного. Надо нам, по благодати Св. Духа, во всем внимать благоговейной мыслью и чувством Самому Христу Господу и в Нем Отцу Его небесному, но не в духе (сохрани Бог)

преобладания и возношения одних над другими, а в настроении и духе Христова самопожертвования и послужания другим – в этом существо и сила Христова царства не от мира сего, как мы видели. В применении этого к себе и к помещикам и крестьянам, служителю Христову свойственно так думать и настраивать себя: «В благодатном Христовом царстве вся высота и слава и власть благодатная сосредоточиваются в Самом Христе – единственном Царе и Главе благодатного царства. Поэтому, мы, служители Христовы, стали бы духовно преобладать и возноситься над прочими нашими сочленами в Христовом теле Церкви, если бы (подобно папе и его духовенству) приписывали себе особенные пред другими права. *Не тако будет в вас*, сказал Спаситель Своим служителям и ученикам. Но мы – участники особенной благодати священства? Так; но эта особенная благодать дана нам для благодатного послужания именно тому, чтобы Христос Господь был и со всеми прочими, и простирал в Себе самом на всякое их положение и деятельность благоволение Своего Отца, в силе Св. Духа, для спасения их от всего лживого, пагубного вообще греховного. Боже нас упаси от того, чтобы вмешиваться непрошено в самые распоряжения и дела по крестьянскому вопросу (как и вообще в дела гражданские, за исключением разве случаев приглашения от самой власти гражданской): это значило бы для нас посягать на владычество и главенство самого Христа, Которому (и по восприятому Им ради нас в единоличный союз с Божеством человечеству), *дадеша всяка власть не только на небеси, но и на земли* (Мф. 28:18), и Который, на всякое нужное дело на земле, имеет Свои орудия и сосуды, *ови в честь, ови же не в честь* (2Тим. 2:20). Нет; делу Христову в наших по Христу братьях, которые трудились и трудятся по крестьянскому вопросу, мы, служители Христовы, мешать своим вмешательством не должны, не хотим и не будем; довольно уже западному духовенству допустить подобное заблуждение против самого Христа, по отношению к гражданским порядкам, и изведать на опыте, куда оно повело. Это – так, *ей и аминь!* Но, чтобы Христос Спаситель находил удобное или открытое место в умах и сердцах людей,

действующих по крестьянскому вопросу или прикосновенных к этому делу (как и всяких светских или мирских деятелей), чтобы они сознательнее и охотнее открывали в себе место для Его благодати и действовали именно по Его духу и истине, – этому служить есть наш священнейший долг. Как служить? – Известными нашими духовными способами – молитвой и словом, сколько кому из нас возможно или дано от Бога. Итак буду и я, священник Божий, служить общему делу молитвой и словом истины, действуя этими способами не иначе, притом, как в духе Христова послужания и самопожертвования, для людей. Буду молиться, чтобы дано было нам всем и в земном благосостоянии того или другого сословия видеть собственно дары любви Отца небесного, открытой нам в Сыне Его Иисусе Христе; чтобы таким образом в устроении благосостояния крестьян, для самого успеха этого дела, имелось в виду *прежде царствие Божие и правда Его (Мф. 6:33)*. Буду утверждаться в вере и уповании, что небесный Отец помилует и ущедрит Россию, по этому делу, ради самого Сына Своего возлюбленного. Буду и в слове своем разъяснять одним (помещикам), что они оказывают добро по этому делу самому Христу в лице меньших братьев Его, а другим (крестьянам), что для них слишком много побуждений не смущать, не раздражать, а успокаивать дух Христов, человеколюбиво для них воздействовавший в Царе и в прежних их владельцах; пусть те и другие видят, что не из-за чего им, тем и другим, разделяться взаимными недоразумениями и недовольством. Буду внушать *воздавать всем должна, особенно властям предержащим повиноваться*, но не иначе, как раскрывая, что власть в своем основании и существенно принадлежит одному вседержителю Господу, благоволившему притом проявить Свою власть в духе послужания людям и самопожертвования для них, чтобы в этот дух входили все верные ему, властелины ли, подчиненные ли. Пусть не только последние, но и первые в слове о власти и повиновении слышат, обязательный равно для тех и других, урок слова Божия, и таким образом пусть мужички не имеют повода подозревать, что-де все руку господ мы держим; пусть все видят во власти не какого-нибудь ветхозаветного грозного

приставника, но одну из животворных сил Самого вседержавного Царя благодати Христа. Равно и следить все это крестьянское дело (сколько мне приходилось бы следить это через чтение *уложения* или *известий* об этом, или другим каким бы ни было образом), буду стараться не иначе, как благоговейно внимая во Христе Самому Отцу небесному, назирающему Своей благодатью нас грешных и в мире сем ради снисхождения к нам на землю и самопожертвования за нас Сына Его, сила чего действует навсегда во всей земле (Откр. 5:6). Так, при помощи благодати священства, буду и я подвизаться, по возможности, над возвышением крестьянского дела или вопроса к Христову *царству не от мира сего*, в спасение нашего православного царя и царства. Пусть и по такому делу православные русские находят и видят в Своей Святой церкви истинную мать!..»

Оба мои слушатели братски обняли меня, когда я замолчал.

Так и покончили мы свой разговор; и гостеприимный хозяин пригласил нас, на этот раз уже всех вместе собравшихся, к столу, за которым наклонялась речь к тому же предмету, и именно к различным общезанимательным его частностям, как было в самом начале нашего разговора.

Вот еще случай или особый род беседы о том же предмете, – в которой привелось мне принять некоторое участие. Это был, действительно, особый или чрезвычайный род беседы. Но чтобы ввести читателя в эту беседу, надо наперед сказать несколько слов о самом роде такой беседы.

В деле истины всегда был действующим тот порядок, что, на какую ее сторону будут нападать с целью затемнить ее, извратить или совсем отвергнуть, с этой именно стороны истина и разъяснялась и поставлялась на вид любящими истину. Между многоразличными нападками на истину не только со стороны легкомыслия или вражды, но и со стороны кажущейся ревности об ней, есть одна не слишком заметная по наружности, но не безопасная по значению. Это нападки литературы на все, что сколько-нибудь отзывалось бы *юродством Христа ради*. И странно! – случается, что сами нападающие представляют какую-нибудь болящую, к которой

обращались простые души за советами, женщиной, раздававшей все свое бедным или по церквам; и однако относят ее к новооткрытому ныне роду лжепророков⁴¹. Чего не делало неведение особенно тех, которые воображали себя знающими? Оно и Христа распяло, по Его собственному свидетельству (Лк. 23:34). Поэтому любящим истину надо стараться, чтобы выяснять затемняемую и отрицаемую с этой стороны истину.

Я уж лет десять знаю одного глубочайшего старца, заштатного священника, числящегося между людьми неполного же ума, как покойный Иван Яковлевич, хотя и не помещенного в доме умалишенных. Я бывал у него весьма много раз, и видал приходящих к нему за помощью и советами людей всякого звания и состояния, – духовных, дворян, мужичков, горожан, мужчин и женщин. Наведенный самим же этим старцем на мысль Иоанна Богослова, как испытывать духов или духовные, в особенности чрезвычайные, настроения людей (1Ин. 4:1–3), я обыкновенно слежу за всеми и всем у этого седовласого священника не иначе, как в постоянном, сколько выдерживает моя немощь, молитвенном внимании к самому Спасителю нашему *Христу во плоти пришедшему* для спасения нашей не только души, но и телесности, и в Нем к Отцу Его небесному, с призыванием помощи Св. Духа. Когда у меня это воззрение ослабевало или закрывалось, старец сам поднимал меня простым внушением, чтобы я помнил, «Святаго». (В школе этого старца такое воззрение и обосновалось у меня в начало для мысли и дела во всем, не только прямо церковном, но и нахожусь ли я в обществе, читаю ли светскую книгу и проч. и проч.). Следя с таким внутренним воззрением за всем у Божия старца в продолжении нескольких часов, я как будто выслушивал самую глубокомысленную, но обнимающую и все наши житейские мелочи, лекцию. Люди разных полов и настроенности приходят и уходят ровно для раскрытия той или другой мысли; ясно становится, что любовь Отца небесного, в Сыне Его открытая и действующая благодатью Духа Святаго, держит и ведет всех, со всем разнообразием их лиц и судьбы, в неразрывной внутренней связи между ними всеми. Никому нет

не малейшего ни в чем духовного принуждения и натяжки: один ему кланяется маститому старцу, другой, хоть бы мужичок, садится около него и, по его предложению, берет табачку из его табакерки. Дух тишины святой мысли и стройности словно царствует над всеми, хотя старец то и дело постукивает разными (лежащими там у него в переднем углу) инструментами, а иногда и вскрикнет на кого; все присутствующие в простой деревенской избе представляются действующими, каждый по своему, но по распоряжению одной правящей мысли. Я испытывал неоднократно, что старец отвечал и на внутренние мысли, как на обыкновенные речи. Сколько мог я дознать, дело этого Божия старца, которому посвящается весь особый род его жизни, есть дело истинного во Христе мира между людьми и благочиния во всем, соединенного с рассудительным, светлым разумением. Но при всем этом с проницательностью и решительностью иных господ как легко и этого старца отнести, Бог весть, к какому роду людей; нахлобучки тут опасаться нечего! Говорю это не с горечью упрека, а с остережением любви, что, действительно, легко можно надругаться над истиной в лице того или другого человека, только и живущего и дышущего истиной. Односторонность не только мракобесия, но и светобесия (не умею, как иначе назвать направление мысли рациональное только с одной стороны, а с другой допускающее и отстаивающее совершенно противоразумный произвол) равно закрывает и извращает истину.

Но обратимся к главному-то нашему предмету, изложение которого будет у нас уж, кажется, короче предварительных объяснений.

Прошлом лето был я у упомянутого старца, с тревожными думами обо всем – о Востоке, Западе, нашей матушке России, о Церкви Божией, о себе самом. Думы подобные и прежде, бывало, возбуждались во мне разными речами и действиями этого старца; случалось, что он оказывал и очень ошутительную для меня строгость ко мне, по тем или другим вопросам. На этот раз он был для меня точно матерью, остерегающеюся как-нибудь небрежно дотронуться до больного места своего

ребенка. О, как я нуждался именно в такой духовной ласке любви!

У старца, после многих разных посетителей, остались наконец (часам к двум по полудни) три пожилые женщины, которые и стояли пред ним рядком. Одна из них, приметно умная и добрая женщина из поселянок, говорила, что сын ее, несмотря на свои молодые годы, был приказчиком у богатого хозяина-купца и сначала ничего хмельного не пил; старые приказчики ему завидовали и вот один из них зазвал его, голубчика, к себе в гости, упросил его выпить виноградной или простой водки; и с того самого времени открылся у парня такой запой, что все дела у него пошли вон из рук. Мне, привыкшему от частного случая отвлекать и обобщать выражаемую этим случаем ту или другую мысль, сейчас, представилось молодое поколение нашей матушки России (не столько физически юное, сколько нравственно новое, не сочувствующее ничему изветшавшему и мертвому), обнаруживающее в разных сословиях много хороших задатков и благородных порывов, но, по своей еще неустойчивости в добре и нередко по поводу проявлений завистливого недоброжелательства стариков (также нравственных, т.е. поклонников мертвой рутины и подобных), впадающее в разные губительные увлечения и беспорядки на горе и опасности для своей матери. «Всех перегадил», сказал с негодованием Божий старец, смотря сам в пустое место, имея в виду, конечно, общий корень человеческой порчи – самого духа лжи и зла. На людей, значит, нечего жаловаться и сердиться по подозрительным и укорительным суждениям! Потом старец выразительно прибавил: «*Благодать!*» В самом деле для того и явилась благодать, для того и пришел Христос, чтобы *разрушить дела диаволя*, упразднить всякую от него порчу в человечестве. Поэтому мне в этом воззвании: «*благодать!*», слышался такой голос к матери запойного сына: «Мать! только верой «стой в благодати, усвой себе Христа, страдавшего и умершего на кресте и за твоего сына, при внутреннем соучастии в Его страдании со стороны Пречистой Его Матери. Припадай к Его распятию, особенно когда тебя снедать будет горе о беспорядках твоего сына, и получишь благодать;

кончатся запойные припадки несчастного» или разрешатся добром. Так я думал и, по возможности, протолкавал это доброй матери у этого же старца, представляя себе с радостью, что, авось, Царь Небесный даст и православной России благодатный исход, из случающихся наших неразумных влечений, соприкосновенных к крестьянскому ли вопросу с той или другой стороны, в студенческой ли жизни, в науке или в литературе. «Азбуки-то все у нас нет» – заметил задумчиво старец, разумея (как мне подумалось) невыясненные и неупрощенные нами начала для этого благодатного исхода.

Другие две женщины были также матери семейств из дворовых людей, получившие уже со своими семействами от добрых господ полную свободу. Они спрашивали батюшку, как поступить лучше – записаться ли в городском мещанском обществе или взять землю наряду с крестьянами. Читателю моему известно уже, как и моему сердцу дорого и близко, выразившееся в освобождении людей от крепостной зависимости, то гражданское признание, что и они в великом доме русского царства как дети у отца, а не рабы; это благодеяние оказывается, в лице меньших братьев самого Христа, именно Ему Самому, Сыну Божию, соделавшемуся равно для всех нас, человеков, Сыном Человеческим. Поэтому, услышав высказанный женщинами вопрос, я с живостью наострил уши, понимая этот вопрос, естественно уже, в таком смысле: для упрочения за собой и раскрытия в жизни благодати усыновления во Христе Отцу Небесному, отобразившейся и в гражданском нашем быте, лучше ли забираться в городскую высь – держаться направления к возвышению над уровнем земским, или крепиться более к земле – заниматься и земным, только в духе усыновления Отцу небесному? Батюшка отвечал женщинам, что надо «*взять землю*». Непременно, вторил я ему, надо нам держаться во всем духа снисхождения Христова на землю, хотя бы дело шло и о выборе простой житейской доли. Тогда и *возьмем* землю: и земное может сделаться областью Христова духа.

Одна из женщин стала было говорить, что она, в дворовой жизни, совсем не была привычна к работам земледельческим.

«Ничего, matka, вывезешь» – отвечал седовласый Божий священник таким грубым голосом, каким наш мужик кричит иногда на лошадь. Признавая на деле уничтожения крепостной зависимости осенение духовно-благодатное, я в затруднении женщины, непривычной к земледельческой жизни, видел действительно великое затруднение для нас заниматься по духовному и самым земным, когда мы обыкновенно, держась духовного, уже пренебрегаем земным или, занимаясь земным, опускаем уже из виду все духовное. Но если Бог наведет священство на благодатную мысль выносить в себе то тяжелое мужичество, которое земным и занимается, только как грязью, не хотя и зная чего-либо высшего: то, Бог даст, непривычное бремя также удобоносимо будет для нас, как для лошадей не трудно *вывозить* соразмерные их силам тяжести.

Потом, точно в подтверждение и для дальнейшего развития моих мыслей, батюшка, смотря на женщин, запел, на голос, каким матери или няньки поют колыбельные песни: вижу, что (сколько) на свете есть церквей»; дальнейших слов я не помню с точностью, но только знаю, что он описывал далее красоту этих Святых Божиих церквей. Мне сейчас припоминалось, что в женщине супруге, действительно, благодатно отображена церковь. Итак старец, видно, восхитился к созерцанию красоты Св. церкви, какая должна раскрыться в мире по частным церквам, когда и земное будет возвышать к духу Христову и Христова благодать и истина осветить мирское; но он видел пред собой только еще детское, бессознательное предназначение этого, требующее в успокоение и утешение для себя колыбельной еще песни. Бог знает когда все это духовно возрастет и созреет...

– «*Это азбучки*», – сказал наконец батюшка, указывая на всех трех женщин. Да! как будто по азбучке учил он меня чрез обстоятельства этих женщин. Но название *азбучек* в приложении к женщинам означает, очевидно, живые книжки для первоначального обучения в показанном выше деле жизни, благодатной и в земном; и в этом смысле оно мне напоминает название *книгою Слова животного* самой Матери Божией, образ которой указан словом Божиим еще в первой женщине-

представительнице и родоначальнице всех женщин, и притом в состоянии уже ее падения (Быт. 3:15). И так вот кто может и охранить и возрастить слишком еще младенчеству во многих дух благодатный, имеющий созреть для раскрытия во всем земном: это сама Матерь Господа нашего, могущая действовать к умягчению и оживлению слишком ожестелого и замершего во многих духа чрез Свое отображение вообще в женщине, на сколько вера наша успеет охранять и возвышать светлость и чистоту этого отображения. Пусть христианки *приведутся к Царю благодати в след Царицы небесной* (Пс. 44:15), сообразуясь с книгой Слова жизни, хоть только как азбучки. Исполнится тогда это пророческое слово: «Иегова сотворит нечто новое: женщины будут охранять мужчин» (Иер. 31:22 с еврейского; из пророчества о возвращении народа Божия из вавилонского плена). Если мы едва, едва только младенчесуем во Христе; то и Сам Он, Слово жизни, умалился ради нас до написания⁴², так сказать, буквами человеческого естества в Пресвятой Деве Богородице, до самых первых начатков младенчества в Ее чреве. И если такую Ее благодать предъизображена и ветхозаветная Ева; то тем более христианки могут и должны своей верой и любовью к Пресвятой Богородице послужить той Ее благодати, чтобы Она Сама матерински поддержала и возбуждала в нас дух Сына Своего, глубоко погруженный у нас в бессознательном духовном младенчестве нашем. Когда в подобных думах взглянул я на батюшку, то (говоря пред Богом) словно из-за скорлупы старческой его ветхости представился мне выглядывающий живой младенец. Так вот, продолжал я свои думы, если бы большинство наше слишком изветшало своими грехами и особенно невниманием ко Христу, маловерием и неверием; то все же находятся избранные участники в духе Христова младенчества, в духе именно той любви Господа к нам грешным и заблуждающим, по которой Он низшел до младенчества. *Аще не обратитесь, и будете яко дети* (соучастники духа и силы Святого Христова детства), *не внидете в Царство небесное, в царство благодати и истины* (Мф. 18:3).

Живым указанием старца на эту Христову истину и покончился этот чрезвычайный разговор с ним о том, что и в земных делах, в земном быте матушки России, есть готовая область Христова света и духа.

VIII. Путевые заметки и разговоры касательно народного духа

Не слишком много, но и не мало я покатался в нашей великой России на пароходах и паровозах, на русских телегах и санях, большими дорогами и проселками. Всегда и везде в этих путешествиях старался я следить за тем, что у нас русских есть в том или другом сословии, а на основании своих замечаний заключал и о том, что у нас может и должно быть. Некоторые поездки оказывались особенно счастливыми в этом отношении; во время их приходилось припоминать впечатления и опыты и от других дорожных и недорожных столкновений и сближений с людьми, и всему этому подводился как будто общий *итог*. Вот поездка, особенно памятная мне по подобным заключительным выводам, какие, во время ее, посчастливилось мне сделать по разным вопросам.

Пришлось мне остановиться на постоялом деревенском дворе уже к утру, когда другие постояльцы оставляли ночлег. Мне пришлось остаться на лицо только с хозяевами. Видно было, что это люди зажиточные и почетные в деревне; к ним обращались с каким-то оттенком подобострастия приходившие зачем-нибудь соседи. Сами по себе мои хозяева казались мне порядочными людьми в своем кружке. Но, присматриваясь и прислушиваясь к ним, я заметил у них чрезвычайно важный и неприятный недостаток: они обращались друг с другом или вообще относились друг к другу не только с тяжелой грубостью, но и с самой жесткой сварливостью. Такими оказывались не только сам хозяин и хозяйка, люди пожилые уже, но и молодежь; даже матери на плач своих грудных ребят отзывались с какой-то дикой беспощадностью, называя их «лягушатами», «чертенятами», высказывая желания от злого сердца, чтобы «их прибрала скорее нелегкая» (т.е. смерть или судьба). Мне пришлось наблюдать все это часа три и надуматься вдоволь. Отчего, думалось мне, такая беда в православно-христианских семействах? От необразованности и невежества? Но мне припомнилось, что в самых глухих

захолустьях случалось мне встречать безграмотных людей с теплым и даже нежным чувством, с правдивым и любящим духом, и эти люди живут в дымных, черных (без печных труб) хатах; а у моих теперешних хозяев «горница» была увешана по стенам пестрыми бумажными картинами и в семействе были бойкие грамотеи. Или эти люди мало знают с духовными своими отцами, мало ходят в церковь? Но как нарочно случилось остановиться мне в этом постоялом дворе в какой-то праздник и хозяин силой отправил половину семейства в приходское село в церковь. Кроме того, мать хозяина, старушка, разговарывая со мной, сказывала, что священник в храмовые праздники (празднование их в деревнях продолжается на несколько дней) всегда угощается чаем и обедом в этом доме, а если случится ему запоздать в деревне, то и ночует здесь, а не в другом доме. Отчего ж происходит это горькое несчастье, что православное христианское семейство, по взаимным отношениям его членов, хуже иного нехристианского семейства?!

Добираясь до истины по этому вопросу о явлении, очень и очень не редком в наших православных семействах, я однако внутренне держался или старался удержаться в таких мыслях и расположениях пред самым Отцом нашим небесным: «Все же они Твои дети ради Сына Твоего, соделавшегося Сыном человеческим и в человечестве распятого за нас грешных, злых и вместе неразумных людей. Все же Ангелы этих младенцев, с которыми с таким диким неразумием обращаются родные их матери, всегда видят лице Твое. Все же Мать Твоего Сына, Мать любви и милосердия, найдет в этих жестких сварливых людях начатки Духа Сына Своего, хотя и глубоко зарываемые в духовной бесчувственности, но тем не менее существующие по жизненному действию святых таинств православной церкви. И имеющие уши слышать услышат в самой беспорядочности и безобразии подобных семейств христианских жалобный вопль Твоих детей, чтобы им дали или помогали хоть сколько-нибудь сознать и почувствовать над собой благодать Твоего всеблагостного отчества»... По мере такого движения и одушевления моей веры, я стал замечать, что и в тусклых,

тупых и жестких взглядах моих хозяев понемножку засвечивался тихий огонек жизни, сочувствия ко мне и друг к другу. Под конец я имел радость услышать, что злая, по первому впечатлению на меня, свекровь что-то передавала своей невестке мягким и добрым голосом, а мать одного расплакавшегося ребенка чуть не со слезами приголубливала его материнскими ласками. Дух Отца небесного ощутительно пронесся над нами, верующими в Его Сына.

Тогда ясна для меня стала причина жесткости и сварливости между собой хозяев моего постоянного двора. Пред ними постоянное течение чужих людей, занятых своими делами, останавливающихся на постоялом дворе без всякого внимания к своему родству с хозяевами этого двора по самому небесному Отцу. Сами они, эти хозяева, встречая и провожая своих постояльцев – все новых и чужих, по неведению своему тоже всегда далеки оттого, чтобы пользоваться в этом прекрасными случаями увидаться со своими братьями и сестрами по Отцу небесному, давшему нам Сына Своего для того, чтобы породнить нас друг с другом самым живым благодатным родством. Вместо того, чтобы послужить своим родным по Господу в нуждах и беспокойстве их странствований (разумеется не с обидой и для себя, потому что Отец наш небесный никого не обижает ради интересов другого: Он равно всем Отец), вместо этого хозяева постоянного двора имеют в виду и внимании только свою прибыль, хоть бы и с обидой для других, для постояльцев. И вот дух отчуждения и нелюбви к людям, разносимый по постоялым дворам равнодушным эгоизмом большинства постояльцев и усердно развиваемый в хозяевах собственным их своекорыстием, овладевает мало помалу всем семейством постоянного двора и выражается во взаимной сварливости членов этого семейства, и то в какой-то бесчувственной к людям плотяности, утучняющей только себя. На постоялых дворах, при многолюдных дорогах, встречаются всего чаще подобные грустные явления.

Оскудение любви между людьми, даже между кровными родными, ныне и вообще всюду, а не на постоялых только дворах, скорее заметите, нежели противоположные явления.

Везде видите, что словно чужие люди, занятые своими делишками, сходятся или расходятся с другими чужими же людьми, занятыми тоже своим эгоизмом, своими делишками; и без любви, как вне отеческого крова, всем бывает как-то тяжело на душе, неуютно в сердце. Братья! пойдём к нашему общему небесному Отцу, ещё простирающему к нам свои объятия ради вочеловечения Своего Сына и готовому соединить нас друг с другом самым живым благодатным союзом. Живём ли мы среди других людей в своих домах или квартирах, или странствуем по разным дорогам по требованию наших обязанностей или надобностей: будем везде сохранять и оживлять в себе сознание и чувство, что везде мы – у нашего всеблагостного Отца, дающего нам повсюду братьев и сестер, общников Сына Его Единородного. Положим, что люди часто попадают злые, обманщики и обидчики, ничем не напоминающие нам о братстве с нами; но необманчив, необидлив, всеблаг сам Господь, ставший человеком и умерший за грешных людей. В Нем-то, в Нем одном, будем утверждать свое братство со всеми.

Особенно наставники училищ, высших и низших народных, все равно – духовные ли, светские ли, пусть проникаются и одушевляются живым сознанием, что их воспитанники и ученики – дети всевышнего Отца, что, ради осенения их детства, возрастания и воспитания своей благодатью, сам Господь в своем человечестве был младенцем, отроком, юношей, «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк. 2:52). Более всего, да и во благо всего, нужно народному нашему духу подняться к светлому и отчетливому сознанию, что мы еще под благодатью Отца, что не только радости и блага жизни, но и ее скорби, нужды и беды, самая даже смерть, принадлежат уж к области благодати всещедрого нашего Отца; потому что крест скорбей и злостраданий до смерти нес для нас Сам возлюбленный Его Сын.

В продолжение моего путешествия остановился я на другом постоялом дворе, в деревне, где был какой-то праздник. Тут по-видимому все направлялось к опровержению моих мыслей, что мы еще живём у нашего небесного Отца, как Его дети.

Признаюсь, я попал словно в пьяный какой-то край. За одним столом сидят – обедают и пьют водку, за другим столом пьют чай и вместе водку; в одном углу пьют просто одну водку, в другом пиво и водку. Одни пьяные мужики крепко осели на своих местах, другие слоняются из угла в угол, из одной «горницы» постоянного двора в другую, желая присуседиться к какой-либо кучке пьющих. Шум, гам, заверенья к братской любви, целованье, брань и толчки – все это было вместе; но надо сказать правду, что элемент дружелюбия видимо преобладал над стихией сварливых ссор. Впрочем нельзя было поручиться ни за одну минуту, что все будет мирно и благополучно. Случилось на этом же постоялом дворе остановиться одному духовному лицу, человеку приметно кроткому и уживчивому в какой бы ни было среде. Пьяный мужик подошел к нему, во время его закуски; и наговорил ему целых три короба на такую тему: «Вы – наши отцы духовные, пастыри, а мы – овцы глупые, заблудшие» и т.д. Минут чрез пять-шесть гляжу – этот же пьяница уже честит того же церковника всякими сладкими «именами»... И все это безо всяких поводов, а так взбрело пьяному в голову. От этого разлива пьянства все было безобразно и грязно для внутренних и внешних чувств, подобно как было грязно на дворе и под окнами этого постоянного двора (это было время весенней грязи и распутицы). Взгляд мог успокоиться только на малых ребятах, резвящихся со своей детской игривостью, как ни в чем не бывало, да отчасти еще трезвых, хлопочущих около печки хозяйках.

Всего досаднее или грустнее было, что пьяные мужики не довольствовались опьянением друг друга, а продолжали, по разным своим кучкам, подбивать друг друга, чуть не насильно вливая вино один другому. Тут припомнились мне недавние случаи, как на одном свадебном пиру один старый небогатый мужик подбивал другого молодого и бедного своего крестника: «Пей, мол; Митька: тебе на свадьбе только и попить»: а то еще один молодец, отправляясь из гостей, забывал то рукавицы, то тулуп, и бедняка наливали водкой всякий раз, как он возвращался за забытой вещью: и Митька, и этот молодец

опились до несчастной презренной смерти. И сколько подобных случаев от водки-дешевки! И во всех этих случаях пропадает человек, за которого Христос умер, пропадает человек, за выкуп которого мало богатств и царств мира сего, а требовалась кровь Сына Божия...

«Вот тут и воображай себе, – слышатся мне при этом насмешливые возгласы, – что все эти пьяницы находятся еще в благодати Отца небесного, как его дети!!» Но отчего происходит в нашем народе это безобразие пьянства, с ужасными последствиями, если не от недостатка в православном народе сознания и ощущения духовного, что они, православные, суть нареченные, действительные дети самого Отца небесного по сообщению с Сыном Его чрез крещение и другие святыя таинства Церкви? Будь хоть немножко в сознании и чувстве народном, что с нами всегда Отец небесный, отечески взирающий на наши работы и отдохновения от них, утешающий нас благами и радостями праздников. Ведь, это сознание подняло бы народный дух к такому благородству, которое не позволяло бы упадать православным до скотоподобного состояния пьянства. Отчего же те, которые помилованы от Господа сохранением в себе живой веры и благочестия или которые только мнятся себе благочестивыми и ревнующими за благочестие, отчего они не стараются пробуждать в себе и других этого ощущения и сознания благодати Отца небесного, осеняющей православны и за мирскими работами, не оставляющей их (только бы они помнили и не оставляли сами этой благодати) и за праздничными удовольствиями, а напротив, *дающей нам вся обильно в наслажденье?* Насколько кто из христиан чужд этого благодатного сознания, что мы – у Отца, настолько он чужд и того состояния, которое, как отличительное состояние христиан, Апостол так изображает: «Поелику вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче! Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа» (Гал. 4:6–7). А вне этого благодатного состояния и настроения естественно быть кому бы то ни было рабом жестоковыйным, который, при первом удобном случае, и развивает свое

духовное неблагородство до дикости и скотоподобия, а то и до зверства. Почему, особенно. начальники православного народа, в каком бы то ни было отношении, не питают и не возгревают в себе постоянно действующего в их духе сознания, что они имеют дело с нареченными детьми самого Бога? Чрез одно это православно народный организм мог бы незаметно настраиваться духом, приличным семейству самого Отца небесного, и понемногу освобождаться от грубых пороков, столько унижающих наш народ.

Среди такого моего раздумья вошел в избу крестьянский молодой человек, лет 20-ти, в аккуратном полушубке, с бодрым лицом и взглядом, в котором виднелось какое-то, чуждое впрочем и тени пренебрежения к окружающей его пьяной среде, благородство, явно несродное этому грубому пьянству. Он подал кое-кому из хозяек руку. «Грязно?» – спросили его с участием о дороге, по которой он ехал. «Ничего, высохнет»- отвечал он весело. Собравшаяся около новоприбывшего молодого человека небольшая группа трезвых и добродушных лиц, с резвящимися около них детьми, вдруг показала, что солнце любви Отца небесного не перестает сиять и над этой нравственной грязью деревенского пьянства, имея в ком отразить и успокоить тихий свой свет. У меня пошли мысли повеселее. Эта нравственная грязь, думалось мне, не есть ли временное последствие настоящего переходного времени – этой *весны* разных улучшений и преобразований (между прочим улучшения и удешевления самой водки)? Теперь русский человек рад этим улучшениям, но как-то глупо. Но войдет он, Бог даст, в самый толк новой своей жизни, и нравственная грязь у него высохнет. Только да сохранит и да утвердит Отец небесный нас, и особенно молодое наше поколение, наших детей, сначала хоть в бессознательном только чувстве, а потом и в отчетливом сознании, что мы живем *дома*, у Отца нашего небесного, как «сожителю святым и свои у Бога» (Еф. 2:19).

Дальнейший мой путь был – *железная дорога*. Я приехал сюда, часа за полтора, если не более, до отправления вагонов. И так как я располагал ехать в 3-ем классе, то и должен был дожидаться отъезда в зале для пассажиров 3-го класса. Здесь

была уж не одна сотня мастеровых мужиков, отправлявшихся на заработки «до Петрова дня». Я насилу нашел уголок, чтобы присесть для обычных моих наблюдений. Боже мой! Что я увидел и услышал тут! Представьте себе взрослых, и именно в армяках, шалунов, которые вырвались на свободу и решились, как говорят, «распахнуться». Что слово, то сквернословие, сопровождаемое мужицкими жестами и диким смехом. И в этом еще соревнуют друг перед другом: пожилые своими развратными выходками стараются показать, что они не оstarки какие, а молодые словно хвастают, что они уж не малолетки, хотя из них были еще и безбородые. Не то, чтобы они были пьяные; они, и то не все, были только «навеселе». Да и пить много было им не на что: только еще шли на заработки. Было в зале человека два-три и из дворян, военных и штатских; но мужики как будто нарочно рисовались пред ними: «прошло-де ваше время, не ударите уж в зубы». Были и духовные; но, видно, они из других приходов. Были дамы, девушки: мужицкое чувство приличия ни чем не задерживалось.

Смотря на грубые выходки мастеровых и слушая разные из рассказы, я приуныл не на шутку. Одно только утешало, что в народе видна еще свежая жизнь, а не приметно расслабления, или истощения сил, тупости и вялости. Беспорядочная игра свежей жизни происходит, может быть, только от незнания прямого и простого порядка жизни. Ведь, небось, эти же люди в церкви не кривляются с озорными словами, также и дома у себя не похабничают. Почему ж не дают им понимать и чувствовать, что Господь наш не в церкви только назирает нас Своей благодатью, но и над рабочими людьми, в их работах, остается истинным их Хозяином, Который Сам все назирает Своей благодатью, только бы они не отвергали такой благодати? Зачем не довольно проводят в народное сознание той истины и благодати, что Господь для того и сходил на землю, соделавшись сыном человеческим, для того и прожил наибольшую часть своей земной жизни в доме рабочих людей (плотника Иосифа и его детей), чтобы и труждающихся в чернорабочей доле иметь всегда при себе или чтобы они работали всегда при Нем – едином истинному человеколюбце?

Почему не втолковывают крестьянам сызмала, что, отправляясь для заработка «на сторону» к чужим людям, они все же остаются дома, в родной семье братьев и сестер по Господу Иисусу, по Отцу Его небесному? А то вот жалкие люди, иные сознательно, а иные бессознательно, обоснуются на пагубном начале: «Мирское дело, известно; грешное», и пойдут на свои мирские дела, как будто в Содом и Гоморру; соответственные этому начнутся у них и речи, и мысли, и расположения. Еще пока они находятся в своих семействах, то более или менее сдерживаются инстинктивным ощущением благодати всевышнего Отца, находящей для себя место, по крайней мере, в искренности семейной любви. Зато, вырвавшись «на сторону», они готовы бы позволить себе все нехорошее, и только тяжестью и неотступностью труда сохраняются в свежести жизни; но гадкими словами (да кстати и грубым, по мере средств, невоздержанием) потешат уж себя. Само собой разумеется, что разные внешние обстоятельства и поводы могут ослаблять или еще более усиливать такое зло. Эй, православные! Надо нам перестать смотреть на мирское. как на область одного греха; надо христианам и в мирском или земном видеть и выдерживать поприще для проведения сюда Христовой истины и благодати. А то мы, занимаясь мирским и земным, как греховным, совсем погрязаем в грехах, а дух православия в нас слабеет и слабеет, оставаясь без применения к действительной жизни, занятой обыкновенно земным и мирским. Это у нас бывает все равно – и в практической жизни, и в деле мысли, слова и знания: сущность дела и по этой последней части у нас нередко бывает та же, только форма не такая грубая, как вот у этих рабочих и мастеровых мужиков.

На железной дороге мне случились замечательные встречи и объяснения с людьми различного склада мыслей и разных обязанностей по своему призванию. Общее всем этим встречам и объяснениям то, что из них продолжали выясняться для меня разные современные нужды и затруднения русского человека.

Первая моя встреча и объяснение были с моим соседом в вагоне, с господином из небогатых дворян, управляющим в

имении другого дворянина из богатых. Он тоже был в вокзале, где слишком уж грубо расходились или распахнулись мастеровые крестьяне. Теперь в один с нами вагон попало не более десятка из этих крестьян, и те словно переродились: попоют довольно складно песен; поговорят между собой и с другими пассажирами довольно умно и довольно вежливо, хотя и с приправой мужицких острот, впрочем почти уж не слышно было сквернословия между ними. Я выразил свое удивление к этой перемене мужиков перед своим соседом, бывшим свидетелем совсем другого их поведения. «Меня так несколько это не удивляет, – отвечал он мне. – Эти, попавшие в один вагон с нами, крестьяне почти покончили со своими прежними помещиками; они остаются теперь должниками только казны, снабдившей их откупной суммой, и потому на прежних господ своих уж не злятся, не озорничают, а понемножку устраивают себе свой новый быт. Эти совсем другого духа, чем большинство мужиков, которых вы видели в вокзале. Большинство крестьян, бывших в вокзале, принадлежат к таким временнообязанным, которые, кажется, и не думают о получении совершенной самостоятельности. Они видят себя во многом вольными, т.е. не подлежащими прежнему страху, но, обязанные платить за землю или оброком или барщиной, постоянно злятся на прежних помещиков и озорничают, или делают многое просто назло прежних своих господ. Этот скверный дух и выражается в мужицких их выходках и в грубостях сквернословия, как Вы видели и слышали».

– Значит, дело пойдет лучше и для самих мужиков как в хозяйственном, так и в нравственном отношении, если они, по возможности, совсем покончат свои временнообязательные отношения к помещикам, если, то есть, выкупят землю с помощью казенных облигаций? – спросил я.

– Во всех отношениях дело пойдет лучше. Ведь теперь бывает иногда просто мученье для помещиков или их управляющих в деле с временнообязанными, особенно отбывающими плату за землю барщиной. Озорничают, да и только! Разумеется, что чрез это они и сами только расстраивают свой собственный быт.

– Почему ж они не стараются скорее покончить свои временнообязательные отношения к помещикам? Почему не выкупают у них землю?

– Все, видите, им мерещится другая воля с даровой землей, хотя Государь не раз прямо объяснял самим мужикам, что другой воли не будет. За озорничанье словно отнимает у них Господь остатки здравого смысла.

Из дальнейшего моего собеседования с этим господином оказалось, что он, показавшийся было мне озлобленным против крестьян, на самом деле горячо любит их, а только негодует на разные, опытно ему известные, их дурачества, которыми они сами закрывают или портят для себя свой новый прекрасный путь. Он громко выражал свое сочувствие мне, когда я развивал перед ним те свои воззрения, что чрез уничтожение крепостной зависимости проявился у нас и в формах гражданского быта дух благодати Христовой, дающей людям, не исключая и рабов, право быть свободными детьми Всевышнего Отца, что потому помещикам Бог дал совершить славное и великое христианское дело, – самопожертвование для меньших братий самого Христа; что особенно Государь оправдал самодержавными распоряжениями по крестьянскому делу твердое народное верование в отеческую Божию благодать, действующую в самодержавии к истинному народному благу и спасению; что новый лучший путь для освобождения крестьян состоит в том, чтобы и в своем земном гражданском быте выдерживать и проводить великое начало благодати быть детьми самого небесного Отца.

Когда этому господину приходилось оставить вагон, мы с ним расстались, крепко пожав друг другу руки.

Немедленно по выходе моего недавнего знакомого, присел ко мне на его место молодой человек, недавно окончивший курс в университете, как после объяснил он мне. «Я сидел на соседней с Вами скамейке, – говорил он мне, – а потому, и не имея привычки подслушивать, поневоле выслушал Ваш интересный разговор с сидевшим здесь господином. Я тоже совершенно согласен с Вами, что наш простой народ пока

только религией и можно отводить от худого и направлять к добру».

– Пока только религией? – возразил я с удивлением. – Ну, а нам с Вами уж и без религии можно дойти до всякого добра и освободиться от всякого зла? Так ли я понял Вас?

Из продолжения нашей беседы, откровенной и прямодушной с обеих сторон, оказалось, что мой новый собеседник имел образ мыслей явно нехристианский, существо которого – уже не беспощадный нигилизм, а скорее что-то прямо противоположное нигилизму. Этот образ мыслей успел уже довольно округлиться и упроститься. Вот основоположения этого образа мыслей: *«Нуль, ничто не есть что-либо действительное, а только отрицание действительного; нуля, ничтожества в действительности нет и быть не может и никогда не могло быть. А потому, что есть, то и есть всегда, есть само по себе и само собой во веки веков; оно только видоизменяется, но по своим же внутренним законам, которые впрочем составляют не что-либо отдельное, а самое существо того, что есть. Все разнообразные законы бытия сводятся в один общий закон, составляющий сущность и силу всякого частного закона, – закон гармонии, поглощающей все противоречия и разноречия всех видоизменений бытия. Этот закон сам собой следует из единства бытия или, пожалуй, и есть самое единство бытия, целостная общность того, что есть; этот закон мы и видим, или осязательно познаем, всюду – в природе и в истории. Торжеством гармонии над всеми разноречиями и противоречиями видоизменений бытия определяется весь ход бытия, этот непрерывный ход вперед от низшего, или более противоречивого (внутренно) видоизменения бытия к высшему, более гармоничному, от безжизненного к животному, от бессознательного к сознательному, от этого последнего к новому, теперь еще неведомому, видоизменению бытия, и все это идет вперед так, что, хотя неделимые безвозвратно преходят, но не разрушаются, не исчезают, а только просветляется каждое из прежних видоизменений бытия. Пока люди не сознают всего этого сами собой в точности, предощущать такой порядок бытия и*

выдерживать его, по возможности, в самой жизни дает людям именно *религия*. Но дух самой религии, образование, опыты жизни рано или поздно приведут всех людей к сознанию показанного порядка и значения бытия; и люди будут держаться в своей жизни гармонии, мира, любви, потому что найдут это хорошим для себя, выгодным и удобным более всего другого, как общий закон всего что есть»...

Когда достаточно для меня выяснился образ мыслей молодого человека (который доказывал мне, что этого образа мыслей держатся все нынешние лучшие деятели и так называемые передовики), я задумался, как мне вести дело с этим господином. Спорить? Горячиться против высказанного христианином такого образа мыслей, по которому не признают ни Бога и Христа, ни вечной жизни и бессмертной духовности души? Но спорить, при совершенной разности воззрений и всего склада мыслей, значило бы только развивать до бесконечности непримиримое разноречие спорящих сторон; одно и то же будет всегда иметь для одной стороны такое значение, для другой иное. Притом мне было страшно и жалко, не разобрав и не осязав хорошенько духовного состояния молодого моего собеседника, сразу беспощадно действовать на такие его стороны, которые, может быть, поражены уже *на смерть* (1Ин. 5:16), и с которых, потому, этого несчастного уже *невозможно паки обновляти в покаяние* (Евр. 6:4–6). Рьяно или, как выражаются простые люди, «сбасу» действовать на подобные стороны заблуждающего человека значило бы давать только повод к распространению смертоносной заразы от пораженных ей сторон на все духовное существо этого человека. А между тем, может быть, у того же человека есть другие духовные стороны, сохраняющие еще некоторую жизненность, – такие стороны, которые заблуждением еще не поражены на смерть; с бережной любовью действуя на эти стороны заблуждающего, можно еще по благодати Божией «дать ему жизнь» т.е. привести его от мертвящего заблуждения к животворной истине (1Ин. 5:16–17). Итак я решился не вступать в сварливую полемику с моим собеседником, а развить пред ним только почти положительно свой образ мыслей, и то держась, по

возможности, общей с собеседником переходной точки, так чтобы, насколько то можно, не отвергнуть и не оскорбить в его образе мыслей ничего лучшего, хотя бы только инстинктивно с его стороны подходящего к истине.

Я развивал пред молодым человеком, в сопутствии его вопросов и замечаний, такие мысли: «Начну и я с Вашего начального положения. Нуль, ничтожество, по самому существу этого понятия, не есть что-либо действительное, а только отрицание действительного. Если же все это вместе, нуль, ничтожество, отрицание не есть какая-либо действительная сущность, то очевидно, что тем более нельзя нуля, ничтожества, отрицания допускать в самое основание или в коренную сущность действительного. Но в том, что есть в действительности, пред нами открытой, нельзя не видеть и Вы сами признаете многообразные противоречия, происходящие по самому существу своему не от чего другого, как от многообразных отрицаний или ограничений, которым в том или другом отношении, с тех или других сторон, подлежит действительное. Признавать, что такое действительное, которое подлежит отрицаниям, есть само по себе и само собой во веки веков, значит допускать отрицания, ничтожество, нуль в самую сущность и основание действительного и, следовательно, признавать нуль, ничтожество, отрицание чем-то действительным, и даже не просто действительным, а самосущим. Вашему беспристрастию, Вашей любви к истине предоставляю усмотреть как же Ваша же математическая аксиома о нуле разрушает Вашу философию в самом основании. С тем же беспристрастием и верной любовью к истине испытайте, если угодно, на основании той же Вашей аксиомы, и философию православия или правосмыслия, – другими словами, истину нашей веры.

Вы не можете не согласиться с тем, что отрицание действительного, ничтожество, нуль не может входить в самое основание действительного. Следовательно основание действительного должно быть превыше всякого отрицания и внутреннего противоречия. Вы не можете не признать, что действительное в нашем мире подлежит в разных отношениях

отрицаниям, производящим в области действительного внутренние противоречия и разноречия. Итак, чтобы эти отрицания не превозмогали и не упраздняли действительного, а напротив сами с происходящими от них противоречиями (антиномиями) препобеждались и поглощались гармонией действительного, основание этого действительного необходимо должно быть не только превысшим всевозможных отрицаний и внутренних противоречий, или самосущим в беспредельной полноте и гармонии своего бытия, но и подъемлющим на себя и тем упраздняющим всякие отрицания и противоречия действительного. Таков и есть Господь наш, Бог Слово, Иисус Христос; Он есть существенное и вечное сияние Отца небесного – этой вечной самосущей любви, светящее всей беспредельной полнотой почивающего в Нем Духа этой любви; Он, в своем вочеловечении ради нас человеков, соделался Агнцем Божиим, вземлющим грехи мира – эти мятежные отрицания и противоречия, нарушившие гармонию мира, – соделался этим Агнцем, *заколенным* в мысли Божества уже *от сложения мира* для обоснования на тайне такого Его истощания, всего мира. На этом-то основании, по движению этой жертвующей собой любви в Боге Слове, и произошел тот закон или порядок бытия, что как первоначально бытие всего мира, воззванное Богом Словом из небытия, благодатно поставлено и открылось незыблемо торжествующим над ничтожеством, так и в последствии благодатная гармония жизни оказывается постоянно торжествующей над возникшими в мире отрицаниями и противоречиями. Такой порядок бытия, дающий осязательно ощущать себя в природе и в истории, у Вас остается необъясненным или держащимся просто ни на чем, а у нас он оказывается понятным и, можно сказать, уже естественным, необходимым, когда Того, в Ком – самосущая полнота и гармония бытия, снизошел до области мирских отрицаний и противоречий, снизошел до смерти – этого отрицания жизни, этого непримиримого противоречия бытию. Самосущая в Нем полнота и гармония жизни, явившаяся в самой области смерти, подвигнутая к этому же от самого сложения или создания мира,

не может не торжествовать над смертоносными отрицаниями и противоречиями в мире.

Смотрите, какая благодать для нас чрез это совершается и открывается в самой природе внешней! Смертоносное отрицание, вошедшее в мир с мятежным грехом, проникает бытие и внешней природы, которая подлежит страдальческой смерти всего в ней живого, тщете тления всего в ней возникающего и развивающегося по своему бытию. Но ведь внешняя природа не виновата в мятежном грехе, не сама своевольно подпала этим противоречиям своего бытия. Итак что ж? Внешняя природа напрасно обижена? Нет. Этого быть не может у нашего Господа. Ведь Он, чрез самое дарование и поддержание бытия в тварях, дал и дает им, в их меру, вкушать любви Своего Отца, которая вся в Нем, Единородном и единосущном Сыне, и таким образом, так сказать, делится с созданиями своими любовью Отчей, в Нем почивающей, становясь Своей благодатью чрез это в братство со всей тварью, – *первороденным всея твари* (Кол. 1:15). Как же Ему обижать столь любезную Ему тварь? Не может быть от Него обиды для внешней природы и из-за преступного главы земной твари, – человека. Ведь Господь не отверг, а ущедрил благодатью и самого этого преступного главу, когда, при открывшейся от греха духовной мертвости людей, сам Он принял за них смерть и чрез это Отчую любовь, в Нем почивающую, раскрыл и для мертвых прегрешениями людей, становясь в братство и с ними, – *первороденным из мертвых* (Кол. 1:18). Итак, когда невинная тварь (говорю о внешней природе) подлежит страданиям до смерти и тщете разрушения и тления, то она чрез это становится жертвой, пожертвовавшей Собой за спасение мира, жертвы, – Христа, Агнца Божия. Это уж не обида, а щедрость благодати. Видите, в чем дело! Христос умер (движась к тому Своей любовью уже от сложения мира) за гибнущее в грехах и заблуждениях человечество, но надо принимать такую благодать, чтобы ей пользоваться. А вот мы, и слыша дух торжествующей над злом Христовой тайны в природе и истории, перетолковываем все дело против Христа... А сколько и за тем нашего противления благодати! Все, что мы

ни думаем и ни делаем не по Христу и не со Христом, все это похоже на губительство в нас всего живого и цветущего, на нечистых мошек, гадов и зверей, на гадкие и ядовитые растения. Отвергаемой нами благодати Христовой как нас миловать и оживлять? А отринет он нас, – мы сейчас же живая добыча ада, отвержения вечного. И вот она сколько благостно, столько и премудро приготовила при самом создании мира, на врем нашего бессмысленного и безжизненного противления, бессознательных приемников своего животворного духа и силы – в области внешней природы. Всякий вздох страдания, всякое разрушение тления в природе, сообщные, в свою меру, духу страданий и смерти Агнца Божия, разносящемуся во всю землю (Откр. 5:6), направляются чрез это уже к тому, чтобы удерживать за грешными и заблуждающими Христову благодать, хотя бы только предваряющую или предуготовительную. И вот время долготерпения Божия к племенам и народам, как и к отдельным личностям, все еще продолжается и продолжается; и гибнущие люди понемногу ведутся к тому, чтобы познавать Христову истину и самим принимать Христову благодать. Но раскрытии Христовой истины и благодати в славу, спасенные люди вполне до подробности и тонкости узнают это великое, совершающееся в природе, дело благодати и сосредоточат в себе, и за внешнюю природу, торжественное, вполне сознательное благодарение Отцу небесному за Его всеобъемлющую во Христе любовь и благодать. Так-то, по глубокому слову Апостола Павла, и «тварь (т.е. внешняя природа) с заботливостью ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь подверглась суете (не сама собой, но тем, кто подверг ее) с надеждой, что и сама тварь свободится из рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:19–21). Потому-то и самый вид внешней природы так неотразимо и большей частью так живительно и освежительно действует на дух наш».

Далее раскрывал я пред моим собеседником движение такой благодати Христовой, торжествующей своей жизненной полнотой и гармонией над отрицаниями и противоречиями мирскими, и в самой истории или в ходе судеб человеческих. Я объяснял, что мир, уже и творимый с щедростью благодати и с

готовностью Творческой любви пожертвовать собой за него в случае возможных и, наверное, провиденных уже в нем отрицаний и противоречий, отпечатлел поэтому в своем составе жизненную полноту и гармонию благодати. Видимый эдемский сад и в нем деревья со своими плодами, воды, животные, светло выражая осуществленные в них творческих мысли, благодатно как будто говорили с человеком; под эти живые вещания природы и подделался отпадший от благодати дух отрицания и противоречия для увлечения человека своей лъстивой ложью. И вот началась история человечества в настоящем его состоянии. Я следил, как *в древнем мире* Божественная благодать просвещала и живила верующего человека чрез обильные, особенно вначале, остатки и следы своих отпечатлений в мире, и как отпадающие от истинной веры злоупотребляли теми же благодатными отображениями в мире, обратив их в поводы к языческому обожанию твари, этому почти всеобщему заблуждению тех времен; как, по мере оскудения или затемнения благодатных образов, благодать более и более открывала вере свои тайны, а заблуждающее язычество более и более располагалось понять свое заблуждение; – как, наконец, «стихии мира», отображавшие благодатное, стали совсем недостаточными для удовлетворения духовных потребностей человечества и – явился Сам человеколюбивый Господь, исполненный благодати и истины, Который, пожертвовав собой за гибнущее и заблуждающее человечество, как вземлющий его грехи Агнец Божий, раскрыл для всего мира самое существо Своей истины и благодати. Началось новое время, новый или отличный от древнего мир. Здесь следил я, как именно благодать Христова открыла, распространила и ведет свой новый мир, являясь прямо в своем существе, в своем живом духе сыновней свободы и отчетливого разумения истины; – как дух отрицания и противоречия усиливается подавить благодатное начало в мире то жесткими насильственными и темными формами, то разнузданностью своеволия и фальшивой разумичности; – как, по поводу свирепства и противобуйства со стороны отрицаний и противоречий мирских, и благодать раскрывает свою жизненную

полноту и гармонию, вводя верующее человечество в живейшее сообщение крестного человеколюбивого самопожертвования Агнца Божия за грешный мир. Так, когда политический (греко-римский мир) подвинулся своими насильственными средствами и беспощадными формами всецело подавить юное христианство, то именно потому и раскрылась благодатная жизнь Христовой Церкви в чудном, проникнутом светлым разумением и человеколюбием, в самоотвержении до кровавой смерти святых мучеников и мучениц, подвигам которых уступил наконец враждебный политический мир и сам сделался христианским. Затем усилия лжи извратить самое существо Христовой истины подали повод к точнейшему раскрытию и определению (значит и разумению) существенных ее сторон; причем благодатный дух той же истины подвинул тысячи подвижников, к тому, чтобы, с отрешением от всего мирского, приобретать и усвоить себе только одного Христа, святую Его чистоту, владычественный ум Его, послушливое Его смирение и, во главе всего, самоотверженную Его любовь. Далее, в одной стороне христианского мира, духу льстивого отрицания удалось чрез мечту земного вселенского главенства обольстить самую веру к движению вон из благодатного рая – небесного жительство в самом Христе, движению, открывшемуся и в остатках древнего мира, и в новых народах, поддерживаемому широтой, шумом и блеском развития здесь мирской жизни⁴³. Зато в другой стороне благодать устроила, что из старых народов удержавшие догматическую верность одному Главе – самому Господу, движущему и оживляющему благодатные свои члены – верующих, возглавляющему в Себе самом небесное и земное, введены были (при оказавшейся практической несостоятельности своего большинства пред этим Христовым главенством) в живительное крестное положение⁴⁴ под игом магометанства, заранее образовавшегося именно из осадков фальшивого христианства, смешенных с иудейством и язычеством, а из новых народов принявшие православную (правомысленную) веру воспитывались и возрастали в благодатной жизни, обособясь от шумных и блестящих движений прочего мира, возглавляясь в самом Христе, хотя и с

детской незрелостью своего большинства⁴⁵. Говоря таким образом, я дошел до речи и о наших новейших временах когда, вызванное деспотизмом мнимого вселенского главенства, рационально-свободное направление оказалось и само перепутанным с фальшами своеволия и одностороннего рационализма, а в борьбе и опасливой осторожности против этого вера некоторых даже из православных понемногу впала в духовно-рабское и мраколюбивое направление, между тем как ходом мировых событий все более и более переплетаются между собой восток и запад, мир православный и неправославный. Я разъяснял, что чрез такой дух и характер нынешних обстоятельств (судя по порядку дела благодати во все времена) благодать Христова вызывает истинную веру, с дерзновением сыновней свободы, глубже и глубже входит во всеразъясняющий свет истины Христовой, в соучастие любви Агнца Божия, пожертвовавшего Собой за восток и запад, и проводить начала православия во все среды жизни не только прямо-церковной, но и гражданской, мирской. Будет время, когда дух отрицания найдет удобство развить всю свою ложь и свирепость в антихристе, *яко прельстиши, аще возможно, и избранныя*. Но тогда благодать и раскроется во славу, последует всеобщее воскресение, явится Христос прославить приемлющих Его ныне с верой и отринуть упорствующих в нехотении знать и принять Его, и откроются новое небо и новая земля, в которых «будет Бог все во всем» (1Кор.15:28). Такой-то бесконечный плод разовьется из зерна первоначальной жизненной полноты и гармонии, с какой мир вышел из рук Творца?

Итак, заключил я, истинная религия требуется не для простонародия только или для недозрелых людей, но и для всего человечества; в ней завиты самое существо вещей и вся судьба мира. Такому Божественному духу религии соответствуют и опыты нашей жизни, если смотреть на нее не как на пустую глупую шутку, и образование или наука, если одушевляется прямодушной любовью в истине. Господь никого не приневоливает идти за Собой, но любящим истину дал удобство узнать истину именно и единственно в Нем самом.

Силу того, что совершается к истории и внешней природе обыкновенным порядком, Он не перестает проявлять и в особенных, чрезвычайных событиях и делах Своей благодати; любящим истину можно было бы дознавать, с надлежащим испытанием, подобные благодатные факты, из которых и одного достаточно было бы для убеждения в истине. Но у нас скорее решатся дознавать на месте, было ли действительно *Меридово озеро*, или рыться в развалинах Вавилона и Ниневии, нежели обратить серьезное внимание на совершающееся открыто пред миром что-либо такое, в чем указываются ключи к разрешению и разъяснению всего и древнего и нового, хоть бы, например, на столь недавнее открытие чудесно нетленных и притом чудодейственных мощей Святителя Тихона. Оставим Божию суду нелюбящих достаточно и верно истину, а между тем словом и писательством старающихся действовать на родной народ, проводя в него дух какой бы то ни было антихристианской школы или системы. Только непреложно то, что, когда сам Бог, воспринял на веки в единство Своего Лица человеческую природу, и это именно ради нас человек, личное бытие каждого из нас человек, имеющее продолжаться на веки бесконечные, обосновано не просто на духовности целой половины человеческого существа, но на личности самого Богочеловека. Непреложно то, что, когда вся полнота благоволения и любви Отца небесного почивает в Его Сыне, чуждые и упорно чуждающиеся Сына составляют неизбежную добычу вечного отвержения; в таких существах любовь и благоволение всеобщего во Христе Отца не может уже найти для себя ни малейшего места. И если Господь Свою частную жизнь, с младенчества, проводил в доме плотника, в чем открывается благодать особенно для людей рабочих, благодать работать у самого небесного Отца в хозяйстве Его Сына, то Он же Господь наш общественное Свое служение посвящал особенно делу слова или учению, в чем открывается благодать для служащих истине словом или пером, благодать делать это дело также у Отца Всеблагостного под руководящим учительством самого Сына Его. Пойдем же все вместе к нашему Отцу, чтобы и образованным и простым составлять дружное и

нераздельное Его семейство по благодати Его Сына, действующей Святым Его Духом!... Ничего не может быть лучше, благотворнее и даже, по благодати Христовой, проще для всех и каждого из нас.

Такие-то мысли развивал я в собеседовании с молодым человеком, у которого противохристианский образ мыслей оказывался более и более только наплывом совне на юную восприимчивую душу, мало знакомую с живым смыслом православного христианства. Я опустил самые его речи, замечания и вопросы, чтобы не растянуть и без того продолжившегося, моего изложения сущности нашего собеседования. Оно шло с таким увлечением со стороны молодого человека, что он и не заметил, как проехали ту станцию, на которой следовало ему сойти с вагона; но он, приметно, и не жалел об этом.

Когда шла у меня беседа с молодым человеком, случилось сидеть на противоположной нам скамеечке, лицом к лицу с нами, одному уж сидящему священнику с наперстным за восточную войну крестом. Он, приметно, с неотступным и живым не просто только вниманием, но и сердечным участием следил за нашими речами. И когда я простился с моим собеседником, священник с живостью взял мою руку и высказал мне от полноты своего сердца благодарность за мой разговор с молодым человеком. Достойный пастырь, видно, серьезно занят делом спасения душ человеческих от мертвящих заблуждений.

– Только, – заметил мне добрый священник, – зачем это Вы, говоря о священных высоких предметах, употребляете выражения слишком вульгарные; например, говоря о Господе, Вы выражаетесь, что Он жил у человека рабочего, в доме плотника? Это, положим, касается только наружности речи, но все же может служить к унижению великого предмета, а потому и к соблазну. Сказать бы: в доме *тектона* и прибавить скромно пояснение, что это значит дом плотника, было бы достойнее предмета и назидательнее для слушателей, чем усиленно и нарочно ударить прямо на эти слова – *плотника*, рабочего. Когда говорится о Господе, образ речи должен быть, и по внешности, достоин величия такого предмета.

– Но для этого самого должен не закрывать, а выставлять на полный вид, – прибавил я со своей стороны, – и Его снисхождение к нам, в котором Он сам полагает истинную славу для Себя и для Своего Отца. *Ныне прославися Сын человеческий*, говорил Он перед Своими страданиями и смертью, достойными только самых презренных тогдашних колодников – злодеев из рабов, *ныне прославися Сын человеческий и Бог прославися в Нем* (Ин. 13:31). Ведь Господу нашему, истощившему Себя для людей до самого обыкновенного человеческого положения, до положения не только близкого к людям рабочим (по первоначальному Его жителству), но и до положения осуждаемых и казнимых преступников, наиболее приятно будет, если мы так и будем раскрывать это, чтобы людям и в обыкновенных средах, людям и из рабочих, и из самых преступников, подлежащих суду и наказаниям просто и удобно было узнавать и принимать в свое спасение такую щедрость Христовой благодати. Тут дело касается уж не одной внешности в образе речи, но самого образа мыслей о деле Господнем, наклонного и направленного или к тому, чтобы воздавать славу только вышемирному Его величию, или к тому, чтобы раскрывать для всякой людской среды истинно божественную славу крайнего Его снисхождения в наш мир. Св. Иоанн Богослов, орлиными очами созерцавший Божественное величие Христа Бога Слова, в том однако указал полноту Его истины и благодати, что *Слово плоть бысть* и славу Единородного от Отца можно было видеть в земном «обитании Его снами» (Ин. 1:14). Мало этого; тот же великий Апостол направление веры, нехотящее и знать снисхождения Христова до обитания с нами во плоти, следовательно и нимало не одушевленное человеколюбивым духом этого снисхождения, относит к духам льстивым, антихристианским, хотя бы подобное направление выдавало себя за вдохновенное свыше (1Ин. 4:2–3).

– Но все же, – возразил почтенный мой новый собеседник, – надо щадить слабых, чтобы не соблазнить, по крайней мере не поразить неприятно непривыкшего к подобной речи слуха.

И вот начали мы рассуждать о *соблазне*. Я поставлял на вид доброго батюшки, что есть разные роды соблазна, – есть род соблазна, составляющий вину только самих соблазняющихся. Я обращал внимание его на то, почему Господь, в отношении, например, к субботе, не снисходил к немощи иудеев, получивших закон субботы от самого Бога и слышавших уже от поздних пророков подтверждение слова Божия, что, если в субботу не будут носить никакого бремени вратами иерусалима, то святой город будет цел и вратами его будут мирно входить и выходить цари, начальники и народ, а в противном случае – гибель всему (Иер. 17:24–27). Господь не обинуясь творил чудеса в субботу, с повелением иногда исцеленному от болезни – *взять одр свой и идти*, хотя иудеи и особенно фарисеи крайне соблазнялись этим, по прямому притом поводу к этому со стороны самого слова Божия. Отчего такая неснисходительность в Божественном Человеколюбце? Видно, когда вера некоторых, по превратному направлению своему, забывает уже дух и силу Божиих дел и учреждений, сосредоточенных, как известно, именно в тайне Христа Агнца Божия, вземлющего грехи мира, то уж нечего смотреть на то, что подобная вера соблазнялась бы духом Христова снисхождения в мир и Христова самопожертвования за грехи и заблуждения мира, а следует, без уклончивости и сколько можно прямее, выражать этот человеколюбивый дух и смело проводить его в мирские среды для спасения человека. Есть соблазн креста Христова, упоминаемый Апостолом Павлом (Гал. 5:2). Господу нетрудно было бы предотвратить этот соблазн: следовало бы только не употреблять в орудие спасения людей столь презренного и позорного в то время орудия казни, о котором, по словам современного почти той эпохе Цицерона, благородному римскому гражданину не следует ни думать, ни слышать. Но Господь это самое орудие казни, – именно крест, и употребил в орудие своей искупительной за нас смерти, чтобы чрез это дух и сила человеколюбивого Его истощания за нас раскрылись сколько возможно прямее, полнее и выразительнее. Так и Апостолу Павлу стоило бы только учить, что человек спасается собственно чрез соблюдение и исполнение Божия закона (к

составу которого относилось в ветхом завете и учреждение обрезания), а не чрез усвоение живой и деятельной верой правды Христовой, открытой людям именно в крестном самопожертвовании за них Агнца Божия: тогда, по его словам, *упразднится бы соблазн креста* (Гал. 5, 2). Но Павел, как известно, нимало не потворствовал иудействующему христианству, соблазнившемуся самым Христовым крестом. Он прямо говорил таким христиан: *упразднитесь от Христа, иже законом оправдаетесь* (Гал. 5:4). Так-то и нам, когда дело идет о раскрытии и применении духа и силы Христова снисхождения в мир и самопожертвования за этот грешный мир, не надо уж задерживаться никакими соблазнами людей противного этому направления. Напротив, чтобы подорвать подобное превратное направление в его внутренней мертвящей силе, возмогшей некогда и богоизбранный народ привести к отвержению, должно по возможности не только словом, но и делом твердо выдерживать дух крестного самопожертвования Агнца Божия за мир, сколько бы чрез такое слово или дело ни усилился *соблазн креста* Христова в нехотящих знать истинной, живой силы этого креста.

Почтенный батюшка согласился со мной. Однако ж высказался, что мы-де грешные уж привыкли раскрывать и вести дело веры попросту, держась святых Богоносных Отцев.

– И действительно, – отвечал я, – обязательно и глубоко разумно для православных держаться богопросвещенного руководства святых Отцев. Но уж и следует вполне держаться этого святоотеческого руководства. Вы, конечно, читали богословие⁴⁶ св. Иоанна Дамаскина, и потому помните, как этот святой Отец, руководясь предшествовавшими ему святыми отцами, углубляется своей живой и любомудрой мыслью к тайны троичности Божества и воплощения Сына Божия. А ведь это – самые неисследимые для нашей мысли тайны, требующие, по-видимому, более всего простоты веры. Итак, с надлежащей верностью последуя руководству богопросвещенных Отцев, мы должны, при простоте веры и углубляться своей мыслью в истину Христову, *да возможем, по Апостолу, разумети со всеми святыми, что широта и*

долгота и глубина и высота, разумети же преспеющую разум любовь Христову, да исполнимся во всяко исполнение Божие (Еф. 3:18–19). Особенно пастырям и учителям без разностороннего и глубокого разумения истины Христовой, кажется, и нельзя руководить не только таких людей, образчик которых Вы сейчас видели, но и простых православных, – нельзя руководить особенно к тому, чтобы они в своей среде, за своими делами, оставались дома у своего небесного Отца, как истинные Его дети по благодати Его Сына.

Добрый батюшка особенно охотно согласился на это. Надо заметить, что я каждую свою мысль подвергал обсуждению самого почтенного священника. С ним вместе пришлось мне и оставить железную дорогу. Тем и кончилось это мое особенно памятное и знаменательное для меня в разных отношениях, путешествие.

IX. О журналах наших, светских и духовных

В одной из книжек, которые у нас нередко рекомендуются, особенно молодому поколению, как произведения самой свежей мысли, – между старыми и новыми выходками против Христианства попало мне одно дельное замечание, что хорошо бы мыслящему человеку, время от времени, пересматривать свои научные приобретения и религиозные убеждения (или отношение свое к религии) и подводить *итоги* тем и другим, – как делал какой-то западный ученый. Он с добросовестной отчетливостью пред истиной следил, насколько отношение его к религии поддерживалось или подрывалось приобретаемыми им знаниями, насколько научные его приобретения сближались или расходились с религиозными его убеждениями.

Мне кажется, что у нас именно читателю светских и духовных журналов не мешало бы делать по временам подобный пересмотр тех и других. Не то чтобы я признавал правильным и логичным разделение между религией и знаниями, и духовные журналы считал бы монополистами первой, а светские представителями последних. Нет! Наш Бог – Тот, Кто сказал: «Я – истина» (Ин. 14:6). И потому насколько кто разумно успевает в вере в истинного Бога нашего, – Бога истины, настолько он становится далеким от того, чтобы отречься или иметь отвращение от знаний, служащих делу истины. И насколько кто честно трудится и успевает в области знаний, настолько он работает истине – Христу, хотя бы еще и не довольно узнал Его – как следует. У истины нет монополий. «Всякой, кто от истины, слушает гласа Моего», говорит Истина (Ин. 18:37); а потому, кто не слушает голоса истины, тот уже и не от истины, или принадлежит уж не ее стороне. Вот единственная монополия истины, открытая для всех, но и чуждая для кого бы то ни было, насколько он не слушает истины! Поэтому, в отношении к журналистике духовной и светской, справедливее будет наблюдать и испытывать именно

то, насколько та и другая верно следует истине по своему делу, насколько в том или другом отношении не совсем выдерживают истину, насколько потому задерживают или подвигают вперед дело мира и благоустройства общественного, основываемое на истине. Такой испытательный пересмотр журналов читателю их надо делать, прежде всего, для себя самого, чтобы не увлекаться каким-либо односторонним журнальным направлением, и не растеряться от слишком уж разностороннего наплыва журналистики на мысль, а оставаться, за чтением различных журналов, независимым и твердым слушателем самой истины.

Впрочем как угодно тому или другому читателю журналов, так и пусть он поступает. А я, читая журналы светские и духовные, буду по временам давать отчет о них в том именно отношении, как объяснено сейчас мной. Может быть, найдутся не только читатели, но и дельцы журнальные, которым мои подобные «Заметки» дадут под час услышать в себе голос истины. Журналы наши выражают общественное наше состояние в разных отношениях: не давать себе отчета в них значит быть невнимательным к нашим обыкновенным интересам.

Сделаю в настоящий раз очерк как лучшей, так и худшей стороны нашей журналистики светской и духовной. Буду обозначать только то, что мне кажется характеристичным в том или другом журнале и вместе особенно важным, в благоприятном или неблагоприятном отношении, для дела истины.

Замечу прежде всего, касательно вообще нашей журналистики, такой факт, что духовная и светская части, в журнальной области, относятся друг к другу более – как чужие, нежели как сродные взаимно или занятые существенно одним и тем же делом жизненной истины. И при этом особенно замечательно, что в последнее время духовная сторона более заявляет готовности к сближению со своей сестрой – светской, нежели последняя с первой. Лучшие представители духовной журналистики открыто поднимают знамя сближения между Церковью и истиной Христовой с одной стороны (на которой

стоит духовная журналистика), и обществом и действительной жизнью – с другой стороны (на которой стоит журналистика светская). Самые неподвижные и неколебимые из духовно-журнальных дельцев тоже понемногу уступают своего внимания к движению светской журналистики, хотя, разумеется, пока только косятся на нее. Между тем светская журналистика (за исключением едва ли не одного «Сына Отечества») почти не обращает и внимания на то, что делается в духовной журналистике; коснется в ней слишком близко разве того, в чем находит собственный интерес. От чего это? Не от того ли, что духовная журналистика и вообще письменность слишком долго сама была невнимательна к светской журналистике и письменности, как будто последняя вовсе не делом истины была занята? Теперь светская журналистика, оскорбленная недоверием и невниманием к ней духовной, не выжидает ли и даже не требует ли от русского общественного мнения полного признания своих прав по делу истины, устраняясь дотоле от заподозрившей ее, в этом отношении, партии? Это отчасти так, по моему наблюдению. Такая настроенность светской мысли в отношении к духовной области высказалась с особенной резкостью в статье «темное царство», напечатанной года два или три тому назад в «Современнике». Но из этой же статьи с особенной же резкостью открывается и то, что светская мысль, выражаемая современной журналистикой, впадает заметно в опасную крайность присвоить уж себе самой монополию в мире светлой и жизненной истины, совсем устраняя всяких других претендентов на подобную монополию. Такая нехорошая настроенность до того охватывает нашу светскую журналистику, что из ее деятелей даже и наиболее близкие к духовным деятелям, если бы, например, выхвалили какой-либо талант, проявивший себя в духовной журналистике, непременно уж похваляют, будто они первые познакомили публику с этим талантом⁴⁷; якобы духовная журналистика до того уж слаба в своем значении для публики по общему делу истины, что публика не может и узнать талантливых ее деятелей, без посредства светских журналов.

Претензии на монополию в деле истины – вот что главным образом и разъединяет, и неизбежно должно разъединять, самых даже искренних деятелей по делу истины. Монополист в деле истины, в отношении к другому человеку, таит в глубине своей души такую мысль: «на *моей* стороне истина и потому, если тебе дорога и любезна истина, слушайся *меня* и иди туда, делай и мысли так, как и куда я тебе укажу; а иначе ты человек дрянной, враг истины». Какому ж живому человеку захочется закабалить себя в духовную неволю и рабство другому человеку?! И вот рано или поздно, а непременно разойдутся эти оба человека, хотя бы они были заодно. Напротив, чуждый духа монополии в деле истины держится в глубине своей души, в отношении к другому, такой мысли: «будем сообща, заедино узнавать *саму истину* и верно следовать ей, – вот что дорого и нужно равно и для тебя и для меня; если ты слушаешься *самой истины*, хоть бы это было еще лишь настолько, насколько требования истины слышны всем людям, то ты уж мой брат, мы заодно работаем по делу истины». Здесь дело пойдет к миру и единению одного с другим, хотя бы они прежде и слишком разошлись между собой. Монополии в деле истины не может не противиться дух человеческий, если он хоть сколько-нибудь слышит единство существенного значения и назначения всех людей. Монополии в деле истины противится Сам Дух Божий, Дух той любви, по которой Сама Истина – Сын Божий стал сыном человеческим ради всех человеков. История представляет нам поучительные факты в предосторожность как от духовного преобладания, претендующего на монополию в деле истины, так и от протестов против духовного преобладания, делаемых тоже с претензией на монополию в деле истины. Был некогда в единстве вселенской Христовой Церкви великий отдел, в котором духовный руководитель и служитель истины пользовался таким полным доверием и послушанием к себе руководимых, что ему уж не казалась мечтой претензия на монополию в деле истины. Но этого не могли терпеть верные вселенскому духу и назначению Христовой истины и вот от истинно-вселенского кафоличества отделилось римское католичество, на многовековую скорбь и

многообразные беды для христианства. Это великий для нас урок против духовного притязания на монополию в истине. Когда же открылись протесты и движения духа целых народов против духовных оков, наложенных на свободную разумность папской монополией в деле истины; то случилось, что у одного народа протестующие коноводы выражали не менее, а, пожалуй, и более претензии на монополию в истине, чем самые клерикалы папские. Что же? Живой дух этого народа, которому, по его подвижной живости, особенно должны быть несносны деспотические оковы папства, не потерпел протестующих, хотя они действовали и против этих оков, и остался в *римском* католичестве, хотя последнее и было ниже этого народного духа. Так было именно во Франции, как прекрасно выяснено в известной книге Бокля. Вот урок для нас, чтобы, и действуя в отпор какому-нибудь притязанию на монополию в деле истины, оковывающему духовную свободу и живую разумность, не допускать крайности такого же притязания и со своей стороны.

Потому-то со стороны духовной журналистики самое лучшее, по моему мнению, состоит в возникающем у нее движении к сближению с действительной жизнью и современными потребностями общества, которыми так ревностно занимается светская журналистика, а следовательно и с этой последней, как сотрудницей по делу истины. Это сближение может совершаться со стороны духовных особенно в двух отношениях. Духовный служитель истины может протянуть братскую руку светскому деятелю просто по духу той Христовой истины, что хотя Господь наш и не от мира сего, как вечно *сущий в лоне Своего Отца*, однако приходил в мир сей и пришедши пролил кровь Свою равно за всех людей грешных – и за находившихся в ограде Божия закона (иудеев) и за ходивших вне этой ограды самовольными путями (язычников); и потому Он предложил людям того и другого рода или направления взаимное единение мира, так чтобы они имели чрез Него – Господа равный доступ к Отцу, в одном Духе, Духе свободного усыновления, а не рабской страшливости и мнительности (Еф. 2:13–18, Рим. 8:15). В таком благородном духе, впрочем еще не столько раскрывающемся с отчетливой определенностью,

сколько дающем чувствовать свою свежесть непосредственно, братски относится к светским деятелям именно «Православное обозрение». Может духовный деятель сближаться со светскими, по делу истины, и не иначе, как по внимательному наблюдению и опытному дознанию того, сколько светские действительно верны Христовой истине и служат именно ей; только при этом духовный, следуя Христовой истине, не выпускает из ее области даже и того, что истинного дознается и усваивается кем-либо и без прямого ведения истины только во Христе (Деян. 17:23, 28–29). В этом духе правдолюбивого, но возвышенного над жесткой «ревностью не по разуму», испытания и наблюдения готов сближаться братски со светской областью духовный журнал «Труды Киевской духовной Академии».

Другие духовные журналы тоже полагают так или иначе начало к сближению со светскими собратами. «Дух Христианина» энергически отвергает жесткое и самохвальное направление, ревнующее за веру не по разуму, усиливающееся и мечтающее споспешествовать вере не любовью, а враждебной беспощадностью. Многоученые журналы «Творения Св. Отцев» и «Христианское чтение», один более солидным образом, а другой с большей живостью, начали наблюдательно озираться на движения современной мысли и жизни общества. «Духовный Вестник» усиливается иногда, с должной отчетливостью и с заботливой осторожностью, вникнуть в самые корни общественных духовных недугов нашего времени. «Странник» старается держаться кроткого миролюбия. В «Православном собеседнике» попадаются напротив статьи резкого обличительного духа и тона, с серьезными запросами, не отдаются ли нас или вообще на позднейшем потомстве разные общественные грехи, допущенные к нам в Россию еще прежними времени, не столько ли уже, если не более, стал преступен пред Богом и новый благодатный Израиль, сколько провинился некогда древний плотской Израиль, и не следует ли об этом подумать и подумать вождям нового Израиля... Но в этом слышится живая сила Божией истины, которая любящих истину, и с светской и с духовной стороны, также может только сближать, а не разъединять между собой.

Ведь, великое дело – истина, взятая в живой своей силе. Только тот, кто понимает истину в мертвой букве, а не в живой силе, может о принятии или достижении истины любящими ее отозваться презрительно, как о чем-то еще слишком недостаточном: «*только-то?!*» А для понимающих и любящих истину в живой ее силе, уж много, много значит даже услышать живой голос истины; достигнуть же этой истины, принять ее не по букве, а в самой силе, значит для них принять живое семя самой жизни благодатной и вечной. Потому-то только тот, кто самодовольно воображает себя уж достигшим чуть не полноты ведения и истины, доведенный до этого самообольщения именно пониманием истины не в бесконечно-жизненном ее духе, а в мертвой букве, только такой человек пойдет прочь от истины, взятой в живой ее силе. Он, изволите видеть, никак уж не сможет «одолеть», т.е. сполна прочитать или понять, какую-нибудь книжку или статью, даже ту или другую строчку в статье, где, например, раскрывается, что великий грех и беда – передавать и упрочивать в родном народе направление – держаться истины более в букве, чем в живом духе, направление – успокаиваться на букве, как будто на законченной совсем полноте разумения истины. Господам подобного рода нужды нет, что это самое направление и сгубило главным образом древнего Израиля; да оно же есть одно, и едва ли не первое по старине и важности, из тех общественных наших зол, которые возникли у нас в России еще в прежние времена, на беду и позднего потомства, на беду нового Израиля – христиан православных. Любящие же истину из светских и духовных, любящие истину в живой ее силе, чуждые самообольщения «считать себя уже достигшими» законченной полноты в разумении истины, а напротив «забывающие заднее и простирающееся вперед» (Фил. 3:13), согласно ухватятся и за маленькое зерно раскрытия истины в живой ее силе, хотя бы то было предложено в самом резком обличительном духе и тоне.

Обращаясь теперь к светской журналистике, и именно к лучшей ее стороне, я и буду следить и обозначать в этой области более силу и дух, нежели букву истины. Непреложно

слово истины: «кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, расточает» (Мф. 12:30). Но быть и собирать со Христом, как истиной, нельзя иначе, как в самой силе дела, т.е. одушевляясь любовью и верностью к истине, взятой притом в живом Христовом духе, духе святого и самоотверженного человеколюбия, духе свободного сыновства, духе такой всеобъемлющей многосторонности, чтобы *возглавить всяческая во Христе, яже на небесах и яже на земли* (Еф. 1:10). Насколько кто держится, в деле истины, именно такого духа, противоборного духу мрака и лжи, хотя бы видимо и *не ходил по нас*, настолько он все же за нас. «Кто не против вас, тот за вас», сказал Господь Своим ученикам, когда они положили запрещение на одного человека, изгонявшего духов зла именем Христа, ссылаясь только на то, что он *не ходит по нас* (Мк. 9:38–40). Деятелям светской журналистики (говоря вообще или о большинстве их) иные ученики Христовы могут конечно ставить в вину, что они тоже не ходят по нас, или действуют в своей области слишком независимо и самостоятельно. Но нельзя отнять у этих деятелей той чести, что они или многие из них добросовестно и честно стремятся к истине (а именем истины Христос называл Себя самого), держатся духа гуманного или человеколюбивого, не рабского и даже ненавидящего духовное рабство, охватывающего по возможности все или старающегося дать себе во всем отчет разумный, отчет истины. Это прекрасно! В этом отношении они идут, скажет истинный Христов ученик, не против нас, а следовательно за нас. Истинный служитель Христовой Церкви притом же знает, что благодать (иерархического) священства необходима и даруется от Бога духовным именно для служения тому, чтобы Христос был и с простыми христианами, или мирянами, чтобы, потому, миряне оставались и действовали, каждый своей области или среде, с духовной самостоятельностью, независимой от какого-нибудь папистического вмешательства, как это завелось в неправославном католичестве. Значит, непреступна пред православием и та независимость светской журналистики, что ее деятели *не ходят по нас*. Впрочем православный для успокоения своей ревности, горько смущаемой иногда

кажущимся или действительными антихристианскими тенденциями некоторых журнальных дельцов, не должен забывать, что Господь наш есть свет, светящийся и во тьме, однако тьмой необъемлемый, неподавляемый (Ин. 1:5). Я имею в виду и желаю другим поставить на вид собственно то, что относится к светению самого Христа в светской журналистике, как бы ни относились к нему те или другие ее дельцы со своей стороны. Каиафа пророчествовал, когда в его мысли и намерении было только заранее произнести приговор смерти на Христа (Ин. 11:51). После этого, кажется, ревнителям можно быть покойными на тот счет, что я вовсе не антихристианство некоторых журнальных деятелей оправдываю или стушевываю, говоря о лучшей стороне светской журналистики, а воздаю славу могуществу Христовой благодати.

Войду в рассуждение, и в частности, о том или другом журнале с лучшей его стороны. Начну с «Современника». Прежде лучшее в духе и направлении «Современника», на мой взгляд, ограничивалось почти только отрицательной стороной, именно стремлением и умением следить, схватывать и разбивать фальшивое, двусмысленное ветшающее или гнилое в жизни и мысли. Нечего говорить о том, как это пригодно и нужно для настоящего переходного в разных отношениях времени, когда всякая дрянная ветошь и фальшь могут прикрываться самыми благовидными личинами и задерживать общество на пути к жизненной истине. Но, с продолжением времени, в «Современнике» лучшее стало, кажется, более и более обозначаться и с положительной стороны. В этом отношении мне более всего по сердцу то, что «Современник» горячо отстаивает свежее, возвышенное над духовным рабством и стремящееся вперед к лучшему, направление духа, мысли и жизни; а вместе с этим сочувствует он осторожности и бережности, по крайней мере, других в отношении к болеющим нравственными и гражданскими недугами (хотя бы это были и мятущиеся Поляки). Тут мне слышится, хоть словно издали, веяние того благодатно-свободного, простирающегося все вперед, разумного и человеколюбивого духа, за который, в первоначальном христианстве и доньше, стоит особенно

Апостол Павел силой слова Божия. Я вполне согласен с «Современником», что подобное либеральное и прогрессивное направление духа, стоившее нам так дорого и доселе требующее и еще имеющее требовать от нас многого для надлежащего своего раскрытия в нас, достойно того, чтобы не слишком строго вступаться за его незрелость и неопределенность у многих. «Русский Вестник» сторожит, чтобы это благородное направление не допускало крайностей, могущих превратить и благородное в зловерное, истину в ложь. Этот журнал, с содействием ему «Московских Ведомостей» и еще «Дня», не дает движению светской мысли слишком расходиться с мыслью духовной. «Отечественные Записки» занимают, на мой взгляд, средину между «Русским Вестником» и «Современником», сочувствуя всему либеральному и прогрессивному, вообще живому и свежему в мирской современности, но сдерживаясь духом умеренным и кротким. Этот журнал относится нередко и к делу духовных словом сочувственным, хотя и правдивым. «Русское слово» идет смело и стремительно в направлении «Современника»; «Библиотека для чтения» более мирно и осторожно следует тому же направлению. Лучшее, что есть в этом направлении, можно находить в обоих, названных сейчас, журналах.

И вот, таким образом, наша светская и духовная журналистика, с лучшей своей стороны, такова, что, читая с умением наши наиболее известные журналы, можно с истинной пользой внимать и следовать истине – как в самом ее существе, раскрываемом духовными журналами, так и в жизненном ее духе, слышном в светских журналах. Посмотрим теперь и обратную сторону нашей журналистики, также светской и духовной.

Сейчас была у меня речь о светской журналистике, с лучшей ее стороны, и продолжу говорить о той же журналистике, только уже о худшей ее стороне. Самое худшее, чему я не надивлюсь в светской журналистике, – это совершенное почти невнимание к господствующей стороне русского духа и жизни, стороне православно-религиозной. Не думают ли светские журналы действовать на одну верхушку

общественную, в которой многие довольно выветрились в религиозном отношении, а оставлять в покое всенародную массу православных? Но в этом и есть существенный недостаток образования в России, что оно разъединило русских в их воззрениях и главных интересах; журналистике надо бы исправлять или уничтожать, а не усиливать этот вековой недостаток русского просвещения, столько вредящий нашему отечеству. Или, разбирая всякие жизненные вопросы без всякой мысли о подчинявшемся нашим жизненным условиям Христе Богочеловеке для распространения благодати на все области и потребности нашей жизни, хотят отвлечь общество, его жизнь и мысль, прочь от Христа и Его благодати? Никак не думаю, чтобы мы русские дошли до такого несчастья или нечестия. Али светские журналы оставляют заниматься православно-религиозной стороной русского народного духа именно духовным журналам? Но ведь духовные журналы, разъясняя Христову истину, были бы преступны пред самой этой истиной, если бы не захотели разносить дух и силу этой истины во все среды жизни. Так точно и светские журналы, занимаясь делом мысли и жизни общечеловеческой и русской, виноваты пред самым этим делом, если не хотят поднять открыто и прямодушно знамени Сына человеческого, на котором тяготели все грехи и недуги нашей мысли и жизни, от благодати Которого ист екает все светлое и живое в нашей мысли и жизни, общечеловеческой и русской. Если, например, какой-нибудь светский журнал любит толковать о русской народности, но никак не хочет возвысить своей мысли о православной народности к представлению благодатного рода детей Отца небесного, одушевляемых человеколюбивым духом Единородного Его Сына: то Он неминуемо провинится и против русской народности, оставив ее на уровне со всем *плотским* некрещенным, и против других народностей, оскорбляя их унижением пред славянскими народностями и т.п. Чем можно объяснить и хоть сколько-нибудь извинить это упрямое невнимание русских светских журналов к православно-религиозной стороне русского духа и жизни? Только разве (простите за слово нелюбимой правды) незрелостью

общественного сознания и мысли о живом значении и самой разносторонней приложимости православно-религиозного. Православно-религиозное воззрение, взятое в живой силе, внутренний последовательный порядок движения православно-религиозной мысли и жизни от самого начала настоящего порядка вещей в мире, соотношение православно-религиозного к неправо-религиозному в древнем и новом мире, – все это и подобное тому есть просто *terra incognita* для светской мысли. И эта неведомая земля останется неизведанной для большинства светских мыслителей, кажется, до того времени, пока православным воззрением не успеют овладеть Немцы или Англичане. От них-то, может быть, наши гг. Лавровы и ознакомятся наконец с Православием. Вот какие горькие мысли невольно рождаются, когда посмотришь, какое ничтожное значение для светской журналистики имеет существенный в народе наш элемент православно-религиозный.

Посмотрим теперь, в частности, на несостоятельные пред истиной стороны того или другого светского журнала. «Современник», отличавшийся более других, особенно в последние годы, жесткой совсем не либеральной претензией на монополию в решении всяких вопросов, соединил недавно с этим весьма вредным для дела истины недостатком новый еще более опасный для этого дела недостаток. Это именно – софистическое направление доказывать или опровергать, что и как вздумается и захочется по произвольному требованию школы или партии. Захочется, например, школе «Современника», чтобы Льюис разделил с ней мечтательную претензию разрешить химически или физиологически всю тайну человеческой души; и наша школа доказывает это наперекор прямым словам самого Льюиса. Партия «Современника» найдет нужным доказать и уж непременно, как дважды два-четыре, докажет, что г. Тургенев не имеет художественного таланта и замешан на одной противогуманной закваске с г. Аскоченским. Известно также, как «Современник» вел борьбу с «Временем»: возьмет фразу из одного места, вырвет другую фразу из другого места, сопоставит их с несколькими фразами, подобранными таким же образом тоже из разных мест и даже статей, и вот из

образа мыслей «Времени», образа мыслей свежего, жизненного во многом, только еще не зрелого, не довольно точного или не совсем отчетливого, сделает, бывало, такой сумбур ребяческой мысли, что просто из рук вон. Подобная софистическая ловкость и оборотливость мысли и слова не дорожит истиной даже в том самом общем смысле, чтобы не извращать факта, но поставлять всякое *данное*, как оно есть, а не как хотелось бы партии. Сохрани, Бог, от того, чтобы такая софистика въелась в направление «Современника»! Тогда этот журнал простись со всем лучшим, простись не только с горячей любовью к истине Белинского и с строгой правдивостью Добролюбова, но и с искренностью убеждения г. Чернышевского. Можно вам ловко опровергать или доказывать что по одному произволу, но по совести убеждаться в этом и вам самим нельзя. Мы не касаемся других фальшей в воззрениях «Современника»; при правдивости господствующего направления, при искренней любви к истине деятелей журнала эти фальши могут быть понемногу дознаны и отвергнуты ими самими. Но с произвольной софистикой нет возможности сделать даже одного шага вперед к истине. А между тем ловкая софистическая оборотливость мысли и слова так оболстительна и заразительна для сильных даже, только не довольно правдолюбивых дарований! С легкой руки «Современника» он успела проникнуть уже и в некоторые духовные журналы. Лекарством против этой опасной болезни мысли, усиливающейся обыкновенно уже при сильном упадке общественного духа, служат нелицемерная любовь к истине, любовь к своему родному народу и наконец та несомненная истина, что ловкая софистика может провести или обмануть не всех читателей, а только некоторых, и то не навсегда. Впрочем мне хочется остановиться на том, что замеченная нами важная несостоятельность пред истиной составляет только временное и случайное полемическое увлечение «Современника». Мне думается, что благородство этого журнала не позволит ему нечестную пред истиной ловкость софистики ввести в постоянное свое направление. Ведь, «Современнику» известно,

что всякое дело легко уронить, но поднимать упавшее будет трудно.

Есть и в «Русском Вестнике» сторона, очень и очень неблагоприятная для дела истины. Не знаю, или затрудняюсь, как разоблачить эту сторону, не касаясь оскорбительно общей благовидности этого журнала. Ну, да вот какой факт возьмем в «Русском Вестнике». Несколько времени тому назад, начался – было в нем ряд писем или статей о Русской живописи и знаменитых живописцах нашего времени, начиная с Брюлова. В первой прекрасной статье автор очень основательно изучает или разбирает живопись Брюлова. В результате изучения этой знаменитости оказалось, что этот могучий талант был однако не столько могуч, чтобы не поддаться отчасти фальшивому направлению; он более поражает эффектом своих созданий, нежели углубляет и выражает в них многосодержательные идеи (подобно как, например, современный ему Марлинский в своих произведениях). Я очень обрадовался этой смелой и правдивой статье, отчасти и потому, что изучение великой картины Брюлова «Разрушение Помпеи» и меня приводило к подобному же заключению о его таланте, а особенно потому, что выводилось, как говорится, на чистую воду фальшивое направление увлекаться в чем бы то ни было эффектами и рассчитывать на эффект, вместо того, чтобы управляться глубокой или, по крайней мере, дельной и серьезной мыслью. Ведь с искусством существенно связана и наука, с мыслью жизнь. Не даром вошли в язык жизни эффектные выражения, взятые с живописного искусства, как, например, «рисоваться», «картинное положение» и т.п. Как у нас любят рисоваться так или иначе по всем частям. Как особенно молодежь рвется отличаться тем, что бьет в глаза! Пусть же, думал я, с живописи и начнется исправление этого фальшивого направления. И с некоторой нетерпеливостью ждал продолжения, именно статей об Иванове, художнике уже совсем другого направления. Но нет! В следующих книжках «Русского Вестника» не оказалось уж продолжения этих писем о русской живописи; а напротив в одной из книжек кое-что встретилось такое (написанное, кажется, чуть ли тоже не знаменитостью живописного

искусства), в чем высказывался совсем уж другой взгляд на Брюлова. Как будто достоинство и честь какой бы ни было, умершей или живой, знаменитости в области искусства (да и во всякой области) выигрывает, а не проигрывает – от того, что она, эта знаменитость, оказывается не ступенью, а задержкой для дальнейшего восхода искусства (или другого дела мысли ли, слова ли и подобное) по лестнице усовершенствования. Не то беда, чтобы какая талантливая или даже гениальная личность допустила фальшь в своем направлении, а то, что случается целому ряду поколений и столетий идти по превратному направлению, упроченному чрез такие или другие могучие личности; и люди мысли и слова, уступая каким либо сторонним для дела истины соображениям, действуют слишком косо и вяло, или нетвердо и уклончиво, – для подрыва в самом корне подобных ложных направлений. Вот это самое и составляет несостоятельную пред истиной и вредную для нее сторону «Русского Вестника». Взятый мной из этого журнала факт, может быть, имел и другие самые простые причины; я воспользовался этим фактом только для выяснения моей мысли о том, что есть особенно неблагоприятного истине в характере и направлении «Русского Вестника». Но это давний факт, вероятно не замеченный или уже забытый многими. А вот и недавний факт, другого рода. Во время разгара польского вопроса, конечно, можно и естественно было «Московским Ведомостям» понять не довольно ясную статейку г. Страхова «Роковой вопрос» в смысле, оскорбительном для патриотов⁴⁸. Но в последствии, среди полного спокойствия, презрительно осмеивать прямые и вместе скромные объяснения г. Страхова, что он брал польский вопрос в глубоком смысле столкновения между римским католичеством и православием, между духом западной цивилизации и православно-русским духом, и требовал патриотического рвения к раскрытию несостоятельности самого католичества и цивилизации запада и к разумению и выдержке жизненных сил нашего православного духа, и утверждать безразличие этих духовных борющихся сторон – дело недостойное истины. Такая и твердость в своем мнении оказывается уже не живым и оживляющим духом

истины, а чем-то жестким, упрямым и убийственно-рутинным. Знаю важность этих недостатков и вред от них для дела истины, знаю и трудность отделяться от них; как однако ни трудно, а все же любящим истину надо от них отделаться как-нибудь. Ведь задача «Русского Вестника» очень важна для России, с подручными ему «Московскими Ведомостями», угадывающими Русский дух во многих отношениях.

Перейду к заметке о несостоятельной стороне «Отечественных Записок». Возьму и здесь частный случай для объяснения общих или довольно постоянных недостатков, замеченных мной в направлении этого журнала. Случилось какому-то духовному журналу указать нечто несостоятельное пред истиной, допущенное деятелями этого журнала не в самом журнале, а в другом издании (именно «энциклопедическом лексиконе»). И вот «Отечественные Записки» с огорченным достоинством поставляют против этого духовного вмешательства такую протестующую мысль, что для духовных слишком много дела и без вмешательств в дело науки; пусть они поболее трудятся над этим огромным стадом овец – простым народом, а наука уж знает и исполнит сама свое дело. Здесь высказались две фальши, которых издавна держатся «Отечественные Записки» (и не они одни, – ведь журнал выражает образ мыслей общества): одна фальшь в отношении к простому народу, а другая в отношении к духовным.

Во-первых, люди науки фальшиво относятся здесь к простому народу. Эта фарисейская идея: *«несмь, якоже прочии человецы»*, портит и иссушает до безжизненности дел, также и дело науки. Особенно у нас в России от того-то наука так и безжизненна, так отчуждена и доселе от народного духа, что она носится, как говорится, только по верхам в отношении к простому народу, что люди науки не хотят, да и не умеют идти рядом и за одно с мужичками православными⁴⁹. «Отечественные Записки» много бы послужили благу нашего Отечества и самой науки, если бы взялись за дело сближения науки с духом народа, а не поддерживали бы разобщение между той и другим. Самая главная и существенная сторона в духе нашего народа есть дух православия; потому наука может

быть сближена или разобщена с духом нашего народа главным образом от того, и настолько, насколько результаты науки сближаются или разъединяются служителями мысли и слова с духом православия. Дело яснее из примера. Положим, Вы отстаиваете европеизм русских против какого-нибудь нахала, отчисляющего нас к азиатчине. Но если при этом, люди науки, вы относитесь к библейским сказаниям о Ное и детях его как в «легендам» только; то уж будьте уверены, что и русский народный дух будет относиться к вам и науке вашей, как к совершенно для него чужим. Это прежде, чем он разберет, что библейские св. сказания, выдерживающие столько времени и с такой отчетливой твердостью всевозможные нападки и перетолки на самом западе, унижать по достоверности пред всякими историческими памятниками и летописями значит нагло оскорблять и самую науку. Положим еще, вы знакомите своих читателей с теми геологическими результатами науки, что человек уже жил на земле, когда некоторые земные слои погребали в себе остатки самодревнейшей жизни. Можно эти результаты передавать в общее сведение и так, как вы передаете, т.е. можно говорить, что, видно, человечество живет на земле несравненно более тысячелетий, чем как принято в наших летосчислениях; потому что следы бытия человеческого геология начинает открывать и во время образования таких-то и таких-то слоев, которое, по геологическим соображениям, должно совершиться во времена, далеко уходящие за пределы известных у нас летосчислений... Но в этом случае научные результаты вы поставите в совершенный разлад с духом народа, ведущего летосчисление от создания мира не иначе, как по православному. И дух народа со всем, что он к себе притягивает, пойдет инстинктивно прочь от вашей науки. Но те же научные геологические результаты вы могли бы, и притом с большей основательностью, передать и иначе. Именно, могли бы вы поставить на вид то, что вот геология, по слоям земли насчитывавшая огромные периоды времен до появления человека, стала уж согласно с Библией открывать следы бытия человеческого не в отдалении от времени образования таких-то и таких-то ранних слоев земли и появления таких-то и таких-то

животных; это есть уже шаг, хотя и первый еще, к геологическому разъяснению, что и вообще образование земли и население ее животными совсем не так далеко упреждает появление на ней человека, как кажется и особенно прежде казалось геологам. А между тем геология ведет дело свое пока еще без испытания и даже без всякого внимания к тому, как условиям должна была подлежать земля и земная природа, по православному библейскому воззрению на этот предмет, и не проще ли, не вернее ли объясняются из этих условий те геологические данные или открытия, для объяснения которых построили противобиблейскую гипотезу об образовании земли. Вот на что следовало бы указывать отечественному журналу, ознакомливающему общество с тем, на чем, на каких данных или открытых геологических фактах, а не на каких гипотезах или предположениях, остановилась современная геологическая наука. Тогда тоже инстинктивно бы сначала, а потом и отчетливо потянуло бы к науке православно-народный дух, на истинную пользу нашего отечества да и самой науки. Ведь, наука крайне еще запутана в разных односторонностях, от которых надо же ей освободиться; а не освободиться ей без православного воззрения. Возьмем во внимание, например, хоть ту же геологию. Она, сколько бы ни представляла претензий на историческую и, пожалуй, математическую точность, со своими гипотезами очень похожа на такого человека, который, разъясняя развитие подземного корня какого-нибудь дерева, не добирается до самого действительного корня кроме, разве, выходящих наружу земли, некоторых его малых частей, а смотрит на то, на сколько вершков в год нарастают ветви этого дерева, и это, с математически точным исчислением, применяет к развитию корня, которое и выходит, в уме этого человека, на славу великолепным, т.е. совершенно мечтательным. Таковы и противобиблейские построения геологии⁵⁰.

Во-вторых люди науки, как оказывается это по «Отечественным Запискам», фальшиво относятся и к духовным, устраняя их совершенно от своего дела, от дела науки. Допустите, скажу я таким людям, хоть только одну возможность того, что духовные служат действительной вселенской истине.

Как же им устранился от дела науки, разыскивающей истину? Вы сами поставили бы им, и вполне справедливо, в неискупимую вину – владеть истиной и быть безучастными к положению тех, которых они видят путающимися в чем-либо ложью. Попасть во мрак лжи и однако думать, что находишься на светлом просторе истины, – это хуже самого грубого простонародного невежества; это значит попасть в беспощадные разбойничьи руки. Холодно посмотреть на это и идти мимо было бы прилично разве только иудейским священникам и левитам, и то худшего времени иудейства. Совсем другое, и уж вполне состоятельное пред истиной, дело было бы, если бы люди науки, светские ли журнальные деятели или вообще ученые, относились к духовным вот в каком смысле: «Вы служите Тому, Кто Себя называл истиной, Кого очевидцы земной Его жизни видели полным благодати и истины. Итак словом и другими способами вашего служения подействуйте тому, чтобы Он и в области науки явился, как явился и жил на земле, полным благодати и истины, чтобы голос во имя Его не пугал и тем более не озлоблял против Него, а напротив привлекал к Нему детей науки. Если вы пренебрежете, оскорбите или стесните то, что относится к добросовестному и честному разысканию истины, что одушевляется горячей любовью к истине: то это не будет угодно Тому, Кого вера признает живой истиной. Чрез посягательство в чем-либо на духовную самостоятельность деятелей науки можно, пожалуй, и даже скорее, чем чрез другое что-нибудь, преступно посягнуть и на благодатную свободу детей самого Бога, раскрытию которой в людях вы поставлены служить. Не иметь уважительного внимания к современным потребностям, приобретениям и даже приемам науки, входить однако ж в ее область во имя Христова, значит поступать не совсем по духу Христа, Который, принося в Себе миру вечную истину, явился в мире в известное время сообразно с духовной приемлемостью и потребностями своих современников».

Этим я и хотел бы покончить со светскими журналами в настоящий раз; потому что сказано мной о светской журналистике почти все, что особенно хотелось бы сказать о

лучшей и худшей ее стороне, предоставляя все это дело собственному обсуждению деятелей и читателей светских журналов. Но прибавлю еще слова два именно «Русскому Слову», прибавлю из благодарности к этому журналу за его благородное сочувствие к молодежи, именно к семинаристам, которые едва ли не более всякой другой молодежи требуют сочувствия и участия к себе (они, замечу мимоходом, и со своей стороны тоже особенно сочувствуют «Русскому Слову»). Соучастие к молодежи вызывает этот журнал к тому, чтобы, с любовью и уважением к полному надежд значению молодежи, наводить ее на прямое направление добра и истины. «Русское Слово» всякому, кто не хотел бы возвращаться к темным средним векам, предлагает такой способ распознавать истину ото лжи: «сомнение, опытное исследование» и т.д. Но сомнение ведь отравляет и озлобляет душу. Неужели со стороны жизни, людей, обстоятельств мало еще озлоблений и отрав всякого рода, для души, особенно молодой? И в особенности этой молодежи – семинаристам – неужели надо еще подбавлять внутреннего озлобления? Но как же, говорите вы, выбиться из опутавших человека фальшей, принимаемых за истинное добро, если не начинать сомнением во всем привычном или слепо принимаемом на веру: «да полно так ли?» Как обойтись без разрушительного начала сомнения, если и надо сначала разрушить фальшивое? Нет, друзья мои, как вам угодно, а сомнение все-таки совершенно не годится в способы к распознаванию истины ото лжи. Сомнение есть разрушительная сила, направляемая равно и против фальшивого и против истинного. Если бы и слишком много накопилось всякого дрязга и хлама в каком-либо доме – и на его чердаке и в комнатах и в коридорах; однако было бы безумие разводить или подкладывать во всех этих местах истребительный огонь, от которого погибнет и весь дом наряду со всяким хламом и дрязгом. Сомнение не годится для нужна о всем людям разузнания истины ото лжи еще и потому, что оно и не приложимо ко всем людям. Для иного человека усомниться в чем-либо или в ком-либо, кому или чему он доверяет (будь это преданность и верность друга, для которого он живет, или

верность воззрения и правила, которым он живет), значит просто самоубийство духовное, решиться на которое было бы для него безумным преступлением. За что вы исключите этого человека из самой возможности разузнать истину ото лжи? Иному человеку до того ощутительна истинность того или другого, принимаемого на веру, что для него нравственная невозможность – сомнение. И этот человек осужден вами не распознавать истину ото лжи?!

Нет, не сомнение, а вера, горячая вера в истину должна быть первым движущим началом и способом к разузнанию истины ото лжи. Смотрите прежде всего на всеобщую приложимость этого начала и способа. Вот человек, весь взволнованный недоумениями и озлобленный ядовитыми сомнениями. Он в этом состоянии неспособен и взяться за дело беспристрастного, ясного исследования. Но пусть скажет он себе: «Ведь есть же истина; нельзя же быть тому, чтобы не было истины, а было бы все только один вздор и ложь». И вот эта самая простая и общая вера в истину, чем будет живее и тверже, тем более соберет внутренне этого человека; и он возьмется за опытное, или какое там другое, исследование истины с энергией и вместе с ясным спокойствием. Он пойдет, потому, уже надежным путем к разузнанию истины ото лжи. Истина готова (Ин.20:27) дать ему осязать себя и свои страдальческие за неведающих и заблуждающих язвы. Возьмем другого человека, верующего в истину до нравственной невозможности сомнения в ней и притом помилованного тем, что он верует именно во Христа, как в самую и притом единственную истину. Чем горячее такая вера этого человека в истину, тем более и живее будет у него стремление, сколько возможно, глубже и разностороннее узнать и усвоить себе истину, и следовательно тем глубже и разностороннее он будет исследовать истину и саму в себе и во всей обширности ее приложения. Само собой разумеется, что это исследование может совершаться различно, именно; или строгой научной мыслью или духовным опытом и подвигом, но в том и другом случае непременно с благодатью *Духа, вся испытующего, и глубины Божии* (1Кор.2:10), и с происходящей отсюда

смелостью и свободой – *востязовать* вся, «судить обо всем» (1Кор. 2:15). Смотрите теперь, насколько этот путь к разужнанию истины ото лжи, т.е. вера в истину, действительно и верно ведет к своей цели. Тогда как сомнение до того волнует иного беднягу, что он рад пристать хоть к какой-нибудь пристани, хотя бы к пристани отчаяния, стремящегося все разрушать, или к пристани фальшивого удовлетворения только кажущегося в известное время истиной, которая впоследствии, по сознанию самого этого бедняги, окажется неминуемо вовсе не истиной: вера в истину, напротив, на том и утверждаетсЯ с первого же своего шага, чтобы ни фальшивого чего-нибудь не принимать за истинное, ни истинного не заподозрить в фальши, и потому она, умиряя внутренне человека, не даст однако покоя ему, пока он не успеет разужнать действительной истины ото лжи. Таково уж существо живой, горячей веры в истину, невозможной без пыла любви к этой истине. Для верующих могу прибавить к этому еще то, что и самая общая, но живая и твердая вера в истину, недопускающая иметь сомнения еще только в *бытии истины*, непременно привлечет к себе и благодать истины (хоть бы только предваряющую): таково ведь самое существо благодати, чтобы соответствовать вере. А с благодатью истины также просто распознавать свет от темноты. Но западная Европа, говорите вы, всего лучшего в своей новой истории и особенно освобождения от средневекового мрака достигла не иначе, как начав сомнением. Но нам, отвечая я, надо еще распознать истину ото лжи не только в средневековых потемках, но и в новом просвещении западной Европы⁵¹. И потому нам нужен более надежный и здоровый, созидательный способ к разужнанию истины, нежели болезненное и разрушительное сомнение. Само собой впрочем разумеется, что вера в свет истины вовсе не прочь от того, чтобы относительно всего, принимаемого на темную и слепую веру, задавать вопрос: «*Да полно так ли?*» Но один и тот же вопрос имеет совсем другой дух, когда его задает отчетливая вера в истину, – это дух при своей энергичности светлый и мирный; и совсем другой дух и сила в том же вопросе, когда он возникает из «ядовитых сомнений», – это дух отравляющий и озлобляющий. И, без

сомнения, жесткая и инквизиционная нетерпимость более сродна этому последнему духу, если бы только дать ему свободный простор, нежели светлому и мирному духу всегда свободной (т.е. равно и противорабской и противодеспотической) веры в истину. Ведь вера в свет истины совсем не то, что фанатический обскурантизм, надевающий на обольщение других и себя личину веры. Вот что русскому журналу, принимающему близко к сердцу дело и судьбу особенно молодежи, следовало бы разъяснять и разъяснять своим русским словом!

Приступлю к духовным журналам, дам себе отчет и о них, все ли в них состоятельно пред истиной. Начну и теперь с «Православного Обозрения». Несостоятельная сторона этого журнала состоит в том, что он, по моему наблюдению, не довольно отчетлив в собственном своем, благородном и свежем, направлении, от чего это направление и оказывается в журнале не довольно твердым и упроченным. В доказательство этого переберу хоть только некоторые, но особенно важные и резкие черты в характере и направлении «Православного Обозрения». Вот, например, в направлении этого журнала есть серьезное внимание к бытовой стороне жизни нашей. Конечно, дело касается быта собственно духовных; но что из того? Тем более надо серьезной и жизненной мысли и слову духовного журнала озаботиться возвышением этой бытовой стороны жизни к значению истинно-духовному и упрочением за ней такого значения. Ведь сближение между духовным и мирским, или светским, сближение желанное и благотворное для той и другой стороны, возможно только тогда, когда и внешне мирское, бытовое поднимется к внутренне духовному значению, а не тогда, как и духовное будет упадать до значения только мирского. Итак что же сделало или делает «Православное Обозрение» для упрочения за внешне бытовым духовного значения? То ли, что развивало (и то в переводных статьях, изданных потом редакцией в особой книге), общую мысль о земном, относящемся к здешней жизни, как чуждом самостоятельного существенно важного значения, а имеющем значение только по отношению к жизни будущей, значение

приготовления к вечности? Но эта слишком общая и сама по себе, бесспорно, верная мысль, если поставлять ее только в отвлеченной ее общности, а не вникать в жизненную ее силу, может приводить и приводит некоторых к совершенно противной «Православному Обозрению» духовной односторонности, именно к жесткому пренебрежению земного быта и к осуждению только тех, у которых вся почти жизнь есть утруждение и обременение внешне бытовым или житейским. Святые Божии вовсе не в таком смысле и духе стремились к будущей жизни и пренебрегали настоящей. Вся сила будущей жизни для них, как и вся их правда, есть Христос в духе Своей святости, чистоте, мудрости, твердости и одушевляющей все это самоотверженной любви к человечеству – ко всеми каждому человеку, Христос Богочеловек с почивающей и открытой в Нем для приемлющих любовью Отца небесного и полнотой благодати и истины, вообще всех благ Св. Духа. Святые Божии стремились или стремятся собственно к тому, да *Христа приобрящут* (Флп. 3:8), и стремились к этому так, что не хотели бы быть и в царстве небесном без Христа и готовы, рады быть и в аду, только со Христом, как высказал один из Святых. Вот в чем состояла их цель и в будущей жизни; вся *почесть* или награда *вышняго звания Божия* была для них *во Христе Иисусе* (Флп. 3:14). Стремясь к этому, они и пренебрегали решительно всем, взятым вне самого Христа, – не только бытовой стороной жизни, но и внешне духовными преимуществами⁵², самой даже беспорочностью (Флп. 3:5–6). Все, имеющее или полагающее свою силу и значение вне Христа, они вменяли в тщету и помёт именно для того, чтобы приобрести Христа и все существенное для себя иметь и полагать только в области благодати самого Христа (Флп. 3:7–9). А Христос по Своей благодати дает себя с равной щедростью всякому приемлющему – иудею или язычнику, мужчине или женщине, светским или духовным, занятым бытовой ли стороной жизни или делом мысли и слова; – только бы каждый из них так, или с таким движением веры, делал свое дело, чтобы за этим самым делом принять к себе, усвоить, *приобрести Христа*. Так самая земная жизнь, и с внешне

бытовой своей стороной, воспринимала бы у нас сокровенную еще ныне силу будущей жизни, силу «жительства на небесах» (Флп. 3:20). И вот, таким образом, во Христе уже не только прямо духовное, но и внешне бытовое получает существенно важное значение, требующее от нас такого заботливого и бдительного внимания, какого только достойно это великое дело веры, – *приобрести Христа*. Много ли «Православное Обозрение» разъясняло и поддерживало это направление веры?! А ведь с таким благодатным направлением мы, поднимая и земной свой быт к духовному значению – достославного поприща для «приобретения Христа», с одной стороны, и самые земные дела свои делали бы с бодрой, нераздвоенной между двумя господами, духовной энергией; а с другой, и при мысли о будущей вечной жизни, истинно, по слову Христову, *восклонялись бы и воздвигали главы наши*, (Лк. 21:28), но не пугались бы и не поникали духом по невольному сознанию, что действительная, обыденная наша жизнь на земле так уж и оставлена у нас идти в разлад с силой в будущей жизни. А ведь еще этому благодатному направлению, не в апостольское только время, противоборно жесткое и упорное направление христиан иудействующих... Надобно бы во все это вникнуть духовной мысли и слову. И особенно в обсуждении и устройении быта духовных следует, в самой силе дела, держаться самого Христа – действительного Главы и над всем земным, как над всем небесным (Еф. 1:10), чтобы не отнять у необходимых в этом случае пожертвований, из государственной ли казны или из местных приходских источников, *духовного вони благоухания, жертвы приятной, благоугодной Богу*, как выразился Апостол Павел о подобных жертвоприношениях (Флп. 4:18). С этой точки зрения в новом, благодатном свете являются и прекрасная идея «братства», в церковных приходах, и другие заботливые меры к умножению и упрочению собственных церковных средств.

В направлении «Православного Обозрения» резко выступает еще заботливая внимательность к делу науки и образования. Это – особенно по поводу пересмотров нового проекта семинарий и училищ духовных. Положим, что этот

новый проект предназначает для духовного образования известный круг наук богословских и простых светских и предлагает разные практические меры к сообщению духовным воспитанникам духа церковного благочестивого. Положим, что при проекте есть и прибавочные голоса как о том, чтобы в деле образования не унижать и не ослаблять интереса самой науки, так и о том, чтобы образование, устроенное на суммы церковные, по отношению и к учению и к учащимся, не выходило за черту церковного назначения. Как кстати шло бы к пересмотрам подобного проекта и помогало бы им журнальное разъяснение, что в этом деле и для целостного единства в образовании и для должного духовного настроения воспитанников всего необходимее, и справедливее, да и возможно без слишком тяжелых затруднений объединить интерес научный и интерес церковный! Ведь не только науки богословские или прямо церковные относятся к истине Христовой; но и прочие знания и науки не могут, если бы и усиливались, выбиться из области истины Того, Кем *вся быша и без Кого ничто же бысть, еже бысть* (Ин. 1), Кто не только от Своей полноты раскрывает все доброе и истинное, но взял на Свои же рамена крестное бремя всякого зла человеческого, всех грехов мира. Таким образом выходит, что все вообще знания и науки, насколько в них есть истины или только служения делу истины, составляют один общий храм Истины, которая существенно есть сам Христос. И занятие той или другой наукой, с ясным сознанием этого, открывало бы в себе место благоговейному духу присутствия как бы за церковным Богослужением в храме Господнем. Интерес церковный выдерживался бы в правдивом, беспристрастном, честном служении интересу научному. И просто бы решилось дело о том, законное ли место в духовном образовании занимают науки о *сельском хозяйстве* и *медицина*, которыми разумеется – при живом их привитии к духовному образованию, духовные столько бы пользы могли приносить нашему народу чрез самое доступное лечение телесных его недугов, чрез живительное влияние на скованное многовековой рутиной хозяйство наших православных, с прямым направлением всего этого к славе

Того, Кто понес и телесные наши недуги и не отречется благодатно заправлять нами и в наших хозяйственных делах. А главное и самое лучшее то, что Богословские и простые человеческие (humaniores) знания, духовное и светское образование, чрез намеченное выше объединение интереса церковного и интереса научного, пошли бы прямым и равным путем к существенному сближению и даже единению между собой. Чрез разъяснение этого сколько бы, может быть, предотвратилось напрасных трудов и бесплодных предположений, и дело бы направлялось вернее к наилучшему исходу! Но «Православное Обозрение», сколько ни опережало другие духовные журналы в своем заботливом внимании к делу преобразования духовных училищ и семинарий, (и это составляет истинную заслугу этого журнала), мало однако, даже слишком мало занималось существенной стороной этого дела. Серьезно касаясь этого важного дела, как, казалось бы, совсем почти обходить и такие, лежащие прямо пред глазами или на дороге, вопросы, каков вопрос о живом духе самих воспитанных, на который так неблагоприятно и вместе тяжело действует изолированность их воспитания от общества и от общего хода образования? Таков же вопрос и о духовных нуждах общественных, требующих особенно в нынешнее, переходное по многому, время особенного развития и воспитание в духовных способности и готовности их – «быть не чуждыми ничему человеческого», разумеется, по духу единого человеколюбца, изливающего от себя всякое истинное человеческое добро, да и зло человеческое вземлющего или взявшего уже на Себя же. Но все это духовная журналистика, видно, считает у нас слишком сторонним для дела образования духовных... Да будет позволено сказать при этом горькое слово, не в упрек кому-либо, а просто ради истины. Много раз приходилось мне слышать толки и сожаления о том, что делом духовного образования заправляют главным образом люди, слишком отдаленные от мира и имеющие дело только с чужими детьми. Вот теперь только бы у того или другого просвещенного отца семейства из духовных нашлось опытное и проницательное слово о деле духовного образования; это слово

найдет себе готовое место в духовном журнале, принимающем близко к сердцу дело науки и образования; и таким образом опытное и проницательное слово о деле духовного образования будет в состоянии влиять благотворно на комитеты и их совещания, конечно – устремленные ни к чему другому, а к возможно лучшему обсуждению этого святого дела. Но тем не менее у нас все же довольно глухо и пусто на этот счет, даже в наиболее интересующемся этим делом журнале... На кого ж теперь или после будем жаловаться?

Есть в направлении «Православного Обозрения» прекрасное усердие знакомить своих читателей с религиозными обстоятельствами и движениями заграничными, разных исповеданий. Да; прекрасное дело напоминать православных русским, что есть еще у нас братья, которые разлучены с нами или *не суть от двора сего*, но которых единый Пастырь силен привести в единое свое стадо. Что в таком именно, достойном православия, духе «Православное Обозрение» касается других исповеданий, доказательством тому служит, например, недавно помещенная в этом журнале превосходная статья покойного Хомякова, изданная сначала за границей по поводу каких-то несправедливых западных нареканий на православие. Но при этом вот на что хотелось бы обратить внимание глубоко уважаемого мной журнала. В помянутой статье Хомякова – этом свежем плоде светской мысли о деле веры – развиваются между прочим такие живые и светлые мысли, что православная Церковь, не как западная латинская, держится не на внешнем каком *авторитете*, в роде папского, что в православии предание не исключает, *свободного исследования* верующих, что ложь протестанства состоит в *неверии* преданию, а не в свободном исследовании *верующих*, или готовых веровать. «Православное Обозрение» знает, что эти идеи, которыми православный мыслитель дает отчет в своем православии, еще слишком не выяснены у нас для общественного сознания. Ко многим, даже мнящимся быть учителями других, *вождями слепых, наказателями безумных* (Рим. 2:19–20), приражается и успевает прививаться дух, совсем противный означенным идеям, – именно не могущий терпеть «свободного

исследования» и самодовольно покоющийся на разных авторитетах, не взвешенных в своей силе. А с другой стороны, опасно, чтобы и к «свободному исследованию» не приразилось и не привилось в ком-нибудь подкапывающееся под истину сомнение или неверие; мы выше имели случай коснуться кое-каких внушений в этом роде. Итак, следя движения и обстоятельства разных исповеданий, духовному журналу как нужно было бы при этом зорко следить за приражениями и к ним православным тонкого духа такого или другого неправомыслия! Ей; при пробуждении православно-народного духа к отчетливому самосознанию, открывается настоящая потребность в самых разносторонних разъяснениях того, что это благодатное Христово тело – св. церковь держится и стоит прямо самим Христом, пришедшим в *мир во плоти* для спасения гибнущих и принимаемом верующими, в этом самом духе Его человеколюбия, во всю полноту их жизни по порядку благодати, от Него самого уставленному и действующему Им же самим в силе Св. Духа; что, потому, всякое избранное и освященное орудие Христовой благодати, хотя бы то был Апостол, более всех потрудившийся в служении своем, и не то, что священник, или архиерей хоть бы и римский, имеет и должен полагать свою силу и значение прямо в самом Господе, а не в собственном авторитете: *не аз, говорит он, но благодать Божия, яже со мною (1Кор. 15:10), ни насаждаяй есть что, ни напаяяй, но возвращаяй Бог (1Кор. 3:7)*; что в силу каждой истины, каждого дара, которые засвидетельствованы в св. писании или в св. предании, надо вникнуть и войти нам не вынужденной, но свободой живой мыслью⁵³, чтобы можно было благодати этого дара или этой истины (т.е. в Своей благодати самому Господу) воздействовать в нас Своей Божественной жизненностью без задержания и воспящения нашим неведением и рабской тупостью; что, впрочем, всякое сомнение или недоверие уже разобщает христианина с благодатью или, что то же, с самим Господом (подобно как, например, связанные взаимно души и сердца уже разъединяются недоверчивостью с той или другой стороны), и вот именно почему взволнованным сомнениями надо, по крайней мере, ухватиться за веру в то, что

есть же истина... Это будет тоже, что утопающему по маловерию Петру, при морском волнении, ухватиться за протянутую к нему руку самого Господа, ходящего по водам. Ведь православные русские только тогда будут в состоянии достойно и убедительно заявить или выдержать пред неправославными истину своего православия, когда сами себе дадут отчет в православии, чистый от приражений всякого духа неправославия. В этом отношении широкое поприще открывает для себя «Православное Обозрение», так что мудрено не заговориться об этом и в легких «заметках»; но само же оно слишком коснит на своем прекрасном поприще: или не довольно поддерживают его собраты – другие духовные журналы? Может быть, и так отчасти.

«Труды киевской духовной академии» чудесно рассуждают о школе и жизни, умеют применять к церковной истории современные исторические идеи, готовы изучать для дела истины хоть бы и роман г. Тургенева, и наконец не отказываются обозреть поприще Св. Златоуста взглядом западной современности. Но чтобы, при всем этом, и не опустить из своего вида истины, хоть бы являющейся в непривычной для наших глаз одежде, и не допустить лжи, хотя бы и слишком неуловимо примешивающейся к истине, этому журналу не мешает для себя и для других глубже выяснять, как именно можно с верностью и безопасностью выслеживать светящийся и во тьме свет Христовой истины. Христос был и есть свет, светящийся и во тьме, существенно потому, что Он и тьму наших грехов и заблуждений вменил, в отношении ее виновности, Себе самому. Надо входить вашему мыслящему духу, по мере веры вашей, в это самое настроение Христовой любви: и тогда самую малую долю или так сказать, росиночку истины презрительно опустить в чем бы то ни было из вида будет значит для вашего сознания и чувства впасть в грех. Равно и допустить в деле истины самый незначительный примес лжи или чего-либо фальшивого для вас, знающих и чувствующих, как Господь выдержал Свою правду и истину в мраках нашей и всемирной лживости, значило бы прибавлять к Его язвам новые. В таком настроении духа вашего вы будете

ощущать в себе самих страдальческую боль от этих новых духовных уязвлений и презрительных поруганий, наносимых нами человеколюбивому до смерти Господу чрез допущение лжи или пренебрежение и невнимание к истине. Так, а не иначе, по моему убеждению, можно с верностью и безопасностью выслеживать не только сияние или сильный блеск, но и мерцание – Христова света, светящегося в самой тьме человеческих ошибок и заблуждений.

Журнал «Творения святых отцев» найдет обличение несостоятельной своей стороны именно в творениях и делах св. отцев. Вот Св. Афанасий Великий всю святительскую свою жизнь провел в заточениях и озлоблениях, подвизаясь в утверждении и раскрытии истины Божества Христова; а что касается словесных его творений, он сам признавался, что его писания выражают только малую долю умственных его трудов и напряжений в углублении в ту же истину единосущия Сына Божия с Богом Отцем. Такой дух великого святителя *переводя*, так сказать, с его времени на нашу современность, сколько бы нам следовало употреблять усилий и трудов духовных, особенно умственных и словесных, на то, чтобы Христос, истинный Бог наш, был истинно же покланяемым и исповедуемым Богом для всех наук и искусств, для земного быта и сельского хозяйства, для всякой среды жизни общественной и частной, для земледелия, торговли, политики и прочее и прочее! Вот Св. Кирилл Александрийский ни жесткими возражениями таких благочестивых и просвещенных церковных учителей, каков блаженный Феодорит, ни недоразумениями и замешательствами, возникшими было против него Кирилла на самом вселенском соборе, нимало не был задержан в энергическом утверждении и раскрытии того, что сам Бог Слово Своей личностью воплотился и вочеловечился и потому родившая Его во плоти Пресвятая Дева Мария есть именно Матерь самого Бога или Богородица. Но Бог Слово снизошел или истощился до вочеловечения и воплощения в утробе Своей Матери Девы собственным Своим лицом, до принятия в единство Своего лица нашего человеческого ума, человеческой воли с ее движениями и действиями сердца человеческого,

самой даже плоти нашей, вообще всего нашего естества, не для чего иначе, как ради нас человеков, и именно ради спасения грешных и гибнущих; и сила всего этого Его снисхождения к нам действуется над нами и в нас, насколько принимаем это верой, – действуется благодатью самого Св. Духа. Итак истинная, живая верность духу св. Кирилла или силе той истины, над раскрытием которой он подвизался словом и делом, должна была бы неудержимо трудиться над разъяснением того, что человеческий ум, сердце, воля, самая даже материальная или плотская сторона человеческого естества есть прямая собственность благодати Христовой и что, потому, равно преступно пред Христовой благодатью – и действовать нам не по Христу той или другой силой или стороной нашего существа и, по неразумной ревности, посягать – на унижение и оскорбление, а тем более на осуждение и отвержение чего-либо существенно человеческого, кроме греха, составляющего уже извращение человечества. В особенности достоинство Пресвятой Богородицы, с такой ревностью защищаемое Святителем Кириллом, требует сильного внушения православным той осторожности, чтобы в ком не пренебречь и тем более не похулить чего-либо Христова, хотя бы выражающегося еще в бессознательных инстинктах, и чрез это не оскорбить и не преогорчить достоинства и духа Богоматери, матерински поддерживавшей и бессознательную немощь младенчества Господня. Вот святые вселенские отцы так дорожили благодатной православной церковностью, что один из них, именно Василий великий не допускал делать перемену даже и во внешнем разграничении церковных паств в следствие только перемены границ между гражданскими областями⁵⁴, а другой, именно Григорий Богослов, не хотел никаким благовидным предлогом извинить в духовно близком ему человеке (Григории Нисском в его юности) выхода из низшего еще церковного служения в круг светских занятий. Видно по святоотеческому руководству никак не следует даже во внешнем чем-либо, тем более в занятиях, упадать с высоты церковно-благодатного Христова духа. Но, с другой стороны, дух святоотеческий не только не смущался, но не знал как

довольно нарадоваться в том случае, если строгий пустынножитель и подвижник, движимый Христовым человеколюбием взыскать погибающую в мирском растлении душу, пойдет из своей пустыни в мир, изменить свою подвижническую одежду на светскую военную, не погнушается войти даже в дом разврата и здесь сядет за роскошный стол с мясами и винами, поведет свободную беседу с блудницей, пока наконец поставит эту погибающую душу на путь спасения и правды⁵⁵. Видно, по святоотеческому образу мыслей уж не падением с духовно благодатной высоты будет деятельное следование за Христом, пришедшим из небесных Своих обителей в грешный наш мир для служения спасению погибающих хотя бы для этого следования оказалось нужным допустить такие или другие видимые несообразности с обыкновенным духовным порядком. Вот (скажу и еще наконец) Св. Григорий Нисский не находил несовместным со своим церковным учительством поучиться и у женщины, устранившейся апостольским словом от церковного учительства, именно у своей сестры Макрины (которую и не стыдится называть «наставницей») и памятником этого оставил одно из своих святоотеческих творений⁵⁶. Итак святоотеческим авторитетом подтверждается, что и в разумении Христовой истины и в распространении благодатного ее света *нестъ пол мужеский и женский*, что и женщина, не входя в дело и обязанности церковного учительства, может столько успеть в светлом и живом понимании и усвоении себе Христовой истины, чтобы быть в состоянии поддержать в этом и самих церковных учителей. Скажу вообще: в каком бы живом, близком к нам, свете являлись святоотеческие творения и сколько бы оживляли они в православных истинный дух православия, устраняя от них разные односторонности, если бы с переводом на родной язык писаний св. отцов мы соединяли труд мысли и слова и самого дела – переводить жизненный дух этих писаний на почву современных духовных нужд, вопросов и недоумений или затруднений!! Журнал «Творения св. отцов» слишком, слишком мало заботится об этом последнем...

Но довольно уж сказано для любящих истину, сказано из уважения и участия к их делу. Любящие истину, и без дальнейших пояснений, поймут уже, что духовным журналам не годилось бы, помещая на своих страницах русский перевод св. книг Ветхого Завета, не только не разъяснять внутреннего порядка ветхозаветных откровений и вообще воззрения ветхозаветного, но и быть невнимательными к сделанным разъяснениям этого; а эти разъяснения ведут к такому великому результату, что в средах земных и мирских, в которых благодать Христова могла много различно предъизображаться в Ветхом Завете, тем удобнее и прямее может быть проводима она же самая, только уж в своем существе и истине новозаветной, и притом чрез свободную и отчетливую самостоятельность нашей веры. Любящим истину понятно самой собой, что предлагая православным, в русском переводе, акты вселенских соборов, боровшихся с разнообразными затруднениями не только от изворотов и козней лжи, но и от недоразумений самой веры, неприлично православному журналу оставаться в то же время безучастным к делу истины Божией, и ныне обращаемой во лжу неразумием или нелюбовью к истине. Вот эта великая истина, что, для раскрытия света и силы православия вообще и для направления особенно нашей современности на должный путь, надо нам православным входить, сколько возможно живее и глубже, в настроение и мудрствование любви к грешному и заблуждающему миру самого Господа – Агнца Божия, вземлющего грехи мира, что надо входить в соучастие этого Христова человеколюбия по возможности так, как, например, Апостол Павел, *молившийся сам отлучен быти от Христа за братию свою, за отвергших Христа евреев (Рим. 9:3)*, эта истина, Христова, могущая при живом своем действии в нас переменить весь мир к лучшему, как у нас не была перетолкована и похулена в последнее время?! То представляют ее в виде той хульной лжи, что поставляется во имя Христова будто бы мир правды с нечестием, и нераскаянные нечестивцы всех родов трактуются будто бы за одно со спасенными или спасаемыми праведниками или, по крайней мере, заблуждения и грехи первых

«стушевываются», представляются далеко не в своей адской безобразности (как будто и человеколюбие Агнца Божия, в дух Которого надо нам входить, направлено не к упразднению, а только к прикрытию грехов и заблуждений наших). То, наоборот, во свете той же истины мерещится мрачный антицерковный призрак такого решительного падения правды и православия, что, вместе истинных православных, являются будто бы уже только два взаимно враждебные лагеря: *духовно язычествующих*, водящихся разными идеями не по Христу (об этом впрочем и заботы нет), и *духовно иудействующих*, не входящих в Христов человеколюбивый дух. (Но будто именно последние и составляют собрание истинных православных). То, пожалуй, самое изложение и раскрытие той же истины оказывается совершенно темным и невразумительным, так что, пока дело не касается прямо этой истины, все идет в речи так себе, ничего, можно понимать, а легкий даже очерк какой-либо стороны в самой этой истине – просто *темна вода в облацех воздушных*. (А выходит дело самое простое и естественное, что, пока стоишь спиной к предмету, то удивительно как темен становится этот предмет, – никак его не разглядишь; а как оборотишься лицом к самому предмету и посмотришь попристальнее на него, то и неясность предмета не помешает разглядеть его как следует). И чрез подобные перетолки простая и искренняя вера многих запутана и доселе путается в недоразумениях об истине и даже в предубеждениях против этой истины, отзывающихся более или менее (конечно, бессознательной и ненамеренной, как было и у иудействующих христианок), *враждебностью кресту Христову* (Флп. 3:18), сила которого и состоит в удобосообщимой верующим любви Агнца Божия, вземлющего грехи мира. А между тем при общем дружном разъяснении той истины, что без участия в духе этого Христова человеколюбия неизбежно отчуждение и от самой Христовой правды, та же простая и искренняя вера многих настраивалась бы понемногу Христовой, жертвующей собой, за других, любовью к заблуждающим грешникам; одушевляясь же этой любовью, она и подвиглась бы к тому, чтобы какую бы ни было среду мира понемногу очищать, хотя бы от многовековых

иногда наплывов духовного зла. Все это русская мысль и слово разберут, когда-нибудь, не в похвалу духовной журналистике, не хотевшей хорошенько разобрать дела, относящегося к Христовой истине. Ведь дело не в той или другой личности, которой, конечно, можно пожертвовать для дела истины, нужной всему миру. Дело не в мягких или строгих речах; кому угодно, пожалуй – громи беспощадными обличениями зло и заблуждения мира (как, например, г. Говорский громит фальшивости польского духа), но только делай это в том духе Христа Агнца Божия, чтобы и себя считать ответственным за виноватых и заблуждающих братьев, по болезнующей об их исправлении любви.

Что же скажем вообще о нашей светской и духовной журналистике? Справедливо судить о сравнительном значении той и другой стороны можно, кажется мне, не иначе, как по достоинству и недостаткам любви их к истине. Во всех других отношениях светская и духовная стороны подлежат не одинаковым условиям, а любовь к истине и в светских и в духовных зависит от одного существенного условия – от свободного настроения. От доброй воли каждого зависит поставлять ли свое достоинство в том, чтобы твердо и спокойно поставлять на вид и выдерживать словом и делом истину, нужную всем, или в том, чтобы перекричать только других, обидеться их криками и иногда только пустыми намеками, отстоять, во чтобы то ни стало, свою партию или школу или даже только свою личность, а то буде остаться в величественном, невозмутимом невнимании к голосу истины, иногда слишком скромному или раздающемуся из скромного, незнающегося журнальца, из какого-нибудь, например, «Сына Отечества». Любовь же к истине, и сама по себе, достойна быть пробным камнем для оценки духовных и светских журналов. Ведь, *не приемлющи любви истины обречены от самого Бога действу лъсти, во еже веровати им лжи, да суд приимут вси неверовавши истине, но благоволивши неправде* (2Фесс. 2:10–12). Итак, судя по любви к истине, сколько этого бесценного совершенства есть или нет в духовной и светской журналистике, могу на основании всего выше объясненного

смело сказать, что достоинства и недостатки той и другой очень и очень равновесны, взаимно одной в другой поддерживаясь или ослабляясь. Вот московская светская журналистика довольно внимательна и осторожна относительно деятелей духовной мысли, и открылось нравственное удобство к изданию в Москве этого благородного духовного журнала «Православного Обозрения», которое своим свежим и жизненным направлением еще более возбуждает сочувствие к себе деятелей светских. А петербургская светская журналистика слишком далеко простирает иногда свое пренебрежение к духовной мысли, и это вызвало такое явление неразумной ревности, как «Домашняя Беседа», которая своими выходками, еще более предубеждает иных светских против всего духовного. Факт примечательный и поучительный!

Х. О деле духовной критики и науки

«Критика в духовной журналистике, по словам «Духовного Вестника», есть еще такое молодое дитя, которое, Бог знает, когда вырастет». В видах споспешествования скорому и здоровому росту этого «дитяти» на пользу общественную, много раз собирался я поговорить о критике самого «Духовного Вестника» на сочинения преосвященного Филарета, архиепископа Черниговского⁵⁷. Но всё отвлекали меня от этого обстоятельства и другие предметы.

Думалось еще мне, что духовная журналистика не оставит сделать основательную оценку ученых сочинений просвещенного пастыря, взвесив по надлежащему и рецензии об них «Духовного Вестника». Но, сколько знаю, другие духовные журналы ограничились или голословным замечанием, что «критика не может одобрить этих рецензий», или голословными же похвальными замечками о сочинениях преосвященного Филарета⁵⁸. А ведь, пока не будет обсуждена критика «Духовного Вестника», слишком невысоко ставящая эти сочинения, последнее слово о достоинстве ученых трудов почтенного автора все же остается за «Духовным Вестником». Какое же это слово? Я совершенно далек от того оскорбительного и почти ругательного чьего-то мнения (переданного к общему сведению «Православным Обзорением»), по которому это слово критики «Духовного Вестника» приравнивается к известной храбрости *моськи* против *слона*. Но по моему мнению, критик «Духовного Вестника», именно г. Сербинов, который открыл и настроил на свой тон критику этого журнала на сочинения преосвященного Филарета, вел свое критическое дело честно в том отношении, что не слегка и кое-как, а трудолюбиво изучал критикуемые им труды. Он и благороден в том отношении, что откровенно и прямодушно, без уклончивости и обиняков, высказывал свои мысли и заключения об этих ученых трудах. Однако рецензии г. Сербинова, еще и до обсуждения их, производят тяжелое, неприятное впечатление на читателя, хотя бы последний и

отделял авторство от сана в духовном писателе. Не нравится именно жесткий, по местам даже язвительный, тон критики г. Сербинова, склонность его изыскивать в разбираемых сочинениях более худшее и понижать лучшее. Надо поверить или обсудить и, если можно исправить такое слово о трудах просвещенного духовного писателя. Было бы преступлением пред истиной и обществом не поднимать дела, одними решенного несправедливо, а другими оставленного без должного внимания. Дело касается преосвященного Филарета Черниговского, как известного всем ученого, как деятеля науки, а дело науки – одно из особенно важных для общества дел.

Принимаясь говорить о рецензиях г. Сербинова, считаю за необходимое объяснить наперед, что особенно критику духовных сочинений надобно иметь в виду, чтобы ему, и в честной по намерению и трудолюбию критике своей, не впасть в несправедливость. Само собой разумеется, что я хочу передать свои мысли без лишней притязательности, а только к сведению и обсуждению любящих истину. Для последних, я уверен, не бесполезны будут мои «заметки», хотя бы г. Сербинов и не захотел ими воспользоваться.

Первое, что критик духовных сочинений должен выяснить себе и выдерживать в своей критике, это надлежащая или правая точка зрения на словесные произведения духовной мысли и знания. Кому не случалось слышать такие речи (людей притом хороших и благонамеренных), что в благочестивой древности до света истинного ведения доходили больше делами, а ныне хотят все узнать еще прежде или даже помимо деятельной жизни? Очевидно, что такие речи направляются к предосуждению и унижению нынешнего знания вообще и особенно знания духовного. Не избрать ли подобную точку зрения для оценки духовных произведений? Но не говоря о том, что иные роды духовных сочинений мудрено было бы подводить под эту точку зрения, сама она насовсем состоятельна пред истиной. То правда, засвидетельствованная церковью, что древние духовные мужи в деяниях обретали «восход к видениям» или к совершенному созерцательному знанию⁵⁹. Но и то правда, также засвидетельствованная церковью⁶⁰, что эти

самые Божии человеки не иначе брались и за деятельную жизнь, как с предварительным, точным и правым знанием этого дела или с «православным смыслом». Считаю нужным несколько распространяться об этом. Представьте себе человека, проходящего самый строгий путь деятельной жизни без основательного знания, что правда, по *православному смыслу*, состоит собственно не в заслуге наших дел пред Богом; что наша правда есть сам Христос, Который дает нам Себя единственно по Своей человеколюбивой благодати, Которого, в Его живом духе святости и человеколюбия, и надо нам *приобретать* (Флп. 3) или более и более усвоить себе как вообще в деятельной жизни, так и в каждом отдельном добром деле; что каждое частное дело благочестия и добродетели есть только дар Господней благодати, и именно такой великий и бесценный дар, чтобы верующему принять к себе, в самом исполнении этого дела (большого или малого), самого сладчайшего Господа Иисуса. Не разумея этого *православного смысла* правды, самый строгий подвижник не только не обретет в своем деянии «восхода в видения», но и не благоустроит по надлежащему и самого пути деятельной своей жизни. Так для успеха и во всяком роде деятельности, внешней и внутренней, мысленной и нравственной, нужно предварительно получить знание о деле. Высокие духовные деятели благочестивой древности оказались такими потому именно, что имели светлый и точный «православный смысл» и знание своего дела. Потому нынешнее усиленное направление к знанию выражает доброе и святое стремление овладеть правым смыслом каждого дела, каждой вещи, без чего нельзя по надлежащему и делать этого дела и пользоваться этой вещью. Выразумев, что законы и силы и состав всего физического, начиная с тела нашего, осуществлены и определены всетворческой и вседержительной мыслью Бога Слова, также как и законы *числа*, законы вообще и правый порядок *мысли* нашей и выражающего ее *слова* нашего, выразумев это не мудрено будет, и при составлении, например, грамматики или арифметики, лечебника или лексикона, умудряться или углубляться в мысль и благодать самого Бога Слова, благоволившего для удобосообщимости с нами принять,

вместе со всем нашим естеством, и нашу мысль и наше слово ради всех умов и языков во всем мире... Ну, а не выяснив себе этого, будешь только с легкомыслием насмехаться подобно Сербинову: «Скажите, пожалуйста, как написать в религиозном духе какой-либо лексикон или лечебник? Есть ли в целом мире хотя одна грамматика или арифметика, написанные в духе христианского благочестия»? Так точно и историческая истина для знающего, или только предчувствующего, что в судьбах человеческих раскрываются мысли Вседержителя Бога и дух Агнца Божия, вземлющего грехи мира, есть неприкосновенная святыня, требующая самой осмотрительной критики; а другие люди ищут в истории много, много, как только нравственной назидательности или даже одной занимательности. Так и правда гражданских законов, развиваемая из начертанного в уме и сердце или совести закона, есть в своем основании правда Христа, просвещающего всякого человека грядущего в мир.

Вот с этой точки зрения и должна критика разбирать и обсуживать сочинения, особенно духовные. Именно, она должна выяснять, насколько то или другое сочинение подходит к живому духу и достоинству отчетливого знания, раскрывая правый смысл того или другого дела, предмета, факта, насколько сочинитель направлялся и успел послужить тому существенному интересу знания, чтобы разъяснить и почтить святыню истины, сосредоточенной в самом Боге Слове Христе, насколько при этом возвышается автор над мертвым формализмом к живой жизненной силе истины. От чего у нас, на святой Руси, знания еще мало укоренились в народном духе и еще менее успели в самостоятельном своем развитии? От того, между прочим, что мы, уча и учась, читая и сочиняя, преследуем разные интересы и цели большей частью помимо священнейшего интереса узнать и в великом и малом саму истину, всем заведывающую и принадлежащую существенно самому Христу. За то и следует отличать и высоко ставить тех писателей, которые в деле мысли и знания честно и правдиво служат Истине – Христу. «Так Богу угодно» или «так Бог устроил» – вот как у нас набожность большинства успокаивает

себя касательно многих важных предметов, лентясь отчетливо узнать их; только живая вера немногих вменяет себе в обязанность научно выяснить себе то или другое премудрое устройство или благую и животворную во всем волю Божию.

С этой точки зрения духовная критика должна, по моему мнению, с особенным уважением и любовью останавливаться на трудах преосвященного Филарета Черниговского, принадлежащего к числу немногих у нас избранников, для которых интересы знания истинно неотделимы от интересов православия. Каждый новый его труд свидетельствует открыто пред всеми о науколюбивом его духе, напоминающем любознательность двух великих святителей и друзей – Григория и Василия, или Фотия и Иоанна Дамаскина. Поэтому для читателя, сколько-нибудь знакомого с учеными трудами преосвящ. автора, не может не быть оскорбительным обвинение его г. Сербиновым в «одном только посягательстве на эрудицию». За чем же он, говорите, оставляет без оценки те рукописи и исследования, на которые ссылается? За тем, что остановиться на обстоятельной оценке всего, на что он ссылается, значило бы написать новое сочинение не меньше того, в котором он делает свои бесчисленные ссылки; за тем еще, что истинно-ученому свойственны не только проверка того или другого изыскания собственным исследованием, но и доверие своим собратам по учености. Кроме общего любознательного настроения в преосв. Филарете видна еще та особенность, что он обыкновенно с горячим сочувствием относится к своему предмету; он как будто и сам принимает участие в действиях и событиях, о которых пишет; у него по этому самому, всегда можно отличать любимых и нелюбимых между личностями, которых он касается. Это сообщает его трудами, так сказать, *внутреннюю* занимательность, несмотря на приметный недостаток *внешней полировки* его произведений. Само собой разумеется, что его симпатии и антипатии могут быть пристрастны и потому подлежат критике; но важно то, что источник их – благородный, именно живое любопытательное отношение автора к своему предмету. Если, например, он резко отзывается о г. Муравьеве, написавшем «Жития святых русской

церкви»; то в этом выражается только горячая антипатия науколюбивого автора к тем особенностям таланта в г. Муравьеве, что последний не любит научных разысканий и приемов. (Это – два таланта совершенно противоположных направлений). К чему ж г. Сербинов наводит на разбираемого им автора неблагоприятную тень своими догадками о «преогорчении его лживым повествованием г. Муравьева о святых»? Ведь сам г. Сербинов видел, что преосвященный пользовался повествованием г. Муравьева: этого довольно было бы для удостоверения, что первый считает отнюдь не лживым повествование последнего.

Но, не став на надлежащую точку зрения, г. Сербинов не только опустил из виду главные свойства рассматриваемого им писателя и от того допустил неверное понимание некоторых сторон в его деле, но иногда даже прямо порицает то, что достойно особенного уважения и похвалы. Вот примеры этого. В сочинении «Русские святые, чтимые всей церковью или местно» автор приводит, в виде эпиграфа, слова Св. Димитрия Ростовского: *да не будет ми лгати на святаго*; и за тем говорит, что это должно быть святым правилом для каждого, кто касается пером или кистью до святых, что западные легенды чрез прибавление вымыслов только оскорбляли святых и дали повод не верить и действительному, что православная церковь не терпит лжи и вымыслов, что повторять все повести о святых без разбора, без проверки грешно перед чистой совестью и пред умом просвещенным. Все это, в чем прекрасно высказалась правдивая и любознательная душа писателя, явно и близко идет к духовным потребностям и настроению православных русских, большинство которых так склонно принимать на темную веру все, чего бы ни пришлось услышать о святых, и так подозрительно смотрит на всякую любопытательность знания... Но г. Сербинов насмешливо видит в означенных речах автора ненужное «широковещание» и пускается в язвительные догадки, «не был ли автор огорчен до глубины души какой-либо свежей клеветой на наших святых». Другой пример. В сочинении «обзор русской духовной литературы», прошедших веков, автор указывает и на такие труды духовных и даже

недуховных писателей, которые принадлежат более к области светской литературы, например, на «Русскую правду», Ярослава, даже на какую-нибудь грамматику, лексикон, лечебник, историческое описание гражданского события и подобное. Это для времени, в которое иные из православных считают страшным грехом живое внимание к области светской, составляет чрезвычайно важное и нужное свидетельство о том, что сами духовные у нас, в деле знания, всегда не были чужды деятельного внимания к мирскому и светскому. Мало этого; с точки зрения, выше выясненной, в словесных опытах, делаемых в прежнее время духовными и недуховными лицами по предметам не прямо духовным, можно примечать предначатие того, как и мирским или светским предметом православному заниматься духовно. (Ведь вне Христа Сына Божия и всякой вид знания, как все в мире, останется чуждо благоволения Отца небесного, а с Ним и всего истинно светлого и жизненного). Но г. Сербинов и едкой иронией и серьезными рассуждениями вооружается против того, за чем в «обзор духовной литературы» внесены литературные опыты по части не прямо духовной.

Второе, что критике духовных сочинений надо иметь в неопустительном виду, – это особенности времени нашего по отношению к духовной учености, и особенно по отношению к тому роду произведений, к которому принадлежат рассматриваемые сочинения. У г. Сербинова встречаются такие приговоры труду преосвященного Филарета что этот труд «ниже своего времени», тогда как однородное с ним сочинение Евгения Киевского «выше своего времени». Но для произнесения подобных приговоров мало того, чтобы иметь в виду только обилие или недостаток ученых источников, известных в то или другое время. Надо выяснить себе еще направление и требования того или другого времени в деле мысли и знания; известно, как много зависит от направления и требований времени тот склад и настроение мыслей, которым так или иначе поставляется и выполняется у автора самая задача его труда.

В последнее сороколетие (от выхода «словаря» Евгения до издания труда Филарета Черниговского) утекло много воды. В это именно сороколетие совершался тот процесс в деле мысли и знания, вследствие которого ныне, уже, приметно для всех, одно время или один мир отходит, а другой мир, другое время приходит. Но и ныне вполне ли и даже довольно ли определилось, чего собственно хочется и нужно этому новому времени, что это за новый мир приходит? Ну, возьмем, например, вот хоть это требование или только желание, навеянное очевидно новым временем, чтобы автор «исторического обзора песнопевцев и песнопений греческой Церкви» *принял на себя труд объяснить внутренний ход образования песнопений, рассмотреть их в связи с судьбами церкви, и тем поставлен был бы в необходимости следить в песнопениях отражение современных им церковных событий и обстоятельств*⁶¹. Легко сказать! Ведь для этого нужно уже знать не только факты церковной жизни, но идущий по известным законам и условиям внутренний порядок этой жизни. Достаточно ли выяснено это нынешней православной наукой? Выяснено ли по крайней мере хоть то, по каким законам и каким порядком идет эта одна из сторон внутренней церковной жизни – живая мысль веры? Боже мой, Боже мой! Ведь у нас еще трудно и высказывать и понимать подобные запросы⁶². Лет за двадцать, когда преосвященный Филарет трудился над тем или другим из своих сочинений, лет за тридцать, когда воспитанием слагался и на будущее время характер и образ его мыслей, что в это время было?! Разноречивые и даже во многом противоречивые требования и стремления прежнего времени и, едва, едва возникающего нового времени не могли не отражаться в самом характере учености этого духовного писателя; это, очевидно, не благоприятная, но совершенно неизбежная печать времени видна и в его творениях. Этого критика не должна ставить и в предосуждение автору (потому мы выше и не усомнились отдать полную справедливость науколюбивому его духу, напоминающему любование высших из древних отцов, хотя, по особенностям своего времени, такой его дух и не мог раскрыться в стройной полноте). Сочувствуя

новым требованиям и средствам научным, он уже имеет «заметную нерасположенность», например, к «Словарю» Евгения, и пишет «обзор русской духовной литературы» прошлых веков; но новые требования так еще неопределенны, а любознательность зовет его уже к другому труду по такой части, которая у нас еще или не тронута почти наукой, или обрабатывается без научной отчетливости, и вот «очерк» оставляется, не получивши совершенной полноты и окончательной обработки. С другой стороны, новому еще направлению не уступают в досточтимом нашем писателе и те научные понятия и приемы, на которых он был воспитан и получил известный склад мысли; от того происходит построение сочинений этого автора вообще по старым научным приемам, которых впрочем сам же автор не выдерживает, увлекаясь уже стремлением нового времени – войти и ввести читателя ближе в живую силу излагаемых им предметов; и вот он, по видимому без нужды, в «историческом обзоре песнопений» рассуждает об их содержании, или, по видимому только «для своего удовольствия» в «Обзоре русской духовной литературы» делает выписки из разных старинных сочинений. Справедливо ли все подобное ставить в вину такому автору, которому, по особенностям его времени, досталось испытывать как будто муки рождения, при разрешении старого времени уже новым направлением, новым временем для знания и жизни? Напротив, если бы и угодно было кому выслеживать такие неровности и кажущиеся произвольности в трудах преосвященного автора, следовало бы это делать с уважительным к нему участием. Хорошо детям сидеть на плечах отцов своих: каково-то последним выносить первых!

Если бы г. Сербинов стал на надлежащую точку зрения в своей критике и имел в виду особенности времени трудов преосвященного Филарета: то он, при своей честности в деле критики, развил бы достойное и даже высокое понятие об этом духовном писателе, который, со своей стороны, не оскорбленный с благодарностью принял бы от г. Сербинова указание разных недосмотров своих. А то ведь г. Сербинов иногда просто придирается к автору, и сам того, может быть, не

замечая; с лучшим пониманием об авторском значении писателя он этого бы себе не позволил никогда. Не позволил бы себе и перетолкований чего-нибудь обоюдного в критикуемом сочинении в худшую для автора сторону. Не относил бы и недостатков речи или изложения к неверностям самой мысли. И в особенности остерегся бы произносить приговоры по своим произвольным или не вполне светлым некоторым понятиям. Неприятно говорить обо всем этом; но надо войти и в неприятное объяснение, чтобы, с одной стороны, по возможности поправить несправедливость критики против достойного писателя, а с другой и критический талант г. Сербинова предостеречь (если он не отринет братских остережений) от возможных уклонений на не совсем правый путь.

Критика г. Сербинова на сочинения преосвященного Филарета, действительно, допускает иногда явные придирки. Преосвященный автор, например, выразит мысль, что история не должна строиться на предположениях; из этого, очевидно, еще не следует того, чтобы в истории не могли вовсе иметь законного места никакие предположения, – пробелы, оставляемые историческими памятниками и фактами, необходимо иногда требуют замещения своей пустоты предположениями. Но г. Сербинов преследует всякое историческое предположение и догадку рассматриваемого им автора, как уже преступление против признаваемого самим автором закона строить историю не на предположениях. Или еще: автор выскажет, что то или другое не составляет *необходимого* предмета по задаче его труда, хотя и не исключается из последнего. Критик спешит уже сделать такое заключение об «обходимой» стороне содержания, что «в отставку ее, прочь ее»! Почему же прочь? Мало ли из того, в чем нет необходимости, может однако быть сделано употребление, из того, что в своем месте может быть для чего-нибудь пригодным и даже в некоторой степени нужным, или же по крайней мере не лишним. Или вот еще: автор об одном из своих сочинений говорит, что «возможное для усердия и сил одного сделано». Ясно, кажется, что это сказано автором по

смиренному сознанию возможности в сочинении разных недосмотров, ошибок и других недостатков. Но г. Сербинову слышится в приведенных словах автора «самоуверенный тон – тон недостойный смиренномудрия истинно ученого». Не придирки ли это? Да; и придирки недоброго, оскорбительного тона. Мне кажется, что критик впал в эту нехорошую крайность, и сам того не замечая.

Есть в критике г. Сербинова и перетолкования некоторых обоюдностей автора в явно невыгодную для него сторону, хотя можно бы их понять и с благоприятной для автора стороны. Сюда относится особенно тот случай, что автор или вовсе не упоминает о нападениях бесов на того или другого из святых русских, хотя об этом прямо говорится в древних сказаниях, признаваемых и самим автором за достоверные, или упоминает о действиях бесов, только как «о страшных грезах, которые преследовали святую, как о мечтах, которые грозили погубить ее». Критик понимает это, как дело «небезопасное для нашего времени, которое отрицательно относится к бытию мира духовного и влиянию его на мир человеческий, тем более, что это сделано одним из просвещеннейших архипастырей наших. Пожалуй, может быть и так. А может быть и то (для меня даже наверное так), что один из просвещеннейших архипастырей наших имел в виду не только отрицание бесов некоторыми современниками нашими, но и такое верование большинства православного касательно силы бесов, что во всяких наших мерзостях и беззакониях вся работа принадлежит бесам, все они окаянные путают нас. Может быть, просвещенный и проницательный архипастырь имеет в виду, что и самое отрицательное отношение некоторых к бытию мира духовного много поддерживается тем односторонним верованием других, по которому нравственная вина наших пороков взваливается почти только на одних бесов. Поэтому, желая показать отрицателям мира духовного, что внутренние в самом человеке пружины нравственного зла не устраняются и нимало не ослабляются в своем значении влиянием бесов, а верующих вразумляя, что пружины зла, на которые действуют бесы, принадлежат все же самому человеку и зависят от его свободы,

архипастырь и указывает только на эти внутренние пружины нравственного зла (к которым принадлежат, между прочим, и мечты или грезы темные). Он умалчивает о самых бесах; потому что действия их для веры сами собой разумеются, а неверием удобнее могут быть признаны, когда не устраняются, а нарочито имеются в виду нравственные действия и состояния самого человека. Почему бы подобным образом не изъяснить автора в этом случае. Ведь для нашего времени небезопасно и даже вредно в особенности то, что большей частью заботятся не снимать или устранять, а утверждать и выше поднимать разделяющую между светским и духовным направлением среду, состоящую главным образом в односторонностях того и другого направления. Другой, впрочем не такой важности случай – в «обзоре русской духовной литературы» в число древних духовных наших писателей попали и такие, которые были не более, как переписчиками некоторых духовных сочинений или современниками их появления, или только владельцами. Приметно, что автор желал только привязать сочинения неизвестных писателей к тому или другому имени, с которым связывают их, в каком либо отношении, разные свидетельства. К этому могло располагать автора и то, что в старой Руси и переписывать духовное сочинение или пользоваться им значило уже не низкую степень духовной учености. Но критику не угодно остановиться на подобном объяснении. Ему приятнее толкования вот в каком роде: «далек ли переход от переписчиков до переплетчиков, которые были известны в старицу под именем *делателей книг*».

Критике г. Сербинова нравится также пользоваться неточными и неудачными оборотами речи автора (вообще несколько почти не озабочивающегося отделкой изложения), чтобы от них заключать о несостоятельности его логики, о неверности или неосновательности его выводов. Скажет, например, автор: *»вероятно, что, если не сочинена она (повесть) вся митрополитом Филиппом, то, без сомнения, под его смотрением писана и им исправлена»*. Ясно, что автор выразился: «без сомнения», не иначе, как только в смысле: по *крайней мере*; т.е. автор находит вероятным, что повесть, если

не сочинена, то по крайней мере пересмотрена Филиппом. Но критик неаккуратностью речи спешит воспользоваться, чтобы сделать такое колкое суждение: «От *вероятного* только – что за переход прямо к несомненному заключению?» А то еще: автор, рассуждая о подлинности стихир Анатолия, указывает с одной стороны на сходство этого рода песней с ветхозаветными стихотворными отделениями Св. Писания, называемыми *σῆχηρα*, а с другой на то, что в V веке, когда жил Анатолий, построение и разделение этих ветхозаветных стихир было в особенном внимании в Церкви, так что в это время Евфалий, по их образцу, разделил текст Деяний и Посланий Апостольских; таким образом, судя по роду и названию этих песней – *стихир*, автор и объясняет, как патриарху того же V века – Анатолию было просто и близко дойти до мысли взяться за построение или составление стихир. Не уже ли это не служит «в пользу» подлинности стихир Анатолиевых? Ведь не лишний, кажется, этот вопрос: естественно ли еще было в V веке взяться за самое сочинение стихир? Но г. Сербинов даже «не домыслился до настоящего смысла этого аргумента». Конечно, речь автора в этом месте довольно запутана; но все же, с небольшой долей уважения к уму писателя, критик остерегся бы так изложить смысл этого места: «христианские стихиры... суть подражание стихирам ветхозаветным. Теперь послушайте, какой вывод делает автор из этой мысли. *Таким образом, заключает он, самый род песней, известных с именем Анатолия, показывает собой, что он принадлежит патриарху V века Св. Анатолию*». Впрочем критик, в доказательствах автора подлинности стихир Анатолия, не хочет и обратить внимания на то, что сам автор представляет эти доказательства только говорящими «в пользу» подлинности, следовательно не самыми решительными; он критикует их, как будто они, по мысли автора, составляют аргументы непреложные и решительные. Вот еще что в этом отношении достойно особого замечания и в сочинении нашего автора: «исторический обзор... песнопений», и в критике на это сочинение. Быть не могло, чтобы автор, без всякого основания и даже повода, признавал невероятными или сомнительными надписания к песнопениям, указывающие на их

писателей в самых Богослужебных книгах; эти надписания только не полны и не всегда определены, от чего и открывается нужда в дополнении и пояснении надписаний, по возможности, из других источников. Но эту последнюю мысль автор, по случающейся у него неаккуратности изложения, выразил так, что «краткие указания (в надписаниях) на сочинителя той или другой песни при первой встрече возбуждают вопросы: точно ли та или другая песнь принадлежит показанному сочинителю? Да и кто этот сочинитель?» Ну, и досталось же за это автору от г. критика. Главные и основные доказательства подлинности песнопений оставались у автора (как в большинстве случаев и не может быть иначе) все же надписания в самых Богослужебных книгах. Из этого и вышло, что, по суду критики, автор оставлял подлинность песнопений недоказанной; пояснительные подтверждения, конечно, не представляют силы решительных доказательств, а надписания, по признанию якобы самого автора, ничего не доказывают... Критика г. Сербинова здесь просто торжествует.

Есть у г. Сербинова некоторые, по моему мнению (которое отдаю любви к истине на обсуждение), сомнительные или не совсем светлые понятия, на основании которых однако он охуждает и хорошее автора. Такие понятия касаются и догматики, и истории, и вообще научных требований.

К догматике относится вопрос о признании известных лиц святыми. «Святые, говорит автора, признаются святыми не по произволу людей, а волей неба. Потому надобно соблюдать осторожность и в том, чтобы не поставить в число святых лица, непризнанного святым со стороны Церкви». Мысль святая, чтобы признавать святыми *не по произволу людей, а волей Неба*, свидетельствующего о Своей воле собственной Своей благодатью, которой уже, со всей преданностью и послушанием, и следует Св. Церковь! Поэтому у нас православных, не как у римских католиков, нет той западной канонизации святых, в которой Церковь властительно определяет и утверждает достоинство святых; напротив православная Церковь сама с послушливой верой и любовью

преклоняется пред владычественной Божией благодатью во святых, когда признает и чтит святых. На этом основании автор сочинения: «Русские святые, чтимые всей Церковью или местно», как скоро имеет под руками или находит где-либо неподходящие поводы к сомнениям свидетельства о благодати Божией в том или другом святом или вообще в святых российских, с спокойной совестью ссылается на эти свидетельства; остерегаясь оскорбить благодать Божию, он не хочет в деле веры простирать пытливость далее, нежели насколько она идет при дознании истины и не в такой таинственной области. Так он руководится свидетельствами *«Описания о российских святых, где и в котором граде поживе и чудеса сотвори»* – описания, составленного в XVII веке не по произволу и фантазии, а по достоверным источникам, как видно из сличения наибольшей части этого «описания, с другими существующими сказаниями, в частности, о том или другом святом. Но г. Сербинов идет против этого. Ему нужны властительные определения церковной канонизации святых; простым свидетельствам он не верит: «Одна Церковь, говорит, имеет право канонизировать святых». Потому он готов вычеркивать Божиих святых, например, преподобного *Галактиона*; сомневается, чтобы например, «святой старец *Сильвестр* (мощи которого почивают в киевских пещерах преподобного *Антония*) был послушливый чудотворец» или чрез послушливость получил дар чудотворения. Нужды нет, что автор ссылается в обоих случаях на свидетельства. Иное дело, говорит г. Критик, если бы почтенный автор указал на какой-либо официальный документ». Очевидно в г. Сербине пристрастие к духовной формалистике, приличное духу не столько православия, сколько латинства! Для наглядного удостоверения в этом возьмем частный случай, как открыта и признана благодать Божия, например, в чудотворной Богородичной иконе *Казанской*. (Вопрос и о признании святых касается тоже, ведь, именно *благодати* Божией во святых). Опираясь главным образом на официальные церковные распоряжения, можно просто запутаться в обстоятельствах этого явления. Во-первых, за голословными свидетельствами

двух простых женщин – матери и дочери – о слышанном последней голосе самой Матери Божией, судя официально, как можно признать удостоверительную силу? Во-вторых, после того как местные власти, церковная и гражданская, отвергнули показания упомянутых женщин, действия последних, относящиеся к открытию Св. иконы, не оказываются ли, по официальным формам, уже своевольными? Однако сама благодать Божия так оправдала эти действия простых женщин, что, с явными ее знаменами, Св. чудотворная икона была открыта торжественно, и власти, духовная и светская, нашлись только всенародно *«с плачем припадать пред чудотворной иконой, милости просяще от пресвятыя Богородицы о согрешении неверия своего»*⁶³. Законы Христовой истины и порядок благодати одинаковы и в прославлении святых: погонитесь за официальными документами и, пожалуй, из-за простоты наличного свидетельства, отринете того или другого действительного святого. Духовная наука и критика должны держаться особенно светлых и живых понятий о подобных предметах. Ведь благодать, не признаваемая во имя «жесткой официальности», может все-таки открыться с торжеством, а может оскорбленная и скрыть свой свет от холодных душой формалистов.

Исторические не совсем верные понятия г. Сербинова выдаваемые однако им за предосудительную для автора истину, видны в критических замечаниях на одностороннее будто бы изображение преподобного *Максима Грека* в сочинении «Русские святые». Преосвященный автор говорит, что этот преподобный «был светильником для русской церкви при жизни и остался светильником по смерти в своих сочинениях». Но, замечает на это г. Сербинов о Св. Максиме, «при всех светлых чертах духа, он имел и свои темные стороны». Под этими темными сторонами критик понимает именно то, как строго и обличительно относился Максим к современному ему русскому обществу. Но для решения, действительно ли это относится к темным сторонам духа Максимова, надо иметь в совершенно светлом виде, что ученый благочестивый Грек, принадлежавший к избранному остатку тех

Греков, которые углублялись в самую силу Христовой истины, начиная с глубочайших ее догматов – пришел в столкновение с таким обществом, в котором, при продолжающемся еще древнем детски простодушном благочестии, резко уже обозначалась – и жесткая фарисейская духовная сторона, осевшаяся после в расколе, выпукло выдающаяся и доселе в некоторых даже православных. В борьбе с таким обществом, в которой он был истинным мучеником, неизбежно могли обнаруживаться некоторые излишние резкости и с его стороны; с силой действуя особенно против духа фарисейской внешности, он естественно мог иногда не сделать строгого разграничения между фарисейским духом и одушевляемой им у многих внешностью церковной, которая, в этом случае, действительно была соблюдаема неправо. Существенной ошибки тут нет. Но существо дела в отношениях преподобного к современному обществу таково (там не должно быть поставляемо на вид), что он именно может светить и нашей современности в столкновениях живой мысли веры с жестким духовным иудейством и с господствующим нравственным усыплением. Критика г. Сербинова напрасно закрывает столько нужное нашему времени светение такого светильника, каков преподобный Максим. С сочувственным отношением к Св. Максиму современное ему общество могло бы начать такое направление, которое отвратило бы много бед для Русской Церкви. Прошлого не воротишь; не будем по крайней мере оправдывать повторять его ошибок.

Что касается до научных требований г. Сербинова, и в этом отношении он допускает явную, так сказать, нерасчетливость. То прекрасно, что г. Сербинов, пользуется случаями развивать идеи о должном построении науки. Но он не может не видеть, что преосвященный Филарет не берется еще за строгое построение науки в своих сочинениях; он мудро расчел, что не из чего еще нам строиться великолепно – довольно пока для нас научным образом заготавливать и обрабатывать материал, нужный для постройки. Ну, а для дела заготовки материала чем более кто захватывает, тем лучше, тем усерднее будут благодарить его будущие строители науки. К чему же после

этого, подобные критические возгласы: за чем то, к чему другое?! Вы согласны, например, что многие из писателей славян *нерусских* имели значительное влияние на русскую Церковь: так и пусть они занимают свое место в «обзоре русской духовной литературы». А если греческие св. отцы имели еще большее на нас влияние, то и для их переводов пусть будет место в том же «обзоре».

Литургия Св. Златоуста состоит не из одних песнопений – это правда; но очень довольно в ней и песнопений; а потому великая благодарность автору, что он в своем обзоре песнопений потрудился выяснить из творений самого же Златоуста, что, действительно, не позже его времени произошла известная под его именем литургия. Духовные гимны некоторых древних отцов Церкви не вошли в церковное богослужение: что же? Они принадлежат Церкви же, а потому законно занимают место между церковными песнопениями. Раскольнику может не попасться на глаза заметка автора об одном святом страдальце, что последний, и после мученических истязаний, вменял себе в долг приобщиться Св. Таин; но этой заметкой может воспользоваться тот, кто будет иметь дело с раскольником. Все критические замечания г. Сербинова против подобных предметов, излишние и бесрасчетные, только закрывают собой силу дельных и основательных его же замечаний, которых я не касаюсь, и не ослабляю.

Довольно! Труды преосвященного Филарета Черниговского составляют капитальное приобретение для русской учености, которая с благодарностью будет ими пользоваться. Несправедливость критики, допущенная в некоторых отношениях против этих трудов, опасна более для самого критика. Прямодушному и трудолюбивому в деле критики г. Сербинову, владеющему при том оборотливой диалектикой не малая опасность от допущения чего-либо одностороннего и неправого в направлении.

В нем уже и теперь выглядывает, как видно из предыдущих замечаний, склонность увлекаться, в ущерб истины, своей диалектической ловкостью и также выдерживать, из видов

полемики, подчас не столько силу истины, сколько научный духовный формализм. А между тем критика составляет такой важный способ к распространению в обществе светских и живых идей и к подрыву лживых, мертвых, что и легкое неправоное направление даровитого критика отнимет у общества не мало доброй прибыли в деле разъяснения истины. А ведь у нас почти и нет духовной критики от того, что, принимаясь за ее дело, впадаем в одностороннее, жесткое направление, которое и отнимает у критики жизненность и прочное развитие.

Прибавлю слова два еще. «Духовный Вестник» продолжает критический разбор сочинений преосвященного Филарета Черниговского⁶⁴. И надо сказать правду, что ни один еще из духовных журналов не посвящает критике такого тщательного и обстоятельного изучения рассматриваемых ученых сочинений, как «Духовный Вестник». Преосвященнейший автор многих духовных сочинений, без сомнения, извлечет из критических на его сочинения статей этого журнала много нужного и полезного для дополнения и усовершенствования своих трудов, в новом их издании. К сожалению, дело критики и у другого рецензента терпит не мало от придирчивого тона, заданного г. Сербиновым критике «Духовного Вестника». Сочинитель, например, сделал опisku в показании года какого-либо издания, (а иные неточности такого рода могли произойти и от недосмотра переписчика или корректора); критик не просто выслеживает подобные неточности, а непременно задерет автор такой или подобной фразой: «Показан 1845-ый год. *Не верь, читатель!* Надо сказать: 1846-ый год». И таким образом неточности и опущения, вообще недостатки сочинения получают, по суду критика, «огромные размеры». К чему подобными выходками отравлять доброе благодарное расположение, с каким автор мог бы воспользоваться многодельными критическими замечаниями на свое сочинение. Почему бы критику не последовать благородному тону других критических статей в том же «Духовном Вестнике» (например, критической статьи на мою книгу «о Новом Завете», указывающей ее недостатки так, что сочинителю остается только принимать замечания с *невольной*, так сказать, благодарностью?

В заключение смею уверить, что мои настоящие заметки внушены не духом пересудов или литературных каких бы ни было партий, но искренним и заботливым уважением к критическому делу почтенного органа духовной мысли и слова – «Духовного Вестника». В отражение оскорбительных упреков от дела духовной критики, надо держаться нам духа Ап. Павла, с каким он обращался к другим учителям со своими советами, когда притом не слушались его советов и даже просьб эти другие учителя: «Что касается до брата Аполлоса, говорит он, я очень просил его, чтобы он с братьями пришел к вам (в Коринф); но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно» (1Кор. 16:12). Павел был строг, и беспощадно строг, только к иудействующим учителям.

XI. О двух, борющихся между собой, направлениях современной мыслительности

Апостоль Павел, говоря о Христовой благодатной истине, называет ее «премудростью Божией, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей⁶⁵ века сего не познал; ибо, если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Область же этой премудрости Божией обозначается у Апостола такими словами Пророка Исаии: чего не видал глаз, не слыхало ухо, и что не приходило на сердце человеку, то приготовил Бог любящим Его (Ис. 64:4); «а нам, продолжает Апостол, Бог открыл это Духом святым, ибо *Дух вся испытует и глубины Божия*» (1Кор. 2:7–10). В самом деле, только бы кто светлым сознанием и живой мыслью вступил или хотя бы приникнул в область той любви Отца нашего небесного, которая всей своей полнотой и существенно почивает в Его едиnorodном Сыне, и открылась миру в том же единосущном Отцу Сыне чрез творческие и вседержавные Его действия, увенчавшиеся или, можно сказать, сосредоточившиеся в домостроительстве Его вочеловечения, и изливается со своим жизненным светом в приемлющие души – Духом Святым. Такого человека, действительно, тотчас *обдает всего свежим живительным воздухом, обливает ярким светом⁶⁶*, потому что во всем ощутительно для него благодатное веяние любви Отца, всякая вещь, всякое событие, (не говоря уже о всем человечестве и мировой жизни) светятся для него лучами творческих и державных мыслей Его, определений или попущений. Все предметы, силы и законы природы такому человеку представляют собой, действительно, как бы *сейчас только изреченное слово Творца*. Во всем для него веет Дух любви всеобщего Отца, которой Единородный и единосущный Сын Его благодатно поделился со Своими созданиями, как «первороденный» с братьями (Кол. 1:15–18), поделился чрез самое дарование им бытия и не перестает делиться чрез вседержительное управление ими, чрез отсвет той же любви

всевышне-отеческой во всех видах нашего земного отечества, чрез раскрытие ее в самой области смерти. Этот-то всемогущий Дух *научает* счастливого своего сопричастника не только в людях, хотя бы в самой низкой земной доле или с самыми тяжкими душевными недугами, но и во всякой твари.

.....в воздухе, в водах, и тихих рощах находит – собратьев.

Сознавая и чувствуя себя, ради благодатной общности своей Христу Сыну Божию, также сыном Его Отца, и сыном таким, которому во Христе открыты и доступны все Его сокровища в мире, и даже «вся полнота Божия» (Еф. 3:10), у которого неотъемлемы свобода и даже смелость сыновняя, этот человек не может *не чувствовать, что точно тяжелый камень свалился с его мысли и спали оковы со всего его существа. Легко представить себе его удовольствие и восторг, когда ж движась Духом, который «все испытует и глубины Божия», точно вырвавшись из мрачной тюрьмы, вдруг почувствует благодатную свободу. Он идет со своей мыслью и вопросами веры куда угодно, куда влечет его любознание, стремящееся выяснить себе «сокровенные во Христе все сокровища мудрости и знания (Кол. 2:3), – не боится доискиваться и допытываться всего, все человеческое и мировое освещая светом Христовым. Со Христом, Которого он не по букве мертвой, а в самой силе держится, и Которого потому живо сознает и чувствует в себе, – его не пугают уже никакие фантастические образы, никакие идолы или умственные твердыни, на которые прежде он боялся и взглянуть попристальнее. Он одушевляется непоколебимой уверенностью, что со Христом, в Котором вся любовь Отца и Который вынес на Себе всю тягость наших греховных повинностей и заблуждений, он не погибнет; его не сожжет огонь, не потопит вода, не пожрут бездны; он всегда и везде останется цел и невредим со своей общной уму Христову мыслью, и что эта, общная Христу, мысль может выработать и найти начала и способы к умирению и благоустроению всего. Зная, что Господь, принявши человеческую природу, принял потому и человеческий ум с его законами и требованиями, этот живущий и мыслящий во Христе человек никак не допускает*

отречения от законов и требований ума и мысли, а напротив дорожит ими, как уже Христовой собственностью; следовательно он более всякого другого признает обязанность и правду *строгой критики и здравого смысла*. Равным образом, зная, что Христос Господь принял ради нас и нашу человеческую плоть с ее условиями, он считает делом относящимся к выяснению Христовой истины и благодати, строгое научное расследование и самой материальной стороны человеческого существа, того насколько зависят от материальных условий и самые духовные человеческие действия, насколько и какими путями внешний мир входит в область нашей духовной жизни в чувственных впечатлениях и представлениях.

По тому же самому мыслящий со Христом человек готов с любовью и уважением следить и изучать также философское движение и развитие мысли человеческой, зная, что все, истинно согласное с законом ума, принадлежит уже самому законодателю и свету умов Христу и что всякая, хотя бы и не вполне удавшаяся, попытка удовлетворить здравым требованиям мысли, выражает по крайней мере стремление собственно ко Христу же, как единственному свету истины, просвещающему всякого человека, хотя бы и «*неведомому*» для тех или других, как некогда для язычников Афинян (Деян. 17:23). Сообщный уму Христову, этот мыслитель «духовный судит о всем, а о нем судит никто не может: ибо кто уразумел ум Господень, чтобы изъяснять его» (1Кор. 2:16)? И таким образом по силе и власти собственно Христова ума, он оказывается, как *последний судия и решитель всего*. Но и за всем тем такой избранный лучше всех знает, что при вечности и неизменности животворной истины самой по себе, всецелого и абсолютно совершенного познания неисследимых ее глубин люди не имеют ни в какое время и не будут иметь во весь ряд времен до открытия вечности, когда все виды нынешнего познания прейдут и истина Христова раскроется открытым для нее умам и сердцам во всей светоносной своей славе: «Ибо мы отчасти знаем... когда же достигнем совершенного, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по

младенчески говорил, по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал; а когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как *зерцалом в гадании*, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, тогда же познаю, так как я познан (1Кор. 13:9–12). По этому самому, такой христианин, при всем высоком и даже чрезвычайном совершенстве своего разума и усвоения Христовой истины, никогда «не почитает себя достигшим» полноты ведения и исполнения истины, «но только, забывая заднее, простирается вперед» (Флп. 3:13). Он стремится к тому, чтобы, вменяя все вне Христа в тщету и уметы, «приобрести Христа» (Флп. 3:8) и уже в Нем приобрести все, чтобы «познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях его, сообразуясь смерти Его» (Флп. 3:10); то есть, чтобы просвещаться и исполняться более и более, в своей мысли и расположении, Христовой любовью к нам грешным людям, возведшей Его на крест и воссиявшей торжеством спасения всемирного в Его воскресении, просвещаться и исполняться «до меры полного возраста Христова» (Еф. 4:13), до достижения Христовой истины и благодати, сколько возможно истинно верующему (Флп. 3:12). И от безмерности Христовой любви, раскрывающейся в Его истине и благодати, происходит то, что, сколько бы и каких великих и страдальческих подвигов служения Христовой истине и благодати избранник Христов ни совершил, все еще он видит свой недостаток и лишение сравнительно с безмерной полнотой Христовой любви и, в своих страданиях и подвигах, с радостью сознает и чувствует только некоторое восполнение этого недостатка и лишения своего в сообщении духу и силе Христовых страданий и скорбей за Церковь (Кол. 1:24)... Боже мой, Боже мой! Как человек помилован и ущедрен от Христовой истины и благодати, если только он хочет сам воспринимать эту милость и щедрость света и жизни в свой ум и сердце! И на такой чрезвычайной высоте Божия избранника, мыслящего и живущего самым Сыном Божиим Христом по силе Святого Духа, и потому с сыновней свободой и отчетливой сознательностью наслаждающегося и в самых злостраданиях всерадостной любовью Отца небесного, внимательный и пронизательный

наблюдатель не найдет в нем ничего похожего на что-либо, неподходящее к человеку и к его жизни. Это потому, что истинно Божий человек смотрит на мир, *с его явлениями, в том числе и на человека, как он есть и как мы видим их на самом деле.* Он живо сознает, и чувствует, что все худшее, злое и лживое, одним словом греховное в мире и человеке понесено самим Агнцем Божиим, а все лучшее истинное и благотворное, хотя бы и бессознательное у большинства, изливается от полноты Его благодати, и потому во всяком человеке он видит *родное, близкое себе, обращая заботливое внимание* своей истинно Христовой любви именно *на то, что приковывает к себе мысль каждого,* чтобы своей верой лучшее из этого упрочить во Христе, а худшее упразднить понемногу. От того что-то *родное, близкое* слышится в Божием человеке и для сердца других людей, даже далеко от него разномыслящих. От того же в истинно Божием человеке, только бы нам смотреть с прямой точки зрения на его дело, оказывается все так просто и безыскусственно.

Такие мысли возбудились во мне статьей одного из последних годов «Современника»: «Два типа современных философов». Эта статья поднимала самые важные вопросы по делу современной мыслительности, но она прошла бесследно в нашей журналистике и литературе. У нас, в последнее время, завелось почему-то (кажется, по недостатку в нас серьезной любви к истине) такое обыкновение, что едва успеют коснуться важнейших вопросов и сейчас же сворачивают все дело к эгоистичным и грубым личным оскорблениями. Как будто и нужды никому нет, что от неразботки и неправильного решения существенно важных вопросов пропадают так или иначе и самые личности. Вот почему я считаю нужным напоминать читателям означенную статью «Современника». Свежая мысль, вооруженная ловкой диалектикой и удивительным умением высказываться вполне для догадливых, с прикрытием однако себя от самой подозрительной придирчивости, видна во всей статье. Не буду говорить о том, что именно хотел высказать автор этой статьи, но лучшее в ней, может быть и ненамеренно с его стороны, (следовательно по

какому-то духовному инстинкту), отзывается точно тем духом, который выше обозначен мной уже со всей точностью. Дозволю себе сказать далее несколько слов и о худшем в статье, слов не обличения, а искреннего участия и посильного содействия к тому, чтобы держащимся этого худшего сознать и отбросить это худшее как негодную дрянь.

Само собой разумеется, что сказанного в статье о старых философах, за немногими исключениями, я не отношу к худшему. Могу даже прибавить нечто в объяснение фальшивости и несостоятельности этих старых философов. Под старыми философами разумеются мыслители, имеющие притязание на верность своего философствования христианству и, действительно, заносящие в свои системы истины, открытые христианством, но в самом основании или начале своей философии допускающие следующие две великие, портящие все дело, фальши.

Во-первых, они мечтают быть и верными Христу и философствовать с сохранением некоторой доли самостоятельности, от Христа независимой. С одной стороны смотря на христианство, как на данную Божественную истину, они действительно беспрекословно принимают готовую ее систему, но с другой они, справедливо признавая, что эта система не может быть в противоречии не с чем здравомысленным, а вместе сознавая и самостоятельность необходимой для философствования, начинают философствовать тоже самостоятельно; и применяя к христианству все развитие мыслей своих, говорят: «Смотрите, что здравая философия и христианство взаимно себе не противоречат, что первая только раскрывает и выясняет содержащееся в последнем». В этом самом и состоит чрезвычайной важности фальшь у этих мыслителей. Господь и Спаситель наш Христос воспринял для нас в свою Божественную личность всю нашу человеческую природу, и тело и душу с ее мыслью, волей, памятью, впечатлительностью чувств и прочее. Потому у нас, истинно верующих во Иисуса Христа, все должно быть во Христе, все дело нашей мысли, воли, сердца и всех наших чувствований. *Не ктому себе живу,*

говорит истинно верующий, изрекая в этом правило для веры каждого, *но живет во мне Христос, верой живу в Сына Божия, возлюбившего мене и предавшего Себе по мне (Гал. 2:20)*. Или иначе мы еще не веруем во Христа, как бы благомысленно ни философствовали; мы много, как только разве идем к вере, уясняющей себе Христа. Единородный и единосущный Сын Божий, даровав тварям бытие и *нося всяческая* Своей мыслью и силой, чрез это благодатно делится со всей совокупностью созданий (по мере их приемлемости, от Него же верховно обуславливаемой) той любовью Своего Отца, которую имеет почивающей в Себе по самому существу и сыновнему Своему значению, и таким образом является, при неизменности Своего Божества, *первороденным всея твари*, по братски уделяющим ей блага и дары любви Своего Отца. Если же мы, чрез свои неверности, и заблуждения, отпадаем от животворящей Божией любви и становимся душевно мертвыми, то все тот же единородный, в Своем вочеловечении, понес на Себе вины всех наших неверностей и заблуждений, воспринял на Себя грехи наши и истребил их Своей крестной смертью, и в воскресении открыл в Себе животворную любовь Своего Отца и для оживления всех *мертвых прегрешеньми*, и таким образом является опять *первороденным из мертвых*, братски делившимся и с ними жизнью и любовью Отца Своего. Потому опять, если мы истинно веруем во Христа, не можем уже смотреть на человека и на мир и ни на что в мире, вне раскрывающейся во Христе любви Отца небесного, содержащей в себе начало и условия для всего, самое зло и ложь допустившей в мире для превозможения его тем обильнейшим светом истины и блага, и из смерти сияющей жизнью. Или иначе еще мы не уразумели своей верой Христа, как Он открылся нам. Таким образом самому существу христианства, право разумеемого, противоречит эта мыслительность, остерегающаяся, по-видимому, отступать от Христа и Его истины, но вместе и берущаяся за независимое от Него философствование. Да это и само себе противоречит. Философская самостоятельность, пригоняющая, однако, все к данной уже мысленной области, по необходимости есть рабская

и, следовательно, мнимая самостоятельность. Мысль здесь, на каждом шагу своем, связана боязнью и насильственным старанием, как бы не войти в противоречие, чрез свою независимую самостоятельность, с той или другой стороной христианства, и потому, всегда двоедушная внутренно, она чужда благородного прямодушия и смелости. И все, что она в области философии ни пригнала бы к согласию с христианством, будучи взято и развито не из живых начал последнего, будет, действительно, походить на заплаты лоскутного платья. Все это прекрасно раскрыто в статье «Современника», которую мы имеем в виду. Да, или надо и философствовать умом прямо Христовым, то есть, водящимся Христовой мыслью, доступной и открытой нам ради Его вочеловечения и одушевленной сыновнесмелым и свободным и вместе человеколюбивым духом Христовым; или уже не отделяйте своего философствования, *храмлющего на обе плесне* и стоящего ножа Илиинной ревности, от всякого другого рода философии, против которого вы так нещадно вооружаетесь иногда.

Другая фальшь «старых философов» и состоит именно в беспощадности и какой-то враждебности их к философствованию не по их началам, и особенно, к новейшей философии. То непреложная правда, что все в мире и всякое дело человека, следовательно и мыслительность, вне Христа, отчуждены и от благоволения Отца небесного и от Духа истины и, значит, составляют верную добычу лжи и отвержения. Но и то неоспоримая истина, что Христос есть *свет, просвещающий всякого человека грядущего в мир*, и даже *светящийся* в самой *тьме* без подавления этой тьмой (Ин. 1:5–9). К Его же светению относятся и законы и требования разума человеческого. И потому насколько в мыслительности выдерживаются эти законы и удовлетворяются эти требования разума, и даже сколько есть у того или другого мыслителя чистого и добросовестного стремления выдержать первые и удовлетворить последние, настолько у этого мыслителя, в его мыслительности открывается места и светению Христову. Самая тьма заблуждений не в состоянии *объять* или омрачить этого света.

А потому любящему Христов свет свойственно с любовью же следить и уважать Христово же светение и в философской мыслительности. Тем более славы Христу Богу нашему, что Он сияет как солнце *на праведных и неправедных*. Безнаказанно пренебрегать Христовым невозможно, где бы оно ни скрывалось. Нельзя неразумной ревности опираться на то, что истинных мыслей у иного мыслителя кажется не более, как два или три зерна в целом поле пустоколосицы. И одна черта или йота истины, которая существенно принадлежит Христу, не может прейти; скорее небо и земля прейдут. Страшно отвергать всецело мыслительность того или другого философа, если бы в ней оказалось не более и одной йоты или чертвы Христова. Потому беспощадные к философии новейшей «старые философы» поступают против начал веры и любви к Христовой истине, которых сами же держатся. Торжество Христовой истины и откроется не столько тогда, когда мыслительность, искренно ищущая истины, увидит невозможность удовлетворить помимо Христа законам и требованиям самого разума, сколько тогда, когда, за тем, эта мыслительность расследует, какую сторону Христовой же истины угадывала или слышала та или другая философская система, что из Христова же света имел в виду, хоть и смутном, и, с положительной или отрицательной стороны, раскрывал тот или другой новейший философ в системе своей мыслительности⁶⁷.

И мыслительность философская, если будет искренняя и добросовестная, верная законам и требованиям, разума, если, то есть, не оставит ее Господь без Своего, хотя бы до времени и непризнаваемого от нее, светения, рано или поздно дойдет же или будет доведена до этого торжества истины. Но потому и надобно как ей самой смотреть, чтобы уже не поступать против законов и требований разума, так и со стороны любящих истину заботливо наблюдать, чтобы движение мыслительности шло верно по законам и требованиям разума, и в этом отношении озарялось светением Христовым.

В том ведь и беда наша, что, стараясь выбиться из какой-нибудь односторонности, всего скорее можем впасть в другую противоположную ей, но столько же лживую, односторонность.

Поэтому и нуждаемся мы во взаимной поддержке, и во взаимном серьезном и уважительном друг к другу внимании, при самых разностях наших воззрений, чтобы каждому из нас служить к восполнению недостаточности в чем-нибудь другого, равно и себе получать от другого что-нибудь к восполнению собственной недостаточности. *Друг друга тяготы носите и тако исполните закон* совершенно всесторонней истины и правды, *закон Христов*. Монополия в деле истины совершенно не годится; монополия «старых философов», по самой явной застарелости, не так опасна; тяжелее и прискорбнее замечать монополию по делу истины, в каком-либо свежем направлении. Неудовлетворенные устаревшей системой «старых философов», новые мыслители принимают уже просто на веру, что истина решительно на их стороне, что и современная мысль это сознает или чувствует и склоняется к их стороне; и в следствие этого эти господа первые сами же себя и обижают, очерчивая около себя по своим вкусам или началам известный круг, и уже знать не хотят никого и ничего вне своего, как бы заколдованного, круга. Уже это одно свидетельствует о неполноте и узкости их воззрения, нехотящего внимательнее взглядеться во всю целость противоположного им воззрения. Ведь уже бывало, что слишком рьяные бойцы, со своей вавилонской башней, думали пробиться за небесный свод, как нынешние «бойцы мысли стараются окончательно разбить его весь, чтобы он не мешал свободному полету мысли». Но ныне едва отыскивается и след всего древнего Вавилона. Вот ведь куда может завлечь, в деле мысли, новейшая монополия одностороннего рационализма. Угрожать, скажете, уж последнее дело, и этим никого не убедишь. Хорошо! Посмотрим, нет ли у нас основательных поводов к таким не угрозам, а только братским остережениям, которые, кажется, могут не производить очень неприятного расположения духа и, во всяком случае, не могут злоторно действовать на мысль и вообще на все развитие человека. Будем держаться собственно требований и законов разума, которым и я и эти новые мыслители равно верим, они не знают, (да и сами-то они знают ли вполне), почему верят, а я верю именно потому, что в

законах и требованиях разума человеческого читаю законоположившую их творческую мысль Бога Слова Христа.

«Легко представить себе, говорят⁶⁸ о новом мыслителе, его удовольствие и восторг, когда он, вырвавшись из мрачной тюрьмы, вдруг почувствует свободу, идет со своей мыслью и вопросами куда угодно, куда влечет его пытливость... стремится и проникает всюду, не боясь никаких пропастей; отваживается на самые отчаянные попытки, и при этом с величайшей радостью воображает, что как бы они ни были не удачны, он не погибнет, его не сожжет огонь, не потопит вода, не пожрут бездны, что он всегда и везде останется цел и невредим со своей мыслью, что бы она ни выработала, что бы ни нашла». Что в этом слышно из принадлежащего истине и ее духу, мы это показали уже прежде всего, и таким образом истину и отнесли к области истины. Но во Христе и со Христом, вседержавным умом и Словом, вынесшем притом в воспринятом им человечестве на Себе все злое и смертоносное, можно действительно идти куда угодно и проникать всюду, не боясь пропастей или гибели ни от огня, ни от воды, ни от какой бездны. Тут есть логика! Но вне Христа на чем опирается мысль в такой страшной по своему бесстрастию смелости и свободе, в такой безусловно самоуверенной надежде? На законах и требованиях разума? Но кем же или чем вне Христа и они оправдываются, чтобы отважиться с ними на самые отчаянные попытки? На каком основании можно, при этом, с величайшей радостью еще воображать, что как бы эти попытки ни были неудачны (значит не только сомнительны, но и совсем неверны и лживы, всегда и везде останешься цел и невредим. Этого уж решительно не допускают самые требования и законы разума, которые делают человека, следующего им, уже ответственным пред собой и осуждают, как преступную и вредную, всякую попытку, неудавшуюся по вине самого мыслителя, по его недостаточному вниманию к законам и требованиям разума, а кто и за тем стал бы отваживаться на новые и более отчаянные попытки в уверенности (наперекор, как дело очевидное, требованиям и законам ума) в непременной целостности и невредимости своей, куда бы он ни зашел со своими

попытками, такому мыслителю разум во имя своих законов и требований прямо скажет, что его мыслительность просто неразумна или, сказать тоже иначе, пагубна для собственной его разумности. То справедливо, что от мысли так настроенного мыслителя, что он как будто постоянно ходит на краю пропасти или как будто перебирается через реку по тонкому льду, где каждую минуту угрожает ему опасность провалиться и сгинуть на век, от мысли такого мыслителя нельзя ожидать смелого полета, или чего-нибудь решительного и отважного. Но и то несомненно и очевидно для разума с его законами и требованиями, что не только по тонкому льду чрез глубокую реку, (который, впрочем в области мысли философской, неизбежно же придется встречать мыслителю), но и на твердой земле нестися или бросаться, сломя голову, «на самые отчаянные попытки», «не боясь никаких пропастей» – значит уже решиться на то, чтобы и в самом деле сломать себе голову либо шею⁶⁹.

Нет, кто истинно уважает и исполняет законы и требования разума, тот по самой такой им верности идет путем своей мыслительности смело и отважно (хотя бы он даже только еще испытывал и искал, где истина), но в то же время осторожно и бережно или смотря во все глаза, чтобы как не нарушить или не перетолковать законов и требований своего разума. И тогда попытки его, конечно, не будут самые отчаянные, но наверное же не будут и неудачными, если бы даже они не привели его самого к желанной истине, то по крайней мере (чрез свою посильную разумность) сократят путь к ней для других.

«Новые философы признают, так говорят о их превосходстве пред старыми, признают полноправность философии и самозаконие разума, который знает только себя и никому подчиняться не хочет». Превосходство новых пред старыми ясно здесь, по крайней мере, в том, что у первых есть внутреннее единство в философском деле и потому дело их не распадается само в себе, как это, по раздвоению или хроманию на обе ноги, неизбежно бывает у старых. Но самый вопрос о полноправности философии и самозаконии разума есть вопрос такой страшной важности, что опрометчивое и одностороннее (с

какой бы ни было его стороны) решение может совсем или разнуздать, или же иначе связать и сковать разум. Это вопрос именно такой, который для мыслителя, уважающего законы и требования разума, похож на тонкий лед через такую речку или озеро, у которых и дно трудно достать. Самозаконие разума для признающего и читающего в этих самых его законах и требованиях мысль творческого, законодательного для умов, Бога Слова, это понятно и основательно; и на этом основании столько же нельзя ограничивать полноправности философии, сколько нельзя посягать на власть Самого, изрекшего законы и требования разума, вседержавного творческого Слова. Но как – для тех, которые еще не узнали верховной и всеобъемлющей истины в Боге Слове Христе? Не зная еще или не признавая Его, они не могут, очевидно, поставлять и ту задачу для разума и философии, чтобы придти ко Христу. Что же? Отнять или оспаривать у мыслителей такого рода самозаконие разума или полноправности философии? Но на вас, если бы вы стали утверждать или провозглашать неправоту этого самозакония и полноправности, эти мыслители во все еще и не смотрят и не посмотрят, а только пожалуй, предубедаются против Христовой истины подобными ригористическими возгласиями и утверждениями. Ведь, пока эти мыслители не приведены или не пришли к признанию Бога Слова Христа за законодательное для разума начало, они еще и не могут признавать правоты ваших этих возгласий и утверждений. Или что нам до этого и до самих мыслителей? Не стать ли нам против них за веру? Но именно вере во Христа полезнее и с ней согласнее будет принять и для мыслителей, еще не знающих или не признающих Христа, правоту самозакония человеческого разума и полноправность философии, обращающейся в пределах и требованиях разума. С верой во Христа это будет согласно, или даже более, во имя самого Христа и надо вполне признать права разума с его законами и требованиями: потому что законодательную мысль именно Его, Христа Бога нашего, выражают законы и требования разума, мало того, Он для нас человек сам в собственную личность воспринял, со всей человеческой природой, и наш человеческий разум; и, сохранив

при сем в неприкосновенной целости человеческую природу и с человеческой деятельностью в своей личности, Он сам, как человек, соблюдал и исполнял и тем оправдал законы и требования человеческого разума. Хозяину дома или доверенному у этого хозяина не из-за чего вооружаться, как на нетерпимых мятежников, на тех домочадцев, которые уважают и стараются исполнять его же хозяйскую волю, хотя они (например по неполновозрастию или другим подобным причинам) и не знают имени и достоинства своего хозяина. Для самой веры во Христа полезно и благодетельно, в Его же имя и славу, признать правоту самозакония разума – идея таких мыслителей, которые недозрели еще до признания самого верховного законодателя, последуя однако Его же законам в разуме. Чрез это благовольтельное признание, что Христову же, законодательную для нашего разума, мысль исполняют следующие законам и требованиям разума мыслители, вера будет держать и этих мыслителей, с их мыслительностью, под осенением любви Отца небесного, почивающей во Христе Сыне Божием, которая своими духовными влияниями оживляла бы дело их мысли и чрез это более и более вела бы их к себе, к своему открытому во Христе свету. Между тем, осуждая только и отвергая подобных мыслителей, как противящихся или неверующих Христу, вера выводила бы их уже из-под всякого осенения Божией любви и следовательно оставляла бы их мыслительность, этого (сравнительно с грядущим ее возрастом) слабого еще и недугующего ныне ребенка, в верную добычу одних заблуждений и недоумений. Какая же от этого была бы польза вере, и какая от такой веры воздавалась бы слава Спасителю погибших Христу?! По характеру и существу правой веры, как свободной преданности мыслью и сердцем Христу, разум не иначе и может отдаться Христу, как убедясь к тому в своем внутреннем самоуправлении. Римское католичество хотело было насильно править умами, также как и гражданствами, но этим именно и вызвало решительные протесты разума целых народов против такого самоуправления. Православная же церковь находит свою славу в том, чтобы ее дети доходили до свободного во всем послушания Христу. Вот в

гражданстве, например по крестьянскому вопросу, служение Церкви не позволяло и не позволяет себе вмешиваться в дела самоуправления государственного, но духовно (таинствами, молитвой и учением) подвизается или должно подвизаться, чтобы дети Церкви сами развивали и довершали в себе по этому вопросу – одни дух Христова человеколюбия и самопожертвования относительно меньших Христовых братьев, а другие – Христов же дух сыновне-мирной и благочинной свободы (разумею свободу от крепостной зависимости). Это вообще составляет славу и силу православия, чтобы давать всем и поддерживать во всех достоинство и право *чадами Божиими быти*, быть духовно свободными и самостоятельными детьми во Христе великого всевышнего Отца. Тоже и в частности в деле мысли пусть мыслительность не отягощается какой-либо крепостной зависимостью, насильственно подчиняющей ее Христу и вере. Но вера своими духовными способами, одушевляемыми общением в человеколюбии Христа, усвоившего себе лично и разум человеческий и понесшего все вины человеческих заблуждений и по разуму также, как по другим сторонам человеческого бытия, должна подвизаться в достижении того, чтобы сам разум со своим самоуправлением и самозаконием нашел истинным и должным предаться всецело Христу. Этот подвиг веры, очевидно, будет ее самое оживлять и возвышать, обещая при том рано или поздно раскрытие ее же света и во всей мыслительности философской. Вот какую пользу вера может получить от самозакония разума! Для веры вредно было бы допускать мыслительности, уже признающей Христа, хромать двоедушничать между Христом и самостоятельным вне Его разумом, (что однако некоторыми ревнителями не только терпится, но даже возводится в благотворный для веры подвиг): эта двоедушная мыслительность, принадлежащая именно старым философам, выше уже была нами разобрана в своей двойной фальшивости. Для веры наиболее вредно содержать Божественную истину, как талант в мертвой земле, в бездейственности нашей мысли или в рабской только верности одной мертвой букве: это значило бы совсем отчуждаться от

самой силы Христова света. В том, говорит о Христе Боге Слово Св. Иоанн Богослов, в начале и всегда *живот* бе и собственно уже *живот* бе свет человеком, «т.е. и в нем была жизнь и жизнь была свет человекам» (Ин. 1:3). Нужно, потому, нашему духу и в частности нашей мыслительности прежде быть хотя бы в бессознательном соучастии Христовой *жизненности*, чуждой всего рабского и мертвого, соучастии, выражающемся сначала хотя бы только в инстинктивном отчуждении или отвращении свежей мысли от всего рабского⁷⁰; и уже тогда наш дух и мыслительность могут входить в свет Христов, в живое и сыновне-свободное разумение Его истины.

Итак во имя и славу самого Христа, истинной жизни и света нашего, да упрочится за нашим разумом, чрез его самозаконие и полноправность о мысли, в полной и строгой силе значение *владычественного*, как понимали Его и св. отцы церкви. Только уж пусть и мыслители идут без предрассудков веры законам и требованиям разума, не извращая правого духа и существа этого самозакония и самоуправления разума; в противном же случае и сам разум обличит их в безправии и беззаконии их мысли.

В чем, в самом деле, состоит это самозаконие и самоуправление разума? Как определить то, без чего не может быть этого самозакония и самоуправления, без чего останется в разуме разве мнимое и фальшивое только кажущееся, самозаконие? Само собой разумеется, что в решении этого вопроса нам надо опасаться, чтобы не попасть в ряд каких-нибудь «наивных философов», только сладко мечтающих о самозаконии и самоуправлении разума. Послушаем как серьезные философы говорят о мыслителе, с самозаконием его разума: «Никто не может заставить его принимать не то, что признает он сам, а что-нибудь другое, с чем никак не может примириться его ум; никто ему ничего не навязывает насильно, и в своей мысленной работе он следует законам, на которые согласна его мысль, а все другие отвергает, не страшась никаких наказаний за непослушание». И еще разум по своему самозаконию, «знает только себя и никому подчиняться не обязан». Верно ли и полно ли здесь обозначены дух и сила или

все существо самозакония разума? Конечно, та сторона дела, которая направляется против *крепостной*, так сказать, *зависимости* разума, или против насильственного внешнего подавления его прав, здесь обозначена резко и полно. Но ограждено ли здесь дело мысли такая же вредная и живая крайность, как и посягательство на духовную ее свободу. Нисколько. Разум, «знающий только себя и никому подчиняться необязанный», или следующий законам, на которые согласна его мысль, а все другие законы отвергающий, не страшась никаких наказаний за непослушание, может, пожалуй прямо в силу такого самозакония, занести иногда такую дичь и ахиною, которыми будет поставлять все вверх дном, но которые он будет оправдывать тем или другим принятым от него законом, с которым согласна его мысль, не подчиняясь ничему еще другому, (хотя бы это другое составляло необходимое дополнение или существенную сторону принятого закона), и не страшась никаких за это наказаний. И, без всякого сомнения, не признательность и благословения ожидают такого мыслителя, который измыслил бы такую систему, как бы ни ловко для себя и для других он прикрыл ее дичь и ахиною. Объясню это явлением из другой среды. Все равно, в какой бы форме ни выразилась взятая слишком односторонне идея о самоуправии разума, хотя и по правде долженствующего быть свободным от крепостной зависимости, и даже в наглядной форме виднее бывает опасная односторонность идеи, нежели в ее отвлеченности. Вот у нас нашлись такие разумные истолкователи и применители освобождения крестьян от крепостной зависимости, которые, в силу этого освобождения, хотели было знать только себя, не подчиняясь никому и отвергая законы или внушения, с которыми не могла помириться их мысль, не опасаясь было даже и никаких за оное наказаний. Но чем все это решилось в действительности? Грустными беспорядками⁷¹. К страшнейшим последствиям ведет и грознейшими событиями обыкновенно обличается в фальшивости своей всякая важная, завладевающая умами и неостанавливаемая в самом начале своего раскрытия, и односторонность в идеях и направлении разума. Итак,

признавая самозаконие разума и самоправность философии, новые мыслители столько же, сколько ограждают свою мысль от насилия и порабощения, должны сами же оградить себя и от той фальшивой односторонности, по которой самозаконие разума может превратиться в необузданное беззаконие того же разума, а это последнее слишком дорого обходится для целых обществ, народов и поколений и неминуемо подвергнется всевозможным проклятиям. На этот раз мы будем иметь в виду хоть только проклятие потомства, которому пришлось бы расчерпывать кашу, заваренную иными бойцами мысли во имя будто бы самозакония разума, а в самом деле против его законов и требований. Да, бойцы мысли, готовые, «окончательно разбить весь небесный свод, чтобы он не мешал свободному полету мысли» к истине! Вам-то особенно, в благородном ратовании вашем против сильно окрепшей в мире, то рабской, то деспотической мысли, и надо заботиться поставить твердые и решительные меры против возможных и для вас, самых разрушительных крайностей. После сказанного мной выше вы уже, кажется, не можете беспокоиться на тот счет, не посягаю ли я на самозаконие разума и самоправность вашей мысли. Я имею в виду такие только меры против неразумных односторонностей в настоящем случае, какие можно поставить на основании законов же и требований разума, из круга которых вы не хотите выходить.

И, во-первых, признавая самозаконие разума, мыслители в тоже время пусть имеют в строгом внимании и самую подчиненность этого разума собственным его законам и требованиям и строжайшую пред ними ответственность. Разум, в своем самозаконии, все же не есть такой господин и владыка самых своих законов, от усмотрения и воли которого зависит вся правота и сила этих законов; напротив за неуважение и несоблюдение своих законов самый разум будет обвинен или в своей неправоте и бессмыслии. Пусть же разум мыслителя и сознает свою непреложную обязанность свободного послушания своим законам и требованиям, как выражению высшей и властительной над ним правды, которой требования он слышит и сознает в себе или выясняет для себя и в этом отношении сам

же предписывает себе. Можно впрочем понять, что мы нисколько не думаем для внутреннего самоуправления разума полагать каких-либо внешних насильственных ограничений. В объяснение нашей мысли мы готовы приравнять разум с его самозаконием уже не к освобожденному только от крепостного права крестьянину, но пожалуй к самому верховно свободному самовластительству, только не к султанскому деспотизму. От слепого произвола и султанского самовластия деспота тем и отличается истинно самодержавный Монарх, что в своем законодательстве и неограниченном управлении своей державой слышит и дает своему народу слышать для исполнения – высшую правду, пред которой он и сам себя внутренне признает как ответственного⁷². С таким, чуждым горделивого самоправия и неразумного самоволия, но истинно по святоотеческому выражению владычественным или (по русской пословице: «У всякого свой царь в голове») царственным самозаконием разума, какое развивается именно на основании законов же и требований самого разума, мыслитель, и не узнав еще отчетливо первообраза и начала своей разумности в Боге Слове, Христе, тем не менее уже будет на пути Его истины и порядка истинно-разумного. Скажу, в успокоение собственно ревнителя веры, прямее и более: слыша и добросовестно исполняя в законах и требованиях своего разума высшую и властительную над собой истину, мыслитель уже чрез это одно, хотя бы еще и бессознательно для себя, не будет вовсе чужд духа сыновней послушливости всевышнему Отцу, какую сам Господь в Своем человечестве исполнил за нас по отношению, между прочим, и к законам и требованиям человеческого разума.

Во-вторых, каждый мыслитель, бьющийся за самозаконие разума, пусть в работах своей мыслительности постоянно помнить, что законы и требования разума, за которые он стоит (если они действительно и истинно законы и требования разума), общи ему со всеми другими мыслителями, общи ему и с каждым человеком. Это надо иметь в виду не для того только, чтобы сознавать себя подлежащим контролю или проверке со стороны всех других мыслителей, всякого человека (хотя и это

мыслителю не надо опускаться из вида). Последнее отзывается отчасти еще чем-то внешне-ограничительным для мыслительности и иногда может подвергать действительного мудреца ограничительному суду и даже осуждению от действительных (относительно тех вопросов, о которых шло бы дело) невежд. Такая мера, очевидно, недостаточна к ограждению мыслителя от крайностей разрушительного и незаконного произвола в деле мысли. Общность законов и требований разума со всеми людьми надо мыслителю иметь в неопустительном виде главным образом для того, чтобы он работая мыслью по законам и требованиям разума, сознавал себя в этих работах ответственным представителем и других людей, в отношении к разуму, ответственным пред совестью или судом самого разума не только за людей мыслящих, могущих увлечься всегда возможными с его стороны недоразумениями и ошибками, но и за невежд, за детей нравственных и физических, которые находятся по своему развитию и судьбе в незаметной, но неизбежной зависимости от господствующих идей и следовательно от влияния (разумеется чрез разные посредствующие степени) передовых подвижников или бойцов мысли. Сознавая это сам в себе и, очевидно, не в унижение и стеснение своей мысли, мыслитель не будет с легкомысленным бесстрашием отваживаться на самые отчаянные попытки. Он будет трепетать по крайней мере за других, менее его развитых или даровитых, которым слишком дорого может обойтись иная отчаянная и неудачная его попытка, за других, с которыми, по отношению к законам и требованиям разума, у него нераздельно общее дело. Особенно русский мыслитель, стоящий на отдельной и, во многих отношениях, различной от западно-европейского мыслителя нравственной почве, которая может открыть возможность к развитию мысли, отличному от западно-европейского, но нужному и для западной европейской жизни, должен сознавать себя для того именно поставленным на своей особой почве, чтобы отвечать делом мысли и за западных сограждан своих, по общей с ними разумности. Конечно, у западной Европы свой ум в голове; но ум по законам и требованиям своим одинаков у

всех. Потому отчаянная и неудачная попытка русской мысли будет истинно обидой и для запада, которому и мы обязаны уплатить своей мыслью хоть несколько процентов. Не говорю уже о дремлющем (мыслью) Востоке, с которым, кроме общей разумности, есть у нас особенно близкое нравственное сродство, ручающееся, что рано или поздно, правильно действуя, наша мыслительность может развиться до способности возбудить к живой мысли и Восток. Таким образом когда мыслитель с истинной гуманностью будет сознавать себя, в своей мыслительности, ответственным и за других людей, то у него самозаконие разума, Бог даст, не превратится, как это уже случалось с иными, в беззаконие разума и происходящее от того отчаянное бесстрашие и разнузданность⁷³. Главное же дело: так серьезно и человеколюбиво настроенный в силу самой общности законов разума всем людям, мыслитель будет более и более приближаться своей мыслью к духу Того, Кто и соделался Сыном человеческим, для того, чтобы собственным всеправым «Я» стать ответственным пред своим Отцом за «я» каждого из нас с сознанием и разумом нашим со всеми его заблуждениями и грехами.

Но стоит ли слишком много озабочиваться, в деле нашей мысли, о мерах разумности против горделивого самонравия и нечеловеколюбивого легкомыслия, которые именно и составляют разнузданное беззаконие разума, а никак не самозаконие его? Ведь, говорят серьезные философы в наставление добрым и наивным философам, вселенской, общечеловеческой, словом – «абсолютной истины нет и не может быть; прежние дорогие истины нам кажутся заблуждением; а наши истины, вся наша наука будет казаться детским лепетом, сказкой ребенка будущим поколениям». Правда, сами же так умствующие серьезные философы утверждают, что все же «мысль требует пищи и нужно же удовлетворить ее, дать ей, если не вполне идеальную, то по крайней мере здоровую, не гнилую и не тяжелую пищу». Но это утверждают строгие мыслители, очевидно, уже не по строгой логической верности принятому ими, с значением аксиомы, положению о небытии и даже невозможности такой истины,

которая ни у каких будущих поколений не может по правде оказаться заблуждением или сказкой ребенка и которая, следовательно, была бы для нас действительной, а не мнимой только в наше время, истиной. Мнимая истина составляет пищу, конечно, гнилую и нездоровую, хотя бы она и показалась кому-нибудь легкой и приятной. Стоит ли много хлопотать и заботиться, чтобы мнимо удовлетворить мысль такой мнимой здоровой пищей? Серьезные мыслители только, видно, в утешение «наивных и добрых людей» уступают неотступной у живого человека потребности в истине действительной, а не мнимой, когда говорят, что мысль, требующую пищи здоровой, нужно же удовлетворить, нужно дать ей здоровую, не гнилую и не тяжелую пищу. Опять правда, что серьезные мыслители не шутя думают свою уверенность, что доступна нам только временно мнимая истина, согласить с потребностью для человеческой мысли истины действительной. Это будто бы также просто соглашается одно с другим, как известность того, что наша настоящая жизнь должна кончиться или что мы должны умереть, соглашается с живыми нашими стремлениями, замыслами и надеждами в этой жизни, стремлениями и замыслами такими, как будто нам вечно жить на земле. «Старое старится, молодое растет, но в свою очередь состарится, помрет и уступит место новому, молодому, новой системе и учению». Так «мы все на верное знаем, что рано или поздно мы непременно помрем; однако ж мы все-таки живем, пользуемся жизнью и дорожим ей, как чем-то неотъемлемым, точно нашим вечным сокровищем, которое как будто всегда должно оставаться при нас».

Ну, уж, на такие мысли иной «добрый и наивный» человек не сдастся и, по совести, не захочет уступить серьезным мыслителям, а в свою очередь, пожалуй, и самих серьезных мыслителей также возвеличает добрыми и наивными людьми. Мы все, наверное, знаем, что, хоть рано или поздно, мы непременно умрем, тем не менее мы, пока живем, живем действительно, а не мнимо, живем не так, чтобы грядущие поколения, хотя бы самые отдаленные от нас, могли основательно признать нашу теперешнюю жизнь только мифом,

сказкой, принятой только нами за жизнь, а в самом деле эта жизнь после нашей смерти, по суду более проницательных поколений, окажется вовсе не жизнью. Жизнь наша есть не призрачный, а истинный дар Божий. Потому *живой человек о живом и говорит*, по поговорке простых людей о человеческих замыслах и стремлениях в жизни; живя действительно, а не мнимо, мы и заняты тем, что относится к действительной жизни, пользуемся жизнью и дорожим ей, как такой бесценной действительностью, которую никакие будущие поколения не могут счесть просто за призрак⁷⁴. А зажить такой жизнью, которую, по истине, имели бы основание другие люди – все равно потомки или современники – назвать только мнимой жизнью, можно разве в состоянии опьянения или полного сумасшествия, в котором несчастный живет точно только призраками и мечтами, создаваемыми его безумием; отрезвась, и сам он назовет свою подобную жизнь только мечтанием. Потому сравнение жизни разума и мысли с настоящей смертной жизнью человека надо исправить. По существу дела выходит, что человечество, постоянно изобретая и принимая за истину только то, что само же оно в последующих поколениях сочтет заблуждением и сказкой, живет не той действительной жизнью, которая, и по смерти человека, не может быть ни кем сочтена за миф; а напротив, с такой жизнью своей мысли, человечество жило бы только мечтательной жизнью того опьянения, отрезвляясь от которого, опять неминуемо и сейчас же впадает несчастный человек в новый вид тоже опьянения...

Неужели, сознавая даже это, можно дорожить такой жизнью мысли, как великим каким сокровищем. Помилуй Бог! Это значило бы для разума накинуть на себя, на свою живую мысль, просто петлю. Как кому угодно, а приняться за такую работу мысли, в которой придется, и то счастливейшему из счастливых, более или менее раскрыть несостоятельность прежних учений или воззрений и открыть новое учение, обрекая впрочем его наверное на такую же несчастную в свое время несостоятельность, – работать над обличением и разрушением лжи и над созиданием того, что когда-нибудь окажется неминуемо также ребяческой сказкой, это для мысли не жизнь,

а горькое самообольщение мечтами, похожее на непрерывающееся самоубийство. Тут, конечно, можно бросаться на самые отчаянные попытки и не бояться, не озабочиваться, сколько бы ни были неудачны эти попытки. Все ведь равно!.. И самое «большое счастье» состоит только в том, «если человеку удастся найти или построить систему, которая была бы вернее и основательнее, чем другие», – которая, то есть, не так скоро или не так легко, как другие, будет дознана, (а непременно будет дознана) в своей несостоятельности и неверности; потому что «всякая философская система, какова бы она ни была, подлежит, как и все существующее, законам тления, разрушения и смерти».

Из всего ряда времен только наше время, в некоторых своих представителях, обречено так морочить себя, чтобы оставаться без чистой, действительной навсегда, истины и значит, наверное заблуждаться с полным сознанием, что у него нет действительной истины, а есть только временно мнимая. Заблуждалось по-своему в том или другом и всякое время, но уверено было или уверяло себя, что его заблуждение есть действительная, а не временно мнимая истина. Наше же время, чрезвычайно счастливое тем, что отчетливо видит судьбы и всякие опыты предшествующих времен, входящие подобно живым камням в здание одного целого, зиждущегося разумно без препятствия со стороны всевозможных человеческих заблуждений, – это счастье, или бесценное свое преимущество пред другими временами, наше время и обратило для себя в небывалое несчастье. Наше время серьезно стало думать, что самая жизнь человеческой разумности и состоит в постоянной смене несостоятельных пред истиной систем и непрерывном замении старых, дознанных в своей фальшивости, заблуждений свежими системами, которые на время только кажутся более основательными верными, а неминуемо же окажутся ребяческими сказками и заблуждениями. «И этого, говорят еще, бояться нечего».

Нет, страшна эта истина, что мы (по выражению одного достойного нашего литератора) виноваты уже и тем, что существуем (потому что и начинаем свое бытие виноватыми,

грешными); и все человечество, если бы так и обречено было в своей жизни только менять одни вины на другие, одни заблуждения на другие тоже ребяческие сказки, без шуток приравнивалось бы к такому безвыходному положению: «Что ступили, согрешили». Но к счастью эта строгая истина есть только еще одна сторона полной истины. Точно, виноваты мы самым бытием своим и, оставаясь в этой виновности, неизбежно шли бы только путем сменяющихся непрерывно виновностей и заблуждений; но верховный Виновник нашего бытия взял Сам на Себя ответственность за наше виновное бытие и за все наши вины и уже вполне понес на Себе эту, невыносимую еще ни для кого другого, ответственность. И потому уже не может быть, чтобы жизнь нашей мысли, как и вообще наша жизнь, дана нам только на казнь. Да! Каковы бы ни были воззрения и убеждения у мыслителя, не самоправного и не легкомысленного в деле мысли, пусть он верил бы хоть только здешней жизни и человеческой мысли, верил бы хоть настолько, чтобы не сомневаться, что мысль наша истинно нуждается в здоровой, не гнилой пище по крайней мере не менее, как и наше тело требует для своего поддержания пищи такого же качества, и что жизнь человеческая на земле еще не находится под этой ужасной казнью – казнью невозможности достать для ее поддержки здоровую, не гнилую пищу. И такая даже вера не может не признать, что не только *есть сама по себе, но и для мысли человеческой должна быть доступна* – истина действительная, чистая от заблуждения и никогда не могущая выродиться в заблуждения, которая одна только и есть действительно здоровая и свежая пища для человеческого разума и мысли. В противном случае жизнь человеческая на земле, по отношению даже к самой высшей и благоразумнейшей своей стороне, умственной, господствующей в человеке, была бы оставлена без средств к своей поддержке, все равно как без здоровой пищи и питья, и потому была бы дана только в какую-то казнь человеку. Итак есть истина действительная и совершенная, доступная человеку, есть истина вселенская или общечеловеческая! Как ни бесчисленны степени разумения этой истины, которой полный и открытый

свет относится к вечной жизни, но только бы вступить на лестницу разумения действительной, а не временно только мнимой истины, на каждой ступени разумения человек всегда будет уже не с призраком, а в самой силе этой истины. В объяснение того, как это может быть и бывает в области вечной истины, приведем пример из духовно нравственной жизни. Вот, если кто достигнет зрелого и отчетливого разумения, что ради Сына человеческого, каким стал за человеков сам Сын Божий, Отец небесный есть Отец и человеков, принимающих такую благодать: то такой человек уже не смотрит ни на какой вид отчества помимо Отца небесного, так что собственно Его одного сознает и чувствует своим Отцом, светящимся и во всяких низших видах отчества. Это есть один из высших степеней разумения истины Христовой. Но, по смыслу православного христианства, и добросовестно и искренно преданные и послушные отцам, или заступающим их место, тоже, хотя и бессознательно предаются и повинуются во Христе самому же небесному Отцу. И на этом степени разумения истина всеильного Отчества небесного имеет место без всякого усечения или ослабления той или другой стороны своей. Наконец и младенец, с живой, но бессознательной по отношению и к земным своим родителям, любовью бросающийся в их объятия, по-своему слышит с восторгом ту же тайну открытого нам ради вочеловечения Сына Божия отчества всевышнего Отца, Который весь любовь. И на этом низшем степени разумения истина всеобщего отчества небесного Отца имеет место не менее, чем и на высшем; пожалуй, зрелое духовное разумение даже уступит младенческому чувству и мысли первенство в духовной близости к небесному Отцу. Таково же отношение человека, на различных степенях духовной жизни, и к другим сторонам истины вселенской и общечеловеческой. Насколько мысль человеческая с должной или законной разумностью проходит свое поприще, настолько и приближается к этой вселенской истине или входит в ее дух. Назначение мыслительности философской – свободно достигнуть до разумного убеждения веры, что только во Христе содержатся все сокровища мудрости

и знания с самыми ключами к этим сокровищам. Тогда пред ней и откроется, что к Нему же устремлялась, Его же искала всякая истинно разумная попытка мысли. Но для этого только пусть будет у мыслительности серьезное отвращение от ложного и искреннее стремление к истинному и всевозможное усилие не изменять законам разума, выдерживать в своем деле истинную разумность!

Впрочем вольному воля. Если современная мыслительность, легкомысленно или с предубеждениями или с отчаянной самонадеянностью, относится к делу истины или даже только не употребляет всех зависящих от нее усилий и способов к дознанию и выяснению ее себе и другим: то, как бы ни успокаивал себя тот или другой мыслитель мечтой о жизни философии, будто бы и состоящей только в смене несостоятельных пред истиной систем, все же никак не отвяжется современная мыслительность от невольного сознания что ее легкомыслие и леность, самонадеянность и самоволие, вообще всякое недостойное разумности, отношение ее к делу истины – обличатся потомками и будут вечным для нее упреком и осуждением. Мыслитель, по какому-то чутью истины получает успокоительную уверенность в своем деле только тогда, когда он со своей стороны употребил или употребляет добросовестно все возможное к дознанию истины, не пренебрегая по самонаравию и легкомыслию ни чем, могущим навести мысль его на прямой путь, не кривил или не увертывался пред законами разума, по пристрастию к своей идеи или по какой то монополии в деле истины, сказать тоже короче – когда он верой и правдой служил и служит делу истины. Да! Всеми почему-то чувствуется, что сама истина принимает тоже истинное (а не временно только мнимое) служение ее делу, которое одно и награждается всегда признательностью и благословениями в потомстве. Потому и жизнь философии состоит не в смене одной чепухи, принимаемой некогда за истину, другой такой же мнимой истиной, а собственно в том, насколько тот или другой мыслитель, или вообще мыслительность в те или другие времена, истинно и благородно служили делу истины. Потому в

области философии и ее истории должно же совершиться по-своему и в своей мере тоже, что есть в области самого Духа истины. *Егда бых младенец, говорит Апостол Павел, яко младенец глаголах, яко младенец мудрствовах, яко младенец смышлях; егда же бых муж, отвергох младенческое* (1Кор. 13:11). Но сам же Павел, который, созрев до возмужания во Христе, действительно *отверг младенческое* воззрение ветхозаветное, тем не менее во всех истинных праведниках ветхого завета, начиная от самых ранних и самых простых по своим воззрениям (Евр. 11:4–6), видит и указывает другим исполнителей и свидетелей той же самой благодатной правды, которую и сам проповедывал и раскрывал с глубокомыслием Христова ума, как истину вселенскую и общечеловеческую. Так точно, достигнув прямого воззрения на истину, не временно мнимую, а действительную для всех времен и раскрывающую чрез весь их ряд свои Божественные глубины, мыслителю уже не трудно будет усматривать, сколько дух той же истины слышали по своему все мыслители, и даже такие, которые находились в самых далеких и иногда, по видимому, совсем недружелюбных отношениях к ней, слышали настолько, насколько правдиво и благородно, одним словом, истинно разумно вели по своим способам дело своей мыслительности. К мифам, сказкам, над которыми смеются потомки, относятся только порождения неразумия или заблуждающего разума. Вот, особенность избранного народа, начатая родоначальником его Авраамом, обрезание, принятое им для своего рода, со всей феократической национальностью еврейской, стали уже мертвыми формами, но мысль веры, одушевлявшая еврейского родоначальника Авраама, как была у него, так и осталась навсегда благодатной истиной, раскрытие которой и есть достояние христианства. Между тем языческие увлечения и мифы как были при своем происхождении, так наконец и оказались пред всеми не более, как баснями и химерами. Остатки же истины и в язычестве как сначала не принадлежали, так и в последствии никогда не могут быть относимы к области лжи: так должно быть в силу вечной истины. Так ни ложь не

закроется ни под какими личинами, ни истина вечная не уступит никаким задержкам, ей противопоставляемым.

После сказанного нельзя без глубокой грусти не остановиться на таких речах новых мыслителей: «Системы, претендующие на вечное существование, на вечную жизнь и значение, называются фанатическими и они-то убивают всякую жизнь мысли; только наши староверы и их ученые противники убиваются из-за вечных истин и вечных доказательств». Мы не спорим против этих слов, насколько в них выражена та истина, что нет всецелого и абсолютно совершенного постижения неисследимых глубин истины и всякое притязание на полное обладание истиной, действительно, усыпляет нашу мысль и ведет к фанатическому нетерпению чужих мыслей. Только, к сожалению, новые мыслители этим не ограничиваются. Но как некоторые из последователей вечной истины, отстаивая ее неизменность, выражают самообольщенные притязания, будто они уже вполне овладели этой истиной; так и новые мыслители, по поводу неисследимости вечной истины, уже не признают самой вечной истины⁷⁵ и насмеваются над «убивающимися из-за вечных». Вот уже как трактуется у нас самая мысль о вечной и непреложной истине! Нельзя не задуматься, почему у нас, или в наше время, могли родиться и высказываться подобные мысли. Ведь например современники Спасителя, возвещающего людям вечную истину с усиленным возбуждением мысли слушателей к разумному пониманию этой истины, с живейшей радостью о всяком проявлении в них рассудительной мысли не могли бы никак сказать, что учение Господа, принесенное им на землю на вечное существование, на вечную жизнь и значение, убивает всякую жизнь мысли, и действительно самые враги Христовы ставили ему в вину особенно сильное движение умов, им производимое (Ин. 2:48). Также и Св. Апостолы Христовы, открывавшие человечеству новый мир благодати и истины вечной, противоположной мертвому фанатическому иудейству и уже явно истлевавшему язычеству, могли ли самым злейшим своим врагам показаться такими людьми, которые по-староверски убиваются из-за вечных истин и вечных доказательств? Так и Св. мученики,

идущие на смерть за убеждения своей веры с полной в них отчетливостью пред врагами, с разумными объяснениями пред ними нелепости идолопоклонства, представляли в себе явно борцов живой мысли, а не слепого фанатизма. Борьба Св. Отцов против ересей представляет также поприще подвигов глубокой и напряженно действующей мысли. Божественная истина вечна и непреложна: но проследите весь ход и движение веры и в ветхом и новом завете, и вы увидите идущую с строгой последовательностью именно жизнь мысли, благодатно могущественную и светлую⁷⁶. Итак не останавливаясь более на разборе этого необдуманного умствования, будто всякое учение, справедливо или несправедливо имеющее притязание на вечное существование и значение, относится к разряду фанатических и непременно убивает всякую жизнь мысли и прочее, стоит серьезно подумать: почему такие опрометчивые мысли у нас могут без зазрения совести высказываться? То правда, что подобные решительные и жесткие приговоры всегда предполагают в мыслителе неприличную разуму охоту произносить приговоры без достаточного знакомства с предметами, на которые произносятся такие приговоры. Но и то правда, что нельзя было бы благородно мыслящему человеку даже открыть рта для произнесения неправых суждений о священнейших предметах на ряду с разными видами фанатического суеверия, если бы самой действительностью современной открыто обличалась неправота таких суждений. Есть, видно, и в таких суждениях своя доля правды в отношении, по крайней мере, к временным и частным злоупотреблениям теми предметами, против которых направляются эти суждения. Есть, действительно, у нас, принадлежащее некоторым лицам направление стеснять и сковывать жизнь мысли во имя веры в вечную истину; это направление, под видом яко бы уже вполне усвоившей себе Божию истину ревности по вере, многими считается даже благоприятным вере, тогда как только разве из-за него может казаться отчасти основательным крайне обидное для веры предубеждение против учения о вечной истине, как будто убивающего жизнь мысли. Есть еще другое считаемое также

благоприятным для веры, направление самой мыслительности или учености, именно выше разобранные нами в своем фальшивом и вредном двоедушии, направление мысли отчасти по Христу и Его истине, отчасти по разуму и его законам (как будто для веры это уже не Христова область). Это направление храмлет на обе ноги: оно неверно в существе дела и Христову духу, с любовью стремящемуся наполнять и двигать безраздельно всего человека, оно держит и мысль постоянно в рабском только страхе, как бы уж слишком далеко не отступить от Христовой истины. И таким образом это направление представляет, тоже во имя вечной истины, какую-то полужизнь или полусмерть мысли. Вот только из-за чего нельзя по совести назвать клеветой опрометчивое и оскорбительное для христианства суждение о фанатизме и смертоносности для мысли учения о вечно неизменной истине! Мыслитель, допустивший подобное суждение, только бы действительно верен был в своей мыслительной работе законам разума, не превращая его самозаконие в незаконное самонаравие и легкомысленную невнимательность к прочему человечеству, и заботливо искал бы для своей мысли действительно жизненной пищи, подвергнув испытательному сомнению эту свою слепую веру, что будто бы все равно – все пройдет, все увянет и истлеет, что истины вечной и незыблемой будто нет и быть не может. И он сам может достигнуть того, чтобы по собственному убеждению и опыту дознать не стеснение или умерщвление мысли, но оживление и освобождение ее вечной истиной. Эта истина сам Христос. Эта истина потому и вечна, что она есть не убивающая и порабащующая буква, а всеживой дух и сила, совершившая уже победу над всеми мертвыми и мертвящими заблуждениями или мнимыми истинами тем самым, что, вынося на себе бремя человеческой в них виновности, сама в собственном лице входила в состояние смерти, и чрез это завладела уже ключами всей темной ее державы. *Аз есть истина*, говорит Господь наш (Ин. 14:6). *Аз есть первый и последний: и живой и бых мертв, и се жив есмь во веки веков, аминь: и имам ключи ада и смерти* (Откр. 1:17–18). Прииди и виждь, так всегда, начиная с самих Апостолов, говорят истинно

обретшие и уже вкушающие во Христе живой хлеб для своей мысли и для всего своего существа – всякому, недоверяющему и испытующему мыслителю (Ин. 1:46). Мы Русские держимся учения православного, полного, а не в односторонностях. Доказательство на то вся Церковь с ее светлым православием.

Было время собственно для западных христиан, когда, разумея христианство не по православному, одни из них находили противоречие слову Божию в открытиях науки, например, о вращении не солнца вокруг земли, но земли вокруг солнца, а, из-за такой односторонности, другие начинали направлять исследования наук естественных, философских, политико-экономических и проч. против христианства, извращая для этого или же вовсе не признавая целые области фактической действительности вопреки самой науке. Православно же понимающим христианство известно из слова Божия, что законы природы, духа человеческого и всякого истинного порядка суть творческие или мироправительные определения вседержавного Бога Слова. Потому на можно без труда понять, что не признавать и не принимать того или другого верного открытия науки, будет ли это вращение земли около солнца или что другое, было бы противно слову Божию и истинному христианству, так как и наоборот расследование всех сторон и законов бытия принадлежит уже к свету самого Христа Бога Слова, *Имже вся быша, без Кого ничто же бысть, еже бысть* и *Кто есть свет, просвещающий всякого человека грядущего в мир*. Было время и у православной России, когда у нее к такому всестороннему раскрытию православия не было ни приемлемости, ни нужды, потому что и без того православные Русские, содержа догматы и установления православия с детской, для большинства безотчетной, простотой, тем не менее все стороны своей малосложной жизни умели настраивать по духу православия. Но ныне, когда одни у нас мудрствуют о православии более по темной и убивающей человека букве, нежели по светоносному человеколюбивому духу православия, а другие, из-за подобной односторонности разумения некоторыми православия, не видят удобства и возможности помирить с ним своих живых духовных

потребностей, ныне, очевидно, уже наступила пора или крайне настоятельная потребность для России раскрывать для себя и для прочего мира, сколько возможно полнее и отчетливее, свет и силу православия. Такое-то поприще, к оправданию самого дела науки, открывается для свежих сил русской мысли, только бы она сохраняла и выдерживала, в неприкосновенности и неизвращенной пелости, своего самозакония, а не противозакония, свою благодатную духовную свободу и жизненность!

XII. Об образовании духовных и об отношении их к прочему составу церкви

Задача научного духовного образования (которым довольно озабочена и наша журналистика и все общество) состоит, без сомнения, в том, чтобы чрез сообщение образующимся нужных знаний и через должное направление их характера, приготовить из них достойных служителей церкви Божией. Достойные же служители церкви Божией, без сомнения, те, которые идут *дверью* (Ин. 10:2, 7, 11) самого Христа, понесшего на Себе бремена грехов и недугов всего мира, и потому не отделяют членов церкви, но разделяют с последними это бремя; они знают, что ангелы или духовные вожди церкви и награждаются и ссужаются за добро или за худо всего церковного состава, как за собственное свое (Откр. 2, 3). Поэтому и дело духовного образования требует такого устройства и порядка, чтобы оно вело духовных не к разъединению с прочими христианами, а к живейшему вниманию и полнейшему соучастию духовенства к духовным потребностям, стремлениям и самым болезням других христиан. Временно могут быть такие обстоятельства, которыми требуется ограждение готовящихся к служению церкви (и не их одних, конечно) от разных вредных влияний разнузданности умственной и нравственной особенно, когда от этой разнузданности не успел еще окончательно разграничиться, в науке и обществе, дух вполне законной и благородной свободы нравственной и умственной. Но и в подобных обстоятельствах духовное образование, ограждаясь от неблагоприятных внешних влияний, все же не должно изменять существенной своей задаче – готовить служителей церкви Божией, не таких, которые возлагали бы тяжкие и неудобноносимые бремена долга и ответственности на других, не касаясь сами и пальцем этих бремен (Мф. 23:4), но таких, которые считали бы своими нуждами и недугами духовные недуги и нужды своих братьев.

Такой задаче духовное образование не должно изменять не только в видах истинного блага вообще всей церкви Божией, но

и в частном интересе самого духовенства. Недавно в «Православном Обозрении» напечатана была статья, в которой прекрасно доказывается, что прочного улучшения внешнего быта (в особенности сельского) духовного, улучшения, простирающегося, и на призрение духовных сирот и немощных, надо искать и ждать от самых приходов. Мысль верная духу Апостольскому. Да! Приход сам улучшит быт духовенства и не оставит его сирот и стариков, но только тогда, когда увидит и почувствует (по тому закону, по которому сердце сердцу весть подает), что духовные истинно, перед самым Богом, соучаствуют своим духом и сердцем в отягчающих этот приход бременах, служа всей душой тому, чтобы Христос был Своей благодатью с православными во всякой их среде и работе мирской к избавлению всего от зла и греха. Прихожане и последним делятся со своими отцами духовными, когда живо сознают и почувствуют, что, по служению духовенства молитвой и словом и делом, Христос точно пребывает благодатно молитвой и словом и делом, Христос точно пребывает благодатно в них и с ними, труждающимися и обремененными в этом мире. Но пока этого не будет в сознании и чувстве какого бы ни было прихода, пока Христово благодатное иго, будучи само по себе легким и благим, будет казаться тому или другому приходу трудным и неудобноносимым – по безучастности многих из нас духовных в затруднениях и духовных болезнях мирян, до тех пор не только нашим сиротам, но и самим действующим служителям Христовым ждать нечего от подобных приходов улучшения внешнего своего быта.

Верно Христово слово относительно внешнего быта служителей Христовых: *достойн есть делатель мзды своея* (Лк. 10:7); но делатель, усвояющий себе в своем делании самого Христа, пастыря доброго, понесшего бремя мира грешного и погибающего, как свое собственное. Образование духовное должно послужить к приготовлению именно таких делателей для этого Христова поля – служения спасению людей.

Какое же лучшее устройство образования духовного для выполнения такой существенной его задачи? Посмотрим, что

представляет в этом отношении древность христианская и что было и есть по этой части у нас в России.

Древность христианская представляет нам, в отношении к образованию служителей Христовой церкви, явления дух родов. Во-первых, несмотря на политическое господство язычества, было в глубочайшей христианской древности отдельное от среды языческой христианское училище, наиболее готовившее, конечно, учителей христианских. Это александрийское училище. Но здесь, заметно, брались решительные меры против отчуждения образования христианского от умственного состояния и движения прочего мира. В воспитанниках и учителях этого училища заметно самое обширное знакомство с языческой философией и современным философским направлением, как именно в Клименте Александрийском, и вообще видно направление рациональное в высшей степени, доходящее у иных даже до увлечения крайностями, как например у Оригена. Таким образом, христианское училище древности не отводило христиан от живейшего внимания и соучастия к умственному движению прочего мира; и если это обходилось для некоторых слишком дорого, то, ведь, известно, что во всем возможны крайности и увлечения. Главное дело в том, что александрийское христианское училище приготавливало таких учителей христианству, которые не могли отделяться от умственных и духовных бремен прочего мира, хотя иногда и сами подавлялись этими бременами. Такое направление александрийской учености не могло не продолжаться и впоследствии. Возможны были, в этом направлении христианской александрийской учености, и такие плачевные явления, как Арий, заблуждение которого потрясло весь тогдашний христианский мир; но там же являлись и такие победоносные над ложью пред всем миром борцы за истину, как Афанасий Великий, Кирилл Александрийский.

Во-вторых, наиболее общее образование христианских учителей древности было в общих или открытых всем училищах, где самыми учителями были язычники. Такое образование получили в Афинах наши вселенские учителя: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. При

таком образовании служители церкви Христовой, сколько стояли в уровень с современным умственным состоянием и движением, столько могли понимать и ощущать нужды и недуги этого состояния и движения умов, как свои собственные; а потому и свою мысль могли раскрывать так, как именно духовно принимало и требовало современное им общество. Скажу более: у таких учителей, по самому их образованию, дело внушения истины и обличения лжи даже и не могло быть ведено несогласно с умственной и словесной приемлемостью современников и безучастно к их положению. Ведь с последними они сами возрастали, по образованию своему, на одной и той же почве. Василию Великому, переписывавшемуся с Ливанием, как равным ему по образованию, или другу Василия, ревновавшему о принесении Богу Слову такого слова, над которым не имели бы превосходства никакое ораторство и диалектика того времени, или Златоусту, похищение которого христиане оплакивали тогдашние образованные язычники, или на западе Августину и Иерониму – естественно и просто было так именно светить миру, что ничто лучшее из их современности не было чуждо им самим и потому не могло оставлять и их в какой-либо тени для общества. Без сомнения, это было, по особенному благодатному устройению, во благо церкви. Такое направление в образовании христианских учителей, чтобы им обнимать всю современную ученость и идти в полном соучастии к современному состоянию мира, продолжалось и после, когда образованность языческая совсем пала перед христианством; блистательные доказательства этому – Св. Иоанн Дамаскин, Фотий и проч.

Так шло и устраивалось образование служителей церкви в древности, образцовой и руководительной для нас. Что было прежде у нас в отношении к образованию духовных?

У нас на Руси в то время, когда приходивший поставляться в звание священства, бывало, едва «по псалтири бредет», мысль о духовных училищах, естественно, должна была родиться именно у пастырей. Они и приводили ее в исполнение по мере возможности, а в продолжение времени и с содействием, или по распоряжению самой светской власти. Так

было до Петра и далее. Образование служителей церкви развивалось и заведывалось именно лицами духовными, но отнюдь не в смысле отчуждения духовных от светских через самое образование. Доказательством этому служит то, что в духовных училищах воспитывались и светские, желающие получить образование (что именно было в Киеве); равно не чуждались от дополнения духовного образования обучением и в светских училищах (что было в московской славяно-греко-латинской академии, из которой посылались некоторые в университет московский).

Был в прошлом веке истинно критический для духовного образования момент, с которого могло начаться решительное обособление духовного образования от светского. Это было время, когда, по вопросу о монастырских вотчинах, ясно и резко обозначалось то направление в духовном служении некоторых⁷⁷ по которому, например, положение духовных с приходорасходными книгами, высланными по главному распоряжению светской власти, казалось бы хуже «узников богадельничных», с которым, в устранение светского влияния, поставлялось бы с силой на вид, что «иной из светских на силу и в Бога верует», и не имелось бы у самих в виду, что, ведь, дело духовных служить тому, что Христос был и в мирянах и что, следовательно, ослабление последних в вере заставляет первых осмотреться с испытанием ревности и верности собственного духовного служения. По такому направлению настаивали было касательно образования духовного, что лучше было бы книжкой «Православного исповедания Петра Могилы» заменить «философию и другие академические книги», что «лучше, по-старому, читать готовые печатные проповеди, выбранные из отеческих творений, чем сочинять новые», естественно сначала довольно неискусные. И таким образом сочувствие и соучастие живым современным нуждам, даже со всякими попытками к этому (и следовательно в самой возможностью когда-нибудь стать в уровень с современным умственным движением и выносить его болезни), могли тогда навсегда быть остановлены и заграждены для духовного образования; стоило бы только монастырские вотчины оставить

в распоряжении этой «односторонней духовной ревности, отчуждающейся от светских с самоуверенностью и самодовольством во имя благочестия». Единственный Глава церкви православной Господь наш Иисус Христос, употребляющий по-своему изволению и усмотрению разные орудия и сосуды *ови в честь, ови же не в честь*, устроил иначе; он устроил дело так, что критический момент для духовного образования прошел, кажется, невозвратно. Односторонняя духовная ревность, отчуждающая духовных от прочего состава церковного, поставлена в невозможность отстаивать и для себя самой свое одностороннее направление, тем более, прочно провести это направление в духовное образование; это по той простой причине, что нет и уже не может быть у этой духовной ревности *своих* достаточных средств утвердиться в самодовольном уединении от светского элемента, от которого она хотела бы совсем обособить духовных во вред и им самим и всей церкви. Промысл устроил, что по этим вопросам Арсений Мациевич пожертвовал собой, также как и им жертвовали, истинно в великое благо для нашей церкви и отечества, в отношении и к делу образования духовного.

Существенных перемен в деле духовного преобразования не было до преобразования духовных училищ при Александре I. Устроенный в это время порядок духовного образования, в существе дела, есть еще и настоящий, потому что все перемены, какие вводились в духовное образование, не касались существа дела в преобразовании училищ, совершившемся при Александре. Что же представляет настоящий порядок образования духовного, в отношении к приготовлению таких служителей церкви, которые бы не отчуждались от духовного соучастия и к бременам мирского быта и образования?

Круг духовного образования, совмещающий с богословскими предметами философию, математику, гражданскую историю и впоследствии присоединивший сельское хозяйство и медицину, очевидно, выражает общую мысль о том, чтобы образовать людей, которых мысли и сочувствию были бы чужды умственная и практическая жизнь

прочих христиан. Это правда! Но и то правда, что от недостаточного ли внимания к этой мысли в самой практике духовного образования, или уж вообще от отрывающей в некоторых ревнителях духовного⁷⁸ мысли о самодовольном обособлении духовных от прочих христиан, только духовно образованные оказываются во многих отношениях, действительно, как чужие для светских образованных и вообще для светских, которые являются и сами в таком же отчуждении от духовных⁷⁹. Положим, тут имеет свою силу и свое основание именно то оборонительное положение, в котором поставлялось духовное образование в отношении к борениям и увлечениям другого образования; это другое образование, освободясь от своих борений и увлечений, быть может само благословить и поблагодарить духовную литературу и науку за сохранение истины в ее чистоте до лучшей поры умственного нашего состояния. Как бы то ни было, но духовное образование изменяло бы существенной своей задаче, когда бы поставляло многих своих в умственное и практическое отчуждение от интересов, стремлений и нужд прочих христиан, от самого даже склада их мысли и речи. Поэтому всеми, и духовными и светскими, равно чувствуется нужда в существенных изменениях в деле духовного образования.

Какие же именно изменения требовались бы для духовного образования? Решение этого вопроса зависит, с одной стороны, от степени сознания общественного, что дело христианского общества, дело мысли и жизни, было бы ненормальное и плохое, если бы оно велось в разобщении с духовным служением Христовой благодати и истины, что и служители Христовы, только принимая участие в умственных и жизненных затруднениях и бременах общества могут быть верны, в духовном своем служении духу своего Пастыреначальника Христа, вынесшего на Себе бремена всего мира. С другой стороны предложенный вопрос может быть решен так или иначе и от степени отчетливого, в жизни и образовании нашего общества, разграничения законной (умственной и нравственной) свободы от разнузданности произвола, так чтобы в этом

отношении не было у нас ни рабского духа, ни своеволия неразумного.

О, если бы Бог дал нашему обществу скорее дойти, с обеих указанных сторон, до той степени сознания и отчетливости, чтобы служители церкви Божией, следуя древнейшим вселенским учителям – Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому, самым единством и общностью своего образования с другими христианами, или вообще с своими современниками, настраивались и готовились носить, в слове и деле своем, бремена других, как свои собственные. Разумеется, говорю это только к сведению и обсуждению любящих истину, церковь и наше отечество и искренно желающих, чтобы дело истины и добра выяснялось и совершалось у нас всеми сообща.

XIII. Разбор двух романов, касающихся важных затруднений и вопросов современной мыслительности и жизни – «Что делать» г. Чернышевского и «Отцы и дети» г. Тургенева

Для нечитавших того или другого романа, предлагается очерк самой только сущности их содержания. В романе г. Тургенева сущность дела следующая: двое молодых людей, окончив учение в высших наших школах, возвращаются к родителям сначала одного из них, потом другого. Оказывается, что в нравственном и умственном отношении эти отцы и дети, словно чужие друг другу: поэтому много слишком тяжелого приходится тем и другим слышать и видеть взаимно друг у друга. В отцах дети ловили, главным образом, фальшивое раздвоение между идеальными или добродушными их правилами и стремлениями и малодушием, тщеславием и другими немаловажными грешками; в детях отцы видели или выводили наружу какое-то отречение от самых основ общепринятого, самого даже священного. В таком положении дел один из молодых людей, самый ярый и даровитый отрицатель всего не только двоедушного, фальшивого, но и только неведомого ему (Базаров) встречается с одной достойной женщиной, которая внушила ему к себе любовь серьезную и глубокую, отсвечивающую каким-то высшим роковым и таинственным смыслом и следовательно составляющую нечто такое, что он обыкновенно отрицал от всей души. И вот началась в нем внутренняя борьба между этим неведомым, овладевшим всей его душой, и отрицательными его воззрениями, которым он весь предался, борьба в своем роде трагическая, продолжавшаяся до его смерти, когда он, с отрицанием себя самой смертью, ощущал в собственном своем непреодолимом влечении к порядочной женщине таинственное отрицание всем своим отрицаниям. Его товарищ, более мягкий душой (Кирсанов), отделался от беспощадного отрицательного

направления чрез влияние на него кроткой молодой девушки, сделавшейся потом его женой. Отцы со своей стороны, подвигнутые к энергии нравственной борьбой с детьми, вознаграждали свою нравственную несостоятельность или исправлением своих грешков, или страданием с любящим сердцем. Вот и все! Сущность содержания в романе г. Чернышевского разлагается на две стороны. С одной стороны, под жестокой деспотией пошлого своекорыстия и привычных, бездушных уже, форм жизни очутилась душа живая и благородная (Вера Павловна), насильственно вовлекаемая самой матерью (Марьей Алексеевной) в низкие и оскорбительные отношения. Один молодой человек (Лопухов) решился пожертвовать всей своей ученой карьерой, чтобы женитьбой на этой жертве освободить ее из нравственного погребца, где она была заключена на смертное томление. Но с продолжением времени и жизни оказалось, что и супружество ее с этим самоотверженным человеком обратилось в новые, невыносимые для нее, оковы. Молодой человек ухитрился чрез новое, им выдуманное, самопожертвование поставить себя и жену свою в положение, подобное тому, в каком бывает человек, умирающий политической смертью, или вечной ссылкой, а жена его может быть свободна от супружества с ним, как с умершим. Молодая женщина наконец нашла себе счастье в супружеском союзе с человеком, вполне ей сочувственным и ее удовлетворявшем. С другой стороны представляется в романе следующее: прекрасная, но неопытная душа (Екатерина Васильевна Полозова) уже не от других, а чрез собственное самообольщение каким-то негодным идолом, была в опасности сгнубуть. Отец ее вполне понимавший это и не соглашавшийся на союз ее с негодяем, сделал только то, что его дочь ожесточалась в своем обольщении и чахла. Но наконец дали ей свободу поступать, как ей угодно, и она сама увидела всю презренную низость своего идола и, отказавшись от него по собственному побуждению, нашла счастье уже в достойном человеке, каком-то Американце. И оба эти семейства взаимной дружбой связаны как будто в одной семейство, на пользу и

других многих из нового поколения. Вот канва, по которой г. Чернышевский развивает свои мысли или инстинкты.

Оба эти романа возбудили разнохарактерные толки в обществе и журналах. Не видно было, чтобы судили об них свободно от разных односторонностей. Одна Христова истина, раскрываемая в ее живой силе и духе, именно в духе Христова самопожертвования за грешного человека, проливает полный свет к выяснению дела. Предлагаемые статьи представляют, хотя несколько поздно, взгляд на оба произведения в свете живой Христовой истины, правящей всем и сильнейшей всего. Впрочем эту истину выяснять никогда не поздно, а то лучше поздно, чем никогда.

А. О романе г. Чернышевского «Что делать. Из рассказов о новых людях»

Я довольно изучал роман г. Чернышевского «Что делать». Мне хочется, друзья мои, поговорить с вами об этом романе; хочется передать вам мой о нем отчет. В этом романе выражено много благородных инстинктов, которые впрочем, оставаясь в своей глупой безотчетности, могут доводить иных до равных гибельных глупостей; а если те же инстинкты выяснить и осмыслить, они могут быть корнем уже полезного и разумного добра. Вот почему хочу и даже считаю обязанностью поговорить с вами о романе «Что делать».

Автор романа говорит в своем бесцеремонном «предисловии», обращаясь к публике: «Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий делает каждому человеку дикая путаница твоих понятий... Читай, добрейшая публика! Прочтешь не без пользы. Истина – хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей». Видите, автор романа «Что делать» служит в нем истине, противопоставляя ее, без всяких прикрас, дикой путанице тех понятий, от которых бывает столько лишних страданий каждому человеку. Ведь стоит поговорить о произведении, писанном с такими стремлениями. Само собой разумеется, что я буду говорить об этом романе не иначе, как следуя правилу слова Божия *отделять честное от недостойного* (Иер. 15:19), лучшее от худшего. Если угодно, я пользуюсь романом г. Чернышевского к разъяснению того, что в самом деле, надо нам делать при нынешнем, умственном и нравственном состоянии нашего общества и отечества.

В отношении к такому великому вопросу роман «Что делать», действительно, может пособить здравому образу мыслей распутывать путаницу некоторых понятий, грозящих принести человечеству много, много лишних страданий и бедствий. Возьмем во внимание прежде всего понятие о самых основах нравственных. С одной стороны, возникли (разумеется,

не у нас в России) и стали распространяться (и у нас в России) такие понятия, что в человеке совсем нет свободной воли, что он в своих действиях по необходимости следует поводам и побуждениям, которые, в свою очередь, тоже неизбежно определяются внутренним состоянием человека и окружающей его средой; что нравственная пружина или сила, непреодолимо увлекающая человека к таким или другим действиям по известным поводам и побуждениям, есть именно (и это говорят не может быть иначе) эгоистический расчет, заставляющий каждого избирать то, что для него полезнее или приятнее. Против этих понятий, с другой стороны, восстают с горячей ревностью такие понятия, что подчинять все действия человеческие эгоистическому расчету и объяснять их из этого расчета значит просто отказаться от нравственности и добродетели, а, с устранением свободы человеческой, безнравственность освобождается еще и от всякой ответственности; это, очевидно, было бы верхом пагубных, извращающих весь нравственный порядок, заблуждений. В таком деле, как нравственность, ложные понятия – большая беда, страшная беда; но и недальновидные, близорукие понятия – тоже великая беда; а упрямое противоборство между теми и другими понятиями только усиливало бы эти беды, по чрезвычайной трудности и почти невозможности разбирать путаницу взаимных недоразумений и упреков между держащимися понятий близорукими и прямо ложными. По-моему мнению, г. Чернышевский своим романом «Что делать» дает несколько распутать эту бедственную путаницу в наших понятиях.

Из романа г. Чернышевского видно, что и эгоистические расчеты могут быть различного рода. Марья Алексеевна и Лопухов, кажется, так верно и между собой согласно следуют в своих действиях простому расчету; они оба поступают так, как находят выгоднее и приятнее для себя. Но, действительно, как-то неловко Марье Алексеевне быть на одной доске с Лопуховым. Марья Алексеевна и сама знает, что она злая; поступая во всем по расчету для себя и для своей семьи, она беспощадно делает жертвами своего расчета всех, кого можно,

начиная со своей же семьи. Житейский интерес – это такое божество для Марьи Алексеевны, которому она служит всей душой и жертвует всем; поступать иначе могут, по ее убеждению, только глупцы. Лопухов тоже ищет только выгодного и приятного для себя, но находит выгодным и приятным для себя, извольте видеть, что жертвовать даже самим собой для любимых; да притом еще так мало зазнается своим самопожертвованием, что для него самое это понятие «жертвы» значит не более, как «сапоги всмятку», и он не шутя обидится, если бы приписали ему самопожертвование. Даже в таком случае, когда по совести Лопухов не в состоянии объяснить свой поступок своекорыстием, он всё же назовет свой самоотверженный поступок «благородным расчетом». И, сверх всего этого, этот своекорыстный эгоист – Лопухов относится и к Марье Алексеевне отнюдь не с осуждением, хотя и не стушевывает для себя милых ее поступков и не думает выпрямливать этого пятидесятилетнего дерева. Итак, видно, возможен и бывает у некоторых людей и такой странный эгоизм, или такой удивительно своекорыстный расчет, чтобы быть и поступать, как именно следует человеку, хотя бы пришлось для этого пожертвовать собой; поступать иначе, быть инаковым – для них, извольте видеть, нет уж расчета, нет никакого интереса и собственного удовольствия⁸⁰. Ну, конечно, с таким эгоистическим расчетом можно и не отказываться от добродетели и нравственности. Не правда ли? Нужды нет, если подобные люди; действительно, с ловким расчетом, тактом и умением ведут и все свои дела, до финансовой статьи включительно. Само собой разумеется, что Лопухова и подобных ему я беру только в отношении к эгоистическому расчету, нимало не касаясь других их сторон: они, без всякого сомнения, могут страшно ошибаться в разных отношениях.

Вот, например, этот же Лопухов не только сам думает, но и убедил Веру Павловну думать, что человек действует совсем не по свободной воле, а уступая таким или другим побуждениям и поводам. В известном положении внешнем и внутреннем человек поступает, извольте видеть, так, что иначе и поступить нельзя в его внутреннем состоянии, в его внешних

обстоятельствах и среде; какая тут свободная воля? Вера Павловна, помните, возразила было, что так или иначе двинуть и положить руку он властно по своей свободе и делает это без малейших поводов и побуждений; но оказалось, что и рука двигается, в подобных случаях, все уже по силе побуждений более выгодного, например, положения, хотя бы эти побуждения и не были признаваемы во время движения руки. Отрицать таким образом свободную волю – это, конечно, заблуждение и ошибка...

Но посмотрим и здесь дело ближе и внимательнее.

Когда, в исследованиях о свободной воле, одни думали бы защитить эту свободную волю от отрицания бессознательными движениями руки, независящими, по-видимому, ни от каких поводов, а другие оспаривают свободную волю объяснениями, что и эти произвольные движения руки зависят от побуждений, хотя бы и бессознательных: то подумайте, о какой именно свободной воле тут рассуждают. Тут идет речь ни более ни менее, как о действиях и силе произвола, совершенно пустого или действующего не только без всякой рациональной причины, но и даже без инстинктивного побуждения. *Такой* свободной воли, состоящей в неразумном и вовсе беспричинном брожении, конечно, нет и быть не может у здраворазумного человека; да и в умалишенном произвольные его движения все же должны зависеть от каких-либо темных побуждений, а не бывают вовсе без причины. Совсем иное дело – истинная свободная воля человека; совсем иной вопрос, есть или нет в духе человеческом (действующем не иначе как по таким или другим побуждениям) есть или нет, именно *самоопределение или самоуправление* в своих действиях. В решении этого вопроса надо опираться не на разбор какого-нибудь произвольного движения руки, производимого часто бессознательно, ни даже на свидетельстве сознания, которому конечно, не принадлежит непогрешимость, но на порядке действиях все нравственных сил. Нравственная деятельность невозможна без мысли. Мысль человека, кажется, совсем связана своим внутренним законодательством и порядком, из двух, например, посылок она поневоле должна выводить

следующее из них заключение. Но отнимите самоуправление или (по-другому выражению) «владычественность» у мыслящего разума, и мысль в своей живой действительности будет подавлена, умрет. Нравственные действия одушевляются сердечными влечениями. Попробуйте же посягнуть на самоуправление сердца; потребуйте от сердечных влечений не того, чего хочет само сердце, вместо того, чтобы расположить это сердце так, чтобы оно само свободно захотело удобного вам: принуждениями своими вы задавите и убьете всю жизнь сердца. Потому-то дух человеческий всей своей энергией и глубиной восстает против насилия и посягательства на нравственную его независимость и самоуправление, хотя чрез это самое самоуправление он становится строжайше ответственным в своих действиях. «Главное независимость! Жить, как хочу, делать, что хочу» – говорит с энтузиазмом Вера Павловна, очень легко однако убеждающаяся в том, что в своих действиях мы следуем непременно каким-либо побуждениям и что человеку не дано пустой бессмысленной произвольности. И Лопухов рад слышать такие речи от Веры Павловны, хотя сам же отрицал в человеке силу «делать, что хочу» независимо от поводов и побуждений.

Да, друзья мои! Стремление нашего духа к тому, чтобы не терпеть со вне нравственных насилий и принуждений, и есть не что иное, как именно то, что внедренное в самой духовной природе нашей самоуправление и самоопределение в действиях, возлагающее ответственность за эти действия на нас самих, а не на что-либо вне нас, стремится и во вне раскрыть и выдержать эту свою нравственную независимость. Основание этого стремления есть сама правда: если я сам отвечаю за свое дело, то пусть и не будет мне со вне нравственных насилий и принуждений. Но эта независимость или свобода совсем не то, что неправильный, или ничем разумно последовательным неуправляемый, произвол. Напротив человек, со своим самоуправлением, неизбежно следует в своих действиях таким или другим внутренним побуждениям, хорошим и благородным, если он сам по себе человек порядочный, или низким и пошлым, если он сам

негодяй. Определяя сам себя в своих действиях, человек опять неизбежно же действует не иначе, как по таким или другим внешним поводам, действует как следует человеку, если он, действительно, *настоящий* человек, или действует как зверь, если он точно таков сам по себе. Разумеется, то и другое бывает в той мере, в какой человек сам по себе таков или не таков, как следует быть человеку. Все это наглядно раскрыто в самом начале романа «Что делать», именно в этих личностях – Марьи Алексеевны и других подобных с одной стороны, Лопухова или Веры Павловны с другой.

Так-то просто распутывается здесь путаница понятий, грозящих непримиримым, по-видимому, разделением мыслящих и практических людей, понятий, из которых одни, по-видимому, совсем противоречат нравственному порядку, а другие сопровождаются всепосядающей ревностью без разбора дела. Бокль, отрицающий *свободную волю* (в смысле пустого, независимого от поводов, произвола) ради научного интереса – оградить от возражений идею о «точных законах» в истории, признается, что, если кто допускал бы и свободную волю, только «управляемую сознательными или бессознательными побуждениями», такая мысль «не противоречит взглядам» его – Бокля (см. истор. цивилизации, в Англии. том. I част. I стр. 13 в примечании). Тем охотнее и резоннее мы можем соглашаться с мыслью о том, что действия человеческие находятся в неперменной зависимости от побуждений и поводов, что и по самым поводам поступает человек так или иначе, судя именно потому, каков сам человек; что и внутренние его побуждения определяются внутренним состоянием самого человека, образующимся под неотразимым влиянием и внешней его среды. Таков ведь и есть порядок нравственного самоопределения и самоуправления в человеке. Так в благоустроенном государстве, под самодержавным управлением все идет по разумным законам правды и предусмотрительности, раскрывающихся по требованию обстоятельств; пустому произволу нет места или права ни в чем и ни в ком; но государство, тем не менее, сохраняет и развивает свое независимое самоуправление, делающее его

ответственным за все его действия и распоряжения, и в этом государстве может быть самое неограниченное самодержавие. Так неприкосновенно и внутреннее самоуправление, и самодержавие данной человеку свободной воли! Самые нравственные насилия и принуждения внешние настолько имеют силы над самым слабым человеком, насколько он сам добровольно им уступает. Но мысль о строгом, разумно последовательном порядке, в каком действует наша свободная воля, важна и бесценна для нас особенно в том отношении, что она служит прямым обличением неправоты одного нехорошего нравственного направления, которое у многих в силе. Это есть направление надменного нравственного самооправдания, или, сказать тоже иначе, направление похвальбы заслугой своих дел. Положим, у тебя (говорю я придерживающемуся подобного направления) дела прекрасные. Но вникни в процедуру свои добрых дел, сколько можно, до самого их основания. Ты делал такое или другое прекрасное дело потому, что следовал возникшим в тебе прекрасным побуждениям, а прекрасные побуждения возникли в тебе вследствие того, что Бог тебе дал быть еще порядочным человеком, и ты по этому своему внутреннему состоянию не мог поддаться пошлым и низким побуждениям; а внутреннее твоё состояние условливалось во многом опять совсем независимыми от тебя самого обстоятельствами – например, воспитанием, встречами с добровольными людьми, и проч. подобным. Разбери-ка все это; глядишь – и придется тебе нравственно идти за Апостолом Павлом, сказавшим эти Божественные слова: «Я больше всех их (других Апостолов) *потрудился, но не я, а благодать Божия, которая со мной*»; хотя бы ты еще не выяснил себе, что поступающий так, как следует человеку, и есть именно такой человек, который благодатно живится Духом Божиим, движущим его и внутренними прекрасными побуждениями и внешними поводами к прекрасному и доброму. Положим, с другой стороны, что ты запутался в худых и мерзких делах и однако желал бы освободиться от этих железных пут. Не мечтай достигнуть этого сам собой или своей свободной волей; сам себя не сломишь, или, пожалуй, сломишь, но не выпрямишь.

Дело в том, что ты и захотел бы своей волей шагнуть от прежних мерзких дел к порядочной, достойной жизни, но из твоего внутреннего мерзкого состояния возникают сами собой мерзостные побуждения и увлекают тебя, делая и из внешних твоих обстоятельств только почти одни поводы к привычным порокам. Так или иначе придется и тебе проходить этот тяжелый опыт, который описал также Ап. Павел: «сам не понимаю, что делаю; потому что *не то делаю, что хочу*, а делаю, что ненавижу... Уже *не я* то делаю, а живущий во мне грех... Несчастный я человек!» Да; спасение твое уж не в собственной твоей свободной воле, не в делах твоих, а в благодати Божией, которая переделала бы совсем твое внутреннее состояние, которую тебе и надо повернее узнать и серьезно принять и твердо, деятельно держать.

Вы, добрые мои, может быть, улыбаетесь на эту последнюю мою речь; может быть, говорите или думаете: какое же отношение всего этого рассуждения к роману г. Чернышевского? Но вспомните, други мои, что мыслящий о неуклонно строгом порядке наших нравственных действий Лопухов, действительно, далек чрез это от всякой похвальбы заслугой своих дел. Это, говорит, не более, как благородный расчет – решаться и на страшное самопожертвование для других. Также, с другой стороны, и Марья Алексеевна, сама понимающая гадость своих дел и недовольная ими, как она навеселе однажды проговорилась в этом перед дочерью, по свойственному ей инстинктивному такту основательности смутно как будто понимает, что собственные ее усилия ломать себя были бы напрасны, пока не настигнет ее разве сама благодать своими чудными путями... Это, в сущность или по духу, тоже, что и выше сказано мной.

Но рассмотренные нами нравственные воззрения составляют только грунт этой картины «Что делать». Из них нельзя выяснить самого такого названия романа. Чтобы объяснить это название, а с тем вместе, идею или задачу романа г. Чернышевского, надо обратить внимание на то, какое зрелище из действительности представляется романисту, с нравственными его воззрениями. Романист прежде всего видит,

что наибольшая часть людей водится расчетом собственного интереса или удовольствия, только далеко не тем благородным расчетом, чтобы быть или действовать, как следует человеку. Интерес лишней копейки у людей основательных, удовольствие тонкого (а иногда и грубого, только скрытного) разврата у легкомысленной молодежи, удовлетворение или даже только легкое щекотание пустого тщеславия почти у всех – вот коньки, на которых катаются люди, считаемые другими и сами себя считающие за людей по праву пользующихся уважением своего общества или кружка. Бессмысленность, пошлость, низость, бессовестное попрание прав другого – составляют всегдашнюю свиту подобных людей; только, разумеется, все это закрыто от чужих и даже своих глаз приличием или строгой, рабской верностью принятым условиям общества или кружка. Внешние обстоятельства представляют только поводы и побуждения к тому, чтобы эти люди неизбежно проявляли себя во вне такими, каковы они сами по себе. Выпрямлять эти рослые, кривые деревья было бы напрасным усилием. Но подобные люди составляют большинство, и притом они вовсе не принадлежат к ряду тех, которые так уж и признают себя сами и признаются другими чем-то в роде бывших в иудейском обществе мытарей и блудниц. От людей последнего рода все отворачиваются, и этим парализуют вредное их влияние на общество. Но что делать, когда связанные по рукам и ногам узники принятых условий жизни, рабы лишней копейки, пустого тщеславия, необузданного сластолюбия воображают себя и признаются другими за людей порядочных? Что делать, когда в среду подобных людей, скованных рабским духом с двух сторон – со стороны бессмысленно и лицемерно содержимых ими общих условий жизни, и еще со стороны гадких побуждений собственного их внутреннего состояния, попадется что-либо живое, свободное, честное, хотя и крайне незрелое, едва только изникающее к жизни и проявляющее себя в одних инстинктивных протестах против окружающей его нравственной тирании? Пристрастие к копейке будет торговать этим живым и свободным, как Марья Алексеевна, своей Верочкой, тщеславие будет топтать его в грязь, как Анна Петровна ту же Верочку, а

разврат станет стараться сделать из этого живого и молодого игрушку для себя, как сынок Анны Петровны из той же Веры Павловны; и все это шито, да крыто под общепринятыми условиями, так что протесты этого живого и честного, но слишком молодого, или заглохнут в стесненном его сердце, или обратятся в глазах других в осуждение и укор самому же забиваемому живому. Что тут делать? Что делать, когда подобное, в разных только видах, можно приметить во всяких средах общественных? Ведь, Веру Павловну в материнских когтях Марьи Алексеевны, под гнетущими влияниями Анны Петровны и обольщениями ее сына, можно найти под разными формами всюду. Много, много живого или могущего быть живым глохнет, томится и замирает в разных нравственных погребах нашей жизни. Что же делать для освобождения жизни из заключения в этих погребах?

Этот чрезвычайно важный вопрос в романе «Что делать» разрешается следующим образом. Если пятидесятилетнего корявого дерева не выпрямишь, то испорченное в нас на смерть и пусть уж постепенно умирает: надо спасать в нас то, в чем еще есть жизнь или надежда жизни в будущем. Как спасать? Если живое или могущее быть живым, но заключенное в каком-либо мертвящем нравственном погребе, неминуемо должно замереть в среде этого погреба; то надо, во чтобы то ни стало, изводить живое из могилы, где оно заживо погребается. Пусть люди, держащиеся того благородного расчета, чтобы во всем быть и действовать как следует человеку, готовы будут на все, только пусть от всего сердца протянуть руку забиваемому живому. Пусть с Лопуховым найдут для себя интерес и удовольствие испортить или бросить всю свою карьеру, чтобы только не дать заглохнуть в каком-либо нравственном погребе свежему и живому, только еще слишком незрелому существу или принадлежащему многим существам направлению. Пусть они соединят свою судьбу с этим направлением, пускаясь для того на всякую опасность, и в то же время; пусть не менее Лопухова так будут настроены, чтобы отнюдь не видеть в своем деле какой-либо жертвы: допущенная ими мысль о тяжести и важности их жертвы испортить все их дело, а потому пусть гонят

они от себя эту мысль, как явную нелепость, как что-то в роде «сапогов всмятку». Вот что нужно делать для освобождения свежей жизни, составляющей надежду лучшего для всех нас, из разных нравственных погребов! Так именно поступил Лопухов, женитьбой на Вере Павловне испортивший свою ученую карьеру, зато успевший вывести из погреба это благородное, по инстинкту чуждающееся низкого нравственно рабского духа, создание и дать ему почувствовать призвание содействовать освобождению и других из их духовных погребов.

Но это только одна из сторон идеи романа «Что делать». Романист настолько знает действительность, что начатки или залогов свежей, новой жизни видит в крайней опасности умереть не только от окружающей его нравственной тирании, но и от собственных обольщений и обманов. Какое обыкновенное в наше время явление, что мысль живая, светлая, любознательная, душа благородно свободная поклоняются какому-нибудь презренному кумиру, увлекаются, до самопроизвольной слепоты каким-либо фальшивым началом, вся сила которого для обольщаемых часто состоит только в одном – в порицании или отрицании этого ложного начала такими или другими авторитетами, разумно впрочем убежденными в его пустоте и лживости. Весьма представительна в этом отношении личность Екатерины Васильевны Полозовой, увлекшейся до смертельной для себя опасности недостойным человеком только из-за того, что отец ее не хотел принимать в свой дом этого негодяя. Что же делать в таких обстоятельствах? Запрещать увлеченной призраком живой душе, связывать и поражать обманутую мысль одними осуждениями идола ее значило бы только убить эту живую душу, закрепить эту свежую и благородную мысль в ее плену; потому что она и увлеклась своим идолом, главным образом, вследствие запретительных мер. Беда усиливается до страшных размеров, если те, от кого зависит руководить и наблюдать молодую мысль, направлять свежую любознательную душу, не только по своей правдивости, но и по самой заботливой о своем дорогом дитяти любви скорее согласятся на его смерть, чем даже только наружно снизойдут к

его увлечению негодным и губительным призраком. Таков именно старик Полозов. По-видимому, исход подобного столкновения между священным и в данном случае вполне правым авторитетом «отцов» и увлекающейся обманчивыми призраками мыслью и душой «детей» возможен только один, истинно трагический: последние замрут, погибнут жертвой впрочем не своенравной рутины отцов, но, увы, самой их заботливости и любви. Итак что делать, чтобы помочь этой нашей беде?

В романе «Что делать» этот вопрос решается вот как. Надо, во чтобы то ни стало, живой душе с ее свежей увлекающейся мыслью дать свободно отнестись к ее идолу: она сама увидит его пустоту и ложь, и тогда без всяких внешних понуждений сбросит бездушного идола с его пьедестала. Пусть свободная любознательная мысль сама испытает, что это за начала, ее отуманивающие и ослепляющие; и тогда одной ее простой добросовестности и искренности достаточно будет, чтобы не только не стоять за лживое начало, но и самой вооружиться против оболстительной его призрачности. Ведь бывают разные возрасты у человека и у человечества. Если теперь такой уж возраст для человечества, что оно неотступно требует отчетливости и самостоятельности; то было бы неразумным упрямством водить на помочах того, кто уж имеет живую потребность и восприимчивость к ходьбе без помочей. Екатерина Васильевна погибла бы, и, что особенно важно, погибла бы тихо без всяких жалоб и протестов, если бы отец ее решительно заупрямился снять с дочери свою строгую опеку относительно ее выбора или замужества. Поэтому и в том случае, когда подобное упрямство поддерживалось бы не просто рутиной и мраколюбием, которым не жалко человека, хотя бы и сына или дочь родную, но самой заботливой отеческой любовью, нехотящей отдать своего детища губительному началу – и в таком случае надо во что бы то ни стало так ухитриться и извернуться, даже решаясь идти сам или отдавать другого на смертельную опасность, чтобы заботливая любовь, по крайней мере, из-за этой опасности сняла свою строгую запретительную опеку с любознательной и

свободолюбивой мысли или вообще души и дала ей самой прямо и самостоятельно взглянуть на своих идолов... Так именно поступил Александр Матвеевич Кирсанов для того, чтобы навести упрямого Полозова на спасительную решимость дать своей дочери Екатерине Васильевне полную свободу выходить замуж за презренного негодяя, которого вскоре она сама разглядела и прогнала к несказанному утешению любящего ее старика отца и к собственному своему счастью.

Так, и действительно, чрез человеколюбивую до самоотвержения веру только бы удержать искреннее, благородное живое направление юной мысли и воли под осенением Всевышнеотеческой любви: такая мысль и воля рано или поздно сами отвернутся от своих губительных призраков и идолов, самостоятельно дознав их фальшивость. Но меры исключительно запрещения и внешнего стеснения против заблуждающей даже мысли и воли станут только, пожалуй, поддерживать и возбуждать упорство в заблуждении, а то, и без упорства, благородная мысль замрет в унылом томлении.

Но в романе «Что делать» затрагиваются и другие еще стороны современных наших затруднений, стороны, относящиеся к внутренним и особенно глубоким условиям нашей жизни. Чтобы меня не перетолковали, выведу дело из сферы жизни известных личностей⁸¹ в чисто духовную область разных направлений и стремлений, сталкивающихся и сходящихся или расходящихся между собой в жизни⁸². Скажу другими словами: буду говорить собственно не о браках Веры Павловны с Лопуховым или Кирсановым, а постараюсь уследить выразившиеся в этих обстоятельствах стремления и направления духовные, приходящие во взаимное столкновение и взаимодействие в действительной жизни.

Наблюдающему за движением у нас идей и направлений не трудно приметить, что и порядочные направления иногда задерживают и путают человека или по несообразности своей с его духовными потребностями, или по влиянию других направлений, парализующему его деятельность. Так человек, честный и строгий, неуживающийся с фальшью, находящийся выгодный для себя расчет не остановиться ни пред каким

самопожертвованием во благо любимых, связывается внутренне с особенно свободолюбивым и притом крутым духом, а ему сроднее и нужнее было бы умягчаться и умиряться под тихими влияниями отчетливой, знающей себе меру и кроткой мысли; потому что в противном случае твердое и благородное направление находится у него в опасности перейти в жесткое упрямство своеволия и погрузиться в тяжелое самодовольство. Автор романа «Что делать», кажется, знает это по опытам. С другой стороны, человек гуманный, общительный, любознательный сиротствует иногда в нравственном, неестественном ему, одиночестве, тщетно ища себе соответствия и сочувствия в людях, которым он готов бы посвятить всего себя, и потому он находится в опасности утратить истинную, здоровую энергию и сделаться чем-то в роде забитого чернорабочего: а несочувствие и несоответствие ему происходит именно от жесткого упрямства и самодовольства, в которое впадают люди твердые, задающие тон большинству слабых или легких в обществе. Так и лучшие люди, с задатками новой жизни, попадают в ряд худших людей, или просто пропадают от того, что одни из них отдаются несродному им, задерживающему и очерствляющему их направлению; а другие, в следствие жесткости и влияния первых, остаются без всякой внимательности и сочувствия к себе общества и погибают под гнетом нравственного одиночества⁸³. Что теперь делать в таких бедах или запутанностях, происходящих от столкновения и взаимодействия наших направлений? Улучшать, изменять эти направления? Легко сказать! Ведь принять то или другое направление значит для нашего духа тоже, что, например, вступить в брачный союз с такой или инаковой личностью. Апостол Павел именно к брачному союзу приравнивает принятие направления иудейского, подзаконного, или благодатного, Христова. Пока живо для тебя то или другое направление, тебя нельзя и развести с ним никакими способами; можно, пожалуй, ввести тебя только в непримиримое, мучительное и разрушительное для духа, противоречие и борение между двумя несовместными

направлениями, так что ты будешь то невольно следовать привычному для тебя направлению, то рваться к новому, лучшему для тебя, направлению. Твое положение будет хуже противоречивого себе положения Верочки, когда она отстала от мужа и отдалась другому, сознавая однако и чувствуя неизбежную свою зависимость от доброй воли мужа. Что же тебе делать, когда ты увидишь, как дисгармонично, не сродно с благоустройством твоего духа и вредно для других принятое тобой направление, и как, однако, крепко оно срослось с тобой? Делать больше нечего, как, во что бы то ни стало, умереть тебе для твоего привычного направления; тогда только ты с ним развяжешься. Нужно тебе, если тебе действительно дорого благо твое и благо зависящих от тебя, смертельным подвигом поворотить свой дух с худшей для него дороги на другую лучшую. Лопухов мог освободиться от союза с разъединившейся уже с ним Верой Павловной только несомненной для закона смертью своей; и Вера Павловна освободилась от своего мужа только чрез засвидетельствованную законом смерть его, чтобы уж без всякого стеснения или с полной независимостью, необходимой в подобных отношениях, выйти за другого мужа...

«Стой, стой, – слышатся мне при этом такие вопли, – ведь это значит оправдывать ту антихристианскую, безнравственную штуку, что женщина, при живом муже, выходит замуж за другого и мужчина, при живой жене, женится на другой женщине. Чернышевскому можно салфеткой зажимать рот своему читателю, но только в своем романе; а всё же дело очевидно, что Вера Павловна, на самом-то деле, вышла за другого мужа, при жизни первого мужа, а последний женился на другой жене, при жизни первой жены». Вот что я отвечаю на подобное возражение: общая мысль или правило может быть строгой истиной, но применение этого общего правила или общей мысли к частному случаю, сделанное без всякого внимания к особым условиям этого данного случая, будет фальшиво; общее правило однако не потеряет своей истинности чрез фальшивое его применение. У автора романа «Что делать» предносилась в уме общая истинная мысль, что не развяжешься с мужем или

женой, также как с вошедшим в твою жизнь известным ее началом и направлением, пока не перестанет жить для тебя это направление и начало, муж или жена, или пока ты сам не умрешь. Что же касается самого брака от живого мужа или жены с другим мужем или женой, г. Чернышевский, по-видимому очень и очень мирволющий подобному браку, представляет очень важное психологическое доказательство незаконности или ненормальности этого брака. Чернышевский берет особенно благоприятный для подобного супружеского союза случай, именно такой случай, когда муж и со своей стороны соглашался бы на связь своей жены с другим сторонним лицом; но и в таком случае, по психологическому анализу г. Чернышевского, оказывается неестественным и противоречащим духу нравственной самостоятельности женщины, чтобы, в своем сожительстве со сторонним лицом, быть ей в зависимости от доброй воли или дозволения своего мужа. Вера Павловна у г. Чернышевского хорошо это высказала. Да! Как человек не хитри оправдать или дозволить разлучение того, что Богом соединенно: с ложью подобных ухищрений всё же не согласится самый дух человеческий в своих внутренних и заветных глубинах. И потому Лопухов, действительно, прав в том отношении, что верным и прямым средством к освобождению от себя своей жены признал одно – смерть свою. Но сколько, заметим, в исполнении этого или в применении к делу допущено ужасных фальшей, я этого не касаюсь, следовательно и не оправдываю.

Непреложено и благо слово Законодателя благодати: «Кто разведется со своей женой *не за прелюбодеяние*, тот заставляет ее прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Мф. 5:32). Только надо понимать и применять этот закон благодати именно в смысле самого Законодателя, чтобы от действия этого закона, несогласного с мыслью человеколюбивого Законодателя, люди не доходили до ужасных крайностей. А по мысли Законодателя под понятие *прелюбодеяния* (составляющего единственное условие для развода) подходят даже взгляды, *воззрения на жену ко еже вожделети ея* (Мф. 5:28), следовательно, тем

более, упорные симпатии к сторонним и антипатии к своему мужу или жене... Роман г. Чернышевского дает повод к серьезным думам по этому предмету. Или роман – выдумка, сказка, «побрякушка», которая пред серьезными деятелями общества не стоит и внимания? Но мне и не из романа, а из самой жизни известны одна благородная душой женщина, которая готова взвалить на себя пред всем светом всякую грубую и тяжелую вину *словесе любодейного*, чтобы только освободиться от нетерпимого мужа, обращающего жизнь ее в ад, и еще один муж, который, до самой смерти явно развратной своей жены, не мог отделаться от нее из-за того одно, что она умела ловко устранять непосредственных свидетелей позорных своих дел, хотя она составляла заразу для детей и истощала все состояние мужа. Что делать в таких случаях? Это вопрос слышан, повторяю, из самой жизни, а не просто из романа г. Чернышевского «Что делать». Впрочем мое дело *вывести*, отделить лучшее в романе от худшего, *честное от недостойного*, отделить так, чтобы лучшее, честное поставить на открытый вид, а худшее, недостойное оставить собственной его пустоте и мертвости.

Ведь лучшее-то здесь (именно эта мысль, что для освобождения себя от того, что вошло уж в твою жизнь, надобно умереть или тому, что так сроднилось с тобой, или тебе самому) имеет бесценную важность для дела нашей мысли и жизни. Вот у нас в журналистике есть два главные направления. По одному из этих направлений уж не держатся Христа, как единой всеобъемлющей и всевыясняющей истины, однако стойко любят истину и умеют отстаивать те или другие, дознанные хотя бы только до наибольшей вероятности, стороны истины; и только бы подобные деятели мысли и слова были строго честны пред истиной, не совсем еще чужд им Тот, Кто есть сама истина и единственный муж или жених человеческой мысли и души. Но они чтут Его только как *неведомого* (Деян. 17:23). Им хорошо, что Он, светящий всякому человеку, грядущему в мир, держит и их не столько во тьме, сколько во свете, и они довольствуются этим. Но ведь остановиться на этом нельзя им; если они не пойдут от света в осязаемую тьму пренебрежения истиной, то

надо же им отчетливее уразуметь истину и решительно упрочить за собой ее свет. Иначе не уживется с ними живая, свободная восприимчивость к истине; рано или поздно она оставит их, если они не пойдут дальше по пути к истине, и найдет для себя других более сродных себе деятелей. Так Лопухову хорошо было с Верой Павловной, и он был верен ей, но она, не найдя в нем полного удовлетворения себе, наконец сама отвернулась от него своим сердцем, чтобы отдаться уже другому. Как ни тяжело было бы для подобных деятелей мысли и слова, но придется и, кажется, уже не пришлось ли им вступить в подвиг мысли – умирать для принятого ими начала, пренебрегающего прямым воззрением ко Христу. Им надо дойти до другого начала, для них нужна другая невеста – мысль, уже прошедшая опасное искушение привязанностей к призракам и идолам, сама по себе свободно распознающая их пустоту и ложь, и тогда именно будет «Пасха», как, с приветами и радостью воскресения, проговорила Вера Павловна, когда к ней явилась, давно уже отвергнувшая своего идола, Екатерина Васильевна с известием о своем избранном Американце...

Что касается другого из господствующего направлений современной нашей журналистики, отношение этого направления ко Христу как-то двусмысленно. Деятели этого направления благорасположены к христианству, но, по недостатку ли прямооты и честности пред истиной, или по несовершенству понимания христианства, или по вниманию к несозревшему еще по этому предмету мнению публики, не поднимают знамени Христова, как знамени единой для всех и всего истины. У их мысли как будто два мужа; кажется и не разберешь, с которым из них она более живет, т.е. Господу ли и Спасителю нашему она более служит или другому какому началу. Право, это стоит брака от живого мужа или от живой жены с другим мужем или женой. То правда, что между слепыми и кривой в чести; благорасположение к христианству, хотя бы и неотрешившееся от разных любимых идолов, кажется ближе к истине, чем равнодушие к нему других или даже отрицание. Но строго держась того воззрения, что не годится служить двум господам и что, в особенности, не годится иметь двух мужей

или жен, мы не должны потакать подобному двоедушному направлению мысли и слова. Жюли со своим Жоржем в романе «Что делать», по моему убеждению, все же лучше выдерживают супружеские отношения (хотя они не супруги), нежели такие супруги, которые, под прикрытием своего супружеского состояния, без всякого уже зазрения совести дозволяют себе связываться «на стороне» с многими... В области мысли и слова подобное явление столько же ненормально и безобразно... Говорю против этого направления с особенной резкостью единственно потому, что кажущаяся его благовидность, успокаивая и самих деятелей подобного направления и располагая к ним многих, именно и опутывает многие души ложью до такой степени, что и лучшие люди не видят нужды выпутываться из этой лжи двоедушия. Да оно и кстати, чтобы, ревнуя о святине брака против романа «Что делать», напомнить еще высшую святость нашего сочетания со Христом, тоже нетерпящую оскорблений и нарушений двусмысленными нашими отношениями ко Христу.

«Но Вы, милостивый государь, – слышатся мне еще возгласы с другой стороны, – Вы слишком наклонны к аллегории, которая отдаляет Вас от речи о прямом содержании рассматриваемого романа». Подобного возражения, милостивые государи, я не могу принять. Я ведь не то делаю, чтобы приравнивать совершенно разные вещи одну к другой, идя по их сходству в некоторых отношениях. Я, напротив, беру во внимание сущность данной вещи, основную мысль рассказываемого в романе факта; и эта самая мысль – не сторонняя факту, а составляющая его сущность, выражающая его силу и закон, оказывается в своей отвлеченной общности чрезвычайно широкой, обнимающей и другие факты, насколько последние раскрывают в себе такую же силу и совершаются по такому же закону. Это совсем не аллегория, а, если угодно, углубление в самый корень вещи, такой корень, в котором она имеет внутреннее соотношение или даже единение и с другими вещами – в корне своем такими же. Вспомните тот разговор Лопухова и Кирсанова, когда они разобрали всю сущность предмета, который им надо было выяснить, и однако не

употребляли ни одного слова и понятия прямо об том предмете. Удивительное дело! Они следили прямо сущность своего предмета и выражались об этой сущности без всяких аллегорических обиняков и намеков; однако сущность обсуждаемого ими факта, общая этому факту с другими фактами такой же сущности, дозволила им ссылаться прямо только на эти другие факты и не употреблять прямых выражений о своем, слишком щекотливом для обоих, предмете. Так точно, что касается и моей речи о романе «Что делать?», я не нашел другого, кроме употребленного мной, образа рассуждения и речи более удобным для того, чтобы в содержании этого романа поставить на вид все лучшее без всякого унижения и омрачения этого лучшего худшим, что есть в том же романе, и в то же время, чтобы не оправдать и не возвысить в романе ничего из этого худшего, перемешанного с лучшим. Из живейшего рассмотрения романа «Что делать?», может быть, и вы увидите, что мудрено было бы другим манером выследить все существенное в этом романе. Продолжаем же рассматривать его содержание.

Задача, принятая в романе «Что делать?», состоит в разъяснении не только того, как сделать современному человеку или обществу первый решительный шаг к своему выходу в новую лучшую жизнь из худшей, именно (из опутавшей человека деспотии пошлостей в понятиях и жизни, из разных его вредных и ошибочных увлечений, поддерживаемых иногда самой даже благонамеренностью близорукой, из опасного столкновения направлений, имеющих даже многие добрые стороны), но и в раскрытии постепенного дальнейшего хода этого общества или человека до такой степени, которую теперь едва ли отличишь от сладкой несбыточной мечты. Самая первая или ближайшая к среде худшей жизни ступень, представляющаяся тотчас же по выходе человека в лучшую жизнь, оказывается лучше, по мнению автора романа, устройство семейного быта или супружеских отношений. Взятое только в своей внешности, это устройство семейных отношений у г. Чернышевского причудливо до забавного и смешного. Дело в том, изволите видеть, что надо супругам завести в своей

квартире или доме три отделения – одно для мужа, другое равное первому для жены и третье нейтральное, куда оба супруга могли бы сходиться для взаимных совещаний, для принятия общих гостей, для обеда или чая и т.п., а в нейтральное отделение ни тому ни другому, без позволения, не показывать и носу, и притом являться друг перед другом до конца жизни во всей парадности сторонних людей, или жениха и невесты, и так далее. Какова наружная сторона этого устройства, взятая без внимания к его сущности или внутренней его силе?!... Без улыбки мудрено и пересказывать о таком учреждении. Да кроме того, оно не достигает и цели, для которой придумано, как видно из самого романа «Что делать»: оно придумано для той цели, чтобы супруги не могли опротиветь друг другу, а на деле оказалось, что Вере Павловне, выдумавшей такую диковинку, именно и опротивел ее первый муж до совершенного расстройства их супружества. Но возьмите во внимание самую сущность дела: увидите, что насмешливо улыбаться тут не над чем. Каждый человек, как бы тесно ни сближался с другим, особенно в супружеском союзе, все же имеет свою индивидуальность, или такие личные особенности во всем, которых другая, соединенная с ним личность, не имеет. Пусть же оба супруга со всей любовью и уверенением выдерживают и соблюдают друг в друге, со дня своего союза до смерти, индивидуальные особенности по образу мыслей, по стремлениям и движениям сердечным, по отношениям к другим. Пусть в этом отношении у каждого из супругов будет, так сказать, особая комната, досточтимая друг для друга, как святая тайна человеческого индивидуального бытия; в эту комнату одного из супругов другой может входить не иначе, как с открытием дверей от первого и притом с деликатностью тех прекрасных дней, когда они были еще женихом и невестой. Супруги тогда, с самым верным тактом, будут поддерживать и возвышать друг в друге добро и ослаблять, исправлять взаимные недостатки без малейшей тени насилия и стеснения друг друга в личной самостоятельности каждого из них. Личные их особенности, не подавляемые, а развиваемые свободно столько же и в жене,

сколько в муже, будут взаимно дополнять себя в единстве супружеской их жизни, соединяя с этого полнотою их бытия живое разнообразие, отгоняющее от них самую возможность наскучить друг другу до смерти. Нейтральная или, точнее, общая для обоих комната своего рода также необходима для счастья супружеской жизни. Пусть супруги, во первых, выяснят себе, насколько сходятся они в своих вкусах, в складе мыслей, в движениях и расположениях; а во вторых пусть живее сознают и почувствуют глубокое и в высшей степени жизненное основание своего супружеского единения, именно – отображение и действие в их союзе благодати Божественного союза между единым Господом и единой Его Церковью, – такого союза, в котором Господь Собой пожертвовал для своей Церкви и Церковь живет только Его духом, составляя живое благодатное Его тело. Это и пусть будет общей для обоих супругов комнатой, в которой они сходятся вместе, не позволяя личным особенностям своим выходить из общности единства их супружеской жизни, сообщая устраивая свою жизнь и быт, сообщая вкушая радостные блага, горечи и страдания жизни.

Вот эти-то три комнаты или отделения надо заводить супругам для благоустройства своего быта, для упрочения всего лучшего в супружестве! И когда будет у них самая сущность дела, то, пожалуй, можно будет им проводить это начало и во мне, чрез устройство и вещественных трех комнат, если позволят другие условия жизни. Только путь они и и выдерживают относительно своих трех комнат самую сущность дела. Тогда будет толк. Вера Павловна и Лопухов не спаслись своими тремя комнатами. Но когда впоследствии он и она, уже в новых своих отношениях, сделались внимательнее и к своим особенностям, и к особенностям связанных с ними людей, и яснее сознали, что у них общего с этими людьми, тогда дело у них обоих пошло лучше.

Здесь заметим, что взятое в самой сущности, а не в одной внешности дела, это устройство трех комнат (именно, строгое уважение или соблюдение в духовной самостоятельности индивидуальных особенностей другого, бережное охранение и собственных таких же особенностей и наконец практическое

выяснение, в чем один с другим сходятся или что имеют общего между собой) благотельно и нужно было бы не только в супружеских отношениях, но и в отношениях дружбы, знакомства, всякого рода общежития, для школ, особенно высших. Сколько у нас по всем частям бывает взаимных между людьми недоумений, разделений, нестроений собственно от того, что один старается ломать другого в свою индивидуальную мерку, без всякого внимания к собственным его индивидуальным особенностям! Опять, сколько неприязней и проклятий бывало и бывает у одних в отношении к другим от того, что та и другая сторона упорно не хотят войти, так сказать, в нейтральную комнату, имеют в виду только то, в чем они разнятся между собой без всякого испытания, нет ли и у них, у обеих сторон, чего общего и согласного, и притом очень немаловажного! Вот Василий Великий, не имея возможности отнестись дружески к язычнику – Ливанию по единству веры, вел с ним дружескую переписку по единству и общности им обоим интересов науки и литературы. Этот последний интерес у великого отца, конечно, уже закреплен был для него самого на началах веры и благодати, а потому он в своих отношениях к Ливанию, держащихся на основании этого интереса, незримо навевал и на этого язычника веяние благодати, положим только предварительной. Как это хорошо и достойно христианства! Не забуду я и современного прекрасного примера, как именно наш Гоголь был внимателен и сочувствен к индивидуальным особенностям того, с кем он сближался, как чрез это незаметно он ставил человека в то настроение, каков этот человек сам по себе, а не каким хотел бы показаться, как последний, вследствие того, умирался и благоустроивался внутренно, отбрасывая всякую фальшь лицемерной внешности; и заводилась между ним и Гоголем сладкая братская речь со всей свободой с той и другой стороны. Не помню, чтобы в воспоминаниях об Гоголе указали на эту его черту, высоко его характеризующую. Что касается в особенности до школ, расскажу свой собственный опыт, когда я был в одном высшем учебном заведении. Относясь к студентам с сочувственным вниманием к личным особенностям каждого, внушая и им такое

же уверение к индивидуальным особенностям друг друга, я имел редкое счастье видеть в обществе моей молодежи точно живой организм, в котором каждый член знает и отправляет свое дело и все члены свободно и самостоятельно следуют одному началу. Случилось, однако, что несколько молодых людей стали обнаруживать в нашем общественном организме нечто, похожее на конвульсивные движения холеры: корчились, упрямылись, выходили из общего настроения. Это меня очень огорчало, когда мои усилия поправить дело оказывались, по пословице, как к стене горох. Но остановился я наконец на счастливой мысли: «Не гну ли, не ломаю ли я в чем эти молодые ветви под свою мерку, неведомо для меня самого и против моих собственных правил? Можно ведь и утонченным образом подавлять духовную самостоятельность вместо ее направления или исправления». С этой мыслью я стал присматриваться к упрямам со всей бережностью и опасливостью, не подавляю ли я в них чего лучшего, Христова, и собственно этим не возмущаю ли их дух, так что из его глубины подымается всякая тина и грязь; внутренно я стал более себя, нежели их, винить в их беспорядочности, хотя по наружности ничего особенного не вводил в наши отношения. Что же? Прежде всего в жестких и упрямых из взорах я стал примечать живительный огонек возникающего в них сочувствия ко мне. Потом оказались в них, действительно, непримеченные прежде мной лучшие черты, нужные и для всего нашего общества и особенно желанные для меня. Так-то взятая в своей сущности мысль, чтобы в таком или другом обществе, заводить или уважать особые комнаты каждого в обществе и вместе держаться нейтральной для общества комнаты, общих порядков и стремлений, начал или надежд, эта мысль очень и очень может быть пригодной ко многому у нас для устранения разных современных неурядиц.

Другая ступень нашего восхождения от худшего к лучшему романом «Что делать» указывается в надлежащем труде для снискания насущного хлеба. Известна одна из главных мыслей «Современника»: «Прежде ученья дай хлеба народу и он заведет у себя школы, сам выучится». Эта мысль, как и другие

коренные мысли «Современника», в романе «Что делать» выяснена несравненно более, чем в философских и других подобных статьях «Современника». Тут впрочем опять надо различать наружную сторону дела от внутренней и существенной. По наружности дело было такое, что Екатерина Васильевна Полозова, ища себе дела, полезного для других, начала учить детей, а потом, как бы по заказу «Современника», рассудила, что прежде учения надо лучше позаботиться о доставлении людям, с юного из возраста, хороших средств для снискания хлеба, для лучшего удовлетворения насущных потребностей жизни. Оказалось, что, как нарочно по мысли или желанию Екатерины Васильевны, уже были заведены другими две образцовые мастерские, где рабочие девицы, по умным распорядкам, заживали сытыми и довольными, чуть не с роскошным комфортом. Во всем этом, взятом чисто в своей внешности, человеку и обществу слишком мало можно поживиться уже по тому одному, что эти мастерские, в отношении и к их хозяйкам и к работающим девицам и к самому ходу работ, слишком идеальны и несбыточны пока в наше время. Не говорю уж о том, что иметь в виду только наружное, физическое, материальное значит оставлять нетронутой или без всякого развития ту благородную человеческую сторону, развитию которой, по мнению высказываемому в романе «Что делать», может послужить особенно женщина, равноправная с мужчиной (конечно Кирсановы – муж и жена рассуждали единодушно, что при перевесе мужчины над женщиной будет всегда иметь перевес грубая и насильственная материальная сила пред свободной и разумной, нравственной). Но посмотрим в сущность дела этих мастерских. Первое, что вас приятно поражает в них, это конечно то, что хозяйка мастерской оказывается достойной женщиной или, по выражению романа «Что делать», человеком таким, как следует быть человеку, что и работающие девицы, с первого же раза, или с самого их помещения в мастерской, поставлены так, чтобы и каждой из них быть человеком, как следует; отношения между хозяйкой и работающими тоже человеческие; также как и взаимные отношения работающих тоже по человечески устроены (чрез

распределение заработок), что и соревнованию их между собой есть место и не изгоняется сестринская внимательность одних к нужде и немощи других. Вот ведь что хорошо! Вот почему эти мастерские не дурно придуманы в образчики, как надо устроить для народа способы к снисканию хлеба и всего подобного. И так скажем же теперь упомянутую выше общую мысль «Современника» (дай наперед хлеба народу) – в надлежащей полноте и определенности: прежде или более устройства школ народных, надо озаботиться доставлением или устройством для народа, особенно для молодого его поколения, таких способов к снисканию средств удовлетворения жизненных потребностей, чтобы и хозяева и работники были в человеческих между собой отношениях, чтобы хозяева не одних мастерских, а еще и семейств находили для себя расчет и выгоду в добропорядочности и, сколько можно, спокойном довольстве своих подручных не допуская в них не только своеволия, но и забитого, пугливого духа, чтобы в работающих и вообще подручных в каком-либо деле открыть самыми распорядками свободное место для духа соревнования и вместе вспомоществования взаимного. О, как было бы это нужно для современного человека и народа нашего! Нужно это именно, как самый хлеб насущный, который и будет таким образом снискиваться и употребляться человеком, как именно следует человеку.

Вот в «Современнике» же приводили один в высшей степени грустный факт, рассказанный сначала в «Московских ведомостях», факт, в котором имеющий ухо слышать может расслушать вопль нашего народа о помощи ему в означенном отношении, особенно при нынешнем переходе многих миллионов народа в новое состояние: где-то два мужика (из них один зажиточный) вздумали (по «инициативе» именно зажиточного) сделать такую сделку, чтобы дети одного перешли к другому, а для этого, чтобы эти мужики поменялись и самими своими женами; такой сделке не только не противилось, но напротив сочувствовало и отчасти помогало и все местное крестьянское общество. «Современник» поспешил сделать из этого факта такое заключение, что, дескать, просвещение

России христианством, совершенное чрез Св. Владимира, далеко не вошло в самый дух нашего народа. Но если взять во внимание, что мужики, вразумленные «мировым» оставить подобные замыслы, толковали между собой: «А еще, бают, воля дана мужикам»; то справедливее будет то заключение, что наши мужички большинством своим относились к своему дорогому православию, имя которого они внесли даже в самое любимое свое название («православные») относились до ныне, именно как дети искренние и чистосердечные, но за то и безотчетливые, и что поставленные новым своим устройством в свойственную зрелому возрасту самостоятельность, они естественно выражают ее по местам иногда разными ребяческими выходками. В такое-то время, в таком-то состоянии народа доставлять народу способы к тому, чтобы он снискивал насущный хлеб или вообще изыскивал средства удовлетворения жизненных своих потребностей именно так, как следует человеку, это действительно еще дороже и нужнее школ, в устройении которых, для их благоуспешности и вместе для развития духовной самостоятельности народа, надо непременно допускать уж деятельное участие самого народа...

Но как доставить народу такие способы? Много ли найдется хозяев или хозяек, сколько-нибудь в роде Веры Павловны (как мы ее понимаем, отделяя лучшее от худшего), для мастерских или хоть даже просто для кружка семейных подручных? От нас не далеки еще вот какие факты: один сапожный мастер мне рассказывал, как он, живя с артелью у одного хозяина, навлекал на себя и на артель свою яростный гнев этого хозяина, если до его ушей долго не доходили веселые звуки ударов от плеток и арапников и жалобные вопли рабочих мальчуганов, и как этот мастер, для успокоения хозяина и даже в видах его благоволения к себе и артели, прибегал часто к такой хитрости: делал фальшивый вид экзекуции, с ловкостью ударял своей рукой об другую свою же руку над чьей-либо головой, которая со своей стороны должна была, на этот раз, верещать без памяти. А то вот еще образчики духа взаимного соревнования и вспомоществования в рабочем простонародьи. Один крестьянин – отец семейства, состоящего из четырех

малолетних детей, лишившихся уже матери, при своей смерти поручил этих сирот попечению доброй и набожной вдовы, еще довольно крепкой здоровьем. Эта женщина поддерживала осиротелый дом в продолжении нескольких лет, обрабатывала землю как мужчина, успела вырастить и выдать замуж старшую девицу, других учила грамоте; я их видел и свидетельствую, что веселый, бодрый вид двух мальчиков и еще девочки показывал в них вовсе не сирот, а здоровых, довольных детей у лучших родителей. Что же? Нашлись соребренатели доброго дела, подвергли эту необыкновенную, хоть и простую, женщину вздорным клеветам, возмутили все местное общество и, после разных оскорблений и даже чуть не телесного наказания вдовы, покончили тем, что ее выгнали из дома, самый дом сирот заперли и запечатали, а сирот отдали какому-то дрянному родственнику. И в обществе не нашлось человека помешать этому незаконному распоряжению, которое многие сами же понимали в его несправедливости; священники боялись ответственности за вмешательство в мирские дела чрез выяснение, какова эта женщина. А общество крестьянское, так опозорившее себя, принадлежит к обществам достаточным и обилующим грамотеями. Это не вымышленный и нимало не подкрашенный факт. Вдруг ли тут найдешь что-либо похожее, разумеется в своем роде и форме, на работающих в мастерской Веры Павловны? У нас еще вот что водится, когда бывает дело не напоказ (ныне уж и простонародье умеет рисоваться напоказ): один пятилетний мальчуган Серёжа бросил камушек в окошко избы своего отца, сначала не нарочно, а так наудачу, стекло зазвенело и разбилось, мальчугану это и понравилось и испугало его; но сидевшие пред окном мужики ободрили его: «Серёжка катай еще», кричали взрослые дураки в один голос мальчику, который и давай себе бросать камушки в стекла на удовольствие мужицкое; несколько стекол было разбито, а мужики знали, что каждое стекло обойдется хозяину не менее 20 или 25 коп. серебром. В других только формах, а как много подобного опытный человек найдет всюду! Все подобное с одной стороны истинно вопиет о потребности крепкой, искренней заботы о том, чтобы простой человек мог, как

следует человеку, снискивать самый свой насущный хлеб, а с другой возбуждает унылую и безнадежную мысль, что рабочие общества или мастерские, в роде например тех, какие изобрел г. Чернышевский, остаются пока в области мечтаний. Это тем более, что и в нашей журналистике и литературе, нечего греха таить, подобный же дух взаимного соревнования и вспомоществования братским вопиющим нуждам. Как тут быть?! Откуда взять и для хозяйства и для рабочего дела нужных людей?

Роман «Что делать» этих вопросов прямо не решает и даже не касается: он создал свои мастерские, а там уж, как хотите, заводите что-нибудь в этом роде.

Возьмем Евангелие и прочитаем в нем вот это место: «Господь сказал (Своим ученикам): если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море; то она послушалась бы вас» (Лк. 17:6). Мы привыкли понимать подобное проявление веры только в отношении к физическому миру, а вера истинная не менее, если еще не более, могущественная и в отношении к нравственному миру, да и самое могущество ее над физическим миром направляется к влиянию ее на мир нравственный. Вера, но, разумеется, вера не в духе иудействующих христиан, а вера истинная по духу своему свободная, а не рабская, как учил о ней против иудействующих именно Апостол Павел, такая вера Христовых учеников может вырывать и из земли народных умов и сердец какое бы ни было, укоренившееся и развившееся на этой земле, дерево не человеческих взаимных отношений между людьми, весьма обыкновенных у народа особенно в снискании способов к удовлетворению насущных потребностей жизни. И пусть эта вера не сужает при этом своего взгляда, не ограничивается двумя или тремя мастерскими, но напротив пусть обнимает всякие рабочие среды в народе, все мастерские и сведет их в одну ту мастерскую, где хозяйкой, готовой войти во все и действовать во всем для изгнания отовсюду зла, только бы чрез веру дали ей место, оказывается сама благодать Божия, которая, ради воплощения Сына Божия, не чуждается человека ни в какой чернорабочей среде телесных трудов, а

еще с особенной любовью призывает всех *труждающихся и обремененных* (Мф. 11:28), с обещанием *успокоить* их – не покоем праздности. конечно, (как понимали Иудеи субботу, день покоя), а спокойствием делания или работы с самим Господом.

Но рабочие, наибольшей частью, и понятия об этом не имеют, а следовательно и не принимают такой благодати? Да; и я видал, как наши рабочие артели, и стар и мал, в ссорах и дружбе сквернословятся с какой-то утонченностью разврата: в других средах бывает тоже, только с инаковым родом осквернения благородного человеческого слова. Какое тут место благодати? Но здесь-то и требуется от верующего сила веры, передвигающая горы и исторгающая деревья, хотя бы она сама была «с зерно горчичное». Ведь вера знает, что Господь пришел взыскать и спасти именно грешников погибающих или погибших и, как Агнец Божий, взял и понес на Себе до крестной смерти не что иное, а именно грехи мира; вера знает, что она и призвана входить в спасительное общение Господних страданий и смерти, или во внутреннее соучастие этой Господней любви к миру, по которой за греховные вины мира Господь терпел, как будто Он сам и был виноват в этих чужих винах. Что же? Вера пусть только, по участию в человеколюбии Господа, не отвергает беспорядочных грешников, а напротив пусть с самоотвержением нисходит, сколько возможно, до их среды, чтобы пред Отцом небесным стать во Христе как бы в уровень с неведущими или заблуждающими и, таким образом, поддерживать и их, на время их неведения или заблуждения, в благодати милующего снисхождения Божия. И только бы вера не ослабела, не оскудела на этом пути самоотвержения и человеколюбия Христова, рано или поздно все в беспорядочным рабочих средах или мастерских (разуметь ли работающих руками, или умом и пером) все непорядочное перебродится, перемелется, пройдет. Ведь любовь Отца небесного, не отвращающаяся, а еще терпящая и снисходящая есть такой живительный свет, от которого само собой убегает и рассеивается мрак и мгла наших беспорядков, заблуждений или неведения в какой бы ни было среде. И может придти к нам такое время, когда не только находящиеся в Божьем храме за

Богослужением или живущие достойно в святых обителях, но и трудящиеся на огородах или полях, в рабочих или мастерских, в кабинетах или за ружьем, будут сознать себя работающими одному и тому, общему всем, Отцу и Господу, поддерживая более твердые слабых, более зрелые молодых, духовные мирян и обратно. Не даром же вера всех верующих молится Отцу небесному: *да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли*. Могут и должны (хотя только понемножку или постепенно это может совершаться), могут и должны христиане всякой рабочей среды признавать и принимать свою великую вседействующую хозяйку-благодать Божию, открытую нам во Христе. Вера для своего поощрения и ободрения может примечать уже и добрые начатки этого, оказывающиеся в народной жизни среди самых даже нестроений. Вот простая крестьянка (выше уж упомянутая нами вдова), чувствуя в себе бодрость и силы, пришла же к такой мысли, что благочестивее и богоугоднее всякого, например, странничества взяться за поддержку сиротского дома, за прокормление малолетних сирот, за соху и косу, за все хлопоты крестьянского хозяйства; и несколько лет выполняла все это с явным для всех успехом. И одна такая чернорабочая в состоянии удержать на всем чернорабочем местном обществе ту милость Божию, что как бы и все работали самому Господу, если бы несчастные глупцы сами не отвергали от себя такой милости. Но, не возроптав на обидчиков, напротив еще их же жалея и, вздыхая пред Богом за них, а не против них, она может поддержать и их, как глупых ребят, в милости Божией, которая наведет же когда-нибудь это дурацкое общество на ум. Также и у жестокого хозяина сапожной мастерской (выше также упомянутого) нашелся такой мастер, который не захотел ни тешить, ни раздражать его жестокости. Этот мастер, впоследствии, сам сделался хозяином и его мастерская была уже, в известной степени и форме, нечто в роде мастерской Веры Павловны. После он уже сдал свою мастерскую новому хозяину из воспитанных под его влиянием мастеров, и свое гуманное, опорядочивающее влияние имеет в настоящее время уже на многие мастерские. Этот человек, как и та вдовая солдатка, имеет отличительным характером

здравомысленную доброту веры, направленной к обыкновенной практической жизни.

Рассматривая дело на таких основаниях, в романе «Что делать», как в зеркале, можем видеть новые ступени восхода от худшего к лучшему для современного человека и общества. Так этот раздел заработков в мастерских, чтобы плату за труд получать различно друг от друга, судя по достоинству труда, а избыток доходов делить всем поровну, открывает в своем основании такой закон, который должен быть исполняем всеми людьми, всеми работающими Господу в великой мастерской Его благодати. На сколько кто имеет живой деятельной веры, на столько он и приобретает себе Господа; выражением или оттенком этого служит для верующего рабочего получаемая им плата по мере труда (подобно как простая одежда, рубашечка или сорочка, получается крещенным, как выражение одеяния его в Господа). Но Господь, дающий себя верующему, есть общий всем человекам Спаситель; и дает Он Себя нам совсем не по заслуге наших дел, а собственно по преизбытку Своей благодати дает нам приобретать Себя за всяким делом, благодать же есть сокровище для всех. Поэтому, усвоив себе Господа, каждый делится сокровищем Его благодати со всеми; недостойных или немощных не устраняя от права на преизбыток Христовой благодати, а напротив став себя пред Господом в уровень или заодно со всеми. Это значит, по распорядку веры, делить избыток заработков поровну всем, мастерицам и неумехам, здоровым и больным. И чем более бы ты успел, за своим делом, приобрести Господа, тем более *должным* (должником) пред другими считай себя, *должным* именно Его благодатью, которой тебе надо делиться со всеми, как сокровищем всеобщим или назначенным для всех. Действуя по такому закону или порядку веры в великой мастерской благодати, одни, достигшие сами Божия дара действовать, как следует человеку, энергически стали бы так или иначе вести к тому же и других. Так, дело выхода от худшего к лучшему пошло бы все вперед...

Само собой разумеется, что и между лучшими этими новыми людьми неизбежно различие. Одни пусть, подобно

молодежи, окружающей Лопуховых или Кирсановых, держатся хоть только «в общем» подобного настроения свободного и живого, настроения собственно по Христу, хотя бы это было почти только в безотчетных или бессознательных инстинктах (над чем еще не возвышается и вся нравственная область, какая представлена в романе «Что делать»). Другие, подобно Лопуховым и Кирсановым, пусть группируют около себя особенно молодежь, молодежь и в физическом и нравственном отношении, служа им незаметной духовной поддержкой и руководством, занимаясь своими делами. А иной, как Рахметов, пусть всего себя и всю жизнь свою посвятит на службу людям в том, чтобы им быть, как следует быть человеку. Такой человек прежде всего постарается освободить себя от высящегося над земным человеческим труженичеством идеализма. Не вдаваясь, конечно, в противоположную тому крайность материализма, но помня, что ради нас сам Бог *Слово плоть бысть*, начнет он именно с того, чтобы выяснить и выдерживать высшее, должное значение материальной стороны нашего бытия и жизни. Ведь большинство людей, и именно все гражданское и нравственное простонародье, большей частью своего времени и трудов занято материальной стороной бытия и жизни. Как же послужите этому большинству в том, чтобы ему быть, как следует быть человеку, если для себя и других не выясните и не удержите Царствия Божия, открытого и в материальной стороне воплощением Сына Божия? Рахметов чрезвычайными усилиями, достойными строгого подвижничества, развил в себе в очень замечательной степени физическую силу и вместе простоту в жизненных потребностях. Но это – «необыкновенный человек» в романе г. Чернышевского, высказывающем высокие надежды о перевесе (могущем произойти по мысли романа именно от женской равноправности и влияния) перевесе над грубой материальной силой силы более разумной, в общественной жизни. Значит, по мысли г. Чернышевского, необыкновенный его человек работал над материальной стороной своего бытия не в том намерении или смысле, чтобы только сделаться «Никитушкой Ломовым»; ему надо влияние на простой народ, чтобы помочь простому народу и в таком деле,

как тянуть ляжку или гнуться под многопудовыми кулями на спине, помочь и в этом деле быть как следует человеку. Для подобного Рахметову человеку не низки никакая среда, никакой человек, но ему низко «некогда» заняться чем-либо или кем-либо вне Христа, без Которого также никто не может иметь доброго и мощного влияния на других, да и ничего доброго делать, как нельзя виноградной ветви приносить плоды, если она вырвана из своего дерева. Он не усомнится войти в какие бы ни было отношения и вообще решится на что угодно, если только увидит, что это «нужно» по делу Христову, по делу службы людям в том, чтобы каждому быть как следует человеку. Усмотрев, как наше время бедствует от того, что каждый или сам топорщится выйти из той меры, в какой он есть и должен быть сам по себе, или другие гнут и ломают его под несвойственную ему мерку, наш Рахметов дорожит и в других особенно тем, что самобытно, и сам самобытен в высшей степени. Он не затрудняется ни мало от того, если бы за это стали смотреть на него, как на страннейшего оригинала: ему бы только выдержать свою собственную меру, назначенную ему от Создателя, как бы ни была она далеко неподходящей к другим более обыкновенным людям. Такой человек всего для себя ищет во Христе, но и Христову истину и благодать стремится провести во все; он отрицает всякую фальшь, хотя бы она прикрывалась какой-либо формой или личиной во имя Христова, за то умеет не только возбудить живой дух Христов в развитых из него прежде формах, но и развивать новые в том же духе по требованию новых нужд и обстоятельств времени. Впрочем такой человек еще странствует для России за границей; подобное направление еще не получило у нас права на гражданство, признанного общественным мнением.

Как бы то ни было, только подобные люди не дадут в жизни застояться никакому даже болоту; они постараются привести в движение болотистую его влажность, спустят ее куда-нибудь. И, вследствие этого, из грязного, болотистого места сделается в свое время нива плодоносная, чего никогда не может быть с застойным болотом, как хорошо рассуждает об этом о. Мерцалов в романе Чернышевского.

Мало того, что такие истинно лучше и новые люди могут перерабатывать разные болотистые среды совершенной жизни в новые и лучшие, они возьмут все лучшее и из всего прошедшего, на благо и пользу настоящего и будущего, хотя это теперь более похоже на сладкий сон, чем на серьезную возможность. Вздумал же, в самом деле, этот Чернышевский рассказывать эти сны Веры Павловны, особенно последний ее сон, сводящий богинь древнего Востока и Греции на одну доску с «христианской невинностью». Что за толк в этом вавилонском смешении? «Какое общение света с тьмой, у Христа с Велиаром?» (2Кор. 6:14–15). В этом отношении сновидения Веры Павловны относятся просто к бредням. Но тот же Св. Павел, которому принадлежат последние цитированные нами слова, сказал именно язычникам древнего мира, что он проповедует им того истинного Бога, Которого они чтили, только как *неведомого* ими, и в совиx языческих чтилищах (Деян. Апост). Видно, и во тьму языческого Богочтения не престаивал светить, сколько находил приемлемости в душах, сам Христос – свет истины, для того времени еще грядущий. А если так; то в почитании Астарты и Афродиты, тем более в женском идеале западного одностороннего христианства в средние века, можно отыскать, среди всяческого мусора и пепла, искры и от чистого света. Если все подобное всюду отыскать в прошедшем и употребить на пользу настоящих и будущих поколений, отбросив негодное и гадкое (а для этого свет Христов, свет православия, очевидно, надо понимать не иначе, как простирающимся во всевозможные среды до самых нечистых чтилищ Астарты и Афродиты без объемлемости и подавления этого тьмой): то мудрено теперь и вообразить, какое это будет царство всеобъемлющей истины, мира, лучшего понимания и употребления всяких благ, лучшего понимания и отражения всяких зол. Надо всячески приближать к нашему времени и поколению это духовное царство, надо это делать всем, кому дороги благо человечества и свое, единение Церквей в одной вселенской Церкви, торжество истины и правосмыслия. И если облагородить и возвысить всякий жизненный труд до значения работы самому Господу и осмыслить общее всем стремление к

наслаждению, движущее к самому труду из средств наслаждения, осмыслить до стремления насладиться во всем дарами и сладостью именно любви к нам Отца небесного: то и все люди окажутся в числе таких делателей вертограда Господня, из которых и самые последние получают от щедрого Домовладыки свой динарий, свою долю участия в благах духовного царства или, по крайней мере, приближения к нему. Царица – работница и будущая царица наслаждения, каких видела во сне Вера Павловна, имеют же свой смысл. Не то, чтобы мы на паутинных нитях сновидений нанизывали дорогие жемчужины духовные; мы только отличаем и отделяем в бессознательных инстинктах сердечных лучшее от худшего, и разъясняем это лучшее.

Наконец и самая первая ступень к выходу от худшего к лучшему и увенчание самых высших, чуть не мечтательных, надежд соединяются в романе «Что делать» любимой мыслью г. Чернышевского, проводимой им сквозь весь роман. Это мысль о равноправности женщины с мужчиной. Эта мысль, правильно понятая, может быть чрезвычайно плодотворной и благотворной для нашего особенно времени.

Сущность дела здесь не в тех догадках Чернышевского, что и организм женщины не уступит мужскому по жизненности, а, пожалуй, еще перешибет его, если взять во внимание статистические данные и некоторые другие соображения; что и ум женщины не слабже, а, пожалуй, окажется и подтвержде мужского, если тот и другой будут развиваемы одинаковым образованием и трудом. Как там не хитрил бы кто, но различие половое никак не дает места безразличию, в роде деятельности и общественном положении, между мужчиной и женщиной. Преимущественная самостоятельность мужской природы и восприимчивость женской полагают печать и на органическую и на умственную или духовную стороны мужчины и женщины, так что тот и другая останутся всегда каждый в своем общественном и частном положении, со своим родом или, по крайней мере, характером деятельности. Равным образом и главенства мужа над женой нельзя уничтожить: самостоятельность, физически свойственная мужчине по

преимуществу пред женщиной, естественно не может не главенствовать над более или менее страдательной восприимчивостью женщины. Самый роман «Что делать» служит тому полным доказательством. Ведь чего, кажется, не сделано романистом для мысли, что женщина может делить с мужчиной, совсем не так с главой, каждую работу. каждое рассуждение и распоряжение, каждое положение в жизни? Но в этом же самом романе, если всмотришься, женщина выступает везде только из-за мужчины. Вера Павловна так искренна в этом отношении, что ей, для полноты и нормальности ее жизни, мало находить в мужчине только, всегда готовую для нее, опору; ей нужно неотступное душевное соучастие мужчины в ее предприятиях и делах. Это совсем не то, что женщина неполновозрастна будто бы пред мужчиной и невольно нуждается в его грубой или утонченной опеке. Женщине недостает мужской самостоятельности со свойственной последней твердостью и крепостью, за то у мужчин нет женской восприимчивости с ее нежными, умягчающими свойствами – одно другого стоит: мужчина и женщина между собой расплатились в этом отношении. Иной вопрос: как поставить мужское главенство, чтобы оно не подавляло и даже несколько не унижало, не оскорбляло женщины? Это главенство должно быть по образу и в духе Христа, Кто, в отношении к своей невесте и жене – Церкви из людей, не *своих си* самомнительно ищет, но себя умалил до степени равенства с людьми, до принятия человеческого естества, еще ниже – до смерти за людей, хотя Он Сам по Себе есть Господь Бог и сам жизнь. Пред таким первообразом мужского главенства, всякая властолюбивая притязательность, возносливость и жесткое или утонченное преобладание мужа над женой, человека простого над другим человеком, является чем-то диким и безобразным в высшей степени. Поэтому в романе «Что делать» мне видятся более образчики (в разных отношениях) надлежащего мужского главенства, чем отрицание его; необыкновенное чутье истины в г. Чернышевском более всего подкапывается под его же теорию. Так поставить свою жену и самому стать в такое отношение к жене, что она сама, упреждая даже мужа, желает и ищет того,

что составляет предмет стремлений и надежд мужа (а в случае нужды находит благородный расчет в пожертвовании собой для блага любимой) -это верх истинного главенства мужа над женой. На этом именно и закончен роман «Что делать».

Не колебля таким образом должного главенства мужа над женой и не допуская смешения, в положении и занятиях мужчины и женщины, мы однако в мысли о равноправности женщины с мужчиной – можем выяснить для себя истину, весьма важную для современного человека и общества. «Нет уж, говорит Апостол Павел с торжеством, иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужчины и женщины; ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Вся сущность всякого добра, истины и пользы, также как и истинной приятности для всякого человека, для всякой среды, на всякое дело и отношение, содержится во Христе, Который и дает Себя, в существе дела, равно всем. Женщина имеет право усвоить Его себе не менее, нежели мужчина главенствующей над ней; подобно как язычник мог присвоить Его себе наравне с иудеем, которому одному принадлежали Его обещания, образы и залогов, или, если сказать ближе к нынешнему порядку вещей, подобно как и мирянин или светский имеет не меньше права усвоить своему уму и сердцу и делу – Христа, Его дух и истину, нежели духовный, которому одному особенно принадлежит благодать иерархического служения. Вот эту-то равноправность надо нам отстаивать и выдерживать, чтобы из наших направлений и отношений изгнан был совсем этот безблагодатный дух деспотической жесткости или притязательности, рабского упрямства или страшливости. Но взяться за эту великую задачу с энергической самодеятельностью можно не иначе, как уже слишком глубоко и светло понимая истину Христову; а у нас обстоятельства еще таковы, что с одной стороны самое простое и мирное указание на несообразность с православным христианством жесткого и рабского духа принимается некоторыми за унижение и даже почти за отрицание веры, а с другой, для освобождения от подобных убивающих начал во имя веры, хотели бы иные разбить вдребезги, как стекло, все небо веры. Что делать в такое время? Как обновить во многих,

многих истинный дух православного христианства, вне которого пропадает человек, не имея и возможности быть таким, каким следует быть человеку? Надо именно взяться за женщину, за ее равноправность с мужчиной по отношению к Христу, в Котором все для человека и Который один не чужд всего человеческого, тяжесть худого человеческого приняв на Себя, а все лучшее человеческое сосредоточивая и открывая в Себе. Восприимчивость женщины своими инстинктами и чутьем по отношению ко всему истинному и хорошему, одним словом, Христову, далеко может опередить отчетливость самодеятельности. Поэтому вера наша, относясь к женщине (разумеется, начиная с ближайшей к нам – к матери, жене, сестре и проч., но не ограничиваясь этим; потому что дело ведь не в нас, а в самом, всех объемлющем, Господе), пусть вера наша твердо и живо сознает эту женщину равноправной с мужчиной соучастницей в Господе нашем. Восприимчивость женская тонко ощутит подобное внимание к ней веры, привлекающее благоволительное воззрение и вседейственной благодати, и на это внимание веры, под этим благодатным влиянием, отзовется, по крайней мере, инстинктивным сочувствием истине, могущим постепенно умягчать во многих жесткость или дерзость. И таким образом женщина может подвинуть и мужчину к выяснению истины уже более отчетливому и к применению ее уже самодеятельному. Вот Лопухов и Кирсанов слишком общо, зато искренно и твердо, признали женщину равноправной на все доброе; женщина живо отозвалась на это и сделалась силой, одушевляющей мужчину в деле истины и добра до того, что мужчина оказывается успевающим вдвое против прежнего в своем саморазвитии и самодеятельности. Чутье истины дало г. Чернышевскому схватить, в своем романе, много верного в этом отношении.

Роман г. Чернышевского вообще так построен, что лучшее в нем есть почти только еще намек, предощущения истины, инстинктивное увлечение в пользу истины, в ущерб собственной теории романиста. Зато преобладающий во всем романе элемент есть именно женский, так что и самые идеи или начала жизни мысли как будто невольно или сами собой

олицетворяются в романе в образы женские. Романист, очевидно, убежден или глубоким чутьем постиг, что переход современного человека и общества от худшего к лучшему может и должен совершаться во много чрез женщину. И в самом деле, если женщина будет становиться в сообразность, по вере нашей, не с Евой – вождем греховности человеческой, а со своим в добре первообразом, с Матерью Бога нашего – взбранной воеводой благодатного добра, образом Которой, по всему своему лучшему, служила и Ева: то сама Мать Божию, родившая и возрастившая для мира Спасителя мира, имеет столько благодати, чтобы, чрез Свой живой образ – женщину обновить и воспитать, поддержать и возрастить в людях живой и животворный дух Сына Своего, дух человеколюбивого Его снисхождения на землю под все условия человеческой жизни, дух Его превознесения уже с земной человеческой природой. И тогда самые высшие даже догматы истины Христовой будут проводиться и раскрываться и в самых низменностях нашей жизни. У г. Чернышевского удивительное на это чутье. Вот Господь наш столько возлюбил человечество, что ради человеков принял в единство Своего лица человеческую природу и таким образом «Я», так сказать, стоит за каждое человеческое «я», только бы не отвергал человек такой благодати. И кто действительно и совершенно принимает и усваивает такую благодать Господа, в том она становится все, впрочем не поглощая не только его личности, но и национальности и возраста и пола, напротив сама дивным образом входя в меру его личности, национальности, пола. Вера Павловна у г. Чернышевского ощутила, хоть только в сновидении, и эту тайну благодати, разнообразно возбуждающей и руководящей человека... Но все это, повторим, только в намеках, предощущениях, инстинктах. И мысль, стремящаяся к обнятию самой истины, но видящая, как в этом отношении у нас все еще пока молод, зелено, омрачается довольно грустью среди этих молодых и радостных намеков на истину, как «дама в черном», среди веселой молодежи, пред концем романа. Будем терпеливо ждать, когда эта «дама в черном» явится уже в веселом цветном наряде.

На этом и покончим наш разбор романа «Что делать». Романист, служа истине, стремился распутывать «дикую путаницу понятий» нынешнего общества и человека. Мне, тоже в интересе истины, хотелось точнее выяснить все лучшее, выраженное в романе и могущее послужить делу истины. Без точного выяснения, и лучшее затеряется в дикой путанице понятий. С другой стороны мне хотелось показать, как надо быть осторожным в полемическом деле. В романе «Что делать» скорее бросаются в глаза несообразности с принятыми понятиями об истине, нежели то или другое, подходящее к истине. Тем не менее в романисте необыкновенное чутье истины. Как поэтому легко можно, ратуя за истину против лжи, оскорбить и отринуть многое, принадлежащее истине, а не лжи! Поэтому я и предположил себе, по отношению к роману «Что делать», задачу раскрыть все, на что только ни наводило бы или ни намекало бы живое чутье истины романиста; затем все ложное в романе, относящееся тоже к дикой путанице понятий, само собой подает, опровергаемое самим автором – собственным его чутьем истины.

Рассмотрев с этой точки зрения роман г. Чернышевского я не могу не видеть в нем замечательного выражения русской мысли, неудержимо рвущейся к свету истины, как ни задерживается она предзанятыми теориями и литературными предрассудками, самолюбиями или даже иногда просто сплетнями. Кажется, безошибочно можно усмотреть из самого же романа «Что делать» намерение его автора оправдать и отстоять свою школу против обличений ее лживости, встречавшихся в литературе, и особенно против направленного, как показалось «Современнику» к ниспровержению его школы романа г. Тургенева «отцы и дети». Читавшему роман г. Тургенева и потом взявшемуся за разбор романа г. Чернышевского сами собой слышатся в последнем подобные подразумевания: «в лице Базарова, который чуть не задушил своего приятеля и, при самом сочувствии к простому народу, ненавидит этот народ за собственную безнадежную судьбу, за то, что только *лопух* будет расти на собственной его могиле, несправедливо опозорена целая школа. Не угодно ли

посмотреть на действительных представителей этой школы? Вот изучайте *Лопухова*, смотрите на *Кирсанова*, не на Тургеневского *Кирсанова*, а на создание Чернышевского». Подобное стремление могло бы увлечь г. Чернышевского слишком далеко по фальшивому пути софистической борьбы между литературными самолюбиями. К счастью любовь к истине и живое ее чутье, на этот раз им не перетолкованное, не дали г. Чернышевскому поддаться искушению отличиться только ловкой софистикой, которой, к несчастью, слишком отдаются некоторые молодые его союзники. И вот в романе «Что делать» русская мысль успела высказаться, по крайней мере, чутьем истины. Слава Богу и за такое добро для русского человека и общества. В следующей статье посмотрим и роман г. Тургенева «Отцы и дети», имея в виду особенно то, что хотела бы сделать из этого произведения ловкая софистика.

В. О романе г. Тургенева «Отцы и дети». Русский вестник 1862 г.

«Современник»⁸⁴ в своей критической статье об этом романе г. Тургенева говорит: «Если бы герой (именно Базаров) был живое лицо, если бы он мог освободиться от безмолвия и заговорить самостоятельно от себя, то он наповал сразил бы г. Тургенева, посмеялся бы над ним гораздо остроумнее и основательнее (нежели как будто бы г. Тургенев «острил и издевался над своим героем»), так что самому г. Тургеневу пришлось бы тогда играть жалкую роль безмолвия и безответности». При чтении этой самой статьи, «Современника», действительно, кажется, что Тургеневский Базаров, как представляет его себе «Современник», является просто живым лицом, что он освободился от безмолвия и заговорил самостоятельно от себя, в полной уверенности или претензии сразить г. Тургенева, посмеяться над ним со всем превосходством своего остроумия и основательности, дать ему жалкую роль безмолвия и безответности. Посмотрите, как беспощадно сражают г. Тургенева в «Современнике»: «Все прекрасно и поэтично, и старички, и елки, и невинные взгляды цветов; но все это мишура и фразы, даже нестерпимые... Вот такую поэзию стоит и отрицать и порицать; на словах они умилительно поют о любви и мире, а на деле оказываются злостными и непримиримыми». Конечно, сказано это в «Современнике» относительно частного места романа; но в этих словах выражается вся сила взгляда «Современника» и на весь роман, в котором пронизательному нашему журналу померещился «асмодей нашего времени» г. Аскоченского. «Г. Аскоченский, говорит «Современник», предвосхитил новый роман г. Тургенева». Но и этого мало призраку Базарова (как понимает последнего «Современник») освободившемуся от безмолвия и решившемуся довести самого г. Тургенева до жалкой роли безмолвия и безответности. Ему надо сразить г. Тургенева и в других его произведениях, в «истинном смысле» всей его литературно художественной деятельности. Видите,

дело какое открывается романом «Отцы и дети»: «В нем г. Тургенев обнаружил себя ясно и вполне, и тем раскрыл нам истинный смысл своих прежних произведений, сказал без околичностей и напрямки свое последнее слово, которое в прежних его произведениях было смягчено и затушено разными поэтическими прикрасами и эффектами, скрывавшими истинное его значение». Наша добродушная или доверчивая критика хвалила в Тургеневских творениях собственно то, что принадлежало ей самой, доверчивой критике, а не Тургеневским творениям. Она вообразила, что г. Тургенев относился к своим героям с трогательным участием, с сочувствием, симпатизировал их стремлениям всей силой своей художественно творческой любви. «Но теперь, провозглашает «Современник», нам понятна эта любовь, и на основании последнего романа г. Тургенева можно положительно сказать, что критика ошибалась в объяснении прежних его произведений, вносила в них свои собственные мысли, находила смысл и значение, не принадлежавшие самому автору»...

Признаюсь, что такие приговоры «Современника» на г. Тургенева, относительно не только последнего его романа, но и других его произведений, озадачили меня до огорчения. Я довольно близко ознакомился с делом г. Тургенева, с литературно-художественным его поприщем. В творениях его, не исключая и самых мелких, ясно виделась мне не копия только с действительного мира (что обыкновенно бывает у неимеющих истинно творческого художественного таланта), но такое воспроизведение действительной жизни, которое дает приметить и ощутить, что мы здесь в жизни не заброшены, не забыты всеблагостным нашим Отцом, что и в наших борениях и увлечениях следит за нами всетворческая Его любовь, приводя нас, по крайней мере, страданиями в свое соучастие или только предощущение. Последний роман «Отцы и дети» случилось мне читать в светлую или пасхальную неделю; и это чтение не возмутило, а возвышало для меня светлость духовного праздника. И мне, как «Современнику», слышалось в этом Тургеневском произведении последнее слово по отношению к

прежним его произведениям, но слово именно об ощущаемой художественно творческим талантом благодати Высшего отчества и сыновства, выявляющейся и действующей в человеческих отношениях между «отцами и детьми» мира христианского, при всех духовных недугах и неверностях последнего пред такой благодатью. Можно представить, какими гостинцами подарил меня Базаровский призрак в «Современнике».

Поэтому самое дело истины, самое уважение не только к делу г. Тургенева, но и к делу «Современника» неотступно требует (думается мне) некоторого труда как испытания тех оснований, по которым «Современник» относит г. Тургенева под знакомое мне знамя г. Аскоченского, так и отчета в диаметрально-противоположном моем понятии о последнем романе г. Тургенева, с которым связано достоинство и прежних его произведений. Надо же нам всем понемножку выяснять для себя и для других, кто именно мечтатель, тот ли, кто есть истина для всего (значит и для литературы, не исключая и романов), или кто бы ни было из нехотящих видеть Его самого или человеколюбивого Его духа. Желаю особенно того, чтобы само сердце и логика удостоверили дельцов «Современника», что хочу вести дело с ними в интересе не школы, а истины.

«Современнику» показалось, что г. Тургенев в романе «Отцы и дети» увлекся тенденциями действовать за одну школу против другой, враждующей с первой, что поэтому роман его тоже, что философский трактат в лицах. В этом трактате г. Тургенев пристрастно отстаивает будто бы «отцов» или старое поколение и несправедливо идет против «детей» или молодого поколения, выставляя первое в добром свете, а другое подводя под обидную для них тень и даже явно будто бы ненавидя главного со стороны «детей» героя (упомянутого уже у нас Базарова). И в особенности «под категорию детей», так уверяет «Современник», г. Тургенев подвел значительную часть современной литературы, так называемое отрицательное ее направление, которое он олицетворял в одном из всех героев (все в том же Базарове) и вложил ему в уста слова и фразы, часто встречающиеся в печати и выражающие мысли, одобряемые молодым поколением и не возбуждающие неприязненных чувств в людях среднего поколения, а может быть даже и старого». А так как в нашей литературе главным представителем и выразителем этого отрицательного направления служит именно «Современник», то он и взялся опровергать направленный против него трактат, который вообразился ему в романе «Отцы и дети». Естественно, что в романе как в философском трактате, оказалось много лишнего, нейдущего к развитию доказываемых мыслей, и все явилось поставленным вверх дном; но это только пред судом тех, которые вообразили роман полемическим против них трактатом и главного героя романа карикатурным олицетворением направления их школы, для которой готовы они всем жертвовать. Но дело в том, что г. Тургенев и не думал в своем романе возвышать отцов над детьми по отношению тех и других к добру и истине, что особенно главный со стороны детей «герой» представлен совсем не похоже на что-либо карикатурное, ненавидимое и осмеиваемое самим автором, и что очевидно уже по этому одному «Современнику» только

померещился в романе полемический против направления этого журнала (или его школы) трактат. Все это, конечно, надо еще доказать.

Проследим в романе взаимные отношения, умственные и нравственные встречи и столкновения отцов и детей, чтобы видеть, есть ли у автора пристрастие в пользу первых против последних. Начнем с первой такой встречи. Является к отцу окончивший курс в университете сын его. Вот они, именно Николай Петрович и Аркадий Николаевич, едут вместе в одном экипаже; истинно отечески рад сыну Николай Петрович, равно и Аркадий Николаевич чувствует искреннюю не только просто сыновнюю, но и почти наивно детскую (как в былые детские годы), радость, его наполнявшую. Между ними идет разговор; между прочим отец признается сыну в своих грешках, так слабодушно (а не подвижению искреннего и разумного раскаяния) краснея и вместе так лукавя пред своей совестью, что у сына невольно возбуждилось ощущение какого-то тайного превосходства пред отцом и нежность к доброму и мягкому отцу переходила бессознательно в тон какой-то уже снисходительности к нему. Впоследствии повторилась подобная нравственная встреча отца с сыном, и опять со стороны отца повторилось унижительное слабодушие, по которому сыновней нежности опять пришлось поневоле великодушничать. Сын является, очевидно, достойнее отца; и самим отцом вызывались в сыне невольные чувства превосходства своего пред отцом, а потому вина оскорбления нравственных отношений между отцом и сыном, если только кому угодно видеть здесь это оскорбление, падает на самого отца. Поставляя все это на вид, г. Тургенев не слишком ли уж пристрастен к.. не к отцам, а уж к молодому поколению? Но погодите, дело пойдет сейчас на оборот. Ведь «Современник» заметил, что этот самый сын, о котором говорим, дозволил своему приятелю Базарову вырвать из своего сердца добрые сыновние чувства и расположения, сделавшись олицетворением порока непочтительности к родителям⁸⁵. Но в чем же это заметил «Современник»? Неужели серьезно в том, что Аркадий согласился с представлениями своего друга о

превосходстве для его отца серьезного чтения, могущего ввести ум его в работу, в подвиг, пред легким чтением Пушкина? Или в том, что Николаю Петровичу было неловко от того, что сам же он поставил своего сына, в отношении к себе, в какое-то настроение снисходительности и великодушия, в которых, впрочем, выражалась все-таки сыновняя нежность? Или в том, что этот самый сын, Аркадий Николаевич, по пословице на чужой роток не полагал платок, когда Базаров поставлял на вид, действительные или мнимые, слабые стороны его отца? Но и в этом отношении Аркадий Николаевич (как изображает его г. Тургенев), в случае насмешливых над его отцом выходок Базарова как ни благоговел пред своим учителем, не позволял себе даже улыбаться; вспомните, как принял Аркадий Николаевич Базаровскую насмешку, что «в сорок четыре года человек, *pater familias*, в...м уезде играет на виолончели». Он и своего дядю не выдавал пред Базаровым до готовности к серьезному с ним разрыву, сколько ни подчинялся его влиянию. Он и за старичков – родителей своего друга говорил пред этим самым другом с достойным сына уважением и участием, давая чувствовать своему учителю недостаток его любви сравнительно с родительской. И именем этого сына, деликатно благородного в отношении к старому поколению, каким он представляется в романе, г. Тургенев будто бы назвал порок непочтительности к родителям!! Посмотрю, нет ли хоть мнимого к такой дикой мысли основания в романе. «Современнику» не показалось ли пороком непочтительности к родителям то, что Аркадий Николаевич поддерживал своего друга в споре с дядей, с которым согласен был в душе и отец его? Но не думается, чтобы у «Современника» так болезненно было нравственное чувство, что оскорблялось за старое поколение, если молодые пред стариками искренно отстаивали свои взгляды и убеждения. Не видно из романа, чтобы родительское чувство Николая Петровича, тонко ощущающее в сыне самые тайные обидные для него движения, вызываемые им же самим, оскорбилось, в этом случае, сыном. Не думаю также, чтобы «Современник» вменил в непочтительность к отцу ту неловкость в Аркадии Николаевиче, которая обыкновенно овладевает

молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место, где привыкли видеть и считать его ребенком, хотя в этой неловкости Аркадий без нужды растягивал речь свою, избегал слова «папаша» и даже раз заменил его словом «отец», произнесенным, правда, сквозь зубы, пил вина больше, чем самому хотелось. Ну, и довольно о нравственной встрече между «отцами и детьми» в лице Николая Петрович (и с ним других из старого поколения) с одной стороны, и Аркадия Николаевича с другой! Из того, как изображается эта встреча в романе, очевидно, что только тогда можно выдумать, будто здесь автор держит сторону отцов против детей, когда, бездоказательно, на веру принять клевету, будто сын здесь – живое олицетворение гадкого порока непочтительности к родителям. Не могу представить себе без улыбки, что олицетворенный порок непочтительности к родителям (а значит и ко всяким их представителям), когда угощали его у добрых старичков вареньем, именно этот самый, Аркадий, нетерпевший ничего сладкого, почел однако своей обязанностью отведать от четырех различных «только что сваренных сортов»; и свое дело в романе он покончил тем, что вместе с отцом поселился в деревне, сделался, помогая отцу же, рьяным хозяином и ферма их приносит уже довольно значительный доход. Видно, г. Тургенев все-таки хоть затаенное имел пристрастие к этому представителю «детей», не меньше по крайней мере, чем к «отцам», хотя, по замечанию Современника, назвал его именем порок дурных сыновних отношений к родителям.

Перейдем к другой встрече или к взаимным столкновениям между «отцами и детьми» в лице Базарова с одной стороны и всех соприкосновенных к нему в романе старичков, начиная от Николая Петровича и особенно брата его Павла Петровича и кончая собственными родителями Базарова. Ну, вот уж тут непременно должно быть у г. Тургенева пристрастие к «отцам» против ненавистного ему Базарова. Посмотрим в самом романе, а не в статье «Современника», как сопоставляет г. Тургенев этого нового представителя «детей» с «отцами».

Несмотря на горячее радушие Николая Петровича к другу своего сына, Базаров не сразу подал ему руку, по предубеждению, как открывается из дальнейшего хода романа, против надутого пустого барства или против, как он по-своему выражается, «барчуков проклятых». И, как бы в оправдание или объяснение этого, из поколения «отцов» Павел Петрович, когда ему представляли Базарова, только «слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки не подал и даже обратно положил ее в карман». Значит, на первый раз г. Тургенев пока еще не ставит «отцов» на высоту нравственного превосходства пред ненавистным будто бы ему Базаровым. Правда, этот представитель молодого поколения, в интимных беседах со своим приятелем, не церемонится давать жесткие, но большей частью меткие, приговоры об его отце и дяде; но в отце своего приятеля все-таки он видел и искренно признавал «добряка» и впоследствии с приметной любовью ставил его на ряду с «таким же чудаком» – своим родным отцом. Дядю своего друга, Павла Петровича, конечно, Базаров очень не жаловал за его барство, тщеславие, за нравственное фанфарство, за странное по изысканности и месту щегольство; но и Павел Петрович приписывал Базарову, даже прямо в глаза, сатанинскую гордость, глумление, распространение заразы между мальчишками. В схватках, от которых Базаров отделялся по своему до последней крайности, но в которые увлекали его придирками, Базаров вообще был гораздо сдержаннее относительно личностей, нежели противоборец его Павел Петрович. Он самой резкостью своих суждений и речи о спорном предмете, по-видимому, старался поскорее положить конец этим схваткам, бесполезность которых он видел так ясно и с таким негодованием.

«Современник» представляет себе и другим, что г. Тургенев, по ненависти к своему герою, явно выдает его в спорах с Павлом Петровичем. По мнению «Современника» надо бы Базарову, если бы романист не поступил предательски в отношении к этому лицу, отвечать на слова своего оппонента совсем иначе. Вот например, очень важное место в споре двух борцов из старого и нового поколения. «В теперешнее время

полезнее всего отрицание, говорит Базаров от лица всех того же направления, мы отрицаем». – «Все?» – спрашивает Павел Петрович. «Все» – отвечает Базаров, желая сразу отделаться от нехитрых нападений на него с этой стороны. «Как, – подхватил Павел Петрович, – не только искусства, поэзию.. но и... страшно вымолвить..?» «Все, – с невыразимым спокойствием повторил Базаров». «Современнику» кажется, что г. Тургеневу надо бы, по художественной совести, вложить в уста своего героя такой ответ: «Нет, мы отрицаем только *ваше* искусство, *вашу* поэзию, *ваше* «и», но не отрицаем и даже требуем другого искусства, и поэзии, другого «и», какое представлял себе, например, Гете» и проч. Но, не касаясь еще того (о чем у нас речь впереди), согласно ли это с истинным Базаровским настроением и взглядом на вещи, подобный ответ Базарова начинал бы, очевидно, уже такие же личные оскорбления своего оппонента, какие позволил себе «Современник» в отношении к г. Тургеневу, представляя спор Базарова прямо и лично с самим г. Тургеневым («мы отрицаем только *ваше* искусство, *вашу* поэзию, г. Тургенев», – вот как от лица Базарова карикатурил «Современник» это место романа). Вот это и значило бы, со стороны г. Тургенева, выдать своего героя унижению до лично оскорбительных выходок, над которым Базаров, при всей жесткости и резкости своего слова о предмете спора, благородно возвышается; он разве только мимоходом и в ответ на выраженное уже ему оскорбление ущипнет иногда самого своего противника – таким, например, словцом: «Что это, допрос?». Или: «Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас, в вас или во мне, он скорее признает соотечественника»; или: «Вы вот уважаете себя и сидите сложа руки» и т.п. Но в других случаях Базаров не позволял себе говорить старичкам: «Куда с *вашим* искусством, с *вашим* знанием»; напротив жесткую правду он относил и к себе самому: «Куда *нам* до Либиха! сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а *мы* еще аза в глаза не видали». Такая сдержанность такой головы, в придирчивом к нему споре, сообщает Базарову в Тургеневском романе такое достоинство, в котором, на мой взгляд, много уступает ему антагонист, представляющий

сторону «отцов». Сами «отцы» это чувствуют и откровенно наконец признаются, в лице Николая Петровича, в том, что точно, при всех их претензиях идти за веком, «песенка их спета» а, в лице Павла Петровича, в том, что не только пустое барство, но и высящееся над другими самоуважение и чувство аристократизма еще не составляют достоинства. Тургеневские «отцы», насколько их представляет в романе Павел Петрович, самый спор ведут уже, приметно, как люди «отставные», думая поразить своих противников такими ударами, которые для них уже получили значение ударов мечом картонным. И г. Тургенев, изображающий все это в живой действительности, вот как и прямо берет сторону этих «отцов» против таких «детей»: «Он (Павел Петрович) начинал чувствовать тайное раздражение. Его аристократическую натуру возмущала совершенная развязность Базарова. Этот *лекарский сын не только не робел*, он даже отвечал отрывисто и неохотно»... Мудрено ли, что и Базаровым овладевало нетерпение, зачем он связывался с такими спорщиками? Таким образом и в отношении к этим схваткам старого поколения с новым ясно, кажется, оказывается, что г. Тургенев пристрастен разве к новому в лице самого даже такого его представителя, каков Базаров, по крайней мере, уж никак не к старому.

Взглянем поближе и на отношения Базарова к родным своим отцу и матери. Здесь уж, кажется, до наглядности явно пристрастие к последним г. Тургенева, и ненависть его к Базарову, дозволявшему себе злые, впрочем «часто тупые или бессмысленные, выходки» насмешки и над теми медицинскими средствами, которые сам же советовал отцу своему, и над самим отцом, который тотчас же пускал их в ход. В настоящем случае не стану указывать на искреннюю тем не менее любовь Базарова к своим родителям, в которой он так просто заверял своего приятеля и которую нельзя не заметить и при начале свидания его с родителями, когда он, Базаров, без всяких эффектов отдавался ласкам своей матери, и в самых его *базаровских* отзывах о них или речах с ними, и в том, что он не выдавал их пред гостем даже относительно случайного недостатка, «говядинки», и в том, что целый день не мог он

собраться с силами и решимостью сказать насилу дождавшимся его родителям о своем намерении снова расстаться с ними, и проч. Не останавлиюсь на вопросе, насколько этот Базаров, как его живописал г. Тургенев, лучше и искреннее с родителями, нежели эти благоприглаженные сыновья и дочери, целующие у папаши и мамы ручки, а сердце их далеко, далеко отстоит. Но вот на что желал бы я обратить внимание рассуждающих. Этот добрый отец Базарова, «боготворящий своего сына» неотстающий тоже и от века, так что, рисуясь пред сыном, относит к предрассудкам служение молебна, (чего однако сам же он и пожелал, как искренно набожный человек), он-то первый, чрез такое свое умственное и нравственное настроение, и бросил в душу своего сына духовные, бессознательные и инстинктивные, конечно, семена этого страшного какого-то самообожания, соединенного с энергическим отвращением не столько от предрассудков, сколько от фальшивости двоедушия и нравственного фанфарства, в каких бы благовидностях ни являлось все подобное. Ведь не обманешь внутреннего ощущения души, которым она соприкасается или, по нашей пословице, «весть подает» другой душе; это не мистицизм какой, а простой опыт, что, например, к иному человеку так тебя и тянет, а к другому никак не лежит у тебя сердце, иногда с первого же взгляда на того и другого человека, или вот и еще тоже простой опыт, что иной учитель более передаст своим воспитанникам своим светлым или жестким настроением, чем самыми уроками. Ну, и добрейшая, редкая матушка Базарова, бесконечно любящая и боящаяся своего сына, выражающая свою любовь особенно возможными заботами о насыщении и покойном помещении сына, не возвысившаяся еще вполне над такой любовью к родному сыну, которая соединяется уже с нелюбовью или хоть невнимательностью ко всему, что не сын («Арина Власьевна, говорит г. Тургенев, «не замечала Аркадия, не подчивала его; подперши кулачком свое круглое лицо... она не сводила глаз с сына»), – старушка, очевидно и как мать, была такой, которой, по словам о ней г. Тургенева, «следовало бы жить лет за двести, в старомосковские времена». Такая среда «отцов»,

представленная именно г. Тургеневым, была ли *своей*, живой и родной, старонушкой для Базарова?! Очень потому естественно, если он ехал к своим родителям, как бы отправляясь на тот свет «к отцам», как выразился однажды; в таком же настроении духа он и жил у них, и как ему, Базарову, быть иначе? А притом еще он очень ясно видел что, сравнительно с его духовно одиноким, истинно сиротским положением, о котором у нас речь еще впереди, – «хорошо его родителям жить на свете»! Отец в шестьдесят лет, так он говорит своему другу, «хлопочет, толкует о паллиативных средствах, лечит людей великодушничают с крестьянами, кутит, одним словом; и матери моей хорошо, день ее до того напичкан всякими занятиями, охами до охами, что ей и опомниться некогда, а я...». А он, Базаров, в таком одиночестве духа, которому вся безмерная любовь родительская не только не помогает, не сочувствует, но которое, увы, она же родительская безмерная любовь и посеяла в нем, и не перестает поддерживать и усиливать своим благоговением и страхом к сыну. И тем не менее он, сколько может и умеет, не позволяет себе действительных оскорблений своих стариков, он только не в состоянии потакать фальшивости, с какой кто бы ни рисовался пред ним, таков уже этот человек. Но и тут насмешливые его выходки выставляются г. Тургеневым выпукло на вид вместе с тем, что они восхищали его отца. Но и в этих насмешках Базаров Тургеневский не позволяет себе касаться той стороны в «отцах», что они (или собственно только его отец, а не мать) на словах считают молебны за предрассудок, однако усердно служат их и не оставляют набожно ходить к заутрени; на этот счет, когда и набожные двоедушно стыдятся Христа Сына человеческого и вместе Бога, у Базарова и вырвалось только разве одно это загадочное или, пожалуй пустое слово: «Ну, это девятое дело»! Сюда же, пожалуй, может быть отнесено и название священника «попом», употребленное Базаровым в то время, как батюшка его, по своему двоедушию, забавно затруднялся высказать хорошенько сыну, что за обедом будет у них отец Алексей; этим названием впрочем Базаров, по ходу дела в романе, хотел выразить пред отцом только то, что лучше

бы дело вести просто и прямо, а не двоедушничать, что несравненно оскорбительнее для священного чина, нежели это простонародное название «поп». Как бы то ни было, все-таки можно видеть, что г. Тургенев, и в лице Базарова в отношении его к родителям, не выдал; «детей» пред «отцами»; в существе дела положение первых, по роману, едва ли не выше, а уж никак не ниже положения последних.

Брать ли нам во внимание другие соотношения между «отцами» и «детьми», как они раскрываются в романе г. Тургенева? Анна Сергеевна является в отношении к сестре своей Кате, как ее мать или педагог; оказывается, что она, и сама ого не замечая, нравственно деспотствовала над молодым поколением в лице своей младшей сестры. Таким образом на стороне «отцов» не пощажена г. Тургеневым и такая прекрасная и светлая личность, как Анна Сергеевна, насколько она попала на сторону отцов. За то впрочем Прокофьич, человек старого лакейского закала, является в романе почтеннее современного лакея Петра, который, к концу романа, «совсем окоченел от глупости и важности». Ситников является глупым, но добрым малым столько же и в отношении к «отцам», сколько в отношении к своим ровесникам: «отец помыкает им по-прежнему», говорит г. Тургенев на конце своего романа. Что еще? Есть в романе еще такие «дети», которые скорехонько знакомятся с «дохтуром и начинают с ним философствовать, готовые войти в диспут с этим «барином»: есть и такие «отцы» подобных детей, которые скажут барину или взрослому его сыну: «Чем строже барин взыщет, тем милее мужику», и потом сейчас же рассудят между собой, что барин «болтал кое-что, язык почесать захотелось; известно, барин, разве он что понимает?» Наконец и старая княжна Х.....я, тетка Анны Сергеевны и Кати, худенькая и маленькая женщина с сжатым в кулачок лицом и неподвижными, злыми глазами, которая терпеть не могла особенно этих «новых оголтелых» молодых людей, тоже принадлежит к Тургеневским типам из стороны «отцов».

Или г. Тургенев не чернит ли «детей» пред «отцами» и превозносит последних пред первыми, вне взаимных

отношений? Характеристику родителей Базарова знаем уж достаточно. Павлу Петровичу г. Тургенев приписывает прямо «погибшую жизнь» и, среди лучших его движений, видит в нем не более, как уже «мертвеца», т.е. не подающего уже никаких живых задатков и надежд для жизни. Николая Петровича вот как характеризует г. Тургенев: «Николай Петрович попал в мировые посредники и трудится из всех сил; он беспрестанно разъезжает по своему участку, произносит длинные речи (он придерживается того мнения, что мужичков надо «вразумлять», т.е. частым повторением одних и тех же слов доводит их до истомы), и все-таки, говоря правду, не удовлетворяет вполне ни дворян образованных, говорящих то с шиком, то с меланхолией, о *манципации* (произнося ан в нос), ни необразованных дворян, бесцеременно бранящих «эвту мунципацию». Кажется ясно, что за птица этот человек, и без выдумки «Современником» цинически грязной, совсем нейдущей к его характеру, сцены с Феничкой. Удивительно, что за фавориты у г. Тургенева – эти «отцы». Но и со стороны молодого поколения какова эманципированная напивающаяся Кукшина?! За то в романе довольно противовесна ей, кажется, взятая не в значении педагога, а молодой женщины, не церемонящаяся приглашать молодых людей гостить у себя в деревне, Анна Сергеевна, в которой есть все лучшее независимой женщины, без уродливых излишеств Кукшиной. А Катя? А Аркадий, эта благородная и деликатная душа, как будто и немогущая уступать правды, насколько он видит ее, не только «отцам», нежно впрочем чтимым от него, но и своему другу – учителю, пред которым он просто благоговел сначала? Выяснить себе ничем правдоподобным не могу, с чего это взял «Современник» видеть в этом прекрасном типе олицетворение порока непочтительности к родителям. Разве избыток мягких, нежных сторон можно бы вменить, и то не совсем справедливо, в некоторую слабость Аркадия Николаевича. Говорю: не совсем справедливо; потому что, при всем властительном на него влиянии Базарова, он умел сохранить свою независимость от него, не только касательно своего отца и дяди, но и в отношении к Базаровскому самообожанию, к непоколебимости

понятий и справедливости. За то сам Базаров, этот, по Современнику «Асмодей нашего времени», каким с ненавистью к нему представляет будто бы его г. Тургенев? Перейдем к обсуждению дела, по вопросу о Базарове, имеющему существенную важность для истинного понимания последнего романа Тургеневского.

Как угодно «Современнику», но Базаров у Тургенева никак не похож на какую-либо ненавистную для него, доведенную им до сатанинского извращения, карикатуру. Вся ошибка «Современника» произошла, думается мне, от того, что он вообразил, будто Базаров также, как и сам он «Современник», держится отрицательного направления. Нет; Базаров в этом отношении далеко выше (да не погневается «Современник»), «Современника». Базаров, например, не в состоянии подобно «Современнику», пробавляться, если нет еще в руках хлеба истины полной, настоящей, этой единственной здоровой пищи, для духа, пробавляться только сравнительно более других вероятной (как притом кажется оно тому или другому) истиной, т.е. не истиной, в строгом смысле, а тем, что в данную минуту представляется более похожим на истину.

Чтобы вполне понять Тургеневского Базарова, надо представить себе положение человека, который столько честен по делу истины, мысли и жизни, как сейчас сказано о Базарове, но с достаточной для него убедительностью не дознал нисколько того, что нет истины вне Того, Кто сказал: «Я истина», а напротив во всем, что приходилось ему слышать и видеть у людей принадлежащего или соприкосновенного к этой великой истине, сознает и ощущает много человеческой фальшивости. Это положение и дело Базарова. Ведь вне Того, Кто есть всеобъемлющая истина, нет, действительно нет истины и правды, нет ничего, истинного прочного и твердого для мысли и жизни человека, если последний будет добросовестен и честен в своих воззрениях и правилах, не удовлетворяясь, вместо здорового хлеба, гнилью мнимой, в известное только время, истины и правды. Иметь великое несчастье не узнать самой истины и вместо здорового ее хлеба уже не хотеть ни гнили мнимой истины, ни даже пряников безотчетных инстинктов к

истине, которые многих не ведут ни к чему прочному, а только тешат и усыпляют, как маленьких ребят, – вот положение и вместе направление и характер тургеневского Базарова. Немного таких людей, честно и твердо проводящих в своем образе мыслей и жизни, по крайней мере отрицательную сторону истины; эти люди, исчерпывая эту сторону до самого дна страшной ее горечи, скорее помогут добраться до самой истины, чем к обольщению и усыплению себя и других пробавляться временно-мнимыми истинами (как, например, древние язычники своим культом) или только мерцаниями истины, колеблющимися в безотчетности (что было также и у язычников). Базаров нимало не похож на этих последних. Ему скажут, что надо быть справедливым; он, не видя в себе и в других, не зная самого существа справедливости, не признает и верности ее применения и не усомнится на слово справедливости ответить вопросом: «Из чего это следует?!» Ему укажут на искусство, на науку; но в самой горделивой выси искусства, над прямыми или положительными пользами он уже видит мечтательную бесплодность, не свойственную истине, которая, и в самом деле, должна заведывать всем. В самом возношении науки над ремеслами, над прозой жизни, он видит, что и ее, как изучения истины, не существует, а что и она, пожалуй, существует только как ремесло или звание, дающее хлеб или права. Укажут на авторитеты; но он знает, что из-за неосмысленного признания авторитетов человек, пожалуй, поставит себя в самую невозможность добраться до самой истины; и потом он резко выскажет, что авторитеты Рафаелей или Гегелей для него гроша медного не стоят, как и их последователи, не выяснившие в них самого существа их дела или все той же *истины*. Аристократизм, либерализм, принципы, прогресс, философия и какие бы ни было мнимые, в настоящую только минуточку или эпоху, светлые идеи – все это для него вздор, мечтательность романтизма или бесполезная суетность, иностранные слова, которые русскому человеку даром не нужны; все это мнимой своей светлостью и истинностью, действительно, многих только останавливает на себе вдали от самой истины и правды, которая одна могла бы дать всему

этому силу и жизнь. Ему и всякие бесполезные отвлеченности (а не основательность) логики не нужны. Он смеется и над медициной, составляющей его специальность; потому что не может разные отрывочные физиологические и медицинские открытия признать за выяснение тайны жизни и природы нашей, которое дало бы твердое основание к поддержке первой, к благоустройству другой. Смеется он и над патриотизмом, соглашающимся с родными предрассудками, а не благоволящим к немецкому полезному за то, что оно принадлежит Германии. Он идет далее, он и в святыню брака не верит как представляют его себе явно непонимающие его силы и святыни. Он не видит никаких твердых опор и для признания человеческого достоинства, как его ныне возвышают. Базаров, пока он будет Тургеневским Базаровым, а не кем-нибудь из школы Современника, не может признать и Гётевского «и»⁸⁶, как хотел бы Современник, а или дойдет до истинного «и», или навсегда останется в своем одиночестве самообожания, которое впрочем есть не что иное у него, как вера только себе самому, пока он не нашел истины. Ему, чтобы не положить на себя руку, остается, за истину, только собственное *ощущение* и *положительная полезность*; потому что, пока есть в человеке ощущение, человек не может сказать о себе, что он не живет, а пока есть у него положительные средства жизни, можно еще жить на земле. Вне ощущения, как начала для жизни и отсюда для мысли, и вне положительной полезности, как круга действительной жизни и немечтательной мысли, отрицание всему, всему! Отрицание дотоле, пока не откроется или не дознается сама истина и правда, которая давала бы нам и хлеб насущный, и освобождала от всяких видов лжи и лживости, и упрочила бы для нас все доброе в жизни и обществе. «Мы увидали, – говорит Базаров, – что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно

от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам в прок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке».

Базаров очень хорошо понимает, что так жить всегда нельзя, что отрицание есть сила, и самая непобедимая сила, только на то время, пока она не сломает здание всяких фальшей, всяких фальшивых отношений к правде, обуявших людей донельзя. «Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете, говорят Базарову. Да ведь надо же и строить». Он отвечает: «Это уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить». Базаров во всей глубине сознает и чувствует и всю эту безотрадную бездну одиночества в отрицаниях, с прибавками к ним *ощущения и положительности*, которые тоже висят ни на чем. Вот что говорит он своему приятелю: «Я вот лежу здесь под столом... Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна пред той вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой математической точке, кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что за безобразие! Что за пустяки!» Как будто прямо по слову одного великого отца: «Если бы я не был Твоим, Христос, мне было бы это обидно», Базаров явно обижается на свое существование, не добравшись до Христа, но не могущий, по самой честности своей в отношении к истине, уже ни на чем успокоиться. Его берет злость, когда другим, не прямее его стоящим в отношении к истине, а имеющим, может быть, и добраться до чистого и всеоживляющего ее света по пути, расчищенному тяжелыми его отрицаниями, – ничего, хорошо, или будет хорошо, а он пропадай... Ненавидеть! Так говорит он своему другу: «Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы старосты Филиппа – она такая славная, белая – вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и

который мне даже спасибо не скажет... Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет...» Такое настроение овладело было им и в отношении к приятелю, который, во имя безотчетного для него чувства справедливости, не соглашался с Базаровым во взгляде на близких своих и, очевидно, отдалялся от основы базаровского воззрения, как скоро последнее выяснилось хорошенько пред ним; духовное одиночество мучило Базарова до злости. Но уж это таков был человек, как сам он объясняет о себе: «Странное существо человек. Как посмотришь эдак с боку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным самым разумным образом. Ан нет, тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними». Будь он инаков: это значило бы, что и он, как «Современник», не добравшись до самой и единственной истины, успокоился бы и потом упорно бы утверждался на чем-либо, мнимо истинном или временно кажущемся истинным, как на самой истине. Такого гнилого хлеба он не хотел; но все-таки чувствовал, что наиболее зрелые и светлые души, как, например, Анна Сергеевна, оказались такими от того, что сколько-нибудь попробовали от его хлебца страдальческой честности в отношении к истине.

И вот в чем скрывается тайна того, почему Базаров влек к себе невольно все энергически молодое и свежее, и отталкивал от себя рутинеров или мечтательных, по его взгляду, романтиков. Видно, одни (не исключая и современного лакея Петра) чувствовали, что все же для них более живой надежды в отрицании фальшивого и мертвого, чем в признании последнего; а другие трепетали за подпорки своих фальшивых отношений к истине, будучи однако не в силах их отстаивать от Базарова. Он только тогда возбудил к себе невольную антипатию со стороны простодушных, когда пред ними он изливал свою злость на свое духовное одиночество (тут он даже оказывался, сверх всякого чаяния неумеющим и говорить с простыми мужичками), или когда допускал, хотя бы неизбежное для него, раздвоение между своим воззрением и практикой (тут уж мужик, и сам не зная от чего, не ломал пред

этим барином шапки, видно везде сердце сердцу весть подает). «Асмодея нашего времени» пока я не вижу в Базарове. Все, сказанное о нем, еще не выводит его из того круга, который он сам очертил для себя: «Мне скажут дело, я соглашусь», и еще: «Когда я встречу человека, который не спасовал бы предо мной (т.е. пред которым мой путь отрицательный оказался бы явно несостоятельным), тогда я изменю свое мнение о самом себе». Другими словами сказать тоже: проясните мне истину, чтобы именно я ее видел, я предался ей всей душой. С этим человеком, как с Савлом, скорее что-нибудь поделаешь для истины, чем с почивающими себе преспокойно на каких-либо призраках, или буде на мертвых оставах истины.

Посмотрим на Базарова, особенно в душевном отношении его к Анне Сергеевне, в которое Базаров стал совершенно неожиданно для себя и от которого не мог он освободить себя до самой смерти. Базаров отрицал все высшее (безотчетно действующее), в *любви*, как мечтательный романтизм; как человек *ощущения* и *ощутительно полезной положительности*, дальше которых он ничего еще не успел прозреть, Базаров в деле любви останавливался только на теле и добивался положительного толка. Но вот «что-то другое в нем вселилось, чего он не допускал, над чем всегда трунил, что возмущало его гордость». В возбуждившейся у него любви к Анне Сергеевне слышалось ему что-то высшее тела и положительного толка, неоставляющее его и при невозможности уже какого-нибудь подобного толка и при ощущаемой им близости собственного его тела к разложению, – слышалось ему ясно что-то таинственное, в чем он, не зная еще самой истины, не мог дать и отчета определеннее и умнее, как разве назвав это чувство «напускным». (Так деревенские женщины называют признаваемое ими за нечто таинственное, чего они иначе не умеют и изъяснить, как представляя, что это «напущено» злым человеком). Очевидно, что его брала злость (в смысле горячей нетерпеливости) от этого нового чувства. Надобно представить себе человека, отрицающего все темно таинственное, все безотчетное и бессознательное для него высшее, но вдруг ощутившего себя в каких-то таинственных узах, вдруг

оказавшегося под неотразимым влиянием чего-то высшего, могучего, словно это было «напущено» на него какой-то неведомой силой. Он видел, что сомкнутость отрицательного его одиночества готова была разорваться, но не от объявшего его света истины, а от какого-то «напускного чувства». Это была для него болезнь, враг, которого сломать он вменял себе в обязанность. Но напрасно он ловил себя на всякого рода «постыдных» мыслях, когда «напускное чувство» могло быть успокоено в нем соответствием. Напрасно, за тем, он мечтал отделаться от разрушавшего все его настроение духовного движения: «Я уж в клинике заметил: кто злится на свою боль, тот непременно ее победит». Борьба его была против несокрушимого рожна, как он не рвался в этой борьбе: «Помоюму – лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть, хоть и кончиком пальца... Мужчине некогда заниматься такими пустяками; мужчина должен быть свиреп, гласит отличная испанская поговорка». Вся энергия души его высказывалась в этих словах: «Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Амины! Кончено!» Но тем не менее слова только и оставались словами. Уверял было он самое Анну Сергеевну, что пред ней «смертный, который сам давно опомнился и надеется, что другие забыли его глупости»; однако кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе, когда говорили ему о молодом и свежем чувстве, только не к нему. Наконец подошла к нему и смерть, которую он лучше не мог обозначить в отношении к себе, как таким образом: «Да, поди, попробуй отрицать смерть. Она меня отрицает и баста». Но и в эти минуты таинственная сила невольно извлекает у него последний призыв все к той же Анне Сергеевне, чувство к которой, действительно, отрицает самые его беспощадные отрицания. Но все же он остается или силится быть таким, каким представляет свой идеал отрицательности в следующих словах к другу, с которым навсегда расставался: «Для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости... Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замазает... Нам других ломать надо!»

И вот на одре смерти открывается последняя потрясающая борьба Базарова с безотчетно (словно назло ему) увлекающим его чувством. Безотчетность этого чувства не давала ему взглянуть прямо к просвечивающему в том же чувстве свету живой истины, и в тьме нашей светящемуся; но умирающий все-таки стремился успокоиться под живительными влияниями этого света, хотя, с другой стороны, и мучился мерцаниями того же света, неподходящими ни под земную положительность, ни под грубое, осязательное ощущение, однако ж недозволяющими и отрицать их, или от них освободиться. Вот что совершалось с Базаровым в последние минуты, как они изображены г. Тургеневым! Мне даже стыдно повторять здесь эту грубую (можно, сказать, безобидно сказать) клевету о «бесчеловечном обращении г. Тургенева с умирающим героем, который, лежа на смертном одре, призывает свою возлюбленную будто для того, чтобы видом ее прелестей в последний раз пощекотать свою потухающую страсть...» Проследим это свидание Базарова, на смертном его одре, с достойной, бесспорно, женщиной, чрез которую луч небесный нашел же возможность проникнуть в душу, по одному инстинкту ощущения, отрицающую всякое фальшивое отношение наше к истине, но и саму, оставшуюся без истины (честность пред истиной, видно, все-таки не может пропасть).

Смотрите, как умирающий Базаров встречает, у г. Тургенева, эту женщину, которая чем-то неразгаданным для него влечет его к себе против уже всякой своей воли, против желаний и всяких усилий самого Базарова. Его прежде всего поражает ее доброта и вообще нравственное царственное достоинство, когда она явилась к заразительно больному по (не прямому впрочем) его призыву. «Спасибо, – усиленно заговорил он, – я этого не ожидал. Вот мы еще раз и увиделись, как вы обещали... Ну, спасибо, – повторил Базаров. – Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих». В последних словах, пожалуй, можно слышать уже внутренний протест больного против собственного рабства, невыносимого для души, нетерпящей оков всего темного и безотчетного, или (как он выражался) романтического. На слова надежды он отвечает решительным,

дерзким отрицанием; но все-таки обращается опять к своей таинственной любви, отрицая, правда, в ней всякой смысл, однако ж и при этом, невольно увлекаясь любовью, как ни усиливался подавить мысль о ней обычной бесцеремонностью и наружной грубостью своего образа представления. «Эх, Анна Сергеевна станемте говорить правду. Со мной кончено...» И после нескольких слов отрицания, безнадежного, но и дерзкого бесстрашного, продолжал: «Что ж мне Вам сказать?... Что я любил Вас? Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь подавно. Любовь форма, а моя собственная форма разлагается. Скажу я лучше, что какая Вы славная! И теперь вот Вы стоите такая красивая...» Умиравший не щечет ли этим видом прелестей свою, занятую только телом, страсть? Напротив он сейчас же прямо выражает свое восхищение столько же нравственной красотой и чистотой, сколько свежестью молодости роковой для него женщины. «Великодушная! – шепнул Базаров. – Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!» И желая ей жить долго и пользоваться жизнью, пока время есть, он изображает бедную, бедную обстановку и жестокую к его замыслам насмешку своей смерти, чувствуя себя одиноким, чужим и для этой женщины, с которой одной чувствовала душа его какое-то живое родство, но все же желал бы хоть умереть прилично, очевидно, пред ней же. Вот самые его слова: «Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! Задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта как бы умереть прилично, хоть никому до этого дела нет. Меня Вы забудете, – начал он опять, – мертвый живому не товарищ...» И прибавил к этому еще несколько слов о безнадежности обожавшего его отца, с заветом пощадить старика в обманутых его мечтах о сыне. Наконец после некоторого забытья, в котором представления умирающего начали было мешаться с грезами, он приподнялся. «Прощайте, – проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском. – Прощайте... послушайте... ведь я Вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампу и

пусть она погаснет...» Анна Сергеевна приложилась губами к его лбу. «И довольно! – промолвил он, и опустил на подушку. – Теперь... темнота...» Анна Сергеевна тихо вышла. «Что?» – спросил ее несчастный отец умирающего. «Он заснул», – отвечала она чуть слышно. Базарову уже не суждено было просыпаться и проч., так заключает все эту картину г. Тургенев. Спасибо художнику, что, по силе и глубине своего творческого таланта, прозрел он нечто истинно живое в смерти человека, проходившего в жизни свой страшный путь мертвящего отрицания, но непреклоняющегося пред человеческими благовидными фальшами и за то, может быть, в своем отчуждении от живой истины и настигнутого ее светом, блеснувшим ему, впрочем, совсем безотчетно для него! И пошел он в другую жизнь не с одними семенами смерти в своей душе; любовь святая, преданная, словом, родительская, умеет, что живого орошать и возвращать в душе сына, какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в его могиле. Нужды нет, что слишком нежное чувство нравственной чистоты «Современника» видит совсем другой толк в зрелище смерти Базарова и произносит злой, беспощадный приговор г. Тургеневу за бесчеловечное будто бы обращение с умирающим его героем. А я думаю, что художник ощутил и выразил, как сама Высшая Творческая Любовь умеет настигать самые далекие, кажется, от нее свои создания.

Кому нравится диалектическую оборотливость и ловкость употреблять не на честное служение истине, а на софистическую службу своей школе, тот, пожалуй, из-за одного несогласия моего с ним против правды, рукой только махнет по поводу моих речей и скажет: тут тоже «невинные взгляды цветов». Но кто не любит фальшей пред истиной хоть столько же, как Базаров, тот из вышесказанного видит, что автор просто оклеветан в ненависти своей против этого, созданного им, типа, допущенной будто бы из-за полемики против некоторой части (или некоторых журнальных дельцов) нашей литературы... Г. Тургеневу, в художническом его отношении к такому лицу в романе, каков Базаров, могли угрожать две крайности: или он мог бы опустить из вида и художественно творческого

сочувствия своего что-нибудь лучшее, достойное в этом типе и особенно вывести его из-под простертой и к такому созданию Всеизжидательной Любви (в какую односторонность, например, впал автор «Асмодея нашего времени»), или мог бы он покрыть своим сочувствием все худшее, мрачное и дикое в Базаровском характере и оправдать страшные его крайности, как будто они зависели не от него самого, а от самой мироправительной воли или, пожалуй, от случайной судьбы (чего, именно, хотел бы «Современник», школа которого неразрывно связана с такой односторонностью). Г. Тургеневу, по силе и такту истинно художественного таланта, удалось избежать обеих этих крайностей. Он с любовью дает видеть, что эта личность не фальшивит и за то, в продолжении и особенно на конце и по окончании земного своего пути, не выходит решительно из области вечного примирения и жизни бесконечной; но вместе поставляет автор на открытый вид, что Базаров уже и не примечает, как он, например, нарушает права гостеприимства, как гордая его самоуверенность обманывается и в отношении его к мужикам, смотрящим иногда на него, как на «шута горохова», как самая энергия его более похожа на горячку, как и вся система его отрицать падает уже от одного простого факта *любви*, в которой, действительно, есть и ощущается что-то высшее, таинственное, духовно властительное, сколько бы он ни бесился против этого со своими отрицаниями. На этот факт «Современнику» сердиться нечего, хоть ради того, что Базаров, и уступив этому факту, умер в Тургеневском романе все-таки верным себе в том, чтобы и по страху смерти не фальшивить пред истиной, которой он еще не узнал.

В чем же, спрашивается теперь, «Современнику» *померещился* (после всего, что выше раскрыто нами, другое слово не ложится на бумагу) в романе г. Тургенева полемический трактат за «отцов» против «детей» и особенно против отрицательного направления литературы, возбудившего будто бы ненависть в г. Тургеневе к Базарову? «Отцы» и «дети» в романе представляются, в своем и лучшем и худшем, по крайней мере равными ли стоящими друг друга; а Базаров является действующим даже честнее пред истиной, нежели

литературные или журнальные у нас деятели отрицательного направления. Можно, конечно, брат из романа разные отрывки (как, например, и из другой книги вырывать частные места) и обстанавливать их своими рассуждениями, без соображения с цельностью и развитием характера той или другой личности; но это уж значит перетолковывать вырванные из романа частности по своей предзанятой мысли.

Но в романе, говорите вы, множество разговоров, рассуждений, свойственных более трактату, чем роману. Но, скажу и я, пишущему журнальные критики не по случайным поводам, а в качестве постоянного журнального деятеля, надо бы знать, что иное дело – отвлеченные рассуждения или ученые разговоры, и совсем иное дело – такие разговоры и рассуждения, в которых, как в самых энергических действиях или как в запутанной и трудной коллизии событий, возбуждается и раскрывается вся сила характера той или другой личности, поднимается и всплывает вверх лежавшее дотоле на самом дне глубины душевной. Разговоры и рассуждения последнего рода принадлежат уже поэзии, а не трактату. И в наше время из действий или коллизий романтических героев – едва ли не самые поэтические те, в которых действует и затрудняется мысль, разумеется, всегда по поводу разных событий, столкновений с людьми, и в сопутствии разнообразных видов практики. Базаровские споры с Павлом Петровичем и рассуждения с Аркадием представляют в себе именно энергические действия и, по отношению особенно к Базарову, раскрывают глубокий трагизм внутреннего его положения. Потому слышать в рассуждениях Базарова не более, как вот такую речь: «Я – отрицательное направление, мои мысли и воззрения вот такие-то и такие», – значит также точно лгать пред художественностью романа, как указывать в Аркадии Николаевиче олицетворение порока непочтительности к родителям, значит просто клеветать на эту личность в романе.

Но почему бы г. Тургеневу не представить «отцов» просто дрянными, например, рутинерами, деспотами и т.д.? Почему бы в «детях» не выставить только свежего, молодого, растущего? Подите, в самом деле, заставьте г. Тургенева или кого вам

угодно плясать под вашу дудочку вместо того, чтобы ему быть самостоятельным, свободным в своем собственном деле. А иной, пожалуй, пусть потребует от Тургенева и того, чтобы он уж получше бы отделял «детей», выставив их действительно такими, какими, например, воображаются они «Современнику». Ну, а г. Тургенев пусть удовлетворяет почтеннейшую публику или журналистику, как знает. Нет; по моему лучше бы хорошенько высмотреть или изучить то, что сам от себя предлагает нам автор. Это было бы и справедливее и, вместо всяких наших выдумок против автора, помогло бы нам найти у него что-нибудь гораздо получше и поважнее того, чего от него самоправно требуем. С совершенно дрянным родом как «отцов», так и «детей», ничего уж не поделаешь; тут вся надежда только на то, скоро ли, долго ли пройдет этот дрянный род (покойный Панаев, кажется, где-то в «Современнике» развивал такую мысль о нравственных фактах, что их уж не исправишь, а пусть они живут и когда-нибудь доживут свой век; мысль вполне верная). Но вот в чем трудность и задача времени: есть «отцы», имеющие между слабыми своими сторонами много достойного, лучшего, — есть «дети», не принадлежащие к разряду нравственных фактов; но и между такими «отцами» и такими «детьми», т.е., между самыми непустыми представителями и старого и нового поколения, дело все-таки не клеится или клеится как-то худо. Что тут делать? Как этому горю пособить? Или что, в таком нашем горе, делается Всеизжидательной Любовью, еще небросающей, неотвергающей своих созданий? Истинно творческий талант, в своем произведении, решает подобные вопросы не трактатами, а по своему, художественным образом. Покончу здесь с «Современником» желанием ему поболее любить истину и уважать правду, нежели свою школу и свое направление, и постараюсь дать отчет в том, что мне удалось найти в последнем произведении Тургенева.

Между «отцами» с одной стороны и «детьми» с другой, действительно и в другие времена, существует более или менее такое отношение, что первые отходят, другие приходят, у тех то или другое отживает, у других то или другое растет. Но наше время отличается особенной резкостью и решительностью подобного отношения между старым и новым поколениями; одно во многом как бы уносит ветхую жизнь, устарелый свет, другое во многом приводит с собой как бы новый мир, новую жизнь. Эти мысли встречаются часто и в наших журналах (как, например, в Современнике), – высказываются и в романе «Отцы и дети». Но для нас важнее и нужнее этого выследить в самом содержании и ходе романа, как обширно и насколько верно раскрывается нынешнее время со стороны этих отношений между старым и новым поколением, между отцами и детьми. Раскрытие этого есть тоже, для выяснения живой сущности, идеи или задачи романа, разрешаемой в нем художественно, что изучение почвы – для отчетливого понимания, что и как растет и развивается на этой почве.

Живое зерно истины, выясняющей «отцов и детей» с их взаимными отношениями, в романе г. Тургенева, для нас уже довольно освобождено выше и от своей собственной скорлупы и от наносной грязи. Потому не трудно уже нам раскрыть эту сторону романа.

Прежде всего уже само собой разумеется, или подразумевается, что, ведь, все дело Тургеневского романа совершается не только у нас в России, в нашем образованном обществе, но именно (надо уж и это напоминать, чтобы иные господа не заносилось в какую-нибудь еще небывалую среду) в мире христианском, узнавшем и принявшем истину со всеми доказательствами, достаточными для людей и своевольно языческого и мертво иудейского направления, и совершается именно в тех сторонах этого мира, где уже, в действительном, а не формальном, движении мысли и жизни, ведут свои дела и делишки уже как-то помимо живой-то истины, хотя еще

содержимой формально или по привычке, а иногда и искренно, только слишком слепо и безотчетно. Это надо иметь прежде всего в виду у Тургенева, который, действительно, в своем романе поставляет это на вид не поверхностного наблюдателя. Только имея это в виду, мы можем понять, как необходимо и просто выставляется в романе Базаров гораздо выпуклее и резче всех других лиц; этот тип, со стороны «детей», является главным героем романа и по отношению к самым «отцам». Жизнь не обманешь; она найдет беспощадных не только для других, но едва ли не более для себя самих, обличителей или отрицателей всего в мире безжизненно формального, призрачно или мечтательно только истинного и доброго, бессмысленного привычного, самых искренних и живых, но слепых и безотчетных инстинктов и движений духовных. Базаров является достойным и, по своей даровитости, энергии и честности в отношении к отрицательной стороне истины, необыкновенным представителем этих отрицателей, вызываемых самой жизнью против крайнего преобладания в мире фальшивых отношений к истине. Он отрицает (как он сам высказывает прямо) «все», чем однако и неверный истине мир еще дорожит то по форме, то по привычке, то по искреннему, хоть и слишком слепому, движению, то просто только уже по малодушию и пугливости. В отношении к такому миру он не может не сознавать в себе страшную «силу», которой, со своими фальшами, мир не может противостоять; одной истине уступит сила эта, «расчищающая место» для ее будущих построений, когда т.е. откроются в мире уже не фальшивые, не мечтательные, не темные, отношения людей к истине. Поэтому и сам Базаров думает о себе, что ему назначено в жизни «обломать дел много», и другие как-то уверены, что он далеко пойдет и будет знаменит. Что представляет в себе и раскрывает этот Базаров, со стороны «детей», это и в действительности нынешней часто выступает на первый план (хоть бы было и в довольно смиренной доле), только редко с такой типической силой и цельностью.

Но Базаров принадлежит к «хищным». Между «детьми» есть типы и «ручных». Они бывают двух родов. Одни, как Аркадий Николаевич со своей краткой деликатностью,

отличаются еще таким живым и благородным настроением, что, как будто по самой своей природе, не могут не сочувствовать до увлечения и благоговения всему истинно дельному, до самоотвержения смелому и честному, хоть бы оно являлось таким только со стороны отрицания разнообразных мирских фальшей, не видя однако за ними еще почти ничего. Эти «дети», оставленные сами себе, пойдут «с молодой смелостью и молодым задором» по направлению базаровского духа за одну его самоотверженную смелость, дельность и честность хоть только пред одной отрицательной стороной истины; потому что не видят они в своей среде другого, более достойного истины, отношения к ней людей. Другой род «ручных» между «детьми» чувствует и понимает, что «ручная» их самостоятельность не сродна «хищному» базаровскому духу, что последний не дает первой места к свободному ее раскрытию; и, по естественному чувству самосохранения, становится в оборонительное положение против базаровского влияния, не имея однако еще ничего у себя, кроме только инстинктивно светлого и живого. Таков Тургеневский тип Кати, сестры Анны Сергеевны. От тех и других «ручных» для положительной стороны истины представляется пока не более того, что и от «хищного», отрицательного Базарова: последний своими отрицаниями не дает еще самой истины, также как и первые, или следуя ему же, или обороняясь от него, нимало еще не выясняют истины, при всей живости, деликатности и благородстве своего к ней отношения.

Есть за тем и такие, которые берутся проводить разные бойкие молодые идеи в своем образе мыслей и даже в самой жизни, не взвесив этих идей, не испытав их строгой базаровской пробой и даже вовсе невзлюбив их с искренностью, например, Аркадия или Кати. Вот вам *Евдокия* (т.е. Авдотья Никитишна) Кукшина, эманципированная женщина, жаркая поклонница наук и искусств, открывающая даже, по ее словам, новые законы в архитектуре. Она любит слишком запросто держать себя со студентами и, кажется, вся – открытое прямотушение и самая естественная искренность, но, на самом деле, все у ней выходит как-то искусственно или, как дети говорят, нарочно.

Сюда же относятся «дети» другого рода, добрые малые, но неимеющие ни особенных дарований, ни умной энергии, – рьяные последователи базаровских воззрений, давших им словно «прозреть», но годные только обжигать горшки, по отзыву самого Базарова; они, мечтая разделять или продолжать «дело» Базарова, готовятся тоже в великие люди, но ими бесцеремонно пренебрегают или помыкают мало-мальски недюжинные люди. Таков тип Ситникова. К категории таких же из молодого поколения, на которых, по делу истины, ровно нечего рассчитывать, принадлежат те молодые ученые (или еще ученики), которые, удивляя на первых порах наивных немецких философов своим трезвым взглядом на вещи, впоследствии удивляют тех же самых профессоров своим совершенным бездействием и абсолютной ленью. Впрочем г. Тургенев явно держа сторону «детей», не представляет определенных типов этого выродившегося или выдохшегося базаровского отрицания и самоуважения, а только к слову мимоходом указывает на подобных дельцов, которых естественно одолеть бездействию и лени абсолютной, при незнании, в чем самая *суть* их дела, не пустяки ли все это...

Возможны со стороны молодого поколения в той среде, какую взял для своих героев г. Тургенев и которую мы обозначили выше, еще и особенно стройные и в своем спокойствии привлекательные и успокоительные явления. Не успокаиваясь на достойном отрицании, но и не позволяя себе отрицать того, что еще не вполне дознано, и потому с пытливостью естественно соединяя равнодушие, умные люди живут себе спокойно, но никак не в бездействии душевных сил; они ни перед чем не отступают, за то, правда, и никуда нейдут. Они много ясно видят, многое их занимает, и, по примеси чуть не везде к делу истины наших человеческих фальшей, ничто не удовлетворяет вполне; так что они, не имея никаких предрассудков, не имеют уже и никаких сильных верований. Впрочем сомнения их, не утихая никогда до забывчивости, никогда не дорастают и до опасной тревоги, вследствие живого их инстинкта не принимать решительных выводов, пока не видно еще достаточных для них оснований, или не отрицать

еще неведомого; в этом состоит и нравственная их независимость и вместе уклончивость от всего решительного, отнимающего спокойствие. Таков Тургеневский тип Анны Сергеевны. Как все эти типы у г. Тургенева вяжутся один к другому, составляя в своей совокупности одну цельную картину умственного и нравственного состояния молодого поколения в известной среде! И как, у непредубежденной интересами школы, сильно возбуждается заботливое участие к этому положению дела «детей», определяемому у Тургенева отнюдь не легкомыслием или пустотой их, а прежде всего отношением современного мира к истине и потом разностью настроений, дарований и обстоятельств этих детей (не исключая отнюдь и Ситникова и Евдоксии Кукшиной)! Ведь надежда для будущего в «детях».

Ясно (думается мне) и из нашего сжатого очерка всех этих представительных типов молодого поколения, что они уже совсем *отстали от берега* «отцов» или старого поколения, выдерживая или только имея еще в виду свой собственный берег. Сама Катя, не только «ручная», сознающая в себе особую от «хищных» отрицателей нравственную породу, но и ловко обороняющая от их влияния себя и родных себе «ручных», уж никак не допустит, не признает законности нравственно рабского существования; она готова даже на тяжелые для сердца жертвы, чтобы в своей жизни избежать опасностей или только вероятностей «подчиненного существования» пред нравственным деспотизмом, который столько въелся в дух «отцов», что и нравственно молодые, очутясь по каким-нибудь отношениям в положении «отцов», уже гнетут других более молодых, от них зависящих, своим деспотизмом, и сами того не замечая. Мы уже говорили это об Анне Сергеевне. Перейдем к очерку нравственного положения «отцов» и отношения их к «детям», как это изображено в Тургеневском романе.

У «отцов» или в старом поколении, на первом плане стоит этот *аристократизм* (в самом обширном смысле слова), по которому действительно или мнимо лучшие и высшие из них любят разве только величаво снисходит к положению худших

или низших, чуждые на самом деле христианского снисхождения (забыли, конечно, Кто, будучи превыше всех, вошел в положение самых худших и низших так, как бы оно было Его собственное). Спускаясь со своей аристократической (во внешнем или духовном отношении) высоты до юдоли прочих смертных, они впрочем не замедляют слишком в этой грязной для них юдоли, а поскорее заберутся опять на свою высоту, поддерживая ее не только внутренним аристократическим настроением своим, но и всем наружным, своей физиономией, своими приемами, даже одежею, или видимо роскошной, или напоминающей старинное нравственное величие, выражающей личное достоинство. По своему аристократическому самоуверенному (при самой даже кажущейся скромности) духу они вполне убеждены, что идут рядом с веком или даже впереди его. Да это впрочем, и действительно, не какие-нибудь престарелые факты, а люди серьезные, любознательные, готовые входить в изыскания, и научные опыты молодого поколения. Но они уж не замечают того, что, по самому своему самовозносливому аристократизму в образе мыслей и жизни, они сами находятся уже не в прямом или достойном истины, а в фальшивом отношении к делу истины, хотя бы и знали, так сказать, самое ее лицо. Ведь наша истина, по духу своему, в себе выносит и переживает гниль и низкость самых человеческих виновностей и заблуждений, не говоря уже о *кажущихся* только видах худшего и низшего. Чуждые такому духу истины и потому чувствуя себе подлежащими, едва ли не в первую голову, отрицанию со стороны молодого поколения, неуживающегося с фальшивыми отношениями к истине, они до глубины души возмущаются и со всей силой вооружаются против этого отрицательного направления. Они уж знать не хотят, и как будто уже не могут, возможности лучшей стороны и в этом направлении; они видят в нем только отрицание истины, как будто собственные их фальшивые отношения к истине – так себе, ничего, или даже принадлежат самому делу истины. Поэтому в столкновениях с такими «отцами» молодого отрицательного направления естественно обнаруживаться всей беспощадности и крайностям

последнего столько же, как и всей его силе и достоинству; ведь противная этому направлению сторона прикрывается, по-видимому, самой истиной... Но не допуская в себе сомнения на счет прямоты своих отношений к истине, фальшь которых и дает силу отрицательной стороне, эти «отцы» видят в детях отрицательного направления только одни непомерно-горделивые претензии на достоинство, и «силу» их смешивают с грубой материальной силой монголов. Такие «отцы» порвали в себе, кажется, все живые внутренние связи с «детьми». Они, эти «отцы», забывают даже уроки, данные им жизнью, что, слишком щадя и убажывая себя, успокаиваясь много, много, как только на «романтизме» своей, например, любознательности и движений внутренних, они во многом погубили свою жизнь или сделали себя во многом уже вживе мертвецами, которым от жизни и ждать нечего; как будто нет уже им и места на угостительном ее пиру, пусть витают только в выси своего уединенного идеализма или аристократизма. Вот каков этот Тургеневский тип – Павел Петрович.

Есть между «отцами» и такие, у которых, не чужды и первому типу, *романтизм* (разумеется это слово в смысле Базарова, который подводит под это понятие не только мечтательное, но и все *безотчетно* доброе или *бессознательно* истинное, чуждые энергии созерцания и движения, хотя бы они были и благородные) оказывается такой же преобладающей и управляющей стихией, как у предыдущих «отцов» аристократизм. Они уступают другим честь быть передовыми, но никак не чувствуют себя отсталыми; потому что все живое и дельное в современности, что они успевают узнать, близко их сердцу. Они любят читать поэтов, разумея впрочем чтение легкое и приятное, без серьезного и строгого изучения; они оживляют себя, в мирских мертвящих суетах и заботах, игрой, например, на виолончели или другими подобными занятиями, приятно, но без труда, возвышающими дух над житейскими дрязгами. Все живые и кроткие связи с людьми им особенно сродны; тем более они желали бы быть за одно со своими «детьми». Но сами же своей, упадающей часто до слабостей, сентиментальностью ставят детей в ложное к себе

отношение, давая им невольно чувствовать в себе превосходство пред слабыми «отцами». Главное же неудобство такого рода «отцов» в отношении к «детям» состоит в том, что их «романтизм», действительно, был некогда живой силой, движущей особенно молодое поколение, а теперь уже, впрочем тихо и сладко, угасает для жизни; всем, хотящим жить не по пустякам, хочется заняться делом и не хочется оставаться в безотчетливости, по отношению к делу мысли и жизни. Песня этих «отцов», очевидно, уже спета; они приятно доживают свое время, как «отставные». Они и сами сейчас это сознают, как скоро только услышат меткое об этом слово «детей»; они и руки уж опустят, относительно надежды своей сойтись духом с последними; «романтизм» их всегда добросовестен и благороден, так что они не могут и не захотят закрывать для себя видимую уже правду. Дело не в том, чтобы от них отходило сердце «детей»; нет, последние ценят всю их доброту к себе; но интересы духовные, по образу мыслей и цели стремлений, взаимно расходятся у тех и других. Это, как изволите видеть, Николай Петрович, – отец Аркадия Николаевича!

Есть и такие «отцы», которые живут попросту, по здравому смыслу, с искренней верностью святым преданиям, в мире со всеми, благодетельные к нуждающимся. Чего бы лучше? И в отношении к «детям» эти «отцы», что называется, души не слышат, обожают их до какого-то страха пред ними, хотя и не совсем бестолково, а с сознанием их достоинства. Это крайность, противоположная аристократизму; эти «отцы» уже не выдерживают нисколько собственного достоинства, так как аристократизм «отцов» слишком уж сознает и бережет свое достоинство. «Отцы» характера, нами рассматриваемого, готовы даже к тому странному лицемерию пред обожаемыми детьми, что и они, старики, не отстают от века, считают тоже предрассудками святыню своих же искренних верований; все это жертва любви и услужливости пред детьми. Следя за развитием характера этих отцов, или становишься просто в тупик пред этим вместе и высоким и уродливым характером, или остановишься на той, совершенно верной, мысли, что эти

«отцы» слышат и благоговейно признают что-то высшее в сыновстве, но забывают и глубоко унижают высшее в своем отчестве. «Детям» беспощадно отрицательного ко всему, что сколько-нибудь отзывается несостоятельностью, очевидно – нет возможности сойтись с такими отцами. Все лучшее, мирное, незатейливо счастливое в этих «отцах» возбуждает в «детях» запрос, почему же так хорошо живется этим людям, уживающимся со многими фальшами, а у них – «детей» идет такая пытка от вопросов и особенно от отрицаний. Все худшее, все это раболепство пред детьми, излишняя похвальба ими представляется им в роде того, чем себя дитя тешит. Все существенные интересы до того расходятся у таких «отцов» с «детьми» собственно отрицательного направления, что последние, и любя первых, отправляются, например, на свидание с ними, точно как на тот свет *ad patres*. Конечно, «ручные» из детей могли бы еще ужиться с ними, но уж для дела жизни и истины конечно не выигрывалось бы ровно ничего от добродушного согласия с добродушной крайностью.

Не касаюсь уж таких отцов (как и Тургенев почти их не касается), которые только помыкают добрыми малыми из детей, или таких из старого поколения, которые безотчетно злятся на «этих новых оголтелых» и на всякое явление их счастья. Трудность задачи нашего времени не в том, почему люди дурные не сходятся с добрыми или с дурными же, но в том, от чего очень нехудые во многих отношениях «отцы» не сходятся тоже с очень нехудыми во многих отношениях детьми. Можно выяснить подобные несчастные отношения между старым и новым поколениями, раскрывая то, что «отцы» и «дети» и стоят друг к другу именно такими своими сторонами, которые решительно расходятся, а не взаимно сродными сторонами. Это выше нами и выслежено в романе г. Тургенева. Но задача остается нерешенной в самом главном своем значении, где корень этого зла, как его вырвать или по крайней мере подорвать всякую крепкую поддержку для этого корня, так, чтобы с продолжением времени он высох сам собой? Это остается еще нам выследить в романе «отцы» и «дети». Благоприятное решение задачи нашего времени с этой

последней ее стороны, тем важнее и желаннее для нас, что, если отвлекать существо дела или дух отношений между отцами и детьми, мы найдем тоже самое во всех средах, во всех отношениях между разными представителями отчества и сыновства, именно: и в школах и в гражданстве, и в религиозных обществах и так далее. Ведь взаимное внутреннее несогласие и борение таких существенных элементов всякого организма общественного, каковы сыновство и отчество, имеет страшное значение. Чтобы и поднять подобные вопросы в художественном произведении, нужно много глубины и силы истинно творческого таланта, чующего, что именно совершается в жизни, не на одной ее поверхности. Потому, признаюсь, отворачивающиеся от такого творения и припоминающие зады, например, «Записки охотника», мне кажутся похожи на маленьких ребят, которым, в изучении грамоты, скоро и весело дались, например, склады, и вот они, затрудняясь еще читать по разным шрифтам и печати или письма, говорят: ну, что это за пустяки такие? То ли дело, бойко и громко – во всю ивановскую, разбирать по складам? Но к делу. Посмотрим, также ли чутко и верно Тургенев слышит и поставляет на вид тайну жизни, совершающуюся в наше время, в отношении к выходу из чрезвычайных затруднений и запутанностей нравственных, как чувствует и поставляет на вид самые эти затруднения и запутанности? Есть ли в его таланте живое и светлое сочувствие не к отрицательной только стороне, а и к самой зиждительности высшего творчества, сильного изводить стройный и прекрасный мир и из хаотического первоначального нестройства? Слава Богу, что у нас есть еще писатели с нужным для выполнения такой задачи художественно творческим дарованием!

Вся беда со стороны «отцов» и «детей» во взаимных их отношениях, состоит или в не совсем разумных излишках самодеятельности тех и других, или в неразумных же недостатках и слабости этой самодеятельности. Пусть бы не слишком упирались, каждый по своему, на свою самостоятельность. Базаров или Павел Петрович, они ближе были бы к тому, чтобы, по крайней мере, понемногу, постепенно

выяснялись для них и снимались взаимные недоразумения, составляющие как будто совсем непроходимую, разделяющую их друг от друга, бездну. Эти типы, ведь, главные антагонисты со стороны отцов и детей. С другой стороны, пусть бы Базаровский батюшка или Николай Петрович, при всей преданности своей к детям, помнил, что из любви к ним же надо выдерживать и свою прямоту и достоинство, надо удерживаться от разных грешков малодушной человеческой увлекаемости; пусть бы и Аркадий Николаевич, с самого начала своих близких отношений к Базарову, сохранял бы свою самостоятельность по крайней мере на столько, как Катя. Первые могли бы неотразимо воздействовать к незаметному укрощению диких и жестких сторон молодого поколения и особенно к тому, чтобы оказаться не совсем «отставными», а Аркадий все же бы не так спасовал пред Базаровым, (а это к смягчению и усмирению его духа и нужнее было бы всего), чтобы последний отнес его запросто к «галкам». И «отцы» и «дети» явно еще не доросли до того, чтобы тем и другим, разумно и твердо выдерживать свое значение (или, вернее-то сказать, дело это у нас, видно, далеко еще не дошло до того, чтобы «отцы» сознательно сообразовались с высочайше первообразным для всякого отчества Отцом, все благоволение Которого – в Сыне, а «дети» с верховно первообразным для всякого сыновства Сыном, в Котором вполне успокаивается дух Отеческий. Только разве односторонне и глупо «отцы» и «дети» следуют каждому своему первообразу). Нужна, очевидно, материнская еще поддержка в нас правды и добра и в отношениях между «отцами» и «детьми», как и во всяком другом у нас отношении, чтобы это добро и правда возрастали в нас до светлой отчетливости и твердости, достойной истинного добра и правды. И от кого же ждать этой материнской поддержки, как не от матери Того, Кто есть истина и правда наша? Образ ее был отпечатлен уже и в ветхозаветной, падшей женщине; тем светлее и живее должно быть отпечатление ее в христианках, хоть какой-нибудь духовной своей стороной (хоть бы одной душевной свежестью) идущих *в след* ее, как своего благодатного первообраза. Обо всем подобном еще трудно как-то у нас думается и говорится;

но подрастем, будем умнее и таинственностью, которой так пугались, явится для нас уже светом близкой уму и сердцу нашему истины. Г. Тургенев своим художественно творческим, духом ощутил и выразил, что, действительно, женщина свойственной ей живой *восприимчивостью* столько же, как мужчине особенно свойственна *самодетельность*, и без своего сознания и воли то смягчает упрямство мужской самостоятельности, то вызывает ее к достойной твердости; и живое семя добра, правды, истины является и развивается нежданно, негаданно и в таких личностях и их отношениях, относительно которых, казалось, просто ничего не поделаешь.

Посмотрите, вот и Феничка, неимеющая у себя ничего кроме простодушия, свежести и красоты юности, делает очень просто, но действительно без своего ведома и воли, дивные вещи. Под ее влиянием, которому и сам не понимая – как и от чего, подчинился Павел Петрович с пламенным увлечением, этот аристократ уступил своему врагу Базарову в том, чтобы признать несостоятельность пред истиной своего самовозносливого аристократизма; он сам потребовал от своего брата несовместимой с аристократизмом жертвы – вступить в освященные узы брака с простой и уже увлеченной соблазном дворовой девушкой. Ведь, чрез это поправлялась, в известной мере, не только аристократическая односторонность Павла Петровича, но и романтическая крайность Николая Петровича, доведшая его до некоторых грешков, явно роняющих его пред сыном и поставляющих последнего в фальшивое, именно какое-то оскорбительно снисходительное, отношение к отцу. Кто это оказал такую материнскую помощь недорослям «отцам», в прямое благо и для «детей»?!..

Как чрез женщину же и этот, показавшийся кое-кому «Асмодеем нашего времени», Базаров пойман был (без колеблемости притом для лучшей стороны своей) в несостоятельности самых своих отрицаний, доведенных до последних крайностей своей односторонности, выяснять это мы уже имели случай. Выпишем здесь только одно место из романа, сжато выражающее всю сущность этого случая с Базаровым, убийственного для его крайностей и живительного

для его духа. «Настоящей причиной всей этой новизны (которая неожиданно совершилась с Базаровым), было, говорит г. Тургенев, чувство, внушенное Базарову Одинцовой, чувство, которое его мучило и бесило, и от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и цинической бранью (в следствие самого существа базаровского направления), если бы кто-нибудь, хоть отдаленно, намекнул ему на возможность того, что в нем происходило. Базаров был великий охотник до женщин и до женской красоты, но любовь в смысле идеальном или, как он выражался, романтическом, называл белибердой, непростительной дурью, считал рыцарские чувства чем-то в роде уродства или болезни... «Нравится тебе женщина, – говаривал он, – старайся добиться толку; а нельзя ну, не надо, отвернись – земля не клином сошлась». Одинцова ему нравилась... но он скоро понял, что с ней не добьешься толку, а отвернуться от нее, к изумлению своему, не имел сил. Кровь его загоралась, как только он вспоминал о ней; *он легко сладил бы со своей кровью, но что-то другое в него вселялось, чего он никак не допускал...* В разговорах с Анной Сергеевной он еще больше прежнего высказывал свое равнодушие ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе». Как он не хвастовался, будто он вырвал себя как редьку из гряды, где он сидел; он духовно оставался в этой гряде до самой смерти. «Таинственные отношения», с яростью отрицаемые им, *ощущал* он к Анне Сергеевне до последней минуты самосознания своего духа на земле. Живое семя, противоположное мертвящим крайностям базаровского направления, внедрилось, видно, до неисторгаемости в глубинах его духа, и пошло в иную жизнь. Повторю сказанное мной прежде, что без всяких внутренних в самом духе Базарова, хотя и бессознательных, задатков примирения и жизни бесконечной – не к чему было бы привиться и живительным влияниям святой, преданной любви родительской. И таким образом, под влиянием женщины, и этот представитель «детей», в самом страшном направлении, поставлен в прямые отношения к своим родителям на целую жизнь бесконечную.

Катя «ручная» Катя, сосредоточенная в себе, цветущая молодостью и красотой, с свежей душой и мыслью, своим влиянием дала почувствовать и понять Аркадию, что он духовно не очень сроден с Базаровым, что надо ему сберечь свою духовную самостоятельность от подавляющего ее базаровского влияния. Она не только укрепила Аркадия в живой семейной связи с отцом, но и помогла найти общие с последним интересы жизни; женись на ней Аркадий отдался жизни хозяйственной, как и его отец. Она же наконец не прочь была и от того, чтобы поддерживать в своем муже добрую память о Базарове, а следовательно и всю лучшую сторону его направления; вспомните, как она предложила мужу тост «в память Базарова», принятый Аркадием с таким живым чувством.

Наконец вот старик, от которого неожиданно уехал обожаемый сын, пробыв у родителей, после трехлетней разлуки, не более трех дней, совсем было опустился и уронил голову на грудь. «Бросил, бросил нас, – залепетал он, – бросил; скучно ему стало с нами. Один, как перст теперь, один». Кто поднимет и оживит упавший, обманутый и оскорбленный сыном старческий его дух? «Тогда, – говорит Тургенев в романе, – Арина Власьевна (жена этого доброго старичка Василья Ивановича) приблизилась к нему, и, прислонив свою седую голову к его седой голове, сказала: «Что делать, Вася? Сын отрезанный ломоть. Он что сокол: захотел, прилетел; захотел, улетел... Только я останусь неизменна для тебя, как и ты для меня» Василий Иванович принял от лица руки и обнял свою жену, свою подругу, так крепко, как и в молодости и не обнимал; она утешила его в его печали.

И вот таким образом дело «отцов» и «детей» и взаимных их отношений, под каким-то таинственным влиянием женщины, в существе дела явно не принадлежавшем ни одной из выведенных здесь женских личностей, (потому что ни одна из них не обнаружила даже самоотвержения своей любви и все почти они действовали как-то без собственного, что называется, ведома и намерения, ведь не вырвешься из общего недорослого состояния), дело представлявшее в себе столько

глубоких нестроений и внутреннего разведения и разладицы, улаживается и благоустраивается в романе настолько, что «отцы» и «дети» являются, в лице главных своих типов и представителей, составными элементами общественного организма, освеженными и каждый сам в себе и входящими в живую взаимную между собой связь. Так вот где русский поэт чувствует и указывает эмансипацию женщины, по силе которой оказывается, что, в отношении к существенной задаче и назначению человечества, действительно «несть пол мужеский и женский», что и женщина наравне с мужчиной, а иногда в известном состоянии общества еще более, чем мужчина, может послужить оживлению и поправлению общественного, или вообще человеческого, дела. Это, конечно, может иметь свое место и по отношению к науке, службе, также как и вообще в деле истины и жизни. Но само собой разумеется, что для этого необходимо существенное условие со стороны женщины, чтобы она как-нибудь не изуродовала в себе и этой идеи эмансипации односторонностью и глупостью, в которые так легко впасть непонимающим еще сущности дела в этой идее, останавливающимся только на блестящей ее внешности. И вот эмансипированная Кукшина, вышедшая в романе на открытое поприще действия так случайно и просто, является необходимым в целом звеном.

Художник ощутил в тайне жизни, совершающейся в наше время, и художественно воспроизвел, вывел на открытый наблюдателю вид – еще более. Ведь необходимо, чтобы земля, принимающая живое семя, была возделанная, обработанная разрывающим и утучняющим ее глыбы земледелием. Женское живительное влияние, идущее с какой-то высоты таинственной, особенно неведомой для привычной безотчетной живости, требует для прочного своего действия возделанной и умягченной почвы. Что же могло бы служить к возделанию и умягчению нравственной земли ума и сердца человеческого? Разумеется, всего бы лучше и животворнее для этого был бы весь составленный из любви крест страдальческого самопожертвования и самоотвержения во благо любимого. Но и здесь требуется светлое уже сознание основной животворной

силы креста; иначе самопожертвование, например, женщины для любимого неверующего человека не редко ведет ее к тому, что она, в мнимом уже самопожертвовании, разделяет и несчастные его убеждения и таким образом выдает предательски не только себя самое, но и любимого ей человека, оставляя его без помощи именно в том, в чем он более всего требует и молча вопиет – подать ему помощь. Ну, если не хотим мы волей и с сознанием по детской еще нашей глупости, так да подаст нам Бог, хоть бы бессознательно и ненамеренно с нашей стороны, сообщиться чаши страданий, испитой за нас вполне Всемирной Жертвой и разделяемой с нами, между прочим, чрез соучастие наше в животворных ее страданиях; это соучастие возможно и доступно, ведь, даже и для детской безотчетности или бессознательности – по тому порядку и закону, по которому приобщаются же у нас святой и животворной чаши самые младенцы... Поэт услышал и нам дает слышать, что такая невыразимая милость, действительно, совершается с нынешним христианским миром, (до которого во многих его сторонах, как бы иначе и добраться?!)

Посмотрите в самом деле на возделывательную и живительную для умов и сердец силу страданий, которые сами по себе только бы подавляли или даже ожесточали бы людей, но которые, хоть бы в самом затаенном и бессознательном соучастии с высшими страданиями закланной за грехи всего мира Жертвы, поднимают и оживляют человеческий дух. Вот бедный отец, душа которого так стремилась бы как можно ближе, дружески сойтись с сыном, услышал неожиданно одно горькое слово, (и, взвесив, нашел верным это слово), что сын его ушел вперед... «И понять мы друг друга», не можем так говорил этот отец. На него нашли грустные думы... Он ясно сознал свое разъединение с сыном не по недостатку или отсутствию любви, а по разошедшимся духовным интересам; он предчувствовал, что это разъединение с каждым днем будет все больше и больше. Сознывая правдиво преимущество пред собой юности с некоторых важных сторон, отец тем не менее тяжело страдал о разъединении с сыном в самых основах образа мыслей и жизни. Он вспомнил дни прежнего своего

счастья... Куда все это умчалось?... «Те сладостные мгновения, – думал он, – от чего бы не жить им вечной неумирающей жизнью...» Размягченное сердце не только успокаивалось в его груди, но у него, у сорокачетырехлетнего человека и агронома, и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы... Очевидно, что в эти минуты душевного страдания этот человек был живым, достойным человеком; и освеженная его душа, очевидно же, бодрее и прямее могла за тем проходить свое жизненное на земле поприще. Таким является в романе Николай Петрович.

«Погибшая жизнь» его брата тоже как будто выкупалась и оживлялась чрез свой страдальческий жребий, выпавший ему в особенно тяжелом для него несчастье – самоотверженно «любить и не быть любимым» («Подумайте, – говорил он об этом в минуту самой прямой открытости душевной, – что может быть ужаснее любить и не быть любимым»). Этого человека стало на то, чтобы вопреки своим аристократическим «принципам» привести брата к исполнению святого долга законного союза с той самой, к которой так безотчетно и безмерно и безнадежно привязался этот страдающий человек, и чтобы отказать себе в последнем утешении – видеть и слышать любимого. Такой человек, именно Павел Петрович, точно сказывается уже мертвецом, которому от жизни ждать нечего, но который, тем не менее, живет еще многих живущих такой широкой жизнью. Видно, чаша страдания, ему доставшаяся, обща какой-то таинственной живительной силе. В чем самое основание и существо этой силы?...

И Аркадий едва несколько времени потонул до глубины своей молодой души в борьбе своих движений, соответствия которым он не видел; и он уже мог с твердостью и открыто возражать Базарову, пред которым прежде с глупым благоговением преклонялся до безмолвия, хотя бы дело шло о дорогих его сердцу отношениях любви и уважения к отцу, хотя бы из-за этого угрожал ему скороспелый приговор об олицетворении в нем порока непочтительности к родителям. Мало этого, он скоро нашелся, чтобы вступить на более прямую

и сродную ему дорогу, чтобы узнать и получить, прямо на его духовные нужды данную ему, помощницу.

И те два старичка, дошедшие до крайности обоготворения сына, убийственной для этого же самого сына – гордой их надежды являются освобожденными от портившей все их родительское дело крайности. «Есть небольшое сельское кладбище, в одном из отдаленных уголков России... Овцы безвозбранно бродят по могилам... но между ними, этими могилами, есть одна, до которой не касался человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые ёлки посажены по обеим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлые старичка – муж с женой; поддерживая друг друга, идут они отяжелевшей походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня, да ветку ёлки поправят, и снова молятся и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем... Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна»? Отсвет высшей Отеческой и Материнской любви сияет в этих старичках в своей, невозмущенной уже поднятым из душевной глубины грязным илом, ясности и чистоте.

И сам наконец Базаров со своим (положим), «страстным, грешным, бунтующим сердцем», оказавшийся впрочем таким не просто по растлению нравственному, но и по честной неуживчивости с фальшивыми человеческими отношениями к истине, увлекшей только его до отрицания вместе с этими фальшами и самой истины, отрицания все-таки не решительного (вспомним его слово, что «строить уже не наше дело... Сперва нужно место расчистить), отрицания, повергавшего его в неведомые другим муки духовные, Базаров, поставленный во внутреннюю тяжелую борьбу случившимся с ним фактом, просто и решительно протестующим против его отрицаний, в самой их основе, этот Базаров не носит ли на себе

явной печати жертвы? Да, и жертвы неотвергаемой; потому что не только в жизни, но и среди обстоятельств самой его смерти отозвалось в нем нечто таинственно живое, как он ни восставал против безотчетности для него этого живого, да и по смерти над ним веет дыхание любви, явно очищенной уже от примесей ко всему у нас земной нашей грязи... Да, и мне, как Тургеневу, видится на могиле Базаров, что «цветы растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят они, о том великом спокойствии равнодушной природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной».

Животворяща сила страдальческого Креста!.. И я с радостью вижу, что и помыкаемый отцом Ситников, и Кукшина, страдающая от неестественности своего положения, как и эта странная княгиня Р..., все несут или несли свой крест, который к чему-нибудь живому приведет же их в жизни или по смерти. Недаром эта княгиня Р..., первая любовь Павла Петровича, завещала ему после себя подаренное ей от него же кольцо с сфинксом, на котором она провела крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка.

Здесь бы и конец моему слову. Но ведь вот г. Колязин кричит из романа, что он оказывается просто лишним в романе, он умеющий так ловко и кстати быть вместе и величавым и мягким, принадлежащий тоже к «молодым», но молодых своих подчиненных могущий привести в страх и трепет одним, ни к селу, ни к городу не относящимся, словом своим. «Чего?!» Нет, не лишний, а необходимый человек и он: пусть он и молодым и отцам-благодетелям молодых скажет собой, как может человек поставить себе, как будто вне совершающейся в мире жизненной задачи, как он умеет иногда сделать себя недоступным ни для какого живительного влияния, если он в душе не делу истины и добра служит, а только рисуется перед людьми, если он в качестве только мнимого «прогрессиста» или передового между молодыми, восстает, например, против розги в школе, а сам дает такие беспощадные пинки своим собратям, что и Колязину можно поучиться... Это, необходимая для развивающегося в мире зерна жизни, скорлупа...

И вся эта раскрывающаяся в поэзии романа тайна жизни, совершающаяся именно в наше время, объемлет и проникает такую простую малосложность событий и действий, развиваемых в романе. По видимому вовсе нет, так называемых, романических завязок и развязок; дело Базарова с Одинцовой, лишь только началось, как уже и окончилось со своей чисто романической стороны. Новые, более углубленные в нас, пружины действия выводятся в романе. И речь, большей частью, бесхитростная, всегда благородная. Сказать вообще и коротко: дело художественно творческого таланта идет вперед к более глубокой значимости и к более прочной славе, разъясняя вместе и то, что и жизненное у нас дело, дело добра и истины, тоже не останавливается в Божием мире, а движется также вперед заправляющим его Духом жизни и истины, как ни тормозят это дело многие, вызывающиеся служить разъяснению истины и распространению добра своим словом и мыслью.

XIV. Важный урок, подаваемый современной мыслительности юродством Христа

В Петербурге мне пришлось быть свидетелем необыкновенной чести, возданной памяти Мартынова при его похоронах, года три или четыре тому назад. Помню и то, как оскорбилась этим жесткая ревность некоторых по благочестию. Признающим в честном и добросовестном деле всякого христианина служение благодатному добру Христову, без сомнения, горько было слышать или читать, как честь, отданную честному на своем поприще деятелю, относили запросто к язычеству. Но точно такой же жесткой, не по разуму ревнующий против нравственного язычества, дух проявляется у нас и с совсем другой стороны. В Москве были тоже похороны – только не артиста, а одного юродивого. Память покойного была почтена также многочисленным стечением народа; гроб с телом усопшего несли на головах, и проч. Это, изволите видеть, по суду некоторых мыслящих людей, относится будто бы также к языческому идолослужению.

Эдакая странная охота у людей на жестокие осуждения своих братьев! Язычество, идолослужение – это, ведь, ужасное преступление для христиан. Но когда, или в чем и как совершается это преступление? В чем именно состоит, встречающееся и у христиан иногда, духовное язычество? В развитии тех или других идей и в совершении таких или других дел – *помимо Христа*, нашего Господа и Спасителя, под чуждыми Ему началами и правилами. Вот язычество, обличаемое Божиими заповедями и в христианах! Что же такого нашли жестокие судьи в чествовании памяти юродивого? Не лучше ли, не справедливее ли было бы им осмотреться на свой образ мыслей и действий?..

В отношении многих православных к юродивым не хорошо бывает то, что, по большей части, как-то слепо и, безотчетно (подобно как, например, взводят одни на других видну нравственного язычества), без всякой духовной мысли об

угождении Богу и о просвещении Христовой благодатью, прибегают к юродивым. Не рассуждая, что истинно Божий человек и занимается собственно *Божии*м, обыкновенно или чаще всего валят на юродивого всякий хлам человеческих дрязгов и пустяков. Этим, разумеется, только мучат и терзают добрых, проходящих страшнотяжкий подвиг *истинного ради Христа юродства*, а дурных тем же самым вызывают обманывать легковверных только одной личиной юродства, принимаемой от лености ради корысти. Это и надо подвергать справедливому обличению и порицанию, отделяя с должной разборчивостью от этого худшего лучшее, т.е. не касаясь оскорбительно ни подвига юродства, как будто только дармоедства, ни простоты веры, как будто какого-то идолослужения. А то из-за худшего плюют и на лучшее, достойное всякого уважения, из-за злоупотреблений отвергают и самое добро, которым неразумие злоупотребляет. Так у нас делается едва ли не во всех случаях обличения, от чего дело истины, вместо выяснения, только более и более запутывается. Прилично ли это разумности и образованности? Ведь драгоценная вещь, которую вы смешиваете с грязью, все же останется и когда-нибудь пред всеми откроется драгоценностью; а ваш суд над ней окажется не только не проницательным, но, пожалуй, еще и нечестным или намеренно слепым. Как же иначе понимать, например, то суждение о покойном Иване Яковлевиче, по которому имя его поставляли обыкновенно в голове «дармоедов» юродивых, тогда как люди духовнообразованные и удостоенные благодати священства, не случайно и единовременно посетив покойного Корейша, а в продолжении многих лет и многократно посещавшие его, фактами свидетельствуют⁸⁷ и о светлой чистоте его веры и о благодати Божией, действующей чрез него даже чудодейственно? Ни одно честное направление мысли не станет пренебрегать фактами и достоверными свидетельствами; добросовестная любовь к истине не допустит того, чем может отличаться только ребячество, и то надутое гордой презрительностью к другим.

Но вы не понимаете, как можно разумно отказаться от открытого пред всеми действия обыкновенным здравым смыслом, что делают юродивые? Истинно Христа ради юродивые следуют в своем деле, как обозначается в одной церковной песне⁸⁸, такому слову Божию, изреченному чрез Апостола Павла: «*Мы буи (юроды) Христа ради*». Вот это Апостольское изречение в связи речи: «*Мы сделали позором зрелищем для мира и Ангелов и человеков мы буи, безумны для Христа, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии*» (1Кор. 4:9–10). Сюда же относится и следующее место: «*Смерть действует в нас, а жизнь в вас*» (2Кор. 4:12). Дело здесь в том, что живущие Христом люди одушевляются и той Его любовью к грешным и заблуждающим, по которой Он на Себя взял и на Себе, собственными страданиями и смертью, вынес вину всемирных грехов и заблуждений, открыв чрез это для гибнущего мира Свою правду и жизнь; в соучастии этого самого Христова человеколюбивого духа и святые Божии человеки выносят Христовой благодатью людское неразумие, людские греховные немощи и унижения, как будто они сами подвержены этому безумию и бесславию духовному; по такому подвигу их веры и любви, благодать Божия и не оставляет людей, (*свободно*) предающихся бесчестным немощам и неразумию, а долготерпеливо и кротко наводит их на путь истины и светлого разума. И вот, таким образом, одни понемногу выходят из своего ребяческого неразумия в *жизнь* здоровой разумности в следствие того, что другие, из благодатной любви к первым, отдают себя на тяжелую *смерть* открытого пред людьми безумия или юродства. Такова тайна или значение *юродства Христа ради*! Есть и обманщики. Но горько для истинной разумности и просвещения, если из-за десятка, положим, обманщиков неблагодарно и низко обругается нами хоть один такой, по вере которого, может быть, Господь еще и не предаст многих, многих из нас совсем «превратному уму делать непотребства» (Рим. 1:28), а кротко вразумлять на истину...

Или мы уж так разумны, что можем и сами вразумлять других, неся на себе бремя их неразумия? Пора бы этому быть;

потому что живем своей определенной народностью уж тысячу лет. Но на деле-то совершаются у нас многие явления вовсе неразумные. Не буду уж касаться явного для всех безумия и неразумного легкомыслия; а укажу только на явления такой неразумности, которую признают разумностью. Одни у нас, по поводу продолжительной борьбы веры против незаконного своеволия разума, хотели бы совсем связать самый разум, как будто уже не светит ему *Свет, просвещающий всякого человека грядущего в мир, светящийся и во тьме и тьмой необъемлемый*, или, что еще хуже, как будто Господь, введя человека в Свою благодатную духовную свободу, «владычественный» в нем ум оставил в рабских узах. Это неразумие так у нас закоснело, что прямое против него слово у нас некоторыми трактуется ни более ни менее, как вероотступничество. Другие, стоящие за живую мысль и права разума, уже знать не хотят Того, в Ком одном заключается основание и правда самых законов и требований разума. Они хотят лучше оставаться и блуждать в темной неизвестности о том, на чем основывается достоверность законов и согласных с ними приемом живой мысли – начиная с ощущения впечатлений, и однако безусловно верить этим законам и приемам мысли (т.е. хотят лучше веровать же в *Неведомого*), нежели войти в свет отчетливой веры в Того, Кто открылся, с достаточными удостоверениям для мира, вседержавным основанием мысли и бытия и к Кому (хотя большей частью как только к *Неведомому*) устремлялись мыслители всех времен. Такое неразумие, низвергающее христианскую мысль до неведения и мрака древних языческих времен, имеет в наше время самую дерзкую претензию на то, что оно будто одно и есть вполне и без стеснения разумное. Третьи, веруя во Христа, решительно отделяют дело мысли и знания от дела веры, как будто самое начало и основание того и другого дела содержится не в едином верховном начале для всего – Христе Боге Слове, или как будто Он, в Своем вочеловечении, не усвоил уже Себе самому всех законов и приемов человеческой мысли и не сохранил в Себе действия человеческой мысли Своего человеческого естества вместе с действием Своего Божества.

Отделять нам дело мысли и знания от дела веры во Христа – значит не усвоить своему уму благодати Христова вочеловечения. Но не вдруг можно растолковать нашему времени, как нелепо и вредно подобное неразумие, зараз обижающее и веру, и мысль нашу, отнимающее у первой жизненность, а у другой благодатную правоту. Четвертые, отделяя дело знания от дела веры, признают, однако, правозаконность и того, и другого для христианина; пусть, говорят, то и другое идет своим путем; знание дойдет будто бы до результатов общих с верой. Таким людям дела нет до того, что двум разным господам не работают; они не примечают логической невозможности для чуждой Христа мысли дойти когда-нибудь до идеи о Христе и Его кресте, составляющей средоточие и сущность умозрительной и нравственной стороны христианства, в котором все дело состоит в уразумении и усвоении себе Христа и человеколюбивого всесвятого Его духа. Каким же образом у мысли и знания, неправо отделяющихся у христиан от веры в Христа, могут быть когда-нибудь общие результаты с верой?! Но как же, говорят, соединить несоединимое? Нет; когда правота и достоверность законов и требований нашей мысли основываются утверждаются именно в Том, Кто со всеми достаточными доказательствами явил Себя Вседержителем Богом, восприявшим ради нас и человеческое естество, то дело веры в Него и дело мысли оказываются уже в существенном взаимном единении. Неразумно представлять то и другое несоединимыми. Но скоро ли пройдут все эти виды нашего неразумия? И сами ли собой они пройдут в мире нравственном, в мире свободы? Надо, непременно надо, избранным Божиим свободно выносить во Христе все подобные виды неразумия, чтобы Христова благодать не оставляла неразумных, а постепенно вводила их в чистое и всестороннее разумение истины, которым бы раскрылся для мира и свет истинного христианства или православия, и вместе довершалось бы и увенчивалось дело мысли человеческой.

Бог вещь, говорите, кем и чем поддерживается юродство Христа ради, или усердие к юродивым? Это поддерживается вот чем: разными видами нашего неразумия, выдаваемого

однако за разумность и чрез это вызывающего веру истинных рабов Божиих к подвигу принимать на себя безумие или *юрродство Христа ради*, чтобы и нам дал Господь хоть понемногу делаться *мудрыми во Христе*; а простота веры по духовному инстинкту слышит или ощущает это и спешит со своим усердием к юродивым Христа ради. Пойдем нелицемерно и честно путем любви к истине и мудрости; к этому именно и зовет нас юродство Христа ради. Бросим нечестное и противологичное раздвоение наших начал и правил, внимая великому пророку: *доколе вы храмлете на обе плесне ваши? Аще есть Господь Бог, идите в след его; аще же Ваал есть, то идите за ним* (3Цар. 18:21).

XV. Отзыв на заграничные письма отца протоиерея Васильева

О. Протоиерею Васильеву дано от Бога великое счастье поставлять светильник православия на открытый вид для западных христиан, для их иерархии и вместе учености, у которых этот благодатный светильник совсем почти закрыт под «спудом» неведения, вековых предубеждений и всяких неправославных толков⁸⁹. Такое дело о. протоиерея, по всей справедливости, должно вызывать в нас живое сочувствие и даже, по возможности, содействие. Надо нам содействовать особенно тому, чтобы светильник православия, на сколько и как о. протоиерей поставляет его на вид запада, светил не тускло и не имел никакого нагара.

В воззрениях о. протоиерея Васильева, основательных и чистых по православному их содержанию, благородных и прямодушных по характеру и тону их выражения, есть однако нечто похожее именно на какой-то нагар горящего светильника. И приметно, что это остается незамеченным самим о. Васильевым, потому что нечто, похожее на отускняющий самое светение нагар, можно находить у о. протоиерея не только в письмах к нантскому епископу Александру, но и в недавнем письме к ученому Гизо. Может быть, эти строки как-нибудь попадут на глаза досточтимого предстоятеля парижской православной церкви; он сам тогда усмотрит, что они составляют плод уважительного к нему участия в его важном и, без всякого сомнения, многотрудном деле. А так как заграничные письма о. протоиерея известны уже и у нас в России, где они читались и читаются с живым интересом, то мои строки не лишни и для этих читателей в том отношении, что, может быть, кому-нибудь помогут воспользоваться, в письмах о. протоиерея Васильева, одним чистым светом, не относя к свету же и случайного на светильнике нагара.

Основная у о. Васильева для некоторых тусклых или нагорелых его понятий мысль высказалась вполне в письме именно к Гизо. О. протоиерей рассуждает о существенном

различии папского авторитета от православно-церковного. Суждение об этом великом предмете о. Васильев развивает следующим образом. Спаситель, основав Свою Церковь, «передал Свой авторитет ученикам» или Св. Апостолам, а чрез них и их преемникам, в живой их связи с Церковью. Этот «Божественный авторитет» в иерархии Церковной и должен навсегда оставаться «собирательным» или, как изъясняет это понятие сам о. протоиерей, «приводимым в действие собирательно (collectivement) всеми вождями Церкви при содействии и во имя Церкви». «Но римский папа захотел» воплотить в одном себе «этот Христов авторитет и отверг собирательный авторитет Церкви». В этом будто бы и вся беда, вся сущность папских лживых притязаний, отделивших папство от православия.

Никак не дозволю себе и тени такого понятия о вышеприведенном рассуждении, что оно не совсем православно. Но скажу, не обинуясь, что в православном суждении относительно папства надо глубже и точнее раскрывать существенное различие папского авторитета от православно-церковного. Дело здесь, с одной стороны, не просто только в *собирательности* или множественности вождей Церкви, действующих авторитетом Христовым во имя и с содействием Церкви и, с другой стороны, тоже не в одной единичности мнимого верховного наместника Христова. Никто не станет отвергать возможности того, что и множественность (или, если выразиться ближе к французской речи о. Васильева, целая коллекция) таких же мнимых вождей Церкви, как и папа, может говорить и действовать именно во имя Христова авторитета в Церкви, имея однако в виду и даже вменяя себе в долг возвысить или утвердить только свое собственное значение и властительное влияние на других, и зависящие от них простые члены Церкви будут, пожалуй, слушать таких вождей, как Самого Христа, и содействовать им со всем усердием. Это, очевидно, было бы тоже папство, только коллективное или собирательное, а не возглавленное в единичности римского первосвященника. И вот таких образом собирательность церковного авторитета, сама по себе, еще не

ограждает этот авторитет или действующих им «от всякого духа частного интереса, несправедливости преобладания», вопреки выводам о. Васильева. И зачем Христу, Спасителю нашему, «передавать» кому бы то ни было, одному или многим, Свой авторитет⁹⁰. Правда, Он сказал Своим ученикам: *якоже посла Мя Отец и Аз посылаю вы* (Ин. 20:21): но Он же Сам уверяет вот в чем: *Се Аз с вами есмь во вся дни, до скончания века* (Мф. 28:20). Он говорит: *никто же приидет к Отцу, токмо Мною* (Ин. 14:6) значит, без Него Самого, ни с какой передачей Им Своего авторитета, нам нельзя ни придти, ни тем более привести кого к Отцу небесному. И действительно, Он Сам есть единственная глава Церкви, «глава невидимая, это правда, но всегда присущая и действующая», как выражается сам о. протоиерей⁹¹; Сам оживляет благодатью Св. Духа все тело Своей Церкви, Сам движет все живые ее члены. Иное дело для «вождей Церкви» представлять себе, что им «передан» или «сообщен» Христом собственный Его авторитет, что, значит, они и представители и обладатели или, по крайней мере, блюстители для Церкви такого Божественного авторитета; иное дело для них утверждаться собственно в той мысли и в том чувстве веры, что Он Сам есть действующий (а не носящий только название) глава Церкви, а они избраны и взяты Его благодатью только в сосуды и орудия *собственных* Его действий в Церкви, как они сами молитвенно и исповедуют это пред Ним, например, в таинственном жертвоприношении: «*Ты еси приносяй и приносимый, приемляй и раздаваемый*». Первое представление может открывать место искушению «вождей Церкви» к духовному преобладанию над наследием Божиим, к самовозносливому обособлению от простых членов Церкви, отсюда же к перевесу, в церковной дисциплине, внешне-духовного формализма над жизненностью внутренней благодатной связи всех членов церковного тела, и так далее⁹². По другому же представлению веры, «водители Церкви», в священнодействии таинств и слова Божия, в действиях церковного благочиния и управления, в отношениях своих к простым членам Церкви, направляются к тому, чтобы и самим взирать духом и поднимать воззрения пасомых к Самому,

присущему и действующему и в пастырстве и во всех членах церковного тела, Господу; направляются к тому, чтобы и в себе и в других возгревать благодать Его или приводит в живое движение дух Христов, дух Его любви к человеку, самопожертвования Его за людей, Его смирения, святости, истины, этот благодатный дух, проявляющийся в силе самого Св. Духа. По представлению об обладании или блюстителстве Христова авторитета, пастырство сознательно или бессознательно будет идти или направляться к заботам именно о том, чтобы пасомые внимали самим пастырям, как Христу; а по мысли о действующем благодатью Св. Духа «*вся во всех*» Самом Господе и в Нем Отце Его небесном, пастырство будет и само живо помнить, что един учитель умов и сердец – Сам Христос, и внушать пасомым, чтобы они, поучаясь у пастырей, внимали своей мыслью и сердцем прямо Самому и Единому Христу Спасителю, а чрез это оказывали и пастырям бесценное содействие, именно поддерживая и их в духе Христовом⁹³. Вот чрез это-то, очевидно, вернее, чем чрез «собирательность» авторитета, изгоняется из Церкви «дух частного интереса, несправедливости, преобладания». Скажем вообще: действуя во имя только авторитета Христова, в самом деле можно кому бы то ни было и не возглавлять себя и других в Самом Христе, а обращаться и внимать во всем к Самому Христу и других направлять прямо к Нему Самому, ненуждающемуся в передаче нам Своего авторитета для Своих действий в Церкви, значит устроить и в себе и в других истинно небесное жительство в Самом Христе, утверждая и *возвращая* всяческая в Нем, как в такой главе, «от которой все тело, составляемое и совокупляемое посредством всякого вспомоществующего соприкосновения, при соразмерном действии каждого члена, получает приращение для своего назидания в любви». (Еф. 4:15–16). Православно-церковным авторитетом учителей и пастырей, славой их и всей Церкви служит то, что Господь, избирая и употребляя орудия Своей благодати по иерархическому порядку той же благодати, Сам действует ими и не нуждается в передаче кому бы то ни было Своего авторитета. Пусть один папа и следующие ему мечтают о

блюстительстве или владении Христовым авторитетом, ниспадая чрез это и других увлекая к ниспадению от Самого Христа и от небесного в Нем жительства.

Таким-то образом, авторитету папскому надобно противопоставлять Самого Христа, пребывающего и действующего в своей Церкви, признавая Его единственным ее главой, Которому нет нужды передавать одному или многим Свой авторитет (признавая впрочем не так, что это-де *само собой разумеется* или, *конечно это так*, но и обращая живую, сколько кому можно, мысль и чувство к Самому Ему; так чтобы Божественная глава не *толцал* только у внутренних дверей того или другого вождя или простого члена Церкви, но и оживлял и двигал нас, преданных Ему сознательно, как единственному Владыке и Царю нашего Духа и всего нашего существа, преданных Ему с неуклонным от Него вниманием, с стремлением войти верой, упованием и любовью в соучастие Христова правого, человеколюбивого и самоотверженного духа). Поставляя это на вид папистам, признающим за папой авторитет Христов и потому связанным неправым долгом слушать папу, как Самого Христа, скорее можно привести их к истине православия или, если употребить апостольский образ представления, привить и *возрастить* их в Христово тело православной Церкви: потому что чрез это дело православия в отношении к папству пошло бы прямо под действующим главенством Самого Христа, возвысясь над (могущим так легко упасть до духовного своекорыстия и потому крайне невыгодным для истины) спором об обладании Христовым авторитетом. Но, с другой стороны, из той же мысли о действующем в Церкви единственном главенстве Самого Спасителя, ненуждающегося в передаче Своего авторитета – ни одному кому, ни многим, но благоволящего самовластительно и самодейственно раскрывать благодать собственного папства и святительства в избранных этой же Его благодатью сосудах или орудиях для служения тому, чтобы Ему же Самому пребывать и действовать и в простых членах Церкви – из такой мысли сама собой следует и «собирательность» или равноправная во Христе множественность церковных вождей, с отнятием впрочем у них,

все равно – у одного ли из них, или у многих, самовозносливого над Церковью притязания на обладание или блюстительство Божественного Христова авторитета.

Скажет ли кто, что у меня только другой путь, чем у о. Васильева, но путь, ведущий к общему с о. протоиереем результату? Не совсем так. Один из древнейших и величайших святых подвижников (именно преподобный Варсонофий⁹⁴ разъяснял своим ученикам, что даже и сами святые Божии, самые прославленные Богом учителя, вливаясь духом главным образом только на доверии к прежним руководителям и наставникам, как досточтимым для них авторитетам, но не обращаясь к Самому Господу за извещением, все ли говоренное теми было говорено по Духу Святому, подпадали опасности допускать между своими духовными и чистыми, по дару Божия Духа, мыслями и произвольные, ложные мнения своих учителей. Не менее этого, а, пожалуй, еще более, будет оставаться такая же опасность и для православных (если они останутся мыслью на переданном от Христа «вождям Церкви» собственном Его авторитете, и потому будут слушать их, как Христа, а не прямо Ему Самому внимать и следовать в их пастырстве), опасность допустить смешение человеческого руководства, не свободного от возможности заблуждения, с *единственно* непогрешимой истиной и благодатью Самого Христа. Эта опасность, очевидно, не ослабляется тем, что иных православных может, как говорит о. Васильев, «не обижать и не оскорблять человеческая сторона», которая со своей немощью и удобопреткновенностью неизбежно остается у всяких обладателей и блюстителей Христова авторитета; между тем, как веруя и внимая Самому Господу, а не человекам, можно не только не смущаться их немощами и преткновениями, но получить от Самого же Господа и охранение от увлечения последними.

Основная против папства, выше рассмотренная нами, мысль досточтимого о. протоиерея Васильева, несколько тусклая словно от какого-то нагара, отразилась не совсем тоже благоприятно для истины и на других его мыслях, развиваемых против папства. Возьмем во внимание мысль его о *предании*.

Он рассуждает, что Господь наш положил предание именно «в основание» Своего, переданного Им Своим ученикам, авторитета; и «таким образом авторитет, проистекающий из предания и чрез него восходящий к своему Божественному Источнику, принимает величественный и непогрешимый характер». Я понимаю это рассуждение так, что авторитет, переданный (по словам о. Васильева) Господом ученикам, переходит со своими принадлежностями в последовательной жизни церковной, от одних к другим, от предшественников к их преемникам не иначе, как чрез *предание*, чрез которое и обратно этот авторитет восходит – к Господу; *предание* таким образом есть необходимое основание для убеждения в Божественности и непогрешимости этого авторитета. Это, положим, так и есть. Только опять дело в том, что Господь Сам действующий в Церкви в последовательной непрерывной ее жизни, так же, как и в каждый момент этой жизни, является, по представлению о. протоиерея о предании, в какой-то отдаленности, а не непосредственно действующим в последовательном, при помощи предания, течении жизни церковной. К Нему, как к Источнику Божественного авторитета, позднейшим Его последователям нет доступа прямого и непосредственного, а надо восходить не иначе, как посредствующими ступенями предания. Чрез это и предание оказывается построением, сколько с одной стороны соединяющим верующих с Христом, к Которому оно возводит церковный авторитет, столько же с другой – составляющим некоторую разделяющую среду, находящуюся между Господом и позднейшими Его последователями. Ясно, как рассуждение о. Васильева о *предании* неудобно в раскрытии истины против притязания папы на самовластное «обладание преданием». Не лучше ли, не вернее ли и *предание* понимать и раскрывать, против лжи папства, следуя выше разъясненному и действующему в Церкви Своей и потому не нуждающемуся в передаче или сообщении кому бы то ни было Своего авторитета? Но этому воззрению путь предания оказывается живым в Церкви протоком самой жизни в Господе со всеми способами и органами этой жизни, как это Им Самим основано и

законоположено при совершении дела нашего спасения, как устроено и открыто Им же чрез Св. Апостолов, как все Им же Самим благодатно утверждено и разъяснено чрез св. отцов. Поэтому нельзя истинно держаться Господа, не держась св. предания; так как, и наоборот, истинно держаться св. предания – значит держаться, в самой силе и жизни, именно Самого Господа и в Нем входит во внутреннюю связь духа, мысли и жизни со всем благодатно живым составом Церкви вселенской всех времен и века апостольского, и периода гонений, и периода вселенских соборов и т.д. Подчинение себе такого предания, все равно одними или многими, есть столь же очевидная нелепость: мы крепко верим, что Св. Церковь, идя путем предания, *не ктому себе живет, но живет в ней Христос*. Но, с другой стороны, очевидно и то, что останавливаться на одной мертвой форме или букве предания и только рабски подчинять ей жизнь своей веры значит не понимать еще св. предания в истинной его сущности и действовать прямо против благодатного духа и силы предания. В отношении к папству особенно нужно и полезно поставлять на вид ту и другую сторону фальшивого отношения к преданию, раскрывая должное и прямое отношение веры к благодати предания, потому что в папстве есть и деспотическое подчинение предания простому человеку – папе и пленническое порабощение преданию верующих.

Далее, и особенно светлая мысль о. протоиерея о соборах опускает в себе тоже некоторую тусклость в важных отношениях. Мысль о соборах признаю в о. протоиерее Васильеве особенно светлой потому, что он, вопреки притязаниям папы и вообще преобладанию папской иерархии над наследием Божиим, видит и указывает в правых соборах действие авторитета не одних предстоятелей Церкви, но и всей Церкви. Это выясняет он и в самом *апостольском* соборе, послужившем образцом для всех, и самых вселенских соборов. И на этом соборе, «авторитет одного Апостола, говорит о. Васильев, не дал вопросу окончательного решения. Тогда был призван авторитет всей Церкви, хотя само собой разумеется, что не все члены этого собрания присутствовали на нем на

«правах равных», а напротив одни только ожидают решения – это большинство верующих», другие могли «представлять сведения и мнения для уяснения вопроса – это сотрудники Апостолов, старца или священники, и конечно также простые верующие», отличающиеся особенно высоким духовно-нравственным достоинством, «третьи, наконец, постановляют решения и произносят приговор» и проч. Все это прекрасно! Но выясняя во всем этом действие «собирающего авторитета Церкви», который представлялся собором, о. протоиерей едва наконец замечает «явление нового элемента, сверхъестественного авторитета»: он говорит, что «над всеми этими видимыми элементами (о которых выше им говорено) носится невидимая сила, Дух Святой, отмечающий новое постановление печатью света, силы, порядка, единства и мира». А «за этой Божественной силой. продолжает о. протоиерей, или рядом с ней видны действия и авторитет Христа, Который приобрел Церкви Святого Духа и сообщил Апостолам Свой собственный авторитет, как следствие искупления».

Мне думается, и на одно простое, только чистое, чувство веры неприятно должно действовать то обстоятельство, что в отношении к церковным соборам (не исключая и апостольского) вспомнили о Святом Духе и Христе Господе только к концу раскрытия действий соборных, и то в каком-то странном, как будто разделяющем, сопоставлении Христа с Духом Святым: «за этой Божественной силой (Св. Духа), или *рядом* с ней, видны действия и авторитет Христа». Рассматривая действия соборные отдельно от действий Христа Господа. действующего благодатью Св. Духа и существенно проявляющего в Себе Своего Отца, в самой правильности или добропорядочности соборных действий можно усмотреть не более еще одной только стройной формальности, а в предубеждениях, страстях и кличах неправомыслия и в спорах его с правомыслящими, имеющих место на соборах, можно открыть не более нравственного хаоса. Нет; так неудобно и неловко рассуждать о святых соборах. Вот Христово законоположение о соборах и самых больших и самых малых: *«идеже есте два или трие*

собрани во имя Мое (очевидно, собраны не формально только во имя Христово, но с действительным обращением ума и сердца ко Христу Господу, с преданностью веры, упования и любви Его Духу, Его истине и благодати), *ту есмь посреде их* (Мф. 18:20). Итак, главное управляющее начало для правых соборов, как в отношении к составу их, так и в отношении к предмету и ходу разных их исследований, от начала и во все продолжение и до конца соборных действий, есть Сам Христос Господь (являющий в Себе и Своего Отца и действующий в Своей Церкви именно Духом Святым), требующий для этого со стороны *собранных* обращения и направления веры прямо к Нему Самому, к Его *имени*. Поэтому и надо, разбирая дело правого собора, иметь в виду или следить главным образом следующее: с одной стороны, глубокие в одних, искренние по крайней мере в других, инстинктивные и поддерживаемые первыми и другими в прочих, внимание и преданность веры собора Самому Господу и в Нем Отцу небесному, вечную обитель Себе сотворившим в Церкви благодатью Святого Духа (Ин. 14:23), а с другой – вседейственные в силе Святого Духа, победоносные над кознями и упорством неправомыслия, манования и действия Христа Сына Божия и в Нем Самого Отца небесного. Это самое должно быть и самой главной и существенной, испытательной, пробой правоты того или другого собора. Если в действиях, намерении и направлении собора видна преобладающая над преданностью Самому Господу, ищущей Его истины, другая управляющая мысль и цель; то, как бы ни велика была численность собора или «собирабельная» представительность его членов, этот собор есть воспроизведение или повторение христорборного Синедриона иудейского, на котором может быть место только разве для посрамляющего и отвергающего собор действия Св. Духа, духа благодати и истины Христовой (какое действие благодати архиерейства и открылось на подобном соборище в приговоре на Христа Каиафы, (Ин. 11:51)). Но пусть будет и на таком соборе хоть один его член, имеющий в виду своей веры собственно Самого Господа и Его истину: то Господь со Своей истиной и благодатью будет принадлежать этому одному, а не

«собирательному авторитету» всего прочего сонмища, как именно это было на Флорентийском соборе, на котором не увлекался сторонними от Самого Господа и Его истины целями из главнопредставительных членов собора только один истинно блаженный Марк Ефесский⁹⁵. Нет нужды объяснять, как развитое здесь воззрение на соборы полезно и даже необходимо противопоставлять папизму, удовлетворяющемуся, в отношении к соборам, формальным его порядком под господством идеи о наместнике Христовом, а не о Самом Христе, единственном Главе Церкви.

Может быть, кому-нибудь вздумается возразить мне, что то уж само собой разумеется, особенно относительно соборов (и у о. протоиерея Васильева прямо сказано), что «Дух Святой, одушевляющий Церковь, поддерживает пастырей, которые не могут (?) иметь другого притязания, кроме того, чтобы быть Его органами, Его служителями». На это и я замечу: без обращения и направления веры или неуклонного благоговейного внимания пастырей и пасомых к Самому Господу, как вообще в Церкви, так и особенно на соборах, возможно (как само собой разумеется и тоже прямо сказано у самого о. Васильева, относительно, впрочем, римского только епископа) возможно разве «фаталистическое вдохновение», в роде непогрешимого «решения *ex cathedra*» (по достоинству пастырского посвящения).

Вот еще рассуждение о. протоиерея о безмерном различии по происхождению, и отсюда по важности и судьбе, начал *устройства Церкви* и *принадлежностей церковной дисциплины*: «Вы смешиваете, – пишет о. протоиерей епископу нантскому, – начала устройства Церкви с принадлежностями церковной дисциплины. Между теми и другими такое же различие, какое между Божеским и человеческим. Существенное устройство Церкви происходит от Бога; церковная дисциплина – от людей». И мало этого: в самой дисциплине есть разные стороны, в которых и самое человеческое может столько же и упадать, сколько возвышаться по достоинству: «в дисциплине притом, – говорит о. протоиерей, – нужно различать правила вселенских соборов, вполне сообразные с Божественными законами, и

принадлежностями частных дисциплин, которые разнообразятся применительно к месту и времени».

Вникая в такое рассуждение, направленное против папизма, мысль веры прежде всего неприятно поражается тем, что папист, признающий земного Христова наместника и видимого в Церкви главу, может похвалиться происхождением в его Церкви и самой дисциплины, в существе и порядке ее развития и разветвления, от верховного церковного главенства, а православные, имеющие и знающие вседейственного у себя Главу – Самого Христа Господа, сами же далеко не все в Церкви приписывают небесному Его главенству, не все церковное производят от Божественного Источника. Вот, самые защитники и провозвестники православия признают, что церковная дисциплина, проникающая отношения и целых частных Церквей и всех личных членов церковного тела, составляющая потому необходимую принадлежность церковной жизни, исходит не от Бога, а от людей.

Раскрываем книгу коренных правил православно-церковных. И что же находим? Находим (не совсем согласно рассуждению о. протоиерея Васильева), что св. вселенский седьмой собор относительно православных «правил и постановлений». не различая правил существенного церковного устройства от правил дисциплины церковной, с торжеством «воспевает» следующие псаломские песнопения: *на пути свидений твоих насладихся, яко о всяком богатстве (Пс. 118:14), заповедал еси правду, свидения твоя в век (Пс. 118:138);* и потому к этим церковным «правилам и постановлениям» относит и следующие изречения: *к сим не подобает приожити и от сих не подобает отъяти (Втор. 12:32), в няже ангели желают прини кнуты (1Пет. 1:12); аще мы, или ангел с небеси благовестит вам паче, еже благовестихом вам, анафема да будет (Гал. 1:8).* «Понеже сие верно, и засвидетельствовано нам, то, радуясь о сем, подобно как кто обрел корысть многу», – продолжает вселенский собор в своем правиле (именно 1-м), – «Божественные правила с услаждением приемлем, и непоколебимое содержим постановление сих правил, изложенное от всехвальных

Апостол, святых труб Духа, и от шести вселенских соборов, и поместно собиравшихся для издания таковых заповедей, и от святых отец наших. Ибо все они, от единого и того же Духа быв просвещены, полезное узаконили». И чтобы кому не показалось, не от преимущественной ли важности только некоторых постановлений и правил такой высокий отзыв дан и о них всех (по известному образу нашей речи о целом вместо части), то отцы того же вселенского собора отнесли прямо к Божественным неизменным правилам и такое правило, которое по местам, применительно к нуждам этих мест, остается без строгого исполнения. Вот это правило: «будучи обязаны хранить все Божественные правила, мы должны также охранять всеконечно неизменным и то, которое повелевает быть иконому в каждой Церкви... Тоже самое наблюдать и по монастырям (см. 11 прав.)». Известно, что по монастырям у нас, большей частью, нет иконома по отсутствию потребностей в особом лице для этой должности и по удобству разделять ее самому, например, настоятелю с другими должностными лицами.

Как же однако вере нашей представлять себе эту «Божественность» правил и постановлений церковных, даже и далеко не существенных? Вот есть у нас *слово Божие*. Неужели к его же составу относятся и церковные постановления и правила, к которым относятся Церковью изречения св. писания, выражающие собственно достоинство *свидений* и заповедей слова Божия (как выше мы видели)? Нет! Сама же Церковь строго отличает слово Божие от всего прочего. ставимого ей же однако выше человеческого. Надобно выяснить себе это православно-церковное воззрение, чтобы не признавать и человеческого там, где Церковь видит «Божественное», и не допускать какого-нибудь странного смешения со словом Божиим чего-нибудь, не принадлежащего к его составу. Основанием для раскрытия здесь силы дела служит именно то, что Сам Господь есть глава, вседействующий благодатью Св. Духа в Своей святой Церкви, которая и сама, со своей стороны, со всей преданностью веры, любви и упования внимает и следует Ему, живя для Него и Им Самим. Но действия Господа в Церкви многообразны и многообразны. Иное-то дело Его, что Он в

Своем слове открывал в Церкви *сокровенная и тайная* в вечное для нее руководство, когда воспитывал еще детскую ее веру в ветхом завете и вел ее путем образов к уразумению и принятию истины и благодати во всем их существе, когда, потом, и раскрыл всю силу и существо Своей истины и благодати в новом завете (уяснив последним и ветхий) и чрез это ввел веру в духовную зрелость, способную сыновне-свободно пользоваться этим великим отеческим наследием для самостоятельного уразумения и употребления всего в нем, по мере самой веры и Божией благодати. Вот слово Божие! иное же дело, когда тот же Господь наш и Сам же, исполнив Свои обетования и церковные чаяния домостроительством Своего воплощения, неотступно ведет Свою Церковь дальнейшим путем, вводя ее в разные потребности и обстоятельства времен, давая вере ее мыслью и жизнью входить в Свою истину и благодать, раскрывая для нее и чрез нее же Своей благодатью свет и силу Своего слова сообразно обстоятельствам и потребностям времени. К этой-то чрезвычайно обширной области благодатных действий и проявлений в Церкви нашего Господа относятся и церковные «правила и постановления», раскрывающие в себе силу слова Божия, дух Христовой благодати, истинную Господню действенность в предающейся Ему Церкви, но неотступно внимающей и следующей Ему вере святых отцов и правых соборов. И потому эти «правила и постановления» по всей справедливости называются «Божественными»; и странно, какую бы ни было их сторону противопоставлять Божественному, как просто человеческое. Существо истины и благодати Христовой, по отношению и к учению и к устройству церковному и к церковной дисциплине, неизменно до скончания мира и до самой вечности. Но тем не менее и в учении и в устройстве церковном и в дисциплине церковной неизменная в своем существе истина и благодать раскрываются, под неотступным распоряжением во всем Самого Всевысочайшего Главы Церкви, не иначе, как сообразно с обстоятельствами и нуждами Церкви в разные времена. Самые книги слова Божия (и, ясней других для всякого верующего, послания апостольские) носят

открытую печать современных их происхождению обстоятельств и нужд церковных; не говорим уже о сообразующемся с нуждами времен дальнейшем ходе церковного учения по силе и духу слова Божия. Устройство церковное, во времена, например, гонений, не имело удобства и среды так развиться или так полно открыться, как в последующие времена. Тоже или подобное надо разуместь и о порядке церковной дисциплины, разнообразящемся применительно к месту и времени. И таким образом нет нужды прибегать к теории разделения между началами устройства Церкви и принадлежностями церковной дисциплины, как между *Божественным* и *человеческим*, чтобы только изъяснить этой теорией известные перемены отношений нашей русской Церкви к константинопольским патриархам, при учреждении и у нас патриаршества и потом при замещении последнего Св. Синодом. Эти перемены объясняются проще и прямее. Неизменен и в великом и в малом, в Святой Церкви, дух того благодатного порядка, по которому «дела церковные», по приводящему всех в живое единство человеколюбию и действию Христова главенства, должны соображаться с «гражданскими и земскими распределениями»⁹⁶ и видоизменениями, и по которому, действительно, соображались они с последними не в доходах только церковных, но и в распределении высших иерархических степеней по их правам и достоинству (в признании, например, «преимуществ» престола ветхого Рима на том основании, что то «был царствующий город», и в утверждении «равных же преимуществ» иерархического престола в Константинополе, как «граде, получившем честь быть градом царя и синклита»⁹⁷). По благодатному духу этого самого порядка в Св. Церкви, соблюдаемому и действующему в ней Св. Духом, применяемому таким или другим образом по распоряжению Самого, главенствующего над Церковью, Христа, раскрывающему в Себе именно благоволение Отца небесного, и совершилось то, что великая Церковь русская, в особенном внимании иерархии православного востока к великой русской державе и великим нашим царям, получала сначала равного с другими патриарха и потом заменивший патриарха, но

наследовавший те же права, Св. Синод. Таким же в существе дела образом, а не из дисциплины человеческого происхождения, объясняется происхождение патриарха, и Св. Синода в посланиях восточных патриархов. Иначе и нельзя изъяснять, если только светло сознаем и твердо содержим истину, что Сам Господь, носящий в Себе все благоволение Своего Отца и действующий благодатью Св. Духа, главенствует над всем в Церкви так что ей и повода нет нуждаться в каких-либо земных головах, одном или многих, а напротив, ее чадам и пастырям есть и живое побуждение и святой долг во всем, и важном и маловажном, обращаться и направляться верой к Самому Господу. Особенно, может быть, *церковная дисциплина* у нас и нуждается в неотступном внимании нашем к Самому Господу, действующему в различных ее порядках, чтобы последние не были внешне формальными, а раскрывали в себе истинно жизненные, благодатные отношения между частными Церквями, между пастырями, между последними и их подчиненными и т.д. От одной из низших степеней дисциплинарных отношений между иерархами и их подчиненными сколько бы раскрылось благодатного света и жизни, если бы и последние, в отношении к первым, благоговейно имели в виду самого *пастыря доброго*, располагающего сосудами его благодати; и первые не теряли из вида благодатных впечатлений и присутствия (ради св. таинств) Самого Сына Божия в своих подчиненных и пасомых!... Сохрани Бог от того, чтобы дисциплину церковную низводить до области *человеческого*; тут неизбежно дойдешь до духа папского, который из дисциплинарных отношений и сделал главное орудие для своего преобладания над верующими личностями, церквями и народами, главную форму этого преобладания. Папству, как для защиты от него православия, так и для вразумления и убеждения папистов в истине, надо противопоставлять именно благодатную дисциплину, движимую во всем Господом и всегда имеющую Его в благоговейном виду своей веры.

Наконец остановимся и на *отношении между светской и духовной властью*, по разумению о. протоиерея Васильева.

Сюда относятся следующие слова его из первого его письма к епископу нантскому: «Что касается Императора, то русская Церковь чтит его власть, *которая происходит от Бога*, как всякая законнопоставленная власть; она ему повинуетя во всех делах, касающихся области светской; она пользуется его покровительством, но она не признает в нем никакой духовной власти. Русские епископы, единственные руководители вверенной их попечению паствы, не злоупотребляют своей властью и не вступают в борьбу с Императором, которого они верные подданные; и Император, преданный и почтительный сын Церкви, уважает духовную власть епископов, не нарушая прав главы государства. Взаимное уважение этих двух властей, одной другой, образует в России полную гармонию» (Из первого письма к епископу нантскому). И еще: «Пастыри Церкви – люди Божии, – говорит о. Васильев относительно обстоятельств учреждения Св. Синода, – но они в то же время облечены плотью, подвержены страстям; их действия могут быть притязательны. Поэтому государство имеет полное право, даже обязанность принимать меры к прекращению подобных притязаний. Пастыри Церкви принимают мудрые предостережения со стороны мирян» (из второго или ответного письма к тому же епископу). Все это очень хорошо и справедливо! Но все подобное рассуждение (как, думается мне, согласится с этим и досточтимый отец настоятель русской в Париже Церкви, если дойдут до него мои слова) не очень прочно утверждает нас в том положении, чтобы о таких вещах, как взаимное отношение в православном царстве между властями духовной и гражданской *мыслить яже суть Божия, а не яже суть человеческая*. Ведь «взаимное уважение двух властей одной другой», если оно обоснуется с той и другой стороны прямо в Самом Господе, может когда-нибудь подвергнуться искушению своекорыстных видов, чтобы только властям взаимно не мешать друг другу: надо не только предотвращать подобное искушение, но и не давать места или повода и самой, слышной иногда, клевете в чем ли подобном на властей церковную и гражданскую. Равно и ограждение «людей Божиих», именно пастырей, от излишних притязаний «мудрыми

предостережениями со стороны мирян» может показаться оскорбительным для здорового чувства веры, если подобное ограждение будет идти не от Самого и единственного Главы Церкви – Господа.

Слово Божие свидетельствует (Еф. 4:11–13), что Господь дал Церкви своей пастырей и учителей для такого созидания этого Христова тела, чтобы «нам всем придти в единство веры и познания Сына Божия, в зрелость мужа, в меру полного возраста Христова», чтобы, значит, и во всех мирянах был Христос Своей благодатью. Если такое намерение нашего Господа достигается и такая благодать Его в нас действует (что несомненно уже и по силе самого первого, вводящего нас в Церковь, таинства – Св. Крещения, в котором мы «облекаемся во Христа»): то и вообще в мирянах и в частности в гражданских властях православного царства и народа открыта область для проявлений власти и благодати Самого Господа нашего, Которому и по самому Его человечеству, для благодатного Его вседержавия над нами, *дадесе*, составляющая вечную собственность Его Божества, *всяка власть на небеси и на земли* (Мф. 28:18). Православный государь, движущий и всем своим правительством, имеет за собой не только то, общее ему и с языческими или неверными царями и правительствами, преимущество, что *несть власть, аще не от Бога*, но еще и тот великий благодатный дар, что он есть член Христова тела Церкви, причастный Христовой жизни в силе Святого Духа, – жизни, притоки которой в нем, как в государе, еще усугублены особенным таинственным помазанием. Равным образом слово Божие свидетельствует, что в Новом Завете существенный архиерей и иерей есть вечно един, именно Сам Господь, Сын Божий, совершивший на веки наше искупление (см. в посл. к Евр.), Который в иерархически избранных и освященных сосудах или орудиях Своих и проявляет благодать Своего вечного архиерейства и священства, возводящего нас в любовь Отца Небесного и низводящего для нас все Божественные Его сокровища, изливающего любовь Его в нас Духом Святым.

Из сказанного сами собой и раскрываются следующие, истинно-благодатные и живые, отношения между

православными властями – светской и духовной. Духовная власть, или православная иерархия, не вмешивается (без призвания или приглашения) в дела и распоряжения царя и правительства его, чтобы самозванно и мятежнически не посягнуть на располагающую ими власть Самого Христа Господа нашего; повинуюсь царю в гражданском порядке, паство и в этом служит благодатной державе Самого Господа. Равным образом и православный государь, со своим правительством, чужд всякого притязания на присвоение себе собственно духовной власти; следуя духовному руководству пастырей и предаваясь «тайноводственной» в них (совершающей Божественные таинства) благодати, государь чрез это также предается Самому своему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Так точно, Сам Господь, главенствуя над Своей Святой Церковью, движет ее паство к благодатному долгу подвизаться, до готовности даже душу свою положить, в том служении Его истине и благодати, чтобы в православном царстве и народе или не допускать или останавливать движение в чем бы то ни было противохристианского и противоблагодатного духа и направления. Равно Сам же Он движет и *власть предержащую* или к тому, чтобы открыть полное удобство к самым обширным и чрезвычайным пастьским в Церкви действиям, как то было особенно при созывании вселенских соборов, или к тому, чтобы предотвратить в пастве, могущие быть в известное время особенно искусительными и вместе вредными, какие-либо мирские притязания, как такое намерение выслежено о. протоиереем в обстоятельствах учреждения Св. Синода⁹⁸.

Впрочем, и о. протоиерей Васильев вот что говорит о президенте Св. Синода: «Кто же президент Св. Синода? Прежде всего – Иисус Христос, Глава Церкви, наш Президент и Верховный Господь. Он присутствует при заседаниях в Своем слове и Евангелие занимает здесь почетное место». Да! дело православной Церкви, особенно против папства, так надо раскрывать, чтобы ясно было, что в Святой Церкви у нас председательствует, действительно, Сам Господь и Глава Церкви, председательствует в самых умах и сердцах, к Нему

неотступно взирающих и в Его духе подвигающихся, да управляет Он умами и сердцами всех – чего живым и светлым выражением и служит присутствие Св. Евангелия на «почетном месте» среди Св. Синода Самозванное земное главенство папы уступит не формальности, а самому действию и силе Христова главенства над Церковью, нами от всей души признаваемого и исповедуемого.

О. протоиерей Иосиф Васильев, к сожалению, изложенные здесь мысли нашел недостойными своего сочувствия. Он, во-первых, нашел их мечтательно-мистическими. Но он, кажется, опустил из виду, что и Сам Христос есть тайна, что мечтательно-мистическое направление состоит не в направлении к Самому Христу, а в пренебрежении церковного и действительного порядка вещей. В моих же мыслях напротив истинность и сила церковного и действительного порядка вещей именно и утверждается чрез воззрение и направление к Самому Христу, главенствующему над Церковью и действительно сходявшему в наш мир. Во-вторых, о. протоиерей Васильев опасается, что мнящиеся держаться Самого Христа и станут объявлять притязание на заправление другими и самой Церковью. Нет! Когда во всех церковных лицах, учреждениях и отношениях будем смотреть к Самому Христу, то и будем держаться послушания Ему во всем, а не преобладать над другими высокомерно. Направляясь к Самому Христу, будем разве только тем действовать на других к оживлению в них всего церковного, чтобы, сообщаясь Христу, вземлющему грехи мира, выносить на себе и вины чужих неверностей Христу и Его Церкви.

Так-то, видно, еще рано нам с силой и действенностью поднимать знамя православия пред неправославными, когда сами так недостаточно разумеем силу православия и склонны к ее перетолкованию.

XVI. По поводу книги «о Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа»

По поводу книги: «О новом завете Господа нашего Иисуса Христа», автору ее приходилось отчасти вычитать в журналах, отчасти выслушивать непосредственно разные замечания. Разобрать эти замечания автор находит нужным не только по отношению к своей книге, но и вообще для дела разъяснения истины Христовой.

О самом изложении книги, одни говорят: «Имея целью дать в своем труде руководство к чтению издаваемого на русском языке нового завета, автору следовало бы позаботиться о простоте изложения». За то случалось автору слышать совсем противоположные отзывы других, что мудрено было бы проще раскрывать такой предмет, как в книге «о новом завете». Такое решительное до прямой противоположности различие отзывов об одной и той же книге показывает, что здесь одними признается, а другими отрицается более, нежели просто только авторский или литературный недостаток. Со своей стороны автор так рассуждает об этом: первая и главная моя забота, при раскрытии того или другого предмета в сочинении, выяснить, по возможности, самое существо этого предмета, и как при этом приходилось нередко самому же и прокладывать себе дорогу в порядочной иногда и слишком мало у нас тронутой лесной чаще, то мысли моей столько бывало работы для открытия себе пути вперед, что она уже и не останавливалась слишком много и долго на очищении этого пути от неровностей. Если мое дело, рассуждал я, *дельно*, то оно будет и стоить того, чтобы любовь к истине, рано или поздно, разобрала его и отдала ему справедливость. И действительно, для сочувственно-внимательных и рассуждающих мой труд не недоступен, как знаю из опытов и вышеуказанных отзывов не только ученых, но и простых людей – моих читателей или слушателей. Непривычным к умственной работе, но любящим и ищущим истину, мое дело может давать повод хоть к некоторому упражнению себя (а отсюда и к навыку) в серьезной мысленной

внимательности и рассуждении; а маловнимательным и нехотящим знать духовного рассуждения об истине – таким все равно оставаться ни с чем, в нагой ли простоте поставите им евангельскую истину или прикроете ее некоторой неудободоступностью – в роде, например, Евангельских притчей. Ведь от недостатка охоты рассуждать и отчетливо вникать в духовные предметы у нас и происходит та беда, что Христову истину мало знают не только простолюдины, но не довольно хотят знать и многие образованные. В этом маловнимании к Христовой истине иные думают оправдаться именно недостатком будто бы общедоступности во многих духовных сочинениях, и по этому поводу другие считают эту общедоступную простоту таким существенным достоинством сочинения, что, сколько от них зависит, не дают и хода сочинению, не претендующему на безостановочную гладь простоты. Но какие от этого следствия? Я знаю целое общество, находящееся именно под такими условиями или требованиями в отношении простоты ученых дел; и в открытых делах этого общества, действительно, большей частью такая гладь, что хоть шаром покати; только беда здесь в том, что дела, проникнутые наиболее живой мыслью и сочувствием к нуждам времени (но еще не поставленные на степень наглядной простоты, недопускающей чего-либо трудного к уразумению) сокрываются большей частью и гибнут большей же частью под спудом – вне возможности выясняться, выравниваться и возрастать под открытым небом, на свежем воздухе... Прежде общевразумительности, думалось мне, надо кому бы то ни было достигнуть самого еще разумения предмета, хотя бы доступного в начале только особенно внимательным и рассуждающим, которые уже, испытав истинность этого разумения и вместе обширность применения его, могут сделать его и общедоступным (хотя все же не всегда для всех удобовразумительным). Разве не таким порядком шло и основное, верховно-образцовое для всякого разумения истины, раскрытие Христовой истины в новом завете? У Самого Спасителя были, так называемые в Евангелии, *внешние* слушатели, которые слышали Его учение, но *не разумели* (Мк.

4:11–12); и только немногим избранным ученикам Своим Он «наедине изъяснял все» (Мк. 4:34). Мне кажется, что какая бы ни была идея, новая в каком-нибудь отношении, не будет она простой и общедоступной дотоле, пока сколько-нибудь не освоится с ней общее сознание.

Совсем другой вопрос: скоро ли у нас освоится общее сознание с мыслью – раскрывать внутренний порядок, в каком сообщены Церкви и вообще Божественное откровение и особенно новый завет? Образованные и ученые у нас с горячим участием следят разъяснения законов и условий, по каким происходят всякие явления и факты; нет у них живого внимания только к тем законам, по каким шло Божественное откровение – этот свет к выяснению всего для нас. А необразованные и полуобразованные просто-запросто толкуют о том, что, когда самые книги нового завета так у нас теперь дешевы, то какая охота покупать еще книгу «О новом завете» за более дорогую цену?! Бедные, знать не хотят, что дешевизна книг нового завета, без разумения бесценного значения слова Божия, бесполезна для веры и может обратиться в осуждение наше. Вот главным образом от чего, а не от недостатка внешней простоты, бывают многим не довольно понятны книги в роде труда «О новом завете». Особенно важно замечание, делаемое на книгу «О новом завете», следующее: «Зачем из рассмотрения перехода Церкви из одного завета в другой автор не вывел никаких положительных применений к нашему времени, как переходному, хотя и предположил себе это как цель издания книги?» Прежде всего на это скажу, что главная и существенная цель написания и издания книги «О новом завете» – разъяснить для веры дело Христово в устройении новозаветной Его Церкви, чтобы внутренняя стройность и неразрывная цельность этого дела служила к утверждению веры и к опровержению новейших перетолков о жизни Христовой и вообще о новом завете. Что же касается до особенных применений к нашему переходному времени, тут решительно ничего нельзя сделать без собственного внимания и размышления каждого. Господь в новом завете, со Своей стороны, действительно, восприял в собственное лице все

человеческое естество для спасения от греховного зла и заблуждения всех человеков и всего человеческого; понес Он Сам на Себе, в крестоносной Своей жизни до смерти на кресте, бремя греховных повинностей и заблуждений, действительно, всего мира, всего человечества, и такую благодать, такой дух Своей любви к человеку Он открыл, действительно, всем и каждому из нас для нашего соучастия, для нашего исполнения «всей полнотой Божией», обитающей в Нем даже *телесне* (Кол. 2:9–10, Еф. 3:19). Но принять или не принимать верой такую благодать зависит уже от доброй воли каждого, и, значит, от собственного его усмотрения и рассуждения. Исключение имеет место единственно в отношении только к немогущим еще рассуждать и разумно располагать собой, именно – к младенцам, которых Церковь матерински принимает в соучастие благодатной жизни и света, впрочем и то если находятся между верующими готовые и способные своей деятельной мыслью и любовью представить как бы замену и поруку за детей, в которых и обязаны они, при первой возможности, раскрывать живую и отчетливую мысль веры (т.е. восприемники). Да умственная работа, говорите вы, тяжела и почти недоступна, непонятна многим? Что ж, и пусть остаются в детском неразумии эти духовные недоросли? Нет, это не так должно быть у христиан. Пусть все учатся рассуждать, чтобы уметь усвоить и упрочивать за собой истину и благодать нового завета, без которых – одно заблуждение и рано или поздно гибель еще и на земле... Разве трудно православному христианину рассудить о той основной в новом завете истине, что все, поставляемое решительно вне Христа Сына Божия, в Котором почивает любовь и благоволение Отца всей своей полнотой, в Котором почивает и вся безмерная полнота сил Духа истины и жизни, все такое становится уже и вне любви и благоволения Божия вне всего истинно жизненного и правого, и следовательно неизбежно делается добычей отвержения и пагубы? А установив свою мысль на этой точке воззрения, всякий *искренно верующий* не может, кажется, не подвигнуться всей глубиной своей души к тому, чтобы свое дело и положение, свою среду и вообще все, что ему можно, возводить

(разумеется, без принуждения и насилия, разумно, с благодатной свободой) или только крепче упрочивать и глубже водружать в новозаветную почву: благоволения и любви Отца небесного, разумения и исполнения истины и правды Христовой, словом – усвоения животворной Божией благодати. *В этом только смысле и намерении* представляю, если угодно, теперь же и самые примеры применения к нам того порядка, в каком Спаситель открывал Своей новой завет или вводил людей в любовь Своего Отца и в Свою истину и благодать. Не то, чтобы нужно нас снова переводить из ветхого завета в новый: сохрани нас Бог от такой мысли, не только странной, но и совсем противной вере нашей в единственный и вечный новый завет нашего Господа, в который Церковь введена уже более 18-ти столетий тому назад. Но дело в том, что для перехода времени или общества или отдельного человека от всего худшего и недостойного в нем и в среде его, от всего лживого или духовно темного (происходящего, разумеется, от ветхого Адама, от нашей греховности, а не от завета ветхого), для перехода к лучшему, духовно-светлому и истинному, решительно нельзя найти другого глубочайшего основания и вместе высочайшего Первообраза, кроме изведения человечества Самим Спасителем от всего худшего ко всему лучшему и от изветшавшего чрез человеческую греховность (Рим. 7:9 и сл.) завета ветхого в новый завет вечной благодати и истины. Это точно так как, кроме имени Господа Иисуса Христа, с Его истиной и благодатью, *нет иного имени под небесем, данного в человецех о немже подобает спастися нам* (Деян. 4:12). В этом только смысле делаю свои дальнейшие применения⁹⁹.

Начну с того, что у нас в Церкви и отечестве пользуется особенно важным значением и сильным влиянием, с звания монашеского. Став на истинно-новозаветную точку воззрения, монах, например без большого труда может догадаться, что, принимая и исполняя дело своего монашеского послушания, состоящее в телесной или особенно в умственной работе, должен он в своей мысли и сердце совершать послушание во Христе прямо Самому Ему и в Нем нашему Отцу небесному, что

только в таком послушнике будут раскрываться Христово мудрствование и человеколюбивые Его расположения (Флп. 2:6); а в противном случае послушание монашеское, и при скромности и искренности своей, не будет возвышаться вполне к живому благодатному духу древних богоносных послушников, а, при неискренности, может обращаться не только в рабское, но и в лицемерно-фарисейское, жесткое унижение духа. К выходу или только еще в предосторожность от такого жалкого положения, и может послужить рассуждающему монаху следимый в моей книге порядок открытия нового завета Самим Господом, при противлении Ему особенно фарисейства. Господь именно так открывал, на место завета ветхого, Свой новый завет, что, став в древле-церковный порядок, раскрывал истинный его дух и живую силу, отвергая фарисейство или вообще мертвое иудейство, которое остановилось только на букве древнего порядка, вопреки духу веры всех древних праведников. В избежание того же мертвящего иудейского или фарисейского духа, который (как и всякое духовное зло) может приражаться и к православному монаху, будет этот монах вникать в самый дух и живую силу благодатных примеров и правил монашества. Вот, например, как учит монахов послушливому терпению один древний послушник, у которого был весьма жестокий и грубый авва: этот послушник признавал потерянным без духовной прибыли тот день, в который он не получал синяков или ушибов до крови от своего аввы. Можно быть, по внешности или нравственно, жертвой и подобной жестокости, однако далеко не достигать благодатного плода, созревшего у помянутого послушника, который послужил и спасению старца своего, и сам засвидетельствован был, уже и по смерти, как живой... Надо только понять самую силу благодатного терпения этого праведника. Истинно праведные, во всякой добродетели, усвоили себе дух и настроение Христовых добродетелей; потому и праведный послушник терпел не иначе, как в духе Христова терпения; а дух Христова терпения – любовь, по которой Всесвятой восхотел терпеть как бы Сам виноватый пред Своим Отцом за греховные вины мира и Который, принимая бесчестие и раны и наконец приговор на

поносную смерть, слушался во всем этом Самого Своего Отца, с Божественно сыновней любовью. Так, видно, и тот древний послушник, принимая удары от своего старца, в духе терпения Христова пред Отцом небесным винил не авву, а только себя самого за его жестокости, и вел это свое дело в своем уме и сердце прямо пред Самим Господом, а не пред людьми. Такое-то послушливое терпение будет возвышать и облагораживать дух монаха на пользу и других, а не подвергать низкому и жесткому духовному рабству. Этот дух истинного монашества может разноситься и раскрываться свободно и в других формах жизни.

Но монашество есть доля немногих. Возьмем это великое, наглядное для всех дело нашего времени и отечества, так называемый вопрос крестьянский. Всем заинтересованным в этом деле не трудно тоже рассудить, если они христиане православные, что не освещать этого вопроса прямо Христовым светом значило бы не приближать к себе, но этому великому и трудному делу, благодать Христову, без которой невозможно сделать ничего, истинно и прочно доброго. Зачем же православным останавливаться на этом худшем, когда пред ними открыто лучшее, благодатное? Но тем не менее, многие из крестьян и помещиков и доныне не думают исполнять и разуместь прямо во Христе этого великого дела (устройства быта крестьян по уничтожению крепостной зависимости), неизбежно впадая за то в разные тяжелые взаимные недоразумения и даже беспорядки. Надо православным русским выходить из этого худшего, недостойного чад нового завета, к лучшему, благодатному, которое уже давно открыто миру в новом завете. Сущность благодатного, касательно крестьянского вопроса, в том, чтобы православным во всем, относящемся к разбирательствам или распоряжениям по этому вопросу, благоговейно иметь в виду и верой «приобретать» себе (Флп. 3:8) Самого Сына человеческого, каким соделался Единосущный Сын Божий для усвоения Самому Себе как совершения и устройства всякого истинного блага человеческого, так и всякого благодаяния, какое бы ни делали мы с Ним и ради Него нашим ближним меньшим Его братьям. И неужели весьма

трудно *одним* (помещикам), даруя или уступая что меньшим Христовым братьям, это пожертвование вручать своей верой Самому столько возлюбившему человека Христу Господу, у Кого оно не только сохранится в безопасности от злоупотреблений, но принесет свой плод и для самих пожертвовавших? Неужели трудно до крайности и *другим* (крестьянам все), даруемое или уступаемое им, принимать верой тоже как из рук Самого Господа, Которого человеколюбивый дух именно и воздействовал, по этому делу, в правительстве и помещиках? Но иметь и выдерживать такую мысль и расположение веры, при чтении или слушании, а тем более при самом предначертании или исполнении того или другого распоряжения и учреждения, значило бы уже развивать в этих распоряжениях достойный нового завета порядок в духе любви Самого Отца небесного, обнимающей и дарующей миру ради Своего Сына Богочеловека всякое истинное человеческое благо и благосостояние. И при этом всемогущей Божией любви, без сомнения, легко своим благодатным осенением как обереечь простодушных от злонамеренных внушений и разрушительных беспорядков, так вместе и подвигнуть весь народный дух к истинному здравомыслию в жизни и просвещении. Таким образом дело земного гражданства, исполняя и выдерживая его в духе Христовой истины и благодати, православные и могут перевести от всего худшего и духовно бессознательного в высшую и светоносную область благоволения во Христе Отца нашего небесного. Это может и должно совершиться именно на основании и по первообразу того спасительного и руководительного для нас порядка, в каком Сам Господь возводит веру из ветхого завета в новый, когда, являсь среди плотского израиля, крайне уже мало сознававшего свое истинное духовное значение, Он раскрывал это значение и преимущества израиля в живом духе и силе самой благодати, и таким образом открывал место и устройство уже новому израилю благодатных чад во Христе Самого Отца небесного, светлых чад истины и премудрости. Да, скажете, вопрос крестьянский – вовсе не вопрос веры? Но в новом завете выяснено, особенно чрез Апостола Павла, что человек, не

только воспитанный феократическим руководством, но и ходивший самовольными путями язычества, и следовательно все человеческое, не только прямо духовное или церковное, но и мирское, самостоятельно (хотя бы даже долгое время и самовольно) развиваемое, получает одинаковый доступ и право обращаться ко Христу и просвещаться чрез веру Христовой истиной и оживляться Христовой благодатью.

Также и мыслителю, прочитавшему со вниманием и размышлением книжку «О новом завете» и следившему порядок открытия Господом нового завета именно по отношению к делу мысли, можно было бы остановиться на том, что Господь вообще пришел *не разорити, а исполнити* закон Богоданный; но так как Он *исполнял* и разъяснял этот закон не в бездушной его букве, чем иудеи именно и *разоряли* закон, а в самой благодатной его силе и животворном духе, то чрез это и раскрывал уже новый завет благодати и истины. Разве при этом трудно уже, особенно мыслителю, доразумевать самому, что и закон разума и мысли есть тоже Богоданный закон? *Не разорить, а исполнить* пришел Господь и этот закон, Богоданный закон мысли и разума, как и действительно Он, сохраняя в целости воспринятую человеческую природу и с человеческой деятельностью, следовательно и с человеческой мыслью, уже поэтому соблюдал и законы нашей мысли. Но соблюдал и исполнял законы мысли Господь наш тоже не в мертвой и бездушной форме (чем собственно *разоряется* жизненный закон мысли), но в самой жизненной их силе, именно: Он и в естественных законах человеческой мысли слышал и исполнял Творческую мысль и волю Своего Всевышнего Отца, как представитель пред Ним или ходатай всего человечества. Пусть же и мыслитель, ежели он христианин православный, в деле своей мысли, идущем по внутреннему самозаконию разума, слышит и исполняет во Христе также мысль и волю Отца небесного, пусть в своей мыслительности входит в дух Христова человеколюбивого ходатайства пред Отцом и за разум человеческий, за дело мысли человеческой. Или если мыслитель еще не утвердился во Христе. а был бы только не прочь от принятия Христовой

истины, когда бы удостоверился в том, что это – действительно истина, то пусть он – дело своей мыслительности с ее самозаконием ведет не в духе самонравия или произвольности незаконной, но в послушной верности законам мысли, как высшей или строжайше-обязательной для него правде¹; пусть в сознании, что и у других людей те же законы мысли, какие и у него, мыслитель пускается в разные попытки своей мысли не иначе, как в человеколюбивом духе серьезной и крепкой озабоченности, по делу и судьбе мысли, и за других людей. И таким образом мыслитель, и с этим одним предначертанием духа здоровой мыслительности, вступит уже своей мыслью на стезю несомненно верного перехода – как из рабского и мертвого застоя, так и из столько подвижной влаемости от разных ветров и брожений мысли, перехода в область живой и вместе незыблемой, всесовершенной и всепросветительной истины Божией и вместе вселенской или общечеловеческой. Это – переход несомненно верный, потому что он внутренне сообразен с совершенным от Самого Господа переходом веры и спасаемого человечества из ветхого завета в новый, да и обоснован на этом, Божественно-руководительном для людей всех времен, переходе.

Возьмем во внимание еще дело хоть нашей журналистики, особенно светской. Если наше время точно во многих отношениях есть переходное время, а журналы служат органами своего времени, то ясно, что и журналы неизбежно, волей или неволей, разделяют с нашим временем переходное его состояние. И журналистике тем более нужно и должно разумно и верно устроить и направлять эту переходность, что журналы непременно более или менее влекут или движут за собой современность и, значит, находятся в великой ответственности за такое или другое направление переходного своего времени. Но здесь есть нужда для нас еще в предварительном объяснении; журналы ведь любят учить сами, а не учиться... Что же? Своим молчанием о журналах и станем мы, в обиду не только истине, но и самим журналам, изъяслять как будто согласие и с такой *мечтой* некоторых из них, что истины и добра можно искать и находить – и помимо Христа?!

Ведь это значило бы некоторым образом извинять и даже оправдывать подобную мечту; а между тем и самое происхождение ее, по крайней мере в некоторых мыслителях и литераторах, объясняется из их первоначальных ребячески глупых представлений о христианстве, от которых, потом, стремясь освободиться молодой ум, без живого соучастия к нему более опытной веры, терял, вместе с ребячески-мечтательным и представлениями о вере, самую веру... Не продолжать ли, не поддерживать ли нам такое положение вещей в умственном деле, стоившее для нашего отечества уже слишком многих жертв? Нет, скажем журналистике слово Христовой человеколюбивой правды: если деятели журналов любят человека и свое отечество, то надо им вдумываться в свое дело с строгим и добросовестным испытанием, верным ли путем к истине и добру они идут и других ведут, и куда помимо Христа, или не в истинном духе Его человеколюбия, может тот или другой из них зайти и других завести. Хотят или не хотят нас слушать, но мы должны говорить истину веры, что вне Христа Единосущного Сына Божия, ставшего ради нас, человеков, сыном человеческим и просвещающего всякого человека, грядущего в мир, нет места в человечестве ничему истинно жизненному и благоволятельному. До сознания этой истины, сознания отчетливого и твердого, когда-нибудь дойдет же или будет доведен и мир новый (как был некогда доведен мир древний, по прямому молитвенному пред Отцом слову Христову: *да и мир веру иматъ, яко Ты Мя послал еси... да разумеет мир, яко Ты Мя послал еси* (Ин. 17:21, 23)). Хотят или не хотят наши журнальные мыслители понимать и направлять переходность нашего времени именно по духу того перехода от всего худшего ко всему лучшему, который открыт человечеству Самим Спасителем; из порядка, в каком Господь устраивал на все времена и для всех людей этот благодатный переход, я хочу по крайней мере сам, как читатель журналов, вразумиться и другим их читателям (если кто из них захочет принять братскую помощь), показать, как нам пользоваться журналами для того, чтобы наше переходное время шло от худшего к лучшему. Но здесь открывается необходимость сказать

несколько слов и для другой стороны, для стороны боящихся соблазна и вреда для веры от самого внимания к движению мира журнального (разумеется, светского). При нынешнем разливе журналистики неужели чья-либо вера и любовь к Господу и Церкви не примечает еще крайней нужды в посильных указаниях, как читателю не только избегать опасности заблудиться или сбиться с пути, но даже с истинной пользой пускаться плавать по этому журнальному разливу? Это горькая правда, что иной человек, нахватавшись в разных журналах многого бесполезного и неистинного, это самое и готов считать за самое лучшее и верное, незаметно притом и понемногу доходя до такого обольщения. В заботливом внимании именно к подобным (многим, о, как многим!) случаям и надо всевозможно стараться выяснить и то, *что именно и действительно – лучшее и что – худшее*, и то, *как наверное устраивать для себя и других переход от худшего к лучшему*. А другого основания и первообраза для такого перехода, также как и другого света к верному различению лучшего от худшего, нет кроме Христа и Его дела.

Вот что для этой цели, по отношению к чтению журналов, может послужить нам из порядка дела Христова. Способом к переходу веры из ветхозаветной чувственностью и ложью до пустоты и бесполезности мертвых форм, к новозаветной духовной существенности и истине служили у Господа, между прочим, *притчи*¹⁰⁰. В этих притчах, с одной стороны, предлагалась вере отчасти еще ветхозаветная пища – приточный образ, а с другой указывалась в этом образе та или другая благодатная *истина*.

«Когда Господь говорил о сеятеле, неводе, о заквасе и т.п. (так сказано и разъяснено в моей книге «О новом завете»), то здесь на первом плане является образ, иносказание: это – пища веры с ветхозаветным настроением. Но всякому было ясно, что остановиться мыслью на букве этого образа значило ничего не понять в приточной речи Спасителя, надо было следить в образе и уже отвлекать от него мысль Спасителя о той или другой истине: это свойственно уже новозаветной вере, отделяющей истину от образов и теней. И таким образом в

приточном учении Христовом вере сколько удобно и просто было стать под привычную ей в ветхом завете образность, столько же потом естественно и даже необходимо было возвышаться от образа прямо к разумению спасительной истины, или, что тоже, оказываться и утверждаться в духовной области нового завета». По духу этого самого Христова порядка можно¹⁰¹ и верующему во Христа, взявшему грехи мира, так пользоваться каким бы то ни было родом самой светской журналистики, чтобы она послужила для мысли и дела читателя переходом от многого не истинного и не полезного к лучшему. Ведь есть много притчей Христовых таких, которые берут образ именно из природы и внешнего мира: по духу и значению этого рода притчей вся природа и внешний мир являются точно Эдемом, в котором все видимое говорит о духовном и благодатном. Есть притчи, представляющие человека в разных отношениях – семейном, гражданском и прямо духовно-нравственном; есть притчи, в которых образ взят даже из крайне низменной житейской области и однако применен к благодатным предметам, как, например, притчи о судии неправедном, однако защитившем неотступную вдову от обидчиков, но за сметливость похваленном от Господа.

Но ведь, скажет кто-либо, в ином роде журнального содержания только почти и есть одно легкомыслие и суетность, перемешанные с открытым растлением. Все же подобное, отвечаю я, не выходит из очертания, например, этого приточного образа: «В одном городе был некоторый судья, который Бога не боялся и людей не стыдился» (Лк. 18:2, 4). Но посмотрите, с кем приточно сопоставляется этот образ Самим Господом (Лк. 18:6–7)? С Всевышним Судьей. Главное дело не в том или другом роде содержания журнального, а в том, чтобы Вы сами, верующий читатель, читали журналы с неотступной верой в Сына Божия, Который стал ради нас и сыном человеческим и на Себе понес страшные грехи нашего бесстрашия пред Богом и бесстыдства пред людьми; от вас самих зависит, во всяком вашем деле (след. и в чтении журналов), держаться или не держаться благодати Спасителя и спасения. Или еще Вы подумаете, быть может, не хочу ли я

светской журналистике с ее разнородным содержанием дать значение духовно-иносказательное? Не торопитесь этой догадкой. У Господа есть и такие притчи, в которых истина сливается с приточным образом, как со своим собственным явлением и осуществлением (таковы, например, притчи о впадшем в разбойники, о Лазаре и богаче); я вот это самое воззрение преимущественно стараюсь выдерживать сам и другим рекомендую при чтении журналов светских. Если, например, православный читатель имеет дело с такими журнальными статьями, в которых выводится на вид человек со своими страстями, испытаниями, радостями и скорбями (как это бывает в повестях), то пусть при этом он не опускает из вида, что именно для человека, какой только есть и возможен во все времена, стал сыном человеческом Сам едиnorodный Сын Божий, понеся на Себе бремя всех его недугов и заблуждений, всего худшего и недостойного у нас. Пусть помнит читатель и то, что все лучшее в каждом человеке есть отсвет или отображение того же *Света, просвещающего всякого человека*, хотя этот отсвет или отражение Солнца правды проходили бы столько и таких сред, сколько и какие среды проходит отсвет видимого солнца, отражающийся, например, в реке, а от нее в стекле раскрытого окна, а отсюда в зеркале, а от зеркала падающий на случившуюся металлическую полированную дощечку и уже отсюда на чье-либо лице... И тогда простая повесть, сколько-нибудь дельно и верно выразившая какую-либо сторону современности, будет раскрывать пред читателем, как Творческой любви и истине можно настигнуть современного человека в разных его тущобах, и какие его стороны наиболее открыты и восприимчивы к всюду ищущей его благодати. Говорю это не просто по умозрению веры, а из неисчислимым собственным опытом. Или для убеждения в истине вам нужен еще высший и достойный авторитет? Вот самого язычника Гомера умели же так точно читать древние отцы (как, например, Св. Григорий Богослов), руководительству которых мы должны следовать.

Так точно читая и исследование тех или других порядков нашего земного быта, природы, науки и проч., пусть

православный не забывает о Носящем всяческая Своей вседержавной мыслью и волей Боге Слове, Кем одним *вся быша* и без Кого *ничтоже бысть, еже бысть*, Кто осуществляет Свои мысли и в законах природы, и порядках нравственного мироправления, и в законах нашего разума, и т.д. И тогда всякая основательная и дельная, последовательная статья поведет и будет более и более приближать читателя к разумению зиждительных и мироправительных мыслей Христа Бога Слова, к изучению ума Христова, близкого уже и доступного нам ради Его вочеловечения, совершившегося для грешных человеков. Читателю при этом может быть видно и то, чего дельного, и в самом увлечении и односторонних суждениях, искал и желал добросовестный писатель, к чему доброму, след. Христову, стремился он, хоть бы только инстинктивно. Ну, и всякая фальшь журнальная ни за какой маской не скроется пред светом Христовым, если вы в этом свете будете читать журналы: вы, например, не поверите если не искренности, то, по крайней мере, прочности той гуманности, с какой иногда вооружаются против розги, а сами чуть не дубьем бьют своих противников, равно и нравственное генеральство некоторых журнальных авторитетов, уважающих только себя, уж никак не возбудит в вас уважения и еще менее сочувствия, как бы ни было это генеральство скрытно или утонченно, хотя бы оно опиралось на нужду для переходного времени в суровом голосе. Из всего сказанного, кажется, ясно, как читатель, при помощи самой светской журналистики (не задерживаясь фальшами, хотя бы запутывающими не только многих, но и *достойных* литературных деятелей), может выходить из этих двух современных несчастных односторонностей, но которым или заняты бывают земной действительностью, но без Христа и, значит, без благоволения Всеблагостного Отца, или ревнуют по благочестию и по Христу, но в духе Его человеколюбия, низведшем Его с неба на землю для труждающегося и обремененного здесь человечества, может вступать именно в ту силу Христовой истины и благодати, чтобы и разумно сознавать эту истину и благодать и проводить свет их во все в жизни и науке, как можно ближе к требованиям

и характеру современности. Не останавливаясь уже на том, как чтение журналов с вниманием к единственному нашему Учителю Христу, светящемуся своей истиной и во тьме нашей, будет, с отрицанием и обличением худшего и недостойного в журналах, через это помогать им выходить хоть понемногу из их нестроений и кличей и более и более сводиться в один хор, который не терял бы своей стройности и в самых своих разноречиях и полемике.

Без сомнения, такому читателю журналов будет глубоко горько, жалко и досадно, отчего эти органы русской мысли, взявшись за дело разъяснения и раскрытия истины (принадлежащей существенно одному Христу Спасителю нашему), иные малодушно чуждаются и как будто стыдятся Христа, а другие, по видимому, совсем бегут от Него. Но, тем не менее, сам же такой читатель, видя и чувствуя, что предваряющей благодатью своей *Дух Божий носится над мысленной и словесной водой* и прежде появления света прямого и отчетливого возрения ко Христу, как единственной для всех истине (Быт. 1, 2 и д.), в томительном ожидании этого духовно-живого и свободного света – пожелает лучше терпеть, нежели склонится к чему-либо рабскому и мертвому, как совсем безнадежному для истины. Этому духовно-рабскому и мертвому направлению он также не может подать руки, как и беснравственности и несчастью, хотя и верует Христову свету, светящемуся и во тьме и тьмой необъемлемому (Ин. 1:5). С живым убеждением веры и истинным достоинством православного христианина равно несовместны и разнузданность неверия и мертвое духовно-рабское направление самомнящейся веры; то и другое зло и может вести только ко злу же, так что нет места известной хуле некоторых против апостольского учения о правде Божией, торжествующей во Христе над человеческими неправдами, именно этой хуле: *сотворим злая, да приидут благая* (Рим. 3:8).

Теперь и перейдем к этому главному и всем нам общему делу – живому и сыновне-свободному разумению и раскрытию в нас православия, чтобы и это дело в нас верно и неуклонно

шло на основании совершенного Самим Господом перехода веры и Церкви из ветхого завета в новый. Есть у нас в воззрениях веры какое-то духовно-рабское направление, отчасти вызываемое и поддерживаемое противоположным ему направлением вольномыслия, в противоборстве которому и фальшивая односторонность может казаться себе и другим подвигающеюся за веру православную. Разумею то именно направление, которое с самовозношением признает себя стоящим за православие, но нередко, со слепой ревностью, останавливается только на букве и форме православия, не разумея его духа и силы, и особенно ратую против настроения и мыслей в духе Агнца Божия, в духе человеколюбивого его самопожертвования. Разумею притом ни ту, ни другую личность, отличающуюся этим направлением, ни даже известный его орган, но беру во внимание только прямо самое это направление, насколько оно приражается к некоторым православным личностям и выражается к некоторым православным личностям и выражается, хоть бы только мимоходом, в каком бы ни было органе русских воззрений¹⁰².

Припоминаю эти горькие для истинной любви к православию явления с той целью, чтобы яснее видна была настоящая потребность для всех разъяснить себе православное христианство в истинно живом его значении, отрешаясь от разнообразных, иногда грубых, иногда и тонких, сплетений этого направления, ведущего свое начало, конечно, не от ветхого завета, а от ветхого нашего человека, останавливающегося подобно древнему иудейству на букве Божией истины и, подобно тому же иудейству, доходящего до отрицания самой Божией истины. Ужели не видно, сколько это духовнорабское направление сильно у нас, увлекая одних к сочувствию и участию в своей вредной осторожности, а других, чрез закрытие живого света истины Божией, оставляя на всей губительной вольности воззрений на истину не только помимо православия, но и почти с уверенностью, что в нем «нет никаких для нас живых задатков» на лучшее?! Ведь это мертвящее направление столько отталкивает от себя живую искреннюю мысль, что она за одно кажущееся в чем-либо согласие с ним

изъявляла готовность к публичному в этом покаянию¹⁰³. Ведь это превратное направление такую оскорбительную тень бросает на самые высокие и светлые стороны православно-христианского духа, что эти последние, представляемые по узким воззрениям такого направления, кажутся некоторым, Бог весть, чем¹⁰⁴. Но между тем когда такому истинно-несчастному направлению, повторяющему в себе дух не ветхого завета, а извращенного иудейства, удалось (не по хитрости, впрочем, его, а только по жесткому или противогуманному его характеру) вывести вопрос о духовном иудействе из ряда вопросов об истине в отвратительную для всякого область личных оскорблений; то у нас, в обществе самых мыслящих людей, нет уже и дела и заботы почти ни у кого, что, ведь, тем не менее истина осталась без удовлетворения и разъяснения в существеннейших и самых живых ее сторонах, в самом ее существе и силе. Видно, говорю, слишком окрепло у нас это направление, служащее по своей явной мертвости к ободрению и усилению и противоположного ему направления – духовно язычествующих, служащих тем или другим идеям вне Христа. И таким образом до дела живой Божией истины многим у нас какое дело?!... Надо, необходимо, крайне необходимо православным выходить из мертвого направления и образа воззрений на веру православную (заметьте – не из ветхозаветного состояния, а из свойственного ветхому человеку направления и образа воззрения) в живую духовную отчетливость, свойственную истинному духу и силе нового завета.

Обращаюсь теперь к моей книге «О новом завете». Как ни умалчивает она о частных применениях выхода веры из ветхого в новый завет к нашему переходному времени, но она, в отношении к воззрениям веры, писана вся от начала до конца в непрерывном заботливом внимании к тому, что делается относительно воззрений веры именно в наше время. По крайней мере, уж того не следует оспаривать или ослаблять, что Христово дело, порядок которого в совершении и открытии нового завета раскрывается моей книгой, есть основание и певрообраз для всякого спасительного дела, для всякого дела

веры во все времена, разумеется, согласно с особым характером каждого времени.

В книге моей посилено разъясняется, что Господь вот как совершил единственный на все времена и Божественно руководительный для всех времен переход из ветхого завета в новый. Он вошел в ветхозаветный порядок, но в жизни и учении выдерживал его не по мертвой букве, а в самом духе и силе, как Сам исполненный той благодати и истины, которые прорекались и предызображались в ветхом завете; и чрез это самое и раскрывал в учении и жизни Свой новый завет. Другого нет порядка к выходу и для воззрений и правил веры, в ком бы ни было из нас, из духовно рабского направления в живой и сыновне свободный дух благодати; это также точно, как нет другого имени и порядка спасения, кроме имени Господа Иисуса и Его воплощения. Пусть же каждый догмат, каждая истина и учреждение православия изучаются и соблюдаются нами не в своей только букве или форме, но непременно и в самом Христовом духе, в духе именно Его снисхождения с неба на землю и на земле под условия не только прямо-церковные, но и семейные и гражданские, в духе той Его любви, что за виновный мир Он Сам явился вземлющим его вины Агнцем Божиим. И тогда все в области православия окажется в нас, (каково оно всегда и есть само по себе), светоносным, близким и отрадным для труждающихся и обремененных в каких бы ни было средах земных; и если бы новое духовное иудейство воспротивилось этому решительно, то такое противление, опять прямо по порядку открытия и усвоения нового завета именно новому израилю из языков на место непокорного плотского израиля, даст только повод к раскрытию света православия в области, подчиняемой доселе разным идеям, большей частью (по язычески) вне Христа, области знаний, искусств, земных распорядков гражданства, политики и так далее. Само собой разумеется, что раскрытие этого может идти не иначе, как, если Бог потерпит еще миру, в века и поколения грядущие. Но чтобы нам, русским, предостеречься от преткновения о камень Христа, нелицеприятного ни для какого народа, пусть у нас, при раскрытии силы православия, имеются в живом внимании

духовные особенности как восточной древности, так и нашей русской старины; пусть сличаются эти особенности прежних времен с духовными особенностями нашего времени, как у Господа нашего была в открытом виду духовная разность современности Его от прежних ветхозаветных времен. Это непременно нужно и прежде всего! И вследствие этого, ни древлевно-восточное или старинно русское не будет превращаемо по раскольничьи в мертвые внешне стеснительные и несовместные с современными потребностями формы, ни современность, самая неугомонная, не станет указывать, да и не будет иметь никакого дельного повода видеть – в старинно-русском только «темный омут», или в древлевно-восточном отживший «византизм». Вот, например, у нас иные, по поводу, может быть, рабского духа некоторых ревнителей веры – не находят в христианстве, как передал его нам Восток и как соблюдала его древняя Русь, живых задатков к самодеятельности духовной. Пусть же раскрывается пред такими умствователями-мечтателями та сила и дух истинного христианства, что Сам Господь благоволил соделаться за человека жертвой и рабом, чтобы они стали причастны сыновне-свободного и самодеятельного Его духа. Православный Восток выяснил, что у Господа, в этом Его искупительном самопожертвовании и истощании за людей, не поглощалась Божеством Его, но выдерживалась во всей неприкосновенной целости и человеческая Его природа с человеческой деятельностью; и потому сыновне-самодеятельный Христов дух, открытый нам ради Христова же самопожертвования за нас, неотъемлемо принадлежит нам в отношении ко всем сторонам и силам человеческого нашего существа, и должен раскрываться во всех родах нашей деятельности. Наша старинная Русь православная имела эту самодеятельность, только в большинстве более или менее безотчетную; это видно уже из того, что она не была в рабской зависимости, по делам веры, от Востока и вообще была в своей народной жизни своеобразна в высшей степени¹⁰⁵. Поймем и усвоим себе самодеятельный и сыновне-свободный Христов дух, открытый нам во Христе чрез крайнее его

самопожертвование для нас, и мы сами увидим в православном Востоке и в старой нашей Руси живых проводников этого самодеятельного духа, именно увидим, что Восток разъяснял основания этого Христова самодеятельного духа, а наша Русь по-детски, безотчетно следовала этому духу, и что тот и другая оставляли отчетливое раскрытие или всесторонние применения самодеятельности во Христе – именно нам, нашему времени, если сами захотим исполнить это самодеятельно. Таково вообще благоволение в Христе Отца нашего Небесного, чтобы самые великие предшественники *не без позднейших совершенство принимали* (Евр. 11:40), а с другой стороны, чтобы и пришедшие только к последнему часу дневной работы получили не менее трудившихся с самого начала дня (Мф. 20:9–15).

Во избежание преткновения в направлении веры, нам, православно-русским, надо иметь в виду и те обстоятельства при открытии нового завета, что древний Божий народ самовольно и презрительно отчуждался от чужих (именно языческих) народностей и не терпел слышать о доступности для них, наравне с израилем, царства Божия (Деян. 22:21–23), но за то сам, в своем большинстве, и потерял свою долю участия в этом благодатном царстве, хотя именно ему и было оно обещано в древности св. в лице Праотцов и Отцов. Боже мой, Боже мой! Что и у нас делается или только говорится иногда по той же части? Слышим внушения нам нового завета, что, в царстве духа и истины, *несть уже наша брань к плоти и крови*, к тому или другому человеку и народу, за которых всех умер Христос, *но к началам зла и лжи* (Еф 6:12); однако бросаем камни собственно, например, на жидов, не думая даже о духовных началах жидовства (т.е. губительном духе иудейства, насколько в нем есть ложь и самый дух лжи) или и сами отчасти запутываясь в тех же мертвых началах. Или кричим против западного человека, но самой силы западной лжи (или неправославия) себе не выясняем; мечтаем, пожалуй, и послужить спасению западного человека, но с гордым самодовольством, как будто хотели бы мы сделать этого человека только *своим прозелитом*, без разъяснения себе, а с

подавлением, и самого лучшего у западного человека, не разбирая хорошенько, как первые служители нового завета обращали разностихийный мир.

Но, действительно, трудно говорить обо всем этом, пока не пробудилась отчетливая и живая внимательность к этому современной мысли, и надо еще будить, будить к всему этому современную русскую мысль. Внимательным и рассуждающим ничего бы не стоило сделать, по крайней мере в общем, руководительное (слегка намеченное здесь нами) применение открытия Господом нового завета к нашему переходному времени. Когда же почти не хотят еще даже испытательно внимать и рассуждать, то, какие бы применения перехода из ветхого завета в новый ни сделали мы здесь относительно нашего времени и его особенностей, остается так говорить: *Господи! кто верова слуху нашему*, и терпеливо продолжать посильное служение делу истины, с готовностью к возможным оскорблениям, перетолкам, обидам и пренебрежениям.

Перехожу к философским замечаниям на мою книгу «О Новом Завете».

Так замечают мне, за чем я в своей книге не хотел разъяснять, можно ли или нельзя нашему разуму утверждать, будто он, вследствие непрерывного своего движения вперед, и сам собой мог выработать те истины, какие даны ему откровением? Но я и теперь отказываюсь от подобного вопроса, отказываюсь не потому, что затруднительно было бы вывести решение его из круга более или менее общих мест, никого уже не убеждающих ныне. Нет, для меня, по моим воззрениям и понятиям, самый вопрос о том, мог или не мог разум сам собой дойти до открытого ему в новом завете света, совершенно похож на вопрос, не может ли наше зрение достигнуть до видения света без света? Как и взяться за подобные вопросы?! Иное дело требовать доказательств на то, что, действительно, в новом завете открыть нам свет истины; т.е. иное дело только еще убеждать в вере или вести чью-либо мысль ко Христу (да и для этого все же более всего нужно выяснить, что именно во Христе открывается нам, вести же ко Христу без знания или даже с превратными во многом понятиями о Христе, значит не

вести к Нему, а только отводить от Него умы). Но как скоро вы уже веруете в истинность нового завета Господа нашего, то вера ваша должна уж знать или пусть озаботится во свете новозаветной истины усмотреть и дознать, что самая наша разумная природа, взятая вне всякой своей болезни и порчи, такова, чтобы ей живиться и просвещаться Св. Духом, именно Духом любви Отца нашего Небесного, почивающей и открытой в единосущном Его Сыне. В самом болезненном расстройстве и потемнении нашей разумной природы, сколько есть еще в ней света и жизни, к которым относятся, например, законы нашей мысли и согласные с ними ее потребности, все это есть светение от той же Отчей любви, сияющей в Единородном, как *свете, просвещающем всякого человека, грядущего в мир*. Итак всякое движение мысли, истинно согласное с ее законами и требованиями, и следовательно весь ход разума, поступающий действительно вперед, есть уже (и иначе быть не может), ни что иное, как раскрытие в нем света собственно Христова, насколько есть приемлемости к тому в разумной нашей природе. Как же теперь прикажете разъяснять, может ли или не может наш разум вне света Христова, который именно и открыт во всей полноте в новом завете, достигать сам собой разумения того же самого света? Ведь разум не иначе и может действовать с верностью законам и требованиям своим, как воспринимая в этом самом лучи или мерцания Христова же света. Скажете: не может ли он, насколько еще природе его доступен свет Христов, постигнуть то самое, что положительно и вполне открыто в новом завете? Но это все равно, что доискиваться: не может ли подслеповатый, чуть видящий мерцание света, в этом самом своем видении или ощущении мерцаний света сознать и получить наконец наслаждение полным или открытым видением света? Самый подобный вопрос носит внутреннее в себе противоречие: наслаждающийся полным видением света Христова видит уже не одни его мерцания, но наслаждается полным новозаветным светом прямо в самом лице Христовом и в открытой им светоносной полноте истины и благодати. Но дело не в этом одном. Вот еще что особенно важно для нас в отношении к

разумению Христова света или вообще к познанию истины. Свет Христов, просвещающий всякого человека в самых законах его мысли, просвещающий не только в высших каких-либо идеях или стремлениях разума, но и в самых, так сказать, начатках мысли – в законах восприятия внешних впечатлений, например, от чувственного света и т.п., не дает прямо идеи о самом Христе; и следовательно, Он светит нашей разумной природе, действительно, уже не открыто и прямо, а, видно, точно какими-то преломленными лучами или мерцаниями. Но, тем не менее, внутренняя сила этого светения Христова, простертого на самую природу нашу и в ее болезненной порче, есть не иное, как сила и дух той самой любви Отца Небесного, которая почивает и открыта в Единородном его Сыне, простираясь и на грешных людей в Нем же, как Агнце, Который, в мысли Божией, уже *от сложения мира* заколен за грехи и всегда, как *очами*, озирает весь мир *духом* такого Своего человеколюбия (Откр. 5:6). Отсюда выходит, что свет Христов, светящийся для разумной человеческой природы и *во тьме* ее болезненных нестроений, в этом самом светении дает ей более или менее ощущать силу именно Христовой же тайны, Его Боговоплощения и вочеловечения. И потому, хотя глухо и смутно, все же слышатся в движениях человеческой разумности, даже и не поднимающей своих очей прямо ко Христу, намеки или инстинктивные ощущения той или другой стороны тайны Христовой, ощущения иногда чрезвычайно глубокие и живые¹⁰⁶. Что же теперь вышло бы, если бы, ратуя за христианство, вздумал я настаивать вообще и безусловно на несостоятельность разума нашего? Ведь, в такой войне против разума, я пошел бы вместе и против света в нем Христова, против предошущаемых (или инстинктивно, так сказать, ощущаемых) разумом тех или других, иногда слишком мало сознаваемых многими из самых верующих, сторон именно Христовой тайны и истины. Хорош был бы я ратоборец за Христа, не признавая и оскорбляя Его же светение и в человеческой мыслительности, необъемлемое никакой тьмой или сумраками последней, и чрез это отталкивая мыслительность от защищаемого мной христианства! Итак в

моей книге «О новом завете» совсем не кстати было касаться мне мысли о прогрессе ума человеческого, о возможности или невозможности его достигнуть самому по себе истин христианских; в ратоборстве собственно против ума человеческого мыслителю христианскому не избежать, по моему мнению, в том или другом отношении, ратования и против света Христова.

Мне довольно было показать, что мир древний и в той своей части, которая оставалась в ограде положительного Божия закона (разумею избранный народ), и в остальном своем составе (ходивших самовольными путями язычников), уже не был в состоянии пробавляться тем, ветхозаветному времени принадлежащим, светением Христовым, которое держалось на останках в человеке первобытной естественной жизненности. Языческий мир, некогда ощущавший с чрезвычайной живостью выражающуюся в мире и человеке присносущную силу Божества, так что, идя самовольными своими путями, доходил до самообольщенного обоготворения тварей, уж стал сознать это свое обольщение, и в усилиях своей мудрости постичь тайну Божественного, сияющего в природе внешней и человеческой, не успел дойти ни до чего вполне успокоительного и ясно верного, и ощутительно для самых язычников начинал пустеть и мертветь. Избранный же народ в самых *стихиях* или вещественных началах *мира*, в которых была образно предъявляема ему грядущая Христова благодать, стал уже полагать всю спасительную силу и важность, и потому оставался также с одними мертвеющими внешними формами. Предлежало или погибать миру с закрытием ему света духовного, усиливающимся более и более, или Самому этому Свету, просвещающему всякого человека, явиться в своей существенности. И вот явился Христос – светивший иудеям в прежние времена только более или менее в образах из области стихий мира, светивший и язычникам – только как *неведомый ими* (Деян. 18:23). И так как во Христе и открывалось иудеям то, что составляло духи силу принадлежавшего им ветхого завета, или истину, существенный предмет этого завета, а язычникам то, к чему, только как к *неведомому*, во всем своем лучшем, они

направлялись и стремились¹⁰⁷: то любящие свет истины и правды из иудеев и язычников удобно могли примечать темноту своих, иудейских или языческих, односторонностей, и охотно шли к явившемуся им Свету, только один мрак зла и лжи в людях упраздняющему, а все лучшее и светлое раскрывающему во всей силе собственной светоносной полнотой. Вот каким образом (думается мне) и нам надо опровергать ту или другую школу, путающуюся в односторонностях духовного язычества или иудейства! Надо так раскрывать свет Христовой истины и благодати, чтобы лучшее и сколько-нибудь светлое в читателях ли разума и прогресса, или в ревнителях буквы писания, удерживалось в области истины и чтобы, во свете последней, сами ревнители буквы или поборники разума и прогресса, при своей добросовестности и любви к истине, могли примечать несостоятельность своих односторонностей.

Далее замечают на мою книгу «О Новом Завете» вот еще в каком смысле: «Ограниченному уму человеческому, по получении в новом завете всесовершенного откровения высочайшей истины, нечего было бы и делать в последующие времена по отношению к разумению этой истины. Зачем же подавляется таким откровением дальнейшая умственная самостоятельность человека? И что это за чудо, что умственная деятельность человека вдруг раскрылась к принятию всесовершенного откровения, чтобы уму человеческому затем уже только почивать на этом откровении»?

Вот мой на это ответ. Если бы было замечено в моем сочинении «О Новом Завете» что-нибудь похожее на то, как, например, иудеи смотрели на Божий закон, представляя его совершенным и вместе чем-то решительно внешним для духа человеческого и потому составляющим тяжкое и стеснительное для человеческой немощи ярмо, то вполне уместно и справедливо было бы требовать от меня объяснений, как согласить вечно совершенное откровение с тем свойством ограниченного ума человеческого, что на каждое время нужна и свойственна ему, соответственная этому времени, деятельность. Но разве я по-иудейски смотрю на Христов завет? Есть ли что подобное воззрениям почивающих на

Божием законе иудеев в моем разумении нового завета?.. Мои воззрения на этот предмет, как они выражены и в моей книге, таковы: уму и всему духу человеческому нельзя жить без света Христова; да и самые его законы и требования относятся уже к свету Христову. Первоначально Бог Слово был непосредственно открывавшимся человеку жизненным его Светом (Ин. 1:1–4); так и создана была человеческая природа, чтобы ему живиться Духом Божиим. Но как ум наш в настоящем состоянии своем (не по самой, впрочем, природе своей, а по болезни и порче своей природы) находился уже не в прямом и непосредственно-открытом отношении к Свету Христову, так чтобы свойственно было всем нам видеть и дознавать все благодатное Христово; то и оказалось необходимым Христову свету сообщаться и раскрываться большинству людей чрез тех избранников, которые несравненно ближе других подходили к первобытному и нормальному человеческому состоянию. И как ни одного уж простого человека невозможно найти в совершенно нормальном состоянии, то полный свет Христов открылся только уже в явлении миру Самого Христа, воплощенного Бога Слова. Пока от первобытной, здоровой жизненности духовной столько еще оставалось в человеке, что ему довольно ощутителен был свет Христов, светящийся ему и в его природе и внешнем мире, дотоле, на основании этих остатков жизненных, человеку и сообщались откровения Христова света, настолько раскрывая его в себе, насколько те или другие стороны его закрывались в духовной природе человеческой. Это был ветхий завет. Когда остатки первобытной жизненности до того оскудели в человеке, что и самые, данные на их основании, положительные откровения им уже понимаемы были почти в мертвой букве, а не в живом их свете: тогда и открылся свет Христов вполне, и прямо в Самом Лице Христовом. Это составляет уже новый завет. Начертываясь собственно *на скрижалях сердца* и всего духа человеческого *Духом Святым* (2Кор. 3:3–6), (в способы к чему и даны новозаветные книги) и чрез это вселяя Самого Христа в человека (Еф. 3:17), новый завет поставляет уже самого человека, без нужды в новых откровениях, в полную возможность освещать Христовым светом каждое последующее

время, соответственно нуждам и обстоятельствам этого времени, и таким образом с продолжением времен более и более раскрывать в мире беспредельное обилие Христова света. Так произошло, что новый завет сколько не превысил приемлемости ограниченного ума человеческого во время первоначального своего открытия, подчиненного общему с другими временами внутреннему порядку принятия откровений Божественных, столько не исключает и не подавляет, а напротив требует именно самостоятельности ума и всего духа человеческого во весь ряд дальнейших времен, соответственно характеру и нуждам каждого времени. Время открытия нового завета, чрезвычайное и единственное в отношении к тому, что сделано в это время Самим Господом, не имеет существенной разности от других времен относительно условий приемлемости человеческого духа и ума к свету Христову: вера открывала ум и сердце к уразумению и усвоению света Христова, а неверие, и при всей полноте сего свет, не давало усматривать и воспринимать этот свет нисколько. С другой стороны вот и наше позднее время, имея столь давно уже открытый вечно совершенный для всех времен новый завет с разъяснением его святыми отцами предшествующих времен, несвободно от приражений и искушений Христорборного иудейского духа и язычества духовного, какие ратовали и первоначально против Христовой истины; и потому время наше против этих духовных своих врагов и опасностей, требует усиленных подвигов веры. Таким образом в новом завете истина и благодать открыта окончательно и вполне в своей сущности, не в таком смысле, чтобы человеческому духу и уму оставалось только почивать. храня это Божественное, врученное ему, сокровище, но вот в каком смысле; спасаемый человек в ветхом завете не прямо и не вполне знавший самое существо дела спасения и самое значение и назначение человека и по этому несовершеннозрелостию духовному *бывший под повелителями и приставниками*, теперь в новом завете, как окончивший свое воспитание и достигший зрелого возраста, введен в дело жизни, вполне и прямо открытое ему во Христе, чтобы всеми сторонами своего существа, во всякой сфере жизни, по требованиям разных

времен, работать в Христовом сыновне-свободном духе полного самосознания и зрелой самостоятельности (Гал. 4:1–7). Очевидно, что сонному покою ума нет места в новом завете. Равно и ограниченность человеческого духа и ума, как во время открытия нового завета, так и во все последующие (также как и в предшествующие) времена находится в одинаковом отношении к Христовой истине и благодати. Ведь в разных возрастах своих человек никак не выходит из своей ограниченности и она ни в одном возрасте не мешает ему быть человеком, соответственно этому самому возрасту, но каждому возрасту его принадлежит свое, чуждое другим возрастам. Точно так и в возрастах духовных человек, при всей ограниченности своей, мог всегда входить в спасительное соучастие (образно или в открытой истине) со Христом, но был в состоянии принять только в известное время новый завет, который в предшествующие времена он не мог еще принять собственно не по ограниченности своей, а по особенностям своего состояния в эти времена; равно и в дальнейшие времена может и должен, по духовным нуждам времен, в прежде принятом и неизменном завете Божиим более и более уразумевать и усвоить себе то, что всегда в нем было и есть, но чего прежде не требовалось настоятельно выводить, так сказать, на видный всем свет отчетливого, вполне точного, сознания и разностороннего употребления. Так некогда с точностью определялись постепенно, с великими подвигами мысли и жизни, святые догматы нашей веры, заключенные и открытые уже в новом завете: так сознается же когда-нибудь нужда разъяснить применение этих догматов ко всему действительному и мыслимому, и раскроется их свет для всякой области жизни и мыслительности. Вообще, мне думается, что только бы нам не по иудейски представлять законченную целостность нового завета. и не опускать из виду свойственного самому существу его начертания на живых скрижалях сердца и всего духа нашего, и чрез это открытие для нас новым заветом поприща духовной сыновней самостоятельности, а не бездейственного покоя для мысли также, как для других сторон нашего существа; и тогда не будут уже иметь места, а перейдут

в историю на память прожитого умом времени все подобные вопросы: «Как ограниченный ум и дух человеческий мог однажды навсегда принять всецело – совершенное и потому неизменное откровение? И что же, за тем, остается делать человеческому духу и особенно уму в области веры в последующие времена? и т.д. Мне казалось, что моя книжка хоть сколько-нибудь могла бы послужить к такому разумению нового завета, чтобы не имели уже места подобные вопросы. И в самом деле, одна мысль моя о законченной целости Нового Завета, обозначившейся именно выходом Апокалипсиса, который составляет и до ныне великий вопрос, требующий для своего разрешения самостоятельных усилий веры, обнимающей и ветхий и новый завет, одна эта мысль могла бы заверить в моем понимании нового завета, далеко от бездейственного успокоения на нем под предлогом законченности его однажды навсегда.

Но и мысли мои об Апокалипсисе подверглись замечаниям: «Автор (сочинения «О новом завете») признает Апокалипсис книгой того пути, каким должна идти новозаветная Церковь, но в таком случае какая же цель указывать этот путь так темно и неясно, что он неясен никому и до сих пор? Все это понятно еще, если смотреть на эту книгу, как на изображение событий будущих, но все это непонятно, если смотреть на нее, как на изображение пути, которым мы идем и теперь». Это замечание направлено, очевидно, против моего понятия об Апокалипсисе, как изображении пути, которым Церковь христианская пошла с самого начала своих судеб, которым мы идем и теперь. Такое замечание происходит от того мнения некоторых об Апокалипсисе, что он изображает собственно последние судьбы мира и Церкви, до которого времени эта св. книга и может остаться в покое или вне живого употребления веры, чему способствует уже и самая ее темнота. Но в самом Апокалипсисе ясно обозначено то его значение, что он изображает такой путь судеб Церкви, на который она вступила уже и во время самого Апостола – тайновидца: *напиши, сказано было ему, яже видел еси, и яже суть, и имже подобает быти по сем* (Откр. 1:19). Само собой разумеется, что книга в значении изображения пути, которым идет Церковь и мир, начиная с открытия в мире

христианства, раскроется только с обстоятельным исследованием книги и что символическая ее темнота, начинающая уже вызывать и у благомысленных людей недоумения относительно этой книги, требует от нас такого раскрытия книги, которым рассеялись бы недоумения о ней. Но и без того, кажется, напрасно затрудняются, как будто вовсе непонятым, тем значением книги, что она изображает путь, которым идем мы уже и теперь и будем идти до открытия царства славы. Вот и в простых человеческих изображениях нашего времени случается находить, что в разных (карикатурных) образах выражается весьма серьезная истина, как обыкновенно у нас, по разным вопросам знания и жизни, человечество падает до скотоподобия и зверовидности, и как это унижение или даже извращение человечества скрывается обыкновенно под личиной разных высоких идей современной образованности. В Апокалипсисе же Св. Иоанна Богослова есть (в 18-ой гл.) целое видение, в котором является также скотовидный или зверовидный образ, имеющий в своем составе разные принадлежности многих из животного царства и от чего-то связуемый, по-своему значению, тайновидцем с идеей мудрости: *зде мудрость есть*, так заключено в Апокалипсисе описание этого видения. И как это видение далеко еще не соединяется с видением открытия царства славы, то понятно для веры, что зверовидным образом означен в видении еще не последний враг Церкви, или антихрист, преобладание которого должно быть упразднено уже явлением второго пришествия Христова, по слову Божию (2Фес. 2 гл.). Мудрено ли приметить, что в этом апокалипсическом означенном видении имеется в виду, а только под символами представлено, какое-то время, когда, особенно пред другими временами, унижается или извращается человечество именно под личиной таких возвышенных идей, какими любит гордиться *мудрость* или образованность современная. Какое же это время? Запечатленное таким характером унижение человечества по сознанию и свидетельству самих наших современников, относится и к нашему времени. Итак, видно, в Апокалипсисе действительно обозначается «путь, которых идем мы и теперь».

Да какая, говорите, цель подобных представлений? Отвечаю: для ободрения и просвещения веры, затрудняемой и озлобляемой разными явлениями унижения и развращения человечества под личиной высоких идей современной образованности, важно уже и то, что такой затруднительный и скорбный для веры путь уже заранее предуказан и след. нечего смущаться и недоумевать, проходя таким путем. Кроме того, вера может в самом Апокалипсисе усмотреть и выход из этой примрачной части или стороны подлежащего ей пути, выход такой, в духе и силе которого принять участие, самое живое и деятельное, зависит от самой веры нашей. Скотообразные или даже зверовидные враги, представленные в указанном выше апокалипсическом видении (в 18 гл.) должны быть низложены и упразднены, по Апокалипсису, таким образом. Тайнозритель видел, что, когда эти враги, со всеми увлеченными от них, собрались сразиться с *Царем царей*, именно с *облеченным в обагренную кровью одежду Словом Божиим*, то самые зверовидные враги и были вживе схвачены и брошены в вечную пагубу, а увлеченные ими перебиты мечом этого царственного и воинственного Слова Божия (Откр. 19:11–21). Из дальнейших видений апокалипсических видно, что и это торжество Христово над врагами еще не самое последнее, имеющее открыться со вторым Его явлением для всемирного суда (Откр. 20:11 и сл.). Значит, Царь царей или облеченное в кровавую одежду Слово Божие не иначе имеет воздействовать к низложению унижающих и извращающих человечество (скрывающих свою зверскую губительность под личинами разных высоких идей образованности и мудрости), как еще духом Своей благодати и истины, раскрывающимся и действующим в верующих. Каков же этот дух, скрывающийся без сомнения в силе Св. Духа? Это, по видению Иоанна Богослова, дух облеченного в *обагренную кровью одежду Царя царей – Слова Божия*, дух той любви Христовой, по которой Он низложил и упразднил все враждебное зло чрез принятие и понесение бремени его на Себе Самом – до *обагрения кровью*, в предсмертных гефсиманских страданиях и в самой крестной смерти, как будто Он, Агнец Божий, и был один виновен в грехах мира.

«Сообщайся вера, – такой урок преподается ей апокалипсическим видением торжества Христова над зверовидной боговраждебностью, – сообщайся вера человеколюбивого, на Себе взимающего грехи и заблуждения мира, духа Христовых страданий, и именно в этом духе действий мечом Слова Божия, или в раскрытии Христовых истины и благодати, против всего извращающего человечество под личиной высоких и прекрасных идей образования и мудрости, и все это зверовидное направление мысли и жизни вживе схвачено будет в адской своей лживости и нелепости». Вот вам г. рецензент, нечто немного к выяснению цели апокалипсических видений.

Но зачем, говорите, указывать это не прямо и ясно, а в символах? Но знаете вы магометанское представление о судьбе, подчинившей своей роковой необходимости всякие судьбы и дела человеческие и потому делающей из всего человечества рабскую жертву какой-то деспотической воли мироправителя? Не таково, выясненное именно христианством, истинное или действительно Божественное мироправление. В мироправлении Бога нашего, действительно, все предуведено и предначертано, но именно на основании тайны зачатого от сложения мира – Самого Вседержительного Агнца Божия, не человеческий род делающего жертвой Своей воли, но благоволившего чрез собственное неисследимое самопожертвование поднять и содержать и двигать все судьбы мира. Такой характер и дух Божественного мироправления выражается и во всех Божественных откровениях о будущих судьбах и событиях: эти откровения или пророчества таковы, что во всей ясности и точности смысл их раскрывается уже по их исполнению и чрез самое это их исполнение, так что и малейшего повода не подается думать о стеснении человеческой свободы Божественным, все заранее предуведевшим и предначертавшим, мироправлением. Итак апокалипсическая прикровенность откровения о грядущих судьбах Церкви и мира соответствует самому духу Божеского мироправления, отечески-благоволительному к людям,

соблюдающему неприкосновенной их свободу в последовании Его воле.

То же соответствует и нашей человеческой приемлемости в отношении к истине Божией. Действие и силу Христовой истины, касающейся особенно судьбы людей, ослабляем мы в себе особенно двояким образом: с одной стороны чрез любопытство относительно этой истины, но любопытство праздное и нимало не занятое делом нашего спасения, а с другой – чрез соблюдение истины, но бесплодное и бездейственное со стороны нашей мысли и жизни, подобное сохранению таланта чрез сокрытие его в землю. Если бы путь, которым Христовой Церкви принадлежало идти от самого открытия ее до вступления ее в славу вечной жизни, открыт был со всей точностью ясно и прямо, то и пустому любопытству была бы в этом обильная пища равно и привыкнущая к такому откровению вера стала бы хранить его только с бездейственной праздностью. Теперь же глубокая (символическая) сокровенность Апокалипсиса ничего не дает и не открывает пустому любопытству пустых слушателей, а истинной вере та же прикровенность представляет поприще и вместе сильное побуждение узнавать содержащуюся в Апокалипсисе волю Божию и премудрость. И когда эта св. книга разъяснится с возбуждением в верующих живого духовного внимания и серьезной мысли, то это будет таким торжеством Христовой истины, какое возглашается, например, Исайей по поводу многих его откровений о будущем.

Остановимся, наконец, еще на одном замечании на мою книгу, тем более, что в основании и этого замечания лежит воззрение слишком обычное у нас и неправо признаваемое правым. Вот каково последнее замечание автору книги «О новом завете»: «Мы не совсем согласны с автором и в его изъяснении древнего закона: око за око, зуб за зуб. Объясняя этот закон, он говорит: было время, когда естественное чувство Божией правды и человеческого Богоподобного достоинства было так сильно и действенно, что снести или оставить без наказания оскорбление или обиду, наносимые человеку, значило нарушить Божию правду, оставить на безнаказанное поругание и

попрание образ в человеке Божий (здесь рецензент почему-то опускает цитату такого библейского места, которое свидетельствует, что в ветхом завете даже бессловесным или зверям земным, посягающим на безопасность или жизнь человека, не спускалась эта вина, как именно вина оскорбления образа Божия в человеке. Это место Быт. 9:6). Отсюда закон: око за око. Такое объяснение, продолжают, нам кажется не совсем верным. Ему противоречат многие места ветхого завета, где прямо заповедуется любовь к ближнему самая сильная (и здесь опускается почему-то из вида мое прямое объяснение этого в книге: когда тот же враг, общественный или личный, берется не в смысле разорителя правды, например, когда кто увидит осла своего врага попавшего в яму; то закон указывает во враге уже не предмет отмщения за оскорбление образа Божия, а брата, нуждающегося в помощи и имеющего право на помощь собрата, именно велит вынуть из ямы животное, принадлежащее врагу. Это уже любовь к врагу – высшая степень любви к ближнему!). Вернее, как кажется, так заключают, то объяснение, по которому этот закон относят не к нравственным законам Моисеевым а к гражданским» и проч. Но дело в том, что в ветхом завете духовно-благодатное или благодатно-нравственное и раскрылось образно именно в сфере земного, как-то – семейного, народного и гражданского быта; ведь гражданство Израиля и была именно *теократия*, сущность которой, со стороны державы Божественной, была предъизображаемая и предрекаемая благодать, а со стороны людей – послушная и преданная вера, этот корень и сила нравственной жизни. Сам рецензент мой, кажется, с полным сочувствием и согласием развивал в своей статье мои мысли об этом предмете, по которым, так называемые (смотрящие на закон Моисеев с точки зрения нынешних порядков, а не самого Моисеева законодательства) *обрядовые* или *гражданские* законы суть (только не прямые, а образные, не полные, а предначитательные) – законы именно веры, или требования обетованной и предрекаемой тогда благодати. К таким законам и требованиям прямые нравственные внушения и требования в ветхом завете относились точно также, как прямые, почти

евангельские пророчества о Христе к его прообразованиям: сущность дела в тех и других одна и та же. Потому и нет возможности отнять духовно-нравственную силу у закона: око за око, зуб за зуб. С ветхозаветной точки зрения враги и обидчики общественные и личные, как оскорбители и разорители порядка правды Божией и образа Божия в озлобляемом ими человеке, имели для благочестия значение представителей или образа самых подлинных или духовных врагов Божиих и человеческих. В новом завете эти последние, которые и суть одни истинно враги наши, обличены или прямо *выведены на позор* (Кол. 2:15) – в началах и силах тьмы, в духах злобы, против которых собственно у нас и должна быть брань; а следовательно люди, хотя бы и враждебные нам, оказываются уже только нашими братьями, которых и надо любить.

Но, покончив разбор самого замечания, все же можно еще задуматься: от чего произошло такое недоразумение? Этому причиной и есть именно то воззрение, которым признается решительное разделение между гражданским и духовным. В ветхом завете, в котором духовно-благодатное неразрывно связано было с земным и гражданским, образно выражаясь в сем последнем, некогда дело дошло до того, что народ Божий, находясь в подданстве у язычников, не знал, как совместить верность Богу с податями и повинностями языческому правительству. Во свете нового завета выяснилось, как, уплачивая дань Кесарю запечатленной его образом и начертанием монетой, удобно и просто человеку выполнять верность пред Богом, чрез воздаяние Ему того, что запечатлено Его образом и начертанием, т.е. всего себя. Но это разграничение между духовным и гражданским, сделанное собственно для раскрытия, как то и другое можно и должно соединяться в каких бы ни было гражданских обстоятельствах Церкви и веры, доводят ныне до другой крайности, именно – земное и гражданское в его началах и развитии часто совсем отделяют от духовного. «Это, говорят, духовное или нравственное, а то гражданское: то и другое пусть идет отдельно каждое само по себе»... Так бывает в понятиях, так и в

жизни многих: с духовным настроением не хотят иметь заботливого внимания к земному, гражданскому, или занимаясь этим последним, уже знать не хотят духовного; случается даже, что и один человек, имея в виду нравственный закон, прямо противопоставляет его гражданскому и потому действует в областях духовной и гражданской, как будто делясь и сам на два человека – духовно-нравственного и земно-гражданского. От этого неминуемо должны терпеть и нравственность и гражданство много нестроений и понятия о той и другом неминуемо делаются односторонними. Каково будет гражданству, от которого отделяют духовные, нравственные начала? И не чахоточная ли будет нравственность и добродетель, безучастная и равнодушная к общественному, гражданскому благу и порядку?! Ведь, кажется, нам, православным, русским, можно бы в воззрениях на гражданство и нравственность или духовность возвыситься и над папистическими притязаниями, и над мнимо-рациональными кличами. Относительно этих предметов не тем различается новый завет от ветхого, что в этом последнем духовное и гражданское неразрывно связывалось одно с другим в теократическом порядке, а по силе нового завета то и другое будто должно идти уже во взаимной раздельности. Господь и разграничивал духовное от гражданского именно для выяснения, как совмещать и соединять, а не разделять воздаяние Божия Богови и воздаяние Кесарева Кесарю. Различие между ветхим и новым заветом, относительно этого предмета, как и относительно всех других, состоит только в том, что в ветхом шло дело *под повелителями и приставниками*, а в новом то же должно идти с сыновней духовной свободой и отчетливым разумением дела. Да! В ветхом завете духовное и гражданское поставлено в какую-то необходимую, неразрывную между собой связь, в которой только предъизображалась и предошущалась щедродаровитая для всего человеческого благодать: в Новом же Завете благодать предоставляет гражданству, как и всему человеческому, свободно соделоваться и устраиваться наследием Христа Сына Божия, и ради Него областью любви Отца Небесного, простирающейся на

верующих в силе Св. Духа. Хотим или не хотим согласиться на такое благодатное служение в гражданстве Самому Христу, Царю истины и благодати, которым *царие царствуют*, это зависит от нашей доброй воли. Но ни гражданство не может истинно благоустроиться без благодатно-духовного влияния, ни служение Духу благодати не может освободить себя от ответственности, когда небрежет раскрывать с должной прямоотой и силой, что мы станем обижать себя самих, если в чем бы то ни было в гражданстве станем допускать разобщение с благодатью и истиной Христа Богочеловека: *не хотим Сему, да царствует над нами!!* Вот, например, возьмем во внимание часть гражданского законодательства, определяющую суд и наказание виновным, более или менее подходящую к закону Моисееву: *око за око, зуб за зуб*. Эти законы, взятые в совершенной отдельности от духовно-нравственного благодатного закона, составляют не более, как грозную, убивающую законную букву, которая много, много разве будет ограждать гражданский порядок рабским страхом и грозящим мечом живого, плодотворного в этом, очевидно, немного для гражданства. Но пусть те же законы будут понимаемы, применяемы и исполняемы (сначала же, разумеется, и начертываемы) православным гражданством в том благодатно-нравственном духе, что верующие во Христа, взявшего и вынесшего на Себе все человеческие вины, всевозможными законными взысками и наказаниями вводятся собственно уже в соучастие искупительных, за вины наши, страданий Христовых, в соучастие человеколюбивого, безмерно тяжелого, Христова самопожертвования за всех нас виноватых, соучастие тоже более или менее скорбное и тяжкое, но благодатно-живительное. Ведь, таким образом и самая, только поражающая и убивающая, буква законная превратится в благодатный животворный для гражданства дух, и служители (гражданской) наказующей правды будут служить самой благодати, чудно милующей виновных и в самых законных неумытных взысках и наказаниях. И поэтому вместо того, чтобы в теократических законах ветхого завета отделять насильственным образом гражданское от духовно-нравственного, лучше и вернее будет

оставить или исправить самое это воззрение, которым полагается совершенное разделение между гражданским и духовным. Надо православным и собственную гражданственность понимать, развивать и содержать прямо в христиански-нравственном и благодатном духе¹⁰⁸.

В заключение всего скажу, что все мои мысли, здесь изложенные, представляются к сведению и обсуждению любящих истину. Ведь дело здесь идет о *духе и силе* Нового Завета Христова.

XVII. Объяснения автора о своем образе мыслей

Благодарю вас за присылку мне брошюры и других статей, направленных против моего образа мыслей, выраженного в книге «О православии» и в разных журнальных статьях. Прочитав все вами присланное, посылаю вам все это обратно, с прибавлением моего ответа на сделанный мне вами запрос.

Вы запрашиваете моего совета, не взяться ли вам за отражение порицаний моего образа мыслей. Нет вам моего на это совета. Опыт мне достаточно показал, что мне ли, другому ли кому взяться за отражение направленных против меня порицаний со стороны известной партии значит только разжигать напрасные словопрения и усиливать оскорбительные порицания. Ваше заступничество прежде всего отнесут к «кумовству», хотя бы вы озаботились выставить на вид прежде всего мои недостатки, и притом выставили бы их так, что противники мои сами заметили бы в ваших словах слишком неблагоприятную или непотакающую мне рекомендацию моих сочинений. Потом, стали бы серьезно восставать против того, что вам пришлось, например, употребить слово «Божество»: в этом найдут, изволите видеть, сочувствие известному философскому представлению о безличном Боге, и проч. и проч. Тут вы ничего более не поделаете, а только подвергнетесь возмущающим душу оскорблениям вашего и моего образа мыслей.

Сказанное мною, впрочем, относится не ко всему присланному вами. Отрадное исключение составляет статья, автор которой назвал себя «Собеседником». Мне эта статья доставила отраду особенно по спокойному и благородному духу и тону, хотя автор спорит со мной, и спорит так, что извиняется предо мной, справедливо опасаясь, не покажется ли мне что-нибудь в его словах жестким. С таким «Собеседником» можно бы вести речь с пользой для дела истины. Но обязанность дать ему нужные по делу истины объяснения лежит собственно на мне, чтобы стороннее вмешательство не запутало только дела.

Беседой с вами я и хочу воспользоваться, чтобы высказать требующиеся с моей стороны объяснения в отношении к «Собеседнику». Мне хочется разделить именно с *вами* отраду, которую доставляет мне эта статья: это, на мой взгляд, едва ли еще не первая благородная статья со стороны известной партии моих антагонистов.

Посмотрите, как миролюбиво и правдиво обозначаются «Собеседником» главные пункты, около которых вращалась доселе полемика против меня. «Конечно, – говорит г. «Собеседник», – на основании общего понятия о крестной смерти Христа Спасителя нашего, можно связать в мысли в одно и любимого ученика Христова Иоанна Богослова и не только Гегелей и Штраусов, но и самого Иуду, предателя Христова: Христос принес Себя в жертву на крест действительно за всех людей, начиная от Адама и кончая антихристом». Признавая это, «Собеседник» не сомневается и во мне, что я также признаю следующую, внушаемую православным катехизисом, истину: «Иисус Христос со Своей стороны принес Себя в жертву точно за всех, и всем приобрел благодать и спасение, но пользуются сим те из нас, которые со своей стороны добровольно приемлют участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его... посредством живой сердечной веры, посредством таинств... и наконец посредством распинания плоти своей с ее страстями и похотями». В чем же, спрошу теперь, так нагло обвиняли меня эти люди, когда сами теперь сознаются, что я не колебал тех сторон истины Христовой, за извращение которых они меня порицали? Но обращаюсь собственно к г. «Собеседнику». Ему кажется, что будто бы я стараюсь «везде и во всем находить только добро, отсвет истины Христовой, а встречающееся при этом зло прикрывать, стушевать, заглаживать идеей о всемирной жертве Господа Иисуса Христа и мыслью о духе любви христианской». Но Собеседнику «Домашней Беседы» надо бы помнить, как последняя вопила, будто бы я целый мир разделяю на два взаимно враждебные, но одинаково преступные и заблуждающие, лагеря – духовно иудействующих и духовно язычествующих. Вот как я, по свидетельству пред г.

«Собеседником» его же партии, везде и во всем нахожу только добро и стушевую зло! Помнится еще, что из моей книги «О православии» один из духовных журналов (именно «Странник») извлек такое мрачное очертание зла в нашей современности, которое смутило и меня самого. Поэтому смело могу сказать, что в моих сочинениях, как и вообще в моем образе мыслей, я ни в чем не хотел и не хочу мириться с духовным злом и потакать лжи, на каких бы то ни было основаниях, относятся ли это зло и ложь к духовному язычеству или иудейству. Из-за чего же показалось «Собеседнику», будто я стараюсь зло прикрыть, стушевать, заглаживать? Это странное недоразумение требует с моей стороны надлежащего объяснения.

Я стараюсь (это вам известно) не зло прикрыть или стушевать, а показать, как нам, особенно с словом истины, относиться к заблуждающим или запутавшимся уже во зле, чтобы не поражать только их мечом слова или, по пословице, не бить лежащих, но распутывать, поднимать их от зла. Я утверждаю, что для этого нам должно поступать по первообразу и духу нашего Господа и Спасителя. Он, при всей Своей благодати и милосердии, зла духовного не терпел, а грозно обличал его (Мф. 23). Но, не терпя зла и обличая его в людях, Господь наш в то же время, как *вземляй грехи мира* Агнец Божий, брал на Себя вину человеческого зла и ответственность за него пред Своим Отцом. Сколько зависело от любви к человеку Самого Господа, Он принес Себя в жертву на кресте за всех людей, «начиная Адамом и кончая антихристом». Вот в этом самом настроении любви Господней к человеку или, по слову писания, *сие мудрствуя, еже во Христе Иисусе* (Флп. 2:5), мы и должны вразумлять заблуждающих; и тогда наши обличения и внушения, одушевляемые духом животворной любви Господа, будут живительны для заблуждающих в умозрениях ли или в практической жизни. Если же кто, в учении о Евангельской истине и в обличениях лжи, станет отчуждать и отрывать от себя (не говорю уже порицать и перетолковывать) дух того Христова человеколюбия, с которым Христос брал на Себя и вполне вынес на Себе ответственность за грехи и заблуждения человеческие; то учение такого учителя будет уже

иное от истинного Евангельского учения, по букве-то оно, пожалуй, и *не иное*, а только *превратное*, не христиански-жестокое по духу (Гал. 1:6–7). Тут дело, как изволите видеть, не о приемах или тоне, но о самой силе Евангельского учения; тем более здесь дело – не в прикрытии или стушевании зла. Вот на что следовало бы «Собеседнику» обратить свое внимание! Обнажайте и поражайте зло и ложь, сколько угодно, но только непременно в духе человеколюбия Агнца Божия, на Себя же вземлющего ответственность пред Отцом за вину мирского зла и лжи. Господь, Иисус, сделав «бич из веревок», выгнал из храма всех беззаконных оскорбителей святыни Божией, и утверждал власть Свою так поступать именно на одушевлявшей Его готовности отдать храм собственного тела на разрушение за беззаконников (Ин. 2:18–21). Чтобы, и затем, не перетолковали меня, будто я хлопочу только о тоне и приемах учения или стараюсь относиться только к добрым сторонам жизни и журналистики, скажу еще вот что: строгие ли, кроткие ли приемы увещаний и обличений будут все равно неверны пред Христовой истиной, если они не будут одушевляться духом Агнца Божия, не терпящего заблуждений и грехов, но на Себя же взявшего и на Себе вынесшего бремя их виновности.

Поэтому-то для вас и для всякого, кто захотел бы предаться, а не противиться духу святого Христова человеколюбия, должно быть ясно, что не *слепота*, как показалось «Собеседнику», а напротив истина не позволяет признавать несогласующегося с духом Агнца Божия направления мыслей некоторых людей за здравые, хотя бы они и опирались на некоторых таких понятиях, которые «и училищные мальчики знают». Пусть эти люди, согласно с училищными мальчиками, твердо знают, что «без Христа мы ничего не значим, что собственно сами от себя мы и помыслить доброго не можем»; но ведь из этой общей мысли еще не видно, как же мыслить именно со Христом, чтобы наши мудрствования и расположения были по духу своему те же, какие и во Христе Иисусе. Если эти люди соблазняются и возмущаются внушениями входить в человеколюбивый дух и

расположения Агнца Божия, вземлющего грехи мира, глумливо относя эти внушения к какому-то «принципу» в роде частного произвольного мнения; то это их мудрствование уже не Христово, а отзывается духом именно иудеев, соблазняющихся крестом Христовым. Пусть даже подобные люди, как и училищные мальчики, знают, что «и самые великие добрые дела,.. если делаются только по гордому сознанию долга и напоказ Богу и людям, не из желания угодить ими Христу... и сделать добро тем, за кого Христос умер, суть дела не христиански-добрые»; но и это еще не представляет достаточного руководства к тому, чтобы и самим нам идти и других вести по истинному пути правды Христовой, не поставляя по самой ревности о Боге *своей* правды, вместо Божией (Рим. 9:2–3). Если эти люди уж допустили приражаться к себе духу иудейства, унижающего и оскорбляющего «принцип» о соучастии в человеколюбивом духе Господа, пожертвовавшего Собой «за всех людей, начиная от Адама и кончая антихристом»; то они могут по инквизиторски (только духовно) убивать людей, *мняся* тем *службу приносить* Христу Богу, также могут распространять и укреплять в обществе вредную односторонность своего направления веры, думая чрез это делать добро тем, за кого Христос умер. Нет; уж как угодно «Собеседнику», а и училищным мальчикам и взрослым, вообще всем нам надо учиться так делать каждое и малое и великое дело, дело мысли и сердечного расположения или внешне практической жизни, чтобы в этом самом деле воспринимать и усвоять или, по апостольскому выражению (Фил. 3:8), *приобретать* себе Самого Христа – нашу премудрость и правду, воспринимать Его именно как такого человеколюбца, который ради нас человек принял всю человеческую природу, и душу и тело, и притом самые греховные вины наши и всего мира понес на Себе, как бы Сам был в них виноват. Противники этого духовного начала испугались, чтобы, по этому началу, не оказать сочувствия любви к какому-нибудь неверу или неверу; но не пугаются отказать в сочувствии и соответствии человеколюбию Христову, а с тем вместе, очевидно, и Самому Христу. Ведь и на страшном суде Господь оправдает или осудит

нас, судя именно потому, будем ли мы в настоящей жизни воспринимать или отвергать Его в духе того Его человеколюбия, по которому Он понес бремя *человеческих недугов, нужд и бед и потому есть истинный представитель недугующих, нуждающихся и бедствующих* (разумеется, бедствующих не внешне только, но и духовно): приидите благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Взалкахся бо и дасте Ми ясти; возжадахся и напоисте Мя; странен бех и введосте Мене; наг и одеясте Мя; болени и посетисте Мене; в темнице бех и приидосте ко Мне... Идите от Мене проклятии... странен бех и не введосте Мене... болен, и в темнице, и не посетисте Мене (*Мф. 25:34–46*).

Вы знаете, что высказанные сейчас мои мысли о том, да *Христа приобрящем* делом ли мысли или внешней практики и именно *да приобрящем* или усвоим Его себе в самом духе Его человеколюбия, явленного в вочеловечении, жизни и смерти Его ради грешных погибающих человеков, эти мысли проводятся и раскрываются во всех моих сочинениях, то как основания, то как выводы и результаты, и вообще как внутренняя сила и начало всего моего образа мыслей. Излагать и развивать какие бы ни было христианские истины, раскрывать церковные учреждения и правила, но не иметь в живом внимании одушевляющего все то духа любви Божией, открытой Христом для спасения гибнущего в заблуждениях человечества, значит, по моему разумению не коснуться еще сердцевины или жизненной силы христианских истин, церковных правил и жизни. Вы замечали, что я уже слишком часто повторяю подобные мысли. Но вот и г. «Собеседник», с мыслью, кажется, ясной и притом еще со стремлением распутывать «путаницу недоумений в понимании меня другими и других мной», не заметил главных моих мыслей. Примечательно, что ему и показались у меня непонятными такие места, в которых объясняются главные мои мысли; а книги, которая представляет в самом слове Божиим основание и разъяснение этих мыслей, именно книги об Ап. Павле г. «Собеседник» не мог, как говорит, «одолеть до конца», хотя для чтения ее собрался со всеми своими силами. Неужели, в самом деле, особенно

трудно и темно я излагаю главные мои мысли, трудно и темно до того, что и такой человек, который в небольшой статье мог осмыслить дело моих антагонистов, не мог заметить этих самых моих главных мыслей? Но о темноте моих книг и статей речь у меня будет и впереди. А теперь я говорю это только вот для чего: если бы г. «Собеседник» заметил и взял во внимание главные мои мысли, мой, пожалуй, «принцип», то ему совсем не пришлось бы принимать труд развивать «теорию истины для истины», будто бы я держусь этой бесплодной для жизни теории. Он заподозрил или даже положительно обвинил меня в этой теории из-за того, что в одной статье я относился к некоторым журнальным деятелям не в таком смысле и тоне: вы, мол, горды, вы недоверы или полные неверы и отступники, и именно поэтому вы не любите и не уважаете, как следует, истину, а «подчиняетесь, нередко вопреки личным убеждениям, журнальной, так сказать, моде»¹⁰⁹ и т.д. Вместо того я указал этим деятелям только на одно то, что они нечестно кривят пред истиной одни, особенно духовные, чрез излишнюю свою пугливую и опасливую, другие чрез пристрастие к своей школе или даже просто чрез свою неверность логике, допускаемую ими вовсе не по умственной слабости; мне хотелось, чтобы эти люди, во внутреннем суде собственной совести, услышали обличение в том, почему они не довольно любят истину. Я, извольте видеть, смотрю на дело мысли и слова, хотя бы и журнального, тоже как на дело жизни, подобное и другим жизненным делам; в достаточное для этого оправдание мое, в глазах г. «Собеседника», могло бы служить уже то одно, что у некоторых журнальных деятелей дело слова и мысли и составляет главное и существенное дело их жизни. Все дело не в том, подумал «Собеседник», а в «теории истины для истины». Повторяю: взял бы г. «Собеседник» во внимание главные мои мысли, тогда он сам увидел бы, как неуместно приписывать мне эту бездеятельную теорию.

В самом деле, не в усвоении ли себе Христа в Его духе, свойствах и расположениях состоит дело христианской жизни, не исключая и высшего духовного совершенства? Без сомнения, так. Это во-первых! А во-вторых, только бы нам

сознательно и твердо взяться за направление во всем держаться Господа в духе Его человеколюбия, направление усвоить себе ту Его любовь к миру, которая свела Его на землю до принятия всего человеческого естества кроме греха, до подчинения в нем (естестве человеческом) условиям не только церковным, но и физическим, гражданским, условиям вообще земного нашего быта, до крестной смерти наряду с нетерпимыми обществом преступниками, и все это не ради праведных и здравых духовно, каковы, например, святые Ангелы, но за нас грешных, смертельно поврежденных грехом, людей «начиная Адамом и кончая антихристом». Тогда, вместо бесплодного и самодовольного успокоения многих на своем христианстве или православии, соединенного разве с заботой ограждать или остерегать себя и других от нехристианских идей и правил, всюду вторгающихся, заботой впрочем неодоушевляемой и даже нехотящей одушевляться духом Агнца Божия, пожертвовавшего Собой за виноватых и заблуждающих, заботой перетолковывающей напominания об этом духе Агнца Божия, якобы неправославные и даже отступнические, вместо этого устремились бы мы с Христовым самопожертвованием проводить Христову истину и благодать во всякие среды земного быта, во все среды не только церковно-духовные, но и гражданские, не затрудняясь или не воспящаясь вторгающимися во всякие среды заблуждениями или ложными направлениями. Воскрес бы тогда в нас дух Павла, проносящего Евангельский Свет особенно в те среды, где и не говорили дотоле о Христе. Мученическое самопожертвование, святоотеческое углубление во Христову истину, подвижнические стремления возвести всю природу и жизнь свою в Христову жизнь и свет, могли бы раскрываться и в таких людях, которые доселе так уж и приговаривают себя заниматься грешной мирской мыслью, грешным мирским делом. Это было бы точно, как новый мир, в котором однако дух святых отцов, святых подвижников и подвижниц найдет своего истинного и прямого наследника; также как с восторгом увидели бы и ветхозаветные патриархи и другие праведники новозаветную благодать в средах земного и мирского, в которых они еще издали своего

ветхого завета, в образах, и разных начатках, прозревали и предусвояли себе эту же благодать. Это, пожалуй, и новые воззрения, но новые единственно по новости применения вечной Христовой истины (Ин. 8:12), открываемой и в ветхом и новом завете, с неизменной верностью, соблюдаемой вселенской православной Церковью; да и самая эта новость применения оправдывается древними же святыми, как это я объяснял уже в книге «О православии». Итак сам г. «Собеседник» может, если захочет, усмотреть, как нейдет к моему образу мыслей, бесплодная для практической жизни, «теория истины для истины».

«Чтобы излечить опасную болезнь, говорит «Собеседник», недостаточно ограничиваться лечением одной какой-нибудь наружной раны в больном, надо добраться до корня болезни». Вот именно для этого и следует входить в дух человеколюбия Христова, по которому Господь пожертвовал Собой за грехи мира. Он, приемля на Себя и вполне вынеся на Себе ответственность за вины человеков», чрез это, во-первых, открыл самый корень мирского зла и растленности, по которому оказалось, что *несть наша брань к плоти и крови* или к простым плотяным людям, *но к началу и властям и миродержителем тьмы* (Еф. 6:12); а, во-вторых, Он чрез то же самое «отнял силу у этих темных начальства и власти, явно посрамил их, восторжествовав над ними в Себе» (Кол. 2:15). Так и вера наша, входя в расположения и дух любви Господней, низведшей Его в наш грешный мир и здесь доведшей до крестной смерти за грехи всего мира, будет уметь сколько открывать самый корень той или другой болезни духовной, тонко примечая, в чем именно указывается и гнездится самая сила болезнетворной лжи и зла, столько вместе подрывать и посрамлять эту губительную для человека силу лжи и зла. Вот, например, возьмем во внимание ту болезнь нашего общества, что многие мирские или светские с недоверием или презрением относятся к духовным, а многие из этих последних с осуждением и подозрительностью смотрят на первых. Те и другие обыкновенно опираются на недостатки и слабостях друг друга в разных отношениях; недостатки и слабости тех и других,

через взаимное недовольство той и другой стороны, не врачуются, а взаимное умственное и нравственное разделение между обеими сторонами чрез такое несогласие может только более усиливаться. То ли было бы дело, если бы та и другая сторона, и притом прежде духовная (потому что она именно духовная), а потом и светская, в общении Христова человеколюбия вменяли бы – каждая и себе самой вины и недостатки противной стороны? Ведь, по откровению Божественному, и Церкви и их Ангелы или пастыри судятся за одно или нераздельно, так что и добро и худо тех и других оказывается общим той и другой стороне (Откр. 2 и 3). Да и в действительности, по глубокому взаимодействию обеих сторон, ту и другую из них нельзя отделять одну от другой по отношению к их добру и худу; и это надо твердо держать в мыслях той и другой стороне, хотя бы только один Сердцеведец мог на страшном Своем суде разобрать все подробности и глубины этого взаимодействия разных сторон в добре и зле, и хотя бы, потому, г. «Собеседнику» и казалась подобная мысль «рассуждением о том, чего никто не понимает... «Так, говорю, пусть духовная и светская сторона, имея в виду взаимные недостатки, трактует их как общую свою вину и беду. Тогда дух вражды и разделения не укрылся бы ни под какой благовидной личиной и с самым корнем исчез бы от этой силы креста Господня – от духа Христова человеколюбия, взяющего на себя наши вины и прегрешения. И общественный организм явился бы благодатно обновленным, дружно действующим и развивающимся в своих различных сторонах и силах.

Но вне направления и духа любви к человечеству Агнца Божия, взяющего грехи мира, неизбежно приходится останавливаться более или менее на внешних ранах нашего времени, не проникая в самый корень той или другой болезни. Примера искать не далеко. Тот же г. «Собеседник», который дал повод к настоящей нашей беседе, указывает в своей статье на известное мнение г. Пирогова, что кафедра богословская в университетах дает большинству только повод и пищу к запросам неверия, к развитию духа дерзко-критического и что, потому, не лучше ли закрыть ее, чтобы, по крайней мере,

оставались в молодых людях нетронутыми сердечные религиозные расположения и впечатления, полученные с детства в родном верующем семействе. Ничего, конечно, не стоит отнести к противоцерковному мудрованию эту мысль о закрытии в университетах преподавания богословия. Но, ведь, это обличение только наружной раны, не слишком далекое притом от простой придирки, когда мысль г. Пирогова берут отрывочно, не в полном ее развитии, и без внимания к известной педагогической опытности и христианской гуманности и добросовестности г. Пирогова. А между тем стоит подумать, от чего у нас происходит и как может быть исправлено такое несчастное отношение между верой и наукой. Что и очень достойному человеку могло прийти на мысль, не лучше ли уж в университете, для сохранения в воспитанниках чувства веры, вовсе не касаться веры научным образом?! Вот эту-то ужасную болезнь, гнездящуюся в самых внутренних отношениях между наукой и верой, следовало бы нам разъяснять и врачевать; а мы вооружаемся только на мнение г. Пирогова, выражающее в себе не более того, что этот педагог просто теряется в недоумении, как и взяться за такую страшную болезнь. Вместо этого было бы лучше и благонадежнее для дознания и уврачевания этой болезни, если бы стоящие за веру и за богословие озабочивались так понимать веру и богословие, чтобы во Христе раскрывалось основание для всего здания науки, только не деспотически – по средневековому, а в духе отеческого Божия благоволения к человеку и Агнчаго за человека самопожертвования. Когда наука приняла направление успокаиваться только на том, в чем осязательно удостоверяется, и в особенности когда она, из возбужденной в ней историей опасливости, чтобы вера не отняла у ней, науки, самостоятельности ее или свободы, становится то в оборонительное, то как бы в наступательное положение к вере: в такое время вере и можно взять свое (и она возьмет это свое) только Христовым самопожертвованием и за эти неправости мысли человеческой, как и за все (греховное) человеческое для очищения всего этого от скверн лжи и греха. Настанет пора, и наука наша повторит когда-нибудь воззвание св. Фомы к

Господу, явившемуся ему с язвами крестными: *Господь мой и Бог мой!* Другого способа отражать или уврачевать дух неверия, проникший в науку, мы не найдем, сколько бы ни ратовали мы против разных наружных его обнаружений, не соглашаясь с духом Агнца Божия, вземлющего грехи мира.

«Сорная трава, говорит г. «Собеседник» сама собой растет, а чтобы выросло доброе семя, надобно не только вспахать и удобрить почву, но главным образом вырвать, выполоть дурную траву, иначе и доброе семя заглохнет». Хорошо; но надо же при этом иметь внушаемую Самим Господом осторожность, *да не когда, восторгающе плевелы* или дурную траву, *восторгнете купно с ними и пшеницу* – произрастание от доброго семени (Мф. 13:29). Христос Спаситель мира, *восторгая* или упраздняя *плевелы* грехов и заблуждений мира, благоволил для этого подвергнуть Себя Самому *восторжению* от среды живых, «не погубляя никого из тех, кого дал Ему Отец» (Ин. 18:9). В этом же духе Христовой любви к человечеству, вырывайте дурную траву заблуждений и зла мирского; и тогда вы и в этом деле успеете, и не затронете, не повредите доброго семени, которое бывает иногда, как зерно горчичное, менее и по-малости своей незаметнее всех семян земных (Мк. 4:31). Страшно пренебречь и не пощадить и «*горушечное зерно добра*» (как выражается «Духовный Вестник», по цитировке г. «Собеседника»), страшно это по отношению и к самому существу добра и к состоянию тех людей, в которых есть это горушечное зерно добра.

Существо добра, как ни разделяйте с «Собеседником» свет добра, по *созданию, промыслению и воссозданию*, все же относится к полноте благодати и истины Христа Бога Слова, Кто один есть жизнь и свет человекам. «Все Им получило бытие и без Него не получило бытия ничто, что ни получило бытие» (Ин. 1:3); Он же есть, по промыслению, *носяй всяческая глаголом силы Своея*, также, как, по искуплению, «очистил Собою грехи наши» (Евр. 1:3). Да еще кроме этого, сокровенный дух и сила тайны как создания, так и промысления раскрываются именно в тайне Агнца Божия, *заколенного* в мысли Божией уже *от сложения мира* (Откр. 13:8) – в основание всего состава и всех судеб мира. Поэтому-то истинную веру в тайну творения

Апостол Павел относит к вере, оправдательной для души (Евр. 11:3; слич. 10:39), к вере, начальник и совершитель которой есть Иисус (Евр. 12:2). Потому же и Пророк Даниил, в видении устрояемых Промыслом Божиим судеб различных царств, еще в ветхом завете созерцал главу и решителя этих судеб в *Сыне человеческом*, Который *идый бяше и даже до Ветхаго деньми* дойде (Дан. 7). Таким образом по нашему мнению, хотя и, надобно различать, отнюдь не смешивая, троякого рода светение Христово в человеческих мыслях и действиях – светские по созданию человека, по его восседанию и по промыслению Божию о нем» (как говорит г. «Собеседник»), но не должно разъединять благодать этого светения, единую в своем источнике и существенном своем духе. Тут дело опять в самой истине, а не в «диалектическом способе обобщения», который г. «Собеседник» приписывает мне в отношении именно к этому самому предмету. Что же теперь следует из сказанного? То, что, какого рода светение Христово в человеке ни пренебрег бы кто легкомысленно, он пренебрег бы и отринул все же саму Христову благодать.

Обратите теперь внимание на состояние тех людей, в которых оказалось бы пренебреженное и отринутое другими «горушечное семя добра». Пусть эти люди очень и очень больны духом: от этого-то именно и страшно пренебречь в этих людях и самой малой капелькой или росинкой (или, по другому уподоблению, зернышком) жизненного добра. *Есть грех к смерти*, говорит особенно любвеобильный Апостол, *не о том глаголю, да молится* (1Ин. 5:16); а другой Апостол указывает, в объяснение того же, такие болезни духовные, больных которыми даже *невозможно паки обновляти в покаяние* (Евр. 6:4–6). Представьте же себе таких людей из христиан и даже из православных, которые, с некоторых сторон своего духа, заболели *грехом* или заблуждением уже *к смерти*, но в которых, с других сторон их духа, обозначалось бы горушечное зерно добра Христова, могущее еще раскрыться в жизнь и спасение, с отделением мертвого или пораженного на смерть¹¹⁰. Ну, если вы, по недостатку человеколюбия, не замечая или пренебрегая это зерно Христова добра в таких больных, стали

бы обличением и осуждением действовать только на те стороны их духа, в которых уже развивается болезнь *греха к смерти*, то что вы делали бы? Только прикалывали бы или закаляли до смерти больных, и без того *еле живых*. Как хотите, это духовное бесчеловечие страшно!

Не знаю, поймет ли г. «Собеседник» меня и в этом моем письме к вам. Ведь моя речь тяжела и трудна для уразумения, в чем я и сам признаюсь, объясняя, впрочем, и теперь часть этой неудобопонятности тем, что она естественна по некоторой новости моего воззрения на предмет настоящей беседы с вами. Но пусть и г. «Собеседник» подумает, от чего мои антагонисты затрудняются и путаются именно моим «принципом» о вхождении нашей веры в дух любви Агнца Божия, вземлющего грехи мира, как будто Он всесвятой и был виноват в грехах всех людей «начиная от Адама и кончая антихристом», от чего и сам он, г. «Собеседник», из моих книг и статей, которые он, по его словам, *почти все* прочитал, не заметил того же главного моего «принципа» (не заметил до того, что даже не увидел, зачем это так нужно мне говорить о смерти или вообще самопожертвовании Господнем за всех людей). Из одной литературной темноты моей речи, какова бы она ни была, не объясните этой странной непонятливости. Нет! Видно, что, когда к какому человеку станет кто задом, а не лицом, так ему нельзя уж никак разглядеть этого человека. Разность в самых началах и направлении воззрения – вот, по моему убеждению, коренная причина непонимания моего образа мыслей. Любовью к истине Христовой, в которой содержится сила жизни вечной для всех нас, убеждаю и даже умоляю г. «Собеседника» и подобных ему потрудиться над надлежащим уразумением моего «принципа» и терпеливо «одолеть» особенно мою книгу об Ап. Павле, который словом Божиим утверждает и внушает нашей вере этот самый принцип.

Конец

Примечания

¹ - Рад бываешь встретить что-нибудь в «Дне», и хотя изредка в «Отечественных Записках», но все же слишком одиноким в светской литературе остается «Сын Отечества», следящий за движением духовной мысли и довольно постоянно.

² - Например «Домашняя беседа».

³ - См. в «Страннике» письмо о. протоиерея Васильева к Гизо.

⁴ - См. в январской и февральской книжках «Трудов Киевской дух. академии» статью «О происхождении светской власти папы», 1862 года.

⁵ - Материальные или вообще внешние способы и лишение их могут быть обращены и на добро, и на зло, судя по доброму или злему духовному настроению самого человека.

⁶ - Само собой разумеется, что есть и отрадные исключения из этого. Такова, например, превосходная статья в сентябрьской книжке «Трудов Киевской дух. академии»: «Об отношении между духовной и светской литературой». Здесь ясно, как день, раскрывается, что в возникновении ложного и враждебного отношения к Христианству, в литературе, много виноваты люди, старающиеся укрепить и узаконить непримиримость духовного и светского: «Одна крайность по закону реакции рождает другую. Отрицание гуманизма во имя Христианства предполагает собой возможность отрицания Христианства во имя гуманизма» (слова эти из означенной статьи).

⁷ - Название естественной религии не точно, в том именно отношении, что светение Христово в духовной природе относится все-таки не к самой природе, а к Христовой благодати (хотя бы только предваряющей, как Богословы выражаются, признавая впрочем благодать существенно единой).

⁸ - Скажет ли кто, что самый дух лжи, действовавший в язычестве, мог подделываться к свету Божией истины. Что же? Сочиненная ложь пусть и остается ложью, а то, к чему

подделывалась она, есть Божия истина, светившаяся людям необъемлемо сочиненной ложью.

⁹ - От этого свойства женской восприимчивости – ощущать истину прежде точного сознания о ней, происходят такие явления в семейной и общественной жизни: когда мужчина становится слишком положительным, тяжело наклонным только к осязательным опытам, женщина тонко чувствует эту его односторонность и инстинктивно противодействует ей противоположным настроением; а когда мужчина слишком заидеальничает, в ответ этой односторонности, женщина инстинктивно становится положительной. Поэтому Бокль со своей теорией, будто мужчина преимущественно – индуктив, а женщина – дедуктив, прав только в отношении к себе самому. Он сам лично отличался направлением соображать и обобщать опытные данные (индуктивным направлением). Потому было в порядке вещей, чтобы в отношении к нему женщина (например мать) являлась противодействующей экспериментальной его односторонности ощущением высших идей (дедуктивностью). Бокль свой собственный опыт принял ошибочно за общий закон, это уж его односторонность – принимать по наведению слишком частное за всеобщее.

¹⁰ - Эта песнь: Иже херувимы и проч.

¹¹ - См. сочинение Эрнеста «Вечная жизнь», недавно изданное в Русском переводе.

¹² - Затворничество – это такой монашеский подвиг, по которому подвижник «затворяется» в своей келии, в уединении от всякого человеческого общества.

¹³ - «Требами» называется требуемое такими или другими обстоятельствами исполнение священнических обязанностей – например, крестить или молитвословить новорожденного, приобщать Св. Таин больного.

¹⁴ - См. Тропарь великомуч. Димитрию 26-го октября и Св. Нестору 27-го того же месяца.

¹⁵ - Слова из третьей молитвы последования коленопреклонных молитв в день пятидесятницы.

¹⁶ - Это было, когда греческий король Оттон должен был оставить свое королевство.

¹⁷ - Для непривыкших к подобному образу выражения, надо заметить, что воспоминать что-либо не по мертвой букве, а в живой силе дела, значит воспоминать так, чтобы иметь в виду не одну внешность, а и внутренний смысл и силу воспоминаемого.

¹⁸ - Моисеево законодательство, предъизображающее Христовы блага, касается всей области видимого естественного.

¹⁹ - А. Павел свидетельствует, язычники не только двигались и существовали Господом, но и не переставали более или менее принадлежать к самому роду Божию, и чтили, только как неведомого, Самого же Господа (Деян. 17:28–29, 23). В устройении этого не только в целых разных народах языческих, но и в отдельных личностях язычников, сколько проявилось, в виду Св. Ангелов, неисследимой славы Господа!

²⁰ - Все подобные выражения в статье означают, разумеется, не то, чтобы и нераскаянная греховность уже перестала быть виновной и губительной, и то, что Господь, со своей стороны, действительно удовлетворил Божественному Правосудию за всех грешников и за все грехи мира чрез Свое человеколюбивое самопожертвование до смерти, до непостижимого оставления Его самим Отцом Небесным.

²¹ - Из новейших исследователей истории Лорану удалось совместить идею Промысла с идеей развития и прогресса человечества. Но не возвысив представления о Божественном промыслении до мысли о Христе, Агнце Божиим, он впал в такую произвольную натяжку, по которой будто бы человечество, чрез постепенное свое улучшение, дойдет до золотого века всеобщего мира и любви, при настоящем земном порядке вещей. Не говорю уж о том, что самый прогресс человечества, всегда грешного и заблуждающего, несостоятелен вне вземлющего греховные заблуждения мира Агнца Божия.

²² - Бокль не только не отрицает такой свободной воли, но еще вот что прямо говорит: «Если кто-либо скажет, что у нас есть сила действовать без поводов, но что на практике эта сила

постоянно управляется сознательными и бессознательными побуждениями, тот будет выражать бесплодное предположение, которое не противоречит моим взглядам». Вот еще чего не отвергает Бокль, а не только самоопределения человеческого всегда по поводам и побуждениям.

²³ - Это полнее раскрыто в разборе романа г. Чернышевского.

²⁴ - Наш разговор шел во время самого еще разгара польского восстания. Впрочем, желанный исход дела по «польскому вопросу» все еще впереди, это совершенно опорядоченная и умирная жизнь и дух Поляков в единстве Всероссийской Империи.

²⁵ - См. брошюру г. Коядовича «Люблинская уния» и пр.

²⁶ - «Падение Польши». Ст. в Рус. Слове 1861 и 1862 г.

²⁷ - В одной статье по «польскому вопросу» переведенной с английского языка в «Русском Вестнике» прекрасно доказано историей, что Польша вызвала Россию на единоборство с собой именно чрез стремление подчинить последнюю своей власти, как бы вековечное наследие (это было особенно во времена самозванства и междоцарствия) и что Россия приняла этот вызов и поставила саму Польшу в то положение, в которое Польша стремилась поставить Россию: это совершилось по порядку единоборства, уставленному самой Польшей. Говорю это к тому, что в деле с Поляками у нас идет старый вопрос, именно: о достоинстве и правах национальной нашей власти.

²⁸ - Разумеются бедствия от Лжедмитриев и во время междоцарствия. В это время Поляки со всем затопляли Россию.

²⁹ - Ниже разъясняется, что это сделалось совсем не по вине катехизиса.

³⁰ - Наши доморощенные мыслители софисты в случае открытия или выяснения закона, управляющего некоторыми явлениями, уже начинают мечтать, что ум человеческий совсем овладел тайной этих явлений и скоро, скоро завладеет тайной всего. Но тонкий и добросовестный мыслитель, как. Например, Бокль, не упускает из вида различия между законом и основной причиной предмета. Внутренний закон чего-либо может

выясниться, но основная причина этого предмета и его закона остается все-таки недоведомой. Потому Бокль решительно утверждает, что «истинная таинственность открытием закона нимало не уменьшается». Истор. Цивил. Англ. Том I. Стр. 425. Перевод Буйниц и Непарок.

³¹ - Отмеченные знаками выражения принадлежат Боклю. ?

³² - Отмеченные знаками выражения принадлежат Боклю.

³³ - В разных философских системах мыслители полагают сущность нравственности в усвоении человеком и проведении им во всю свою жизнь именно самой силы того, как кто из них понимает тайну всего сущего. Они относятся, в существе и основании дела, ко Христу Богу Слову во плоти, только как к неведомому, а потому более или менее по-язычески.

³⁴ - Апостол Павел, в учении об особенных действиях благодатных, внушает вере такое общее направление, чтобы чрезвычайные, непонятные для церковного большинства, проявления духа стараться вводить в доступный, для всех и потому плодотворный, порядок ума, порядок общей всем жизни: помолюся духом, помолюся же и умом; воспою духом, воспою же и умом (1Кор. 14:15) и проч. Святая Церковь, посвятив один из воскресных дней великого поста ублажению памяти Святителя Солунского – Григория Паламы, боровшегося против западных перетолков касательно светоносных плодов указанного вами подвига веры, чрез это убедительно внушает своим детям, что сила этого подвига есть общее достояние веры. О самом этом подвиге или делании духовном есть целая книга под заглавием: Добротолюбие.

³⁵ - Святителя Арсения, бывшего на совершении суда над прежним списком тверским.

³⁶ - Замечательна в этом отношении помещенная в календаре за 1864 год статья нашего, сколько ученого, столько и добросовестного, геолога, который для пресловутой ныне мысли об огромном числе тысячелетий, прошедших от образования нашей планеты и от первых на ней людей, находит (с глубокой, как мне кажется, иронией) только такое основание, что на отрываемых кладбищах древних людей находят слишком

огромное число человеческих костей или остовов. Каково ж это основание?! Та же статья свидетельствует, что на этом основании скромные датские геологи относят самые означенные кладбища к очень недалекому времени до Рождества Христова...

³⁷ - Такой образ представления здесь и далее употребляется как наиболее пригодный для возбуждения в мужичке сознания того великого блага, какое дано ему в освобождении его личности от закрепления за помещиками. Но само собой разумеется, что крепостную зависимость, судя и выражаясь со строгой точностью, никогда не дозволялось у нас доводить до степени владения неодушевленными вещами.

³⁸ - Подобное говорил ропщущей братии именно пр. Сергей.

³⁹ - «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» – сказано в самом слове Божиим (2Фесс. 3:10).

⁴⁰ - Картина представляет в сельском храме и проповедующего и слушающих как-то туно, точно будто по казенному только долгу: тема проповеди: всяка душа влаstem предержавшим да повинуется.

⁴¹ - См. в «Одесском Вестнике» статью «Двойник Ивана Яковлевича в Одессе».

⁴² - Этот образ употребляется в церковном прославлении Матери Божией: радуйся свете, в немже перетом Отчим написася Слово. (Из акафистного канона).

⁴³ - Речь здесь о средневековой жизни римско-католического запада.

⁴⁴ - Православие Греков, о которых здесь речь, под крестом своего порабощения продолжает и доныне приносит зрелые духовные плоды – мученичества.

⁴⁵ - Речь о старой православно-русской жизни.

⁴⁶ - «Точное изложение православной веры».

⁴⁷ - Речь о «Русском Вестнике» в отношении к г. Юркевичу, бывшему деятелю духовного журнала «Труды Киевской духовной Академии».

⁴⁸ - Само правительство нашло нужным употребить свои меры против неблагоприятного впечатления этой статьи на умы,

в горячие минуты народной жизни.

⁴⁹ - Не то, чтобы у нас в России была такая «крайность между богатыми и бедными в умственном отношении, как в Германии», по свидетельству «Русского Слова». Но у нас почему-то произошло, что в простонародии самый склад мыслей другой, чем в образованных классах. Последние пытаются иногда ближе подойти к простонародью, подделываясь к образу его речи; во все это оказывается неудачным. Людям науки надо овладеть духом народным, чтобы простонародье почуяло в них своих, а не чужих.

⁵⁰ - Нынешняя геология, не зная и зная не желая условий действительной первобытной жизни природы и прежних состояний земли, а открывая только некоторые, сравнительно незначительные, следы и мертвые остатки от прежнего быта земли, применяет к прошлой жизни природы и к прежним состояниям земли условия нынешнего состояния земли, нынешней жизни природы. Применение это делает она с удивительно-точными вычислениями; так, например, если уровень земли где-либо поднимается приблизительно на столько-то футов в столетие, то уж и в прежние времена, хотя бы продолжавшиеся на многие тысячелетия, подъем уровня земли предполагается совершившимся неизменно на одинаковое же число футов в столетие. Нужды нет, что в прежние времена могли быть и были совсем иные условия. И вот таким образом геология насчитывает сотни тысяч, даже миллионы лет образованию разных слоев земли, развивая до тонкости первобытную жизнь земной природы и все самодревнейшие видоизменения. Непостижимая смесь научной строгой точности с явным для непредубежденного взгляда самообольщением в основных приемах, а потому и в выводах!

⁵¹ - Не говорю уж о том, что, если человеческий ум, запутавшись на западе во всяческих лжах, принимаемых в средние-то века за святую и непреложную истину, может быть уж по необходимости наконец должен был пить стаканами ядовитые сомнения, то ведь бедному ему надо же когда-нибудь отрезвляться от этой отравы.

⁵² - Происхождение от заветного рода, обрезание, фарисейское знание составляли для Павла не просто земные и житейские, но духовные преимущества. Но и это он почел ради Христа за тщету плотскую (Флп. 3:4–7).

⁵³ - Потому-то предание и есть одно из данных для свободного наследования, как говорит Хомяков.

⁵⁴ - Именно, Св. Василий не хотел уступать соседнему епископу на малой части своей кесарийской епархии, хотя того, по-видимому, требовала гражданская перемена границ кесарийской области.

⁵⁵ - Так именно поступил Св. Авраамий для спасения своей племянницы Марии, и Св. Ефрем Сириянин, описывая это в своих творениях, с восторгом восхваляет подвижника за такого дело.

⁵⁶ - См. в «творениях Св. Григория Нисского» (1862 г. Книж. 4): «о душе и о воскресении, разговор с сестрой Макриной».

⁵⁷ - Здесь имеются в виду критические статьи именно г. Сербинова на следующие сочинения преосв. Филарета: «Исторический обзор песнопевцев» и проч. «Обзор русской духовной литературы 862–1720 г.»; «Русские святые» и проч.

⁵⁸ - Как ни умножаются у нас духовные журналы и ведомости, но такой факт, что дело об ученом достоинстве и трудах преосв. Филарета не нашло основательного адвоката, свидетельствует, как наша духовная журналистика далека еще от процветания. Много ли у нас таких деятелей науки, каков преосв. Филарет Черниговский? Вот уж именно можно сказать пословицей? Раз, два – и обчелся. И проводники духовной мысли и слова пропускают ни за что, когда и такой деятель оценен низко до оскорбительности.

⁵⁹ - Деяние обрел еси в видения восход. Общий тропарь священномучеников.

⁶⁰ - Православным смыслом юношеская вожделения возненавидев и доблестныя правы восприим, врага победил еси. Тропарь пр. Никите Столпнику.

⁶¹ - Курсивные выражения принадлежат г. Сербинову.

⁶² - Вот г. Сербинов взялся сам в своей критике обозначить «внутренний ход образования песнопений». Но вполне ли удачно? В объяснение того, почему обилие церковных песнопений появилось уже к концу периода вселенских соборов, г. Сербинов говорит вот что: «Христианское вероучение (выражаемое в песнопении) достигло желанной полноты и определенности не вдруг, достигло на вселенских соборах». Но если в строгом смысле так, то выходит, что, с одной стороны, до вселенских соборов христианское вероучение было неполно и отчасти сбивчиво, а с другой – после вселенских соборов вере нашей, относительно вероучения, остается только почивать, а больше делать нечего... Нет! Истина Христова, с явлением Нового Завета, открыта в полноте и определенности всего своего существа (след. по теории г. Сербинова, было уже готовое место и для песнопений во всем их обилии, которое, однако, последовало позднее. Почему? остается еще не объясненным); только те или другие стороны истины подлежат всегда нападениям лжи, чем и требуется всегда от веры подвиг раскрывать перетолковываемые или обессиливаемые ложью стороны истины, сколько требуется для победы истины над ложь (след. всегда, по теории г. Сербинова, открывается место для нового обилия песнопений; этого, однако, нет). Видно, что-нибудь г. Сербинов не досказал или пересказал. Еще: по теории г. Сербинова, легко совмещаются такие противоречия, что в период гонений церкви было не до «ликований» или песнопений, в борьбе с ересями было не до песнопевцев, а в иконоборческих гонениях, в борьбе с этой ересью уже «естественно было утешать себя песнопениями».

⁶³ - См. пролог, июля на 8 день.

⁶⁴ - За г. Сербиновым выступил еще г. Пономарев со своими критическими статьями на сочинение преосв. Филарета.

⁶⁵ - Современные Ап. Павлу власти, непознавшие и распявшие Господа славы, были, именно иудейский синедрион и (в лице римского прокуратора П. Пилата) языческое правительство. Но сущности дела, это были тоже, что духовно-иудействующие и язычествующие передовые какого бы то ни было века.

⁶⁶ - Здесь и ниже курсивом помеченные слова взяты буквально из «Современника», именно из статьи: «Два типа современных философов». Цитированы они нами для обозначения, какие стороны истины в них выражаются.

⁶⁷ - Как это можно открыть, например, в новейших философских системах – нам был случай указать в книге «О православии» стр. 42–45.

⁶⁸ - Слова, здесь и ниже, приводимые, принадлежат той же журнальной статье: «Два типа современных философов».

⁶⁹ - К сожалению некоторые доказательства на это есть и в статье: «Два типа современных философов». Так, например, не только старые философы, но и все опытные наблюдатели над человеком, начиная с язычников, не могли не замечать того духовного раздвоения в человеке, по которому он, с одной стороны, сочувствует всему доброму и истинному и желал бы идти к тому же в мыслительности и во внешней практике, а с другой – задерживается и запутывается всякими пустяками своекорыстия или своеправия, побуждениями нечистыми, порочными, низкими: точно будто два человека заключаются в одном и том же человеке. Вы можете по-своему понимать источник этого духовного раздвоения в человеке (составляющего, очевидно, не норму, а порчу, болезнь нашей природы) и по-своему определять средства для человека достигать внутренней гармонии или же благих результатов от самого раздвоения и борения внутреннего: ваши мысли будут об этом обсуждены и дознаны в своей основательности или неосновательности. Но если вы позволяете себе только поднимать на смех этот факт, что в нас будто два человека: один, действительно, нехороший, а другой – светлый или стремящийся к свету: то как назвать эту попытку? Надо согласиться, что, действительно, отчаянная и неразумная попытка – затемнять и запутывать, или голословно и глумливо отрицать духовное раздвоение человека, этот великий (психологический) факт, которым мыслитель особенно поставляется в обязанность строго наблюдать за собой и за своей верностью законам разума, чтобы не сделаться, по мысли, каким-нибудь пустым фатом. Решаться на такие попытки

значит просто уж так и обрекать себя, чтобы из пристрастия к собственной мысли, (а то, пожалуй, и ради только красного и острого словца), осмеивать иногда самую истину и, значит, часто попусту тратить свежие силы мысли. Такова же попытка отрицать возможность человека духовно-совершенного или представлять его чем-то чудовищным. Иное дело, если идею духовного совершенства развивают иногда слишком отвлеченно от действительности, или идеально до мечтательности. Это и надо обличать.

⁷⁰ - В статье: «Два типа современных философов», видна во многом именно такая свежесть мысли; это, по-вашему мнению, так важно и дорого в деле мысли, что мы почли обязанностью, в самом начале настоящего рассуждения, показать, на какие светлые стороны истины намекает эта свежая мысль автора рассматриваемой нами статьи.

⁷¹ - Речь о том, что случилось в Спасском уезде Казанской губернии.

⁷² - Нельзя искренно не пожалеть, что статья о двух типах современных философов, обличая и большей частью основательно произвольное самоуправство старых философов, допускает и со своей стороны, иногда точно султанское, противное разуму, самоуправство в развитии коренных мыслей своего содержания. Точь-в-точь, как некоторые известные ревнители из-за случайных уклонений разума от истины знать не хотят уже ни разума, ни философии и изрекают проклятия всякому, кто во имя даже самого Христа, принявшего и сохранившего в себе человеческий разум, заступился бы за дело человеческой мысли: так и в названной статье «Современника» из-за односторонностей или противологических «фантазий» старых философов уже не признается живая истина ни в чем том, за что, как за неприкосновенную святыню, заступаются старые философы, не признается и возможность того, чтобы это и действительно было святынею самой истины. В этом случае новейший мыслитель допускает точно также султанское самоуправство мысли, какое видно и у иного противоразумного ревнителя веры. Это самоуправство, конечно, закрывает глаза мыслителю от истины,

которая ему должна быть дорога во всем. Вот, например, возьмем важный в истории мысли христианский вопрос: направление и стремление многих мыслителей мыслить не со Христом и, значит, уже более или менее против Христа (по Его слову: «Кто не со Мною, тот против Меня»), как и почему могло произойти и крайне усилиться в христианском мире, усилиться до того, что в христианстве уже видят иные бойцы мысли только стеснение для мыслей. Такое направление, с притязанием на истинность и законность, в обширных размерах начато и упрочилось в христианском мире именно папой, который, в самоуправном своем главенстве над Церковью, объявил себя непогрешительным в своих определениях и, значит, вообще в мысли своей. Когда этот человек присвоил своей мысли такое произвольное самоуправство, как право законное: то, по его поводу и сначала против его притязаний, и другие люди стали присвоять своей мысли такое же самоуправство мысли, и тоже как бы законно разумное право. Самоуправным живым главой Церкви, движущим всеми ее членами, как и прямо противохристианское направление мысли, которое и вызвано самоуправством папским. Эта истина важна особенно для дела мысли, потому что она может остеречь иного противоразумного ревнителя веры от деспотизма над мыслью, свойственного только духу папства. Но на эту истину указывают и старые философы; и вот за это одно неоспоримая истина насмешливо отнесена в статье просто к «фантазиям». Почему?!.. Иное дело, если и в папстве слышна своя доля истины, только взятая в лживой односторонности, истины именно о заправлении и мирского, земного Духом высшей Правды. Иное дело, если и в мыслительности самостоятельность или самозаконие может быть утверждено во имя истинного христианства. Иное дело, наконец, если старые мыслители ратуют иногда против папства тоже немножко в духе посягающего на духовную свободу папства. Это и надо было бы раскрывать против старых философов, а истины не надо трогать самоправно.

⁷³ - И в самом деле, у мыслителя, верующего в самозаконие разума, но не сознающего и не чувствующего лежащей на себе, в силу общего ему со всеми людьми этого

самозакония, ответственности в деле мысли и за других людей, весьма легко это самозаконие может уступать свое место противозаконию разума. Доказательство и на это можем находить в статье о «Двух типах современных философов». Это в рассуждении ее о материализме. Значение материального, без сомнения, чрезвычайно велико. Вовсе не слышать этого нельзя человеческой мыслительности, по неотразимому сочувствию разума тайне Боговоплощения основной для него и для всего бытия. И вот, некоторые мыслители и утверждают, что вне материального нет истины. Эти мыслители чувствуют, конечно, одну сторону истины, но, по односторонности, превращают ее в ложь. Они сами же не могут отрицать, что акт сознания человеческого никак нельзя объяснить из одного материального. И этой одной, логической и физической, необъяснимости сознания из условий плотских или материальных достаточно уже для удостоверения в односторонности материализма, в несостоятельности его пред законами разума, потому что жизнь духовная и обнаруживается главным образом в сознании, которого никак не объяснишь из условий материальных. Мыслитель, верующий в самозаконие разума, общее ему со всеми людьми, и потому признающий дело мыслительности своей касающимся не его только одной личности, а и других людей, по крайней мере остановился бы на том, чтобы не позволить себе делать дальнейших дерзких выводов материализма, грозящих поставить все вверх дном. Не так рассуждает автор известной статьи. «При общем отождествлении различных явлений, говорит он, сознание – такая вещь, что ею не стоит слишком затрудняться». Но различные явления так ли сводятся к некоторому единству или обобщаются, чтобы этого обобщения и единства ни физически, ни логически вовсе нельзя было бы объяснить из материальности? Нет. Но что до того? Стоит ли этим затрудняться? Нужды нет, что здесь и вопрос собственно о сознании, как главном акте жизни не материальной... Что до того? Но ведь, если для мыслителя не стоит уж затрудняться ничем подобным, то мудрено ли, что этот мыслитель наконец не будет затрудниться решительно ничем, что противно было бы не самозаконию, а просто произволу его

разума. Сознание само есть, говорит тот же самый мыслитель, «процесс темный и неопределенный, далеко неразъясненный ни опытной психологией, ни физиологией». Стоит ли затрудняться этим сознанием? Во всем подобном хорошо, по крайней мере, то, что можно из всего этого видеть всю несостоятельность и мечтательность самого даже утонченного, самоспасения мысли человеческой. Без Спасителя нашего Господа не спасти нам, не утвердить прочно бытия самого нашего «я» с его самосознанием и сознанием!

⁷⁴ - Строгая истинность жизни настоящей, слышимая всяким человеком, особенно живо сознается верующим, который знает, что эта самая жизнь со всем своим добром или худом, нравственно создаваемым от самого человека, раскроется, как зерно в плоде, и в будущей вечной жизни.

⁷⁵ - Это неверующие.

⁷⁶ - Здесь не место развивать эту мысль вполне. Но желающий может прочитать о последовательном ходе в жизни и мысли веры ветхозаветной статью в книге «О православии в отношении к современности»: об особенностях воззрений и жизни в ветхом и новом завете, (стр. 70 и сл.) и в книге «Три письма к Гоголю» позднейшую критику.

⁷⁷ - Разумею здесь дело об Арсении Мациевиче, самоотверженно ставшем было за посвященные Богу имущества, по обнаружившем при этом и то одностороннее несчастное направление, о котором здесь говорится. Слова, означенные далее вносными знаками, принадлежат именно этому Арсению. См. статьи о нем в №15, 16 и 17-м «Дня».

⁷⁸ - В роде издания и сотрудников «Домашней Беседы».

⁷⁹ - В этом отношении очень знаменательны для рассуждающих такие явления, что за одно сочувственное отношение к современности, по вере в Агнца Божия, вземлющего грехи мира, приписывают духовному лицу уже вероотступничество; или человек светский, несмотря на дело мыслителя из духовных, изрекает этому делу решительный приговор как негодящемуся ныне. Во взаимных отношениях духовной и светской литературы вообще заметно, и в лучших

представителях той и другой, более недоверчивости и подозрительности, нежели содействия и уважения друг к другу.

⁸⁰ - Так-то в теории, отвлеченной от жизни, можно всю нравственность обосновывать на эгоизме и расчете. Но в приложении этой теории к жизни, начало эгоизма и расчета у благородного человека обращается уже в начало нравственной добропорядочности, готовой на самопожертвование.

⁸¹ - Из так называемой на философском языке конкретной сферы.

⁸² - В общую и отвлеченную область идей.

⁸³ - Самым наглядным примером этого служит Гоголь. Когда он высказался, каких начал он держится: то и Восточники, и Западники, одинаково упрямые и самодовольные, от него отвернулись с самой неделикатной жесткостью. И Гоголь, лишенный соответствия общества к своим стремлениям, был подавлен тяжестью своего нравственного одиночества.

⁸⁴ - Этот журнал и доныне не оставляет своих походов против г. Тургенева, напоминающих подобные же походы прежней «Библиотеки для чтения» против Гоголя. По моему мнению, это дела «Современника» есть очень опасный риск в отношении к собственному достоинству этого журнала. Вот почему издаю мою статью, писанную еще 1862 года. Я считаю нечестным не помогать собратам в выяснении истины.

⁸⁵ - Вот буквально что читается в «Современнике»: «Есть на свете порок, который зовется непочтительностью к родителям и выражается известными поступками и словами. Г. Тургенев и назвал его Аркадием Николаевичем».

⁸⁶ - Выше мы уже касались этих слов к Базарову: «(Вы отрицаете) не только искусство, поэзию, но и страшно вымолвить».

⁸⁷ - См. «Странник», июньскую книжку за 1862 г.

⁸⁸ - В общем «тропаре» Христа ради юродивому Святому.

⁸⁹ - О. протоиерей Иосиф Васильев, настоятель недавно освященной в Париже православной церкви во имя Св. Александра Невского, издает на месте своего служения журнал: «L'union chretienne» (Единение Христианское»). В настоящей

статье имеются в виду именно два письма о. протоиерея в римско-католическому нантскому епископу Александру и письмо к ученому, с протестантскими воззрениями, Гизо. Первые два письма напечатаны у нас в нескольких духовных журналах; последнее печатается в «Страннике».

⁹⁰ - Сюда же относится и то представление, высказываемое также благомыслящими и знающими свое дело, что Господь, «передав Свою власть» апостолам, а чрез них и их преемникам, уполномочить их «продолжать дело искупления». Тот, кто уже «одиожды приобрел вечное искупление» (Евр. 9:12), не может нуждаться в продолжателях принадлежащего Ему Одному дела искупления нашего. Он Сам, всегда жив сый во еже ходатайствовати пред Отцом за искупленных, всегда же благодатью Св. Духа Сим прибывает и действует в Своей Церкви таинственным уставленным от Него же порядком, употребляя избранные и освященные Им же орудия на членов благодатного Своего тела – Церкви. От этого-то благодатного во Святом Духе присутствия и таинственного действия Самого Христа искупителя нашего в святой Церкви – и происходит то, что, например, связанное и разрешенное на земле благодатью священства, связано и разрешено и на небеси. Что же тут за передача власти Христовой? Он Сам действует Своей властью.

⁹¹ - Во втором письме к нантскому епископу.

⁹² - Сказать, что любовь и самоотвержение составляют «основу Божественного авторитета», конечно, еще не значит сделать любовь и самоотвержение неременной и или необходимой принадлежностью блюстителей этого авторитета...

⁹³ - И Апостолы просили у прочих христиан духовной для себя поддержки. Еф. 6:18–19.

⁹⁴ - См. книгу преп. отцов Варсонофия и Иоанна руководство к духовной жизни. Издан. Оптиной пустыни, 1852 г. Стр. 416–420.

⁹⁵ - Не можем не заметить здесь, что для рассуждающих не может не показаться странным указание о. протоиерея Васильева (во втором письме его нантскому епископу) на Флорентийский собор в пример того, как собор спасал

независимость Церкви. Марк Ефесский, «с некоторыми доблестными епископами», невыдавший Христовой истины на соборе, не подписался к соборным решениям и потому отделил уже себя от неправого собора. Зачем же честь отстоять независимость Церкви, принадлежащая Марку, сколько он именно не принадлежит собору, приписывать самому этому собору? Излишняя или, лучше, не возведенная к более светлому воззрению привязанность к «собираемости» церковного авторитета, очевидно, сделала несколько тусклым взгляд досточтимого о. протоиерея и на Флорентийский собор.

⁹⁶ - Выражения, отличенные знаками, принадлежат 38 прав. шестого вселенского собора.

⁹⁷ - Слова, отмеченные знаками, взяты из 28 правила четвертого вселенского собора.

⁹⁸ - Здесь, при раскрытии отношений между властями гражданской и духовной, кстати заметить, что русская Церковь, предвидя возможность злоупотребления власти не со стороны только гражданского правительства, как думает о. Васильев, не начальниками вообще всякими, и гражданскими и духовными и даже домашними или семейными, выразила следующее правило в православном Катехизисе, ссылаясь на действия Апостолов в отношении к злоупотребившим своей властью духовным начальникам иудейства: «Как должно поступать, если бы случилось, что родители или начальники потребовали чего-либо противного вере или закону Божию? Тогда должно сказать им, как сказали Апостолы начальникам иудейским: аще праведно есть вас послушати паче Бога» и проч.

⁹⁹ - Если бы эти применения кем-либо сочтены были за сомнительные и в том смысле, что именно Христос и Его дело составляют основание для спасения нашего от всего худшего и для утверждения в нас всего лучшего, представляя в Себе и самый Первообраз всего лучшего, то что же для нас будет истина?...

¹⁰⁰ - См. об этом и след. в кн. «О Новом Завете» стр. 75–84.

¹⁰¹ - Говорим это не в тоне категорическом, и отнюдь не в видах извинения или оправдания светской литературы.

¹⁰² - «Домашняя Беседа» имеет только ту заслугу, что без оглядки пошла по этому одностороннему направлению и потому постаралась выставить его на вид пред всеми. За это скажут когда-нибудь и ей искреннее спасибо. Но если «Современник» (в статье «Национальная бестактность») или «Странник» (в Библиографическом отделе за Октябрь) стали бы в странном единодушии утверждать, что духовному лицу будто не следует входить в дела мира сего и в том отношении, чтобы действовать на направление мысли в общественной жизни, в искусствах и т.п., то в этом случае тот и другой журнал, каждый по своему или по своим началам и для своих особых целей пользуется воззрениями того же одностороннего направления, которому служит и «Домашняя Беседа». То правда, что каждый человек сам для своего дела и каждое общество само для себя должны разуметь требование правды и истины; по духу правды и истины все же лицо духовное должно служить для всех людей и для каждого дела.

¹⁰³ - Случилось, в самом деле, что «Домашняя Беседа» похвалила по-своему за что-то известного писателя философских статей г. Лаврова. Этот последний в «Отечественных Записках» высказал, что он эту вину, мнимого, впрочем, согласия своего с «Домашней Беседой» очищает публичным покаянием, не желая даже казаться соучастником в чем-либо.

¹⁰⁴ - Так и эта высокая добродетель «прощения виновных», трактуемая как дело собственной человеческой правды, «Современником» признавалась прямо азиатской. Прощать виновных – это дело Божие, говорит он, дело Икупителя, взявшего на Себя вины виноватых. Так! Но дело в том, что нам и не следует с иудеями поставлять в добродетелях собственную нашу правду, а надо принимать и усвоить правду Божию, Христову. Дух и сила Божественного прощения виновных и открыты нам для усвоения нашим душам и сердцам в отношении к нашим духовным должникам. Итак, и в этом случае «Современник» судит о добродетели прощения виновных, держась воззрений одностороннего направления. Так точно иные господа, говоря, например, об обязанностях жены к мужу,

развиваемых из отображения в супружеском союзе союза Христа с Церковью, односторонне останавливаются только на повиновении или страхе жены пред мужем и видят в этом тоже азиатчину (такие мысли развивались, помнится, когда-то в «Санктпетербургских Ведомостях»). Но есть и страх любви, свойственный и вожденный любящей душе по самой ее любви – таков страх Христовой невесты, Церкви, ко Христу, любовью Которого она живет; обращать этот небесный страх любви, и сам по себе и в его отображениях, в рабский страх противно самому духу и существу христианства. И кроме того, при раскрытии истинного христианского понятия об обязанностях супругов следует иметь в неопустительном виду еще то, что в брачном союзе должна отображаться и та сторона Христова союза с Церковью, что Христос чрез вочеловечение как Сам пожертвовал Собой до некоторого приравнения с Церковью и из человечества (Флп. 2, ч. 1), так и ее возвысил до открытия для нее всей Божественной своей полноты (Еф. 1:23; 3:19). Отсюда обязанности мужа к жене и права этой последней развиваются уже такие, что их же собственно слышать как бы по инстинкту и те люди, которые недовольны диким деспотизмом мужа. Так с каким бы ни было воззрениями небрежь о разъяснении Христовой истины, в живом ее значении, значит обрекать себя и других именно на то, чтобы путаться или в недоразумениях об истине, или в борьбе против собственных призраков, или в чем ином самом нелепом. Страшно, например, бывает, когда с дикой открытостью печатно хулят высочайшую святыню. Это именно гнев Божий на разнузданное безумие; но не менее этого выражается гнев Божий и в том, если как-нибудь и к христианскому израилю отнесется это обличительное Божие слово к ветхозаветному израилю: вас ради присно хулится имя Мое во языцех (Ис. 52, 5).

¹⁰⁵ - Укажу на один очень знаменательный факт православной самодеятельности старой нашей Руси, в сличения с самодеятельностью православного Востока. Св. Василий Великий, в принадлежащих ему церковных правилах, выражает собственное мнение о возложении епитимии на воинов, наносящих смерть другим на войне; а у нас преп.

Сергий посылал из монашествующей своей братии на войну, как на добропобедный подвиг перед Христом. Так самодеятельный Христов дух, при своем неизменном единстве в святых, на древнем Востоке еще ощущал и подрывал, в гражданстве и воинах государственных, остатки древле-языческого духа, а в Руси уже прозревал и утверждал и в бранноносной области гражданства святую среду служения Самому же Христу.

¹⁰⁶ - Поэтому надо осторожно рассуждать не только о человеческом разуме вообще, но и о самых его заблуждениях. Надо остерегаться нам именно того, чтобы, ратуя против тьмы заблуждений, как бы не отринуть светящегося иногда и в самой этой тьме некоторого света Христова, которому мы сами не совсем верны. Дело яснее из примера. В прибавлениях к «Творениям св. отцов» за нынешний год помещена большая статья против Ренана, извратившего Жизнь Христова в своей книге... Статья превосходна! Но тем не менее автор этой статьи от тьмы заблуждений не хотел или не умел разграничить того света истины, что заблуждающая мысль смутно и односторонно все же ощущает осенение Божественным духом и силой Христовой тайны всего мира и особенно человека (чего и мы не довольно имеем в виду) и что в Христовой жизни, действительно раскрывается самая живая гуманная симпатичность к обыкновенному человеческому быту и состоянию. Упрек Господа Иуде, лобзанием предающему Сына Человеческого, падает не только на читателей Христа, не признающих, однако, Его Божественности, но и на таких поклонников Его Божества, которые опускают из своего живого внимания самую Его человечность. В первом виновата философская мысль многих, а в последнем не безвинна у некоторых самая мысль веры. Ведь одна крайность обыкновенно вызывает и поддерживает другую.

¹⁰⁷ - У св. отцов есть такая мысль против неверующих Христу иудеев и язычников, что первые признают единство и духовность Божества, но не хотят знать воплотившегося и вочеловечившегося ради нас – человеков, Сына Божия и поэтому не знают разных лиц Божества, не знают Отца, открывающегося в Сыне в силе Св. Духа: а другие признают

Божество во многоличии и притом не находят неприличным Божеству плотского и человеческого вида, но отвергают единство и духовность истинного Бога. Итак, по мысли святоотеческой, иудей и язычник слышал – каждый одну стороны истины, но от своих односторонностей, доведенных до крайностей, заблуждались (см. пространный катехизис св. Григория Нисс. и огласительные и тайноводственные поучения св. Кирилла Иерусалимского). Христос же тому и другому открыл полную и всестороннюю истину.

¹⁰⁸ - Само собой, впрочем, разумеется, что, держась этой мысли (как и всякой другой, самой даже чистой и святой) на началах, например, «Домашней Беседы», можно доходить до разных крайностей, на которые, помнится, указывал «Рассвет» в разборе моих сочинений: станем в обществе и гражданстве, пожалуй, презирать, осуждать и отвращаться людей иноверных. Но та же самая мысль, взятая в началах и духе человеколюбия Агнца Божия, вземлющего греховные человеческие вины и заблуждения, будет вести только к тому, чтобы в общественной жизни и гражданстве православном мы смотрели и на иноверных сограждан как на соучастников Божией к нам милости в гражданстве и такой своей верой и любовью мы всячески старались привлекать к иноверным или неверным, по крайней мере, предваряющую благодать Христову, которая хотя мало-помалу приводила бы всех людей к Одному Пастырю – Христу и к Одному Отцу нашему Небесному.

¹⁰⁹ - Мне и теперь жалко, что пришлось рассуждать о каких бы то ни было журнальных деятелях в таком тоне, как будто о людях грешнейших меня. Нарочно делаю эту оговорку, не желая не только говорить, но и казаться говорящим в подобном дурном тоне и духе. Автор.

¹¹⁰ - Образчик или наглядный пример того, как погибающий может быть спасен, с отделением мертвого в нем, представляет одно из сказаний святой Афонской горы. Один монах по какому-то случаю похулил Пресвятую Богородицу и даже ударил в ее икону. Он был прощен, и умер в мире, но дерзкая рука остается и доныне в окаменении, блюдомая на суд Господень.